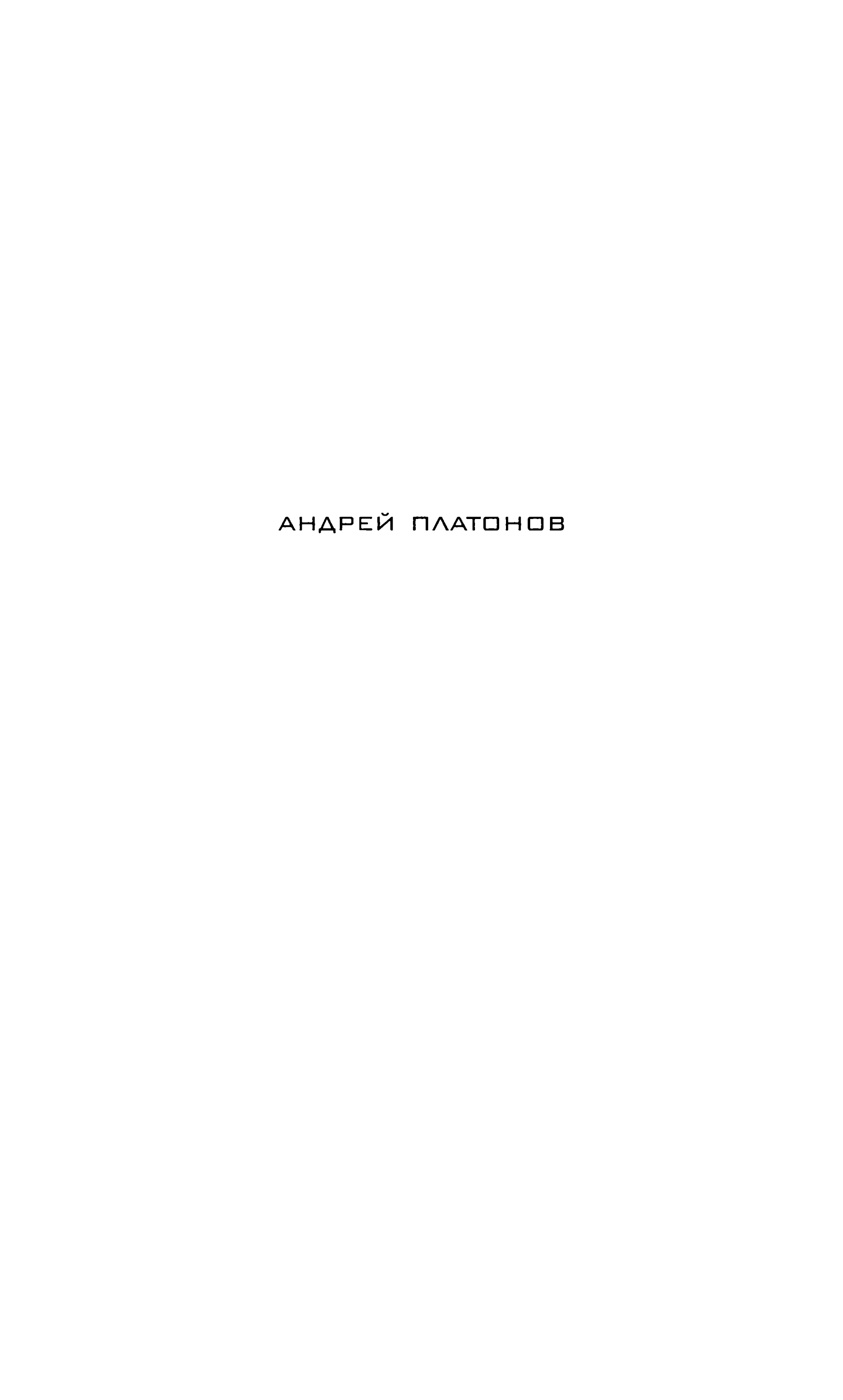
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР

СОБРАНИЕ



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

С О Б Р А Н И Е

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР

Рассказы 1920-х годов
Стихотворения

МОСКВА
2011

ББК 84(0)5
П37

Издательство благодарит
администрацию и губернатора Воронежской области
за содействие в издании книги

Составитель
Н. В. Корниенко

Научный редактор
Н. М. Малыгина

Художник
В. Я. Калныньш

Платонов А. П.
П37 Усомнившийся Макар: Рассказы 1920-х годов; Стихотворения / Вступ. статья А. Битова. Под ред. Н. М. Малыгиной. — М.: Время, 2011. — 656 с.: ил. — (Собрание).
ISBN 978-5-9691-0617-8 (общий)
ISBN 978-5-9691-0614-7

В книгу вошли рассказы 1920-х годов, написанный в соавторстве «Рассказ о многих интересных вещах», стихотворения.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.

Собрание задумала и начала готовить к изданию дочь писателя Мария Андреевна Платонова. После ее безвременной кончины работу продолжил ее сын Антон Мартыненко. Выполняя просьбу наследников, собрание сочинений составила Н. В. Корниенко.

Над научными комментариями к произведениям Андрея Платонова работали исследователи творчества писателя Н. М. Малыгина, И. И. Матвеева и В. В. Лосев.

Многие материалы, в том числе и архивные разыскания, прежде не публиковались. Впервые будет напечатана повесть «Хлеб и чтение» (реконструкция текста Н. В. Корниенко). Повести «Эфирный тракт» и «Город Градов», издававшиеся раньше в искаженном цензурой и редактурой виде, публикуются в авторской редакции.

Авторы комментариев опирались на опыт подготовки научного собрания сочинений Андрея Платонова, работу над которым в ИМЛИ РАН ведет группа специалистов под руководством Н. В. Корниенко.

Тексты произведений Платонова, насколько возможно, приведены в соответствие с волей писателя.

В собрание включены фотодокументы из семейного архива Андрея Платонова.

СТРУКТУРА
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Усомнившийся Макар.
Стихотворения. Рассказы 20-х годов.
Ранние рассказы. Написанное в соавторстве.

Эфирный тракт.
Повести 1920-х — начала 1930-х годов.

Чевенгур. Котлован.
Роман. Повесть.

Счастливая Москва.
Счастливая Москва. Роман. Джан. Повесть.
Очерки и рассказы 30-х годов.

Смерти нет!
Рассказы и публицистика 1941—1945 годов.

Сухой хлеб.
Рассказы для детей. Русские сказки.
Башкирские сказки.

Дураки на периферии.
Пьесы и сценарии.

Фабрика литературы.
Литературная критика. Публицистика.

СЛОВО О ПЛАТОНОВЕ

Так вышло, что за эту вступительную статью к Собранию сочинений Андрея Платонова я принимался трижды.

1. Полвека без Платонова

НУ ВОТ И НАСТУПИЛ НОВЫЙ ГОД. Новое столетие, новое тысячелетие... с чем можно было бы нас и поздравить, в том, в основном, смысле, что и 1999-й, и 2000-й прожиты, и мы еще живы, и слабоумие этого перехода можно считать почти законченным... если бы не одна замечательная народная примета, что год грядущий проживается так, как ты сумеешь прожить свое 1 января. Имеется ли в виду похмелье, неизвестно. Но может быть, и 2001 год в масштабах следующего тысячелетия является таким «1 января» для всего человечества, которое в большинстве своем состоит из нас с вами. Еще недавно, в декабре, в моде были анкеты и вопросы: что из XX века перейдет в XXI, что пройдет эту проверку, что тленно, что нетленно... и кое-как живущему авторитету, не уверенному в том, что он успел сделать в том веке и на что он способен в следующем, предлагалось поважничать для грядущих поколений... последний спазм затянувшейся дискуссии о многочисленных «концах» то света, то литературы, то истории, то утопии, то агрессии — всего того, что происходило на мировых интеллектуальных уровнях, — затянувшийся на пятилетку кофе-брейк.

Ничего не кончилось. Ничего и не началось. Условность стала очевидной. И все-таки одна вещь только что кончилась, а другая началась. А именно — вся литература, написанная до 1 января, оказалась литературой прошлого века. А что написано 1 января века XXI, нам пока неизвестно.

Кого еще убьешь, кого еще прославишь,
Какую выдумаешь ложь?
То Интернета* хрящ... скорее вырви клавиш,
И щучью косточку найдешь.

Одна отечественная струна показалась мне, в свете этих многочисленных анкет, по-чеховски звучащей в тумане будущего: в начале века XX скончался наш замечательный утопист Николай Федоров, не успевший прославиться, будучи непрочитанным

* Ундервуд — О. Мандельштам, «1 января 1924 года».

и неизвестным, но именно так проникший очень глубоко. Невероятная с точки зрения здравого смысла идея воскрешения всех мертвых как единственного пути для счастья и продолжения человечества, как практического способа победы добра над злом — вот эта истовая мысль не читанного никем философа оплодотворила, однако, еще в XIX веке умы Льва Толстого, Достоевского, Владимира Соловьева. Утопия как раз и работала. В XX веке, тоже не столько по чтению, сколько по какому-то внутреннему слуху, идея эта воплотилась в практике Циолковским и в искусстве Филоновым, Платоновым и Заболоцким. И, по-видимому, можно допустить, что XXI век сохранит из XX как раз то, чего не могло быть ни в XVIII, ни в XIX, а могло быть только в России: в частности, этих художников советского периода, потому что их совсем уж не могло быть. История утонет в прошлом веке, утопия — непотопляема. И вот — *знак*: между 1 января и Рождеством почти пропущена знаменательная дата: 50-летие со дня смерти Андрея Платонова. Мы можем встретить этот новенький век попыткой вспомнить этого человека. И таким образом отметить и то, и другое: здравствуй, XXI век — тире — здравствуй, Платонов.

Несмотря на достаточную условность разделения истории на столетия, некоторая симметрия веков все-таки наблюдается. Молодой век, старый век, и даже переклички. Набоков и Платонов родились в одном году — в 1899-м. Таких разных прозаиков и одновременно двух крупнейших представителей литературы XX века представить трудно. Такое впечатление, что литература XX века ходила в один и тот же класс в школе, если не в один и тот же детский сад. В 1899 году кроме этой гениальной двойки родились также Юрий Олеша, Леонид Леонов, Константин Вагинов, Надежда Мандельштам... если провести сравнительный анализ судеб и текстов этих урожденных детей XIX века, то станет жутко. И ничего менее общего и более жуткого, чем попытки этих людей оправдать или оправдаться, представить невозможно. Однако, опуская соблазнительное мечтание о том, кто же это у нас родился в 1999 году, и прозревая будущее литературы сквозь мокрую еще пеленку, следует отметить, что столетия этих писателей выпали так густо, еще и объятые 200-летним юбилеем Александра Сергеевича, что многим не досталось нашего внимания по справедливости. И прежде всего — Андрею Платонову, погребенному под Пушкиным с Набоковым (в чем ни тот, ни другой не повинны). «Они любить умеют только мертвых...»

И эта наша способность оказалась сомнительной... Так что это 50-летие его смерти, которым мы здесь отмечаем XXI век, спохватившись и снова опоздав, является лишь попыткой компенсации практически пропущенного юбилея 1999 года.

Судьба большого писателя в России каким-то образом сказывается и на его послесмертии. Как будто текст его творчества продолжает не только учитываться, но и дописываться. Это стало традицией, частью нашего подсознания: ведь правда, послесмертие Гоголя или Пушкина полно тех же мистических знаков, шуток, каламбуров, бредков, какими была наполнена и их жизнь. А послесмертие классиков советского периода, помноженное на особые коэффициенты исторического времени, становится тем более впечатляющим. Скажем, даже истории с их захоронениями. Если Булгаков действительно произнес не только фразу про «рукописи не горят», но также и фразу «О, учитель, укрой меня своей шинелью», то история с тем, как на его могилу улеглась плита с могилы Гоголя, не может быть объяснена никакой советской властью. Или если мы не можем найти могилы Осипа Мандельштама, и на этом безмогилье вырастает десяток свидетельств очевидцев, как и где он умер, или даже попытаемся впоследствии, исправив все исторические ошибки, все-таки воздать должное трагическим судьбам русских авторов, то и с памятниками начинаются какие-то гоголевско-виевские чудеса — «поднимите мне веки, дайте ЦК». К памятнику Мандельштаму, чудом воздвигнутому во Владивостоке в 98 году, все-таки протягивается рука из небытия, отбивая и нос, и пальцы. Недавно прошел сюжет по телевидению о краже цветных металлов, ставшей показательным бедствием нашего отечества, и среди прочих экономических и производственных потерь вдруг возникают потери культурные. Лежат бок о бок срубленные памятники Чижику-Пыжику и голова от Зощенко. А памятники каким-то чудом были открыты в один и тот же день. А теперь эти существа оказались рядом... Все какие-то знаки, знаки, знаки... Свидетельства бесспорного варварства, но в то же время и еще чего-то.

Платонов похоронен на армянском кладбище, могила его цела, есть куда прийти. И 5 января это надо сделать. Судьба Платонова в основных своих моментах известна его читателю, а именно: рождение в Воронеже, в пролетарской семье, полная внутренняя молодая адекватность революции и изменениям, а потом, после слабых «кузничных» стихов, — вдруг необъясни-

мый прорыв гения. Гения, ни разу не узнанного и одновременно сразу признанного. Какой все-таки был гениальный критик наш вождь и учитель Иосиф Сталин. Ни одного гения не пропустил. И жирным красным карандашом (маркеров еще не было) наложил свою резолюцию на тексте Платонова: «сволочь». И Пастернаку позвонил, чтобы распознать масштабы Мандельштама. В каждом случае реагировал с той же внимательностью, что и на Днепрогэс. А может быть, и советники были квалифицированные. Платонов не сидел, Платонов умер, заразившись туберкулезом от своего сына, который привез этот туберкулез из лагерей. Умер Платонов или погиб? Он прожил полвека. Ровно полвека в веке XX. И полвека его у нас в этом веке не было. Какая-то важная половинка определена именно житием этого человека. А смысл, дух его текстов оказался настолько опережающим время, что не только внешние цензурные и идеологические запреты остановили жизнь его прозы в нашем сознании, но все-таки и сама эта проза. И сегодня, здороваясь с Платоновым уже в XXI веке, эта часть его запретности является более важной. Почему же так трудно его читать? Почему так трудно читать тексты, написанные предельно простым языком, предельно обедненным словарем, о предельно простых людях, о предельно ясных любому человеку ситуациях и положениях? В чем же состоит эта трудность, если все так сознательно облегчено? И вот — уже признак возраста — как будто бы раньше Платонова было легче читать. Платонов для моего поколения возник во время оттепели, год, наверное, был 58-й, вместе с Фолкнером. И до сих пор я не могу разъединить эти две книжки в своем сознании — «Семь рассказов» и голубую книжку «В прекрасном и яростном мире». Напечатано в обеих было то, что можно было напечатать. Хорошие, знающие и понимающие люди насытили обе в палец толщиной книжки максимумом допустимого. И мы охотились за этими книгами на протяжении целого месяца, каждый день спрашивая, не поступили ли. И наконец поймали. Начался запой Платоновым. Но это был запой чистого стиля. Книга Платонова была максимально освобождена от идейного содержания. Только нежность, только любовь, только дети. И совершенно новый язык. И это, так сказать, детское издание Платонова вполне сливалось с нашим детским же сознанием, а тоска по свежему, невостребованному стилю напаивала молодой стилистический голод рождающихся авторов. Так было в Ленинграде. Молодой автор жаждет невостребованного стиля. И поэтому должен что-то открыть для себя сам.

Платонову подражали, с тем или иным успехом, претворяли, и все это было все-таки внешним. В той мере, в какой писатели той волны осуществились, они впитали в себя по мере сил и возможностей его стилистику — и забыли. Сейчас она растворена в опосредованном виде. Когда, кстати, возникла в перестроечное время новая потребность невостребованного стиля для новой волны начинающих открывать рот писателей, то таким невостребованным стилем вдруг оказался Леонид Добычин. Наверное, и этот пропущенный стиль оказался растворенным в последующем письме, и Добычин дозревает до более самостоятельного прочтения. В конце концов, человека, который пишет ямбом, уже не упрекают в подражании Пушкину. Зато последнему русскому поэту, который все-таки сумел открыть свою поэтику и настоять на ней, Иосифу Бродскому, до сих пор, считается, подражают слишком многие. Имитируют. А потом ведь окажется, что просто так можно писать, «техника», и опять окажется важным, кто и что ищет. Если считать стилистическое влияние Пушкина или Гоголя, Платонова или Добычина, Заболоцкого или Бродского уже пройденным, тогда остается все-таки читать, что они написали.

И вот когда пытаешься читать не как Платонов написал, а что Платонов написал, и возникает эта неизъяснимая трудность чтения, и какое-то проваливание, щель между наслаждением и страданием. Ибо, может быть, в силу торжественности момента, а может быть, и вправду я не знаю никакого другого писателя, во все времена и эпохи, которому удавалось бы с такой силой и непереносимостью передавать сочувствие, жалость и любовь к живому. Жалость и любовь такой силы, что почти равны убийству. Любовь — вещь невыразимая, в этом большая часть ее содержания. О любви, про любовь — но не любовью же писать... Сокровенность, сочувствие, выраженные в платоновских текстах, сочувствие человеку, живому существу, обреченному на страдание и смерть, выражаются с такой силой, что как бы сам начинаешь страдать и умирать в той же мере, что страдают и умирают его герои, и это не область сладостного воображения и сопереживания от любого другого чтения хорошей литературы, а нечто большее, нечто почти патологически невозможное.

Получается, что чтение любой страницы Платонова еще является и очень сильным упражнением души. А душа, особенно растренированная, начинает болеть тоже как бы не по поводу того, что выражено в слове, а по поводу собственной неупотребленности, заскорузлости, невоплощенности, и таким образом

сострадание оказывается состраданием не к другому, а состраданием к самому себе. Как будто в нашем нетренированном, неразвитом сочувствии, в нашей попытке сочувствовать другому выявляется вся безнадежность собственного положения.

Зачем же тогда такие тексты? И в ком они могут зазвучать? и страшно, и не нужно, и не хочется думать о перспективах XXI века, но они, безусловно, связаны с эсхатологией, наукой о конце света. Ибо что можно записать за бесспорную заслугу веку XX, это некоторое понимание места человека в универсуме, зарождение экологического мышления, накопленного, к сожалению, слишком дорогой ценой разорения всего живого и обеспечивающего жизнь. И в той мере, в какой эта жадность, и хищность, и жестокость человека оказались осознанными и претворились в опыт, в такой же степени и возможна жизнь на этой планете в веке XXI. И Платонов, необыкновенно тонко чувствующий (может быть, из утопичности еще федоровско-вернадского розлива) всю эту проблему, предчувствовавший ее, может оказаться вдруг писателем необыкновенно актуальным, ибо выражал он эту мысль о будущем человека в виде любви к нему и сочувствия к нему. А если представить себе более тяжкие перспективы выживания человека, то станет понятно, почему он пользовался такими простыми словами. Это какое-то ощущение пещерного еще христианства, пещерного и в дохристианском смысле, в платоновском. Я не знаю, не изучал и не думаю, что Платонов был знатоком Платона, а созвучие это, наверное, как-то могло на него влиять в любом случае, и это знаменитое, расписанное Камю состояние платоновской пещеры и зрение целого мира через щель очень напоминает мне вхождение платоновского слова в жизнь. Вот какие слова мы подберем, когда утратим все? Может быть, на уровне именно чувства и большого страдания доходит и смысл сказанного Платоновым. Так что, провозглашая его через 50 лет писателем именно XXI века и писателем будущего, я не только радуюсь за судьбу гения, который может получить наконец заслуженное признание, сколько опасаюсь того будущего, в котором он станет понятен. Но тогда-то он нам станет необходим как воздух. Ни одна идея не воплощалась в этой жизни. Просто в этой жизни что-то возникало, и тогда оказывалось, что до этого была идея. И христианство не возникло, а оно было в человечестве и до рождения Христа, 2000-летие которого мы и отметили как главный юбилей в этом безумном и слабоумном переходе из века в век. Платонов сумел написать свои тек-

сты вот этим, каким-то дохристианским языком первобытного зарождающегося сознания. И глубина этих постижений равна именно перворождению, зарождению, тому моменту сознания, когда еще ничего не выражено. Может быть, Платонова надо читать детям, может быть, они поймут это легче — и вовремя.

8 декабря 2000

P. S. Не зная, с чего и как начать этот скоропалительный текст, я раскрыл однотомник Платонова в трех произвольных местах. Первое заставило меня усмехнуться над собою...

«— Чмокай на нее, чтоб ходила, — сказал Спиридон Матвеич. — А сам наружу поглядывай: даром народ не пои...

Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы» («Ямская слобода»).

Я потрогал свою шею и побрел по Платонову дальше...

«Чагатаев терпеливо жил дальше, подготовляя тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно» («Джан»).

Стало стыдно. Так. Дальше...

«Уже душа его — последнее желание жизни, отвергающее гибель до предсмертного дыхания, — уже душа его явилась наружу из иссохших тайников его тела... » («Седьмой человек»).

Стало невыносимо. Это уже не писатель, это Платонов.

2. Пустая сцена

«Я все припоминаю, с какого места беззаконие началось, — и не вижу...»

АХ ВОТ ОНО ЧТО! Андрей Платонов был для меня всем, только не драматургом, а оказалось — еще целый том.

Вспоминается миф со Сталиным и Пушкиным. Мимо отца народов не могло пройти первое полное академическое собрание, поспешавшее к юбилею 1937 года: столетие гибели поэта было обозначено в «Правде» как «всенародный праздник». Сталин потребовал себе немедленно хотя бы один том. Пушкин в собраниях хорошо укладывается по жанрам в тома: два тома стихов, том поэм и сказок, том прозы и т. д.

Быстрее всего, однако, поспел том драматургии. Великолепный том, так и остающийся шедевром пушкинистики! Вождь, однако, отсек: «Народу нужен Пушкин, а не его комментаторы».

Платонову, вот кому хватило на всю жизнь сталинского вкуса! А мне, будто мое мнение что-нибудь значит, не хватало в Платонове именно полноты и комментария.

Он разделяет этот век пополам: в течение своей жизни свидетель и диагност, после смерти — пророк. Платонов почти весь черновой, настолько подлинный.

Он писал так (секрет мастерства!): на плохой бумаге твердым карандашом, сбрасывая исписанное в корзину. И мне никогда не удается про Платонова, пока я не начинаю начерно: как придется и на чем попало.

Платонов же этим не ограничивался. Он начинал надеяться, что вдруг напечатают, доставал это из корзины и переписывал поверх уже чернилами. Слой тонул под слоем, и опять не печатали. Рай для графолога и текстолога! Только рукописи, хоть и «не горят» (у некоторых), но — рассыпаются.

Вы держите в руках наиболее полное на сегодняшний день собрание драматургии Платонова. Здесь не хватает уже некоторых страниц. Это окажется неожиданным чтением для апологетов нашего гения.

Не говоря о том, что чтение пьес является занятием сомнительным для ценителя прозы, пьесы Платонова и для самого автора были более испытанием себя в жанре, нежели усилием выразить то невыразимое, чем так особенно богат и ценен для нас его талант.

Чтение Платонова вообще занятие мучительное, настолько насыщающее. Пьесы же его, если с них начинать знакомство с великим автором, могут оказаться подготовкой и ключом к открытию его основных, более сложных и глубоких текстов, как «Котлован» и «Чевенгур».

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», как сказал тот же Пушкин. В пьесах за мыслью Платонова следовать легче. Его невероятный язык распределен по репликам персонажей так, что вдумчивый исследователь мог бы проследить и обратный ход: как из речи народной сгущался невероятный язык платоновской прозы. Тут есть некоторая возможность попытки разгадать, как, упростив словарь своей прозы до пещерной (в платоновском смысле слова) простоты, Платонов повергает нас в столь глубокие философские смыслы.

Без Советской власти тут никак. Искренняя попытка понять порождает бессвязность речи — эта бессвязность порождает стиль — стиль порождает авторскую речь — она прививается

к языку как дичок... И язык — жив! Так что и без автора тут никак. Круговорот слова в океане речи.

Многие традиционно ошибаются, принимая достижения литературы как искусство, как результат так называемого мастерства, между тем только его отсутствие освобождает подход к реальности.

Платонов не столько писал, сколько пытался написать правду, как он ее видел, и эта попытка, прорывая текст, шла все дальше, все менее выражаясь, зато все более отражая реальность более непостижимую, чем замысел, порождая то чудо, которое уже можно называть искусством.

Платонов рискнул не уметь писать (Лев Толстой это пробовал).

Произведения такого рода неповторимы. Как неповторима жизнь.

Поэтому только хронология правильно соединяет произведения классика.

Так случилось, что, готовясь к этому предисловию, я первым прочитал последнее («Ноев ковчег»), а последним первое («Дураки на периферии»), и потом некоторого усилия стоило переставить их в сознании.

Эта рамка многое сообщает нам об авторе.

«Дураки на периферии» — главное издательское достижение этого тома. Пьеса публикуется впервые. Смех тут еще сатирический, то есть еще в надежде, что все образуется, только вот бюрократию бы победить (в конце двадцатых самые талантливые писатели берутся за «пережитки капитализма» как единственную возможность сказать хоть сколько-нибудь неподцензурную правду). Как прозаик Платонов уже живет в мире «Чевенгура», где ни о какой сатире не может быть речи — это трагедия. «Я живу на риск. — Ну, спаси те Христос. — Какой Христос? Бога теперь нет. — Как нет? А где же он? — Не знаю. Только нет. — Это почему ж такое? — А потому что я есть. Иначе б меня не было».

Иначе меня бы не было... Вдруг мама! Десятилетие общего исторического опыта (опечатка — топота): моего детского с его зрелым, дает мне некоторые моменты узнавания — то в фронтовом лубке, то в Пушкине, то в борьбе с космополитизмом. А мама-то еще в охматмладе работала! (См. «Дураки на периферии».) Что же может вычитать из Платонова мой сын и внук?

Он вычитает из него — сегодняшнюю нашу жизнь (после гласности и перестройки) — какую-нибудь «дуэль» по телевизору между депутатом и предпринимателем.

«Как странно», — подумает тогда молодой читатель.

Гений беспомощен: никакой возможности приспособиться ему не отпущено.

Голая сцена реальности, на которой гибнут люди («гибель хора», по определению И. Бродского). Кровоточащее сердце автора.

Какая бюрократия? Какая тут сатира?! Когда — голод. Голод пожирает народ, а страна объявляет все это победой... Не вполне расставшись с сатирой, Платонов пытается задрапировать ее покровом как бы утопии («Шарманка», «14 Красных Избушек»).

Включается образ осуществленного светлого будущего, и становится еще страшнее (обязательно читайте комментарии к этому тому, чтобы понять, что это не плод писательской фантазии).

У этих трех пьес, писанных друг за другом, обнаруживаются общие структурные черты: перерастающая саму себя фигура бюрократа дополняется неким вымирающим дурачком, продолжающим искать светлое будущее, обязательно страдающей женщиной («Живу я среди вас и презираю») и достаточно внезапным и условным капиталистическим гостем (мода левых западных интеллектуалов).

Все это взаимодействует самым фантастическим образом и ничем хорошим не кончается.

Любопытно, в этих своих (более чем реалистических) утопиях Платонов начинает совпадать и с общемировыми тенденциями в литературе (Замятин, Хаксли, Чапек, Набоков, Оруэлл, вплоть до Маяковского и Чаплина, которого он, кажется, непосредственно любит).

Но именно Платонову суждено было расплатиться не фантазией, а жизнью.

Личных надежд не осталось («Пиши выписку из протокола о наших достижениях, а копию писателю Максиму Горькому».)

Начав разговор с черновиков Платонова, следует отметить и пьесы его как более или менее черновые. Наиболее отделана «Шарманка». По сравнению с этой пьесой любая антисоветская литература покажется робкой. Потому что только Платонов умел так почувствовать и так передать человеческую боль. Он не сравнивал ее со своей.

Как ни парадоксально, война еще давала ему надежду: подвиг народа повлияет на послевоенную жизнь (на это попались многие мыслящие люди). Надежда эта быстро захлопнулась: за чистейший рассказ «Возвращение» Платонову тут же все припомнили.

«Ноев ковчег» оказался последней работой Платонова.

Писатель расширяет покровы советской антиутопии до масштабов мировой. Казалось бы, прячется за тенденции начала «холодной войны»... Но он не Лавренев и не Симонов.

«Ноев ковчег» читать страшно именно сегодня, когда все то можно, чего Платонову было нельзя. Фигура бюрократа и политика разрослась от гласности до такой степени, что именно сегодня стала соответствовать многим формулам платоновских персонажей из давно прошедшего исторического времени.

Вздрагиваешь, как прежде: как пропустили?..

«Я не важный, я ответственный».

«Ты оттого и начальник, что никому не видим».

«Здесь что такое — капитализм или второе что-нибудь?»

«Давай возьмем курс на безлюдие».

Ничто не было реализовано на сцене (лишь в последнее, «гласное» время осуществляются театральные постановки, и то прозы, а не пьес).

Здесь нет места характеризовать пьесы, сочиненные так или иначе в надежде на реализацию (фронтовой лубок, юбилейную пьесу о Пушкине, радиопьесу «Голос отца»), хотя всюду присутствует платоновская мораль и идея. Пьесы его все еще разыгрываются самой жизнью. Сцена Платонова все еще пуста.

3 апреля 2006

3. Читайте сами

Отношение к Платонову как к самородку, выходцу из пролетарской среды, страстно исповедовавшему идеалы революции, внезапно ставшему ее беспощадным разоблачителем, настолько утвердилось, что стало фактом признания, а не постижения: самородок, мол, нечто необработанное и корявое. Самородок же чем хорош: откуда ни колупни (взятие пробы), всюду будет то же благородство золота. Благородство в самородке подразумевается, но не учитывается: мы его прячем в карман как собственную находку.

Любопытен в этом смысле следующий миф (кажется, подлинный): Хемингуэй, вошедший в мировую славу в тридцатые, объявил своим учителем Андрея Платонова (счастливый случай подсунул ему советский журнал с переводом рассказа «Третий сын»). В этом много снобизма, но бесспорен и вкус.

В СССР Платонова тоже открыли сразу (Горький), по-том сразу зарыли (Сталин), потом приоткрыли, потом окончательно зарыли, потом снова открыли во время оттепели, но открытие

это сулило неприятные новости для режима: Платонов успел его окончательно зарыть в «Котловане». Рукописи Платонова ушли в самиздат и на Запад, соответственно, попали еще раз под запрет в СССР. Остановить Платонова на родине уже было невозможно, и нам достался избранный Платонов, от издания к изданию расширявшийся на ту или иную повесть, тот или иной рассказ, прикрытый тем или иным оправдательным, кривозеркальным предисловием.

Сделанное Платоновым оказалось столь обширным, что и до сих пор обнаруживаются неопубликованные вещи (например, только что, пьеса «Дураки на периферии»). На мой взгляд, никто из писателей советского периода не заслуживает своего полного комментированного академического собрания сочинений как Андрей Платонов. Такое делается один раз, как делали у нас с гениями XIX века — Пушкиным, Толстым, Чеховым... но ведь и XX век — прош-лый!

Платонов не только заслужил такое издание, но и нуждается в нем. У иных, может быть, рукописи и не горят; у Платонова — до сих пор горят (или тлеют, готовые в одну секунду вспыхнуть гоголевским каминным огнем). Дело в том, как он писал, как относился к собственным текстам.

Писал он быстро и много, безоглядно (вспышка творческой продуктивности в конце 20-х — начале 30-х годов сравнима с Болдинской осенью), все меньше надеясь на публикацию. Иногда ему мерещилось, что что-то все-таки возможно, и он извлекал из корзины черновик, с тем, чтобы перебелить его. Правка наносилась уже чернилами поверх первого слоя. Изменения и дополнения бывали значительными. Расшифровать эти слои задача уже даже не текстолога, а археографа. Дело в том, что Платонов никогда не был попутчиком. Придется воскресить этот подлый термин.

Значит, были писатели революционные, были мирные советские, были буржуазные и враждебные: эмигранты и внутренние эмигранты, но были и попутчики. (Потом уже, не менее подло, возникли сочувствующие, беспартийные большевики, просто беспартийная масса.)

Эта, вполне грамотно заваренная, идеологическая каша варится и до сих пор, все более незаметная именно тому, кто кажется себе носителем правды или свободы. Это отчетливо видно на нашем отношении к наследию тех, кого уже нет, кто, в нашем понимании, окончателен, то есть стал добычей наслед-

ников. В результате, мы имеем все тот же супчик, иначе заправленный («чем дальше в лес, тем толще партизаны», как сказано в народе).

Есть писатели прочитанные (в основном, из попутчиков и даже внутренних эмигрантов — Ахматова, Пастернак, Булгаков), неправильно прочитанные (в основном из имевших прижизненное советское признание — Блок, Горький, Маяковский), недочитанные (Цветаева, Замятин, «обэриуты»), и непрочитанные (Заболоцкий, Зощенко, Платонов). Последних никогда бы не было, если бы не советская власть (достаточно косвенная ее заслуга). Их усилие выразить в языке то, что происходило в реальности, истинно ново, смело, органично и поэтично и не имеет ничего общего ни с каким новоязом.

Непрочитанные оказались непрочитанными не только потому, что их мало и поздно печатали, это касается и попутчиков и эмигрантов, а потому, что они оказались наиболее честны перед языком: они беспартийны и как большевики и как небольшевики, «...иначе следует признать, что великий поэт, будучи человеком храбрым, несчастным и гениальным, отказался принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы, то есть оказался человеком, мягко говоря, недальновидным и легкомысленным». О ком это? «А мы знаем...» — отвечает со своей непреодолимой интонацией Платонов. «А мы знаем, что Пушкин применяет легкомыслие лишь в уместных случаях».

В статье «Пушкин наш товарищ», писанной к пресловутому юбилею 1937 года, загнанный в непечатность Платонов применяет и легкомыслие (в официозе) и храбрость (в мысли): «В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой»... Умопомрачительная, мандельштамовская мысль! Перечитайте еще раз и еще раз, чтобы уместить в сознание... Пушкинский Евгений, например, сошел с ума, а Пушкин нет... Платонов возвращается к придурочной интонации социального заказа: «Евгений с содроганием прошел мимо Медного Всадника и даже погрозился ему: “Ужо тебе!”, хотя и признал перед тем: “Добро, строитель чудотворный!” Даже бедный Евгений понял кое-что...» И мы попытаемся.

Платонов равен режиму, он достоин трагедии, и в этом его величие: он знает свое место. Не Евгений погрозил пальцем Петру, а Сталин — Платонову, поставив свою жирную, кровавую, однозначную черту рассказам «Впрок» и «Усомнившийся

Макар». И анализ «Медного всадника» звучит как собственно платоновский манифест равновеликости Истории и простого человека: «Пушкин отдает и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу, причем нравственная ценность обоих образов равна друг другу». Никто, кроме Платонова, не углядел тут знак равенства.

12 апреля 2006, День космонавтики, в Швейцарии

Андрей Битов, Председатель Комиссии
по творческому наследию Андрея Платонова

РАССКАЗЫ 1920-х ГОДОВ

ПАМЯТЬ

Издревле и повсесюдно все старики спят. Спят так, что пузыри от уст отскакивают и одиноко мокнет позабытая в бороде сопля. Жизнь человека в смерть переходит через сон. Большое счастье и долгая жизнь тушатся неприметно, без вскрика и боли, как вечерний откат света от земли.

Я мальчиком видел старика Василь Иваныча, он засыпал с несвернутой цигаркой на пальце. Начнет вертеть бумажную посуду для обычной порции в пол-осьмушки, но эта привычная работа выгонит из Василия Иваныча его душу вместе с заморенной скребущейся мыслью, и он глянет на вывеску, где написано: «Аптека», и закроет глаза; потом опять откроет их, по-чугунному остановится на вывеске, но уже не видит «Аптеку», и опустит веки, как щеколду запрет на затвердевшем сердце, аж под веками у него запенится. Сладки, должно быть, предсмертные сны.

Потом Василий Иванович начинал приседать (засыпал он стоя, закуривая, мочась, глядя на запекающийся вечерний закат или разжевывая огурец — все едино). Медленно полз он поясницей к земле, не спеша гнулся его хребтовик — вот-вот сломается — пока не доставал Василий Иванович самым кончиком своего отощалого зада головки травинки, тогда его травинка щекоткой подбрасывала кверху, и Василий Иванович опять читал: «Аптека», а через миг опять в квас скисалась его кровь и он полз к земле, как тесто из горшка.

Но Никанор был не тот. Василий Иванович был гора-мужик, а Никанор — так: гнусь одна, зато баритон и глупый человек. Если за забором его посадить и сказать: «Прореви, Никанор» — за Никанора полтинник дадут не гляжа, а в действительности на нем ни одни штаны не держались. Никанор шил их не иначе как по особому заказу у своего друга и в то же время знаменитого песнопевца —

Иоанна Мамашина. Мамашину однажды хорошей плюхой один мастеровой сделал из двух скул одну — на острый угол. В другой раз этот же боец и хирург сделал из Мамашиной хари опять благоприятный лик. В третьем свирепом и долгом побоище Чижовки и Ямской печник Гаврюша хотел двинуть Иоанна Мамашина в ушняк, но попал по какой-то дыхательной щели, и Иоанн заорал, как архангел.

Так Гаврюша сделал Мамашину голос из обыкновенной глотки. И с той поры Мамашин переменил вывеску над своим заведением. Нанял Автонома, маляра и женского хирурга, и продиктовал ему такого сорта слова: «Иоанн Даниилович Мамашин, брючный, сюртучный и элегантный портной, а также песнопевец и принимаю заказы на апостола и прочие торжественные бдения».

— Длиннота чертова! — сказал живописец Автоном, получив сей текст.

— А ты его нарисуй помудрей как-нибудь, а конец по-божественному обведи, — напутствовал Автонома Иоанн.

— Смозгуем уж, будет и божественно, и чудно, — сказал Автоном и зачмокал по грязи в дом свой к жене своей Автономихе и к детям своим.

И вот по вечерам, когда Иоанн обметывал петли, его мамаша, копаясь в каких-нибудь ветошках, просила:

— Поори, Ванюшка.

И Иоанн (так после убедительной вывески его именовала вся улица) орал. Голос получился после Гаврюшкиной операции и правда хороший, ласковый, громадный и неумолкаемый. Будто кто-то большой и теплый поднимает высоко тебя, держит, жмет и плачет на ухо.

После работы останавливались у открытого окна мастеровые и просили:

— Двинь, Ванил Данилыч!

— Ляптяптяпни, дорогой, чтоб гниды подохли!

— Дай слезу́ в душу, Ванюша!

— Грянь, друг!

И Иоанн с радостью гремел. Я был тогда маленьким, но помню его песни. Песни были ясные и простые, почти без слов и мысли, один человечий голос и в нем тоска:

Загуди ты в поле, вьюга,
Замети мои пути,
Пронесися белой птицой,
Песню в сердце засвети.
Ой, не надо боле жизни,
Ни березки, ни травы...

Я узнал, что Россия это поле, где на конях и на реках живут разбойники, бывшие мастеровые. И носятся они по степям и берегам глубоких рек с песней в сердце и голубой волей в руках.

Я вырос, а Василий Иванович, Никанор, Иоанн Мамашин — все куда-то делись: кто умер, кто ушел в бродяги, кто навсегда затих, утихомирился, отмачивает дратву, поглядывает на тихую завороженную улицу и спит, как сурок, долгие дождливые русские ночи; кто залег на лежанку и любуется по вечерам на сына, как он читает книги, и думает до утра.

Недавно я шел в поле один по свежему жнивью. Как и в детстве, горел вечерний костер на небе и стихало солнце, уже окунавшееся в далекие леса. Та же радость и тишина во мне. И далеко вдруг какой-то родимый и забытый голос запел песню. То тянули домой в деревню пара волов телегу с тяжелой рожью. За возом шел дед и его девушка-внучка. Она и пела одна.

Нигде милаго не вижу,
Да ни в деревне, да ни в селе,
Тольки вижу я милого
Да на патрете, да в сладким сне...

Вон и деревня видна — куча хат, крытых внахлобучку тою же ржаною соломой. Оттуда идет дым и пахнет пекущейся картошкой, молоком, грудными ребятами и подолами матерей. Кругом было тихо и чудно.

Вчерась я был в этой деревне и встретил там Автонома. Он уже сапожник, а не свободный акушер и живописец. Поговорил бы с ним, да он не захотел, должно быть забыл меня: прощевай, говорит, я пока что посплюсь, пока все вши

в холодок ушли. И он задрал кверху бороденку и выпустил воздух с густой возгрей из одной ноздри. И в животе у него забурчало от молока и от огурцов.

Милый ты мой!

<1922>

ИВАН МИТРИЧ

Старый человек, похожий на старушку, а не на мужика, ходил подвязанный платочком под подбородочек.

Ходил он по городу в две тысячи душ и следил за порядком: что, где и как.

Сам он не нужен был никому: стар и неработящ. Зато ему нужны были все.

Шли ли куры, стояли ли плетни: Иван Митрич не упускал их из виду. Мало ли что!

Жил он тем, что давала ему дочь — швейка-мастерица.

Каждый день она посылала его на пески к Дону, на базар — принести хлеба, говядины, овощу и прочего. И наказывала:

— Приходи раньше, чтоб обед был вовремя!

Иван Митрич шел и пропадал. Приходил к вечеру, а не утром. Его мучили непорядки.

Куры застревали в дубьях на улице у постройки. Иван Митрич ложился животом на дубья и глядел. Курица билась в узкой щели внизу и не могла размахнуться крыльями и выскочить. Иван Митрич изобретал и строил некий мудрый прибор из прутьев, соломы и веревки и извлекал под конец, часам к четырем, перепуганную квохтунью.

Потом шел на базар к шапочному разбору и накупал товар-осталец, самую грязь, дешевку и нечистоту. Потом брел тихо и беспокойно домой и приходил, когда благовестили к вечерне.

Он покорно слушал укоряющий говор дочери и, когда темнело, уходил в странствие: та курица снеслась в дубах, и яйцо там покоилось и взывало к нему.

Раз сманили его монахи поступить в монастырь к угоднику божию Тихону: ибо святость его велика, а в храмах бога благолепие, экономия и порядок.

Иван Митрич стал преподобным Иоанном и надел черную свитку. Но через неделю ушел домой к дочери от скукоты и елейной вони.

Шел он домой. Продавал на базаре цыганенок черную живую сучку Ласку. Купил ее Иван Митрич, ощупал в кармане пятачок, взял извозчика, закурил папироску и поехал с барышней-собачкой на коленях.

И стал он опять чем был.

А в одну весеннюю ночь, когда кричали за Доном соловьи и у дочери сидел полюбовник, Иван Митрич увидел сон, что стоит он на берегу Дона и мочится. И от множества воды из себя перепрудил Дон, утонул и умер.

<1921>

ЧУЛЬДИК И ЕПИШКА

Ехидный мужичок похлюпывал носом и не шевелился. И нельзя было понять, спит он или и сейчас хитрит: один глаз был не закрыт, а прищурен. Он лежал под глинистым обрывом на берегу Дона. Пониже стояла лодка с рыбацкими снастями, а повыше луг и дача без господ.

— Давай назад, оттыльча... оттыльча... — бормотал мужичок, значит, спал как надо.

С обрыва сигнул другой такой же мужичок, будто брат его, но только еще жиже и тоще, а на вид душевней.

— Хтой-та-эт? Што за Епишка? Откель бы... И пахуч же, враг!..

А во сне спящий, ехидный и пахучий, и сопеть перестал: сон увидел, что наелся говядины и лежит с чужой бабой в соломе.

Душевный мужичок, что пришел, шлепнул его огромадным кнутовищем по штанам:

— Што за Епишка, успрашиваю, хозяин такой тута?..

Епишка ото сна понял это по-своему:

— Дунь, Дуняш... Не бойсь, уважь!.. Чума с ним, мужиком, сатаной плешивым...

Но этот стеганул по пояснице как следовает, и Епишка вскочил.

— Што!.. Ай я... Дунька, враг, ведьма днепровская!..

Душевный Чульдик поморгал и сказал:

— Добре-е... Дунька? Нет, малый, оближись да вали до хаты, откель вылез, видно так-то...

Ошалелый Епишка вскочил и в портках поплыл через Дон на деревню. Там звонили на колокольне и стояла туча черного дыма с красным вздыхающим животом...

У Чульдика от годов глаза, как говядина, и видел он шагов на пять. Он набил трубку и полез в лодку глядеть перемет, как будто в мире было сплошное благо.

У Епишки, который был зорок на ехидный глаз, горело от горя сердце, и он дул через Дон во всю мочь. На том боку Епишка ухватился за куст и повис на нем, ослабши.

Вот он без духа летит по лугу и держит штаны за ширинку. Вонна его хата. Там спит его девочка в люльке. Она обмокла и хочет есть. А он, Епишка, бродит один по жарким сухим полям и думает неведомо о чем, живет без друга, без родного человека и без причалу.

Теперь его хата занялась полымем от соседского плетня, и Епишка вот мчится и чует, как проваливается его душа, как стоит кровь в жилах и пляшет сухое сердце.

Хата закружилась в огне и ветре, а Епишка упал в пыль на дороге и пополз от немощи.

По всей округе было безлюдье. Полсела полыхало. А Епишка, как белый камень с чужого неба, лежал мертвым и окаянным.

Дон лился на перекатах, и Чульдик сидел в лодке середь реки и нанизывал червей на крючки. Он был там свой, питаясь из реки и думая над ней.

*

Обгорелый Епишка похирел дня в три и стих.

Чульдик вырыл ему яму в углу кладбища, где гадили и курили ребята, когда шла обедня, и закопал Епишку вместе с девочкой.

— И дело с концом, — подумал он и пошел себе.

Пять дней Чульдик таскал бирючков, подустов и голавлей и ни разу не помянул Епишку.

На шестой он дремал под вечер у землянки и сразу будто увидел Епишку, как он спал у лодки и поминал Дуньку в непутевых речах.

Чульдик, как подхваченный, пошел на деревню и без жалости пришел в изгаженный угол кладбища.

Там, под бугорком, гнил Епишка, по-деревенски — Кузьма. Чульдик присел на лопух и забыл зачем пришел.

— Кузьма, Кузя... Нешто можно так, идол ее раншибито... Али я, али што...

Дон бормотал на перекатах, и видна была черная дыра землянки на том берегу. На улице рвала и ухмылялась гармошка под лад девок:

Я какая ни на есть —
Ко мне, гадина, не лезь!
Я сама себе головка,
А мужик мне не обновка!

<1920>

ПОП

Был поп, и были мужики.

Вот раз приходит к попу один мужик и говорит:

— Как бы мне, батюшка, сына, к примеру, оженить.

— А, тебе сына женить, тебе вот сына женить! Ага, тебе сына женить!..

— Женить, батюшка, беспременно. Вожжается с Машкой Безрукиной, ходит-мычит.

— Ага, тебе сына женить!

— Яичек, пашенца, куренка я вам, батюшка, в сенях поставил.

— Марфа, Марфия, пропади ты пропадом!

Прибежала кухарка Марфа, подол подоткнут под мышки, и видны голые лыдки.

— Возьми, что там в сенцах этот поставил, в чулан спрячь.

Поп посопел и сказал:

— Приди, друг, завтра.

— Прощайте, батюшка.

— Ступай, сынок.

Приходит мужик завтра. Положил в сенях петушка и коровьего маслица, подумал и вошел в покой.

— Здравствуйте, батюшка!

— Здравствуй. А ты чей, ты зачем пришел?

— Мы здешние. Степку женить, а то с Машкой вожжается, ходит-мычит...

— Ага, тебе Степку женить. Так-так, тебе Степку женить, ходит-мычит...

— Мычит, батюшка, говорить перестал, а во сне разговаривает.

— Марфа, Марфия, непокорная дочь!

Прибежала гололыдая.

— Возьми там... Глянь, цел у амбара замок. Чулан запри строже.

Мужик стоял и думал о всякой суете.

— А ты приходи завтра. Обдумать это дело надо. В нем великая суть. Надобно спрохвала к этому делу подобраться!

— Да то как же, дело великое. Святой, можно сказать, случай, Степка мычит. Бродит, леший сутулый. По ночам ворочается и глазами не моргает...

— Ну, ты ступай, ступай. Разговорился!

Приходит мужик завтра. Положил в сенях, что надо по положению, и вошел в тихие, прохладные покои батюшки.

— Тебе што?

— Да вот опять же...

— Ага, тебе Степку женить, по ночам мычит. Приди завтра.

— Да нам, батюшка, ходить-то уж дюже... И к тому же сено возить, самый дробыш остался.

— Ага, тебе сено возить, дробыш. Тебе некогда, а батюшке есть когда? Батюшке делов нету? Тебе Степку женить, а батюшке горе. Все батюшке, все ему одному, всех вас пользуй, а он все один... А? Ты што влупился в меня, ты што пристал-то, ай без меня и ходу нету, ни вздохнуть, ни родиться... Ай так? А хочешь, я из тебя шута сделаю.

— Батюшка, да што вы, отец родной! Я не к тому. Темный я, проклятый человек... Нам не до того. Я все об Степке.

— Ага. Ступай к отцу дьякону.

Мужик постоял, подумал, что все едино, нету на свете ничего, хотел уходить, но вспомнил о полях, о своей жуткой хате и еще постоял.

Батюшка перешел в другую комнату, присел за дверью и стал глядеть в скважину на мужика. Тот влупился глазами в пол и шептался сам с собой.

— А, ты батюшку ругать, ты меня хулить, ты суету в себе распустил, ага, ты вон какой...

— Да што вы, аль я такую личность...

— Стой! Замри! Гляди на меня, какое небо, черное? Не оглядывайся...

— Да нет же. Денное небо, обнаковенный верхь... У меня спешка по хозяйству, батюшка, об лугах сумление... Душа у меня, батюшка, без греха, чиста — одно слово. Только я живу без пути и с обидой.

— Ага, с обидой... Ну, скройся, исчезни с глаз, дух суеты, дух дерзости и пустого хождения... Марфия! Марфа!

Мужик пошел без толку и встретил в сенях Марфу, голые лыдки.

На дворе было небо, обыкновенный верх, и мужик исчез.

Батюшка ни о чем не думал и видел потолок. Пришла Марфа.

— Что ты со мной делаешь, дочь супостата? Спрячь из сеней в чулан. Да запри, запри строже. Амбар огляди, бесстыдница содомская. Что ты за дурь такая... Уходи.

Мужик брел у плетней и думал о всем свете. Из хаты Машки Безрукиной вышел его Степка. Он промычал что-то, поглядел непутевыми глазами на дорогу и перелез через плетень. Мужик поглядел на него отцовскими скорбящими глазами. Потом оглянулся кругом: пропади ты пропадом. И не пошел в свою хату, а залез в бурьян и задумался.

<1920>

МАВРА КУЗЬМИНИШНА

Мавра Кузьминишна Горечихина — старушка. Сыновья ее умерли, внуки пропали без вести, а невестки выгнали и вышли замуж вторично.

Мавра Кузьминишна тогда взяла и продала старинный мужнин сюртук, жилетку и шесть пар ветхих валенок. Вы-

ручила она за это имущество одиннадцать рублей с пятачком и спокойно зажила себе без попечителей и попрекателей. С тех пор прошло четырнадцать лет, а Мавра Кузьминишна еще не прожила одиннадцати рублей, даже и не почала их.

Мавра Кузьминишна любит покушать (например, ест летом котлеты, любит в пост уху и иногда, беззубая, варит себе манную кашку), любит ходить в гости и приятно одевается в свое старое пышное подвенечное платье с турнюром.

Одиннадцать рублей можно всю жизнь не прожить, если научиться жить у Мавры Кузьминишны. По крайней мере, не будешь растратчиком собственных денег.

У Мавры Кузьминишны дома сорок плошек. Вместо цветов она разводит в них всякий овощ — картофелины, морковь, лук, репицу и прочее, и даже цветы огонек. Плошки она собрала на дворе, выбрасываемые расточителями, за комнату никогда ничего не платила — хозяину за это смотрела за курами. Котлеты и другой питательный продукт, не растущий в плошках, приобретала в обмен за рассаду огонька-цветочка.

Кроме этих доходных статей, Мавра Кузьминишна сама по себе была ласковая и духовитая бабушка. Скажет что-нибудь соседке задушевное, а та:

— Кузьминишна, иди чай пить, вареньице есть, пирожка отрежу...

А Мавра Кузьминишна:

— Штой-то поясницу ломит, Никитишна... У тебя какое варенье-то?..

Питалась Мавра Кузьминишна прожевывая пищу длительно, томя желудок и истекая слюной, чем добивалась высокой полезной отдачи пищи; зимой не выходила из дома без нужды (холод истощает тело), летом сидела под теплом и сиянием солнца, множа калорийные силы организма, ночами спала глубоко, как будто она рыла могилы и очень устала, и во сне видела сытную мягкую еду и сукна.

Так Мавра Кузьминишна до сих пор имеет свои одиннадцать рублей с пятаком и отдаст их, вероятно, только мне, чтобы я мог закрыть ей очи ее же пятаком, когда придет к ней заблудившийся смертный час.

В следующий же час — не смертный, а живой — я покажу этим одиннадцати рублям то, чего они не видели четырнадцать с лишним лет.

<1926>

ЭКОНОМИК МАГОВ

В бывшем городе Задонске (теперь там сельсовет) по улице 19 Июля проживает гражданин Иван Палыч Магов.

Задонск — древлерусский монастырский центр, город божьих старушек и церковных золотых дел мастеров. Монастырь был кормильцем обитателей этого города (200 тысяч в год странников, богомольцев, богомолок и прочих пешеходов), а теперь, когда монастырь имеет значение пожарной каланчи и радиоприемника, жителям питаться нечем. Раньше по грунтовым дорогам в город несли холстину, а теперь по эфиру туда несется радиомузыка.

Вместо имущества — красота!

Поэтому жители перешли на экономический строй существования.

Иван Палыч — наиболее выдающийся, в общем и целом, задонский экономик. Он имеет одну пару сапог уже двенадцать лет — и они еще новые и гожие в долгую носку. Иван Палыч опытом и собственной осмысленностью дошел, что у сапог есть четыре врага: атмосфера — дух, вода — гидра, уличный торец и хождение без надобности.

После каждого своего похода в город или в грунтовые окрестности его Иван Палыч сапоги снимал, стирал с них тряпочкой пыльцу, мазал неспешно и слегка ваксой (чтобы не бередить зря кожу) и, приподымая осторожненько за ушки, опускал в специально для того сшитые брезентовые мешочки (водо- и воздухонепроницаемые), набитые сухой овсяной соломой, ежегодно сменяемой.

После сего мешки запечатывались деревянными пуговицами (рукоделие самого Иван Палыча) и подвешивались на потолочные гвозди, где воздух суше и покоя больше.

Оно и понятно: сапоги приобретены за семь рублей, а женитьба Ивану Павлычу обошлась кругло в четыре с полтиной, но эти чрезвычайные единовременные расходы бы-

ли с некоторым избытком возвращены приданым жены — домом с палисадом, забором, нужником и сараем, — имуществом высокой долговечности. Да еще движимого имущества имелась некоторая наличность.

А что оставляют сапоги, когда они износятся!

Об Иване Палыче можно написать книгу и можно всю его экономически цельную, граждански, так сказать, последовательную фигуру понять из следующего заключительного аккорда — карандаша.

Иван Палыч вышел из первого класса церковно-приходской школы, порешив, что от ученья можно с ума сойти (в тот год повесился сын барина Коншина — студент, начитавшись книжек и переучившись), а главное было в том, что Иван Палыч хотел поскорее зарабатывать свой гривенник в месяц — и поступил мальчиком в монастырскую ризницу.

Вот с той поры и до сей Иван Палыч имеет один и тот же карандаш — на всю жизнь, оказывается, достаточно одного карандаша! Вот норма снабжения разума инструментарием!

При этом Иван Палыч не покупал карандаша, а получил его без оплаты от пономаря Сергея, которому этот карандаш уже не приходился по рукам — по малым размерам, вследствие исписки. Пономарь же Сергей сочинял, писал и сбывал на рынок рацеи, поэтому нуждался в новом, более рациональном карандаше.

Главный враг карандаша — не писание, а чинка. Чинка же имеет в первопричине не расход графита, а безумную спешку в писании, ненужное нажимание и ломку драгоценного материала, добываемого не то на Урале, не то на Бахчисараевых островах.

Что труднее — добыть графит или сломать карандаш? Вот где премудрость экономики!

Каждого безумца, сломавшего карандаш, надо послать пешком добывать графит!

<1926>

ЦЫГАНСКИЙ МЕРИН

Серега Чепцов — мужик малозначущий: землю имел для голодного хлеба. Сам же постоянно стремился отправиться путешествовать вокруг света, чтобы обнаружить на его краю истинный смысл жизни. В молодых летах Серега жил послушником в Митрофаньевском монастыре; потом, изыскав мочалу в мощах, совершил святотатственный акт — положил мышиный выводок и часы-будильник в раку, когда задремал дежурный монах, — и скрылся на Урал к раскольникам.

В восемнадцатом году Серега вернулся домой. Это был уже пожилой мужик, однако его надо было постоянно удерживать от немедленного начала кругосветного путешествия:

— Обожди, Серега, меня, — купим пару коней и тогда тронемся спрохвала...

Когда Серега накопил сорок пудов сухарей, ему стало невтерпеж откладывать, и мы пошли в город посмотреть лошадей. Серега продал хату и имел деньги на лошадь, а я свои истратил на жамки и имел значение советчика и приспешника.

— Почем одр? — спросил я у цыгана, понимая лошадиное дело. Цыган был ряб и конопат, будто его сначала обварили кипятком, а потом обрызгали навозным отстоем.

Цыган был горяч своей натурой и лих на цыганское слово.

— Это ж не одр и не лошадь — это чистый конь! Вот, гляди, грива ложится сама на правый бок, шерсть — как пух на щеке твоей невесты!.. Это же не шерсть, это ковер... Ты погляди — глаза блестят, как у дьявола! Это страшный конь...

— Не говори зря, арестант, — окоротил я цыгана, — говори разом: сколько?

— По душе и по коню — семьсот!

— Ага, тебе по душе семьсот, а я тебе полтораста! Получай деньги и давай карточку!

— Да я ж тебе говорю — коню четыре года! Ты ж погляди — машина!.. Гляди сюда, гляди ноги, погляди в зубы... Не копыта, а кочерыжки! Ну, гляди сюда, ты гляди на коня!

Ты слухай меня, ты постой, ты слухай, что я тебе говорю! Ты гляди, как бегить, ты слухай, снимай шапку и молись — давай пять!..

Цыган чисто осатанел, бегал с лошадью, хлестал ее по болячке на хребту, тыкал кнутовищем в немощные глаза, а она только подпрыгивала от боли, да из-под хвоста навоз высыпала от ужаса.

А рядом два другие цыгана били по спине и уговаривали моего Серегу:

— Ну, давай петушка! Слухай, — я тебя люблю, дай петушка.

И снимали шапчонку с него и крестили его, поворачивая к местному кафедральному собору. Потом опять надевали шапку на разбитую думой и нуждой Серегину голову и расходились, как два свекора.

Потом опять ворочались, колотили руки, плакали и клялись, обнимались, молились, вынимали деньги (это Серега, а цыган уже и сдачу приготовил) и опять прятали, снова кляли друг друга и еще пуще ругались.

— Ты ступай к жеребцу еморой лечить, гнида плешивая! Ты хоть на поводок дай, сука склизкая, морда облупленная!..

— Ай и жулик, ай и народ! Что за народ! Да на тебе все — на! Ты готов усего человека слопать! — бормотал добрый Серега и платил деньги за серого сонного мерина.

Я по чести предупреждал Серегу — мерин не гож в дальнюю дорогу, но Серега почел приобрести мерина в знак решения и неотложной срочности объехать на нем дальние страны.

И мы тронулись на мерине пока что в свою деревню. Угромоздились мы оба верхом, но, съехав с площади, мерин засопел, устал и прекратил дальнейший шаг. Тогда я слез, выдернул кол из ближайшего плетня и начал слегка лупить мерина. Мерин двинулся, Серега обрадовался, я опустил кол и пошел сзади своим шагом. Но мерин сейчас же остановился. Я опять дал ему почуять кол и так шел все время, неотлучно трудясь. Устав работать, я влез на мерина, а Серега пошел сзади, утруждая мерина колом и добрым словом.

На вторые сутки мы прибыли домой ослабшими. Серега поставил мерина в плетневую огорожу, крытую соломой, и пошел отсыпаться и собираться в дальний путь. Перед этим Серега положил мерину пуда четыре сена и дал резки.

Ночью Серега вышел попоить мерина. Тут ему представилась жуткая картина. Ночь была лунная, блестела роса, гоготали дураки на улице, а мерин стоял на голом дворе в редком частоколе, как привидение в мире приключений.

Оказывается, мерин, съев резку и сено, закусил соломенной крышей сарая и заел все это плетневой огорожей. Мерин не превозмог только кольев, хотя тоже глодал их, тщетно ища в них своего пропитания.

Когда Серега подошел к мерину, тот дремал и не обрадовался хозяину.

Утром Серега пришел ко мне:

— Ну, кум, беда — мерин сарай съел! Должно, сильный черт, на таком только и ехать округ света!..

<1926>

ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ

ДЕМЬЯН ФОМИЧ — МАСТЕР КОЖАНОГО ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА

В день Космы и Дамиана (теперь Индустриала и Карла) он был именинник, потому что был Демьян.

Демьян Фомич сапожничал — старинное занятие. Дратва — стерва — долго его удручала своим наименованием, пока он не притерпелся; только наващивал дратву Демьян Фомич всегда в сердечном остервенении и раздражаясь попусту на ее мертвое тело.

Но делать нечего. Демьян Фомич был чтец и жил по прочтенному в умной книге правилу: «кто начал жить и сказал, не разумея, “а”, тот пусть созиждет свою жизнь так и далее до иты и жицы». И Демьян Фомич стерпивал время и вымалчивал дни, подвигаясь к ижице.

Но пока терпел Демьян Фомич, шея и лицо его покрылись буграми омертвевшей кожи, волосы из рыжекудрых стали белыми, а потом табачного вечного цвета. Тем временем ижица была истреблена большевиками, и Демьян Фомич не мог добиться у знающих людей, какая буква ее заместила. Последняя буква должна быть такой, какая не пишется и не читается: это глагол — мудрое слово, знак конца разума и угасания чувства сердцебиения.

В старинное время Демьян Фомич читал Библию и ужасался: до точности исполнялись означенные события и не было милосердия.

Женат Демьян Фомич был на кухарке Серафиме, худощавой и злостной женщине, двадцать четыре года пилившей душу Демьяна Фомича деревянной пилой, пока в ней не опростоволосилась вся душа и она не увидела, что оба они — нагие, а муж ее уже не отдышится от сквозного тридцатилетнего труда и не изменит ни с какой пышной женщиной.

Городок, в котором стояло жилище Демьяна Фомича, занимал местоположение древнего талдомовского татарского становища. Здесь отсыпались татарские всадники от великой степной скачки перед штурмом Троице-Сергиевской лавры. Оттого на некоторых лицах талдомовских сапожников до сих пор не стерлись древнеазийские черты: у некоторых темен волос, как у индийцев, другие имеют распертые скулья и сжатые глаза, а многие сапожники любят змей, будто они родились в пустыне или на Памире.

Город был ветх, пахнул кожаным хламом, ваксой и мышью, точившей в ночное время кожу по углам. В городке была распространена простуда: сапожники раздевши выбегали в холодную пору в уборные и остужались.

Мокрые поля вокруг города были изредка возделаны, а чаще имели назначение подошвы неба.

Это мне все рассказал Демьян Фомич — его живые слова. Демьяновы предки тут четыреста лет наращивали стаж и квалификацию, так что один из них, Никанор Тесьма, уже делал сафьяновые полусапожки Иоанну Грозному. А другой предок Демьяна Фомича, сбежав из солдат на волго-донские степи, впоследствии чинил сапоги Степану Разину

и был помилован единственно из-за своего знаменитого мастерства; он дожил жизнь в Москве, перейдя стариком на валенки.

Были у Демьяна Фомича в родне и латошники, люди ущербного мастерства, в которых ремесло пятисотлетнего племени уставало и временно угасало. В 1812 году, во время нашествия Наполеона и народов Европы, жил дед Демьяна Фомича, по прозвищу Серега Шов, великий мастер и изобретатель пеших скороходов, сподвижник Барклая-де-Толли: один отступал, другой шил сапоги впрок, чтобы было в чем наступать в свое время. Серега Шов говорил будто бы в Москве с Наполеоном:

— Землю обсоюзить восхотели, ваше величество, а она валенок, а не сапог, и вы не сапожник.

Наполеону перевели, и он смеялся:

— Скажите, пока я только снимаю опорки с мира, а когда он будет весь бос, я выучусь быть для него сапожником.

Серега Шов умер в 1831 году в Марселе от холеры, где он имел мастерскую морской обуви «Серж Шовье».

Вдова Сереги, Аграфена Шовье, вышла замуж вторично за голландца, штурмана дальнего плавания, и пропала без вести: говорят, будто бы ее с мужем съели африканцы на одном океанском острове после кораблекрушения. Сын ее, от Сереги, вернулся домой и отцовствовал над Демьяном Фомичом; другой сын Аграфены, от голландца, писал сочинения и умер тому тридцать лет в славе и чести, будто бы в Америке. Талдомский сапожник везде дело найдет и не изгадит его, а доведет до почитания.

Демьян Фомич работал, как во сне, думая о третьих лицах и вещах: до того привычно стало обувное дело для него. Он мне открыл свою сокровенную думу: хочу, говорит, изменить исторический курс своего рода-племени. (Демьян Фомич был чтец и умел сказать что надо!)

— Какой курс? Зачем?

— Так, — говорит, — уйду с обужи на другое занятие. Все равно вскоре не будет сапожников — я машину сапожную изобрел для всякого кожаного ходового устройства...

— Покажите-ка ее, Демьян Фомич!

Демьян Фомич показал: десять листов ватманской бумаги, на ней умелые чертежи; все уже пожелтело — давно, наверное, работал над этим Демьян Фомич.

— Вы один это сделали?

— Нет, были и помощники, — свояк помогал, он в Коломне техник.

Я разглядывал — как будто грамотно и остро задумано, но я электрик и не вполне еще усвоил обувное мастерство — действительно искусное и трудное дело; хотя и я в детстве шил сапоги с Кузьмой Ипполитычем, другим талдомским сапожником, попаивавшим меня водочкой и неожиданно умершим десять лет назад восьмидесяти лет от рождения.

— Какое же новое дело вы изберете, Демьян Фомич?

— А ты не зря расспрашиваешь? — спросил Демьян Фомич и бросил кожу в таз с водой. — Ну, ладно, по сурьезному поговорим. Уйду будочником на Уральскую железную дорогу, буду жить в степи. Я хочу написать сочинение, самое умное — для правильного вождения жизни человека. И чтобы это сочинение было, как броня человеку, а сейчас он нагой... В будке будет тихо, кругом сухие степи, делов особых не будет... А то так и умрешь голышом, а я выдумал все мировождение по направлению к праведному веку. Двадцать лет мучился головой, а теперь покоен... И ты ведь ничего не знаешь. Глист тебя сжует в гробу — и все...

— Это верно, — думал я дома вечером, зачитываясь «Красной новью», — верно задумал Демьян Фомич: четыреста лет жили предки его — сплошные сапожники; в этом роду скопилось столько мозговой энергии, что она неминуемо должна взорваться в последнем потомке рода — Демьяне Фомиче. И действительно, это будет крик мудреца, молчавшего четыреста или пятьсот лет. Его мысль будет необыкновенной и праведной — столько лет скапливался и сгущался опыт и мозг стольких людей!..

На другой день было воскресенье. Мастера поздно пили чай и читали газеты. Я потратил день на раздумье и хождение по местным торфяным болотам. Скуден север, скудно даже летнее наше небо. В бараках торфяников пела гармония, над Москвой летали аэропланы и стоял газ напряже-

ния ее машин и людей. Тихо росла трава, и заунывно звонила старая церковь из недалекой деревни.

Возвратившись в город, я увидел небольшое гульбище. В середине народа стоял Демьян Фомич, он был пьян, на нем был старый цилиндр, под мышкой он держал благородную собачку, а другой рукой обнимал за шею малорослого беспризорного. Демьян Фомич был в Москве — и оттуда привез все удовольствия. Народ смеялся, из цилиндра вылезали тараканы и ползли по лицу Демьяна Фомича; тараканов, попадавших в рот, Демьян Фомич жевал и, очевидно, глотал (подскакивал кадык).

— А, друг сурьезный!.. Читал?.. Торфяников высоким напряжением поубивало... А я сам от собственного напряжения убиваюсь... Эх, вша ты, подметка... Может, у меня в голове бесконечные пространства жмутся от давки, как угнетенный класс пролетариата...

Я с детства знал, по отцу, что такое пьяный мастеровой человек — это невыносимо, говорят. Но я люблю пьяных людей, это искреннее племя, и пошел с Демьяном Фомичом разговор договаривать и чай пить заодно.

<1926>

КРЮЙС

Стоит лето на уездном дворе домовладельца Крюйса. Федор Карлович Крюйс — потомок давнего голландского адмирала Крюйса, служившего у Петра Первого по кораблестроительному делу в городе Павловске, что стоит на Дону при впадении в него реки Осереды.

На дворе Крюйса растут лопухи, меж коих в нужные места протоптаны дорожки. С утра до заката стоит на дворе суета насекомых и в почве идет возня червей, залезающих в глубины грунта.

Сам Крюйс лег в погребе отдохнуть после обеда. Русский континент пылал и плыл в пышном и страстном июньском солнце, терпеливо наращивая на себе, макаясь в солнце, зерна, деревья, ветры и тесто незарегистрированной визжащей твари. К полудню особенно разрастался гул гадов, и поэтому Крюйс уходил в прохладу погреба, в соседство

слепого и мыслящего червя, жизнь которого была очевидна на живом разрезе земли в погребе.

Федору Карловичу было теперь сорок восемь лет. От двадцати до тридцати пяти лет он был погонщиком лошадей на дилижансе. Лошади не шли и не бежали, а поспешали уездной рысью, и то не все враз; а Федор Карпыч (так его по-русски звали) то разминался рядом с лошадьми, то сидел на крыше дилижанса и от скуки угрожал расправой кнутом пашущим мужикам. Через каждые двадцать верст (всех было восемьдесят) Федор Карпыч выдергивал волос из лошадиных хвостов, беря его поближе к луковице, и продавал в курени донских рыбаков.

Так зря прошли пятнадцать лет. Полевые дороги, скорбь, старушки-богомолки и тихие домовладельцы-старички в дилижансе приучили Федора Карпыча к раздумью.

Федор Карпыч не женился, считая, что человек расходуется и стареет не столько от забот и трудов, сколько от жены-женщины и что бедность и всякое ослушание и преступление по земле течет из семьи. Да и потом — родится сын, а может, он дурак окажется, и наверное будет дурак, и только зря жизнь возмутит.

Жизнь будет держаться на земле, пока она будет считать себя малой вещью, все иное — неосторожность, дурья сила и грозит гибелью. Следует испивать влагу малыми глотками, — запой, жадность остудит и повредит желудок, разведет в нем глистов, которые тебя источат, а потом сами подохнут в тесноте и прахе гроба от бескормицы и тоски.

Скупо надобно в себе держать телесные силы, живя спро-хвала и еле-еле, как бы нехотя и кого-то одолжая безвозвратно, терпя жизнь лишь из жалости к ней самой, несчастной.

Таково было экономическое существо натуры Федора Карповича. И действительно — он нажил домик и дворик оттого, что был бобылем. Действительно, Федор Карпович остался как бы средним существом — не старым, далеким от смерти, хотя и не очень был доволен своим рождением.

Но Федор Карпыч был не прост и не особенно сложен — он был неведом, как все люди; неведом, то есть не записан

в ведомость, а если и записан, то не весь — не хватило в ведомости граф.

В дни зимы и в лунные ночи Федор Карпович писал сочинения.

Я был сыном рыбака. Покупал в детстве, по поручению отца, коний волос у Федора Карпыча. Потом стал писателем, потом инженером, потом профработником. Потом я решил лишить себя всех чинов, орденов и бронзовых медалей и уехал на родину, на Дон, на его песчаное прохладное дно, в его тихие затоны и на каменистые перекаты, где в зарю густо идет рыба на нахлыст.

Поселился я, понятно, у Федора Карповича. Мы жили, ловили рыбу и мудрили.

Федор Карпович ночами иногда писал, когда я, по молодости, спал.

И раз, опять в жару, в самую страсть и в стрекозиный зуд, когда мы отдыхали с Федором Карпычем в погребе, Федор Карпович почитал мне кое-что из своего фундаментального труда «Генеральное сочинение о земле и о душах тварей, населяющих ее».

Вот оно, судя по моей небрежной памяти:

«Ты жил, жрал, жадствовал и был скудоумен. Взял жену и истек плотию. Рожден был ребенок, светел и наг, как травинка в лихую осень. Ветер трепетал по земле, червь полз в почве, холод скрежетал, и день кратчал. Ребенок твой рос и исполнялся мразью и тщетой окрестного зверствующего мира. А ты благосклонен был к нему и стихал душою у глаз его. Злобствующая, зверья и охальничья душа твоя утихомиривалась, и окаянство твое гибло.

И вырос и возмужал ребенок. Стал человек, падкий до сладостей и до тесной теплоты чужеродного тела, отвращающий взоры от Великого и Невозможного, взыскуя которых только и подобает истощиться чистой и истинной человечьей душе. Но ребенок стал мужем, ушел к женщине и излучил в нее всю душевную звездообразующую силу. Стал злобен, мудр мудростью всех жрущих и множащихся и так погиб навеки для ожидавших его вышних звезд. И звезды стали томиться по другому. Но другой был хуже и еще тоще душою: не родился совсем. И ты, как звезда, то-

мился о ребенке и ожидал от него чуда и исполнения того, что погибло в тебе в юности от прикосновения к женщине и от всякого умственного расточительства. Ты стал древним от годов и от засыпающей смертью плоти. Ты опять один и пуст надеждами, как перед нарождением в мир сей натуральный. Я слышу — скулит собака, занимаясь расхищением своей души. Так и вся окрестная жизнь — вор, а не накоп, и зря она занялась на земле, как полуночная заря.

Кто же людям сбережет душевность, плоть и грош? Кто же заскорлупит теплоту жизни в узкой тесноте, чтобы она стала горячим варом?..»

Федор Карпыч почитал, а я послушал — и мы оба вздохнули от умственного усердия.

— Ну как: приятно обдумано? — спросил Федор Карпыч.

— Знаменито! — выразился я, томясь в нечаянном голоде.

— То-то и оно-то! — отвлеченно сказал Федор Карпович. — Ну пойдем щи есть, а то ослабнем!

Мы вылезли из погреба и двинулись сквозь лопухи и дворовый бурьян, сбивая мошек, бабочек и прочую дрянь с их маршрутов.

<1926>

ДУШЕВНАЯ НОЧЬ

Сердце — трус, но горе мое храбро.

Скорбь и скука в одиннадцать часов ночи в зимней деревенской России. Горька и жалостна участь человека, обильного душой, в русскую зиму в русской деревне, как участь телеграфного столба в закаспийской степи.

Скудость окрест и малоценные предметы. Вьюга гремит в порожнем небесном пространстве, и в душе наступило смутное время.

Был холод, враг, аж пот на ногах мерз. Кровь в жилах, оголодавших за дальнюю дорогу, сгустела в сбитень, и стужа кипела на коже варом.

Посерьезнел крестьянский народ, и надолго забился в тихие дымные деревни, и там задумался безвестными сонными думами — про скот, про первоначальные века, про

все. Мыслист русский народ, даром что пищу потребляет малопитательную. Волчьи ночи — века, темь и немость хат, лунный неземной огонь на небе, над рекою пурги, душевная доброта человека от понимания мира — все видимое и невидимое, как вода сквозь грунт, стекает в сердце тайным ходом и орошает жизнь.

Едешь неспешно — лошади кормлены на заре и вся их мочь иссосана ледяными ветрами.

Едешь, а душа томится по благолепию, по лету, по благовеющему климату.

Зима дадена для обновления тела. Ее надо спать в жаркой и тесной норе, рядом с нежной подругой, которая к осени снесет тебе свежего потомка, чтобы век продолжался...

Не особенно скоро, но все же настало время, когда мы доехали вконец. Стояли три либо четыре хаты — хутор. Брехали собаки, пел в неурочное время петух, и шевелилась в сараях прочая живность, которой не спится и которая тревожится за живот свой.

Приехал я по малому делу, больше от душевной суеты, чем по насущной надобности.

Тут, на отрубе, жил один человек, малоценный в отношении человеческого сообщества, но в котором мудрость имела свое средостение.

Он и выполз наружу, услыхав брех и петушиное птичье пение.

— Здравствуй, Савватий Саввыч!

— Доброго здоровья! Что вас ночью примело, аль горе какое неутешимое?

— Ты все равно не утешишь — не баба.

— Я не к тому, я про душевность спрашиваю.

Вошли в хату к Савватию Саввычу. В избе — пустошь. Лежит окомелок старого окоченелого хлеба, на лавке дрожит в стуже щенок, больной и жалостный, с душевными глазами. Кругом — голо, прохладно, бездомовно, не пахнет по-человечьи. Сразу видно — бабы нету. Нет в доме оседлости и постоянного местопребывания.

Печь холодная, и спит, должно, на ней один человек, но ему не спится, и он думает о светопреставлении, о пустын-

ном мире, о встречном ветре времен, — и сам с собою разговаривает. За окном снежная топь, в поле не сыщешь дороги, далекие города шумят в бессонном труде, мужики, уставшие от всяких делов и баб, спят без памяти, солнце бродит вдалеке от земли по косому зимнему пути, а к человеку не идет сон, и до утра еще далеко. Мать его умерла давно, некому его вспомнить даже в погожий день. Есть мысль — жена одиноких. Есть душа — дешевая ветошь. Мало имущества у человека.

— Давай почавкаем, — сказал Савватий Саввыч, — набьем в пузень дребедень — червей разводить в нутре.

И мы зажевали — не спеша и не вдумываясь во вкус.

— Я все думаю, — проговорил с полным ртом Савватий Саввыч, — отчего нету человеку благорасположения на земле. Живешь — и жмет где-то в нутре, аж сузиком всего сводит. Жизнь не в талию пришлась человеку...

— Погоди, придется. Отожгем, приколотим, разошьем ушивки и вновь сошьем — и будет всем удобь. Шили нам сюртуки, а мы мужики. Вот каково дело. Пока жив, всякое приспособленье для хорошей жизни устроить допустимо. А теперь революция — нам ветер взад.

— Это все допустимо, — проглотив картошку, сказал Савватий Саввыч, — недопустимо знаешь что? На небо залезть, да пупок с пуза на лоб перенесть, да еще кочетиное яйцо снесть. Мужик пужался всего — оттого и жизнь была малопитательна. Бей в морду с отжошкой всякую супротивщину — на душе поблажеет и на дворе погожей станет.

Веселый свет загорелся в хате от легкого дыхания мысли, легче всякого высокого газа и душевного духа. Вот он ветер — настоящая жизнь. Заскрипела тяжелая снасть силы, злобы и просторного ветра богатой воли.

— К лету уйду отсель, — сказал сам по себе Савватий Саввыч.

— А куда? — спросил я.

— Так, блукать пойду. Человеку надобно продвижение, а не хата и не пшено... Тебе кашки не положить?

— Благодарю. Не уважаю пшено.

— Гляди сам. У соседа баба готовит мне. Куфарь обстоятельный — семь годов у господ служила.

Говорили еще долго о всяких далеких, протяжных для мысли вещах. На дворе зашумела метель. Тощий прут в смертном ужасе хлестал в застланное, замороженное окошко. Мы съежились, заслушались и поснули, как провалились пропадом, изморившись за день жить. Поснули, засопели — и сразу завоняло луком.

Ночь на дворе осиротела и метель стихла: не для кого.

Тихо стояли в плетневой огороже под соломенной крышей одурелые коровы, и высапывал взад-вперед возгрю годовалый бычок, не догадываясь как и что.

В мире было рано. Шли только первоначальные века.

На другой день я рано уехал дальше по существенным делам.

<1926>

ИСТОРИЯ ИЕРЕЯ ПРОКОПИЯ ЖАБРИНА

Жил он в уездном обыкновенном советском городе, весьма смиренном. Здесь даже революции не было: стали сразу быть совучреждения, для коих мобилизовали по приказу чрезревуштаба местных барышень, от восемнадцати до тридцати лет от роду, дав им по аршину ситца и по коробке бычков — для начала.

Иерей Прокопий жил не спеша, всегда в одинаковой температуре, твердо, как некий столп и утверждение истины. Ибо истина и есть покой. Покой же наилучше обретается в супружестве, когда сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнения и движения, да исходит во чрево жены.

Жено! Ты спасаешь мир от сатаны-разрушителя, знойного духа, мужа страсти и всякой свирепости. Да обретется для всякой живой души на земле жена, носительница мира и благоволения! Аминь!

Хорошо, во благомыслии жил иерей Прокопий. И вот единожды, как говорится в суете, рак крякнул: свою могущественную длань иерей Прокопий опустил на главу благоверной. Была на дворе духота, мухи поедом ели, бога, говорят, нету — так бы и расшиб горшок какой-нибудь. А тут жена Анфиса ходит-сопит, из дому гонит: полы будет

мыть, к празднику прибирать. Прокопий, иерей, утром не наелся: пища пошла на оскудение, а день велик — деться некуда, сила в теле напирает.

И совершил Прокопий злодейство.

Жена Анфиса раз — в чрезревуштаб:

— Мой поп Прокопий дерется и власть советскую ругает (сука была баба).

— Как так поп дерется? — спросил комиссар, товарищ Оковаленков. — Арестовать этого неестественного элемента. Дать предписание Учеке!

И стал пребывать иерей Прокопий в затворничестве.

— За что, отец, присовокупились к нам? — спросил его купец Гнилосыров. — Вам тут быть немыслимое дело.

Иерей Прокопий прохаркнулся, прочистил свой чугунный бас:

— Го-го-го! Да всё бабы, стервы, шут их дери!

И стала с этой поры Анфиса носить Прокопию обеды в Учеку, ходит-плачет:

— Товарищ комиссар, отпусти домой Прокопа Жабрина.

— Обождет, — отвечал товарищ Оковаленков, — элемент весьма контрреволюционный. Пускай поступит на службу советской власти — смоет свой позор трудовым подвигом.

Обрадовалась Анфиса, а потом и Прокоп. Должность нашли сразу: в канцелярии чрезуфинтройки.

Прослужил иерей Прокопий месяца два-три: делов никаких нету, скука, дожди пошли на улице.

— Хоть бы живность какую увидеть, поговорить бы с кем, — думал Прокоп, — люди кругом все охальники...

Приучился Прокоп курить: чадит весь день.

Сидел иерей на входящих и исходящих. Придет бумажка, полная тьмы и скудных слов. Долго мыслит над ней Прокопий, потом запишет и опять задумается.

И было три праздника подряд. Анфиса опять начала грызть попа. Тогда он придумал в единочасье: поймал у себя двух вошек и посадил их в пустую спичечную коробку:

— Живите себе на покое и впотьмах.

На другой день взял зверьков на службу. Раскрыл входящий и пустил их на белый лист пастись. Сам пописывает, а глазами следит, как вошки бродят в поисках продовольствия, но тщетно.

Жить стало способней, и радостно одолевалось время бытия иерея.

Но судьба стремительна, и еще неодолимы для человека тяжкие стопы ее.

Через полгода скончался иерей Прокопий Жабрин, журналист чрезуфинтройки. Страшна и таинственна была смерть его: от частого курения образовался в горле иерея слой сажи. И надо же было привезти одному старому знакомому Прокопия, мужичку из дальней деревни, корчажку самогонки, весьма крепкой. Давно не выпивал Прокопий: взял и дернул. Самогон вдруг вспыхнул в нелуженом горле — и загорелась сажа от махорки.

Для иерея наступил час светопреставления, и он скончался, занявшись огнем внутри.

Не от лютых скорбей, не плавающим и путешествующим и не от прочего, а от деревенского жидкого топлива погиб Прокопий Жабрин.

Когда донесли об этом его высшему начальству, товарищу Оковаленкову, тот остановился подписывать бумаги и сказал в размышлении:

— Жалостно как-то, черт его дери! Евтюшкин, выпиши его бабе пуд проса!

<1923>

ЛУГОВЫЕ МАСТЕРА

Небольшая у нас река, а для лугов ядовитая. И название у ней малое — Лесная Скважинка. Скважинкой она прозвана за то, что омута в ней большие: старики сказывали, что мерили рыбаки глубину деревом — так дерево ушло под воду, а дна не коснулось, а в дереве том высота большая была — саженей пять.

Народ у нас до сей поры рослый. Лугов — обилие, скота бывало много, и харчи мясные каждое воскресенье.

Только теперь пошло иное. На лугах сладкие травы пропадать начали, а полезла разная непитательная кислина, которая впору одним волам.

Лесная Скважинка каждую весну долго воду на пойме держит — в иной год только к июню обсыхают луга. Да и в себя речка наша воду начала плохо принимать: хода у ней засорены. Пройдет ливень — и долго мокреют луга, а бывало враз обсохнут. А где впадины на лугах, там теперь вечные болота стоят. От них зараза и растет по всей долине, и вся трава перерождается.

Село наше по-казенному называется Красногвардейское, а по-старинному — Гожево.

Жил у нас один мужик в прозвище Жмых, а по документам Отжошкин.

В старые годы он сильно запивал.

Бывало — купит четверть казенной, наденет полушубок, тулуп, шапку, валенки и идет в сарай. А время стоит летнее.

— Куда ты, Жмых? — спросит сосед.

— На Москву подаюсь, — скажет Жмых в полном разуме.

В сарае он залезал в телегу, выпивал стакан водки и тогда думал, что поехал на Москву. Что он едет, а не сидит в сарае на телеге, Жмых думал твердо. И даже разговаривал с встречными мужиками:

— Ну што, Степан? Живешь еще? Жена, сваха моя, цела?

А тот, встречный Степан, будто бы отвечает Жмыху:

— Цела, Жмых! Двойню родила! Отбою нету от ребят!

— Ну ничего, Степан, рожай, старайся, воздуху на всех хватит, — отвечал Жмых и как бы ехал дальше.

Повстречав еще кой-кого, Жмых выпивал снова стакан, а потом засыпал. Просыпался он недалеко от Москвы.

Тут он встречал будто бы старинного знакомого, к тому же еврея:

— Ну как, Яков Якович! Все тряпки скупаешь, дерьмом кормишься?

— По малости, господин Жмых, по малости! Что-то давно не видно вас, соскучились!

— Ага, ты соскучился! Ну, давай выпьем!

И так Жмых — встречая, беседуя и выпивая — доезжал до Москвы, не выходя из сарая. Из Москвы он сейчас же возвращался обратно — дела ему там не было — и снова дорогу ему переступали всякие знакомые, которых он угощал.

Когда в четверти оставалось на донышке, Жмых допивал молча один и говорил:

— Приехали! Слава тебе, господи, уцелел! Мавра, — кричал он жене, — встречай гостя, — и вылезал из телеги, в которой сидел уже четвертый день. После того Жмых не пил с полгода, потом снова «ехал в Москву».

Вот какой у нас Жмых: мужик что надо, но мощного разума человек!

*

Позже, в революцию, он совсем остепенился: сурьезное, говорит, время настало!

Ходил на фронте красноармейцем, Ленина видал и всякие другие чудеса, только не все подробно рассказывал: не твое дело, говорит.

Воротился Жмых чинным мужиком.

— Будя, — говорит. — Пора деревню истребить!

— Как так, за што такое? — спрашивают его мужики. — Аль новое распоряжение такое вышло?

— Оно самотеком понятно, — говорит Жмых. — Нагота чертова! Беднота ползучая! Што у нас есть? Солома, плетень да навоз! А сказано, что бедность — болезнь и непорядок, а не норма!..

— Ну и што ж? — спрашивали мужики. — А как же иначе? Дюже ты умен стал!

Но Жмых имел голову и стал делать в своей избе особую машину, мешая бабьему хозяйству. Машина та должна работать песком — кружиться без останову и без добавки песка, которого требовалось одно ведро.

Делал он ее с полгода, а может и больше.

— Ну как, Жмых? — спрашивали мужики в окно. — Закрутилась машина? Покажь тогда!

— Уйди, бродяга! — отвечал истомленный Жмых. — Это тебе не пахота — тут техническое дело!

Наконец Жмых сдался.

— Што ж, аль песок слаб? — спрашивали соседи.

— Нет — в песке большая сила, — говорил Жмых, — только ума во мне не хватает: учен дешево и рожден не по медицине!

— Вот оно што! — говорили соседи и уважительно глядели на Жмыха.

— А вы думали што? — уставлялся на них Жмых. — Эх вы, мелкие собственники!

*

Тогда Жмых взялся за мочливые луга.

И действительно — пора. Избыток народа из нашего села каждый год уходил на шахты, а скот уменьшался, потому что кормов не хватало. Где было сладкое разнотравие — одна жесткая осока пошла. Болото загоняло наше Гожево в гроб.

То и взяло Жмыха за сердце.

Поехал он в город, привез оттуда устав мелиоративного товарищества и сказал обществу, что нужно канавы по лугу копать, а саму Лесную Скважинку чистить сквозь.

Мужики поломались, но потом учредили из самих себя мелиоративное товарищество. Назвали товарищество «Альфа и Омега», как указано было в примере при уставе.

Но никто не знал, что такое Альфа и Омега!

— И так тяжко придется — дернину рыть и по пузо копаться, — говорили мужики, — а тут Альфия. А может, она слово какое законное, мы вникнуть не можем и зря отвечать придется!

Поехал опять Жмых — слова те узнавать. Узнал: «Начало и Конец» — оказались.

— А чему начало и чему конец — неизвестно! — сказали гожевцы, но устав подписали и начали рыть землю: как раз работа в поле перемежилась.

Тяжела оказалась земля на лугах: как земля та сделалась, так и стояла непаханная.

Жмых командовал, но и сам копался в реке, таская карчу и разное ветхое дерево.

Приезжал раз техник, мерил болота и дал Жмыху план.

Два лета бились гожевцы над болотами и над Лесной Скважинкой. Пятьсот десятин покрыли канавками да речку прочистили на десять верст.

И правда что техник говорил, луга осохли.

Там, где вплавь на лодке едва перебирались, на телегах поехали — и грунт ничего себе, держал.

На третий год все луга вспахали. Лошадей измаяли вконец: дернина тугая, вся корневищами трав оплелась, в четыре лошади однолемешный плужок едва волокли.

На четвертый год весь укос с болот собрали и кислых трав стало меньше.

Жмых торопил всю деревню — и ни капли не старел ни от труда, ни от времени. Что значит польза и интерес для человека!

На пятый год травой-тимофеевкой засеяли всю долину, чтобы кислоту всю в почве истребить.

— Мудёр мужик! — говорили гожевцы на Жмыха. — Всю Гожевку на корм теперь поставил!

— Знамо, не холуй! — благородно отзывался Жмых.

Продали гожевцы тимофеевку — двести рублей десятина дала.

— Вот это да! — говорили мужики. — Вот это не кроха, а пища!

— Скоты вы! — говорил Жмых. — То ли нам надо? То ли советская власть желает? Надобно, чтоб роскошная пища в каждой кишке прела!..

— А как же то станется, Жмых? И так добро из земли прет! — говорили посытевшие от болотного добра гожевцы.

— В недра надобно углубиться! — отвечал Жмых. — Там есть добро погуще! Может, под нами железо есть аль еще какой минерал! Будя землю корябать — века зря проходят!.. Пора промысел попрочней затевать!

— В нутро, это действительно, — ответил Ермил, один такой мужик. — Снаружи завсегда одна шелуха!

— Ну ясно: пух и прыщи! — подтвердил Жмых. — А прочное довольствие в нутре находится!

— Да будя, едрена мать, языки чесать! — с резоном выразился Шугаев, ходивший в председателях. — Нам теперча сепараторы надо завести, а то продукт сбывать нельзя, а тут сухостойным делом займаются: как бы поскорей в нутрё забраться! Вот ляжешь в могилу — тогда там и очутишься!..

Лесная Скважинка сипела в русле, и пахучие пространства говорили о прелести сущей жизни.

<1926–1927>

БУЧИЛО

Тянется день, как дратва:
скука бычачья. Рассказать
тебе про дни?

1. О ранней поре и возмужалости

Жил некоим образом человек — Евдок, Евдоким; фамилию имел Абабуренко, а по-уличному Баклажанов.

Учил его в училище поп креститься: на лоб, на грудь, на правое плечо, на левое — не выучил. Евдок тянул за ним по-своему:

— А лоб, а печенки...

— Как называется пресвятая дева Мария?

— Огородница.

— Богородица, чучел! Нету в тебе уму и духу. Вырастешь, будешь музавером, абдул-гамидом...

— А ну, считай с начала, по порядку, — говорила учительница Евдокиму, — клади по пальцам.

И Евдоким считал, не спеша и в размышлении:

— Однова, вдругорядь, середа, четверхь... ешшо однова и три кряду...

— Садись, дурь, — говорила учительница, — слушай, как другие будут отвечать.

А Евдок ждет не дождется, когда пустят домой. Он горевал по своей маме и боялся, как бы без него не случился дома пожар — не выскочат: жара, ветер, сушь. Уж гудок прогудел — двенадцать часов. Отец домой пришел обедать, на огороде у Степанихи трава большая растет и лопухи. Ребята ловят птиц, уж скоро, должно быть, будет вечер и комари.

В училище стояло ведро — пить. Каждый день учат закону божьему, потом приходит Аполлинария Николаевна, учительница, и пишет палочки на доске, а Евдок за ней корябает грифелем у себя хворостины. Потом спрашивает и велит читать вслух.

Евдок глядит в букварь и читает:

— Мо, ммо...

На переменах приходит Митрич — сторож, чтобы ребята не выбили окон и не бесчинствовали.

Как чуть кто заплачет от драки или тоски по матери, Митрич орет:

— Ипять! Займаться!..

И вот прошло много дней. Издох в училище на дворе Волчок. Отец Евдокима купил на толпе другой самовар. Родился у Евдока Саня, маленький брат. Покатал его Евдок на тележке одно лето — на Петровки он умер от живота.

Тоньше и шибче билось сердце у Евдока, и он уходил летними вечерами в поле и тосковал — о далеком лесе, об одной звезде, о дальних деревенских пустых дорогах.

Как подрос Евдок, так вскоре попал в солдаты. Ходит по плацу, орудует винтовкой — лежит недвижимо в душе пуд. Раз случилось с ним странное дело: семь дней на двор не ходил. Ляжет спать: бурчит в животе и вода без толку переливается. Кругом нары, храп, пот, вонь, а внутри Евдокима прохладные вечерние деревенские дороги и ждущая ужинать мать.

Дать бы по скуле изобретателю сердца!

Осмелился Евдок и пошел к доктору. Так, мол, и так-то.

— Што-о?.. — провыл доктор.

Евдок опять:

— Осьмой день не нуждаюсь.

Уходя, Евдок взялся нечаянно на докторском столе за карандаш.

— Возьмите себе его на память, Абабуренко, — сказал доктор.

Евдок погладил черную камилавку доктора.

— Пожалуйста, Абабуренко, возьмите и ее. Нате вам и ручку. Она вам нравится?

Оказывается, доктор был мнительный человек: дверную ручку брал не иначе, как в перчатке. Кто у него в кабинете возьмет что в руки или пощупает, то ему доктор сейчас же и подарит на память: лампу, лист бумаги, клок ветоши либо какой инструмент.

Странный, но сурьезный был человек.

Дня через два у Евдока рассосались кишки, и он оправился.

Так шла и шла жизнь Евдокима, рекой одинаковых дней, пока он не перекувырнулся и не изобрел настоящего бессмертного человека, который остался на земле навсегда, и уже не расставался со своей матерью, и породнил звезду с соломой, плетнем и ночной порожней дорогой меж тихих деревень.

Об этом еще будет длинная повесть, это будет скоро у всех людей на глазах.

2. Странствие

Была революция, было передвижение людей по земле, была веселая работа. Про то известно всем. Был комиссаром Абабуренко, кормил отряды в голодных селах, думал, воевал и странствовал. Как великое странствие и осуществление сокровенной души в мире осталась у него революция. Реквизировал живность и мертвый продукт и писал бумаги:

«Именем ФРФССФР предлагаю уплатить моему отряду жалование за четыре месяца вперед. Комиссар-командир, член большевиков Евдоким Абабуренко.

Угрожаю захватом города и привлечением его жителей, обывателей и прочих к революционной ответственности по революционной совести. Комиссар Абабуренко. № 7 143 268».

Прогремело имя Абабуренко в кулацких степях — и стихло. Все прошло, как потопло в бучиле татарской осохшей реки.

Странником остался Евдоким и стал портным. Живет в городке одном и имеет душевного друга, Елпидифора Мамашина, который был бас и дурак.

Вошли мы с Елпидифором в хату к Евдокиму (дело до него было, не особо существенное впрочем) — тишина, темнота и жуть.

— Где тут портной живет, сделать из штанов галифе?

— Стой, — закричал Елпидифор, — я сообразил: живые люди воняют.

Понюхали: дух стоял чистый, и вдруг, действительно, понесло махоркой и жженой бородой.

— Вот он, портной, — вылазь!

Заскрипела спальная снасть, и невидимое тощее тело сморкнулось и забурчало. Для света и вежливости я спокойно закурил.

— Здорово, Евдоким! Раскачивайся!

— Здравия желаю, граждане, — как кувалдой гвазданул Евдоким, портной. В чистом воздухе, тишине и тьме хранился такой голос. Как огурец зимой в кадке.

Зажгли коптильный светильник. Скамейка, стол, вода в ведре и спящий глубоко и непробудно щегол под потолком в тепле. Евдоким надел для сурьезности и пропорциональности своей профессии очки и привязал их веревочкой к ушам — приспособление самодельное. Евдоким теперь постарел, стал угрюм, покоен, похожий на деда, на сон и хлеб — коричневый, ласковый и тепловатый, как хлебное мякушко. Из сапожной кожи был человек, если царапнуть щеку — рубец останется. Но в желтых глазах его было ехидство и суета — Евдоким был сатана-мужик, разбойник, певец и ходил женишком. Засиделым девкам в воскресенье лимонад покупал. Не женился будто бы потому, что подходящей ласковой бабы не подыскал, и впоследствии купил щегла.

— Так, говоришь, тебе две галифы изделать?

— Да, желательно бы.

— Так-так... Одна галихва выйдет, а на другую матерьялу подкупай, — задумчиво сказал Евдоким и поглядел через очки.

— А стоимость какову скажете?

— Да что ж с вас — один алимон, чаю попить.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал Елпидифор (отчасти бывший интеллигент). — До свиданья.

— Прощевайте. Посветить вам, может?

— Не надобно, не утруждайтесь, мы так.

И мы полезли к старинному монастырю, на гору. Чудесно тут держались дома — на сваях и каменьях. Из города лилась сюда нечисть, и если наверху кто оправлялся — в окно Евдокиму брызги летели. Непрочное и пагубное стояло тут жилье, опасное местопребывание. Ни подойти, ни подъехать. Весной и в дожди Евдоким и его соседи становились туземцами и о них писали в газетах, но они их не читали. В старое время, бывало, полицейские гнали отсюда все народонаселение, как подходила весна. Но никто не уходил — лезли на крышу, тащили туда детишек, поросят, петуха, самовар — и сидели. А когда ночью поднималась вода и уплывали невозвратимо табуретки, захлебывался телок, то и на крыше начинали орать жители.

А с бугра утром махал городовой:

— Я ж тебе говорил, упреждал, — гуни пожалел — постись теперь, угодник чертов!

А на третий день чуть просохло — и городовой жителю в бок.

Бывали дела.

На другой же день Елпидифор купил свои штаны на базаре — клеймо на них было. Он к Евдоку — хотел ему чхнуть разок, а Евдок уж в деревню ушел. Тем дело и кончилось.

Ехал Евдок в деревню и похохатывал:

— Дела твои, господи!

Приехал в деревню, продал хату своей бабки и купил лошадь. Поехал на Дон купать ее и утопил.

— Эх ты, животное существо, — сказал Евдок и пошел куда ему надобно было.

Пожил в деревне неделю-другую, съел все харчи и пошел побираться. Ходил по всей округе и тосковал. Начиналась осень, ветер выл в проволоках, обдутые стояли древние курганы, и шел с мешочком картошек Евдок. Стар стал, некому любить и жалеть. Кажется, чем-то легким придавлено горе на земле и когда-нибудь все заплачут и прижмутся

друг к другу. Это будет, когда наступит потоп, засуха или лютая хворь или из сибирской тайги тучею выйдет восставший зверь. Одно горе делает сердце человеку.

Стал странником и нищим Евдок и многое понял и полюбил грустным чувством.

В глухой деревне Волошине, в овраге, приютила Евдока одна старушка:

— Живи, старичок, у нас картохи есть, теперь ходить не по нашей одеже, не объешь небось, поставь палочку в уголок.

Пожил Евдок у старушки до весны. Стонали оба всю зиму по ночам от голода, холода и старого, запекшегося горя. Занудилась душа у Евдока. Выглянет в окно — снег, бучило, кладбище на бугре, кончается тихий день. Куда тут пойдешь, когда кругом бесконечность!

Прогремела весенняя вода по оврагу, подсохли дороги, вылезли воробьи на деревенскую улицу. Стал собираться Евдок.

— Ничего тебе не надобно? — спросила старушка.

— Ничего, — сказал Евдок.

— Ну, иди с богом.

— Прощай, Лукерья.

И Евдок тронулся.

Ветер был тихий и тонкий, как нежная сердечная музыка. На плешивом кургане, обмытом водами и воздухом, Евдок вздохнул, поглядел на дальнюю кайму лесов, на все живое, грустное и далекое, потом спустился и попил водички из вольного протока.

Дни опять начались сначала.

3. Смертоубийство

Абабуренко Евдоким стал по отчеству именоваться Соломоновичем. Соломоновичем стал он теперь не потому, что роду был иудейского, а потому, что считался нищим, не помнящим родства, сиротой и безотцовщиной. Кроме всего прочего, он одно лето, под самую революцию, местонаходился в услужении у еврея, скупщика костей-тряпок, Соломона Луперденя.

Однако дело это прошлое. Соломона теперь нет — помер должно быть. Девятнадцать человек детей его рассеялись по поверхности земли неприметным образом.

Ханночка — супруга Соломона, красивая, милая женщина, умерла с голоду два года назад, когда город их заняли казаки. А кто говорил, что ей забили кол в матку два офицера-охальника и оттого будто бы она скончалась.

Теперь дело это прошлое. Лучше давайте убережем живых, а о мертвых будем плакать в одиночку по ночам.

Над складом Соломона давно уже висела красная вывеска: «РСФСР Базисные склады костеобрабатывающей и ватно-бумажной промышленности губернского масштаба. Изобразил живописец Пупков».

Соломон же орудовал без вывески безо всякой — и так знали. И так жилось терпимо — туго от суеты и работы в конторе и сладко и прохладно дома, в небольших осьми комнатах, пропахших женой плодоносной.

Давно это было — до революции. Теперь уж и Абабуренко старик. Но не только старик, а также оратор, гармонист, охотник до зверей, мудрец, измышляющий благо роду человеческому, и в общей суммарности, как говорил сам Евдоким Абабуренко, из него получался вроде как большевик, член Всесоюзной коммунистической партии, в скобках — большевиков. Любил так определять свою личность Абабуренко — полностью, неспеша и вразумительно для всех малосведущих. Внушительной личностью был Абабуренко, веский человек.

Жизнь прошла — как ветер прошумел: и холодно, и вьюжно было, и тепло, и ласково, и благосклонно — всего достаточно бывало. Замечательно хорошо. В рассудке неслись высочайшими, почти незримыми облаками ласковые лица, милые дарящие руки Ханны Яковны, ясные любящие глаза Дарьюшки — жены ненареченной, ибо не пришлось войти в брак Евдокиму Соломоновичу — брехать здоров был.

Рассудительно оглядывал Евдоким Соломонович жизнь со всех четырех сторон и всюду усматривал одну благовидность. Все неблаговидное сокрушается рукой живого человека.

Евдоким Соломонович сам поджигал усадебную постройку у князя Барятинского и жалел, что упустил самого старика —

кишки бы выпростал ему наружу, — до того лют был, язва, до мужиков. Жил, как плоскушка в мужицком гашнике: и дело малое, а свербит день и ночь. Теперь заграницу взять бы в колья. Вышла бы потеха и потешение. Слыхал кое-что о загранице Евдоким Соломонович, даром что грамоте не учился, когда мальчишкой был.

Полюбил почему-то на старости лет Евдоким Соломонович сахарин. Вошел во вкус.

Теперь посиживает на огороде караульщиком — скукота душевная. Это только дереву или другому какому растению подобает всю жизнь находиться на едином месте и не скучать. Человек же — существо двигающееся и даже плавающее, поэтому ему на одном месте скучно, грусть берет и жутко.

Нечего делать — варит цельный день картошку Евдоким Соломонович, посыпает ее сахарином и ест. Затем заваривает, не изводя костра, кашу и, усластив ее сахарином, ест без особой охоты. Затем, полежав на брюхе, опять подвешивает котелок — и так, в неугомонной еде и рассуждении, проходят летние дни и звездоносные ночи с мертвым месяцем.

Страдал Евдоким Соломонович водобоязнью (и еще изжогой) и поэтому не купался, хотя река была в версте. Вшей расплодил, по причине нечистоплотности, в большом количестве и привык к ним так, что особой тревоги от них не ощущал.

Теперь дело к осени. Мошкара убыла. Повылезли волки — старые и молодняк. Любил Евдоким Соломонович по-волчьи выть. Есть играют на магдолине, есть на жалейке, а он искусно весьма завывал, так что волки приходили к нему и лезли на землянку: страхота, шут-ти-што!

Уйдут волки — скука, и Евдоким Соломонович повоет опять. Так ночь, в страхе и вое, человечьем и волчьем, проходила короче.

А ночи все длиннее и холоднее. По утрам прозрачен и звонок воздух. Поздно дымятся избы — некуда спешить завтракать, мертвые лежат поля. Незачем вставать рано — кончились все работы, одну картошку копают.

И однажды, не бугор сверзся в реку, умер Евдоким Соломонович.

Лег спать, было еще не поздно. Ночью встал оправиться, вылез из землянки — месяц стоит над белым, осиянным пустым полем, задернутым ледяною росою. Глухо было и безлюдно, человек не помнит про человека. Далеко колотушечник, старик, спрохвала постукивает, и лес на верхах брюзжит.

Сел к чему-то Евдоким Соломонович на землю и чует, что голова его куда-то закатывается, и мочи никакой в теле нету, и душа больше не тревожит.

Вскочил Евдоким, хотел заплакать и что-нибудь сказать, но, не чуя грунта, ударился оземь так, что в животе ни к чему забурчало.

Месяц потух, на его удивленье, на его глазах. Звезды пронеслись шумной рекой, и земля продавилась под ним вниз, как дно в бучиле татарской засохшей реки; и колотушечник-старик сразу смолк на деревне, как будто и не постукивал либо на ходу заснул.

<1922, 1924>

ИВАН ЖОХ

I

Четырнадцатого декабря 1762 года Екатериною II был обнародован Сенатский указ, до раскольников относящийся.

По сему указу извещалось, что раскольники, кои без особой злобы схоронились в иных державах, могут теперь домой воротиться. Для этого в указе содержалось прельщение, что воротившиеся раскольники будут причислены к государственным экономическим крестьянам, мещанам и купцам, хотя бы они до бегства были крепостными; поверх того, раскольникам обещалась земля для поселения и освобождение от всех повинностей на шесть лет.

Чиновники, работавшие в Сенате над раскольничьим указом, хвалились, что велика милость императрицы, раз она таких охальных негодников простила; а иные чиновники, что разумом крепче и в чинах повыше, сказывали, что царица откуп большой получила от московских куп-

цов-раскольников, — что будто бы купцы-староверы один миллион рублей в казну внесли ради помилования своей родни, а — в надбавку тому — главный староверский коновод и миллионщик Иван Фомич Ларионов особый зарок дал в Святейшем синоде, что бесовских делов и бунтов он впредь не попустит, а возвращенных из других держав раскольников возьмет на свое попечение.

А томилось за границами раскольников не менее как десять тысяч человек, но указу сразу они не поверили, а стали выжидать. Думали, что на казнь или на изгнание в Сибирь царица обольщает, чтобы изъять раскольников из инородных держав и тем прослыть просвещенной монархиней.

Однако ничего нового не выходило.

Тогда раскольники решили просочиться сквозь границу малой порцией, чтобы потом узнать — не покарает ли царица просочившихся людей.

По сему решению и по совету стародубского попа Данилы от Всех Святых на Камушках в августе месяце 1779 года на Добрянский форпост Киевской провинции, что стоял обаполо польской границы, явился человек и объявил, что желает видеть начальника поста.

По личности он выходил похожим на крестьянина или мелкого купца.

Это был мужчина лет около сорока на вид, среднего великорусского роста, с темным рябоватым лицом и могучим сухим телом. На голове у него росла темнорусая гуща волос, а в бороде извивалась седина. Особенно надобно отметить глаза — черные, с притаенной хитрецой, в которых светился отменный характер.

Ему было не более 33 или 34 лет от роду, а может и менее — при такой личине люди живут скорохватами и стареют раньше возраста.

Когда начальник форпоста майор Менщиков допустил его к себе — он сказал:

— Я желаю воспользоваться милостивым указом императрицы и выселиться в Россию.

— А что ты за человек? — спросил майор.

— Пензенский купец и раскольник Иван Прохоров.

Действительно, это был Иван Прохоров, по прозвищу Жох.

Получив на руки разрешительную выпись, Иван Жох тронулся в тогдашнюю русскую державу, идя пешеходом от одного раскольничьего скита до другого, коих в те поры на Руси было весьма изрядно.

Попав в Старовыгонскую слободу, Жох отдыхал там недели две и кормился сытно, будто собирался на большую работу.

В этой слободе жили раскольники, беглые и всякого сорта люди.

Отдохнув, Жох пошел на Иргиз и Яик, где раскольников был великий притон.

Шел он не мудря и не заботясь о пропитании — всюду находились сострадательные люди, которые жалели вороченца из чужой стороны и кормили его.

Думал он пробраться на Зауралье, — там богатые земли пустыми лежали, — чтобы основать целый раскольничий край.

А пока что хотел приглядеться и к народу прислушаться.

Народ же всюду говорил одно, что время непокойное и скорбно чересчур; у купцов тоже торг плох стал, и все царство обветшало от подложного Петра-царя, сына Лефорта.

Мужики маеты еще не изжили от войн, да походов, да великих царских работ — и тоже бурчали. Лошади вывелись, деревни обезлюдели, и по полю сор пошел. А тут царица поборами душит: и за дым, и за место, и за бортный урожай, и за куру, и за всякую ухватку по хозяйству.

К тому же засуха крыла из каждых двух годов в третий. Народу и деваться некуда: то голодный мор, то кнут бурмистра.

Мужики вздыхали:

— Государя у нас истинного нету. Баба правит — полчеловека всего!

Дошло до Ивана Жоха, что в Москве раскольничий купец Ларионов — что за Рогожской заставой — весь почин против царицы держит и людей упористых ищет. Желает он будто бы вольную веру объявить, поборы с народа сложить и торговым людям оказать всякое почтение.

На хуторе Бессмертном, где заночевал Жох, у него ночью истребили все бумаги:

— Не гордись, — говорят, — антихристовыми печатями!

На том хуторе жили тоже раскольники, но бродяжьего толку, которые считали, что бог на дороге живет и что праведную землю можно нечаянно встретить. По этой вере жители того хутора вечно бродяжили и покою ногам своим не давали.

Через две ночи, в раскольничьей слободе Ветрянке, Жох встретился с беглым гренадером Алексеем Семеновым, который сказал ему:

— А что-то ты, сударь, на покойного императора Петра Федорыча лицом малость сдаешься — издали вылитый государь!

Вечером Семенов позвал Жоха к знакомому купцу Кожевникову в гости — почаевничать и погуторить до первых петухов. В то время по глухим сторонам любили всяких приходящих, дабы новостей от них отведать.

Кожевникову Семенов, должно быть, сказал, что странник с царем схож, потому что Кожевников ласкал его разными образами и о точном звании и природе выведывал.

Жох, открывшись в звании своем, не утаил и того, что из дому отца он давно бежал, и объяснил причины своего побега несвойством веры с родителем.

Купец Кожевников, человек тоже раскольничьего толка, сведав от Жоха верно, говорил тому:

— Слушай, сударь! Если ты хотел бежать за Урал, то бежать одному не можно! Хочешь ты пользоваться и начать лучшее намерение? Есть люди здесь, которые находят в тебе подобие государя Петра Феодорыча... Прими ты на себя это звание и поди к раскольникам на Яик. Обещай казакам вольность и свободу и награждение по 12 рублей на человека... Деньги, если будет нужда, я тебе дам, и прочие помогут, с тем только, чтобы вы нас, раскольников, взяли с собой, ибо нам здесь жить по старой вере стало трудно, и гонение делают непрестанное, да и дела торговые в нищету меркнут. Благочестия ж нету в Москве — горит оно где-то в опоньской стране на Беловодье.

В доме Кожевникова был в тот вечер и другой купец, Степан Вакулов; тот тоже замолвил за слова Кожевникова.

Однако Жох сразу им не подался:

— Я, — говорил он, — лучше на Кубань выйду — там жизнь помягше и начальство пореже... Там, может, и народ способней на такое дело скликать...

Тогда Вакулов стал его разуверять:

— Слышно здесь, что яицкие раскольники давно бунтуют, так лучше их подговорить.

Беседовал Жох с купцами еще немалое время, пока светать не начало и пастухи не проснулись.

Кожевников и Вакулов стояли на одном, чтобы на Яик Жох уходил.

— Будешь на Иргизе, — говорил Кожевников, — беспременно сыщи там игумна нашего Феодосия — он по расколу родной мне человек. Разузнай также про казака Шилова — он почетный в расколе человек и станет помогать тебе, не жалея иждивения...

На другой день купцы приобрели Жоху лошадь и положили за пазуху пятьсот рублей денег. Окрестив его двуперстным крестом, купцы отправились по дворам, а Жох поехал: вчера Жох дал им согласие свое и показал нательные раны от острожных побоев, а получил он их в Рязани, где томился за веру.

Прибыв на раскольничий Иргиз в ноябре 1779 года, Жох явился к старообрядческому игумену Феодосию и открылся ему в желании мутить казаков.

Феодосий принял его намерение с радостью, обнадежив, что яицкое раскольничье войско его примет.

От себя Феодосий послал Жоха к казачьему старосте — Денису Пьяных:

— Поживи там малость, — сказал игумен, — открывайся людям не вдруг, а разумно!

У Дениса Пьяных Жох первые дни жил молча. А тот не расспрашивал, зная, что Феодосий зряшных людей не даст на приют.

Однако раз нечаянно допытался у Жоха:

— За что, казак, томишься по чужим местам?

— За крест и бороду! — ответил Жох.

— Что ж, — спросил Пьяных, — из-под караула отпущен аль сам бежишь?

— Сам бегу, — ответил Жох и застеснялся чего-то. — Дозволь у тебя, — говорит, — до времени пожить!

— Живи! — сказал Пьяных. — Я много добрых людей скрывал.

Пожив еще с неделю, Жох попросил хозяина истопить ему баню. Тот истопил, но тоже с ним помыться пошел.

Оголившись, Жох попробовал силу на разных твердых вещах, разминая толстые железки в подковки.

Тут Пьяных заметил у Жоха на теле какие-то знаки и щербины от старых ран.

— С чего это у тебя такое? — спросил он.

— То знаки государевы, — ответил Жох.

— Что ты говоришь? Какие государевы?

— Я сам государь, Петр Федорович, — сказал на это Жох.

— Да как же это? Да как же так?.. Ведь, сказывали, что государь помер?..

— Врешь! — строго промолвил Жох, — Петр Федорович жив, а не помер. Ты смотри на меня так, как на него. Я был за морем, приезжал в Россию прошлого года, и услыша, что яицких казаков-раскольников притесняют в вере, нарочно сюда на выручку приехал, и хочу, если бог допустит, опять вступить на царство...

— Вот оно как дело-то! — испугался Денис Пьяных.

— Ежели б, — говорил Жох, — какие умные казаки войсковой руки сюда приехали, я бы с ними погуторил...

— А ко мне скоро Григорий Пустовой будет, — заявил Пьяных, — я тады тебя с ним сведу для беседы...

Потом Жох и Пьяных начали мыться, а после бани Пьяных просил прощения у Жоха за обращение с ним, как с простым человеком. Но Жох еще пуще пристрашил его и не велел менять обращения на людях.

— Только надежным людям древней веры скажи обо мне, — сказал Жох, — но так, чтоб и жены их ничего не проведали!

II

Однажды Жох ходил по иргизскому базару и пробовал на возах рыбу за мякоть: сколь добротно это речное существо. Мужики ему не препятствовали:

— Говорят, это царь будто! Рыбу щупает: постную пищу уважает!

— Какой такой царь? У нас теперча царица! А Петр Федорович, что на Яике жил, того в Москве нововерцы угомонили! Это не царь — эт так: хозяин-поселенец!

— Ну вот — поселенец! Тебе говорят — царь! По обличью и ухватке видать! Другой бы не осмелился рыбу даром щупать! А то, вишь, и цены не спрашивает, а прямо-таки берет!

— Ну, нехай будет царь! Все одно — то ни к чему! Опять война холостая выйдет, а проку не прибавится!.. Чем больше царей, тем жизнь жиже!

— Ну, тоже справедливость нужна! Нельзя родное место охальной бабе уступать!

— Ну и пускай то место захватывает, а нас зря не касается!

Набрав рыбы, Жох уходил домой — к Пьяных. Ему варили уху и жарили рыбу, а он все поедал в единоличии. Иногда Жох съедал зараз фунтов по десять. Такое прожорство случилось с ним недавно. Сведущий знахарь, попытав Жоха за живот, почуял, что в пузе у него завелась змея, которая ночью ползает и нахальничает по всему нутру.

Пьяных питал Жоха сытно и сомневался:

— Слухай, Иван Прохорович! А не выйдет у тебя, как у Пугача: ты забунтуешь, а царица тебя ляпнет!

— Я на народе стою, Денис, — отвечал Жох, — а царица-шлюха в кромешной тьме лежит!

— Это истинно! — говорил Пьяных. — Только поболе тебе силы-мочи собрать надобно!

Прожил Жох у Пьяных еще неделю и тронулся дальше.

Пришел он на Урал и лег отдыхать в избе одного солевоза.

От Иргиза до уральского поселка Аушина Жох истратил месяц, но в дороге его тело трепала лихорадка — и он ничего не запомнил ни из людей, ни из природы. Деньги у него растащили ямщики и прохожие, поэтому Жох от болезни очнулся нищим.

Народ явно льнул к нему, хотя Жох ему ни в чем не льстил.

В то время люди были остры на всякий слух, а меж слободами и раскольничьими скитами постоянно бродили

странники, как ныне почта. Поэтому — Жох шел, а за ним молва катилась и потчевала его царской знатностью.

Жох сам особо не раздумывал о своем значении, но ему открыл его солевоз Егор Багий, у которого он стал на постой в Аушине.

— Ты, — говорил Багий, — сласть жизни особо не примай: после успеешь! Народ теперча по правому царю томится, вот он и льнет к тебе! А ты не томи его охоты, но и туго людей не хватай, а пускай к тебе спрохвала само все движется!

Так оно и выходило.

Но Жох — мужик молодой и соками еще не истек; поэтому облюбовала его одна ласковая баба в Аушине — духовитая вдова. Жох сначала ею не прельщался, а потом прилип к ней вконец.

Багий его опрастывал и к разуму возвращал, но Жох совсем очумевал — чем дальше, то постыдней.

Все Аушино на спор пошло:

— Ежели он царь — его баба не возьмет: он целому народу супротивиться может! Ежели он так себе — мужик — Аришка с ним управится!

Но Жох не сладил со вдовой. И мужики ему сразу простили, когда то случилось:

— Немыслимое дело, — беседовали староверцы, — кабы б он оскобленый был, а то мужик с полной гроздью!

— Так он же царь — человек неимоверный! — говорили иные строгие люди.

— А хучь и царь! — отвечали за Жоха моложавые раскольники. — Пищу примает: стало быть, и спуск ей надобен! Это только скобленый — ну, у того пища в дух обращается!

А Жох, себе на уме, спешно улещивал вдову:

— Я, — говорит, — тебя царицей Урала и Сибири сделаю! А кроме того подарю глыбу золота, какая побаляхней!

— Да не томи ты меня, делай что-нибудь посурьезней! — серчала вдова.

Народ вертелся около Жоха и присматривался к нему. А Жох жил в затмении, выжидая своего времени.

Но видит раз, что надо начинать.

Феодосий-игумен прислал устное письмо с одним нищим — Семеном Тещей:

— Пора уходит, народ твоего пришествия ждет, а ты, Жох, живешь и чухаешься.

Подошла малая конная ярмарка — в Успеньев день — и порешил Жох в одну ночь свое дело:

— Дай, — думал, — я себя жирной жизнью угощу — раз она обнаружилась!

III

Ярмарки в те годы были густые. Лошадиный промысел давал народу богатые деньги, а по степи шла веселая конная жизнь. Степь сама по себе — одно лихое пространство, но покрытая конем она предлагала человеку вольную жизнь.

Всякий разбойник и просто хороший человек садясь на коня чувствовал, как это бедовое существо выносит его из тесноты людских законов в огромное дыхание. И он несся по природе, не знающей никакого нарочного наказания.

В том была тогдашняя отвага, и ездок жил героем, как родня ветру.

— Супруга! — сказал своей вдове Жох. — Выхожу объявляться на народ — сиднем сидеть далее несподручно!

— Давно пора, батюшка, — ответила вдова. — Баба-то всем сподручна, а ты на народе жить умудрись!

Ярмарка не только конями богата была, но и увеселительными зрелищами, едой и всякими душевными разговорами старых друзей, видевшихся раз в год — и то по домоустройственному делу.

Посредине Аушина имелась голая круговина — там стояла ярмарка. А посреди ярмарки калмыцкая карусель: на длинной жерди висело большое колесо, жердь ту водил калмык, а ездок держался за спицы колеса; иногда калмык приопускал жердь — через то колесо касалось земли и начинало крутиться: ездока мотало вкруговую — и он отлетал, мучаясь тошнотой и исходя переболтавшейся кровью.

Пришел на ярмарку Жох, влез на карусель и глянул вдаль. Но народ уже знал, что будет царь-странник, и заранее обжался округ карусели.

Старые раскольники неотлучно следили за Жохом и склоняли народ на почет ему. Про такую раскольничью работу и сам Жох почти не знал; а думал, что он самолично пригож народу.

Около Жоха стоял Семен Теща — нищий посланец от игумна Феодосия.

— Зачинай не сразу, государь! — советовал Теща. — А потоми народ малость!

— А чего мне говорить? — невдогад спросил Тещу Жох.

— А ты ж государь! — сказал Теща. — Говори то, поелику жалость твоя окажется, когда царством возобладаешь!

Жох потравил немного времени, оглядел далекие степные солнцепеки и подумал для смелости:

— Вон растет трава стоймя, без призору — а хороша; так и народ живет.

И Жох начал свое открытие:

— Всему миру я теперича объявляюсь, потому как дале нельзя терпеть ни минуты часа. Уже мертветь народ зачал от бабьей власти Катерины. Это неподобно, чтобы рабам Христа и подданным моим сидеть доле под подолом европской шлюхи! И чтобы градские мздоимцы несносные денежные поборы и обиды чинили, а казацкая старшина до всяких отягощениев умышляла!

Так я открываюсь всему верному народу моему и прочим азиатским племенам — без отличия природы!

Как деду моему, великому государю Петру Алексеичу, служили отцы ваши, также, а и того крепче, служите отныне и мне, — и чтоб до капли крови вся сила ваша пошла мне на помогу, чтоб возобладать мне царством родителя свово и изгнать иноверку Катьку в европскую землю.

А я дарю мому народу всю землю и реки, соляные озеры, лесные гущи и старинную веру и прочую вольность. Ибо, как мы власть и мир от бога получили задаром, также и народу дарма наше богатство передаем.

А кто в неистовство и в супротивщину от сего войдет, тем боле ратью и оружием на нас тронется — тем добра не будет, и они сами узнают, что с ними станется.

От нонешнего срока все боярские и царские кабинетские земли отдаются нами казацкому народу и вольному черносошному хрестьянству на вечные сроки и безоброчно. Дарую также я вам вечное козацтво — и будете навеки вы козаковать в степи...

IV

Ехала раскольничья рать на хороших конях. Перед войском, а также сзади него и по бокам лежала живая степь — мирное добро земледельца. Синими задумчивыми бровями ждали чего-то далекие северные леса.

Впереди на донском жеребце ехал Жох — шапка красная, борода серебристая, очи мудрые, слово протяжное: степной русский царь.

Ехало войско на Пиотровский оружейный завод, чтобы выбить оттуда екатерининского полковника и поднажиться воинским снаряженьем. Всего в войске было человек семьсот или тыща, но храбрости в нем имелось на целые города и царства.

Иногда дорога шла в высоком травостое, где шевелилась самочинная животная жизнь, — и тогда войско пело песни, в которых лилось золото самородных раздумий и светилась воля, как росная влага.

Раскольники думали, что теперь конец их укромной вере, конец злосчастью и начинается шумная беспрепятственная жизнь, схожая с ветром, чешущим степное разнотравье.

Кормилось войско в старохмырском староверском монастыре — гречневой кашей и молоком.

До Пиотровского завода остался один денной переход. Если никто не докажет на Жоха прежде времени, то завод будет взят молчком.

К вечеру другого дня, как ушли из Аушина, началось предгорье — скоро должен быть завод.

Напоило войско коней в реке Альме, сказал Жох боевое слово — и войско тронуло коней на степную рысь, чтобы размять немного.

Окружили раскольники ночью завод и замерли до приказа Жоха.

Уже шла полуночь. Месяц блестел на стеклах заводской рабочей слободы, и собаки угомонились, не чуя в поникшей степи опасного звука.

Всадники лежали в траве, а лошади негромко жевали последний овес и накапливали силу для скачки.

Ход месяца по небу был виден глазам, и его свет так рассеивался в степи, что земля пропадала на своем краю и сливалась с трепещущим ночным небом.

Наконец ночь, месяц и близкое утро вошли друг в друга, и весь мир смешался в неясное томящееся привидение.

Тогда Жох дал свой позыв войску — гулкий длинный свист и двукратный хриплый крик.

Раскольники вцепились в коней и схватились за оружие — кто какое имел.

Но вдруг припогас и пошатнулся месяц в высоте — и вздрогнуло войско, как одна душа.

С завода гулко вдарила пушка-единорог, и близко пала трава от картечи. Взрыв долго несся по гулкому лунному пространству, потом перешел в дальний стон и замер в неизвестных местах, ущемляя страхом непричастных зверей.

Жох завыл от страсти боя и злобы — и закричал всему войску свой приказ царя. Всадники бросились на завод, тревожа ногами трепещущих коней и крича голосом для ужаса врага.

Но единорог начал бить беспрестанно, и еще два скрытых единорога тоже открыли пальбу. Со стен завода заискрилась ружейная стрельба — и степь стала шумящим потопом смертной страсти и отчаянья.

Со всей мочью крушили расстояние до завода раскольничьи степные кони.

Жох летел впереди и неустанно кричал нестерпимые ругательства, вспомня острожный нахальный язык.

Всадники сразу пронизали слободку, подняли на ноги всю домашнюю собачью стаю и разбудили петухов.

Пушки за огорожей завода работали не переставая, а солдаты царицы палили из пищалей и ружей, торча на заборах слободы. Но раскольники, теряя убитых, бросились прямо на завод за артиллерией и офицерами.

Жох круто воткнулся мордой лошади в заводские ворота и начал их в неистовстве рубить палашом. Но тут в тугой упор — из щелей кованых железом ворот — дали залп, и донской жеребец, ревевший на скаку, молча подломил под себя ноги и лег, умерев еще на ногах.

Жох прыгнул на коня своего соседа, сбросил с коня соучастника и в лютом бешенстве, побледнев до свечения лица, поскакал в степь. За ним — в угон — бросились уцелевшие раскольники, терзая чем попало усердных коней.

Люди, потерявшие коней, бежали пешими, но скоро они пропали с глаз и пали безвестной смертью: кто от картечи единорогов, кто от телесной истомы, а кто так навсегда запропастился в степи.

Пушки метали столбы земли впереди скачущих и отрезали отступление мятущимся мятежникам. Но раскольники, в забвенном бесчинстве, проскочили через эту смерть и опомнились уже в горной долине под ранним прохладным солнцем.

Отдышавшись, люди окружили Жоха.

— В Сибирь — на Зауралье! — сказал Жох. — Вертаться домой теперча немыслимо — там, должно, Катькино войско пришло! Какой-то змей про все доказал!

В полдень остатки войска тянулись через уральские перевалы на восток, в пустынную тайную Сибирь, в соседство простого зверя и кроткой травы — подалее от злого иноверца-человека.

На хрестце последнего кряжа, перед спуском в долины Сибири, Жох окоротил коня.

Понурые люди проехали мимо него, не видя сумрачной, дикой до скорби, вечной природы.

Жох постоял, оглянулся на Россию, рассеянную в бесконечном подсолнечном пространстве, и сделал рукою какое-то невнятное иносказание — не то прощаясь до счастливой встречи, не то горюя навсегда.

Затем он шевельнул коня и поехал немым загроможденным ущельем — вослед своему растерянному отряду, бредущему на затихших конях в неведомые края.

— Теща! — крикнул Жох нищему, бывшему в войске заодно со всеми.

— Чего, осударь? — отозвался Теща.

— Ты что думаешь? — спросил Жох.

— А тож самое, что и думал! — сказал Теща и сошел с коня по нужде. Жох тоже придержал лошадь.

— Без своего царствия — нам жить нигде не уместно! — говорил Теща, кряхтя в бурьяне. — Надо... необжитую землю сыскать... там и станем на земной причал...

V

В спешке шел девятнадцатый год.

Но ничто не изменилось в равнинах и тайге — и года могли бы не надседать: все равно природа здесь не шевелится.

Нас тянули люди и события. Нас удручали бессмысленные роскошные ландшафты, по которым мы двигались третий месяц с переполненной ядом усталости кровью.

Нам так было скучно, что мы возненавидели друг друга.

Четыре красно-зеленых партизана оторвались от своего отряда и три недели хоронились от колчаковских войск. Я был пятый — и самый лишний.

На четвертую неделю, теряя последнее мужество, нищенствуя по редким заимкам, мы вышли на среднюю Обь.

Мы знали, что Колчак начал большое наступление на красных, что партизаны рассеялись по тайге, и впали в удручение.

Горюя и жалуясь, сидели мы в полдень на берегу Оби и слушали тоскующий поток воды. Мы так устали, что не ощущали полностью себя, сомневаясь — те ли мы самые, что когда-то были детьми и имели родных матерей; точно ли звали меня Алексеем — и не обменялся ли нечаянно я на кого-то другого в трудном, фантастическом пути.

Нам недоставало зрелости, чтобы окунуться навсегда в печальную воду Оби и слиться с общей покорной жизнью грустной природы.

Самый старший и стойкий из нас вдруг замечтал о Москве, устав удавливать вшей в зловещем сюртуке, заменявшем ему рубашку и штаны.

И тут мы торжественно решили пробиваться на Москву и начинать жить. Мы обсуждали свой поход так же важно, как рождение в жизнь.

Мы уходили к устью Оби.

Туда каждый год в июле приходят из Архангельска и Мурманска торговые корабли. С ними мы хотели пробраться через север в Москву — город, очаровавший нас неимоверной жизнью, цветущей уже второй год.

Скорбь и озлобление остыли в нас; кровь забормотала в сердце — и мы тронулись дальше, ругая бессильные ноги.

— Куда ж мы идем? — спросил я, опять нечаянно упав душою. Мне захотелось лечь в траву, забраться в бор и отдохнуть сразу за всех предков.

— Как куда? — спросил спутник по имени товарищ Удавец. — К Ленину в соседи. Во куда!

На вечер мы шевелились в глухом древнем бору. Здесь даже птицы не пели и ничто живое не суетилось — такова была темь и гуща.

Мы еле лезли в этой тишине, изредка вереща слабыми голосами и расшвыривая наиболее нахальных вшей, двигавшихся по нашим мрачным лицам.

И вдруг засерело — бор либо кончался, либо переходил в поляну.

Я втайне решил, что лягу на этой поляне до рассвета — больше не могу; даже моя терпеливая мысль начала показывать мне одни привидения. И тут я со сладострастием подумал о смерти. Как, действительно, хорошо перемешаться с сырой старой землей и застлаться вечным забвением!

В смраде истощенного сознания я вспомнил об инстинкте смерти и понял его.

— Вы кто бываете? — невнятно сказал кто-то.

Но мы уже лежали безответными, нюхая сытную покойную почву и забывая себя, будто множась на части.

Утром нас так пробрал холод, что мы сразу стали людьми и вспомнили всю свою биографию.

Перед нами стоял старик в длинной холстинной рубашке и без порток. А за ним — в немощном свете бесшумного солнца — светился каменный вечный невозможный город.

Стиль города был надменен и задумчив, как гордость мудреца, достигнувшая последнего предела понимания. Архитектура зданий напоминала ионическую культуру, но до нее отсюда было пять тысяч верст.

Холщовый старик повел нас куда-то.

Мы пошли, потому что нам было все равно.

Захар, наш товарищ, скоро обнаружил, что женщин не видать. Хотя на что они нам нужны?

Но все равно. Нас, конечно, накормили — тогда мы почувствовали, что жизнь не бред, а существо твердое и блаженное.

Мы было приготовились отдохнуть, но нас повели опять в бор. Мы сопротивлялись, но жители того места окружили нас тучей и, не спрашивая нашего происхождения, вывели через бор к Оби. Там стояла лодка, мы в нее сели, нам дали проводника и оттолкнули от берега. Но, правда, на дно лодки поставили много сытной пищи в деревянных ведрах.

И мы поплыли дальше — к Ледовитому океану, отчасти довольные встречей с городом.

Отлежавшись, я разговорился с нашим проводником. Времени много, Обь длинна, лес растет медленно, и небо замечательно до скучной грусти — что будешь делать?

Проводник наш оказался тоже беглецом. Его отправили с нами в безвозвратное путешествие. Он забрел сюда из колчаковской армии — по тем же простым причинам, что и мы.

Звали его — Кузьма Сорокин, чином — поручик. Но нам теперь было все равно. На Оби тогда не имелось классового общества, и Сорокин был явно безвреден. Но он прожил в том месте, откуда нас выгнали, больше, чем мы, — и этим нас превосходил.

Сорокин тоже не обратил внимания, что мы красные, и даже обрадовался нам, но, наверно, впоследствии ошибся.

Длинный день он рассказывал мне свою историю, а потом перешел на скитания по тайге.

Того я и ждал.

Лодка плыла по силе течения, и Сорокин только направлял ее по середине реки, бессознательно подчиняясь крас-

ному большинству. А мы не возражали против его малой работы.

Оказалось, что то поселение, откуда мы тронулись утром, есть преуспевающий раскольничий скит. У сибирских староверов он известен под именем Вечного Града-на-Дальней реке.

— Скит этот весьма замечателен, — говорил, немного увлекаясь, Сорокин. — В нем жил в середине XIX столетия игумен Георгий — по прозвищу Царь — потомок основателя скита, некоего Семена Тещи. А кто такой Теща — никому не известно, но большой силы человек! Говорят, у Тещи был не то брат, не то приятель — какой-то Иван Жох.

Этот Жох выдавал себя за царя Петра Федоровича, как и Емельян Пугачев. Но Теща удушил угаром этого Жоха за то, что Жох выписал себе жену с Урала, где он когда-то жил и буйствовал против Екатерины Великой. Бабу Жоха этот самый Теща пожалел — она затяжелела ребенком. Потом зачала она сына и от Тещи. Но как только она разродилась от него Георгием, Теща ей вырезал хлебным ножом матку, и она скончалась. А мальчики — и тот и другой от нее — остались жить в скиту. Потом, когда вырос, мальчик Жоха привел жену — и так и жил. Теща уже умер, а раскольники-скопцы хоть и не любили женщин, но сыну Жоха простили женитьбу, потому что он был очень красив и ласков, как свет божий. А потом уж и внуку старики не препятствовали в любви. — У тебя нет закурить?

— Нет, — ответил я, позабыв, что у меня есть махорка.

— Игумен Георгий, — продолжал Сорокин, не обращая на меня внимания, — оставил после себя большую философскую рукопись на старославянском языке. Писал философию свою он всю жизнь. Наверное, не спешил. В философию вложил Георгий все свое одинокое восторженное и свежее сердце. Он думал годами над одним и тем же в ничем нерушимом покое тайги... — Тебе не скучно слушать? Может, ты лечь хочешь, то ложись — твои ребята уже спят!

Я ничего не ответил Сорокину, зная, что он сам кончит рассказ.

На удивление — в Вечном Граде-на-Дальней реке все жилища и церковь построены из камня, а не из дерева. Жи-

вут там крепкие люди, которые не зря променяли мир на изгнание.

— И этот Вечный Град, — доказывал Сорокин, — живет и сейчас в большом, брат, достатке и благополучии. Все оттого, что в нем после смерти Тещи наступил взаимный мир, а трудились раскольники всегда хорошо, поэтому и стал Вечный Град тайной и самой богатой раскольничьей столицей.

— Наверно, богатство и было настоящей силой, что влекла сюда исконных раскольничьих людей? — точимый любопытством вставил я. — Все прочее — вера в правильность двуперстного сложения руки, осьмиконечный крест, борода и другое — было так, лишь для признака дружной хозяйственной жизни. А этот Георгий — случайность, так сказать, жемчужина мечты в том царстве покойного богатства и сытой жизни, что вы прозвали Вечным Градом-на-Дальней реке?

Лодка влеклась сама по себе, вода пахла брагой, тянуло на длинный разговор, но проводник замолчал.

— А откуда ты знаешь про все эти подробности? — спросил я тут Сорокина.

— Как же! Я родился в Вечном Граде!

— Ну? — удивился и обрадовался я.

— Верно говорю! Я как раз сын внука Ивана Жоха. У меня мать была Сорокина. Родом она с Кубани, а в Сибирь приехала с первым мужем — переселенцем из Воронежской губернии. Тут ее увидел на ярмарке мой отец и отбил у первого мужа... Старики в нашем скиту все помнят, от них я и знаю всю эту историю!

— А как твоего отца звали? — зачем-то узнавал я.

— Лука! — ответил Сорокин.

— А почему же тебя прогнали из Вечного Града, раз ты родился там!

— Меня не прогнали: я сам еду.

— Куда?

— Через Архангельск на юг — к генералу Деникину! Драться с красными.

— За что?

— За веру, за Вечный Град, за тишину истории.

Спутники мои проснулись, то есть их разбудила нательная вошь.

— Будя бурчать вам! — осерчал Захар. — Спать не дали: орут над ухом!

Захар из нас был младший и самый вкусный — его особенно точила вошь, а он думал со злости, что мы его разбудили.

Обь вытянулась в прямую и блестела под склонившимся солнцем, как Млечный путь, как серебряное руно в дальней стране.

По берегам реки росли какие-то горы, но нас интересовала Москва.

Ночью я хотел убить Сорокина, но классовой силы у меня не хватило.

За меня сделал это другой: таманский командир в камере армавирской тюрьмы в 1920 году.

<1927>

ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

I

Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухого заброшенного песками городка Астраханской губернии. Это был молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами.

Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая, пустынная родина осталась в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда социализм уже затвердел. Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детство, боясь нанести глубокие незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу.

Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаные степи прикаспийского края, караваны верблюдов, ухо-

дящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной пудры, и дома в восторженном исступлении читала географические книжки отца. Пустыня была ее родиной, а география — поэзией.

Шестнадцати лет отец свез ее в Астрахань — на педагогические курсы, где знали и ценили отца. И Мария Никифоровна стала курсисткой.

Прошло четыре года — самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в молодой груди, и распускается женственность, сознание, и рождается идея жизни. Странно, что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучающие его тревоги, никто не поддержит тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет землетрясение роста. Когда-нибудь молодость не будет беззащитной.

Была, конечно, у Марии и любовь, и жажда самоубийства, — эта горькая влага орошает всякую растущую жизнь.

Но все минуло. Настал конец ученья. Собрали девушек в зал, вышел завгубоно и разъяснил нетерпеливым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри, и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами.

Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район — село Хошутово, на границе с мертвой среднеазиатской пустыней.

II

Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу — Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хошутово. В тихий июльский полдень открылся перед нею пустынный ландшафт. Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лёссовой пыли и ветер с шипением гнал потоки стонущего пе-

ска. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным. Среди дня, при безоблачном небе, нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лунной ночью.

Первый раз видела Мария Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни. К вечеру буря кончилась. Пустыня приняла прежний вид: безбрежное море дымящихся на верхушках барханов, сухое томящее пространство, за которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная звоном жизни.

В Хошутово Нарышкина приехала на третий день к вечеру. Она увидела селение в несколько десятков дворов, каменную земскую школу и редкий кустарник — шелюгу у глубоких колодцев. Колодцы на ее родине были самыми драгоценными сооружениями, из них сочилась жизнь в пустыне и на устройство их требовалось много труда и ума.

Хошутово было почти совсем занесено песком. На улицах лежали целые сугробы мельчайшего беловатого песка, надутого с плоскогорий Памира. Песок подходил к подоконникам домов, лежал буграми на дворах и точил дыхание людей. Всюду стояли лопаты, и каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов.

Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд, потому что расчищенные места снова заваливались песком, молчаливую бедность и смиренное отчаяние. Усталый, голодный крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-то чудесной помощи, либо переселения на мокрые северные земли.

Мария Никифоровна поселилась в комнате при школе. Сторож старик, очумевший от молчания и одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не жалея здоровья, над устройством ее жилья.

III

Оборудовав кое-как школу, выписав самое необходимое из округа, Мария Никифоровна через два месяца начала ученье. Ребята ходили неисправно. Придут то пять человек, то все двадцать.

Наступила ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне, как лето. Застонали страшные снежные бураны, перемешанные с колким, жалящим песком, захлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне заскорбели от нищеты. Ребятам не во что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу, и дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам.

К Новому году из двадцати учеников двое умерли, и их закопали в песчаные зыбкие могилы.

Крепкая, веселая, мужественная натура Нарышкиной начала теряться и потухать. Долгие вечера, целые эпохи пустых дней сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обреченном на вымирание. Было ясно: нельзя учить голодных и больных детей. Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески, а школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела.

И Мария Никифоровна догадалась: в школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю.

Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про свое намерение. Крестьяне ей не поверили, но сказали, что дело это славное. Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел народного образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ.

В округе к ней отнеслись сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой преподавать песчаное дело. А за помощью следует обращаться к участковому агроному. Мария Никифоровна рассмеялась: агроном жил где-то за полтораста верст и никогда не бывал

в Хошутове. Ей улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания.

IV

Прошло два года. С большим трудом к концу первого лета удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год добровольные общественные работы — месяц весной и месяц осенью.

И уже через год Хошутова было не узнать. Шелюговые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов, длинными лентами окружили Хошутово со стороны ветров пустыни и зауютили неприветливые усадьбы.

Около школы Мария Никифоровна задумала устроить сосновый питомник, чтобы перейти уже к решительной борьбе с пустыней. У нее было много друзей в селе, особенно двое — Никита Гавкин и Ермолай Кобозев, — настоящие пророки новой веры в пустыню. Мария Никифоровна вычитала, что посевы, заключенные меж полосами сосновых насаждений, дают удвоенные и утроенные урожаи, потому что дерево бережет снежную влагу и хранит растение от истощения горячим ветром. Даже шелюговые посадки увеличили намного урожай трав, а сосна — дерево попрочней.

Хошутово извека страдало от недостатка топлива. Топили почти одними смрадными кизяками и коровьими лепешками. Теперь шелюга дала жителям топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали от вечного безденежья. Та же шелюга дала жителям прут, из которого они научились делать корзины, ящички, а особо искусные — даже стулья, столы и прочую мебель. Это дало деревне в первую зиму две тысячи рублей приработка.

Поселенцы в Хошутове стали жить спокойнее и сытее, а пустыня по малости зеленела и становилась приветливей. Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми, которые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи.

Мария Никифоровна пополнела, несмотря на заботы, и еще больше заневестилась лицом.

V

На третий год жизни Марии Никифоровны в Хошутове, когда стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и шелюговые посадки, случилась беда.

В Хошутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами: через каждые пятнадцать лет они проходили здесь по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти пятнадцать лет хошутовская степь паровала, и вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя.

Но кочевники почему-то запоздали: они должны быть поближе к весне, когда еще была кое-какая растительность.

— Все равно придут! — говорили старики. — Беда будет!

Мария Никифоровна не все понимала и ждала.

Степь давно умерла — птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север к естественным водоемам.

25 августа в Хошутово прибежал колодезник с дальней шелюговой посадки и начал обегать хаты, постукивая в ставни:

— Кочуи прискакали!

Безветреная в этот час степь дымилась на горизонте: то скакали тысячи коней кочевников и топтались их стада.

Через трое суток ничего не осталось ни от шелюги, ни от сосны — все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала: кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто.

Хошутово замерло, поселенцы лепились друг к другу и молчали.

Мария Никифоровна заметалась от этой первой настоящей в ее жизни печали и с молодой злобой пошла к вождю кочевников.

Вождь выслушал ее молча и вежливо, потом сказал:

— Травы мало, людей и скота много: нечего делать, барышня. Если в Хошутове будет больше людей, чем кочевников, они нас прогонят в степь на смерть, и это будет так же

справедливо, как сейчас. Мы не злы и вы не злы, но мало травы — кто-нибудь умирает и ругается!

— Все равно вы негодяй, — сказала Нарышкина, — мы работали три года, а вы стравили посадки в трое суток... Я буду жаловаться на вас советской власти, и вас будут судить!..

— Степь наша, барышня. Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву родины, тот не преступник.

Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом.

В округе ее выслушал завокроно и ответил:

— Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хошутове обойдутся и без вас!

— Это как же? — изумилась Мария Никифоровна и нечаянно подумала об умном вожде кочевников, несравнимом с этим начальником.

— А так: население уже обучилось бороться с песками и, когда уйдут кочевники, начнет шелюгу сажать снова. А вы не согласились бы перевестись в Сафуту?

— Что это за Сафута? — спросила Мария Никифоровна.

— Сафута — тоже село, — ответил завокроно. — Только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на оседлость. С каждым годом их становится все больше. В Сафуте пески были задернелые и не действовали, а мы боимся вот чего — пески растопчутся, двинутся на Сафуту, население обеднеет и снова станет кочевать...

— А при чем тут я? — спросила Нарышкина. — Что я вам укротительница кочевников, что ли?

— Послушайте меня, Мария Никифоровна, — сказал заведующий и встал перед ней. — Если бы вы, Мария Никифоровна, поехали в Сафуту и обучили бы осевших там кочевников культуре песков, тогда Сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников, а те, кто уже поселился там, не разбежались бы! Вы понимаете меня теперь, Мария Никифоровна?.. Посадки же русских поселенцев истреблялись бы все реже и реже... Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в Сафуту: глушь, даль — все отказываются! Как вы на это смотрите, Мария Никифоровна?..

Мария Никифоровна задумалась: неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких ко-

чевников и умереть в шелюговом кустарнике, считая это полумертвое деревцо в пустыне лучшим для себя памятником и высшей славой жизни?

А где же ее муж и спутник?..

Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила умного спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь племен пустыни, поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в барханы песков, и сказала удовлетворенно:

— Ладно. Я согласна. Постараюсь приехать к вам через пятьдесят лет старушкой... Приеду не по песку, а по лесной дороге! Будьте здоровы — дожидайтесь!

Завокроно в удивленье подошел к ней:

— Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой! Я очень рад, мне жалко как-то вас и почему-то стыдно... Но пустыня — будущий мир, бояться вам нечего, а люди будут благородны, когда в пустыне вырастет дерево... Желаю вам всякого благополучия!

<1926>

РАССКАЗ О ПОТУХШЕЙ ЛАМПЕ ИЛЬИЧА

Моя фамилия Дерьменко. Идет она от барского самоуправства: будто бы предки мои в давнее время с голоду ели однажды барские тухлые харчи-дерьмо, оттуда и пошло Дерьменко.

Наше село Рогачевка от города шестьдесят верст; расположение имеет вкось по реке Тамлыку, что втекает в другую речку Усмань. По преданию, говорят, что Тамлык, иначе сказать Тимурлык, по-татарски — значит маленький сын Тимура. А Тимур, как исторически известно, был предводитель татар, кои в старые времена здесь скакали по степям и пользовались их сладкими травами для своих коней. А Усмань у татар — значит красавица. И вот будто бы Тимур влюбился раз в степную красавицу греческого роду, родил от нее сына Тимурлыка и ускакал бить балканцев. Гречанка от горя иссохла и умерла вместе с сыном-ребенком, а вернувшийся Тимур так затосковал по своей скончавшей-

ся любимой семье, что велел войску своему и пленным горстями насыпать два памятных кургана, а сам Тимур носил и сыпал землю мечом. И до сей поры у нас есть два жутких холма — один побольше, другой поменьше. Уже давно стерлась тоска в сердце Тимура, а курганы все стоят, и их не стерли ни ветер, ни вода. Вот что значит сердце человека.

Когда я гляжу на эти курганы, у меня начинается тоска и я чувствую в себе добросовестность.

Вот на этом знаменитом месте стоит наша Рогачевка — небогатое село. От барина Снегирева остался у нас сад в пятнадцать десятин — хороший сад, и дерева не старые. А как стало им пользоваться общество, вижу — гибнет сад: ни окопки, ни обмазки, никакого хозяйственного ухажорства, — плод еще зеленый, а уж ребятишки все вдрызг обломали, оборвали и поносом изошли.

А зимой зайцы кору лущат, — еще год, другой и — усохнет сад и пропадут чудеса его плодородия.

Думал я сильно, за всех, и враз схватила меня догадка: надобно крепкую, мудрую артель, и взять у общества сад. А мужики подходящие есть. И еще было у меня мечтание — построить у нас на Рогачевке электростанцию и чтобы при ней была мельница с просорушкой и обойкой. Это было бы очень способно для крестьян. У нас стоят семь ветрянок — все у кулаков; берут по четыре фунта с пуда, да еще когда ветер, а в летнее время ветры жидкие, — иной раз с голоду насидишься, хоть и есть зерно. Да и электрический свет даст селу интересное увлечение.

Сам я проходил в красноармейцах курсы электротехники сильных токов, а брат мой тоже любитель этих делов и знаток своему разуму. А до службы в войске я пять лет трубил линейным монтером на городской электрической станции, оттуда у меня и пошел интерес ко всяким механизмам и таинственности, с той же поры скучно мне на деревне и напрасной кажется бедность ее.

Собрал я артель, вышел на сходе и говорю мужикам:

— От барского сада нету нам прибытку, кроме как ребятишки по картузу зелени нарвут. А сад ведь, граждане, гибнет — то ведомо всем. Отдайте нам сад, — говорю. — Только пять лет мы вам ничего платить не будем, а за то сад при-

ведем в показательный порядок и электрическую станцию вам построим с линией и вводами на сто дворов, а дальше сами тяните (я уже подсчитал про себя сколько даст сад и сколько стоит станция). При станции же оборудуем мельницу с камнем на девять четвертей, просорушку и обойку для пеклеванной муки. И все это добро передадим кому общество укажет, а лучше кредитному товариществу — на правильное пользование. А по изжитии пяти годов и сад вам в целости предоставим либо аренду будем должее держать, — это, — говорю, — как вам угодно будет.

А меня влекла не только полезность дела и свое пропитание, но и интерес к жизни — советское строительство.

Тут пошел гам и обсуждение предложения.

— Брось, — говорят, — Ефимыч, не твоего ума это дело. Погорим от твоего электричества…

— Фролка, а каково твое обеспечение, где залоги возьмешь, аль обчество дэриком отдаст тебе сад?

— Набрался газу в городе, умней всех стал...

— Не трожь напрасно: Фрол — городской парень, он и ране был по разуму ходовитый...

— Жрал сто лет дерьмо, на яблошные харчи хочешь...

— Знаем мы этих изобретателев — землю липистричеством мазать хотят, дожжу пущать...

— Оно любопытно, только ни хрена не выйдет: тут иностранец нужон...

Вышел здесь председатель сельсовета, мужик здравый и в зрелых летах:

— Тиш-ша! Пулеметы, гуси-лебеди! Девки, брось зерна грызть! Кузьма, отставь от себя брехню и агитацию!.. Граждане, садом нам не владать все едино, не к рукам он нам. А Фролка на глазах будет — ежели што, враз водворим на его усадебное место... Рыска я не вижу, а посулы Фролкины — не обида...

Обломались к вечеру мужики — сдали нашей артели сад на пять лет. Все буквально в протоколе отметили, и расписались мы всей артелью казенным почерком с фигурами. Один из артели нашей, Прошка Кузнецов, сумел лебедя вывести. Даже председатель сельсовета, который видел сзади, как Прошка старался, сказал ему:

— Да будет тебе, Прокофий, мудрить на официальной бумаге, ты не шуточное дело делаешь и собрание задерживаешь...

Осенью было дело. Грузно нам пришлось зимовать: харчей мало, артельщики люди без избытку, одежи нет, тот же Прошка зимой и летом ходил в железных калошах, которые сам сделал, — в холодное время у него, говорят, пот на ногах мерз. Однако с весны до самых плодов не посидели — суетливое дело сад.

Пошла завязь, а потом плод, — еще хуже стало — лезет вся деревня к нам. Сколько тут скандалов, сраму было — день и ночь не очнешься. Да ведь не ребятишки донимали: сурьезные мужики ломились за яблоком.

Захватишь и говоришь:

— Да ты бы попросил, Фома, я бы тебе дарма насыпал!

— Да я и не лез, — говорит, — я бадик сломить зашел. Нужон твой сад, хозяин нашелся! Выгоним скоро обратно: обчество говорит, урожай хорош, Фролку долой с нашего имущества!

А раз захватили милиционера и секретаря совета с двумя битыми мешками: что тут делать будешь? Хотел я усовестить — куда тебе! Мы, говорят, не себе, а детдому! Так чего же, спрашиваю, нам сперва не заявили и предписания не дали — ведь мы организация. Молчи, отвечают, мы знаем, что делаем, не суйся в административные мероприятия.

Тогда Прошка (который и захватил их), слова не говоря, хрясь ладонью милиционеру в ухо, ляп железной калошей секретарю в спину. И так и далее. Однако дело это прошло молчком: вреда эти власти нам впоследствии не сделали.

Подговорились мы с одним городским армянином сбывать ему фрукт, и стали водиться у нас деньги.

Вышел сезон — подсчитали, свели в срезёк баланец, ан три тысячи с лишком чистого дохода.

И хлебом мы запаслись на цельный год, и прикупились кое-чем для себя и для сада, а три тысячи остатку. Сильный был фрукт, да еще червь попортил.

Надобно договор до дела доводить.

Поехали мы с братом и Прошкой в город — двигатель покупать. Походили, поспросили — дорого. Зато машины, говорят, на букву ять.

— Нет, — отвечаем, — дорого. И при чем тут твоя царская буква?

— Букву не лай, — говорит сиделец, — она довоенного качества!

Наконец довел нас до дела один гражданин из Дома крестьянина. Пришли мы с ним к одному частнику: видим — мельница на дворе стучит. Входим — идет шведская машина. Отсечка — мягкость и чистота, газ — без дыма, тянет восьмерики плавно, бесшумно, шутя, — вся блестит и влечет, как кровная лошадь. Танец, а не работа, шут ее дери! Я понимаю это, я сам электромеханик.

Долго мы вращались около двигателя. Сколько, спрашиваем, машина стоит со всей гарнитурой — чохом. Как раз и постав мельничный тут же, и рушка, и обойка, и бочки для нефти, и весь инструмент.

— Пять тысяч, — говорит нам хозяин.

Дней пять мы ходили — испытывали постав, разбирали машину и торговались. Сошлись на трех с половиной тысячах. Ведь машина сорок сил, да причиндалу сколько.

А денег у нас три тысячи двести. Поговорили с хозяином — согласился обождать триста рублей. Тогда мы вошли во владение машиной и мельницей, пошли в сельскохозяйственный банк и заложили все благоприобретенное за две с половиной тысячи. На эти деньги мы окончательно расплатились за двигатель и купили в тресте динамо, два маленьких электромотора для молотьбы, приборы, щиты, провода, лампы и прочее.

И начали мы возить имущество в Рогачевку. Сопровождал Прошка — ездил и ужасал встречных мужиков.

— Прокоп Палыч, нюжли ж взаправду светить и молотить оно будет?.. А я так думаю, не двинется оно — все же мертвый минерал...

— А ты пойди тронь, — отвечал Прошка, показывая на какой-нибудь изолятор на возу, — тронь, Матвей, пальцем! Да не бойся — тебе приятно станет...

— Да ну тебя к шуту — изувечит еще...

— Ага, а говоришь мертвый минерал: это энергетик, тайная живность...

Кредитное товарищество дало нам амбар под станцию — туда и свезли все. Начали мы орудовать с братом и Прошкой. Привезли цемент и начали класть фундаменты под двигатель и динамо.

Утром поедим в саду печеных яблок с молоком — и до вечера на электростроительство. От народу в амбаре работать было нельзя: каждый указывает и советует, но и помогали иногда.

Собрался раз в кредитном сход о налоге, исчерпали повестку дня, я вышел и говорю:

— Трудно, граждане, втроем станцию — завет Ильича и основу социализма — строить. Нужна ваша помощь. Свезите нам из лесничества столбы, ошкурите их и вкопайте вдоль по улице, как мы укажем. Затем я полагаю, что бесплатно следует провести электричество только безлошадным и неимущим, по списку комитета взаимопомощи, а остальным по десять рублей с хаты.

Мне говорят:

— Правильно, Фрол Ефимыч, — устроим. Видим твои старания, от забот борода облупилась!..

Тогда дело пошло спорее: мы с братом установку делаем, а мужики под руководительством Прошки столбы вкапывают, линию тянут и вводы в хаты втыкают по особому списку, а богатых проходят мимо: если хочешь свету-силы, вноси десять рублей.

Прошка стоит на столбу и верховодит:

— Кузька, глянь, как столб твой стоит — переставь вкрутую, это тебе не бадик!.. Егорка, давай голую магистраль, сними валенки, чего ноги паришь!.. Петруха, неси харчей из дома, скажи — Прошка требует!.. Эх вы, жлоборатория, да разве так тянут провод — это вожжи, где же тут напряжение пойдет? Его ветер сдует! Тяни втугачку, сопля, жми до пупка — технически трудись!

Вечером мужики наблюдают:

— До чего ж ходовит Прошка — огнем горит: глянь, с версту уже протянули! Ты скажи, и не обидчив! И сам смеется, и все ребята грохочут...

Когда у Прошки затекали руки и ноги, он слезал со столба и выплясывал из себя тут же всю усталость. Тогда все бросали работу и сбегались к нему. Прошка, поплясав и поорав, сразу смолкал и уставлялся своими белыми глазами на толпу:

— По местам, электромеханики, аль инженера не видали?

Довольные «электромеханики» расходились на работу.

По вечерам мы задумчиво отдыхали. Машины уже собраны и блестят, по соломенному селу ходит влажный осенний ветер, а Прокофий греет ужин.

Наконец настал день — 5 ноября. Мы сделали деревянную звезду с лампами, через улицу протянули гирляндой тридцать ламп, а самая улица освещалась десятью фонарями на версту.

Кроме того на площади против станции поставили две молотилки с электромоторами и подвезли хлеба к ним.

Ночью втихомолку мы попробовали станцию: впрягли в двигатель все — и динамо, и постав, и рушку, и обойку. Двигатель пошел мерно и без натуги. Улица засияла огнями, звезда в разноцветных фонарях светила с крыши дома кредитного товарищества на десять верст через село в степь, в ста хатах тоже загорелись лампы, — мужики в смятеньи проснулись, заплакали дети, бабы их начали кутать и выносить на улицу, но в ту осеннюю ночь на улице тоже горел электрический свет. По селу началась горячка. Народ бежал к станции, радуясь и тревожась, угрожая и удивляясь. Всех охватило смутное чувство, и сон в селе пропал. А предприятие наше было на полном ходу и жутко гудело таинственной силой. Прошка стоял у распределительного щита и следил за приборами, мы с братом мотались от двигателя к мельнице, от мельницы к молотилкам, устраняя неполадки, слушая ход и дыхание механизмов.

Над селом плыло великое зарево, за околицей гремели чьи-то убегающие телеги по заквоклой обмерзшей земле. Был третий час ночи. Тогда я крикнул человеку на щит:

— Прокофий, запри нефть, включай реостат, вырубай село, кредитное и улицу!

И Прошка ответил:

— Есть, механик, — вырубай ток!

Свет погас всюду, и сразу все ослепли от вновь нагрянувшей страшной ночи.

Полуодетый народ стоял в полном молчании, он ошалел и поник.

— Прокофий, переведи ремень на холостой шкив, пусти двигатель, затем прекрати нефть, открой все краны и продуй машину!

— Есть, продуй машину! — ответил Прошка. Он, должно быть, матросом был: очень уж ловок и тактичен.

Машина пошла ходко, а затем засвистела дикими голосами во все открытые отверстия.

— Прокофий, заулючь установку, конец работе!

— Есть, заулючь механизмы, работу прекратить!

Стало торжественно, и мы пошли к себе в сад, домой, отдыхать. Но мы не уснули, а разволновались и просидели до света в разговорах по механике.

Наступил день открытия станции. Организовать праздник взялась сельская ячейка большевиков. К тому же открытие совпало с днем Октябрьской революции. Наше дело малое: мы вновь проверили машины.

Ячейка вела дело лихо: разослала всем соседним селам и городу особое трогательное приглашение.

Было сухо — народу съехалось, как на обношение мощей в старое время. Приехала вся большая власть и простые крестьяне.

В зале кредитного товарищества назначено было торжественное заседание. Прошка ввернул туда пять ламп по шестьсот свечей, чтобы свет бил до слепоты.

Уже завечерело, мы стоим на станции наготове и греем двигатель паяльной лампой. Вдруг приходит за мной предуика товарищ Кирсанов: пожалуйте, говорит, Фрол Ефимыч, в залу.

Сейчас, говорю, а сам задержался:

— Прокофий, — обращаюсь, — Семен (это брат мой), глядите, ежели што — стыд и срам: кувалдой запущу! Я скоро вернусь. Пускай машину — вруби одно кредитное, я выключатель там выключил, — как увидишь нагрузку на амперметре — глаз не своди! — так моментально включай все

и пускай на полный ход предприятие целиком. Ты, Семен, следи за молотилками, мельницей и всем прочим, — поставь надежных мужиков.

Прихожу в зал кредитного: чувствуется торжественность, тишина, а народу, как ржи в мешке. За красным столом — власть и два наших мужика, а сбоку оркестр.

Прохожу сквозь ущелье стульев и иду прямо в президиум: мне машет оттуда предуика. Сажусь. Начинается вечер его речью. На столе горит пока что керосиновая лампа — для пущего противоречия!

Умно говорил предуика: лампа Ильича сейчас, говорит, вспыхнет и будет светить советскому селу века, как вечная память о великом вожде. Мотор, говорит, есть смычка города с деревней: чем больше металла в деревне, тем больше в ней социализма. Наконец, указывает на меня, — строитель электрификации Фрол Ефимыч есть тоже смычка: глядите, он родился крестьянином, работал в городе и принес оттуда в вашу деревню новую волю и новое знание... Объявляю рогачевскую сельскую электрическую станцию имени Ильича открытой!

Я еле успел подбежать к выключателю и дал свет. Свет упал в темную залу, как ливень: три тысячи свечей пожертвовал сюда Прошка. Все зажмурились и нагнулись, как будто лилась сверху горячая вода. Оркестр заиграл Интернационал, все встали и закричали что попало. Я подошел к окну: пятиконечная звезда, уличные фонари, лента через дорогу, хаты — все сияло. Народ бросился глядеть наружу.

Дальше говорил предсельсовета, потом секретарь укома, а затем вышел председатель нашего кредитного товарищества:

— Товарищи! Что мы здесь обнаружили? Мы обнаружили лампу так называемого Ильича, то есть обожаемого товарища Ленина. Он, как известно здесь всем, учил, что керосиновая лампа зажигает пожары, делает духоту в избе и вредит здоровью, а нам нужна физкультура... Что мы видим? Мы видим лампу Ильича, но не видим тут дорогого Ильича, не видим великого мудреца, который повел на вечную смычку двух апогеев революции — рабочего и крестьянина... И я говорю — смерть империализму и интервенции, смерть всяко-

му псу, какой посмеет переступить наши великие рубежи… Пусть явится в эту залу Чемберлен либо Лой Жорж — он увидит, что значит завет Ильича, и он зарыдает от своего хамства… И я говорю: помни завет вечного Ленина, носи его умное лицо в своем несчастном сердце…

Тут председатель кредитного заплакал, сел и вынул кисет.

Еще говорил всем на удивление наш мужик, Федор Фаддеев:

— Граждане, сказано в писании: вначале бе слово. А кто его слыхал, и еще чуднее, кто его сказал? Нет, граждане, сначала был свет, потому что терлись друг о друга куски голой земли и высекалось пламя… Граждане, ведь мы слышали сейчас задушевное слово наших вождей и видим, что действительно электричество есть чистота и доброе дело…

Поговорив еще с час, Федор сбился и сел, и весь вечер не мог очнуться от своей речи.

Остальную ночь я пробыл на станции. На дворе в драку молотили хлеб и дивились маленькой напористой машине — электромотору. Всю ночь зарево пропускало над собой тучи, и темная долина Тамлыка была впервые освещена от сотворения мира.

*

Так прошел счастливый год. Станция везла уже не сто, а триста дворов. Мельница не управлялась молоть хлеб, и кооперация, которая владела всем предприятием, здорово наживалась. Ветряки заглохли — весь помол отобрала мельница на станции: она брала дешевле, от налогов была свободна и работала без задержки, а кооперативный приказчик был обходительный человек и приучил мужиков.

А мне не раз уже говорил председатель кредитного, что мельники с ветряков собираются сжечь станцию, но я думал, что они не посмеют. В сельсовете подсчитали, что одна наша мельница, не считая пользы от освещения, молотьбы, рушки и обойки, сберегла мужикам за год шесть тысяч пудов хлеба — это то, что мужик переплатил бы мельникам-кулакам, если бы не было нашей мельницы. Да еще заработок весь пошел не кулаку, а кооперации — это тоже прибыток.

Оказывается, действительно, в правление кредитного приходили два сельских мужика и говорили, что один мельник, владелец самого большого ветряка, подвыпивши, обещал сжечь все паровое заведение в августе — перед обработкой нового урожая. Я посоветовал кредитному застраховать предприятие, повесить в нем огнетушители и нанять ночного сторожа, а на кулака донести власти. Не знаю, сделало ли это кредитное товарищество.

Только раз, когда я спал — дело было в августе, работы в саду много, за день уморишься здорово — будит меня Прошка:

— Ефимыч, вставай, в Рогачевке полыхает што-то свечой, должно станция, хаты так не горят — это нефть...

От сада до села была верста. Добежали мы до станции, видим — уже нет постройки, все машины в огне и по двигателю зелеными струями текут расплавленные медные части.

*

Теперь стоит в Рогачевке линия, висят фонари на улицах, а лампочки в хатах все засижены мухами до потускнения стекла.

Прошка ездит на тракторе, а я думаю опять уйти в город и поступить там на электростанцию линейным монтажистом. Брат осел в деревне окончательно и разводит кур-плимутроков. Хотя на что нужны куры кровному электромеханику?

<1926>

РОДОНАЧАЛЬНИКИ НАЦИИ, ИЛИ БЕСПОКОЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

I

Город, что он такое?

Шли-шли люди, великие тыщи шли по немаловажному делу, а потом уморились, стали на горе — реки текут тихие,

вечереет в степи; опустились на землю люди, положили сумки и заснули, как птицы — всею стаей.

Поднялись и забыли куда шли: сном изошла тревога, которая вела их по дорогам земли.

Встали, как родились, — ничего никому не ведомо. И силу телес люди направили в тщету своего ублаготворения. Животами оправились и размножились, как моль.

Иван Копчиков — мужик сдобный и мордой миловидный — переменился. Высокий вышел, худощавый парень, с терпеливыми стоячими глазами. Пушиться стало лицо и полосоваться бичами дум.

Шел Иван по улице и думал о городах — больших и малых.

Играла музыка в высоком доме. Остановился Иван, и сердце в нем остановилось. Кто это так плачет и тоскует там так хорошо? У кого голос такой? Если звезды заговорят, то у них только будут такие слова.

Песнь — это теснота душ.

А такой песни Иван еще не слыхал. И ему захотелось сделать такое, чего никогда не было. Самому пропеть такую песнь, чтобы люди побросали все дела свои, всех жен своих и все имущество, и сбежались слушать, и так заслушались бы, что есть, пить, размножаться и серчать позабыли бы.

Постоял-постоял Иван и пошел дальше. Потемнело уже. Огни по улицам зажглись, и свет их не давал копоти.

Люди толклись кругом, гнала их вперед и назад некая могучая сила.

Повозки неслись по мостовой, а один толстый большой человек сидел на корточках у дома, где должен быть завалинок, и ел землянику-ягоду, и крякал и чмокал от ублаготворения.

Иван постучал в дверь соседнего не очень большого, но благовидного дома. Отворила женщина, молодая и благоухающая травами.

— Вы что, дорогой мой?

— Переночевать можно?

— Переночевать?.. Вам негде ночевать? Я не знаю... Вот папа скоро придет... Вы подождите. Входите сюда.

Иван вошел. Сел на мягкую скамейку. Кругом — мебель и неизвестные вещи, которые не нужны человеку.

Женщина оказалась девушкой и села читать книжку. Иван спросил ее:

— Ты што читаешь?

— Стихотворение Лермонтова. Вы их читали?

— Нет, — ответил Иван. — Дай-ка я погляжу.

Иван полистовал и прочел:

В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.

Иван встал на ноги и начал читать. Потом сел, поглядел на девушку заплаканными глазами и отдал книжку.

Пришел отец этой девушки. Похож на мужика и в сапогах.

— Эт што за жлоборатория?! Тебе чего?..

— Нам на ночевку, — сказал Иван.

— На ночевку вам? Што тут, ночлежный дом, што ль? Откуда сам?

— Суржинские мы...

Подошла к отцу сама барышня.

— Пускай, пап, остается. Он хороший.

— А если што пропадет, ты отвечать будешь? Дыня-голова, обалдела, што ль! Вшей тут плодить!

Наконец-таки отец умилостивился:

— Ну, пущай в передней ляжет и глаза мне не мозолит.

Ночь нашла тучей — тихой и прочной тьмой. Иван лежал на попонке и дремал. И тихо из комнаты забубнил голос хозяина, как будто закапала вода.

Иван прислушался. Отец девушки читал. Тикали часы, и капали слова:

«Всякая цивилизация есть последствие целомудрия, хотя бы и неполного. Целомудрие же есть сохранение человеком той внутренней могучей телесной силы, которая идет на производство потомства, обращение этой силы на труд, на изобретение, на создание в человеке способности улучшать то, что есть, или строить то, чего не было.

Цивилизация есть целомудрие. Она есть нищета по отношению к женщине, но тяжкий груз мысли и звездоносная жажда работать и изобретать то, чего не было и не может в природе быть.

Свирепости природы, ее крушения, засухи, потопы, нашествия микробов, невидимые влияния электросферы — приучили человека к работе, бою, передвижениям по поверхности земли и войнам между собою.

Когда кончались войны и слабела борьба с землей за пищу, то человек возвращался в дом к женщине, но уже он был не тем, каким ушел. Он делается более целомудренным, и хоть и живет с женой, но меньше спит с ней и глубже пашет. Прочнее и выше строит дома, чаще задумывается, острее видит, искуснее изобретает и приспособляет свои орудия и свой скот к работе.

Но все цивилизации земного шара сделаны людьми только немножко целомудренными.

Теперь наступило время совершенно целомудренного человека — и он создаст великую цивилизацию, он обротает землю и все остальные звезды, он соединит с собою и сделает человеком все видимое и невидимое, он, наконец, время, вечность превратит в силу и переживет и землю, и само время.

Для этого — для прививки человеку целомудрия и развития, отмычки в нем таланта изобретения — я основал науку антропотехнику.

Основатели новой цивилизации, работники коммунизма, борцы с капитализмом и со стихиями вселенной, объединяйтесь вместе и перед борьбой, перед зноем великой страды — испейте из живого родника вечной силы и юности — целомудрия. Иначе вы не победите!

Силою целомудрия перестройте и усильте сначала себя, чтобы перестроить затем мир...

Прощай, невеста и милый друг! Пусть сократятся твои дороги по земле и душа наполнится легчайшим газом радости. Не вовремя ты родилась. Для тебя время рождения никогда не придет. Ты из членов того человечества, которое не рождается, а остается за краями материнской утробы. Ты — тощее семя, которое не оплодотворяется и не разбу-

хает человеком. Нечаянно твое гиблое начальное семечко слепилось с другим таким же обреченным семечком — и вылепился человек, который не бывает, а если бывает, то слепит глаза людям чудом — и погибает без вести, как ветер, уткнувшись в гору.

В черноте и великой немости стоят звезды на небе, как большие неморгающие очи, плачут светом и путь свой оставляют серебряным руном».

Иван слушал, не понимая. Сердце его шевелилось, и сам он шел странником по городам, по странам, по заросшим садами звездам, по томительным, смертным пустыням.

Над городом, над полями, над деревнями, над всею преющей землей шла немая, бездыханная ночь, как было спокон веков.

Далеко по земле ехал мужик Кондратий из Мармыжей в Суржу.

— Н-но, ошметок, тяни, не удручай — потягивай, не скучай!

Ехал Кондратий пустыми ветреными полями и разговаривал:

— Мне нужен хлеб... А кто его даст? Намолотил, вон, три копны. Душа также надобна. Как ее изготовишь, когда неведомо творение?.. А люди живут, что? Пузо стерегут да баб мнут... Нет тебе никакого направления либо што чего... Нет тебе нигде ни дьявола!..

II

Тянулась тщедушная жизнь, как деревенские щи. Живешь-живешь, а жизнью все не налопаешься. Плохо жить без любви, как без мяса обедать.

Появилось в теле у Ивана Копчикова как бы жжение и чесотка, — сна нету, есть не охота. Жара в животе до горла. Хочется как бы пасть волку разорвать либо яму руками выкопать в глубину до земного жара.

Иван уже знал, что в могиле тепло, а в глубоких землянках рыбаки живут и зимой у самого льда.

Бесится в тесном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету. Думы все Иван передумал, дела произвел, хату отцу починил, плетни оправил, баклажаны ополол — все как следует быть.

Сидит Иван вечерами и ночами на завалинке. Сверчки поют, в пруде басом кто-то неспеша попевает и попевает, как запертый бык.

Радость внутри сердца Ивана кто-то держит на тонкой веревочке и не пущает наружу.

А Иван совсем ошалел, Мартын же иногда давал ему направление.

— Тебе б к бабе пора, — говорил Мартын Ипполитыч — сапожник сосед, мудрое в селе лицо, — а то мощой так и будешь.

И шел раз Иван по просеке в лесу.

Ночная муть налезала на всю землю. В воздухе было невидимо и запахло хлебной коркой.

И идут сзади вслед торопкие и легчайшие чьи-то ноги. Иван обождал. Подошла, не взглянула и прошла Наташа, суржинская незавидная девка. И видел и не видел ее ранее Иван — не по-мнил. В голове, в волосах и в теле ее была какая-то милость и жалость. Голос ее должен быть ласковый и медленный. Скажет — и между словами пройдет дума, и эту думу слышишь, как слово.

И в Ивановом сердце сорвалась с веревочки радость и выплыла наружу слезами.

Наташа ушла, и Иван пошел.

На деревне — тишина. Из сердца Ивана повыползли тихие комарики — и точат и жгут тело, и сна не дают.

Шли дни, как пряжу баба наматывала. Живешь, как на печке сидишь, и поглядываешь на бабу — длинен день, когда душа велика. Бесконечна жизнь, когда скорбь, как сор по просу, по душе разрастается.

Простоволосые ходили мужики. Чадом пошла по деревне некая болезнь. Тоскуют и скорбят, как парни в мобилизацию, все мужики.

Баб кличут уважительными именами: Феклуша, дескать, Марьюшка, Афросиньюшка, Аксинь Захаровна.

Благолепное наступило время.

Тихо ласкали по деревне люди друг друга, но от этих ласк не было ни детей, ни истомы, а только радость — и жарко работалось.

Посиживал Иван с Наташей и говорил ей, что от них по деревне мор любовный пошел: завелась у Ивана в теле от Наташи как бы блоха какая, выпрыгнула прочь и заразила всех мужиков и баб.

Здесь вошь любви, но она невидима. Пускай прыгает она по всему белому свету, и будет светопреставление.

Приезжал доктор из волости, освидетельствовал самых благородных мужиков и определил:

— История странная, но вселенная велика и чудесна — и все возможно. Мы, как Ньютон еще сказал, живем на берегу великого океана пространств и времен и ищем разноцветные камушки... И эта бацилла-аморе только самая ядовитая хворь.

III

Пустынножительством стала земля. Свирепело и дулось жаром солнце, будто забеременело новым огнем неимоверной силы.

А по полям только шершавый терпеливый жухляк трепыхался, да змеи в горячем песке клали длинные пропадающие следы. Змея, она не похожа ни на одного зверя, она сама по себе, немая и жуткая тварь. Змея не любит ничего, кроме солнца, песка и безлюдья.

Как в печке, сгорели посевы и с ними — жизнь. Тела мужиков обтощали — даже худощавым плоскушкам еды не хватало.

Ни тучки, ни облака, ни ветра. Один белый огонь цельный день, а по ночам медленно-текучие оглядывающиеся звезды.

Были необходимы ветры — но воздух поредел от тишины.

И вот уже в августе трое суток то наступала, то отступала и дробилась зноем тяжкая туча. Разнесло ее во всё небо.

— Не к добру, — говорили старики, — из такой не вода, а камни полетят.

Вышел в поле Иван и ждал. Но в поле ничего не оказалось. Птица, зверь и всякое насекомое исчезло и утаилось.

Насела туча, темнее подземных недр. Но ни капли, ни звука из нее.

Ждал до вечера Иван — не шелохнется туча. Всю ночь не спал, все слушал, как камни вниз полетят. Ничего не было, и утром так же стояла туча.

И только в полдень ослепила небо и землю сплошная белая молния, зажгла Суржу и травы и леса окрест. Вдарил такой гром, что люди попадали и завыли и звери прибежали из леса к избам мужиков, а змеи торцом пошли в глубь нор и выпустили сразу весь яд свой.

И полетели вслед за молнией на землю глыбы льда, и крушили все живое, и раздробили в куски мертвое.

Упал Иван шибче льдины в лог и ткнулся в пещеру, где рыли песок в более благопристойное время.

За ледобоем вдарил сверху тугой водяной столб, заготовляя влагу впрок.

И синее пламя молний остановилось в небе, только содрогалось, как куски рассеченной хворостиной змеи.

Пошла вода из туч — аж дышать нечем. Воет и гнетет свистящий и секущий ливень.

И за каждым громовым ударом — новым свирепеющим вихрем несется вода, и, как стальным сверлом, разворачивает леса и землю, и почву пускает в овраги бурыми потоками...

К вечеру стих мало-помалу водяной ураган.

Стало холодно. Внизу по оврагу еще неслась вода. А по откосу, где был в пещере Иван, только топь и вывороченная, разрушенная земля.

Выбрался Иван наружу и глянул. Не было ни Суржи, ни леса, ни полей. Чернели глыбы разодранной земли, и шипела вода по низинам.

Задумался Иван:

— Град и ливень рухнули вниз, когда засияли молнии. До того туча шла мертвой.

И пошел Иван прямо к Власу Константинычу — волостному доктору, тому самому, который заразу любви обследовал.

Влас Константиныч любил книги. Жил без жены и существовал лишь для пытания природы.

Влас Константиныч любил всех суржинских. Пришел к нему Иван и говорит:

— Дождь от молнии пошел, а не от тучи.

— Как тебе сказать, — ответил доктор, — от электричества.

— А электричество самому сделать можно?

— Можно...

И доктор показал Ивану баночку на окне, из которой шла вонь.

— Дайте ее мне совсем, — попросил Иван.

— Что ж. Возьми. Это штука дешевая. А зачем она тебе?

— А так, поглядеть. Я принесу ее скоро.

— Ну-ну. Бери, бери.

Иван ушел к рыбакам на Дон, ибо Суржу со всеми домами пожгла молния и задолбил ледобой.

Иван понял одно, что электричество собирает в воздухе влагу всякую и скучивает ее в тучи.

— А когда бывает засуха, значит, можно все ж таки наскрести влагу электричеством и обмочить ею корни?

Когда просохла земля, Иван стал добиваться, как сделать влагу электричеством.

Жил он в землянке у Еремы, старика, посвятевшего от одиночества и от природы, и ел подлещиков, голавлей, сомов и картошку.

Зной водворился опять. Все повысохло. Запылала и заныла земля.

На всякие штуки пробовал банку Иван — ничего не выходит. И только когда догадался он проволочку от винтика на баночке прикрепить к корням травы — тогда дело вышло. Тогда трава зазеленела и ожила, а кругом стлалась одна мертвая гарь.

Иван поковырял землю, добрался до корешков и пощупал — сыровато.

— Надо жить теперь неспроста, — решил Иван, сердечно радуясь от любопытства к природе.

IV

Вдрызг, в чернозем сбита и перемешана старая Суржа и пожжена. Только кирпичи от печек остались, да одна курица в норь какую-то каменную забилась и теперь отживела и ходит, беспутная. Никакой живой души: льдины с неба покололи все мужиковские головы.

Но через десять дён обнаружился еще Кондратий — мужичок неработящий и бродяга, — бывал он раньше на шахтах, а теперь жил при брате скотом.

— Я, — говорит, — буду управителем русской нации. И пахать тебе не буду.

И вот теперь Кондратий обнаружился: в печке просидел и вылез невредимым. Поглядел-поглядел он на курицу:

— Что ты голову мне морочишь, скорбь на земле разводишь! Кабы б две хоть, а то одна! Ай ты нужней всех?

Поймал, защемил за шею и оторвал ей курью башку.

— Тварь натуральная, тебе и буря не брала!..

И переменился душой Кондратий:

— Брешешь! Человека не закопаешь: тыщи лет великие жили!

И стал жилище себе обделывать из разных кусков и оборок расшибленной Суржи. Получилась некая хата.

Пришла одна суржинская девка из города. Вдарилась оземь:

— Родные мои матушки!.. Не схотели жить, мои милые!.. — и пошла, и пошла.

Подошел к ней Кондратий:

— Не вой, девка! Видишь, народонаселения никакого нету... Стало быть, я тебе буду супругом.

И обнял ее в зачет будущего — для началу.

Через некоторую продолжительность явился в Суржу с Дона и Иван Копчиков. Принялись они втроем за вторую хату. Иван работал, как колдун, — и построил сразу еще две хаты.

У девки уже к зиме живот распух.

— Нация опять размножится, — говорил ублаготворенный Кондратий.

— Надо другую родить, — сказал Иван, — какой не было на свете. Старая нация не нужна...

Иван задумался о новой нации, которая выйдет из девкиного живота:

— Надо сделать новую Суржу — старая только людей томила и хлебом не кормила.

Так порешили Иван и Кондрат.

— Благолепие будет, — сказал Кондрат и почесал свою мудрую башку, якобы родоначальник нации.

V

По дороге, выспавшись в ближней деревне, шел человек. Кто знает, кем он был? Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с верхнего Дона, бывает прочий похожий народ. Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки. В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему — в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто утолял не желудок, а смазывал и охлаждал перегретое сердце.

Очнувшись, человек зашагал сызнова — глядел он, как напуганный.

Прошло часа два; пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь нечаянную деревушку на своей осенней дороге.

Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.

Но шло время, а никакого сельца на дороге не случалось. Тогда парень сел на обдутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший, молчаливый человек, и у него была терпеливая душа.

По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов, и понемногу наливался светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением об его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал

и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась и обнаружилось небольшое село — дворов пятнадцать.

Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

В хате сидел нестарый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо было утомлено трудом или подвигом. Этот человек как будто сам только вошел в это жилье и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, суржинский житель, Безотцовского уезда, вгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

— Фома, нюжли возвратился?

Человек поднял голову, засиял хитрыми, умными глазами и ответил:

— Садись, Иван! Воротился, нигде нет благочестия — тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает — кто ее щупал — душу свою...

— Што ж, хорошо на Афоне? — спросил тот, что вошел, а звали его по-прежнему — Иван Копчиков.

— Конечно, там земля разнообразней, а человек — стервец, — разъяснил Фома.

— Что ж теперь делать думаешь, Фома?

— Так чохом не скажешь! Погляжу пока, шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить. А ты куда уходишь, Ваня?

— В Америку. А сейчас иду в Ригу на морской пароход.

— Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

— А то как же!

— Стало быть, дело твое сурьезное?

— А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

— Видать, туго задумал ты свое дело?

— Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

— Дело твое крупное, Ванюха...

Пустая хата пахла не по-людски. Мутные окна глядели равнодушно и разуверяли человека: оставайся, не ходи никуда, живи молча в укромном месте!

Иван и Фома разулись, развесили мокрые портянки и закурили, уставившись на стол рассеянными глазами.

— Что-то дует! Вань, захлобысни дверь! — попросил Фома.

Устроив это, Иван спросил:

— Небось тепло теперь в Афонском монастыре! Небось спокойно живется там. Чего сбежал из монахов?

— Оставь, Иван, мне нужна была истина, а не чужеродные харчи. Я хотел с Афона в Месопотамию уйти, говорят, там есть остатки рая, а потом передумал. Года ушли, уж ничего не нужно стало. Только вспомнишь детей, и так-то жалко станет. Помнишь, трое детей умерло у меня в одно лето?.. Уж двадцать годов прошло, небось кость да волос остались в могиле... Ох жутко мне чего-то, Иван!.. Оставайся ночевать, может дорога к утру заквокнет...

— И то останусь, Фома. Этак до Риги не дойдешь!

— Вари картохи! Жрать с горя тянет...

Уснувши спозаранок, Фома и Иван проснулись ночью. Огня в хате не было, за окном стояла нерушимая и безысходная тишина. Как будто и поля проснулись, но был час ночи, до утра далеко, — и они лежали и скучали, как люди.

Почуяв, что Иван не спит, Фома спросил:

— Из Америк-то думаешь воротиться?

— Затем и иду, чтобы вернуться...

— Едва ли: дюже далеко!

— Ничего, обучусь нужному делу и ворочусь!

— Мудрому делу скоро не обучишься!

— Это верно, дело мое богатое, скоро не ухватишь!

— Насчет чего же дело твое?

— Пыточный ты человек, Фома. Был на Афоне и в иностранных державах, рай искал, а насущного ничего не узнал.

— Это истинно, кому что!

— Мужикам одно нужно — достаток! В иной год у нас ржи, хоть топи ей, а все небогато живем и туго идем на поправку! В этом году рожь с цен сошла, а и урожая никакого не было: все градом искрошило.

— А чего ж ты задумал?

— Слыхал про розовое масло? — сказал тогда Копчиков.

— Слыхал — гречанки тело мажут им для прелести!

— Это што! Это для духовитости. Из розового масла знаменитые лекарства делают — человек не стареет, кровь ободряют, волос выращивают — я по книжкам изучал. Я ее с собой несу. В Америке половина земли розами засажена — по тыще рублей в год чистого прибытка десятина дает! Вот где, Фома, мужицкое счастье!..

Иван говорил зажмурившись, в избытке благородного чувства. Открыв глаза, он заметил, что в окне посерело; тогда он слез с печки и стал собираться в Америку, не стравливая зря времени.

— Куда ты? — спросил Фома.

— Пора уходить, мне еще далече идти. Отдохнул и в ход, а то я томиться начинаю, когда задерживаюсь!

— Рано еще, наварим кулешу, поешь и пойдешь.

— Нет, пойду, день и так короток!

— Ну, как хочешь. Ты, стало быть, в Америке хочешь разузнать, как розовое масло делается?..

— Догадался? А ты думал, я свечки там делать буду? Наша земля сотворена для розы! На нашем черноземе только розе и расти! Ты погляди, Фома, благоухание какое будет — все болезни пропадут!..

— Да, дело твое лепное! Ну, ступай, чудотворец, поглядим-подышим, — много тогда рассады, должно, потребуется! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!..

А Иван уже посчитал, сколько это денег будет, если каждая десятина по тысяче рублей чистого прибытку даст.

Эта надежда на будущее счастье и шевелила его ноги по грязным полям его родины, гоня в далекую Америку.

Иван был уверен, что, действительно, нежное масло душных и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины, и в этих зданиях поселятся довольные, счастливые мужики со своими многочисленными семействами.

<1923, 1927>

ЛУННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

I

Сын шахтера, инженер Петер Крейцкопф в столице своей страны был первый раз. Вихрь автомобилей и свист надземных железных дорог приводил его в восторг. Город должен быть населен почти одними механиками. Но заводов было не видно — Крейцкопф сидел на лавочке центрального сквера. Заводы стояли на болотах окраин, на полях сброса канализационных вод, за аэродромами мировых воздушных путей.

Крейцкопф был молод и денег не имел нисколько: он серьезно поссорился с администрацией копей, желавшей добывать деньги из одного сжатого воздуха, посвоевольничал в своей копи, был отдан под суд и уволен. И Крейцкопф приехал в столицу. Поезд пришел рано, но этот странный город был уже бодр: он никогда не просыпался, потому что не ложился спать. Его жизнью была не дума, не настроение, не ритм, а равномерно ускоренное движение. Город не имел никакой связи с природой — это был бетонно-металлический оазис, замкнутый в себе, совершенно изолированный и одинокий в пучине мира и в змеином гнезде стихий.

Роскошный театр из смуглого матового камня привлек взор Крейцкопфа. Театр был так велик, что мог бы быть стоянкой воздушных кораблей. Горе раскололо сердце Петеру Крейцкопфу: его молодая, когда-то влюбленная в него жена Эрна осталась в Карбоморте, угольном городе, откуда Петер приехал. Когда Эрна сошлась с главным инженером-электриком, Петер предостерегал ее: «Не стоит уходить, Эрна, мы жили с тобой семь лет, дальше будет легче, я поеду в центр и приступлю к постройке “кирпича” — мне дадут денег, наверное дадут».

Но Эрне надоели обещания, надоел угольный туман копей, узкая жизнь Карбоморта и одинаковые рожи бессменного технического персонала, особенно две личности друзей Петера — узких специалистов, сознательно считавших

себя атомами человеческого знания. Самый высокий разговор, слышанный Эрной, это слова друга мужа, Мерца: «Мы живем для того, чтобы знать».

— А того и не знаете, — ответила тогда Эрна, — что люди живут не для того, чтобы знать...

Петер понимал и Эрну, и друзей, а его они не особенно понимали. Аристократка, дочь крупного углепромышленника, получившая образование в Сорбонне, Эрна ненавидела и других друзей Петера — мастеров, электромонтеров и изобретателей, просиживавших в ее гостиной с Петером в ненужных спорах до полуночи.

Крейцкопф знал, что мало у него общего с Эрной: он полусамоучка, инженер по призванию, и она, овладевшая последними цветами европейской культуры, ему недоступной.

И Эрна ушла в свой круг людей, — людей, получивших воспитание и умеющих сдерживать инстинкты внутри себя, людей, знающих философию и новейшую литературу; а главное — людей, искушенных в женщине и ее пороках.

Крейцкопф тосковал, он не знал, что ему делать одному среди множества людей.

— Эрна, — думал он, — Эрна, и ты лишь стихия, а я надеялся замкнуть тебя в сооружение любви. Но стихия смыла мое сооружение любви — и стихия снова ищет... более прочного сооружения.

От всеобщей занятости, электрических реклам, запаха отработанных газов и рева бушевавших машин тоска Крейцкопфа удесятерилась. Он вспомнил прошедшие годы своей жизни, полные труда, доверия к людям, технического творчества и преданности любимой единственной женщине. И вот — все истреблено неясными стихиями: люди обманули и предали, его труд был не нужен для них, женщина полюбила другого и возненавидела его, творчество привело его к одиночеству и нищете. Крейцкопф знал — трава гуще растет на гниющих трупах материнских травинок, человек держится близ человека из-за пользы, но Крейцкопф допустил одно исключение — любовь, когда люди связаны бесполезно, — и был разбит; сердце его те-

перь разорвано в клочья, и мозг утратил свежесть и ясновидение. Оказывается, не такова жизнь: сырые силы природы рвут душу человека так же, как рвет искусственный огонь миры, примостившиеся в парах бензина.

— Неужели нет спасения? Чепуха — неси свою жизнь, как бурю, от которой отступят все земные ветры. Смерть? Нет, пусть меня раздавит неодолимое — или я одолею все видимое и невидимое.

Крейцкопф встал, утерся грязным платком и пошел в Научно-технический комитет Республики. Он не верил в пользу зеленых письменных столов, знал иронию, спрятанную в ящиках канцелярий, и глухое невежество профессоров. Но податься было некуда.

Его принял председатель комитета, инженер-путеец. Крейцкопф изложил ему свое предложение, иллюстрируя его графическими материалами. Предложение касалось некоего транспортного орудия, способного перемещаться во всякой газовой среде: в атмосфере и вне атмосферы. Металлический шар, начиненный полезным грузом, укреплялся на диске, стационарно установленном на земле. Шар укреплялся на периферии диска; сам диск имел либо горизонтальное земной поверхности положение, либо наклонное, либо вертикальное, — в зависимости от того, куда посылался снаряд: на земную станцию или на другую планету. Диску давалось достаточное, для достижения снарядом станции назначения, вращение; по достижении диском необходимого числа оборотов, в нужном положении диска, совпадающем с направлением линии полета, шар автоматом отцеплялся от диска и улетал по касательной к диску. Все совершалось по формуле центробежной силы, включив в нее коэффициент сопротивления среды. Безопасный спуск снаряда на землю (или на другую планету) обеспечивался автоматами на самом снаряде: при приближении к твердой поверхности замыкался в автомате ток и сжигалось некоторое количество взрывчатого вещества в направлении обратном полету, — этим достигалось торможение полета, и падение превращалось в плавный безопасный спуск. Взлет снаряда также был безопасен и плавен, так как скорость кидающего диска начиналась с нуля.

Во всем изобретении был скопирован камешек мальчика, который летит, брошенный слабой рукой. А тут был не камешек, а «кирпич» с тугою начинкой — коммерческим грузом или пассажирами, все равно.

Крейцкопф предложил пустить первый снаряд по такому пути, чтобы он описал кривую вокруг Луны, близ ее поверхности, и снова вернулся на Землю. В «кирпиче» будут установлены все необходимые аппараты, автоматически запечатлевающие в межпланетном пространстве и близ Луны температуру, силу тяготения, общее состояние среды, строение электромагнитной сферы; наконец, автоматические киноаппараты воспримут все, что несется мимо снаряда, и оставят ленты. Конечно, в конструкции всех этих аппаратов должно быть принято во внимание мчащееся состояние «кирпича».

Крейцкопф руководился тайной мыслью: человек порочен потому, что народонаселения на земле много, — в давке, в тесноте, у иссыхающих питательных жил земли проходят дни неповторимой жизни, и отсюда — скука, дикость души и скользкая тропа под ногами; отсюда — не до любви, не до счастья: лишь бы продержаться сумму кратких лет. Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые, девственные источники питания для земной жизни, провести от этих источников рукава на земной шар — и ими рассовать зло, тягость и тесноту человеческой жизни. И когда откроются безмерные недра чужого звездного дара — человек зануждается только в человеке, а не в вещи и не в пище и питье.

Тогда, сокровенно знал Крейцкопф, любовь будет возможной, любовь станет тогда в человеке единственной скупостью и прочным достоянием; и притом, любовь будет одной у человека, и не пройдет, и не повторится на другой, до последнего часа у руки любимой. Любовь конкретна и индивидуальна, поэтому она разное чувство у каждого. Она не закон природы, а нарушение его, не общий признак, а отличие, такое отличие, что любящее и любимое человечество будет драгоценной коллекцией разных минералов, ломающих в себе лучи зенитного солнца каждый по-своему, а вместе — чудесней радуги.

— Урожай у нас ожидается хороший, — выслушав, в раздумье сказал председатель Комитета, — промышленность налажена, идет новое строительство... Да, пожалуй, денег просить можно. Сколько у вас требуется по смете? Шестьсот тысяч. Хорошо. Только необходимо весь вопрос поставить перед пленумом Комитета, добиться положительного заключения пленума и тогда уже войти с представлением в правительство... Пленум Комитета у нас соберется... сегодня вторник... в пятницу. Я лично сторонник вашего предложения. В расчетах, насколько я уловил, нет ошибки. Так вы в пятницу свободны?

— Я в вашем распоряжении, — ответил Крейцкопф.

— Хорошо. Так до пятницы. Будьте здоровы.

— До свидания.

Крейцкопф ушел. Он не ожидал такого внимательного отношения. Да, но что делать до пятницы, три дня, и где взять еды?

Город неизменно бунтовал жизнью и делом. Был полдень и знойное лето. Крейцкопф купил дешевую газету. Начал с объявлений. «...Требуется инженер... в отъезд... в отъезд...» Нету ничего нужного. Вот: «Требуется конструктор... генераторов...» Не знает детально Крейцкопф этой отрасли. Еще: «Нужен временно гонщик для испытания автомобильных моторов новых конструкций на динамику...» Это идет: Крейцкопф имел два автомобиля — подарки жены в первый год их жизни — ездить умел отлично и любил это занятие.

Крейцкопфа приняли и дали жалованья, к его удивлению, больше, чем он получал в копях. Предложили прийти в среду с утра на работу в гараж. Крейцкопф заметил, что экзаменовал его технически неграмотный человек. Это его не касалось.

Вечер и ночь Крейцкопф просидел в парке на одном месте. Думы о прошлом терзали его. Он видел, как чужие волосатые руки обнимают оставшиеся девичьими груди Эрны. И Крейцкопф не знал, что ему делать. Он прохаживался и возвращался снова. Стало прохладно. Мимо еще ходили проститутки и в желтом рассвете, смешанном с электрическим сиянием, улыбались, как трупы.

— Теперь они уснули, — подумал Крейцкопф, — теперь они устали и проснутся не ранее полудня. И я до двенадцати часов успокоюсь. И ветер ведь волнуется, и я взволнован, иначе не бывает на земле. Может быть, на Веге, на Луне другое… Посмотрим когда-нибудь…

Крейцкопф пошел в гараж, на место новой службы. Гараж был открыт, но не было заведующего. Разгоралось утро. Была окраина города. Крейцкопф курил и боролся со сном.

Наконец пришел заведующий, и Крейцкопфу дали машину: с виду похожа на тип девяностосильных Испано-Суиза, но было в ней что-то иное: диаметр колес увеличен и радиатор полукруглый. Мотор был запломбирован. В отдельном ящике, тоже на пломбе, стояли все нужные саморегистрирующие приборы.

Крейцкопф выехал. Машина ступала мягко и тянула бешено, несмотря на неразогретый мотор. Вместо пассажиров был положен мертвый груз.

Крейцкопфу дали задание: «Сделайте сегодня до обеда 300 километров по счетчику и возвращайтесь после этой дистанции».

Шоссе лежало пустым, Крейцкопф воткнул четвертую скорость, дал газ до отказа и полетел кирпичом. Тахометр показывал 104 километра. Но мотор разогревался и усиливал тягу. 118 километров. Мимо свирепствовал ветер в это тихое утро. Кругом распласталась природа. Вдалеке дымились трубы крематория, там гибнут остатки людей.

Успокоенный, забывший горе своего сердца, Крейцкопф наращивал скорость. 143 километра. Дорога безлюдна, мертво наше прошлое, а навстречу — ветер, путь и восходящая стрелка измерителя скорости.

Вдруг показалась корова. Крейцкопф срулил мимо без тормоза. Дальше шел небольшой поворот, машину немного занесло от скорости. Крейцкопф выключил конус и в метре от машины заметил лохматую голову.

Крейцкопф рванул налево руль и повел ручным тормозом до отказа. Машина затряслась, запылила вывернутая мостовая, но ребенка ударило правым фонарем, и голова его расселась по материнским швам. Туча черной крови залила его легкую летнюю одежду, неповрежденные глаза по-

луприкрылись длинными ресницами, и пухлые нетронутые губы сложились бантиком, который теперь никогда не развяжется.

Крейцкопф оледенел от рвущего тело страдания, он крикнул одичавшим сердцем и лег на труп ребенка, рыдая, терзаясь и борясь с обступившей его темнотой последнего отчаяния. Кругом было молчаливо, мотор потух, и город вдали ровно шумел.

Крейцкопф встал, поднял на руки ребенка и положил его в автомобиль. Это был мальчик, на фуражке его было написано «Океан», кровь запеклась и остановилась, ему было лет пять.

Крейцкопф тронул машину и тихо поехал, ища глазами мать, обходя выбоинки, чтобы не трясти мальчика. Но не было никого. И Крейцкопф погнал, сбросив фуражку, резко подкидывая стрелку тахометра, — и слезы текли по его лицу, смешанные с пылью, грязными струями. Он опять рыдал, налегая грудью на руль. Труп ребенка свалился с сидений на пол и там шевелился от тряски.

Крейцкопф свернул на проселок и скоро остановил машину. У межевого столба была яма. Он слез туда с ребенком и положил его в готовую могилу. Личико ребенка уже сморщилось, не совсем прикрытые глаза побелели и закатились. Крейцкопф набрал воды из радиатора и обмыл его начисто, потом тихо поцеловал в чистые губы, и горячие слезы снова омыли его лицо.

— Я тебя не забуду никогда, милый, теплый ты мой... Я переверну все и отомщу за тебя, — шептал Крейцкопф, и горе горело в нем костром.

Он отрезал пучок светлых волос и взял их себе вместе с шапочкой «Океан», потом засыпал могилу автомобильным инструментом. Засыпав яму, он затосковал по мальчику так, что хотел его откопать.

— Я искуплю тебя, — прошептал он и пошел к машине. — Что Эрна, что моя ревность?!. Тут будет теперь моя вечная привязанность и моя верная нежность...

Крейцкопф заметил местность могилы и поехал. Он ехал медленно, стихнув сердцем, прижимая рукой к рулю круглую шапочку «Океан» с прядью тонких русых волос.

Вернувшись в гараж, Крейцкопф взял аванс под жалованье и ушел в город. Он купил вечернюю газету, желая найти имя мальчика, и нашел его: «Родители умоляют... ушел из дома в шесть утра... звать Гога... четыре с половиной года, русый, очень ласковый, фуражечка с надписью “Океан”... свекловичное хозяйство Ромпа... директору Фемм...»

— Гога Фемм, — шептал Крейцкопф, сидя в темноте кино. — Но что же мне делать, ведь мать его умрет.

II

Пришла пятница, Крейцкопф защищал в Центральном научно-техническом комитете свой проект и защитил его. Он спорил и бился отчаянно, и мертвый мальчик был в его памяти.

Проект получил визу Комитета и пошел в правительство. Не раньше, чем через месяц, станет известным результат.

Крейцкопф по-прежнему обкатывал машины, убивая вечера в кино и в бесцельных шатаниях по кипящим улицам.

Раз он получил письмо от Эрны, каким-то путем узнавшей его адрес: «Петер, мы с мужем уезжаем до Нового года в Брюссель. Хотела бы иногда тебя видеть как друга. Прошлого не изгладишь сразу, чувство не издается дважды равноценно. Мы будем в столице с 20 по 25 августа; жить будем в “Майоне”, где жили когда-то мы с тобой. Я слышала, ты не очень счастлив, служишь шофером; с твоего разрешения, я могу попросить мужа устранить препятствия, мешающие твоей карьере. Ведь ты чрезвычайно одаренный человек, я-то знаю. Отвечай мне в Карбоморт. Эрна».

Крейцкопф ничего, конечно, ей не ответил.

Шли недели. Крейцкопфа ценили на новой службе, и раз он участвовал в официальных гонках, где выиграл второй приз.

Наконец его вызвал Комитет: из правительства пришел ответ — деньги по смете будут отпущены в два года равными долями, к работам можно приступать, все результаты исследования межпланетного пути и Луны поступают в собственность правительства.

Крейцкопф ликовал. Он съездил на могилу мальчика, где увидел, что холм порос лебедой, что поле глухо, что сердце его обрастает салом забвения. Дорогой он плакал и рвал сухие колосья. Однако, не имея никого близких, не зная друга, он дал телеграмму в Брюссель: «Эрна, “кирпич” будет брошен через два года, строю».

Эрна ответила: «Радуюсь, жму крепко руку».

Всю жизнь не видел Крейцкопф такой удачи и не мог сдержать себя: он пел в своей комнате странным голосом путаные песни и ходил в пивную с шоферами.

III

Началась постройка. На плацдарме открытом всему небу бутили фундамент под электромотор в 120 тысяч лошадиных сил, под трансмиссионное устройство и под опорный подшипник — подпятник кидающего диска. Одновременно велось ответвление от ближайшей магистрали высокого напряжения для питания электродвигателя и ставился трансформатор.

Крейцкопф был вне себя от энергии, кипевшей в нем, как в паровозе. Он бы построил всю систему сооружений для развития в «кирпиче» летной живой силы в полгода, но план финансирования был растянут на два года.

Самый снаряд строился машиностроительным трестом «Монте-Монд» и должен быть готовым через пять месяцев.

Но черный случай шел вслед Крейцкопфу: при взрывных работах в котловане опорного подшипника сорок рабочих, из них пять лучших в стране специалистов, были убиты электрическим током, как констатировала комиссия. Но тока жизнеопасного напряжения на месте работ не было. Это точно установила техническая экспертиза. Однако сорок трупов были обернуты в грубое полотно и отвезены к семьям на пяти грузовиках.

Работа остановилась. Крейцкопф молчал и не предпринимал никаких шагов снова наладить постройку. В нем физически явственно разрушалось сердце: он нечаянно умертвил рабочих. Крейцкопф раньше пробовал свой метод

в копях, правда, в отсутствие людей, — горные породы превращались в тонкий прах.

Метод состоял в том, что в материю, подлежавшую превращению из минерала в пыль, направлялись электромагнитные волны таких периодов и такой длины, что они совпадали с естественным колебанием электронов атомов материи; эти искусственные волны раскачивали, усиливали электронный пульс атомов, и атом разрывался, частью превращаясь в неизвестный неощутимый газ, частью в легкую пудру.

Зная теоретически точно безвредность электромагнитных волн такой структуры для человека, Крейцкопф, не говоря слова, пустил в действие свой аппарат в направлении котлована. И он посеял густую смерть и глине котлована, и живым организмам.

Странно, что следователь не обнаружил в Крейцкопфе преступника: его томящееся сердце было видно на его лице и в его бледных глазах.

Работы возобновились, но шли тихо, и Крейцкопф не торопил производителей работ. Но скоро снова вышла заминка, где Крейцкопф был ни при чем: в финансовой части работ обнаружилось крупнейшее хищение, кассир и начальник части скрылись. Крейцкопфа обвинили в административной халатности и даже в соучастии, по какому-то грязному доносу. Крейцкопф не защищался. Работы законсервировали, правительство назначило Особую техническую комиссию для пересмотра всего проекта, а Крейцкопф был судим и приговорен к одиночному заключению на год.

Очутившись в серой камере, Крейцкопф опомнился. Долгие недели он лежал на койке и думал. Лето догорало, падал лист, Эрна была в Брюсселе, Гога Фемм в могиле, те сорок тоже гнили в земле. Впереди одна мертвая мечта — лунный полет.

Крейцкопф заболел, случайно и несоответственно, какой-то внутренней кишечной болезнью. Его перевели в тюремную больницу. Неслышно, в туфлях, по опавшим листьям, ступала осень в природе.

Выздоравливая, Крейцкопф гулял по коридору на третьем этаже больницы. Коридор кончался открытым окном в тихий

парк; там пели поздние птицы; атмосфера лежала дорогой на Луну.

Крейцкопф подошел к раскрытому окну и долго рассматривал тающий сумеречный воздух и агонию растительного мира, потом сразу, без разбега, кинулся в окно. Его тюремная камилавка слетела с головы, а халат накрыл и его и часового, на которого упал Крейцкопф. Вонзившись в неожиданное мягкое тело, Крейцкопф захлебнулся своей кровью, хлынувшей из треснувших легких, но понял, что остался жив. Часовой лежал под ним мертвым, с ногами, упертыми в собственный лоб, сломанный пополам в седалище.

Крейцкопфа осудили вновь за побег, за убийство солдата и приговорили к восьми годам, по совокупности с прежним преступлением. Крейцкопф не мог доказать, что он искал не вольной жизни, а тесной могилы.

Время стало мутным и неистощимым: шли дни, как годы, шли недели, медленно, как поколения. Крейцкопф был обречен. Он выработал искусство — не думать, не чувствовать, не считать времени, не надеяться, почти не жить: было легче на одну нитку.

Ассоциация инженеров его страны запросила правительство о возможности досрочного освобождения Крейцкопфа для продолжения постройки «кирпича». Правительство предложило подождать заключения Особой технической комиссии по пересмотру проекта в целом.

Лег снег. Крейцкопф разлагал в себе мозг, мертвел и дичал. Особая комиссия закончила свои работы: проект верен, и, если «кирпич» не встретит на пути к Луне блуждающих метеоритов, снаряд способен достичь лунной периферии и возвратиться; предвидеть же все случайности межпланетного пути абсолютно невозможно. Особая комиссия позволила себе вынести мнение о Крейцкопфе как человеке исключительного технического творческого дара.

Правительство согласилось освободить Крейцкопфа под поручительство Ассоциации инженеров. Страна удовлетворилась решением правительства: все считали, что в Крейцкопфе редкий гений соединен со страшным антисоциальным существом: вором, убийцей и темным бродягой. Но

все же дать ему кончить лунный снаряд следует, — так думали все порядочные граждане всех городов и поселений страны. Общественным мнением руководило не сострадание, а любопытство.

Крейцкопфа выпустили. Он долго приспосабливался и трудно вспоминал когда-то привычное.

Работы возобновились. Крейцкопф вел теперь узкотехническую, конструкторскую работу. Главным инженером было другое лицо — инженер-электрик Нимт, второй муж Эрны. Нимт вошел в доверие правительства и Ассоциации инженеров и теперь делал карьеру на модном деле Крейцкопфа.

Крейцкопф не имел способности правильно и с тактом относиться к окружающим вещам. Он отнесся ко всем переменам равнодушно: его теперь мало интересовало дело лунных изысканий, он вел свою работу ровно, усердно и автоматически. В нем развилась сонливость, и он все неслужебные часы спал дома один. Одиночество после тюрьмы стало его страстью, и он тяготился людьми на службе и не бывал в городе. Нимт вел себя с ним корректно, но оставался чужим и неясным.

Эрны на постройке не было ни разу — Нимт и она жили в городе.

Снаряд был готов. Долго не удавалась совершенно точная установка метательного диска: диск должен быть установлен под некоторым углом к геометрической поверхности земного шара, и этот угол должен быть соблюден с предельной тщательностью: угол наклона диска определял путь полета «кирпича».

Весной работы были приостановлены на пять месяцев: надо было дожидаться нового бюджетного года и второй половины кредитов, ибо средства этого года были исчерпаны.

Нимт уехал с Эрной за границу, в Киссинген. Крейцкопф получил отпуск на все время до возобновления работ с сохранением содержания.

Он поехал на знаменитые электрометаллургические заводы в Стуасепте. Его интересовали опыты этих заводов по извлечению глубоких железных руд в предгорьях Алдагана.

Правление заводов дало Крейцкопфу рекомендательное письмо к главному инженеру на Алдаган, и он отправился. Ехать нужно было четыре тысячи километров. Крейцкопф поехал по железной дороге. Поезд вел не паровоз, а газовоз, сменивший собою недолго поживший тепловоз. Газовоз представлял собою газовый двигатель на колесах. Все нижнее ходовое устройство было, как у паровоза, но в цилиндрах работал не пар, а сжатый воздух: передача энергии газогенераторного двигателя к ведущим колесам была пневматическая. Газовоз был самый дешевый транспортный двигатель: он работал на газе каменного угля, дров, торфа, соломы, сланца, бурых малогорючих углей и на всех тлеющих отбросах, из которых только можно выгнать силовой газ. Газовоз возил с собою на прицепке два вагона-аккумулятора, где в сильно сжатом состоянии помещался газ, которым питался двигатель газовоза. Через каждые 300–400 километров стояли маленькие газовые заводы, которые производили газ из местного подножного дешевого топлива. С этих заводов забирали газ газовозы, как раньше паровозы забирали воду из водонапорных баков водокачек.

Против паровоза газовоз вез дешевле в четыре раза.

Крейцкопфа заинтересовали эти быстро вошедшие в транспорт машины, и он с радостью наблюдал из окна, как бодро и мощно берут газовозы крутые подъемы без всякой потери скорости.

Уже год минул с тех пор, как Крейцкопф приехал в первый раз в столицу. Стояло новое лето. Зной гудел в полевых пространствах — жуткий труд сельского хозяина упорно боролся с ним за влажность трав, за сытость плотных городов, а также за лунный полет.

Крейцкопф заметно поседел, состарился и потерял детское любопытство к ненужным вещам. Он чувствовал, что идет на убыль, — еще осталось немного лет, и скроется от него жизнь, как редчайшее событие.

Крейцкопф хотел бы друга, задушевного негромкого разговора и простой жмущей теплоты, невнятно говорящей о родственности и сочувствии людей друг к другу. Но он жил в сумрачном сне, его уважали и его чуждались. Его считали необыкновенным — и в гении и в преступлении,

а Крейцкопф был обычным и простым человеком: ему были чужды и ненавистны отвлеченности и холодные вершины. Он любил горячее действие, а не вышнее созерцание, хотя знал ценность отъединенной мысли, в беспощадности кусающей свой хвост.

На вторые сутки поезд вошел в страну страшных подъемов и уклонов — это предгорья великой Алдаганской системы, поднявшейся из глубин тропического моря и исчезающей в ледяных пучинах Арктического океана.

Станция Стуасепт — и в километре от нее столица металлургии: директория железорудной промышленности, горная академия, правление электрометаллургических заводов и гидроэлектрическая силовая установка в миллион киловатт. Прочно стояла эта новая человеческая беспримерная природа.

Крейцкопф сразу поехал на место работ по извлечению глубоких руд. Администрация работ встретила его просто и задушевно: горные инженеры имели перед собой первоклассного техника другой области практики, и только.

Известно, что добывание железной руды с трехсотметровой глубины не может экономически оправдываться, здесь же опытным путем хотели доказать иное. Электромагниты, питаемые током в сотни тысяч лошадиных сил от гидравлической установки, были направлены полюсами в подземные районы залегания железных руд. Гигантские массивы руды с завыванием и грохотом, похожим на землетрясение, прорывали оболочку земли и вылетали на дневную поверхность, стремясь к полюсу электромагнита. В момент разрыва рудой последнего почвенного покрова особым автоматом в электромагните прерывался ток и сам электромагнит отводился в сторону. И глыбы руды вырывались из недр с горячим ветром, накаленные до бордового цвета трением о встречные породы, и, взлетев на сотню саженей, падали на материнскую землю, слегка зарываясь. Лебедка-самоход поднимала куски руды щипцовым ковшом, окунала в пруд для охлаждения и подвозила к конвейеру. Конвейер подавал руду к домнам.

Несмотря на огромную силу, нужную, чтобы вырвать руду из недр электромагнитом, сила эта тратилась лишь не-

сколько мгновений, и потом — электромагниты питались током, добытым из энергии падающей подпертой воды, поэтому глубокая руда обходилась не дороже мелкозалегающей руды, добываемой обычным способом. И было что-то чудовищное и неестественное в том, что из-под земли вылетал металл, скрежеща и тоскуя на пути.

Вечером Крейцкопф обедал у одного производителя работ по магнитной добыче руды, инженера Скорба. Пожилой спокойный человек, один из конструкторов мощных добывающих электромагнитов, Скорб имел тихий нрав и лютую работоспособность. Скорб был одинокий: его семья — жена и две дочки — утонули в весеннем паводке горной реки двадцать лет назад. Скорб потом отомстил этой реке — он построил на ней регуляционные сооружения, сделавшие невозможными никакие паводки. Старший же брат Скорба, страстно им любимый, погиб на знаменитой железнодорожной Кукуевской катастрофе. И с тех пор Скорб существует один, если не считать тысячу электриков, слесарей, монтеров и горнорабочих, сплошных друзей Скорба.

Ночью, когда заснули и Скорб, и Крейцкопф, к ним постучали. Телеграмма Крейцкопфу: «Эрна получила смертельные ушибы случайной уличной катастрофе. Если вам она дорога, рад буду видеть вас. Нимт».

Крейцкопф не знал, что ему ответить, — и никак не ответил. Эрна была ему дорога, как в первый день встречи, но он не верил, что счастье человека возможно в той суете, тесноте и толкотне, какие есть на земном шаре.

Нельзя сохранить такое нежное устройство как любовь под кирпичами случаев и под червем забот: история несется и так трясет пассажиров, что у них головы отрываются.

Расцвело утро. Скорб сопел во сне, Крейцкопф глядел в окно — в горный яснеющий сумрак. Руда трясла землю и колола воздух резкими артиллерийскими ударами.

Крейцкопф не очень страдал: еще в тюрьме он отучился от этого. Но вернее, его отучила страдать жизнь, долго бившая его по одному месту, так что это место покрылось шершавой кожей, как пятка, и поэтому никакой гвоздь не берет теперь сердце Крейцкопфа.

Утром Скорб и Крейцкопф поели рыбы и собирались уходить. Крейцкопфу принесли вторую телеграмму: «Смертельная опасность миновала, Эрна останется только искалеченной. Прошу прощения за беспокойство. Нимт». Крейцкопф долго думал, что же ответить Нимту, молчать было явно неудобно, — это подтвердил и Скорб. И Крейцкопф ответил коротко, но внимательно: «Прощаю беспокойство. Жене вашей Эрне желаю здоровья. Крейцкопф».

Через час Крейцкопф уехал в столицу.

Снова зачихал газовоз и забормотали колеса. Пышное лето плыло в вечном сиянии солнца, а за спиной Крейцкопфа целовались супруги, и Крейцкопф нарочно долго не оборачивался, давая им волю.

Приехав домой, на мертвую постройку, Крейцкопф не знал, чем ему заняться: до начала работ оставалось не менее четырех месяцев.

И он нечаянно занялся чтением: купил раз книжку в шатре у древней стены, пришел домой, зажег свет, открыл книгу, а там значилось:

Я родня траве и зверю
И сгорающей звезде,
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте...

Дальше шли скучные слова, а потом опять:

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.

Кончалась книжка словами мудрой печали:

И неустанно ищет смерть того,
Кто слишком резко движется во мраке...

Очарование смутной мысли — мысли, смешанной с горячим и скорбным чувством, охватило всего Крейцкопфа.

И он читал и читал, пока комната стала желтой от зари и электричества. Он подкупил днем еще десятка полтора дешевых книг, заинтересовываясь лишь словами названия книг, это были: «Путешествие в смрадном газе» Бурбара, «Человек, сыпящий песок и гравий» Овражина, «Голубые дороги» Вогулова, «Зенитное время» Шотта, «Антропоморфная революция» Зага-Заггера, «Лунный огонь» Феррента, «Отродье кузнеца» — три тома Мархуда, «Бабье в Бабеле» — исследование Кеггерта, «Антисексус» Беркмана, «Социальное зодчество» Далдонова, «Тряска Смерти» Иоганна Бурса, «Толстый человек» Кермана-Каримана, «Всегда ли была и будет История и что она такое наконец и в самом деле?» — философия Горгонда, и множество других книг.

Крейцкопфа поразил книжный мир: он никогда не имел времени для чтения. И он мыл и промывал свой мозг, затесненный узким страданием, однообразным трудом и глухою тоскою. Он увидел совсем новых людей — мрачных, горячих, подводных, ревущих страстью и восторгом, гибнущих в просторе мысли, торжествующих на квадратном метре в каменной нише в стене, отдающих любимую за странствие, ищущих праведную землю и находящих пустыню, бредущих по песку и набредающих на воду, гору и животворное дерево, уходящих в страны изуверов, меняющих тепло дома на ветер ночного пути...

Люди шли перед Крейцкопфом не как толпа, а как странники, нищие, как бродяги, бредущие зря с туманными глазами. Крейцкопф отметил: литература, это учение о людях, не знает счастья, а самое счастье, где оно есть, лишь предсказывает близкую беду и землетрясение души.

— История, конечно, есть дорога, а в дороге всегда неудобство и ожидание конца путешествия, — разгадывал книги Крейцкопф. — Люди, наверное, доедут до своей станции... А зачем же они поехали тогда? Они не поехали, их выбил из наилучшего состояния катаклизм природы, они потеряли равновесие в отношении к природе, и теперь вновь домогаются его — вот история людей...

В стране Крейцкопфа уже собирали урожай. Горела солома в топках локомобилей в полях и молотила хлеб. Падал

лист с деревьев, и его жевали козы. Глотали ягоды змеи, и на деревьях от них трепетали птицы. Множество детей народилось от урожая, и появились хорошие писатели. Строились фабрики тонких сукон, и заготовлялись на зиму впрок фрукты и овощ. Люди явно поспешали.

Настал новый бюджетный год. Управлению строительства лунного полета отпустили вторую половину сметной стоимости работ.

Крейцкопф, Нимт и пятьсот мастеровых занялись делом.

Недели за неделями шли в истощающем труде — труде, где требовалась сверхчеловеческая точность и где от каждой нитки гаечной резьбы зависело завоевание Луны.

Эрну однажды Нимт привозил на работы. Она была без ног, и мутные глаза ее смотрели бессмысленно: расколотый череп ей скрепили, но ее тонкий и острый разум рассеялся через щели разбитого черепа. Лицо Эрны было в синих шрамах, редкие волосы поседели, и она равнодушно глядела в лицо Крейцкопфа. Она налетела в своем автомобиле на автобус.

— Петер, — сказала Эрна, — а помнишь, в Карбоморте мы любили в заросшей канаве ловить ящериц? Помнишь еще, как мы спали на узкой кровати и нам было так жарко летом, что ты уходил спать под кровать и оттуда рассказывал мне про то, что человек неустойчивое существо и скоро должен появиться на свете более одаренный организм, но ему мешает народиться собственность и классовое общество...

Эрна еще не все утратила. Какая-то часть ее мозга была жива и увеличивала ее страдания.

— Ты знаешь, Петер, меня муж любит больше тебя. Он ласковей и всегда со мной, а ты бы меня давно оставил...

Крейцкопф пошел:

— До свиданья, Эрна. Приезжай еще, когда тебе будет скучно дома.

— Прощай, Петер. Ты тоже не скучай.

IV

Кидающий диск был закончен. Снаряд был давно готов. Электродвигатель, передачу и все измерители и автоматы установили.

Осталось оборудовать самый снаряд всеми приборами наблюдения и фиксации.

Это пошло быстро. Построечное управление было ликвидировано и заменено Научным бюро лунных изысканий. Во главе его стал известный астрофизик академик Лесюрен, а Нимт остался его заместителем по технической части. Крейцкопф значился по-прежнему конструктором.

Временем отлета Бюро установило 19–20 марта, точная астрономическая полночь. В это время Луна находилась в наивыгоднейшем для прицела положении. В полночь 19–20 марта автомат отцепит снаряд от вращающегося диска — и «кирпич» улетит в окрестности Луны, а через 81 час возвратится вновь на Землю и сядет близ города Коро-Коротанга.

Газеты, эти провокаторы жизни, писали о полете такие подробности, что и Лесюрен, и Нимт сначала усердно помещали поправки информационных сообщений печати, а потом бросили: газеты вовсе не созданы для новостей и точной информации, они — привычка людей, некое курево утомленного мозга.

На место отправления «кирпича» съезжался мир. Правительство не хотело лишних затрат и ограничилось постройкой огромного цирка вокруг летающего диска: эти расходы оправдаются в одну ночь отлета. Да и ничего не было необычайного в полете на Луну, говоря по существу. Металлический камень полетит, брошенный, как всякий камень, но лишь в обратном падению направлении.

Крейцкопф задумался. Истекло 10 марта: день полета близок. Если прибавить в «кирпич» аппараты для производства кислорода и поглощения углекислоты, то можно лететь и человеку; ведь и полет будет длиться всего 81 час.

Крейцкопф написал заявление в Научное бюро лунных изысканий о своем желании лететь к Луне в «кирпиче» и подробно изложил пользу делу от такого дополнительно-

го оборудования «кирпича» живым человеком, указав на это как на насущную необходимость для обеспечения успеха всего предприятия.

Бюро переслало заявление Крейцкопфа правительству, то отказало. Крейцкопф написал второе заявление: «Правительством не был куплен у меня патент на изобретение “кирпича”, детали конструкции до сих пор известны только мне, Крейцкопфу, я не даю согласия на пуск моего изобретения в действие, да без меня и практически его не сумеют как следует пустить в ход: я, Крейцкопф, отказываюсь также от всякого денежного вознаграждения на любую сумму, — я заменяю свое вознаграждение возможностью лететь в “кирпиче”». По существующим патентным законам этой страны Крейцкопф был совершенно прав — он создал безвыходное положение для правительства, и оно разрешило ему сесть в «кирпич». Кроме того, Крейцкопф был социально бесполезным, даже вредным, элементом, исключая дело «кирпича», и то неизвестно — будет ли толк какой из этого предприятия.

Известие о полете Крейцкопфа в «кирпиче» поразило общество. Но потом решили: эффектный жест самоубийцы.

19 марта в 8 часов вечера Крейцкопф сел в «кирпич», посадка его и укупорка всего снаряда была исполнена в мастерских, после чего снаряд сразу был подан на диск. Этим действием Крейцкопф отвел от себя внимание публики. В 10 часов весь цирк вплоть до последних амфитеатров был полон. Наблюдалось обычное скопище читателей, зрителей, служащих, кореспондентов, нелепых женщин, знаменитостей — всей пассивной массы истории, живущей в ее животе, всех экскрементов, оплодотворяющих века и эры.

Было пышное освещение, музыка, продавали воды, квас и мороженое, дежурили таксомоторы, — обычное окружение редкого события: этой дикой обстановки никто уничтожить не может.

За три минуты до точной полуночи диску дали обороты. Электродвигатель ревел, пять гигантских вентиляторов прогоняли сквозь гудящий, греющийся ротор целые облака холодного воздуха — и воздух вылетал оттуда сухим, жестким и раскаленным, как смерч пустыни. Масло в аппаратах

охлаждалось ледяными струями из центробежных насосов, и все же едкий дым стоял вокруг диска и всего сооружения: подшипники грелись сверх меры, масло горело во льду.

Диск, несмотря на точную установку и совершенный монтаж, грохотал, как канонада и извержение вулкана: так велико было число его оборотов. Периферия диска дымилась — она горела от трения о воздух. Нимт холодел от ужаса — малейший отказ ничтожного автомата в этот миг повлечет неслыханную катастрофу: диск работает в окружении сотен тысяч живых людей. Измеритель показывал уже нужное для полета число оборотов: 946 тысяч в секунду. До отрыва снаряда от диска оставалось полсекунды. Астрономические часы автоматически на 24 часах замкнут ток, управляющий автоматом на диске. Этот автомат освободит от диска «кирпич» — и он полетит за счет живой силы, накопленной им в бытность на диске.

Нимт закрепил регулятор числа оборотов: необходимая вычисленная скорость дана.

Сразу засияли на плацдарме солнечные прожекторы: сигнал, что «кирпич» улетел. Мига отлета никто не заметил: начальная скорость полета снаряда была непостижимо велика, и этот разлом природы техническим гением человека не поддается чувству.

Диск продолжал вращаться по инерции, уже разомкнутый Нимтом от ведущей муфты. Только через четыре часа удалось его остановить, применив всю силу мертвой хватки магнитных тормозов.

Из зрителей оглохло около пятнадцати тысяч человек, еще у десяти тысяч произошли какие-то нервные контузии: никто не ожидал увидеть в форме технического сооружения дикую, страстную стихию, ревущую, как светопреставление.

Эрны не было: она лежала в больнице, умирая от рецидива мозгового сотрясения. Слыша шум работающего диска (его слышал весь город), она прощалась и с собой, и с Петером, со всеми грядущими новостями мира и в последний раз поражалась чудом жизни.

Утром она увидела бледного мужа, истомленного страшным напряжением. Нимт остался в больнице и уснул на полу.

На «кирпиче» было установлено радио особой конструкции. По этому радио должны получаться от Крейцкопфа ежечасные, примерно (Крейцкопф не мог иметь часов), сообщения, и по волне же этого радиоаппарата можно с земли определять межпланетное положение «кирпича».

Всю информацию от Крейцкопфа получало Бюро лунных изысканий в лице Лесюрена, и им же лично производились все расчеты по положению «кирпича», и осуществлялась вся слежка за ним.

Журналисты зарабатывали на экстренных выпусках и превращали деньги в пиво. Однако в первый же день после отлета одна газета дала статью о Крейцкопфе — «В поисках могилы», где обрекались на гибель и «кирпич» и Крейцкопф.

Вот сообщения Крейцкопфа по порядку.

1. «Нечего сообщить. Приборы показывают угольное небо. Звезды неимоверной силы света. Было слабое трение снаряда обо что-то: приборы не обнаружили причину. Чувствую свободу. Читаю случайную книгу из кармана — “Барский двор” Андрея Новикова, интересное сочинение».

2. «Мимо снаряда прошло много синего пламени. Причин не имею. Температура не повысилась».

3. «Полет продолжается. Никакого движения, конечно, не чувствую. Приборы, аппараты, автоматы исправны. Передайте привет Скорбу на Алдаган».

4. «Испортился кинорадиоприемник. Починил. Кончил чтение. На снаряд падает Луна. Мелкий болид пронесся параллельно снаряду в одном направлении. Снаряд его обогнал. Разглядел густую и гармоническую жизнь на нем».

5. «Снаряд идет резкими толчками. Странные силы скручивают его путь, бросают по ухабам и заставляют сильно нагреваться, хотя кругом должен быть эфир».

6. «Толчки усиливаются. Я чувствую движение. Приборы звенят от тряски. Ландшафт вселенной похож на картины давно умершего художника Чюрлёниса — в космическом океане кричат звезды».

7. «Качка продолжается. Звезды физически гремят, несясь по своим путям. Конечно, их движение вызывает раздражение электромагнитной среды, а мой универсальный

радиоприемник превращает волны в песни. Передайте, что я у источников земной поэзии: кое-кто догадывался на земле о звездных симфониях и, волнуясь, писал стихи. Скажите, что звездная песня существует физически. Еще передайте: здесь симфония, а не какофония. Я слышу эту музыку, вещая о ней вас. Поднимите возможно больше людей на “кирпичах” на небо — здесь дивно, страшно, тревожно и все понятно. Изобретите приемники для этого звездного звона. Передайте, пожалуйста: люди во всем ошибаются, поэтому их история бесконечна. А тут видны очам конец, зенит и торжество».

8. «Надоело телеграфировать. Ты опротивел мне, Лесюрен. Ты ничего не понимаешь и не поймешь. Ты с толпой дураков ждешь от меня известий, я их даю, потому что я благодарен за постройку снаряда. Хотя ты его, дурень, никак не строил, но пусть читают мои известия мастеровые, Скорб и Эрна. Хотя Эрна, я здесь убедился, умерла».

9. «Вы меня беспокоите этими письмами. Аппараты портятся. Полет спокоен — тряски нет. Половина пространства занята фиолетовыми лучами, льющимися, как влага. Что это, не знаю».

10. «Я обнаружил: кругом электромагнитный океан. Материя — частный, временный случай его».

11. «Нет никакой надежды на возвращение на Землю, лечу в синей заре. Приборы фиксируют напряжение среды в 800 тысяч вольт».

12. «Луна надвигается. Напряжение 2 миллиона вольт. Мрак».

13. «Пучина электричества. Приборы расстроились. Фантастические события. Солнце ревет, и малые кометы на бегу визжат: вы ничего не видите и не слышите через слюду атмосферы».

14. «Тучи метеоров. По блеску — это металл, по электромагнитным влияниям — тоже. На больших метеорах горят свечи или фонари, горят мерцающим светом. Здесь я ничего не видел дрожащего».

15. «Среда электромагнитных волн, где я нахожусь, имеет свойство возбуждать во мне мощные, неудержимые, бесконтрольные мысли. Я не могу справиться с этим на-

шептыванием. Я не владею больше своей головой, хотя сопротивляюсь до густого пота. Но не могу думать, что хочу и о чем хочу, — я думаю постоянно о незнакомом мне, я вспоминаю события, жен, разрывы туч, лопающиеся солнца, — все я вспоминаю, как бывшее и верное, но ничего этого не было со мной. Я думаю о двух явственных субъектах, ожидающих меня на суровом бугре, где два гнилых столба, а на них замерзшее молоко. И мне ужасно и постоянно хочется шить, заниматься снабжением армии и экономить свои консервы. Я ем по рыбке, а съесть хочу акулу. Постараюсь победить эти мысли, рождающиеся из электричества и вонзающиеся в мой мозг, как вши в спящее тело».

16. «Только что вернулся с отвесных гор, где видел мир мумий, лежащий в небрежной траве... (Сигналы не поняты. — *Прим. Лесюрена.*) Все ясно: Луна в ста километрах. Влияние ее на мозг ужасающее — я думаю не сам, а индуктируемый Луной. Предыдущего не считайте здравым. Я лежу бледным телом: Луна непрерывно меня питает всевидящим накаленным добела интеллектом. Мне кажется — мыслит и снаряд и радио бормочет внятно само собой».

17. «Я вспомнил создание космоса с отчетливостью и живостью постройки дома моих родителей».

18. «Луна проходит мимо в сорока километрах: пустыня, мертвый минерал и платиновый сумрак. Движусь мимо медленно, не более 50 километров в час по глазомеру».

19. «Луна имеет сотни скважин. Из скважин выходит редкий зеленый или голубой газ... Я уже овладел собой и привык. Кончаю сообщение: сейчас очередной приступ интеллекта. Это очень жутко — уходить в ад живых воспоминаний и чувствовать блеск и глубину космических перспектив: эту волю туманности и злое раздражение Млечного пути от звездной тесноты...»

20. «Из некоторых лунных скважин газ выходит вихрем: стихия это или разум живого существа?.. Разум, наверное: Луна сплошной и чудовищный интеллект или сила его производящая».

21. «Не могу добиться причин газовых извержений: я отдам люк снаряда и выпрыгну, мне будет лучше. Я слепну во

тьме снаряда, мне надоело видеть разверстую вселенную только в глазки приборов».

22. «Иду в газовых тучах лунных извержений. Тысячелетия прошли с момента моего отрыва от земного шара. Живы ли те, кому я сигнализирую эти слова, слышите ли вы меня?..» (С момента отлета Крейцкопфа прошло 19 часов. — *Прим. академика Лесюрена.*)

23. «Луна не кончается. Вокруг одной скважины заметил движение какой-то круглой вещи — не могу определить: совершенно черная вещь, абсолютно круглая... Я думаю так, как думает атом, существующий эоны времен. Луна продолжается, она таинственней Сатурна».

24. «Я, кажется, приближаюсь к Луне: наверное, снаряд теряет живую силу быстрее нашего расчета или тут вмешались электромагнитные силы Луны. Все явственней ее платиновые оазисы».

25. «У одной скважины диаметром десять метров я вижу снова черный шар метра три в поперечнике. Это конгломерат нервов, несомненно: я вижу волокнистое строение: черный шар -— обитатель лунных недр».

26. «Совершенно ясно: Солнце никаких тепловых лучей не испускает — для них не может служить передатчиком межпланетная электромагнитная среда, эта пучина токов. Солнце испускает электромагнитные колебания и еще что-то, еще более нежное и неуловимое. Только Земля совместным сопротивлением своей сложной атмосферы и почвы превращает электромагнитную энергию Солнца в тепло. Луна же — без атмосферы, без почвы, с очевидно большим содержанием металла в недрах — непосредственно вбирает в себя токи Солнца, сложно трансформирует их внутри себя и затем испускает во внешнюю среду. Лунные токи, трансформированные из солнечного электричества, имеют способность возбуждать мозг человека и перестраивать его по-своему».

27. «Черный шар движется под снарядом, он не касается Луны. Это не стихия, это обитатель Луны, это мозг, это затвердевшая лунная электромагнитная волна».

28. «Шар подо мной. Снаряд снижается. Скважины излучают газ. Я не слышу больше звездного хода».

29. «Последний раз скажите, что люди очень ошибаются: мир не совпадает с их знанием. Видите или нет вы катастрофу на Млечном пути: там шумит поперечный синий поток. Это не туманность и не звездное скопление, это нарушитель гармонии вселенной вливается ядом в ее звучащее смуглое тело».

30. «Снаряд снижается. Я открываю люк, чтобы найти исход себе и вам. Прощайте».

<1926>

АНТИСЕКСУС

От переводчика

Ниже нами приводится текст рекламной брошюры, изданной в Нью-Йорке на 8 европейских языках «Международным промышленным обозрением» («Industriale Internationale Revu»).

Нельзя отказать в незаурядном литературно-рекламном даровании составителю этой брошюры, как нельзя отказать этому деловому сочинению в империалистическом цинизме, корректной порнографии и чудовищной пошлости, вызывающей своими размерами даже грусть. Однако есть что-то в стиле этой брошюры, что роднит ее с духом Анатоля Франса, если позволено нам будет здесь произнести это великое и честное имя. Это, отчасти, и дало нам смелость опубликовать это неслыханное произведение.

Нет лучшего документа для характеристики эпохи живого загнивания буржуазии и ее полной моральной атрофии, чем нижеприводимый.

Ничего подобного не приходилось читать даже нам — искушенным профессиональным читателям.

Ожидая всего от современных заправил капитализма, бюрократии, фашизма и военщины, давших свои отзывы рекламируемому прибору, мы все же не ожидали у них полного отсутствия ума и чувства элементарного такта.

Конечно, т. Шкловский, тонко сыронизировавший посредством формального метода надо всей этой ахинеей, — из этого правила исключается.

Оказывается, не права физиология («мозг разлагается одним из последних органов»), а права русско-большевистская поговорка: разум отнимается первым — у того, кого хочет казнить История.

Именно так: поэтому и смердит на все земное пространство от этого демонстрируемого англо-евро-американского сочинения, от этого сектора империализма.

Поэтому лучшая контр-«антисексуальная» агитация — напечатание этого любопытного документа, ибо у людей задвигаются скулья, а на лицах засияет розовый смех — лучший друг души и желудка и худший враг всего этого индустриально-морально-физиологического удушающего безумия.

Антисексус

Патентованные аппараты
Беркман, Шотлуа и С^Н Лтд.

Главное правление: Берлин — Лондон — Женева — Вашингтон.

Генеральные агентства:

Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель, Нью-Йорк, Варшава, Будапешт, Багдад, Пекин, Сингапур, Шанхай, Гонконг, Мельбурн, Чикаго, Франкфурт-на-Одере и на-Майне, Токио, Лиссабон, Севилья, Рим, Афины, Монтевидео, Константинополь, Ангора, Калькутта, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Мекка, Каир, Вифлеем, Александрия, Бангкок, Дамаск, уполномоченные на всех пассажирских судах «Гамбург—Америка линия», а также на воздушных линиях «Дерулюфт» и «Люфтганза».

Милостивые государи и государыни!

Столь различны эпохи, столь различны местоположения стран, столь различны культуры, где работает наша мировая фирма. Однако спрос на наши патентованные изделия имеется всюду — от Арктики до Антарктики, включая и эти последние, не исключая однако и диких стран меж тропиками Рака и Козерога.

Страсти человечества господствуют над временами, пространствами, климатами и экономикой. Распространение

нашей фирмой изделий металлообрабатывающей промышленности для удовлетворения этих страстей есть дело космического порядка — и по линии метафизики, и по линии морали.

В высшей степени симптоматично то, что, вопреки общепринятому мнению, кривая годового сбыта наших изделий, при равных условиях экономики и числа населения, в северных широтах не разнится от таковой же кривой сбыта в широтах южных — в тропиках.

Отсюда позвольте заключить, что физиология человека почти абсолютно одинакова и стоит вне зависимости от пространств, времен, рас, уровня культур, наличия книгопечатания или отсутствия такового, безобразия расы или прелести таковой и прочих привходящих обстоятельств.

Отсюда очевидно, что полное наличие удовлетворения обусловливает наличие потребности. Мир, сам по себе, стремится лишь к потреблению, а не производству, мир не производит даже желания наслаждения, когда нет возможности получить это последнее.

Имея уже мировой опыт сбыта своих изделий, неустанно совершенствуя конструкцию выпускаемых аппаратов, расширяя сеть заводов (число их достигло — к 1/I–1926 — 224), неусыпно заботясь об индивидуальных оттенках потребления и приспособляя к этим оттенкам конструкции своих аппаратов, мы решили включить в свой экспорт рынок Советского Союза, полагая, что емкость его достаточна, чтобы оправдать наши организационные расходы, неминуемо связанные с необходимыми приспособлениями к особенностям этого нового рынка, ибо без учета всех конкретностей данной обстановки нет коммерческого успеха.

Виднейшими моральными авторитетами мира наша деятельность признана не подлежащей никакому сомнению, напротив, достойной государственного поощрения и частной благотворительной поддержки, чем фирма не преминула своевременно воспользоваться и будет пользоваться впредь.

Шеф фирмы г. Беркман уже включен в кандидаты на получение премии имени Нобеля и в истекшем году получил honoris causa почетное звание доктора этических и эстетических наук от Парижской академии.

Не задерживая Вашего дорого стоящего внимания, разрешите поделиться в самых общих чертах теми принципами, кои положены в основу деятельности нашей мировой и единственной фирмы ее учредителями.

Сдавленные эпохой войн сексуальные силы человечества неудержимо расцвели в послевоенное время. Это отчасти способствовало загрузке наших заводов и финансовому благополучию фирмы.

Неурегулированность половой жизни человечества, чреватость бедствиями как последствие этой неурегулированности — вот предмет мучительного душевного беспокойства учредителей нашей фирмы и истинная причина нашей положительной деятельности.

Общеизвестна также связь сексуального чувства с нравственностью. Общепризнанна святость древнейшего института брака, вытекающая из непреложности супружеской любви и вечности общего спального ложа, таящего в себе высшие положительные наслаждения и, как следствие, душевное умиротворение. В браке истина заменена покоем. Во всяком случае — ни один философ мира не докажет что лучше. Человечество же высшей истиной признало покой. Объектом же индустриальной и коммерческой деятельности может быть лишь человечество, а философы таким объектом не могут быть.

Исходя из этого наша фирма заявила патенты во всех цивилизованных странах на электромагнитный аппарат «Antisexus», долженствующий урегулировать сферу пола и вместе с ней и благодаря этому — высшую функцию человека — дух его, так сказать притаившееся божество, которое нужно наконец сделать явным и общеупотребительным как одно из рядовых благ цивилизации.

Неурегулированный пол есть неурегулированная душа, т. е. неорганизованная душа — нерентабельная, страдающая и плодящая страдания, что в век всеобщей научной организации труда, в век Форда и радио, в век Лиги наций, Резерфорда и проектируемого межпланетного сообщения посредством живой силы, вложенной в так называемый «кирпич» Крейцкопфа, — не может быть терпимо.

Прогресс идет ломаной линией, т. е. отдельные точки его бессильно отстают от других точек. Наша фирма призвана выровнять линию прогресса, наша фирма призвана уничтожить сексуальную дикость человека и призвать его натуру к высшей культуре покоя и к ровному, спокойному и плановому темпу развития.

В век социально-экономических кризисов, когда материально затруднен брак, в век алиментов, когда почти невозможно деторождение, когда женщина стала вновь лишь призраком поэтов, благодаря нищете мужчин, мы призваны решить мировую проблему пола и души человека.

Из грубой стихии наша фирма превратила половое чувство в благородный механизм и дала миру нравственное поведение. Мы устранили элемент пола из человеческих отношений и освободили дорогу чистой душевной дружбе.

Учитывая, однако, высокоценный момент наслаждения, обязательно присущий соприкосновению полов, мы придали нашему аппарату конструкцию, позволяющую этого достигнуть, по крайней мере, в тройной степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно использует только что освобожденный заключенный после 10-ти лет строгой изоляции. Таково наше сравнение — таков эквивалент качества наших патентованных аппаратов.

Далее, особый регулятор позволяет достигать наслаждения любой длительности — от нескольких секунд до нескольких суток, буде свободное время у уважаемого потребителя. Особая план-шайба позволяет регулировать в объемных единицах расход семени — и этим достигать оптимальной степени душевного равновесия, т. е. не допускать излишнего истощения организма и понижения тонуса жизнедеятельности.

Наш лозунг — душевная и физиологическая судьба нашего покупателя, совершающего половое отправление, вся должна находиться в его руках, положенных на соответствующие регуляторы. И мы этого достигли.

Кроме того, глубокие старики, выпавшие из сексуального чувства, вновь приобщаются к нему нашими приборами. Мы работаем для всех возрастов и для всех народов.

Мы уже 8 лет выпускаем лишь три типа наших аппаратов для мужчин и три типа для женщин. Рынок, по-видимому, не требует большего разнообразия, благодаря широким вариациям, которые допускает устройство каждого типа, в соответствии с индивидуальными особенностями потребителя.

Идя навстречу нашему новому покупателю — оригинальному обитателю советских стран — мы допустили особые льготы, как то: членам профсоюзов по коллективным спискам скидка до 20% с прейскурантной стоимости и рассрочка до одного года. Цены наших аппаратов на 1926 г. следующие:

1. Тип BS^S 00042 для индивидуального потребления, без стерилизатора . . . . 20 длр.
2. Тип BS^S 001843 для потребления ограниченной группой лиц (напр., для мужской части семьи), со стерилизатором . . . . 40 длр.
3. Тип BS^S 000000401 для потребления неограниченной массой лиц (ставится в общественных уборных, ж. д. вагонах, рабочих бараках, на митингах, в театрах, на улицах, в учреждениях и т. п.), с автоматом-стерилизатором . . . . 100 длр.

Цены указаны без скидки, без упаковки, франко-база.

Для женщин идут те же три типа прибора, тех же назначений, лишь с удорожанием на 15% против указанных цен.

Еще раз подчеркивая недосягаемость, по нравственной высоте, наших принципов деятельности, почтительно указывая на необходимость организации Вам в себе самой существенной Вашей части — души, стоя на страже Ваших экономических интересов, оберегая таковые от покушений половых стихий, смеем предложить Вам, произведя небольшие единовременные капитальные затраты, раз навсегда вычеркнуть статью расходов по половому удовлетворению из расходной части Вашего бюджета и тем стать на путь финансового и морального преуспеяния.

В ожидании Ваших любезных заказов и запросов,

пребываем к Вам
с совершенным почтением
генеральный агент для Сов. стран
Яков Габсбург

Война — всемирная страсть человечества. Она не пребудет, пока не пребудет жизнь на земле, что бы ни говорили усталые люди и их мечтатели-политики. Война — мужество: она пребудет, пока мужественна и поступательна жизнь.

Аппараты гг. Беркмана, Шотлуа и сына последнего сыграют, я уверен, в ближайшую же войну великую роль, когда ими будут обслужены тысячи молодых людей, скопленных на фронте.

Уже в истекшую войну военачальники считались с духом войск. Вынужденное целомудрие порождает излишнюю нервность. Нервное же войско — есть поражение. Нам нужны армии людей с твердыми нервами. Нам нужны армии людей с душевным равновесием, способных к десятилетиям войны.

Вышеназванные аппараты призваны помочь военачальникам в их тяжелой работе на пути к победе.

Гинденбург

Гг. Беркман, Шотлуа и С^{Н} открыли новую блестящую эру в нравственном служении человечеству. Нет сомнения, исторический оптимум есть всеобъемлющее регулирование вселенной мозгом человека, — регулирование, которое должно предстать перед нами в виде трансформатора, превращающего стихии в закономерные автоматы.

В свое время, когда мне было 25 лет и я только женился, уже предо мной стояла эта задача, задача регламентации брачной физиологии в точную форму, но моя мысль, отвлеченная занятиями по механике, не сосредоточилась тогда на этом. Сожалею об этом. Может быть, я отказался бы тогда от организации предприятий по фабрикации автомобилей и пошел бы по пути фабрикации приборов, автоматизирующих и нормализирующих нравственность, что более соответствует моему душевному строю.

Но гг. Беркман, Шотлуа и С^{Н} предугадали мою юношескую мысль и широко ее осуществили на пользу общества. Душевно рад этому.

Желаю новой промышленности, так блестяще организованной гг. Беркманом, Шотлуа и C^{H}’ом, мирового процветания, желаю расширения сбыта благотворной продукции этой удивительной фирмы, распространив продукцию через скотоводов для всего животного населения планеты, а не только для людей, число коих роковым образом будет ограничиваться работой аппаратов этой же фирмы. Таковым мероприятием укрепится активная часть баланса фирмы, а с нею укрепится и моральная устойчивость мира.

Генри Форд

Из анализа себестоимости аппаратов под названием «Антисексус», мы усмотрели его излишнюю дороговизну. Я поручил калькуляционному бюро пересчитать эту стоимость, применительно к нашему сырью и оборудованию, и выяснить возможность ее снижения. Мне доложили, что понижение возможно на 30% (пока). С будущего года мы ставим производство Антисексусов на своем заводе в Детройте.

Кроме того, мы позволим себе допускать рассрочку платежа до 5-ти лет, чем покупаемость аппаратов сделаем абсолютной для каждого гражданина.

Этим навсегда и сразу будет ликвидирована проституция, а также все безработные приобретут эти аппараты.

От молодых же рабочих мы отнимем необходимость жениться, чем стабилизуем их бюджет, а это последнее позволит нам обойтись без дальнейших повышений зарплаты, столь тормозящих дальнейший прогресс технического усовершенствования наших заводов.

Форд-сын (Иезекииль)

Лучше в железку сливать семя, если не хочешь превратить его в древо мудрости, чем в беззащитное тело человека, созданное для дружбы, мысли и святости.

Ганди

Приборы гг. Беркмана, Шотлуа и C^{H}’а облегчают метрополии управление страстными расами колоний и снижают

число бессмысленных бунтов, направленных против цивилизации и имеющих в своей причине, как теперь можно установить, лишь одно неудовлетворенное половое чувство молодых людей. Очень серьезно также облегчилось командирование в колонии первоклассных администраторов, так как их женам не грозит обычное прежде изнасилование. Независимо от того и жены администраторов, снабженные аппаратурой фирмы, не пойдут навстречу изнасилованию.

Чемберлен

Я против Антисексуса. Тут не учтена интимность, живое общение человеческих душ — общение, которое всегда налицо при слиянии полов, даже когда женщина — товар. Это общение имеет независимую ценность от полового акта, это то мгновенное чувство дружбы и милой симпатии, чувство растаявшего одиночества, которое не может дать антисексуальный механизм.

Я за фактическую близость людей, за их дыхание рот в рот, за пару глаз, глядящих в упор в другие глаза, за ощущение души при половом грубейшем акте, за обогащение ее за счет другой встретившейся души.

Я поэтому против Антисексуса. Я за живое, мучающееся, смешное, зашедшее в тупик человеческое существо, растратой тощих жизненных соков покупающее себе миг братства с иным вторичным существом. И еще потому я против всей этой механики, что я всегда стоял и буду стоять за конкретное, жалкое, смешное, но живое — и обещающее стать могущественным.

Чарли Чаплин

Примечание фирмы. Принимая во внимание протест г. Чаплина, не избегая печатания отрицательных отзывов, фирма доводит до всеобщего сведения, что она уже поручила лучшим своим инженерам изыскать рациональную конструкцию нового Антисексуса, действующего не только на половую сферу, но и на высшие нервные центры одновременно, дабы механически создать те бесценные моменты ощущения общности с космосом и дружбы высшего смысла

ко всему живому, о которых так исчерпывающе пожалел г. Чаплин.

Фирма полагает, что это ощущение общности жизни ей удастся создать не в виде отвлеченного чувства, а в виде милого конкретного образа женщины или мужчины, соответственно полу потребителя, — образа, наиболее близкого, наиболее желанного нервно-психическому строю потребителя.

Однако фирма не надеется на широкое распространение аппаратов этого типа, ибо известно, что любовь, — а в отзыве г. Чаплина речь идет, очевидно, об истинной, хотя и преходящей, любви, — любовь не есть свойство общее всем людям, и расчеты на нее, мы полагаем, не могут коммерчески рентироваться. Любовь, как установила современная наука, есть психопатическое состояние, свойственное организмам с задатками нервного вырождения, а не здоровым деловым людям. Но мы работаем не только для всех возрастов и всех народов, но также и для всех органических структур, во всем их разнообразии, ибо фирма преследует цели нравственного благоустройства мира прежде всего.

По поручению фирмы:
Г. Беркман

Сделав половой акт единоличным, вытеснив из него вторую живую половину, сделав половое отправление общедоступным без всяких препятствий, — мы на прямой дороге к целомудрию, к господству омолаживающего принципа — использованию выделений желез внутренней секреции в пределах самого организма.

Проф. Штейнах

При употреблении Антисексуса переживаешь молодость и после крепко спишь. Я не спал так хорошо за последние 25 лет. В моем организме открылись какие-то, замершие было, источники юности. Я очень благодарен фабрикантам Антисексуса. Моя дочь предложила мне основать Институт перманентной юности имени гг. Беркмана, Шотлуа и сына его. Я дал согласие и деньги на это счастливое дело.

Морган

Мы потеряли с введением антисексуальных аппаратов известный комплекс красивых и мощных движений, сопутствующих божественной страсти. Об этом надо пожалеть.

Но мы приобрели известный половой комфорт, определенную экономию времени, равновесие здорового организма и независимость от женских капризов. Это надо приветствовать. Кроме того, я думаю, современное кино скомпенсирует утраченный комплекс половых движений, очистив их от привкуса бессознательного и зверско-стихийного, заменив их легким преодолением пространств могучим и девственным телом.

Дуг Фэрбенкс

Будущее принадлежит цивилизации, а не культуре: будущее завоюет душевно мертвый, интеллектуально пессимистический человек. В пошлой плоскости истинной цивилизации немыслим брак — дух фаустовского стиля — там мыслимо лишь механическое освобождение от избытка сырых органических сил, не могущих сублимироваться в дух.

Автомат «Антисексус» еще раз ознаменовал ту эпоху, в которую мы входим — цивилизацию — мертвое удобное здание, фундамент которого уперт в зеленые травы живой, погибшей культуры.

Освальд Шпенглер

Автомат «Антисексус» чрезвычайно необходим при долгих путешествиях и очень удобен в пользовании. Эти автоматы совершенно необходимо теперь включать непременными элементами в оборудование каждой экспедиции, мало-мальски научно снаряженной.

Наличие автоматов — лишний плюс для обеспечения успеха экспедиции.

Свен Гедин

Когда я был в России, я слышал песенку:

Хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет:

Только ступит на порог,
Как сметана и творог!

Теперь, когда ежедневно беднеет Европа и еще далеко не богата Россия, когда на каждого не придется по жене-молочнице, нужна механическая «молочница». Ее и призван заменить механизм «Антисексус». Ежегодно на проституцию тратит человечество около 500 миллиардов рублей, не считая косвенных затрат здоровья, потери колоссального времени, наличия целого международного общественно вредного класса проституток и проститутов и пр. и т. п.

На эти сбережения, которые в сумме дадут около триллиона рублей в год, можно купить молока, сметаны и творога для каждого, не обуславливая такое сытное питание необходимостью иметь жену-молочницу.

Да. Но экономию в триллион в год, общедоступное молочное питание сделал ведь Антисексус! Поэтому он действительнее любой самой революционной экономической реформы.

Клайнс

Я не пишу, я обычно действую. Я рассматриваю Антисексусы как необходимое вооружение каждого культурного человека, — вооружение, действительное и дома и на фронте. Наш король декретировал освобождение Антисексусов от всякого налога и пошлины. Женщина, освобожденная от половых обязанностей и половых последствий, увеличит актив нашей страны. Для члена союза фашистов наличие Антисексуса обязательно — его должен иметь каждый — от римского нищего до нашего короля.

Муссолини

Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застает, как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому: дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет. На свете ведь не хватает одного — существования. Сладостный срам делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно уже не так тускло, как в презервативе.

Виктор Шкловский

Примечание фирмы. Не имея возможности поместить все отзывы здесь, фирма предполагает издать три тома, специально посвященные оценке наших аппаратов мировыми светилами ума, чувства, поэзии, науки, добра, пользы, социал-демократизма, финансов, политики, коммунизма, техники и эстетизма. В ближайшем томе будут помещены оценочные рассуждения гг.: Л. Авербаха, Землячки, Корнелия Зелинского, Сун Цзилин, Бачелиса, Гроссман-Рощина, Детердинга, С. Буданцева, Лоуренса Виндроуэра, Осинского, генерала По Лу Гуй, Тарасова-Родионова, проф. Вестингауза, Киршона и мн. др. уважаемых авторитетов.

Андрей Платонов
переводчик с французского
<1925–1926>

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Пожилой человек любил транспорт наравне с кооперативами и перспективой будущего строительства. Утром он закусывал вчерашней мелочью и выходил наблюдать и наслаждаться. Сначала он посещал вокзал, преимущественно товарные платформы прибытия грузов, и там был рад накоплению товаров. Паровоз, сопя гущей своих мирных сил, медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ: бутылей с серной кислотой, бугров веревок, учрежденской клади и необозначенных мешков с чем-то полезным. Пожилой человек, по имени Петр Евсеевич Веретенников, был доволен, что их город снабжается, и шел на платформу отправления посмотреть, уходят ли оттуда поезда в даль Республики, где люди работают и ожидают грузов. Поезда уходили со сжатыми рессорами, — столько везли они необходимой тяжести. Это тоже удовлетворяло Петра Евсеича, — тамошние люди, которым назначались товары, будут обеспечены.

Невдалеке от станции строился поселок жилищ. Петр Евсеевич ежедневно следил за ростом сооружений, потому что в теплоте их крова приютятся тысячи трудящихся семейств и в мире после их поселения станет честней и счастливей.

Покидал строительство Петр Евсеевич уже растроганным человеком — от вида труда и материала. Все это заготовленное добро посредством усердия товарищеского труда вскоре обратится в прочный уют от вреда осенней и зимней погоды, чтобы самое содержание государства, в форме его населения, было цело и покойно.

На дальнейшем пути Петра Евсеевича находился небольшой, уже использованный сельской общественностью лес, лишь изредка обогащенный строевыми, хотя и ветшающими соснами. В межевой канаве того малого леса спал землемер; он был еще не старый, но изжитый, видимо, ослабевший от землеустройства человек. Рот его отворился в изнеможении сна, и жизненный тревожный воздух смоляной сосны входил в глубину тела землемера и оздоровлял его там, чтобы тело вновь было способно к землеустройству пахарей хлеба. Человек отдыхал и наполнялся счастьем попутного покоя; его инструменты — теодолит и мерная лента — лежали в траве, их спешно обследовали муравьи и сухой паучок, проживающий от скупости всегда единолично. Петр Евсеевич нарвал травы среди ее канавного скопища, оформил ту траву в некую мякоть и подложил ее под спящую голову землеустроителя, осторожно побеспокоив его, чтоб получилось удобство. Землемер не проснулся, — он лишь простонал что-то, как жалобная сирота, и вновь опустился в сон. Но отдыхать на мягкой траве ему уже было лучше. Он глубже поспит и точнее измерит землю, — с этим чувством своего полезного участия Петр Евсеевич пошел к следующим делам.

Лес быстро прекращался, и земля из-под деревьев переходила в овражные ущербы и в еще несверстанную чересполосицу ржаных наделов. А за рожью жили простые деревни, и над ними — воздух из жуткого пространства, Петр Евсеевич считал и воздух благом, — оттуда поставлялось дыхание на всю площадь государства. Однако безветренные дни его беспокоили: крестьянам нечем молоть зерно, и над городом застаивается зараженный воздух, ухудшая санитарное условие. Но свое беспокойство Петр Евсеевич терпел не в качестве страдания, а в качестве заботливой нужды, занимающей своим смыслом всю душу

и делающей поэтому неощутимой собственную тяжесть жизни. Сейчас Петр Евсеевич несколько волновался за паровоз, который с резкой задыхающейся отсечкой пара, доходившей до напряженных чувств Петра Евсеевича, взволакивал какие-то грубые грузы на подъем. Петр Евсеевич остановился и с сочувствием помощи вообразил мучение машины, гнетущей вперед и на гору косность осадистого веса.

— Лишь бы что не лопнуло на сцепках, — прошептал Петр Евсеевич, сжимая зубы меж зудящих десен. — И лишь бы огню хватило, — ведь он там воду жжет! Пусть потерпит, теперь недалеко осталось...

Паровоз со скрежетом бандажей пробуксовывал подъем, но не сдавался влипающему в рельсы составу. Вдруг паровоз тревожно и часто загудел, прося сквозного прохода: очевидно, был закрыт семафор; машинист боялся, что, остановившись, он затем не возьмет поезд в упор подъема.

«И что это делается, господи боже мой!» — горестно поник Петр Евсеевич и энергично отправился на вокзал — рассмотреть происшествие.

Паровоз дал три свистка, что означает остановку, а на вокзале Петр Евсеевич застал полное спокойствие. Он сел в зале третьего класса и начал мучиться: «Где же тут государство? — думал Петр Евсеевич. — Где же тут находится автоматический порядок?»

— Щепотко! — крикнул дежурный агент движения составителю поездов. — Пропускай пятьдесят первый на восьмую. Сделай механику и главному отметку, что нас транзитом забили. Ты растаскал там цистерны?

— Так точно! — ответил Щепотко. — Больше пока ничего не принимайте, — мне ставить некуда. Надо пятьдесят первый сработать.

«Теперь мне вполне понятно, — успокоился Петр Евсеич. — Государство тут есть, потому что здесь забота. Только надо населению сказать, чтоб оно тише существовало, иначе машины лопнут от его потребностей».

С удовлетворенным огорчением Петр Евсеевич покинул железнодорожный узел, чтобы посетить ближнюю деревню, под названием Козьма.

В той Козьме жило двадцать четыре двора. Дворы расположились по склонам действующего оврага и уже семьдесят лет терпели такое состояние. Кроме оврага, деревню мучила жажда, а от жажды люди ели плохо и не размножались как следует. В Козьме не было свежей и утоляющей воды, — имелся небольшой пруд среди деревни, внизу оврага, но у этого пруда плотина была насыпана из навоза, а вода поступала из-под жилья и с дворовых хозяйственных мест. Весь навоз и мертвые остатки человеческой жизни смывались в ложбину пруда и там отстаивались в желто-коричневый вязкий суп, который не мог служить утоляющей влагой. Во время общегражданских заболеваний, а именно холеры, тифа или урожая редкого хлеба, потому что в здешней почве было мало тучного добра, — люди в Козьме ложились на теплые печи и там кончались, следя глазами за мухами и тараканами. В старину, говорят, в Козьме было до ста дворов, но теперь нет следов прошлой густоты населения. Растительные кущи покрыли обжитые места вымороченных усадеб, и под теми кущами нет ни гари, ни плешин от кирпича или извести. Петр Евсеевич уже рылся там, — он не верил, чтобы государство могло уменьшиться, он чувствовал размножающуюся силу порядка и социальности, он всюду наблюдал автоматический рост государственного счастья.

Крестьяне, проживающие в Козьме, уважали Петра Евсеевича за подачу им надежды и правильно полагали, что их нужду в питье должна знать вся Республика, а Петр Евсеевич в том их поддерживал.

— Питье тебе предоставят, — обещал он. — У нас же государство. Справедливость происходит автоматически, тем более питье! Что это — накожная болезнь, что ли? Это внутреннее дело, — каждому гражданину вода нужна наравне с разумом!

— Ну, еще бы! — подтверждали в Козьме. — Мы у Советской власти по водяному делу на первой заметке стоим. Черед дойдет — и напьемся! Аль мы не пили сроду? Как в город поедешь, так и пьешь.

— Совершенно верно, — определял Петр Евсеевич. — Да еще и то надо добавочно оценить, что при жажде жизнь идет суше и скупее, ее от томления больше чувствуешь.

— От нее без воды деться некуда, — соглашались крестьяне. — Живешь — будто головешку из костра проглотил.

— Это так лишь мнительно кажется, — объяснял Петр Евсеевич. — Многое покажется, когда человеку есть желание пить. Солнце тоже видится тебе и нам жарой и силой, а его паром из самовара можно зазастить и потушить — сразу на скатерти холод настанет. Это только тебе и нам так воображается в середине ума...

Петр Евсеевич себя и государство всегда называл на вы, а население на ты, не сознавая, в чем тут расчет, поскольку население постоянно существует при государстве и обеспечивается им необходимой жизнью.

Обычно в Козьме Петру Евсеевичу предлагали чего-нибудь поесть — не из доброты и обилия, а из чувства безопасности. Но Петр Евсеич никогда не кушал чужой пищи: ведь хлеб растет на душевом наделе, и лишь на одну душу, а не на две, — так, что есть Петру Евсеичу было не из чего. Солнце — оно тоже горит скупо и социально: более чем на одного трудящегося едока оно хлеба не нагревает, стало быть, вкушающих гостей в государстве быть не должно.

Среди лета деревня Козьма, как и все сельские местности, болела поносом, потому что поспевали ягоды в кустах и огородная зелень. Эти плоды доводили желудки до нервности, чему способствовала водяная гуща из пруда. В предупреждение этого общественного страдания козьминские комсомольцы ежегодно начинали рыть колодцы, но истощались мощью непроходимых песков и ложились на землю в тоске тщетного труда.

— Как это вы все делаете без увязки?— сам удручался и комсомольцев упрекал Петр Евсеевич. — Ведь тут грунт государственный, государство вам и колодезь даст — ждите автоматически, а пока пейте дожди! Ваше дело — пахота почвы в границах надела.

Покидал Козьму Петр Евсеевич с некоторой скорбью, что нет у граждан воды, но и со счастьем ожидания, что, стало быть, сюда должны двигаться государственные силы и он их увидит на пути. Кроме того, Петр Евсеевич любил для испытания ослабить свой душевный покой посредством и организации малого сомнения. Это малое сомнение

в государстве Петр Евсеевич выносил с собой из Козьмы вследствие безводия деревни. Дома Петр Евсеевич вынимал старую карту Австро-Венгрии и долгое время рассматривал ее в спокойном созерцании; ему дорога была не Австро-Венгрия, а очерченное границами живое государство, некий огороженный и защищенный смысл гражданской жизни.

Под картиной севастопольского сражения, которая украшала теплое, устойчивое жилище Петра Евсеича, висела популярная карта единого Советского Союза. Здесь Петр Евсеевич наблюдал уже более озабоченно: его беспокоила незыблемость линии границ. Но что такое граница? Это замерший фронт живого и верного войска, за спиною которого мирно вздыхает согбенный труд.

В труде есть смирение расточаемой жизни, но зато эта истраченная жизнь скопляется в виде государства — и его надо любить нераздельной любовью, потому что именно в государстве неприкосновенно хранится жизнь живущих и погибших людей. Здания, сады и железные дороги — что это иное, как не запечатленная надолго кратковременная трудовая жизнь? Поэтому Петр Евсеевич правильно полагал, что сочувствовать надо не преходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в образе государства. Тем более необходимо было беречь всякий труд, обратившийся в общее тело государства.

«Нет ли птиц на просе? — с волнением вспоминал Петр Евсеевич. — Поклюют молодые зернышки, чем тогда кормиться населению?»

Петр Евсеевич поспешно удалялся на просяное поле и, действительно, заставал там питающихся птиц.

«И что же это делается, господи боже ты мой? Что ж тут цело будет, раз никакому добру покоя нет? Замучили меня эти стихии — то дожди, то жажда, то воробьи, то поезда останавливаются! Как государство-то живет против этого? А люди еще обижаются на страну: разве они граждане? Они потомки орды!»

Согнав птиц с проса, Петр Евсеевич замечал под ногами ослабевшего червя, не сумевшего уйти вслед за влагой в глубину земли.

«Этот еще тоже существует — почву гложет! — сердился Петр Евсеевич. — Без него ведь никак в государстве не обойдешься!» — и Петр Евсеевич давил червя насмерть: пусть он теперь живет в вечности, а не в истории человечества, здесь и так тесно.

В начале ночи Петр Евсеевич возвращался на свою квартиру. Воробьи тоже теперь угомонились и жрать на просо не придут; а за ночь зернышки в колосьях более созреют и окрепнут — завтра их выклевать будет уже трудней. С этим успокоительным размышлением Петр Евсеевич подъедал крошки утреннего завтрака и преклонял голову ко сну, но заснуть никак не мог; ему начинало что-нибудь чудиться и представляться; он прислушивался — и слышал движение мышей в кооперативах, а сторожа сидят в чайных и следят за действием радио, не доверяя ему от радости; где-нибудь в редко посещаемой степи кулаки сейчас гонятся за селькором, и одинокий государственный человек падает без сил от ударов толстой силы, подобно тому, как от неуравновешенной бури замертво ложится на полях хлеб жизни.

Но память милосердна — Петр Евсеевич вспомнил, что близ Урала или в Сибири — он читал в газете — начат возведением мощный завод сложных молотилок, и на этом воспоминании Петр Евсеевич потерял сознание.

А утром мимо его окон проходили на работу старики-кровельщики, нес материал на плече стекольщик, и кооперативная телега везла говядину; Петр Евсеевич сидел, как бы пригорюнившись, но сам наслаждался тишиной государства и манерами трудящихся людей. Вон пошел в потребительскую пекарню смирный, молчаливый старичишка Терморезов; он ежедневно покупает себе на завтрак булочку, а затем уходит трудиться в сарай Копромсоюза, где изготовляются веревки из пеньки для нужд крестьянства.

Разутая девочка тянула за веревку козла — пастись на задних дворах; лицо козла, с бородкой и желтыми глазами, походило на дьявола, однако его допускали есть траву на территории, значит, козел был тоже важен.

«Пускай и козел будет, — думал Петр Евсеевич. — Его можно числить младшим бычком».

Дверь в жилище отворилась, и явился знакомый крестьянин — Леонид из Козьмы.

— Здравствуй, Петр Евсеич, — сказал Леонид. — Вчерашний день тебе бы у нас обождать, а ты поспешил на квартиру...

Петр Евсеевич озадачился и почувствовал испуг.

— А что такое вышло? А? Деревня-то цела, на месте? Я видел, как один нищий окурок бросал, не спалил ли он имущество?..

— От окурка-то деревня вполне сохранилась... А — только что ты вышел — с другого конца два воза едут, а сзади экипаж и в нем старик. Старик говорит: «Граждане, а не нужна ли вам глубокая вода?» Мы говорим: «Нужна, только достать ее у нас мочи нет». А старик сообщает: «Ладно, я — профессор от государства и вам достану воду из материнского пласта». Старик поночевал и уехал, а два техника с инструментом остались и начали почву щупать внутрь. Теперь мы, Петр Евсеевич, считай, будем с питьем. За это я тебе корчажку молока завез: если б не ты, мы либо рыли зря, либо не пивши сидели, а ты ходил и говорил: ждите движения государства, оно все предвидит. Так и вышло. Пей, Петр Евсеич, за это наше молоко...

Петр Евсеевич сидел в разочаровании, он опять пропустил мимо себя живое государство и не заметил его чистого первоначального действия.

— Вот, — сказал он Леониду. — Вот оно приехало и выбыло. Из сухого места воду вам добудет, вот что значит оно!

— Кто же это такое?— тихо спросил Леонид.

— Кто! — отвлеченно произнес Петр Евсеевич. — Я сам не знаю кто, я только его обожаю в своем помышлении, потому что я и ты — лишь население. Теперь я все вижу, Леонид, и замру в надежде. Пускай птицы клюют просо, пускай сторожа в кооперативе на радио глядят, а мыши кушают добро, — государство внезапно грянет и туда, а нам надо жить и терпеть.

— Это верно, Петр Евсеич, всегда до хорошего дотерпишься, когда ничего не трогаешь.

— Вот именно, Леонид! — согласился Петр Евсеевич. — Без государства ты бы молочка от коровы не пил.

— А куда ж оно делось бы? — озаботился Леонид.

— Кто же его знает, куда! Может, и трава бы не росла.

— А что ж было бы?

— Почва, Леонид, главное дело — почва! А почва ведь и есть государственная территория, а территории тогда бы и не имелось! Где ж бы твоей траве поспеть было? В безвестном месте она не растет — ей требуется территория и землеустройство. В африканской Сахаре вон нету государства, и в Ледовитом океане нет, от этого там и не растет ничего: песок, жара да мертвые льды!

— Позор таким местам! — твердо ответил Леонид и сразу смолк, а потом добавил обыкновенным человеческим голосом: — Приходи к нам, Петр Евсеевич, без тебя нам кого-то не хватает.

— Были бы вы строгими гражданами, тогда бы вам всего хватило, — сказал Петр Евсеевич.

Леонид вспомнил, что воды в Козьме еще нет, и напился из ведра Петра Евсеевича в запас желудка.

После отъезда крестьянина Петр Евсеевич попробовал подаренного молока и пошел ходить среди города. Он щупал на ходу кирпич домов, гладил заборы, а то, что недостижимо ощущению, благодарно созерцал. Быть может, люди, что творили эти кирпичи и заборы, уже умерли от старости и от истощения труда, на зато от их тела остались кирпичи и доски — предметы, которые составляют сумму и вещество государства. Петр Евсеевич давно открыл для своей радости, что государство — полезное дело погибшего, а также живущего, но трудящегося населения; без произведения государства население умирало бы бессмысленно.

В конце пути Петр Евсеевич нечаянно зашел на вокзал, — он не особо доверял железной дороге, слыша оттуда тревожные гудки паровозов. И сразу же Петр Евсеевич возмутился: в зале третьего класса один мальчик топил печку казенными дровами, несмотря на лето.

— Ты что, гадина, топливо жгешь? — спросил Петр Евсеевич.

Мальчик не обиделся, он привык к своей жизни.

— Мне велели, — сказал он. — Я за это на станции ночую.

Петр Евсеевич не мог подумать, в чем тут дело, отчего летом требуется нагрев печей. Здесь сам мальчик помог Петру Евсеевичу рассеяться от недоразумения: на станции были залежи гнилых шпал. Чтобы их не вывозить, велено было сжечь в печках помещений, а тепло выпустить в двери.

— Дай мне, дядь, копейки две! — попросил после рассказа мальчик.

Просил он со стыдом, но без уважения к Петру Евсеевичу. Для Петра же Евсеевича дело было не в двух копейках, а в месте, которое занимал этот мальчик в государстве: необходим ли он? Такая мысль уже начинала мучить Петра Евсеевича. Мальчик неохотно сообщил ему, что в деревне у него живут мать и сестры-девки, а едят одну картошку. Мать ему сказала: «Поезжай куда-нибудь, может быть, ты себе жизнь где-нибудь найдешь. Что ж ты будешь с нами страдать, — я ведь тебя люблю». Она дала сыну кусок хлеба, который заняла на хуторах, а должно быть, врет — ходила побираться. Мальчик взял хлеб, вышел на разъезд и залез в пустой вагон. С тех пор он и ездит: был в Ленинграде, в Твери, в Москве и Торжке, а теперь — тут. Нигде ему не дают работы, говоря: в нем силы мало, и без него много круглых сирот.

— Что ж ты будешь делать теперь?— спрашивал его Петр Евсеевич. — Тебе надо жить и ожидать, пока государство на тебя оглянется.

— Ждать нельзя, — ответил мальчик. — Скоро зима настанет, я боюсь тогда умереть. Летом и то помирают. Я в Лихославле видел, — один в ящик с сором лег спать и там умер.

— А к матери ты не хочешь ехать?

— Нет. Там есть нечего, сестер много, — они рябые, их мужики замуж не берут.

— Что ж им своевременно оспу не привили? Ведь фельдшера на казенный счет ее прививают?

— Не знаю, — сказал мальчик равнодушно.

— Ты вот не знаешь, — раздраженно заявил Петр Евсеевич, — а вот теперь о тебе заботься! Во всем виновато твое семейство: государство ведь бесплатно прививает оспу. Привили бы ее твоим сестрам, когда нужно было, и сестры

бы замужем давно были, и тебе бы место дома нашлось! А раз вы не хотите жить по государству, — вот и ходите по железным дорогам. Сами вы во всем виноваты — так пойди матери и скажи! Какие же я тебе две копейки после этого дам? Никогда не дам! Надо, гражданин, оспу вовремя прививать, чтоб потом не шататься по путям и не ездить бесплатно в поездах!

Мальчик молчал. Петр Евсеевич оставил его одного, не жалея больше виноватого.

Дома он нашел повестку: явиться завтрашний день на биржу труда для очередной перерегистрации, — там Петр Евсеевич состоял безработным по союзу совторгслужащих и любил туда являться, чувствуя себя служащим государству в этом учреждении.

ВОЙНА

1

Ночной ветер ревел над поблекшей осенней природой. Он шевелил лужи и не давал остынуть грязи. Хорошее узкое шоссе вело на холм, а по сторонам дороги была та безлюдная унылая глушь, какая бывает в русском уезде. День еще не совсем кончился, но дикий ветер нагонял сон и тоску.

Поэтому в усадьбе на холме уже горел огонь — это оружие тепла и уюта против сырой тьмы, гонимой ветром с моря.

По шоссе проехал маленький автомобиль «Татра». В нем сидел одинокий человек. Он небрежно держал баранку руля левой рукой, а правой помахивал в такт своим рассуждениям. Вероятно, он забывал ногой нажимать на газ — машина шла тихо. Только поэтому она и не свалилась в сточную канаву, так как человек иногда и левую руку снимал с руля, резким жестом — обеими руками — подтверждая свою невидимую мысль.

Навстречу мотору росли освещенные окна большого особняка, а с половины холма виднелись сырые поля, фер-

мы, трубы фабрик — целая страна, занятая сейчас скорбной непогодой.

Пассажир автомобиля въехал прямо в открытый гараж и повалил подножкой машины ведро с водой.

Потушив машину, человек пошел в дом и начал звонить. Ему никто не вышел отворять, потому что дверь была открыта, а звонок не действовал.

— Так-с! — сказал человек и догадался войти в незапертую дверь.

Большие комнаты жили пустыми, но все были сильно освещены. Назначение дома поэтому нельзя было определить: либо это зимнее помещение для обучения велосипедной езде, либо здесь жила семья, не оборудованная для жизни в таком солидном особняке.

Последняя дверь, в которую вошел приезжий, вела в жилую комнату. Она была меньше других и пахла человеком. Однако мебели и тут недоставало: только стол и стулья вокруг него. Зато за столом сидела хозяйка — молодая русая женщина, а на столе роскошная, даже ненужная пища. Так, обыкновенно, начинает кормить себя бедный человек после длинных годов плохого питания.

Женщина ждала приехавшего. Она даже не начинала есть эти яства, лишь слегка отщипывая от них. Она хотела дождаться мужа и с ним разделить наслаждение обильной еды. Это было хорошим чувством прежней бедности: каждый кусок делить пополам.

Женщина поднялась и притронулась к мокрому мужу.

— Сергей, я ждала тебя раньше! — сказала она.

— Да, а я приехал позже! — невнимательно ответил муж.

Налетевший дождь с ветром ударил по мрачному сплошному стеклу огромного окна.

— Что это? — съежилась женщина.

— Чистая вода! — разъяснил муж и проглотил что-то с тарелки.

— Хочешь омара? — предложила жена.

— Нет, дай-ка мне соленой капустки!

Женщина с печалью глядела на мужа — ей было скучно с этим молчаливым человеком, но она любила его и обречена на терпение. Она тихо спросила, чтобы рассеять себя:

— Что тебе сказали в министерстве?

— Ничего! — сообщил муж. — Женева провалилась: американцы отмели всякое равновесие в вооружении. Это ясно: равновесие выгодно слабому, а не сильному.

— Почему? — не поняла жена.

— Потому что Америка богаче нас и хочет быть сильней! И будет! Нам важно теперь качественно опередить ее...

Женщина ничего не понимала, но не настаивала в вопросах: она знала, что муж может тогда окончательно замолчать.

Дождь свирепел и метал потоки, преграждаемые окном. В такие минуты женщине делалось жалко раскинутых по всей земле людей и грустнее вспоминалась далекая родина — такая большая и такая беззащитная от своей величины.

— А как качественно, Сережа? Вооружиться качественно, да?

Муж улыбнулся. В нем проснулась жалость к жене от робкого тона ее вопроса.

— Качественно — это значит, что Англия должна производить не броненосцы и подводные лодки и даже не аэропланы — это слишком дорого, и Америка всегда опередит нас. У ней больше денег. Значит, количественно Америка нас задавит. А нам надо ввести в средства войны другие силы, более, так сказать, изящные и дешевые, но более едкие и разрушительные. Мы просто должны открыть новые боевые средства, сильнее старых по разрушительному качеству... Теперь тебе ясно, Машенька?

— Да, вполне ясно, Сережа! Но что же это будет?

— Что? Скажем, универсальный газ, который превращает с одинаковой скоростью и силой — и человека, и землю, и металл, и даже самый воздух — в некую пустоту, в то самое, чем полна вся вселенная — в эфир. Ну, этой силой еще может быть что теперь называют сверхэлектричеством. Это — как тебе сказать? — особые токи с очень высокой частотой пульса...

Женщина молчала. Мужу захотелось обнять ее, но он сдержался и продолжал:

— Помнишь, к нам приезжал профессор Файт? Вот он работает над сверхэлектричеством для военного министерства...

— Это рыжий потный старик? — спросила жена. — У, противный такой! Что же он сделал?

— Пока умеет камни колоть на расстоянии километра. Наверное, дальше пойдет...

Супруги расстались. Муж пошел в лабораторию, занимавшую весь нижний полуподвал, а женщина села к телефону говорить с лондонскими подругами. От усадьбы до Лондона — 22 километра по счетчику автомобиля.

Оборудование лаборатории указывало, что здесь может работать химик и электротехник. Тот, кого женщина наверху называла Сергеем, здесь превращался в инженера Серденко — имя никому не известное, даже специалистам.

Если раньше инженер делал открытие, то его находила слава. У Серденко происходило наоборот — с каждым новым изобретением его имя делалось все забвеннее и бесславнее. Ни один печатный листок никогда не упоминал про работы инженера Серденко, только холодные люди из военного министерства все более охотно подписывали ему ассигновки из секретных фондов. Да еще два-три высококвалифицированных эксперта, обреченных на вечное молчание, изредка давали заключения по изобретениям Серденко.

Душа Серденко состояла из мрачной безмолвной любви к жене и обожания России — бедной и роскошной ржаной страны. Именно воображение соломенных хат на ровном пространстве, обширном, как небо, успокаивало Серденко.

— Я вас еще увижу! — говорил он себе — и этой надеждой прогонял ночную усталость. <...>

Ему давали очень жесткие короткие сроки для исполнения заданий, поэтому он успевал их выполнять только за счет сокращения сна.

Нынче тоже Серденко не собирался спать. Пустынные залы лаборатории были населены дикими существами точных и дорогих аппаратов.

Серденко сел за огромный стол, взял газету и стал размышлять. Он верил, что можно доработаться до такого газа, который будет всеобщим разрушителем. Тогда Америка, с ее миллиардами, станет бессильной. История, с ее доро-

гой к трудовому коллективизму, превратится в фантазию. Наконец, все кипящее несметное безумное человечество можно сразу привести к одному знаменателю — и притом к такому, к какому захочет владелец или производитель универсального газа.

Серденко чувствовал напрягающийся восторг в своем сердце и меж исполнением обычных изобретений постоянно и неутомимо думал о своей главной цели.

Что такое тот отравляющий состав, который он испытывал месяц назад? Водные источники будут отравлены, люди начнут умирать от жажды, но ведь возможно и противоядие — обратно действующее вещество! И Серденко уже сам знает его состав.

Вот профессор Файт удовлетворительно может с земли размагничивать магнето у аэропланов. Ну и что же — магнето у моторов можно оградить от действия размагничивающих волн!

Нет! Это бег с препятствиями, а не остановка перед идеалом! Серденко же думал о другом — о боевом средстве, которому нет противника, для которого не найдешь в природе противоядия в течение первых десяти лет. А за десять лет можно окончательно смирить мир.

Ветер на дворе превратился в вихрь и штурмовал беззащитную ночную землю.

Жена инженера спала наверху на узком диване.

Серденко сидел и мечтал, не касаясь приборов.

2

Утро выжило непогоду и украсило небо цветущим солнцем. Земля отвечала сияющему небу влажной блестящей зеленью и тишиной.

К первому завтраку приехал князь Маматов.

— Сергей Петрович! Ты, брат, похудел! Что, нездоров, что ли? Ты бы помощников взял — чего ты в одиночку стараешься, — так нынче никто не работает: старый прием! А то быстро выработаются самородные недра твоего таланта!

— Я здоров, Игнатий Капитонович! — ответил Серденко. — Но мне грустно жить на чужом острове! Я на равни-

ну хочу, где весною сирень, а осенью — антоновские яблоки!

Маматов ничего не высказал. Он отвернулся к столику с папиросами и, закуривая, думал, что теперь, дескать, вы все так говорите; а где вы раньше были, когда на фронте — за каждого убитого германца — приходилось платить тремя русскими трупами? Тогда, именно, — думал Маматов, — и была посеяна революция. А теперь ее сам черт не вытравит, разве только новый английский газ, открытый русским беглым инженером!

Маматов считал, что русская интеллигенция — с ее фантастической влюбленностью в духовные ценности, с презрением к технике и материальному богатству собственного отечества — очень виновата в нынешних бедствиях родины. Германия производила инженеров, а Россия поэтов — в результате: Октябрь 1917 года. Так уверял себя Маматов. Сам он ненавидел людей отвлеченного дела и уважал людей новейшего времени, вроде Форда, Стиннеса, Муссолини и даже Ленина. Полутатарин, он не любил славян, ищущих спасения не себе, а целому миру. Маматов был очень близко связан с английским министерством иностранных дел — исключительно благодаря своему практическому уму, энергии и полной беспринципности. Последним свойством он походил на англичан, которые, как известно, обладают лишь домашней нравственностью, а в мировой политике руководствуются правилом наибольшей классовой и национальной выгоды, хотя бы для этого требовалось умерщвлять целые народы. В свое время, будучи в Париже, Маматов встретил Серденко, которого он знал немного еще по Ледяному походу Корнилова. В Париже Серденко ездил шофером на такси. Маматов имел сведения о Серденко как о выдающемся, редкой талантливости, инженере. Так его расценивал когда-то штаб Врангеля и английский военный атташе в Симферополе Бен-Товер. Своей неприступностью Перекоп во многом обязан способностям Серденко, несмотря на то, что Серденко работал там не по своей специальности — химии, а как военный инженер.

Маматов снял Серденко с такси, увез в Лондон и поставил на его прямое дело — химию. Сначала военное мини-

стерство очень осторожно финансировало опыты Серденко, но потом, когда Серденко заставил в течение суток завять и осыпаться свежий июньский парк, военное министерство включило его в список посмертных секретных специалистов. Серденко не знал, что из этого списка вычеркивают только мертвых; живых же, если они пожелают переменить Англию на другую страну, косвенным образом превращают в трупы. Маматов эту историю знал и считал ее признаком мужественной государственной мудрости англичан.

— Сергей Петрович! — обернулся Маматов. — Я за тобой. Сегодня в китайском посольстве нас ждут два китайских военных инженера...

Из усадьбы выехали три человека: жена Серденко не хотела одна оставаться дома. «Паккард» Маматова тянул так, что шоссейный гравий свистел под колесами.

В Лондоне, на набережной автомобиль остановился: толпа небогатых людей шла поперек дороги.

— Чего хотят эти люди? — спросила жена Серденко.

Муж ей ответил:

— Сегодня в Америке казнены двое рабочих. Говорят, они были невинны — люди протестуют!

— Протестуй тогда и ты! — искренно сказала жена. Увезенная из России девочкой, она не могла сердечно ненавидеть большевиков, как другие, потому что не помнила их зла.

Маматов ей ответил за себя и за ее мужа:

— Нас, Мария Альбертовна, не интересует все человечество — это слишком отвлеченно, — мы привязаны только к некоторым людям: в их число не входят эти невинно казненные! — И мужчины не встали с сидений. Только шофер и Мария Альбертовна вышли из машины и стояли на ногах.

Когда поехали, Мария Альбертовна подумала, что в ее муже талант съел человека: он не имел собственной воли и своих взглядов на жизнь, зато хорошо знал фокусы с веществами природы.

У китайского посольства Серденко и Маматов расстались с Марией Альбертовной: она поехала в цирк, а мужчины в посольство. Они немного опоздали — у китайского по-

сла уже началось совещание. Присутствовало немного англичан, совершенно неизвестных даже Маматову.

Обсуждался вопрос об отчуждении Китайско-Восточной железной дороги в полную собственность пекинского правительства. Маматов знал, что нападение уже назначено — нынешнее совещание имело лишь формальные задачи, дабы не обойти китайского посла. Главный же смысл совещания состоял в приглашении специалистов химической войны на север Китая. Маматов подумал, что присутствующие англичане, вероятно, химики из министерства авиации или что-нибудь в этом роде.

Китайский посол освещал перед присутствующими совершенно неинтересные специальные детали: протяжение Китайско-Восточной железной дороги, ее экономическое значение для Северного Китая и прочее. Маматов не слушал и писал записку Серденко:

«С. П.! Учитесь делать политику — она делает современную жизнь. Китайский идол убеждает неповинных людей, чтобы они отняли у Советской России дорогу, а консерваторы решили ее отнять две недели назад — и она будет отнята. Англичане всегда стреляют по двум зайцам и обычно попадают в обоих. Вы понимаете? Англия — я не шучу! — нынче промышленно отсталая страна. Это страна паровых машин. Ей нужна свежая страна для развития современной электрической техники. Вместе с тем мировая экономика тяготеет к берегам Тихого океана. Обоим условиям удовлетворяет Китай. Этому мешают Советы. Они начнут отстаивать Китайско-Восточную железную дорогу. После Войкова и внутренних актов белых — Советы дальше не пойдут на мировую — русский народ не потерпит унижения национального достоинства. Большевики это мастерски учитывают. И Россия влипнет в войну с Китаем. Тогда — Англия сумеет отрубить ей там руки, а может быть, и голову, потому что Польша, Эстония и прочие меж двух стульев сидеть не останутся. Поняли? А вас пригласили для специальной беседы с послом, чтобы потом подороже содрать с китайского правительства за ваши выдумки. Но это дело буду вести я».

Действительно, после совещания Серденко имел особую беседу с послом и его военным атташе в присутствии Мамато-

ва. По просьбе посла Серденко рассказал ему о своих последних работах в области отравляющих веществ, в том числе об универсальном газе — пангазе, способном погасить самый тайфун, а не только бедное тело человека. Серденко несколько увлекся по своей русской привычке — он рассказывал то, что еще сам не вполне обработал, а потом для китайцев этот пангаз — излишняя роскошь — его следует беречь для защиты британских островов. Маматов не одобрял поведения Серденко, но вежливо молчал.

Китайский атташе предложил Серденко вопрос:

— В каких источниках, инженер, ваш пангаз находит свою разрушительную силу?

Серденко придумал простое объяснение — самое понятное по его мнению:

— В разнообразии природы, господин атташе! Если вы сумеете открыть или сделать два совершенно инородных тела — во всех смыслах инородных, — то между ними пойдет настолько бурный процесс уравнивающего взаимодействия, что в прилегающей среде все подвергнется коренному изменению, то есть разрушению. Как видите, это не совсем газ в химическом понимании слова!

— Да, не совсем! — соглашался китаец, продолжая разжевывать быстрые слова Серденко.

Потом Серденко уехал, а Маматов остался. Инженер не вполне понимал, зачем, собственно, его привозил сюда Маматов, но не стал особо размышлять и поехал в цирк за Марией Альбертовной, которая — для его душевного спокойствия — всегда должна находиться близко.

3

Тайный совет короля заседал второй час. Унылое равнодушие его членов скрывало под собой тревогу.

Чемберлен говорил усталым голосом, убеждая зачем-то уже давно убежденных людей. Его почти не слушали.

— У меня, джентльмены, есть только два аргумента. Они, по-моему, вполне достаточны, — тихо докладывал Чемберлен. — Первый аргумент: без плацдарма на Тихом океане путь в будущее для Англии закрыт: именно поэтому

этот путь открыт для Америки и Японии. Сюда же относится то соображение, что полная техническая реформа промышленности на английском острове невозможна. Паровая техника родилась у нас — она нам дала мировое политическое могущество и экономическое благоденствие; она стала фундаментом нашего национального господства; но в нее же ушли наши капиталы, под нее приспособлены наши колоссальные сооружения. История не может не претерпевать прогресса — другие силы природы появились в распоряжении инициативного человека: электричество и химия главным образом. Но мы уже не можем сломать и заново построить нашу страну. Мы можем только найти новый плацдарм для создания вполне современной промышленности, оставив за родными островами значение умственного, административного и организационного центра. Для лучшего уяснения моей мысли разрешите краткую иллюстрацию. Под самой столицей той самой бешеной страны, которая уже потеряла свое крестное имя России и ныне именуется сложным надуманным понятием. (Ллойд Джордж с места: «Вполне точным именем!») В этом я с вами не совсем согласен, уважаемый джентльмен... Под самой Москвой есть предприятия, которые по степени оборудования, по удельной стоимости продукции стоят гораздо выше английских, потому что они построены на пятьдесят-шестьдесят лет позже. Общеизвестны также факты электрификации России.

Плацдармом для приложения нашей национальной энергии может стать на Тихом океане только Китай. Другой страны, обеспечивающей наибольший успех английских промышленных усилий, нет. Остальные страны имеют меньше экономических, естественных и географических плюсов.

Второй аргумент тесно и органически связан с первым: Советы со своего Дальнего Востока могут разложить Китай так, что он станет абсолютно неусвояемым для внешней цивилизации и невосприимчивым к ней. Это наиболее опасное состояние.

Следовательно, для успешного разрешения моего первого положения необходимо начать со второго. Точно выра-

жаясь, для приобщения Китая к английской индустриальной и финансовой цивилизации следует сначала ликвидировать русские Советы как международную силу.

Отчетливо разбираясь в конечных балансах мировой политики, Советы недостаточно энергично защищали себя в событии с Войковым, чем затруднили консолидацию международных цивилизованных сил.

Вопрос же с отвоеванием Китайско-Восточной железной дороги Китаем с неизбежностью влечет за собой втягивание Советов в китайские дела. Это втягивание не может иметь другой формы, как только вооруженная защита Советами имущества дороги и своего влияния на ней. Это создает причину для нашей усиленной помощи Китаю, что поведет, принимая во внимание неудобство войны для Советов на Дальнем Востоке, к поражению большевизма.

От осложнений с другими странами мы гарантированы, чтобы не сказать лучшего. Худшее предположение, что Америка займет противоположную позицию, не сулит ей ничего доброго, так как американцы лишены способности оригинального творчества и лишь копируют и продолжают наши образцы военно-химических изобретений. Оригиналы же создаются у нас. Последние данные о качественном росте наших боевых средств позволяют надеяться, что мы выйдем победителями при любом соотношении международных сил. Отныне направление истории решается не столько количеством людей, сколько техническими средствами в руках немногих одаренных личностей...

Чемберлен закончил. В результате кратких прений Министерству иностранных дел было предложено предпринять необходимые дипломатические шаги на Северном Китае, перепоручив выступления самим китайцам. Одновременно королевский совет нашел желательным усилить многообещающие работы инженера Серденко с пангазом, о чем на прошлом заседании докладывал военный министр.

После этого джентльмены выехали к очагам и каминам в собственные особняки, уважая господа бога и день покоя, им сотворенный.

4

Каждое воскресенье в солнечное утро слесарь Отчев имел удовольствие брать за руку пятилетнего сына и идти с ним в ближний сквер. Там мальчик копался в песке, а Отчев покупал газету и погружался в воображение событий. Начинал он всегда с передовой статьи и кончал типографией, где печаталась газета. Воскресная ранняя Москва представляет явление редкой прелести. Тишина, чистота, солнце над старинными домами и одинокие автомобили с энергичной песнью моторов. Жизнь только заводится, нагнетается силой и отдыхом и не взяла еще скорости. А с подъемом часовой стрелки улицы делаются гуще, звуки механического транспорта волнуют нервы пешеходов, люди, вышедшие из дома без дела, начинают спешить и попадают в такие места, куда не стремились. Вырваться из человеческого напряженного движения труднее, чем покориться ему.

Но когда рано — Москва недействительна, и можно ощущать косность всей природы под деревом бульвара.

Отчев иногда прикрывал глаза и вдумывался в газетную фразу.

«В один непрекрасный день все может полететь к черту, а социалистическое строительство подвергнется огненному испытанию... Но империализм сгорит в том самом костре войны, который он сегодня раздувает. Будем готовы, терпеливы в труде и терпении и мужественны в битве, когда наступит решающий час».

— Да, дело будет крутое! — согласился с газетой Отчев и позвал мальчишку чай пить.

Дома жена наспех стирала детские рубашонки, чтобы успеть к десяти часам на свое делегатское собрание.

— Читаешь про войну? — спросил жену Отчев. — Ты, наверно, теперь совсем из дома пропадешь и в монахини Осоавиахима пострижешься!

— В монахини не пойду, а коммунисткой останусь! — заявила жена, улыбаясь.

— Мальчишка скучает... А мне одинаково. Только ты, когда в люди выйдешь, семью забудешь! — покорно высказался муж.

— Ты, Никанор, совсем отстал. Трудно тебе объяснить даже, по-твоему, коммунистка — не мать и не человек...

— Где мне?! — печально отрекался Отчев от своего достоинства. — Я человек сырой, а ты дистиллированная баба... Только все ваше дело ни к чему — у них страшные газы и тучи аэропланов, а у нас одна пролетарская сознательность. Голова против молотка не устоит!..

Отчев относился насмешливо ко многим советским затеям. Работая на большом дизеле, он привык уважать мощь машины, железное могущество, а не человеческую головную сознательность. Затем он не представлял, к чему ведет это обучение женщины санитарному делу, обращению с противогазами, пальба из винтовок и прочая мелочь. Ведь война будет вестись таинственными машинами, свирепыми газами и высокими аэропланами. За каким чертом стараться быть метким стрелком, санитаркой или еще чем-нибудь? Война становится штатским делом — ее решает не столько генерал, сколько ученый и инженер. Воевать будут не армии, а заводы и лаборатории.

Начитавшись технических журналов, Отчев улыбался чудакам из Осоавиахима и отстранял себя от участия в этом липовом деле.

— Полтинник дать на аэроплан я могу — аэроплан вообще вещь, но ходить на собрания, заниматься вашим сухостойным делом я не буду!..

Так говорил Отчев всем проповедникам обороны и предпочитал играть по вечерам с сыном.

Жена ему не раз говорила:

— Смотри, Никанор! Если так будут поступать все, то в Советской России все дети останутся сиротами. Я не меньше твоего люблю сынишку и знаю, что делаю!

Отчев сердился:

— У них же техника плюс богатство и культура, чучело! Зачем я буду кулаком владеть учиться — я и так могу!

— Дурак, техникой управляет человек! Человек решит дело, а не машина! Поэтому мы готовим человека, а они машину...

— Эк ты куда всплываешь! Мы бы и рады машин и газов наготовить, да подтяжки у нас жидки! А новейшие автома-

ты действуют безо всякого человека, — бог даст, увидишь и почувствуешь на своей хребутине! Войну решат изобретатель и машина, а не толпа хороших людей!..

— Ну, ладно, ладно — вот посмотрим! — переставала спорить жена.

— Посмотрим! — соглашался Отчев. — Ты, Варюшка, думаешь, если кухарка управлять государством может, то и любую науку под юбку спрячет? Шалишь — учиться нужно, а потом зазнаваться!

— Ладно, ладно! — не обижалась жена. — Сколько таких умников бывало в семнадцатом году, а вышло — видел как: не по-умному, а по-мудрому!

— По-мудрому? — издевался Отчев. — Дезертиров набрали да и шлепнули по пустому распутинскому месту! Вы вот теперь на ногах удержитесь, когда отрава с неба польется!..

— Устоим, Никанорушка, устоим, милый! А не устоим — и ты не зацарствуешь: в одну могилу все ляжем! — кротко говорила жена.

Отчев задумывался.

— Ясно, я тоже не чужой человек!.. Что случится — от всех не отстану и кого следует насмерть хвачу!..

5

Случилось весною — в почках наливалась теплая настойка, а в людях крепость мужества — Китайско-Восточную железную дорогу захватили пекинские чжанцзолиновские войска.

Советские представители на дороге были ликвидированы пулями. Десять тысяч вооруженных русских белогвардейцев перешли советскую границу. Пограничники, усиленные отрядами комсомольцев и коммунистов, встретили белых таким образом, что пулеметы и винтовки их нагрелись, а тела остыли. Зато белых вступило на советскую землю уже только семь тысяч. Но кого не засекли пулеметы, тех добили советские аэропланы, они открыли белых в степи и там прикончили их бомбами.

Тогда советскую границу начали отжимать на север регулярные китайские войска.

«Бикфордов шнур войны подожжен Англией — она же первая почувствует, что на другом конце шнура — империализм. Теперь никому не удастся погасить горящую змею фронтов — теперь, наоборот, взорвется и то, что, при других условиях, мирно сотлело бы!»

Такие слова читал Отчев в центральной газете и немного скорбел от ожидания ужаса.

— Хотя черт ее знает! — утешался он. — Если не перекрошить овощ и не поджечь под ним огня — никогда супа не сваришь! Так и теперь: переварится мир еще раз на адовом пламени войны — может, и получится коммунистический навар!

Жена Варя пылала от возбуждения опасностью и втройне любила мужа и сынишку. Отчев считал, что она, наверное, собирается трогаться на войну — вот и танцует меж сыном и партией: все-таки она женщина и мать, а не только пролетарский человек. Но Отчев знал, что никому не вырваться из пучины войны и сердечная жизнь людей исчезнет на долгое время.

6

22-го мая, в час заводских гудков, голубая высота Москвы мерцала солнцем, радостью и миром. Еще никому никогда не надоедало это ежедневное летнее зрелище. Но когда тихая высота запела тягучей и напряженной песнью летящих моторов — людям показалось, что эта песнь уже надоела.

Одиннадцать аэропланов стремились против невидимых с земли воздушных потоков; нежные и бесстрастные, они не грозили, а торжествовали.

С аэродрома Троцкого раздался залп зенитных орудий, как один подземный удар. Аэропланы не дрогнули. Дым снарядов лег тающим облаком ниже их. Сейчас же пятнадцать советских аэропланов отбыли в воздух и почти вертикально начали забирать высоту.

Одиннадцать аэропланов неизвестной страны без ответа продолжали уходить на восток, не позволяя догнать себя советским самолетам ни в скорости, ни в высоте.

Обратно советские аэропланы прибыли поздно ночью и снизились под прожекторами. Неизвестные аэропланы не оказали сопротивления и оставили пределы Советской республики.

Такие безмолвные налеты на советскую землю за последний месяц случались уже не раз, но Москву иностранные летчики посетили сегодня впервые.

Советское правительство особой нотой предупредило европейские государства, что неизвестные воздушные эскадрильи будут обстреливаться из зенитных орудий. Однако нота не помогла — воздушная разведка безымянного врага продолжалась, а европейские страны ответили через дипломатов и газеты, что им неизвестны владельцы аэропланов, парящих над советской территорией.

Советская страна была давно на ногах и отчетливо понимала необычайную тактику противника. На Дальнем Востоке, на границе Маньчжурии, уже гремела война Советского Союза с северным империалистическим Китаем. Советским республикам не столько был страшен Северный, начиненный английским снаряжением Китай, сколько трудно доставать его длинной рукой — из советских промышленных центров в пустынных глубинах Азии.

Нанкин и Шанхай были уже куплены империалистами: как только осветился Дальний Восток боевым артиллерийским огнем, так замолчали пушки Южного некогда революционного Китая. Южный Китай предпочел освободить руки Северу для борьбы с большевиками и замолк в нейтралитете.

Иногда Красной Армии, действовавшей на Дальнем Востоке, сдавались без выстрела полки китайцев. Один раз пришел под красным флагом с мертвыми офицерами бронепоезд. Это доказывало, что даже на Северном Китае существует скрытая теплота революции.

Отчев думал и говорил жене, что на днях надо ожидать войны с Польшей и Румынией. Но жена не верила.

— Да как же так! — волновался Отчев. — Сейчас им самое милое дело: мы на Дальнем Востоке заняты, а тут бы нас и шлепнуть с запада — тогда успевай только поворачиваться!

Жена опять не соглашалась:

— Ничего ты не понимаешь! Давно бы уже нас угробили, да на тыл не надеются! Понял? Поэтому-то и пускают аэропланы без знаков — ждут, что свой народ на это скажет! Заволнуются рабочие — подождут посылать аэропланы и скажут: это не наши аппараты, а смолчат — заставят самолеты бомбы кидать! Вот увидишь — так и будет!

— Черт его знает — никто такой войны не ожидал! — вздохнул Отчев. — Конечно, за каким дьяволом им выпускать армию — того и гляди большевикам сдастся — у них техника богатая! А при хорошей технике народу много не надо — офицеров хватит...

Через неделю Отчев узнал из газет, что в Англии спешно уничтожается безработица — пускаются даже старинные невыгодные предприятия и учрежден особый Королевский фонд для выдачи пособий. Рабочих же, догадавшихся о смысле такого подкупа и бунтовавших на демонстрациях, высылали из страны по новому закону в одни сутки. Профсоюзы одновременно исключали таких рабочих из состава своих членов. Поэтому революционеры выбрасывались тысячами на голодный воздух.

Жена вечером тоже прочитала это сообщение и посерела лицом.

— Теперь война будет обязательно — они не боятся народа и подкупили его!

— Вот тебе раз! — огорченно сказал Отчев. — Тогда расставаться нам придется — ведь ты на фронт сразу уйдешь?

— Да, Никанор, — подтвердила жена. — Перетерпим как-нибудь — скорей конец всему будет — тогда заживем! И так они нас томили долго: теперь по-честному вдаримся насмерть!

Из газет, однако, выходило, что революция в Европе уже началась. Безымянным аэропланам над Советским Союзом европейский пролетариат дал имя и сообразил, что это имя можно зачеркнуть только крупными буквами революции. Но пролетариат тоже раскололся — часть его срослась с буржуазией, зато другая живая половина сразу почувствовала мускулатуру в теле и голову на плечах.

Отчев усердно расспрашивал жену, что говорят ее товарищи из партии.

— Надо разгромить буржуазию — вот что говорят! — сообщала жена. — Пора кончать играть в жмурки!

В этот же вечер Отчев читал вслух жене интересную книгу — о том, как пойдет жизнь на Земле, если капитализм останется навсегда. В книге говорилось, что техника стала настолько грозной силой, что только человечное социалистическое общество может безопасно владеть ею: для капитализма же такая техника неминуемо станет средством казни угнетенных людей, а впоследствии — орудием самоубийства.

Отчев перестал читать, потому что в ночном окне засияло северное сияние.

7

Утром «Правда» писала:

«Сегодня ночью над Москвой появились два аэроплана. Сброшенные ими бомбы дали сильные атмосферные разряды электричества. В результате зелень в столице и окрестностях завяла. Очевидно, электрические бомбы были рассчитаны на более сильный эффект, но его почему-то не получилось. Действие бомб вызвало свечение атмосферы, похожее на северное сияние. Принятыми мерами один из самолетов противника удалось повредить и снизить. Летчик и наблюдатель застрелились. Никаких документов при них не оказалось. Самолет имел оригинальную конструкцию, не позволяющую его отнести к типам, действующим в иностранных армиях. Ведется специальное исследование аппарата противника, чтобы точно установить его происхождение. Но каков бы ни был результат этих изысканий, сомнений в имени нашего противника нет, и имя это известно всем. Запаса электрических бомб на самолете не обнаружено».

В тот же день прилетела новая эскадрилья самолетов. Москва их ждала и встретила огнем зенитных батарей и сотней советских аэропланов. Над самым Кремлем загудела пропеллерная вьюга и засверкал огонь пулеметов. Обладая высотными моторами, самолеты врага забрали почти

недостижимую для прицела с земли высоту, все время уклоняясь принять атаку советских самолетов.

В два часа Москва объялась облаком тяжелого газа: вражеские самолеты в первый раз бросили газовые бомбы. Людям показалось, что даже кости в них загорелись — и всякий, вдохнувший в себя газ, лег на землю в предсмертном забвении. Более заботливые забились в подвалы, надели противогазы и кое-как терпели, но видели, что даже воздух снедается горящим чадом.

Сквозь тьму наползающего газового потопа глухо били зенитные батареи, защищая столицу от новых воздушных эскадрилий противника.

8

Маматов сообщил Серденко, что электрические снаряды Файта осрамились: они хорошо светят и плохо травят, а надо из России просто вытравить всех людей — и как можно скорее, потому что Россия переходит от обороны к нападению; люди теперь не ценны: важны естественные богатства и техническое оборудование; первое в России останется, а второго никогда не было.

Не имея времени для полного испытания своего пангаза в лаборатории, Серденко вылетел на боевом самолете в Россию, чтобы испробовать газ непосредственно на живой практике.

Маматов наговорил в военном министерстве чудеса про газ Серденко. Он обещал экстренно истребить страну этим газом — скорее, чем забастуют английские рабочие. Тогда частично можно газ применить и на английской территории. Страх же смерти сильнее классовой солидарности — в этом и есть решение всех революций. Кто владеет оружием страха и смерти — тот владеет историей и событиями.

Доводы Маматова казались убедительными — и с ним соглашались в военном министерстве.

Английские газеты не скрывали, что Россия умеет героически погибать. Все бедные средства ее напряжены, люди организованны и мужественны — особенно в больших городах, — и смерть встречается с упорством и без жалобы.

Газеты приуменьшали силу обороноспособности советской страны. Они не отмечали необычайную меткость противоаэропланной артиллерии, благодаря которой иногда возвращалась лишь половина посланных самолетов. Они молчали, что много аэропланов Англии снижено советскими летчиками почти без повреждения и что авиационные английские базы в Польше, Эстонии, Литве и Финляндии пылают от советских зажигающих бомб.

Маматов считал все эти дела предисловием — он ждал известий от Серденко.

И дождался. Но только от советской прессы, а не от самого Серденко.

«Известия» писали:

«В районе Тулы снизился сбитый советским самолетом английский бомбовоз HHS. Летчик и пассажир — инженер Серденко, русский белогвардеец, — захвачены живыми. При них оказались две газовые отравляющие бомбы. Институт химических исследований в Свердловске, проверивший действие найденных на HHS бомб, установил, что газ, которым заряжены бомбы, не действителен в боевом смысле. При соединении с воздухом этот газ вызывает настолько сильную отравляющую реакцию, что в первую очередь «отравляет» себя, т. е. переходит в другое химическое тело, безвредное для жизни. Поэтому боевое действие газа равно нулю, а научное значение остается весьма большим. Инженер Серденко предложил свои услуги Советскому Правительству. В этом ему отказано, но жизнь его сохранена. Летчик-офицер расстрелян как бандит, ибо та страна, которую он представляет, официально не объявляла Союзу войны».

Ночью Маматов повесился в номере лондонской гостиницы и даже оставил всепрощающую записку. Таким путем английская контрразведка возместила фунты стерлингов военного министерства, потраченные на содержание и опыты инженера Серденко.

9

Советское Правительство еще не превращало войны из оборонительной в наступательную и не трогало своими ар-

миями границ соседей. Но когда соседние страны превратились в базы английской воздушно-химической войны, когда из советских республик целыми городами вытравлялось население — надо было или нападать и спасаться, или погибать.

Только тогда Красная Армия была пущена на запад и пограничное ожерелье белых государств было смято в течение недели.

Красноармейцы, приведенные в неистовое мужество английскими способами ведения войны, шли лавой и не знали поражения. Их можно было перегнуть, но возвратить нельзя. Первая дрогнула Польша и подняла рабочее восстание в Лодзи.

Но было поздно — вслед Красной Армии бросилась спасаться вся советская страна, беспрерывно и губительно отравляемая с воздуха. Целый народ покидал родину, сбивая впереди себя враждебные страны тараном Красной Армии.

Вокруг советского потока наматывались слои разноплеменного пролетариата, только теперь понявшего то, что буржуазия хотела сделать с Советской республикой и может сделать с ними.

Так — нарастающим всемирным народом, Красная Армия, добровольцы, советские беженцы, поляки, литовцы, немцы, — Советская республика на ногах перешла Германию и преобразилась в страшную силу. Следом за людским потоком уничтожались границы и трепетало знамя рабочей революции.

Консервативное правительство Англии потеряло власть. Правительственная газета писала:

«Слишком поздно. Мы вытравили зверя революции из его клетки. Теперь он загрызет весь мир. Мы хотели лишить его 1/6 суши — он завоюет 6/6. Советы затопляют поверхность Земли, и Ламанш, отделяющий нас от большевистской стихии, свирепствующей на материке, слишком узок для безопасности. Россия растет на глазах и превращается в земную вселенную. Никакой мудрец не может сказать, что это — всемирная судьба или ошибка международной политики нашего бывшего консервативного правительства. Самая техническая слабость Советов теперь превратилась в их силу и в средство победы».

<1927>

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ (МОПЛ)

Отчет хроникера

В Доме печати 4 марта 1927 года был оборудован беспримерный вечер:

I. ДОКЛАД ЧИТАТЕЛЯ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ тов. ИВАНА ПАВЛОВИЧА ВОИЩЕВА О КАЧЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

II. СОДОКЛАД ЧИТАТЕЛЯ тов. ФОМЫ ГЕОРГИЕВИЧА УХОВА О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МОПЛа.

НА ВЕЧЕРЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ ПРЕНИЯ С ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ. ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ ВРЕМЯ, СЛОВО БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПИСАТЕЛЯМ.

ПО ОКОНЧАНИИ ВЕЧЕРА — ВЫБОРЫ ВРЕМЕННОГО БЮРО ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОПЛа.

Будучи нечитаемым писателем и пишущим читателем, мне было опасно идти на такой вечер. Я чуял предстоящую «классовую» схватку двух социальных великанов, двух полюсов литературного космоса, а сам был желто-розовым — ни читатель, ни писатель: человек за бортом.

Но это оказалось мне на пользу: осужденный на безмолвие на диспуте, я имел возможность выслушать всех.

Вот, буквально, что я увидел и услышал (отсебятину уже выкинул редактор).

Зал был полон самыми неимоверными личностями: пришли, наконец, те спокойные люди, фамилии которых редко печатались даже на пишущей машинке, не говоря о плоских машинах или ротации. Однако, слушая их реплики, я открыл, что это сплошь умные люди. Но чем они занимаются, если ничего не пишут?

За чтение платят редко, значит, авансы и гонорары они получают за какое-то иное, и неглупое, ремесло.

Но сколько должно быть на свете ремесел, если кормится от них такой коллектив благоразумных людей?

Это и был наш читатель, как оказалось впоследствии. Вон тот толстый человек в плотном пальто, с полнокровным лицом, будто натертым огнеупорным кирпичом, ока-

зался докладчиком И. П. Воищевым, а сосед его, все время выпрастывающий шею из воротника, есть содокладчик Ф. Г. Ухов.

Я думал, что они оба бухгалтеры, но первый оказался инженером путей сообщения, а второй — мастером токарного цеха железнодорожных мастерских.

Интеллигенция и — квалифицированный мастеровой.

Весь читательский народ расселся по стульям, а писатели пришли последними и стали у стены. Сошлись все московские знаменитости слова, но из читателей их никто в явное лицо не знал, и поэтому писатели остались стоять у стенок — им никто не предложил стульев.

В точно объявленный час началось заседание. Быстро и хорошо был избран президиум, утвержден регламент — и начало свои действия это беспримерное собрание.

Вышел докладывать И. П. Воищев:

— Граждане! Регулирование производства и потребления год от года все глубже и шире облагораживает и рационализирует нашу жизнь. Все увереннее мы съедаем свою утреннюю булку, зная, что в ней содержатся положенные 200 граммов и что на производство ее пошла надлежащая по качеству мягкая крупчатка. Все чище делается наша совесть и спокойнее наши нервы, ибо мы застрахованы и дважды перестрахованы от воровства и нечистоплотности. Мы знаем, что та же булка изготовляется чистоплотной машиной на кипяченой воде, что пекарь не чихает больше над тестом и не маникюрит в нем своих ногтей.

Но кто заставил эту грязную кухню жизни, эту алхимию производства превратиться в научную лабораторию? Кто заставил антиобщественное, по своей природе, производство, идущее по трупам к своему обогащению, стать моральным учреждением?

Ясно кто — советское государство, открывшее вольную дорогу потребительской кооперации. Потребитель, при нашем строе, действительно становится повелителем производства.

Но лишь одна область осталась вне сферы власти потребителя — это литературное искусство.

Прежде всего, что такое литература и нужна ли она нам? Я буду говорить так, как я сам понимаю, а не как меня старались научить книги.

Каждый человек хочет жить не только тем, чем он каждодневно занимается, но и всей общечеловеческой, я бы сказал — общебиологической — жизнью, торжествующей на земле. Но, не имея практической возможности к такой фактической универсальной жизни, обыкновенный человек заменяет ее суррогатом — чтением. Если вы замените мой термин «общечеловеческой» на общеклассовый, то понятие станет более точным и современным.

Когда общество будет так устроено, что сегодня человек слесарь, завтра пилот, а послезавтра завоеватель лунной поверхности, когда вся его мускулатура, все волокна мозга будут трепетать от труда, тревоги, опасности, впечатлений, творчества и счастья, — тогда я брошу книгу, но мы — деловые люди: если сегодня нам недоступна вся девственность, вся свежесть, все, так сказать, разнотравие жизни — мы пользуемся суррогатом всего этого пока недоступного добра.

Но точно ли хорошо современная книжка дает нам нужный суррогат недоступной жизни? Не дает ли нам книжка сухостойное дерево, вместо влажного и зеленого?

Возьмем примеры, что вспомним. Вот — «Красная новь», солидный журнал для интеллигентов. Я интеллигент, я всю жизнь читаю. В этом журнале много месяцев печатается роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Возьмем другое и непохожее с виду — «Чертухинский балакирь» Клычкова из «Нового мира», возьмем «Цемент» Гладкова, рассказы и повести Сейфуллиной, рассказы Бабеля, сочинения Пантелеймона Романова и почти всех прочих писателей. Я не мудрый по этому делу, но мне кажется, что если я занимаюсь постройкой железнодорожных мостов и заведую верхним строением пути, то литература должна заниматься человеком. А литература сейчас занимается не человеком, не антропосом, а человекоподобным, антропоидом, если позволите...

Тут Иван Палыч попил водицы, улыбнулся, прохаркнулся и пошел дальше.

— Берет писатель чудо-человека и начинает его вращать: получается сочинение. Но никак не заметит, что его человек не чудо, не жизнь, а урод, белый мозг и ситцевая кровь. Нам же нужен настоящий человек, то есть глубокий, — человек, душа, характер, мученик подвига, мозга и сердца, или дневной обыденности, — нечто искреннее и действительное, иначе ведь не бывает. Да все это известно вам... Я хочу сказать, что читать мы все равно будем, как все равно будем есть. Я из тех, кто старые метрики из-под селедок в девятнадцатом году читал. Но зачем нам читать сейчас то, что нехорошо написано, — не едим же мы сейчас черных лепешек от вокзальных баб, почему же мы, читатели-потребители, не организуем гигиенического и сытного хлебозавода в литературе?..

Дайте нам есть то, на что тянет наш желудок, — долой черные пышки-лепешки! Долой вокзальных баб в литературе! Я еще, граждане, не остановился на литературе еженедельных и двухнедельных журналов. Но там, за редчайшим исключением, сплошная бледная немочь, там просто хлеб печется из мела на известковых дрожжах... А вообще все мы прикованы к нынешней литературе не чувством очарования, а любопытством к чужому позору.

Затем, вам известно, что многие честные писатели сами поднимали вопрос о реформе литературы. Но, естественно, из этого не вышло ничего доброго. Только читательская потребительская кооперация способна произвести революцию в литературе — больше никто.

Здесь И. П. Воищев сел. Читатели начали ему аплодировать. Писатели нахмурились.

Прения решили открыть после слушания содоклада Ф. Г. Ухова. Вышел токарный мастер.

— Товарищи-читатели! Иван Палыч чисто сказал, но не поставил своего слова ребром: до каких пор нам есть цигарки в хлебе, ловить конский волос во щах и вытаскивать глистов из колбасы, — иначе сказать, долой глупое, желтое и неинтересное чтение! Нам нужен писатель — умный и душевный парень. Я требую пользы и доброты от чтения, а мне дают пудру и пыль: прочтешь и ничего не упомнишь, как ветром сдуло! А почему же я Пушкина и Гоголя помню?

Короче говоря, если писатели не хотят писать, чтобы нам интересно и увлекательно было, чтобы я, когда хочу выругать жену, — вспомнил книгу — и не выругал, если граждане писатели этого дела не хотят, то тогда мы сами будем писать, тогда читатель станет писателем, а теперешним писателям мы объявим бойкот: пусть тогда читают читательские сочинения!

Как все устроить практически? А так: мы, читатели, должны организовать Читательский Потребительский Союз, этот Союз будет и нашим издательством, таким образом, мы сами будем издавать для себя книжки, и будем издавать только то, что нам нужно и что по качеству доброе. Согласны, граждане читатели?

— Согласны! — крикнуло собрание.

— Тогда приступим к прениям.

Слова попросил Маяковский, но ему отказали: не читатель, после скажешь, и так много наговорил! Стань опять к стене!

Выступавшие ораторы-читатели украшали речи докладчиков совершенно неизвестными фактами и предложениями.

Но все были согласны с докладами.

Некто С. П. Маховицын сказал:

— Граждане! Я вот вам прочту сейчас стихи одного поэта, которого читает моя дочка. Этот поэт и сейчас жив и все пишет и пишет. Вы вот послушайте и тогда скажете, сколь это разумно:

Шол дождь. Полз червь.
Твердь из сырости свивала вервь.

А вот еще:

Бежал в испуге пес голодный;
Яички к животу прижал.
Все человечество есть сон уродов —
И пес рыдал...

Следующим выступал какой-то изобретатель сернокислого сероводорода по фамилии Пугавкин.

— Чепуху прочел т. Маховицын, и недоказательную чепуху. Но литература сама по себе чепуха и не требует опровержения другой чепухой. Предлагаю, ввиду чрезвычайной ответственности жить — все силы обратить на активную жизнь, а созерцательную литературную чепуху ликвидировать немедленно... Иначе нас врасплох захватит космическая катастрофа...

Оратор Чернецов определил литературу как свойство организма, а потому как неизбежное зло, следует только это дело нормировать, механизировать и сделать таким же плавным и спокойным, как сердцебиение.

Читатели исчерпали список ораторов. Дали слово писателям. Вышел Маяковский.

— Половина моих произведений — это сочинения умного человека о дураках. Но, побывав у вас, я сожалею, что не все мои произведения посвящены дуракам. Более горьких идолов, чем вы, я еще не видал. Чудаки! Ничего вы не сделаете, даже рекламу о вашем МОПЛе сами не напишете, а меня позовете, и я вам, конечно, удружу это за два рубля со строчки.

Но зачем я так хорошо писал всю жизнь? Зачем я трудился для таких иностранцев? И как вы не урчите, а без нас не продышите! Хотите, я вам сейчас одно свое стихотвореньице прочту? Очень хороший стишок!..

Тут из читательской среды крикнули: брось, сядь, знаем — о хулиганах, о призыве, о борьбе с пьянством, — знаем тебя, халтурщик, сапожник собственной жизни!

Маяковский показал кулак и отошел от греха.

Выходили еще кое-кто, но жалко о них писать: их просто сплюнули с трибуны. Маяковский хоть ругаться и презирать умеет (он 150 000 000 людей насильно ущучил к себе!), а эти, кажется, заплакали от обиды.

Вот он, читатель-то! Теперь держись, сочинитель! Загодя иди в МОПЛ делопроизводителем! Хотя писатель, по части финансов, не дурень-парень и я потихоньку надеюсь, что он превратит этот МОПЛ в Московское общество помощи литераторам-лодырям.

<1927>

Святочный рассказ к 10-й годовщине

Циркуляр гласил нижеследующее:

«Приближающуюся 10-тилетнюю годовщину Великой Октябрьской Революции, как Всемирно-Историческое Событие, надлежит ознаменовать соответствующими надлежащими мероприятиями. Не внося предварительных предложений и не предрешая форм необходимых мероприятий, мы всецело предоставляем изыскание таковых форм инициативе служащих масс вверенного нам ведомства; однако, предложения должны быть завизированы завами соответствующих отделов, в котором сотрудник, вносящий предложение, числится по штату, и затем передана Нач. АФУ для систематизации и передан мне на утверждение.

Пред. Управления Электрофлюидсиндиката *Ф. Кроев*.

Нач. АФУ *И. Месмерийский*.

Зав. Орг. Отд. *Завын-Дувайло*».

Служащие массы, получив под личные расписки текст циркуляра, одновременно задумались. Многие тотчас же рапортовали, что их мышление вращается в кругу мероприятий, предусмотренных операционным планом на 1927—8 год, а так как в плане 10-летний юбилей Октября не обозначен, то и мысль невозможно направить по линии внепланового задания, а посему нижеподписавшиеся не имеют предложений.

Но и иные служащие, принятые вне биржи труда, озаботились и стали вносить предложения, чтобы уцепиться на служебных постах.

Сначала почти все инициаторы посетили товарища Завын-Дувайло на предмет справки: подлежат ли предложения оплате установленным гербовым сбором или нет, а также — на скольких страницах допустимо писать предложения.

Получив точные разъяснения, инициативные служащие сели писать — конечно, дома, чтобы не занимать служебного времени.

Через 2 недели, к указанному в циркуляре сроку, тов. Месмерийский приступил к предварительной читке поступивших предложений. Некоторые из них он дал мне — «для отжатия смысла и составления оценочного резюме», — как указал мне тов. Месмерийский.

В порядке поступления я публикую некоторые предложения, для получения их гласного одобрения. Эти предложения я сократил, отжав смысл из бумажных пространств и выбросив революционные <трюизмы — нрзб>, неизбежно предшествовавшие каждому предложению (как будто их составители были на заметке у ГПУ и усердно реабилитировали себя).

«...Сосчитавши героев Октября, я подвел итог и у меня вышло 147 человек, что для 1/6 части мирового пространства обидно мало. А потому, а также вследствие... я был бы рад, если бы соответствующие ведомства, напр. Наркомвнудел, ЦСУ, Наркомвоенмор и др., завели книги учета выдающихся деятелей революции по всем советским линиям... дабы в будущем составить единый том с перечнем всех героев и утвердить его вышестоящей инстанцией. Затем том героев опубликовать вместе с фотографиями и факсимиле — для всеобщего почитания трудящимися массами. Такой труд был бы великим достижением, наряду с Днепростроем и прочими гигантскими масштабами... Секретарь общего п/отдела Орготдела Адм.-Фин. Управления *Е. С. Несваринов*».

[«...Товарищ Никандров, будучи чистым Новороссийским пролетарием, до подобия похож на великого вождя В. И. Ленина, Эта косвенная причина послужила обстоятельством для его игры в знаменитой картине Октябрь режиссера туманных картин т. Эйзенштейна. Имея в виду необходимость широкого ознакомления пролетариата с образом скончавшегося вождя, а мавзолей в Москве не может обслужить всех заинтересованных, я предлагаю... учредить особый походный мавзолей, где бы тов. Никандров демонстрировал свою личность и тем восполнял существенный культурный пробел... От сего трудовой энтузиазм и преданное рвение в народе возвысятся и поездки тов. Никандрова самоокупятся... Делопроизводитель Отдела заказов *Х. Вантунг*».]

«...Особым торжественным законодательным актом организовать на пространстве Союза 10 революционных заповедников, в коих бы и собрать аттрибуты и живых участников великих событий — для вечного показа потомкам и поучения их. Следовало бы открыть такие ревзаповедники на Перекопе, в Самаре, Ярославле, в Донских пунктах, в Ленинграде и прочих местах обширного соцотечества. Аттрибуты и живые участники должны состоять в нетронутом и естественногероическом покое... Зав. п/отделом ликвидации убытков *Ф. Арчаков*».

«...Срочно организовать всесоюзную архивную кампанию, с целью отыскания замечательных документов эпохи, с последующим преподанием их публике в напечатанном систематическом виде. Для успешного проведения кампании привлечь учащихся, красноармейцев и безработных, а также комсомольцев в их, имеющий в виду быть, субботник... Старш. архивариус синдиката *Родион Маврин*».

«...Художественно начертить схему диктатуры пролетариата — от председателя Всесоюзного Съезда Советов вплоть до батрака и лесоруба. Заключенных же, беспризорных и частников связать с общей схемой пунктиром... Схему выставить на радиомачте станции Коминтерна и осветить прожектором со склада Синдиката... Чертежник Проэкт-бюро *Ч. Плюрт*».

«...Всем союзным женщинам надо сшить по одной варежке беспризорным, только сговориться, чтобы они не пришлись на одну руку. Машинистка *О. Становая*».

«...Добиться всесоюзного радостного единодушия, посредством испускания радиоволн, и организовать взрывы счастья, с интервалами для заслушивания итоговых отчетов... Счетовод *А. Зверев*».

«...Спеть одновременно под открытым небом всем Союзом Социалистических Народов Интернационал — в полтораста миллионов голосов с лишним. Я полагаю, его услышат, даже китайцы и лорд Чемберлен. Пускай это будет обедня Всемирной революции и задрожат анафемы капитала. Кассир *Г. Л. Латыгин*, быв. комрота Туркестанской Краснознаменной дивизии особого назначения».

«...Раньше бывало ходят так называемые божьи странники: висит у них на животе кружка, на кружке живописная картинка, а в кружку люди кладут пятаки и любую разменную монету — по желанию. Так и строились Кафедральные соборы. Так нужно и теперь. Надо раздать кружки нашей полухулиганящей молодежи, над кружкой поместить четкие чертежи Днепростроя и Волго-Дона с красочной перспективой экономического благополучия и пустить молодцов по советским странам. Через год — к 11-тилетию — мы бы одной меди набрали на индустриализацию миллионов триста... Инструктор межрайонной торговой периферии синдиката *И. Жолнеркевич*».

«...Энергию крымских и всяких прочих землетрясений употребить для неотложной электрификации тех же мест... Лифтер *Порежин*».

«...Вывесить загодя высокий флаг, а ходить по грязям толпой не нужно. Пущай люди лежа полежат хоть в десятый год. Рассыльный *М. Крестинин*».

Эти и прочие мероприятия, надлежаще сведенные мною в единое и общее целое, пошли к тов. Месмерийскому.

Означенный начальник ознакомился с папкой предложений лишь как с вещью, а не как с содержанием смысла, и выразился общей резолюцией:

«Пред. Правления Синдиката. Для непосредственного соответствующего распоряжения, т. к. дело относится к политическим мероприятиям».

Предправления тов. Кроев продержал папку четыре недели и так и не мог ее прочитать — от занятости текущими делами.

Начал падать снег — приближался Ноябрь вместе с годовщиной.

Тов. Месмерийский направил меня к тов. Кроеву — для напоминания о праздничных мероприятиях. Через 2 дня я был принят и заявил у стола председателя:

— Тов. Кроев, прочитайте всю массу предложений — там есть существенные мероприятия...

— Да? — спросил Кроев, удивившись, что его сотрудники могут предлагать что-то существенное. — Что же, сделаем что-нибудь... Я, знаете ли, уже читал предложения. Что,

не ожидали? Прочитал. Все мероприятия стоят миллиард — я прикидывал. Взять из них одно — рассыльного: вывесить флаг... Надо попостней, чтобы вышло поэкономней... Вот. А папку возьмите — отдайте в архив...

Затем папка с исходящих номеров вошла через входящий журнал в архив — к тов. Р. Мраврину. Тот ее аккуратно занумеровал большим номером вечного покойника и положил в отдел «Оргмероприятия». При составлении ведомости достижений Синдиката к 10-й годовщине Октября — работа архивариуса была надлежаще учтена в графе «Нагрузка аппарата»: 20 000 дел плюс одно.

ДИКОЕ МЕСТО

В окрестностях одной тюрьмы — такой же, как наша, — существовал город, населенный равными людьми. Может быть, равные похожие люди произошли оттого, что тюрьма стояла недалеко и давно рту пожила все неровности. Из таких городов состоит весь мир, поэтому земля не только круглая равнина, но и душевная безотрадность.

За свою историю, начатую монастырским скитом, город менял три раза свое имя, но далеко от первого названия не уходил. Теперь он назывался Краснозвонск, потому что древний скит был основан на голубозвонной приовражной горе. В среднее же время — между монастырем и советской властью — город именовался Старозвонным Кутом.

Здесь люди не жили, а прожевывали жизнь и находили в ней такой же вкус, как и повсеместно. Просто: дан срок — расходуй его не спеша, без злобы и напряжения.

Но явился раз в Старозвонный Кут человек, который заволновался и заспешил.

Давно было, но жила та же терпеливая природа и трудилась над ращением сирени, чтобы шло вечернее благоухание в мудрые домики, где люди с медленным сладострастием пили чай и дули воздух в блюдца.

Так прошла та забытая ночь, и человек, вошедший в город лешим, проспал се в бесприютном сквере на нежной

дикой траве. Он пришел после зари и у него не было знакомых.

Утром человек вошел в канцелярию городской управы. Правитель дел прочитал бумагу этого человека и заявил:

— У нас есть два каких-то ученых в этнографическом музее, по он нам прямо не соподчинен — я не правомочен наложить резолюцию.

Проситель возразил, потому что он еще до приема изучил административную схему городских учреждений:

— Как не соподчинен? На схеме от управы к музею идет пунктир!

Правитель дел любил осведомленность об аппарате власти, но никто не мог превозмочь его в этом административном естествознании.

— Вы наблюдали правильно: там пунктир! А что такое пунктир, как не косвенное подчинение, но отнюдь не прямое!

— Тогда наложите мне хотя бы косвенную резолюцию... — несмело попросил человек.

— Тогда это будет не резолюция, а отметка инстанции, не содержащая никакой обязательности и потому бесполезная! — разъяснил правитель дел.

— Ну тогда напишите что-нибудь, чтобы они там почувствовали высший орган губернии! — догадался проситель.

— А, это можно! — допустил такое толкование правитель дел. — Это действительно разумное соображение: наука тоже должна помнить, что она только орган всеобщего государства и не свыше того! — и положил на бумагу внятные слова, предварительно еще раз прочитав ее:

«В Этнографический музей. Окажите ученому чину, поименованному в сем удостоверении, посильно возможное содействие в отыскании им расового корня, необходимого Императорской Академии наук для установления чистоты русской национальности, в целях освежения государственности от приходящих инородных расовых сил.

Прав. дел

Матушевский».

— Вот! — сказал чиновник. — Все исчерпал! Хорошо, — прочитал проситель. — Надо печать!

Правитель дел полез в карман и вынул особый футляр, где хранилась печать.

Он дунул налицо герба и со скрытым удовольствием прижал штамп к бумаге.

Проситель оглядел оттиск и нашел его неудовлетворительным:

— Невнятно! — сказал он.

— Внятно и не требуется! — объяснил правитель дел. — Печать — символ, а не чтение!

Проситель успокоился и ушел, храня бумагу.

Этнографический музей помещался в подвале какого-то рыцарского замка. Говорили, что этот дом построила Екатерина, но едва ли верно.

В прохладном сумраке сидел старичок и осторожно перекладывал бумаги, провожая их таинственным шепотом.

— Что? — спросил старичок, по не обратил внимания на гостя.

— Читайте! — заявил прибывший человек и прилег от усталости на кипу папок с помертвевшими желтыми бумагами.

Старичок мигал отношение полчаса, потом положил его в сторонку и продолжал перекладывать бумаги, изучая каждую снизу до верху, как говорится — в общем и целом.

Человек поднялся и взял обратно бумагу. Тогда старичок сказал:

— Ночевать можно в сторожке у дворника, а в музее нельзя, а бесплатно пищи дать не можем — никак нельзя, сударь! По годовой смете нам положено 83 руб. 47 коп.

Проситель не настаивал на пище и ушел. Ни есть, ни делать ему было нечего. Его заботил большой труд, но начать ею сразу трудно, а главное человек не находил государственного содействия. Старик из музея бесполезен, потому что музея не было, а лежал склад старых бумаг, изживших все архивные сроки.

Посетитель города шел и наблюдал городское устройство. Немного вечерело, и люди шли толпами в поисках удо-

вольствия. В саду общества приказчиков музыканты настраивались на какую-то мелодию, готовые грянуть. Человек остановился около ограды, чтобы послушать музыку, и тут заметил, что навстречу идет утренний правитель дел: ему тоже деться некуда в неслужебное время.

— Отдыхаете, господин ученый? — благожелательно осведомился он. — Воздух у нас божий! Ну как, содействие в музее отыскали?

Человек сообщил про содействие.

— А! — сказал правитель дел. — Я же так и знал — у нас, где нет административной бодрости, там — мощи лежат. А как вы насчет чая, господин ученый? Пойдемте в мою семью: вы человек редкий!

Таким образом, исследователю расового корня вышел ночлег. И от этого получилась впоследствии густая польза для всего научного дела.

Уже через трое суток ученый человек имел на руках бумагу на дальние хутора Вырвины Ямки — и прогонный документ на подводы.

В бумаге приказывалось старосте в один день представить государственному ученому все взрослое население мужского пола, на предмет научного исследования их детородных членов и надлежащею обмера их.

— Матвей Иванович! — прощался правитель дел с ученым. — Я тебе и татар достану, ты не волнуйся! Я осмелюсь доложить губернатору — а он старик глубокий, он сразу осмыслит! Да мало ли у нас татар, мы их по такой надобности — по одному тебе доставим!.. Ах, наука — проста и великолепна! До чего дошла? У кого детородник больше — у того и кровостой гуще и разум плотней, тому и власть в руку! Ну, ясно, русского мужика никто в этом не превозможет! А возьми ты татарина, возьми ты еврея — мягкие микробы, а не люди! В этом у них металла нет! А у русских — всегда в свежей наличности! Вот смеришь, сам увидишь!..

Матвей Иванович слушал и довольно улыбался: он действительно открыл научный признак расы. Теперь безошибочно можно определить возраст каждой нации и предсказать ее всемирно-историческую судьбу.

После всех происшествий Матвей Иванович тронулся в Вырвины Ямки. Мужики тогда были привычны ко всякому предписанию закона и покорно отдались в руки Матвея Ивановича. Один только обнаружил любопытство:

— А что, господин доктор, дозвольте мне спросить, правда, будто государь тыщу мужиков отбирает — французской державе будто подарок живым народом хочет сделать, а то француз ослаб и у него женщина не рожает!

Матвей Иванович сообразил, что подтвердить это народное мнение — самый лучший и успокоительный ответ.

— Ты, братец, верно догадался! По сту целковых одного жалованья дадут, а делать будет нечего — одна любовь и удовольствие!..

— А насколько времени ехать-то? — расспрашивал дальше мужик. Он хотел тут же установить, годится этот заработок для хозяйства или нет.

— На год! — сказал Матвей Иванович. — Харчи дают казенные и проезд за царский счет.

Тогда мужик согласился:

— Ну, это безбоязно народ поедет! Можно тыщу домой привезти!

Вернулся Матвей Иванович из командировки и естественным образом вжился в городские государственные дела.

Губернатор, прознав про исследование Матвея Ивановича от правителя дел, заключил, что это новое научное поприще и русский народ на нем себя покажет, и велел привести к себе ученого, когда тот окончательно установит превосходство русской национальной силы.

Матвей Иванович возвратился веселым и в одну неделю статистически доказал необходимость великой державы русского народа. Это исходило от величины одного элемента русского тела и сравнения его с таковым же элементом инородцев.

Свое открытие Матвей Иванович доказывал губернатору лично — с цифрами в руках и цветными диаграммами на стене.

— Оригинально и великолепно! — воскликнул губернатор, поняв идею Матвея Ивановича государственно про-

сто. — Ваше открытие, милейший док гор, объективно доказало, что русский народ — это плодородный чернозем, окруженный бесплодным песком инородцев! Благодарю вас — прямо блестяще и оригинально до парадокса! Хотя, разве православие не парадокс? А мы живем им! Русский народ всегда жил за счет неимоверных сил!

Правитель с тех пор не отставал от Матвея Ивановича, а Матвей Иванович перешел на жалованье в земскую управу и семь лет подбивал и уточнял итоги своего открытия.

Каждый год он собирался поехать в Петербург для доклада, но трудился над увязкой цифр и оставался.

Все семь лет Матвей Иванович считался шедевром губернии — и его приглашали на губернские балы для показа местным знаменитым людям. От Матвея Ивановича всегда требовали рассказа о технических деталях своей науки — и он охотно разъяснял эти детали, со всей наивностью и беспристрастностью ученого, поскольку речь шла о твердых фактах.

На пятый год жизни в Старозвонном Куте Матвей Иванович женился. Жена ему вышла удачная — некая нелепая толстая девица, но очень добрая от слепой веры в Бога. Это была вторая удача в жизни Матвея Ивановича: до Старозвонного Кута он терпел сплошные бедствия. Третьей и последней удачей Матвея Ивановича был сын — не свой, а приемный, потому что его девица не могла ничего родить. Сына он принял уже взрослого — мальчика лет пятнадцати, кроткого и круглого сироту.

И так впился в жизнь Матвей Иванович, что и через двадцать лег не изнемог, а готовился к новым изысканиям по любимому научному предмету.

Революция тоже его не устрашила — он ее взял с разгона, сразу почуяв, где у нее слабое нежное место.

До 1924 года он занимался огородом и Национальной Летописью выучился свой овощ добывать и исписал 63 фута бумаги с обеих сторон. Его никто не тронул: для убийства на войне слишком стар, а для белых и красных бесполезен — ученый, средний мягкий человек. Он сам про науку говорил, что она рессора на колесе истории. Старик не до-

копался, что наука может стать и мертвым тормозом разбега истории и углем в топке ее паровоза.

Но в последние десять лет жизни Матвей Иванович ослаб, часто плакал и стал каким-то человеком. Что-то тронулось внутри его, потому что он боялся за сына и жену. Но сын сам начал седеть, а для Матвея Ивановича он все больше становился сердечной драгоценностью, и Матвей Иванович относился к нему как к беззащитному трехдневному существу. Когда сына призвали красные на гражданскую войну, то Матвей Иванович задрожал от ужаса и просил с содроганием всей души:

— Сынок, поклянись мне матерью, что как только явишься на фронт, то сразу спросишь, где тут плен, — и запишешься туда!..

Сын клялся для утешения отца, что своевременно запишется в плен, а на фронте водил броневые автомобили с такой алчностью, что сам хотел забрать в плен весь мир.

Умер Матвей Иванович в 1925 году, пресеченный в своем лучшем намерении. Он представил в свой губисполком замечательный доклад об учреждении Сексуального Интернационала, где доказывалась срочная необходимость такого воспитания людей, чтобы и люди, и вещи, и животные вошли в чувственные страстные отношения, тогда, думал Матвей Иванович, любовь материализуется и вселенная, наконец, приобретет крепость и вечный мир единого плотного тела.

Доклад был отклонен еще в плановой комиссии, и великая мечта Матвея Ивановича навсегда замерла, попутно остановив его огорченное идейное сердце. Его жена — бездетная девица — ушла к живым родителям и до сих пор, наверное, вяжет скатерти с инициалами заказчиков в углах; считая петли, она одновременно и безутешно скорбит об усопшем супруге.

<1927>

ЧЕ-ЧЕ-О

Областные организационно-философские очерки

Пишут, что хорошо выезжать из Москвы, потому что, дескать, сразу окунаешься в травяную русскую природу и в советские массы. Я того не чувствовал — мне отовсюду грустно уезжать, везде, на любом географическом месте, в жизнь и в людей ввязываешься сердцем и отвязываться нет желаний.

Поезд шел на юг, на Северный Кавказ, в нем ехали люди на отдых, некоторые же — на хлебозаготовки, на контроль строительства обводнительных каналов в тамошних республиках и на другие государственные дела. Смутили меня те, которым необходим отдых — это были не рабочие и не средние служащие, а явный бюрократический актив, умеющий пластическим путем фильтроваться сквозь государственные трущобы в страны, не для него завоеванные. Целиком возможно, что это лишь правда моего вагона, а не всеобщая горестная истина. Но не нужно увлекаться той правдой, о которой можно сказать, что она существует лишь в «общем и целом», а руками и очами ее проверить нельзя. «Общая и целая» — это средне-арифметическая правда, меня же интересует исключительно насущная и конкретная.

Похудевший за эти месяцы хлебозаготовитель ничего пока не говорил: он отмалчивался, чтобы говорить в служебных местах — на симпозиумах; безошибочно можно сказать, что у него в душе лежит тяжесть, равная весу заготовленного им хлеба. После я с ним познакомился — на основе транспортного братства — и косвенно узнал, что этот человек — тот самый гражданин и председатель райсоюза потребиловок, который, будучи вызван замнаркомторгом для надлежащего подтягивания, дошел до вагона начальства, взялся за поручни и только здесь ужаснулся, а ужаснувшись — пригнулся к земле и исчез в неполотых просяных полях, где и пробыл трое суток, не пивши, не евши. Его, наверное, искали сельские милиционеры, но разве сыщут кого эти самые кроткие люди из всех попечителей благочи-

ния на земле? Ясно — нет: и предрайсоюза возвратился домой, съел две коржачки сметаны с хлебом и пошел в свое правление, а вагон замнаркомторга отбыл вдаль по своему расписанию.

Я пожалел худого хлебозаготовителя и подумал, что хлебозаготовки можно усилить и другим быстрым средством, а именно — перестать кормить хотя бы бюрократический актив, не трогая пока пассива, одновременно же прекратив его перевозку на юг для наращивания пластических сил. Мне показалось, что это способствует вывозу хлеба и ввозу машин из-за границы, а также и тому, что кооператору-хлебозаготовителю реже придется убегать со столбовой дороги социализма в просо.

В Ряжске в вагон сел грустный человек; он развернул бумагу с колбасой и начал закусывать, безотчетно рассматривая чуждых ему спутников. Напитавшись, он зорко уставился в окно и не отрывался от зрелища великорусских пространств верст сто.

— Никак не вижу межи! — сказал он с огорчением, больше всего обращаясь ко мне. — Говорят, здесь сразу кончаются суглинки и подзолы и начинается сплошная чернота почвы, то будто и есть Че-Че-О.

— Какая че-че-о?

— Ну, стало быть, черноземная область: говорят — она больше Англии и чуть меньше европейских держав, а вот межи никак не видно, а на плане я сам видел ровную черту. Как же так?

— Вы куда едете-то? — спросил я грустящего человека.

— В Воронеж — куда же больше.

— А там что?

— Там, люди говорят, новые корпуса строят для организаций, десять тысяч служащих, говорят, набирать будут, а я — человек сокращенный.

— Откуда? — все более сочувственно узнавал я.

— Откуда — из учреждения: мы всю жизнь служим. Десять лет в уездной архивной комиссии беспорочно состоял, а теперь свалили все документы в подвал статбюро, а в городе хорошего крысомора нету — теперь звери всю бумагу поедят. А сколько трудов на те документы положили — уму не-

постижимо: как же! — все остатки революции в них, больше их нигде нету.

Архивариус, когда говорил, держал в руке кружок колбасы и, по мере речи, исходил слюной от аппетита, — поэтому он прекратил свое слово и сладостно обнял губами отрезок колбаски.

— Думаете в Воронеже службу найти?

— Непременно, непременно, — управлялся с колбасой архивариус. — А вы тоже туда?

— Тоже, — согласился я, не прочь, в сущности, послужить родному черноземному краю.

Солнце освещало мир, как электричество служебную залу, где люди, по убеждению ряжского архивариуса, должны находиться в служебном состоянии. Он глядел на огороды — там земледельцы сидели на корточках и что-то быстро перебирали руками, словно листовали дело в канцелярии, — архивариус же едет в тоске в Воронеж, сокращенный из обихода служащего человечества.

Поездной машинист, поскучав на ненужных стоянках, гнал поезд по равномерным равнинам к той узловой станции, где предстоит смена паровозной бригады. По сторонам пути стояли сигналы уклонов и подъемов, деревянные вешки для снегоочистителей и прочие ориентировочные знаки, но никакой машинист сразу не справлялся с этими указаниями: он чувствовал ногами работу паровозной тележки и в настороженную душу безошибочно улавливал координату работы машины, скорости, времени, расписания, тяжести поезда и состояния тормозов. Поэтому старые паровозные машинисты по виду небрежны и, если б пассажиры смотрели на машиниста, как он рассеянно ведет поезд и не глядя шурует рычагами, то пассажиры оставили бы поезд на любом разъезде, чтобы избежать своей близкой и безусловной гибели. То же самое с шоферами: тот шофер, который чувствует себя за рулем сложнее, чем на телеге, тот наверняка изувечит машину: это я переживал по собственному опыту. С машиной надо держать себя просто, искренно и самому быть не глупее ее; машина не терпит к себе неопределенных любительских отношений, она не бывает любовницей.

Под колесами поезда проскакивали границы губерний, уездов, райвиков, распространения власти сельсоветов, районы тяготения к ссыппунктам и элеваторам, сферы уполномоченных по расширению площади посевов сахарной свеклы, наконец, различные профсоюзные линии, разграничивающие скрещивающиеся влияния райкомов, райуполномоченных, разъездных инструкторов и прочих деятелей, организующих труд; однако многое необходимое, что пересекал по ходу паровоз, могло быть из памяти упущено: следовало бы издать генеральную карту организационного устройства СССР, чтобы любой путешественник мог свободно узнавать, под чьим непосредственным воздействием он находится в данную минуту жизненного состояния.

Посчитав в уме, я однако отказался от карты генерального организационного размежевания — для этого потребовался бы бумажный планшет, равный по площади как раз территории СССР; иначе невозможно будет четким образом уместить все линии прямых и косвенных соподчинений, планирующих увязок, инструктирующего обслуживания и прочих обязательных функций — линии могут совпасть, наложиться одна на другую, и получится сплошное слитное пространство тьмы, в которой не видно, кто кем руководит: кто умнейший актив и кто отсталая масса, подлежащая срочной культурной революции.

Ежесекундно колеса паровоза надавливали на толстые и тонкие линии организационных устройств, на различные пунктиры облегченных связей и на жирные черты неразлучного прочного подчинения; каждый квадратный сантиметр земли, если посмотреть на него чистыми государственными глазами, был занят линиями продуманных схем, траве же негде поместиться и ее фактически не должно быть.

Архивариус вытер красным платком поработавший над колбасой рот, затем почистил тот же платок клочком газеты и, сложив его в осьмушку, спрятал во внутренний карман пиджака: так он будет сохранней. Сокращенному архивариусу дорого было войти точкой в схему госаппарата, чтобы есть колбасу не только в поезде — на людях, когда

совестно есть хлеб, — но и дома ежедневно, или хотя бы через день. Схему полного эсэсэровского оргустройства потому и нельзя вычертить, потому и не хватит на это бумаги, что сам СССР есть схема в натуре. И вот этот бывший архивариус — он не пойдет на надел землю пахать или кирпичи делать в соответствующем тресте, а неминуемо старается заполнить собою какую-то государственную связь, как будто чувствуя в ней роковой пробел за своим отсутствием.

Тормоза втугачку схватили разыгравшиеся колеса; под вагоном чувствовались стрелки и крестовины большой станции. Так же втугачку хотел и хочет бюрократизм зажать колеса революции, чтобы до социализма доехать немного позже того момента, когда сам паровоз, ведущий историю, сгорит от форсированной работы — тащить поезд волокитой на зажатых тормозах.

В Козлове мы стояли больше по регламенту, чем по необходимости; прицепили свежий паровоз, люди с вагонных крыш добавили воды в уборные, служба технического осмотра проверила рессорные тележки и простукала бандажи, а поезд не шел — единственно из-за того, чтобы отстоять свое время ради точности расписания. Пассажиры поели, попили, прочитали журналы, в которых писатели пишут о том, о чем их не просят, а поезд тихо ожидал своей минуты отбытия. В наш вагон пришли новые пассажиры — вероятно, люди дела, едущие с портфелями на близкие расстояния. Эти люди, оказывается, строили в черноземных краях новый мир — Центрально-Черноземную Область — и сразу взялись за обсуждение своей коренной темы. Кооператор, архивариус и я затихли в ожидании лучшей жизни, которую пришедшие люди ехали делать изо всех сил.

Все трое ехали из Тамбова в Воронеж — в оргбюро Ц.Ч.О. Несмотря на утомление дороги и пересадки, административная ярость была резко начертана на всех трех лицах.

— Позвольте, Иван Сергеевич, куда ж это годится? — говорил средний человек, утирая бредовый пот со лба прямо ладонью. — Как можно делить организационно и историче-

ски неделимое, скажите мне пожалуйста? Тамбовский край, это же издавна определенно сложившаяся естественная, культурная и экономическая единица! Уже при Гаврииле Романовиче Державине, когда покойный был тамбовским губернатором, уже тогда тамбовский край был государственным понятием, а теперь, извольте видеть, северный кусок природного поценского края отходит от Тамбова в другой округ! Извините, мы тоже пока еще губерния, — у нас есть ВЦИК, извините! Воронеж — это еще не Москва, это лишь губерния, и не из важных!..

Другой тамбовец был из Кирсанова и имел свое мнение насчет Тамбова: он считал, что Кирсанов по торговле важнее Тамбова и Воронежа; до войны Кирсанов имел могучее хлебоэкспортное дело, затем одиннадцать лет чах, а теперь помаленьку становится на ноги — недавно первый общественный колодезь устроили, отопление жилищ предположено перевести с кизяков на торф и так далее. А что Тамбов? — Тургеневское дворянское гнездо в вишневых садах — больше ничего! А что Воронеж? — Раньше там хоть Петр Первый флот строил, а теперь попробуй построй его, когда кругом одни леса местного значения!

Этот человек мне наиболее понравился, у него и патриотической ярости на лице было меньше, поскольку дело не касалось Кирсанова. Поезд вышел в степь — здесь уже пахло по-другому и явно чувствовалось, что скоро это будут не простые губернские поля, а областные, тогда рожь, по подсчетам областных организаторов, должна расти гуще.

— Крой Воронеж вовсю, — сказал собеседнику кирсановский человек, — теперь ведь можно сверху донизу и снизу доверху: полоса самокритики пошла, нашего брата массы в плюшку жмут...

Полный москвич, ехавший на Кавказ и всю ночь промолчавший, вдруг улыбнулся и позволил себе замечание.

— Не совсем так, товарищ, не совсем. Мы никак не привыкнем к равновесию... Я бы сейчас главным лозунгом объявил равновесие мероприятий. А то посмотрите что выходит — не критика, а бичевание...

Здесь москвич, как опытный демагог, всем соседям предложил папиросы — «Герцеговину Флору».

— Сделайте одолжение, — сытым голосом убеждал он нас, как своих приспешников.

Кооператор поинтересовался: сколько же стоит одна такая папироса.

— Пустяки: копейки три, — сообщил москвич.

— У нас на три копейки можно пучок купырей купить, можно полбуханки хлеба съесть, можно стакан молока выпить, за пятак тебе лапоть сплетут, а другой на дороге найдешь, — выводил товарную стоимость трех копеек кооператор. — А в Москве — это одна папироса!

— Это же и есть равновесие, — конкретно увязал москвич. — Я, допустим, зарабатываю четыреста-пятьсот, а вы сто, но вы живете зато не в Москве, и мои четыреста, если посчитаешь, равны вашим семидесяти рублям...

— Значит, мои папиросы «Бокс» по вкусу, что и ваши, либо даже лучше? — с логической точностью вывел кооператор.

— Одни папиросы брать не следует, — мягко поправил кооператора москвич, — вы берите всю массу товарной продукции и учитывайте по среднему...

— Не учтешь! — усомнился кирсановец. — У нас в одной волости пять лет подряд двадцать тысяч десятин без обложения налогом существовали, а, говорят, город Лондон меньше этой площади. Значит, у нас город Лондон, вроде бы, стоял, а мы его и не видели... А найди виноватого! Учесть виноватого еще труднее, чем пропавшую площадь: та хоть травой зарастает, отговорка есть...

— Равновесия нет, — опять положил свою резолюцию на все беды москвич. — Вы раньше сказали о самокритике, что масса на учреждения давит: вот вам и результат! Разве это требуется? Никакое учреждение при таких условиях работать не может. Придет какой-нибудь кузнец в правление синдиката и скажет: вас я сокращаю, а себя сажаю, ступайте в молотобойцы. Ну, и что же будет? Будет хуже: будет кузнец, только и всего. Нет, надо самокритику ввести в здоровое русло — придать энергии народа плавный темп...

— Русло тоже дело ненадежное, — высказался кооператор, имея в виду речные берега. — Русло вода может свободно размыть.

Тамбовец доказывал своим спутникам, что вообще с областью явно поспешили: границы округов определены наспех, губернские и уездные работники далеко не все получили назначения на областные посты, и вообще, в целом, будущее рисуется далеко не в четких перспективах.

— Да ведь крестьяне-то пахать будут, рабочие-то не бросят работать оттого, что границы округов не уточнены, — ввязался я в чудной разговор. — Ваше дело не строить, а руководить.

Кооператор и архивариус остались нейтральны, а прочие люди внятно объяснили мне значение правильного руководства и точной организации в нашей крестьянской стране — среди беспокойной стихии единоличников. Я молчал, как благодарный, не разубеждаясь в том, что настоящее руководство может быть помощью, а бюрократическое — всегда будет эксплуатацией, садизмом и вредительством. То руководство, которое обращается за помощью к массам, само, следовательно, способно помогать рабочему и крестьянину выбраться раздавить живой силой затруднения и выпрямить кривую революции. В этом весь смысл самокритики.

* * *

Воронеж, это степная колыбель русского флота; это, еще ранее, крепость против татарских всадников на высшей точке водораздела меж реками Доном и Воронежем. С того места, где ныне стоит Митрофаньевский монастырь, открывается воздушное прозрачное пространство в дальнюю заречную степь, с расстоянием до горизонта верст на тридцать, на сорок. Тут и была некогда крепость и деревянная башня с дежурным наблюдателем. Отсюда же, в годы перемирий, видно было, как везли товары русские купцы к византийцам и грекам по Калмиюсской Сакме — татарской дороге по обочине Дона. И тогда наблюдатель слезал по крутой лесенке с башни и шел к девушкам на посиделки — песни петь и угощаться.

Затем в Воронеже и его окрестностях появились святые угодники — по существу, колонизаторы девственных рав-

нин и охранители мира на торговых путях. Они из укрепленного военного поста создали коммерческую базу и вспомогательный ямщицкий поселок для транзитных операций среднерусских княжеств с юго-востоком.

Позднее через Воронеж шло несколько чумацких солевозных трактов, затем они заросли травой и самое направление их было забыто, а впоследствии — распаханы.

Вслед за последним угодником — Митрофанием Воронежским и Тихоном Задонским — явился Петр Первый, угодник европейской технической цивилизации. Митрофанию Петр был современником, и я в детстве видел золотую карету, хранимую монастырем, в которой царь и святой ездили вместе на воронежскую кораблестроительную верфь. В раннем же детстве я жил в Задонске и слышал от деда, через мать, что некогда в Задонск приезжал Достоевский — посмотреть на знаменитый монастырь, где жил Тихон Задонский, сокровище души Достоевского, как он сам об этом потом писал. Дед был золотых дел мастером, работал на монастырскую ризницу, издавна был связан с монастырем и, наверное, слух о посещении Задонска Достоевским имеет некоторые основания. Возможно, что Достоевский переписывался с настоятелем монастыря, чтобы получить сведения о жизни Тихона, когда думал о написании «Братьев Карамазовых». Черты Тихона Задонского, как известно, запечатлены Достоевским в старце Зосиме и отчасти в Алеше.

Петр Первый превратил Воронеж в русский Амстердам — выписал сюда гвардию голландских, английских и немецких инженеров и здесь же задумал прорыть канал на соединение Дона с Окой, начал его строить, но не закончил. Этот канал был отцом современного Волго-Дона, а город Воронеж послужил источником технических сил, опыта и снаряжения для Доно-Окского Водного Хода. Так что судостроительный, гидротехнический Воронеж является дедушкой Волго-Дона и будет со временем пользоваться трудами своего внука.

Петр, говорят, обездолил леса всего края на постройки верфей, шлюзов и кораблей. Петр знал толк в материалах и требовал, как истый первоклассный инженер, лес высше-

го качества даже для постройки вспомогательной лодки. После Петра леса начали вырождаться и в наши дни превратились в так называемые леса местного значения, т. е. мелкие полукустарниковые породы. Петр, стало быть, бессознательно сыграл роль родоначальника лесов местного значения.

Еще задолго до царской войны, несмотря на плодородие почвы, крестьянство Воронежской губернии и соседних с нею, начало быстро беднеть и поставлять отходников в города и в Донбасс. Сельское хозяйство области, в силу царской аграрной политики, зашло в тупик и требовало крупной социальной и технической реорганизации. Столыпин дал исход деревенской верхушке на хутора, а остальное крестьянство нашло себе выход в революции. Социально-производственная форма организации крестьянства теперь найдена — коллективы; в сущности — это коммуны 19—20 года, но без многих недостатков и преувеличений их. К сожалению, мне было невозможно близко поглядеть хоть один коллектив, но надо заочно считать, что от удачи этого опыта зависит спасение деревни и уничтожение того трагического положения, которое в деревне есть сейчас. Коллективы в деревнях нам сейчас дороже Днепростроя; неудачи коллективов заставят спасаться крестьянство в одиночку, т. е. толкнут его на кулацкий путь. В государственном содействии коллективному устройству крестьян страшно одно: чтобы это содействие не обратилось в обыкновенное буксование государственного колеса на бумажной подстилке. Уже есть Колхозцентр, кроме него, все местные и центральные органы тоже стараются влипнуть в колхозное строительство; здесь беда в том, что все хотят поруководиться, дать указания, проинструктировать, согласовать «темп колхозстроительства» с общим народохозяйственным планом губернии и прочая громкая чепуха. Между тем, главное руководство должно заключаться лишь в том, чтобы не мешать органическому влечению крестьян к устройству своей хозяйственной судьбы через коллективы. Всем же известно, что всякая такая «руководящая» работа больше проделывается для очистки бюрократической совести, а не из стремления к практическому социализму.

По прошлой своей работе в провинции, а также из теперешней поездки, я убедился, что деревне, кроме коллективов, нужны в первую очередь землеустройство, мелиорация и огнестойкое строительство. Агропомощь, по-моему, относится ко второй очереди, если понимать под агропомощью агротехнику, а не ту организационно-универсальную работу, какую ведет сейчас на деревне участковый агроном. Прочие агрономы, выше участкового, собственно заняты междуведомственным обслуживанием и к крестьянству не относятся.

Уже на платформе вокзала чувствовалось некое напряжение, явно сверхгубернского масштаба. Ничего еще не было видно, дома стояли прежние, площадь двух колосьев не давала трех, а люди уже авансом тратили свою энергию, надеясь на увеличение урожая от слияния четырех губерний в монолитное тело области. Ничего еще не было, а уж организационная сила была.

Губернско-областные чиновники расходились по домам на обед. Их страстные убежденные лица имели какую-то областную особенность, которую я сразу не мог заметить, живя в губгороде Москве. Заметил я эту особенность только вечером, когда областные работники шли на заседания: на их лицах были бакенбарды, — в этом и заключался областной придаток наружности; от таких личностей веяло каким-то пушкинским духом, но вместе с тем это придавало физиономии более санитарный вид и скрытую задумчивость.

Я купил местную газету, чтобы проверить — нет ли там лозунга о бакенбардах от губздравотдела и губоблсовета физкультуры; например, лозунги могли быть в таком стиле: «За советскую бакенбарду!», или с мотивировкой — «Опрятность наружности есть символ идеологической устойчивости: физкультурник, отпускай баки, будь впереди! За новую наружность, за нового человека!»

В газете лозунгов таких не было. Но были снимки зданий будущих облисполкома, облпрофсовета и прочих емких помещений. Я вгляделся в фотографии: может быть, в камнях есть областная архитектурная стройность, либо отпечатки ума и организационного уменья. Затем шли

портреты туземно-областных вождей, карта области и заметка об арженской фабрике грубых сукон (в Тамбовской губернии), чтобы газета больше походила на областной орган и не страдала губернской ограниченностью. В хронике отмечалось выступление тов. Терентьева в споре с архиереем. Тов. Терентьева я помнил — это значительный и энергичный деятель, выполняющий в местном масштабе то, что Вольтер делал во всемирном, а т. Ярославский — во всесоюзном. В остальном содержании газета занималась всемирно-историческими вопросами, словно ей было мало той территории — больше Британского королевства, — превращению которой в социалистический кусок она призвана помогать. О бакенбардах не было упоминаний, следовательно, они были стихийными растениями на почве области, т. к. губернские работники бакенбард не носили, это я помню безошибочно, они, наоборот, брились до младенческого состояния щек. Но нынче, на пути к областному масштабу, бритье было усугублено устройством правильно спланированных бакенбард на лице.

По городу ходило 11 или 13 штук трамваев. Город едва ли испытывал особо острые затруднения с переброской масс населения из одного конца города в другой. Но я отлично понимал, что если есть трамвай в Курске и Орле — будущих окружных центрах, то в областном городе трамвай должен быть непреложностью движения светил. У посадок в трамвай публика создавала какую-то искусственную суету, а затем вагон шел не слишком набитым. Значение этой нарочной суеты публики я понял несколько позднее. В воронежском трамвае я почувствовал себя как в Москве: те же надписи, наклейки и те же правила езды; разница лишь в одной букве: вместо «М.К.Х.», всюду «В.К.Х.». Еще есть разница техническая: воронежские трамваи останавливаются тормозами Кунце-Кнорра, а не устарелыми, но испытанными вестингаузами.

На 11—13 трамваев и на 3, кажется, маршрута имеется 27 человек контролеров, из них 9 человек от Г.Ж.Д., а остальные от Горсовета. В каждом вагоне едет не менее 2 контролеров, затем кондуктор и — обязательно — милиционер, как бесплатный пассажир, помогающий контролерам

и кондуктору, в благодарность за провоз, управиться с иным злостным пассажиром. Из нескольких поездок на воронежском трамвае я полностью убедился, что со стороны управления Г.Ж.Д., Горсовета, Адмотдела ГИКа и прочих организаций, вмешивающихся в трамвайное движение, сделано, в сущности, все, чтобы сделать поездки людей жизнеопасными и чреватыми экономическими и социальными последствиями, т. е. вождением в милицию, штрафами и прочими ущербами для личности. Московские трамвайные распорядки усвоены Воронежем в кровь, но т. к. в Москве жителей больше в 25 раз, трамваев — в 100 раз, а административная энергия, приложенная к урегулированию трамвайного движения в Воронеже, количественно равна той же московской энергии, то число ежедневно-наказуемых пассажиров в Воронеже равно тому же числу в Москве; иначе говоря, очень редко можно проехать в Воронеже на трамвае, не получив добавочно к билету особой квитанции об уплате штрафа, либо милицейского протокола, либо нравственного оскорбления. Все это делается ради того, чтобы «наши были не хуже ваших», чтобы разница между Москвой и Воронежем была лишь в букве, но не в разумном существе. Публика, говорят, сверх тройного надзора за собой еще сама помогает контролерам вылавливать из своей среды пассажиров-вредителей и добровольно устраивает давки на остановках трамваев. Я не уверен, что этим занимается вся публика, но многие люди явно стоят на страже трамвайной законности.

Это все оправдано: современная служащая провинция резко перерождена бюрократизмом; человек ведет себя и на воле, как на службе: он недоверчив, он одинок, хищен и непрерывно занимается самоспасением; с ним трудно жить, с ним трудно ехать в трамвае, мы замучили друг друга и становится стыдно существовать. Я думаю о жене мелкого бюрократа, того, который сам, быть может, ничему не вредит, но у которого душа повреждена бюрократизмом. У него тоже есть жена и дети, они не знают, какое бытие настроило сердце их мужа и отца, но они чувствуют на себе всю гнетущую, мрачную, иссушащую силу этого родного сердца.

Бюрократизм учреждений когда-нибудь будет уничтожен, потому что даже горы выдуваются слабым ветром, но как нам быть с тем бюрократизмом, который стал содержанием крови целого слоя людей? И кто будет в ответе за изуродование этих некогда доверчивых, свежих и здоровых людей? Ведь бюрократизм стал уже биологическим признаком целой породы людей — он вышел за стены учреждений, он отнимает у нас друзей и сподвижников, он стал нашей безотчетной скорбью.

Я ходил по городу, читал вывески и думал о том немощеном адовом дне, по которому сейчас, босая и шагом, идет революция. Все вывески, где есть какой-либо «Губ» (губернский), уже были перемалеваны на «Обл». И мне казалось, что мы слишком любим идти по легкому пути, но не по трудному — к социализму. Всякое организационное дело, в условиях пролетарской диктатуры, есть дело второстепенное и обслуживающее. Первостепенным остается изготовление вещей, ослабление губительных действий природы и поиски путей друг к другу; в последнем — в дружестве — и заключается коммунизм: он есть как бы напряженное сочувствие между людьми.

И всюду, или во многом, в этой «Че-Че-О» видно подражание Москве, Харькову и подобие республиканским центрам. А окружные города, вероятно, равняются по областному городу, а районные села — по округу и т. д. — вплоть до сельсовета.

Это похоже на детское разъемное деревянное яйцо: яичко вложено в яичко, одно другого незначительней, но все одинаковые.

* * *

Меня интересовали люди, а не учреждения, поэтому я учреждений не посещал, чтобы не раздражаться и не быть обманутым гулом мероприятий. Люди мне доверялись, потому что это были мои старинные знакомые, мои неменяющиеся друзья, а я для них был прежним Электромонтером. Я пошел в дом, где, ради общего свидания, собралось человек шесть мастеровых и для усиления искренности организована слабая выпивка.

Радио — этот всесоюзный дьячок — хриплым голосом служило коммунизму на окне рабочего жилища в провинции. Рядом с рупором росли кроткие цветы, по виду известные мне с детства, а названий их я никогда не знал.

Мастеровой в наши дни стал более скрытным, более углубленным и задумчивым человеком — это или страдание, или развитие личности. В старое время общая безнадежность делала рабочих людей в своем кругу веселыми и самозабвенными собеседниками. Теперь есть надежда и есть какая-то смутная неуверенность в ней.

— Федор Федорович, — спросил я пожилого опытного слесаря, с которым десять лет знаком и два года работал. — Одна область лучше четырех губерний?

Федор Федорович сначала попросил хозяина выключить радио.

— Филя, заглуши ты этого хрипатого дьявола — мы не к обедне пришли, а к тебе.

Федор Федорович говорил, как многие русские люди: иносказательно, но — точно. Фразы его, если их записать, были бы краткими и бессвязными: дело в том, чтобы понимать Федора Федоровича, надо глядеть ему в рот и сочувствовать ему, тогда его затруднения речи имеют проясняющее значение. Пришел гость с гармонией и перебил наш разговор игрой. Мы заслушались, разволновались, а хозяин Филя не знал, чем бы получше угостить гармониста; рабочий человек глубоко понимает, что ведер и паровозов можно наделать сколько нужно, а песню и волнение чувств сделать нарочно нельзя — искусство дороже вещей, потому что оно приближает человека к человеку, а это труднее и нужнее всего.

Федор Федорович и Филипп Павлович растроганно пили водку, еле сдерживая свои жалостные и героические чувства. Худой гармонист сохранял серьезность и глядел на слушателей неизвестно о чем думающими глазами. Под конец он сыграл шимми, — трудящиеся и шимми прослушали с волнением; в сущности, это искренняя тонкая пьеса — автор сочинил ее для людей, а не для тех фильдеперсовых ног и бесполых тел, которые из этой музыки сделали провокацию акта размножения. Никто из присутствующих не ви-

дел этого танца, когда европейки с монгольскими лицами обнимают равнодушных воров, — зато тем глубже трогала их какая-то нежная и энергичная тоска шимми, грусть безымянного близкого человека, заблудившегося в сложном устройстве мира, среди людей, холодных как сооружения. И вот мечется человек — в пиджаке, в кепке, взволнованный и хороший — новый Каин буржуазии, Агасфер земного шара, интернациональный пролетарий.

Гармонист кончил играть и выпил для подтягивания утомившейся души. Возможно, что и революция и всякая искренняя страстная деятельность человека сделана по модели любви, поэтому можно любое искусство сделать тактом объятий и бессмысленных наслаждений, т. е. пустить музыку не туда, куда ее направил художник, а в ту исходную тьму, откуда она, быть может, вышла.

— Вот, видишь, — сказал Федор Федорович, — чем надо людей смазывать... А ты говоришь — организация: то, понимаешь ты, как мучной клей. Помнишь, им газеты к заборам приклеивали, и ни черта не держалось...

Я понял. Кто у нас только не работает над объединением и склеиванием пролетариата? Громадные, дорогие, многочисленные организации. И многие из них, вместо горячего клея, употребляют остуженный кисель, либо мучную пыль на воде.

— Нравоучительность куда-то из нас пропала, — непонятно определил ослабевший от вина помощник машиниста с водокачки.

— В газетах пишут, что наша губерния вся запаршивела и оскудела, — вспомнил Федор Федорович. — А по-моему, не оскудела она, ее объели...

— А во мне сердечность оскудела, — проговорил помощник машиниста. — Раньше ты мне дорог был, — без определенного направления сказал помощник, — а теперь и умрешь — все равно... Филя, налей мне еще чашечку, да я к старухе пойду...

В учреждениях, наверное, сейчас уже кончили передвижку столов и распланировку отделов под областные органы: завтра служащие люди будут сидеть иначе, для них наступит новый режим писчего дня.

Помощник выпил чашечку и ушел на покой к старухе. Остальные завели полуночное собеседование. Я слушал, потому что говорившие люди по опыту были умнее меня и они чувствовали неощутимые для меня вещи.

— Например, так, — высказывался оживший от друзей Федор Федорович. — Он — человек молодой, а я уже почти старик. Он приходит в цех, ему дают работу. Но ведь я тридцать лет мастеровой, я не грубо знаю дело, а он — мальчик. Ну, кого послать, скажем, в организацию? Посылаем его — нам он не нужен, работать он не научился, а таких как я — я это по душам говорю положа руку на сердце — таких у нас во всех мастерских двадцать человек. Вот он там и делает власть за нас, а что он понимает?!

Федор Федорович хотел сказать, что, дескать, старых, опытных мастеровых отпустить с производства никак нельзя — работать некому будет, да и мало у нас людей первой руки. А юноши, только попавшие в цех, никому не дороги, да и им тоже не дорого работать за станком — ими и затыкают всякие выборные должности, а потом они сами делаются профессиональными руководителями, без всяких прочных, товарищеских связей с мастеровыми. Больше того, многие молодые рабочие на завод смотрят лишь как на исходную точку своей будущей общественной карьеры, как на временное, бросовое ремесло. Он поработает год, много — два, по всем документам — он уже рабочий и тогда начинает идти во всякие высокие двери профпарт и сов-организаций; а где дверь занята для него, он уже сумеет ее толкнуть. Там, наверху, в руководящих сферах, молодому человеку представляется теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью. И некоторые получают эту сумму благ взамен равнодушия мастеровых, оставшихся где-то в подземельях труда. Оставшиеся знают, что эти единоличники спасутся (в смысле материального достатка и всякого наваждения в пустой голове), но всем же нельзя этим путем спастись. И отсюда — некоторая скрытность и погруженная задумчивость современного советского рабочего человека.

Федор Федорович показал мне рисунок в газете: два огромных пролетарских сапога хотят растоптать попа и толстого лавочника.

— Что? — спросил я, не понимая.

— Как — что? Не видишь? Поп — ну какой он нам нынче враг? — соринка! Лавочник, — да его и давить-то нечего: открой лишний кооператив, и лавочнику — гробик еловый! Другие враги теперь родились: вон на Шахтах, еще в прочих губерниях... А то и такие, может, есть, которых и сейчас не видно...

— Ты нам-то объясни, — обратился ко мне Филипп Павлович. — Почему это все в массы швыряют, — прямо как кирпичи летят. Книгу пишут — в массы, автомобиль — в массы, культуру — тоже туда, к одному месту дьячка этого (он на радио показал) — тоже к нам, критику — опять-таки давай сюда... От таких швырков тело заболит...

— Радио же вон дошвырнули!

— Радио — это да, и то никто не швырял, я сам сделал. А вот другие вещи от трения на воздухе сгорают, как, я читал, звезды — небесные кирпичи...

— Зашвыряли массы, — согласился Федор Федорович. — Прожевать некогда. А ведь это сверху кажется — внизу масса, а тут — отдельные люди живут.

Гармонист сыграл на прощание «На сопках Маньчжурии», мы поцеловались и расстались — наверное, на годы.

— Федор Федорович, а область-то нужна все-таки или нет?

— Отчего нет? Все вторичное нужно, когда первая необходимость есть.

— А это что?

— Это — как тебе сказать? — когда мне и тебе отлично, а ребенка пустить к людям не страшно. А второе будет тебе хлеб с закуской, а третье — область твоя...

— А отчего мне и тебе станет отлично?

Федор Федорович стал в тупик.

— От хороших людей, наверное. Или нет?.. Наделать всего побольше, чтоб никто не серчал, — богачей же у нас нету, никто не отымет...

Над областью лежала тьма, а в столах учреждений покоились сложные планы и бумаги для проработки и вдумчивого исполнения.

Отпустить бы всех людей из учреждений на свободу, чтобы они наделали побольше съедобных, носильных и жилищных вещей, дабы никто не серчал от нужды и дабы сами они перестали поедать чужие мягкие вещи.

* * *

Выехал я из Ц.Ч.О. вечерней зарей. На севере, как горы, находились мощные пути. Там тысяча человек спасала десятерых спутников Нобиля, а у нас сотни тысяч, миллионы пролетариев спасаются от сотен бюрократов. Я не верю в отвлеченный бюрократизм — тогда пришлось бы воевать с письменными столами и чернильницами, а надо всюду предпочитать людей предметам. Объяснить бюрократизм одной некультурностью рабочего класса и крестьянства тоже нельзя, потому что этот же рабочий класс недавно сделал революцию — чрезвычайно культурное дело.

Поезд вышел за черту облгорода и начал поспешно проезжать леса местного значения, колхозы, совхозы дворы единоличников и природную зелень. Одна треть пассажиров поезда ехала с юга из отпусков и нуждалась в высадке на первой станции, чтобы быть отправленной кем-то в деревню на уборку урожая и для выделки кирпичей новой огнестойкой деревне. Я думал, что так и должно случиться, но пришел контролер, кого нужно было высадить — не тронул, и я заснул от разочарования.

1928

УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР

Среди прочих трудящихся масс жили два члена государства: нормальный мужик Макар Ганушкин и более выдающийся — товарищ Лев Чумовой, который был наиболее умнейшим на селе и благодаря уму руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу. Зато все

население деревни говорило про Льва Чумового, когда он шел где-либо мимо:

— Вон наш вождь шагом куда-то пошел — завтра жди какого-нибудь принятия мер... Умная голова, только руки пустые. Голым умом живет...

Макар же, как любой мужик, больше любил промыслы, чем пахоту, и заботился не о хлебе, а о зрелищах, потому что у него была, по заключению товарища Чумового, порожняя голова.

Не взяв разрешения у товарища Чумового, Макар организовал однажды зрелище — народную карусель, гонимую кругом себя мощностью ветра. Народ собрался вокруг Макаровой карусели сплошной тучей и ожидал бури, которая могла бы стронуть карусель с места. Но буря что-то опаздывала, народ стоял без делов, а тем временем жеребенок Чумового сбежал в луга и там заблудился в мокрых местах. Если б народ был на покое, то он сразу поймал бы жеребенка Чумового и не позволил бы Чумовому терпеть убыток, но Макар отвлек народ от покоя и тем помог Чумовому потерпеть ущерб.

Чумовой сам не погнался за жеребенком, а подошел к Макару, молча тосковавшему по буре, и сказал:

— Ты народ здесь отвлекаешь, а у меня за жеребенком погнаться некому...

Макар очнулся от задумчивости, потому что догадался. Думать он не мог, имея порожнюю голову над умными руками, но зато он мог сразу догадываться.

— Не горюй, — сказал Макар товарищу Чумовому, — я тебе сделаю самоход.

— Как? — спросил Чумовой, потому что не знал, как своими пустыми руками сделать самоход.

— Из обручей и веревок, — ответил Макар, не думая, а ощущая тяговую силу и вращение в тех будущих веревках и обручах.

— Тогда делай скорее, — сказал Чумовой, — а то я тебя привлеку к законной ответственности за незаконные зрелища.

Но Макар думал не о штрафе — думать он не мог, а вспоминал, где он видел железо, и не вспомнил, потому что вся

деревня была сделана из поверхностных материалов: глины, соломы, дерева и пеньки.

Бури не случилось, карусель не шла, и Макар вернулся ко двору.

Дома Макар выпил от тоски воды и почувствовал вяжущий вкус той воды.

«Должно быть, оттого и железа нету, — догадался Макар, — что мы его с водой выпиваем».

Ночью Макар полез в сухой, заглохший колодезь и прожил в нем сутки, ища железа под сырым песком. На вторые сутки Макара вытащили мужики под командой Чумового, который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства. Макар был неподъемен — у него в руках оказались коричневые глыбы железной руды. Мужики его вытащили и прокляли за тяжесть, а товарищ Чумовой пообещал дополнительно оштрафовать Макара за общественное беспокойство.

Однако Макар ему не внял и через неделю сделал из руды железо в печке, после того как его баба испекла там хлебы. Как он отжигал руду в печке, никому не известно, потому что Макар действовал своими умными руками и безмолвной головой. Еще через день Макар сделал железное колесо, а затем еще одно колесо, но ни одно колесо само не поехало: их нужно было катить руками.

Пришел к Макару Чумовой и спрашивает:

— Сделал самоход вместо жеребенка?

— Нет, — говорит Макар, — я догадывался, что они бы должны сами покатиться, а они — нет.

— Чего же ты обманул меня, стихийная твоя голова! — служебно воскликнул Чумовой. — Делай тогда жеребенка!

— Мяса нет, а то бы я сделал, — отказался Макар.

— А как же ты железо из глины сделал? — вспомнил Чумовой.

— Не знаю, — ответил Макар, — у меня памяти нет.

Чумовой тут обиделся:

— Ты что же, открытие народнохозяйственного значения скрываешь, индивид-дьявол! Ты не человек, ты — единоличник! Я тебя сейчас кругом оштрафую, чтобы ты знал, как думать!

Макар покорился:

— А я ж не думаю, товарищ Чумовой. Я человек пустой.

— Тогда руки укороти, не делай, чего не сознаешь, — упрекнул Макара товарищ Чумовой.

— Ежели бы мне, товарищ Чумовой, твою голову, тогда бы я тоже думал, — сознался Макар.

— Вот именно! — подтвердил Чумовой. — Но такая голова одна на все село, и ты должен мне подчиниться.

И здесь Чумовой кругом оштрафовал Макара, так что Макару пришлось отправиться на промысел в Москву, чтобы оплатить тот штраф, оставив карусель и хозяйство под рачительным попечением товарища Чумового.

Макар ездил в поездах девять лет тому назад, в девятнадцатом году. Тогда его везли задаром, потому что Макар был сразу похож на батрака, и у него даже документов не спрашивали. «Езжай далее, — говорила ему, бывало, пролетарская стража, — ты нам мил, раз ты гол».

Нынче Макар, так же как девять лет тому назад, сел в поезд не спросясь, удивившись малолюдью и открытым дверям. Но все-таки Макар сел не в середине вагона, а на сцепках, чтобы смотреть, как действуют колеса на ходу. Колеса начали действовать, и поезд поехал в середину государства — в Москву.

Поезд ехал быстрее любой полукровки. Степи бежали навстречу поезду и никак не кончались.

«Замучают они машину, — жалел колеса Макар. — Действительно, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст».

Руки Макара находились в покое, их свободная умная сила пошла в его порожнюю емкую голову, и он стал думать. Макар сидел на сцепках и думал, что мог. Однако долго Макар не просидел. Пошел стражник без оружия и спросил у него билет. Билета у Макара с собой не было, так как, по его предположению, была советская, твердая власть, которая теперь и вовсе задаром возит всех нуждающихся. Стражник-контролер сказал Макару, чтобы он слезал от греха на первом полустанке, где есть буфет, дабы Макар не умер с голоду на глухом перегоне. Макар увидел, что о нем

власть заботится, раз не просто гонит, а предлагает буфет, и поблагодарил начальника поездов.

На полустанке Макар все-таки не слез, хотя поезд остановился сгружать конверты и открытки из почтового вагона. Макар вспомнил одно техническое соображение и остался в поезде, чтобы помогать ему ехать дальше.

«Чем вещь тяжелее, — сравнительно представлял себе Макар камень и пух, — тем оно далее летит, когда его бросишь; так и я на поезде еду лишним кирпичом, чтобы поезд мог домчаться до Москвы».

Не желая обижать поездного стражника, Макар залез в глубину механизма, под вагон, и там лег на отдых, слушая волнующуюся скорость колес. От покоя и зрелища путевого песка Макар глухо заснул и увидел во сне, будто он отрывается от земли и летит по холодному ветру. От этого роскошного чувства он пожалел оставшихся на земле людей.

— Сережка, что же ты шейки горячими бросаешь!

Макар проснулся от этих слов и взял себя за шею: цело ли его тело и вся внутренняя жизнь?

— Ничего! — крикнул издали Сережка. — До Москвы недалече: не сгорит!

Поезд стоял на станции. Мастеровые пробовали вагонные оси и тихо ругались.

Макар вылез из-под вагона и увидел вдалеке центр всего государства — главный город Москву.

«Теперь я и пешком дойду! — сообразил Макар. — Авось поезд домчится и без добавочной тяжести!»

И Макар тронулся в направлении башен, церквей и грозных сооружений — в город чудес науки и техники, чтобы добывать себе жизнь под золотыми головами храмов и вождей.

Сгрузив себя с поезда, Макар пошел в видимую Москву, интересуясь этим центральным городом. Чтобы не сбиться, Макар шагал около рельсов и удивлялся частым станционным платформам. Близ платформы росли сосновые и еловые леса, а в лесах стояли деревянные домики. Деревья росли жидкие, под ними валялись конфетные бумаж-

ки, винные бутылки, колбасные шкурки и прочее испорченное добро. Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже больше мучились и мало росли. Макар понимал такую природу неотчетливо:

«Не то тут особые негодяи живут, что даже растения от них дохнут! Ведь это весьма печально: человек живет и рожает близ себя пустыню! Где ж тут наука и техника?»

Погладив грудь от сожаления, Макар пошел дальше. На станционной платформе выгружали из вагона пустые молочные бидоны, а с молоком ставили в вагон. Макар остановился от своей мысли.

— Опять техники нет! — вслух определил Макар такое положение. — С молоком посуду везут — это правильно: в городе тоже живут дети и молоко ожидают. Но пустые бидоны зачем возить на машине? Ведь только технику зря тратят, а посуда объемистая!

Макар подошел к молочному начальнику, который заведовал бидонами, и посоветовал ему построить отсюда и вплоть до Москвы молочную трубу, чтобы не гонять вагонов с пустой молочной посудой.

Молочный начальник Макара выслушал — он уважал людей из масс, однако посоветовал Макару обратиться в Москву: там сидят умнейшие люди, и они заведуют всеми починками.

Макар осерчал:

— Так ведь ты же возишь молоко, а не они! Они его только пьют, им лишних расходов техники не видно!

Начальник объяснил:

— Мое дело наряжать грузы: я — исполнитель, а не выдумщик труб.

Тогда Макар от него отстал и пошел, усомнившись, вплоть до Москвы.

В Москве было позднее утро. Десятки тысяч людей неслись по улицам, словно крестьяне на уборку урожая.

«Чего же они делать будут? — стоял и думал Макар в гуще сплошных людей. — Наверно, здесь могучие фабрики стоят, что одевают и обувают весь далекий деревенский народ!»

Макар посмотрел на свои сапоги и сказал бегущим людям «спасибо!» — без них он жил бы разутым и раздетым.

Почти у всех людей имелись под мышками кожаные мешки, где, вероятно, лежали сапожные гвозди и дратва.

«Только чего ж они бегут, силы тратят? — озадачился Макар. — Пускай бы лучше дома работали, а харчи можно по дворам гужом развозить!»

Но люди бежали, лезли в трамваи до полного сжатия рессор и не жалели своего тела ради пользы труда. Этим Макар вполне удовлетворился. «Хорошие люди, — думал он, — трудно им до своих мастерских дорваться, а охота!»

Трамваи Макару понравились, потому что они сами едут, и машинист сидит в переднем вагоне очень легко, будто он ничего не везет. Макар тоже влез в вагон без всякого усилия, так как его туда втолкнули задние спешные люди. Вагон пошел плавно, под полом рычала невидимая сила машины, и Макар слушал ее и сочувствовал ей.

«Бедная работница! — думал Макар о машине. — Везет и тужится. Зато полезных людей к одному месту несет — живые ноги бережет!»

Женщина — трамвайная хозяйка — давала людям квитанции, но Макар, чтобы не затруднять хозяйку, отказался от квитанции.

— Я — так! — сказал Макар и прошел мимо.

Хозяйке кричали, чтобы она чего-то дала по требованию, и хозяйка соглашалась. Макар, чтобы проверить, чего здесь дают, тоже сказал:

— Хозяйка, дай и мне чего-нибудь по требованию!

Хозяйка дернула веревку, и трамвай скоро окоротился на месте.

— Вылазь, тебе по требованию, — сказали граждане Макару и вытолкнули его своим напором.

Макар вышел на воздух.

Воздух был столичный: пахло возбужденным газом машин, чугунной пылью трамвайных тормозов.

— А где же тут самый центр государства? — спросил Макар нечаянного человека.

Человек показал рукой и бросил папиросу в уличное помойное ведро. Макар подошел к ведру и тоже плюнул туда, чтобы иметь право всем в городе пользоваться.

Дома стояли настолько грузные и высокие, что Макар пожалел советскую власть: трудно ей держать в целости такую жилищную снасть.

На перекрестке милиционер поднял торцом вверх красную палку, а из левой руки сделал кулак для подводчика, везшего ржаную муку.

«Ржаную муку здесь не уважают, — заключил в уме Макар, — здесь белыми жамками кормятся».

— Где здесь есть центр? — спросил Макар у милиционера. Милиционер показал Макару под гору и сообщил:

— У Большого театра, в логу.

Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого — дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела.

Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству. Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку неимоверного дома.

— Что здесь строят? — спросил он у прохожего.

— Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла! — ответил прохожий.

Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать.

В воротах стояла стража. Стражник спросил:

— Тебе чего, жлоб?

— Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отощал, — заявил Макар.

— Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты пришел без всякого талона? — грустно проговорил стражник.

Здесь подошел каменщик и заслушался Макара.

— Иди в наш барак к общему котлу, там ребята тебя покормят, — помог Макару каменщик. — А поступить ты

к нам сразу не можешь, ты живешь на воле, а стало быть — никто. Тебе надо начала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти.

И Макар пошел в барак кушать из котла, чтобы поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы.

На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужился. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно, земля была всюду поражена ямами, народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется, — он интересовался техникой как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу — товарищ Лев Чумовой, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой, но у Макара были только грамотные руки, а голова — нет; поэтому он только и думал, как бы чего сделать.

Макар обошел всю постройку и увидел, что работа идет быстро и благополучно. Однако что-то заунывно томилось в Макаре — пока неизвестно что. Он вышел на середину работ и окинул общую картину труда своим взглядом: явно чего-то недоставало на постройке, что-то было утрачено, но что — неизвестно. Только в груди у Макара росла какая-то совестливая рабочая тоска. От печали и оттого, что сытно покушал, Макар нашел тихое место и там отошел ко сну. Во сне Макар видел озеро, птиц, забытую сельскую рощу, а что нужно, чего не хватает на постройке, — того Макар не увидел. Тогда Макар проснулся и вдруг открыл недостаток постройки: рабочие запаковывали бетон в железные каркасы, чтобы получилась стена. Но это же не техника, а черная работа! Чтобы получилась техника, надо бетон подавать наверх трубами, а рабочий будет только держать трубу и не уставать, этим самым не позволяя переходить красной силе ума в чернорабочие руки.

Макар сейчас же пошел искать главную московскую научно-техническую контору. Такая контора помещалась в прочном несгораемом помещении, в одном городском овраге. Макар нашел там одного малого у дверей и сказал ему, что он изобрел строительную кишку. Малый его выслушал и даже расспросил о том, чего Макар сам не знал, а потом отправил Макара на лестницу к главному писцу. Писец этот был ученым инженером, однако он решил почему-то писать на бумаге, не касаясь руками строительного дела. Макар и ему рассказал про кишку.

— Дома надо не строить, а отливать, — сказал Макар ученому писцу.

Писец прослушал и заключил:

— А чем вы докажете, товарищ изобретатель, что ваша кишка дешевле обычной бетонировки?

— А тем, что я это ясно чувствую, — доказал Макар.

Писец подумал что-то втайне и послал Макара в конец коридора.

— Там дают неимущим изобретателям по рублю на харчи и обратный билет по железной дороге.

Макар получил рубль, но отказался от билета, так как он решил жить вперед и безвозвратно.

В другой комнате Макару дали бумагу в профсоюз, дабы он получил там усиленную поддержку как человек из массы и изобретатель кишки. Макар подумал, что в профсоюзе ему сегодня же должны дать денег на устройство кишки, и радостно пошел туда.

Профсоюз помещался еще в более громадном доме, чем техническая контора. Часа два бродил Макар по ущельям того профсоюзного дома в поисках начальника массовых людей; что был написан на бумаге, но начальника не оказалось на служебном месте — он где-то заботился о прочих трудящихся. В сумерки начальник пришел, съел яичницу и прочитал бумажку Макара через посредство своей помощницы — довольно миловидной и передовой девицы с большой косой. Девица та сходила в кассу и принесла Макару новый рубль, а Макар расписался в получении его как безработный батрак. Бумагу Макару отдали обратно. На ней в числе прочих букв теперь значилось: «Товарищ Ло-

пин, помоги члену нашего союза устроить его изобретение кишки по промышленной линии».

Макар остался доволен и на другой день пошел искать промышленную линию, чтобы увидеть на ней товарища Лопина. Ни милиционер, ни прохожие не знали такой линии, и Макар решил ее найти самостоятельно. На улицах висели плакаты и красный сатин с надписью того учреждения, которое и нужно было Макару. На плакатах ясно указывалось, что весь пролетариат должен твердо стоять на линии развития промышленности. Это сразу вразумило Макара: нужно сначала отыскать пролетариат, а под ним будет линия и где-нибудь рядом товарищ Лопин.

— Товарищ милиционер, — обратился Макар, — укажи мне дорогу на пролетариат.

Милиционер достал книжку, отыскал там адрес пролетариата и сказал тот адрес благодарному Макару.

Макар шел по Москве к пролетариату и удивлялся силе города, бегущей в автобусах, трамваях и на живых ногах толпы.

«Много харчей надо, чтобы питать такое телодвижение!» — рассуждал Макар в своей голове, умевшей думать, когда руки были не заняты.

Озабоченный и загоревавший Макар наконец достиг того дома, местоположение которого ему указал постовой. Дом тот оказался ночлежным приютом, где бедный класс в ночное время приклонял свою голову. Раньше, в дореволюционную бытность, бедный класс приклонял свою голову на простую землю, и над той головою шли дожди, светил месяц, брели звезды, дули ветры, а голова та лежала, стыла и спала, потому что она была усталая. Нынче же голова бедного класса отдыхала на подушке под потолком и железным покровом крыши, а ночной ветер природы уже не беспокоил волос на голове бедняка, некогда лежавшего прямо на поверхности земного шара.

Макар увидел несколько новых чистоплотных домов и остался доволен советской властью.

«Ничего себе властишка! — оценил Макар. — Только надо, чтобы она не избаловалась, потому что она наша!»

В ночлежном доме была контора, как во всех московских жилых домах. Без конторы, оказывается, сейчас же началось бы всюду светопреставление, а писцы давали всей жизни хотя и медленный, но правильный ход. Макар и писцов уважал.

«Пусть живут! — решил про них Макар. — Они же думают чего-нибудь, раз жалованье получают, а раз они от должности думают, то, наверное, станут умными людьми, а их нам и надобно!»

— Тебе чего? — спросил Макара комендант ночлега.

— Мне бы нужен был пролетариат, — сообщил Макар.

— Какой слой? — узнавал комендант.

Макар не стал задумываться — он знал вперед, что ему нужно.

— Нижний, — сказал Макар. — Он погуще, там людей побольше, там самая масса!

— Ага! — понял комендант. — Тогда тебе надо вечера ждать: кого больше придет, с теми и ночевать пойдешь: либо с нищими, либо с сезонниками...

— Мне бы с теми, кто самый социализм строит, — попросил Макар.

— Ага! — снова понял комендант. — Так тебе нужен, кто новые дома строит?

Макар здесь усомнился:

— Так дома же и раньше строили, когда Ленина не было. Какой же тебе социализм в пустом доме?

Комендант тоже задумался, тем более что он сам точно не знал, в каком виде должен представиться социализм, — будет ли в социализме удивительная радость и какая?

— Дома-то строили раньше, — согласился комендант. — Только в них тогда жили негодяи, а теперь я тебе талон даю на ночевку в новый дом.

— Верно, — обрадовался Макар. — Значит, ты правильный помощник советской власти.

Макар взял талон и сел на груду кирпича, оставшегося беспризорным от постройки.

«Тоже... — рассуждал Макар, — лежит кирпич подо мной, а пролетариат тот кирпич делал и мучился: мала советская власть — своего имущества не видит!»

Досидел Макар на кирпиче до вечера и проследил поочередно, как солнце угасло, как огни зажглись, как воробьи исчезли с навоза на покой.

Стали наконец являться пролетарии: кто с хлебом, кто без него, кто больной, кто уставший, но все миловидные от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от изможденияя.

Макар подождал, пока пролетариат разлегся на государственных койках и перевел дыхание от дневного строительства. Тогда Макар смело вошел в ночлежную залу и объявил, став посреди пола:

— Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, в центральной силе государства, а в нем непорядки и утраты ценностей...

Пролетариат пошевелился на койках.

— Митрий! — глухо произнес чей-то широкий голос. — Двинь его слегка, чтоб он стал нормальным...

Макар не обиделся, потому что перед ним лежал пролетариат, а не враждебная сила.

— У вас не все выдумали, — говорил Макар. — Молочные банки из-под молока на ценных машинах везут, а они порожние — их выпили. Тут бы трубы достаточно было и поршневого насоса... То же и в строительстве домов и сараев — их надо из кишки отливать, а вы их по мелочам строите... Я ту кишку придумал и вам ее даром даю, чтобы социализм и прочее благоустройство наступило скорей...

— Какую кишку? — произнес тот, же глухой голос невидимого пролетария.

— Свою кишку, — подтвердил Макар.

Пролетариат сначала помолчал, а потом чей-то ясный голос прокричал из дальнего угла некие слова, и Макар их услышал, как ветер:

— Нам сила недорога — мы и по мелочи дома поставим, — нам душа дорога. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем, на профсоюзах строим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания — друг друга закону поручили... Даешь душу, раз ты изобретатель!

Макар сразу пал духом. Он изобретал всякие вещи, но души не касался, а это оказалось для здешнего народа главным изобретением. Макар лег на государственную койку и затих от сомнения, что всю жизнь занимался непролетарским делом.

Спал Макар недолго, потому что он во сне начал страдать, и страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору, или возвышенность, и на той горе стоял научный человек А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, не видя горюющего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал.

— Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? — спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал по-прежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах.

Тогда Макар в удивлении пополз на высоту по мертвой каменистой почве. Три раза в него входил страх перед неподвижно-научным, и три раза страх изгонялся любопытством. Если бы Макар был умным человеком, то он не полез бы на ту высоту, но он был отсталым человеком, имея лишь любопытные руки под неощутимой головой. И силой своей любопытной глупости Макар долез до образованнейшего и тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое.

Макар проснулся от удара и увидел над собой ночлежного надзирателя, который коснулся его чайником по голове, чтобы Макар проснулся.

Макар сел на койку и увидел рябого пролетария, умывшегося из блюдца без потери капли воды. Макар удивился способу начисто умываться горстью воды и спросил рябого:

— Все ушли на работу — чего же ты один стоишь и умываешься?

Рябой промокнул мокрое лицо о подушку, высох и ответил:

— Работающих пролетариев много, а думающих мало, — я наметил себе думать за всех. Понял ты меня или молчишь от дурости и угнетенья?

— От горя и сомнения, — ответил Макар.

— Ага, тогда пойдем, стало быть, со мной и будем думать за всех, — соображая, высказался рябой.

И Макар поднялся, чтобы идти с рябым человеком, по названию Петр, чтобы найти свое назначение.

Навстречу Макару и Петру шло большое многообразие женщин, одетых в тугую одежду, указывающую, что женщины желали бы быть голыми; также много было мужчин, но они укрывались более свободно для тела. Великие тысячи других женщин и мужчин, жалея свои туловища, ехали в автомобилях и фаэтонах, а также в еле влекущихся трамваях, которые скрежетали от живого веса людей, но терпели. Едущие и пешие стремились вперед, имея научное выражение лиц, чем в корне походили на того великого и мощного человека, которого Макар неприкосновенно созерцал во сне. От наблюдения сплошных научно-грамотных личностей Макару сделалось жутко во внутреннем чувстве. Для помощи он поглядел на Петра: не есть ли и тот лишь научный человек со взглядом вдаль?

— Ты небось знаешь все науки и видишь слишком далеко? — робко спросил Макар.

Петр сосредоточил свое сознание:

— Я-то? Я надуваюсь существовать вроде Ильича-Ленина: я гляжу и вдаль, и вблизь, и вширку, и вглубь, и вверх.

— Да то-то! — успокоился Макар. — А то я намедни видел громадного научного человека: так он в одну даль глядит, а около него — сажени две будет — лежит один отдельный человек и мучается без помощи.

— Еще бы! — умно произнес Петр. — Он на уклоне стоит, ему и кажется, что все вдалеке, а вблизи нет ни дьявола! А другой только под ноги себе глядит — как бы на комок не споткнуться и не удариться насмерть — и считать себя пра-

вым, а массам жить на тихом ходу скучно. Мы, брат, комков почвы не боимся!

— У нас народ теперь обутый! — подтвердил Макар.

Но Петр держал свое размышление вперед, не отлучаясь ни на что.

— Ты видел когда-нибудь коммунистическую партию?

— Нет, товарищ Петр, мне ее не показывали! Я в деревне товарища Чумового видел!

— Чумовых товарищей и здесь находится полное количество. А я говорю тебе про чистую партию, у которой четкий взор в точную точку. Когда я нахожусь на сходе среди партии, всегда себя дураком чувствую.

— Отчего ж так, товарищ Петр? Ты ведь по наружности почти научный.

— Потому что у меня ум тело поедает. Мне яства хочется, а партия говорит: вперед заводы построим — без железа хлеб растет слабо. Понял ты меня, какой здесь ход в самый раз?!

— Понял, — ответил Макар.

Кто строит машины и заводы, тех он понимал сразу, словно ученый. Макар с самого рождения наблюдал глино-соломенные деревни и нисколько не верил в их участь без огневых машин.

— Вот, — сообщил Петр. — А ты говоришь: человек тебе намедни не понравился! Он и партии и мне не нравится: его ведь дурак капитализм произвел, а мы таковых подобных постепенно под уклон спускаем!

— Я тоже что-то чувствую, только не знаю что! — высказался Макар.

— А раз ты не знаешь что, то следуй в жизни под моим руководством; иначе ты с тонкой линии неминуемо треснешься вниз.

Макар отвлекся взором на московский народ и подумал:

«Люди здесь сытые, лица у всех чистоплотные, живут обильно — они бы размножаться должны, а детей незаметно». Про это Макар сообщил Петру.

— Здесь не природа, а культура, — объяснил Петр. — Здесь люди живут семействами без размножения, тут кушают без производства труда...

— А как же? — удивился Макар.

— А так, — сообщил знающий Петр. — Иной одну мысль напишет на квитанции — за это его с семейством целых полтора года кормят... А другой и не пишет ничего — просто живет для назидания другим.

Ходили Макар и Петр до вечера; осмотрели Москва-реку, улицы, лавки, где продавался трикотаж, и захотели есть.

— Пойдем в милицию обедать, — сказал Петр.

Макар пошел: он сообразил, что в милиции кормят.

— Я буду говорить, а ты молчи и отчасти мучайся, — заранее предупредил Макара Петр.

В милиционном отделении сидели грабители, бездомные, люди-звери и неизвестные несчастные. А против всех сидел дежурный надзиратель и принимал народ в живой затылок. Иных он отправлял в арестный дом, иных — в больницу, иных устранял прочь обратно.

Когда дошла очередь до Петра и Макара, то Петр сказал:

— Товарищ начальник, я вам психа на улице поймал и за руку привел.

— Какой же он псих? — спрашивал дежурный по отделению. — Чего ж он нарушил в общественном месте?

— А ничего, — открыто сказал Петр. — Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет: суди его тогда. А лучшая борьба с преступностью — это предупреждение ее. Вот я и предупредил преступление.

— Резон! — согласился начальник — Я сейчас его направлю в институт психопатов — на общее исследование.

Милиционер написал бумажку и загоревал:

— Не с кем вас препроводить — все люди в разгоне...

— Давай я его сведу, — предложил Петр. — Я человек нормальный, это он — псих.

— Вали! — обрадовался милиционер и дал Петру бумажку.

В институт душевноболящих Петр и Макар пришли через час. Петр сказал, что он приставлен милицией к опасному дураку и не может его оставить ни на минуту, а дурак ничего не ел и сейчас начнет бушевать.

— Идите на кухню, вам там дадут покушать, — указала добрая сестра-посиделка.

— Он ест много, — отказался Петр. — Ему надо щей чугун и каши два чугуна. Пусть принесут сюда, а то он еще харкнет в общий котел.

Сестра служебно распорядилась. Макару принесли тройную порцию вкусной еды, и Петр насытился заодно с Макаром.

В скором времени Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы, как сумасшедший. Здесь доктор ощупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.

— Надо его оставить на испытание, — заключил про Макара доктор.

И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читальную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух.

— Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. — Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки...

Другие больные душой тоже заслушались Ленина — они не знали раньше, что Ленин знал все.

— Правильно! — поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне.

— Побольше надо в наши учреждения рабочих и крестьян, — читал дальше рябой Петр. — Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят...

— Видал? — спросил Макара Петр. — Ленина — и то могли замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе, вся революция, написана живьем... Книгу я эту отсюда украду, потому что здесь учреждение, а завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждение и будем думать для государства.

После чтения Макар и Петр легли спать, чтобы отдохнуть от дневных забот в безумном доме. Тем более что завтра обоим предстояло идти бороться за ленинское общебедняцкое дело.

Петр знал, куда надо идти, — в РКИ, там любят жалобщиков и всяких удрученных. Приоткрыв первую дверь в верхнем коридоре РКИ, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат «Кто кого?», и Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.

Макар не испугался Чумового и сказал Петру:

— Раз говорится «кто кого?», то давай мы его...

— Нет, — отверг опытный Петр, — у нас государство, а не лапша. Идем выше.

Выше их приняли, потому что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.

— Мы — классовые члены, — сказал Петр высшему начальнику. — У нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой...

— Берите. Она ваша, — сказал высший и дал им власть в руки.

С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме — на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах.

Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его никто письменно не отзывал оттуда. И присутствовал он там до тех пор, пока не была назначена комиссия по делам ликвидации государства. В ней тов. Чумовой проработал 44 года и умер среди забвения и канцелярских дел, в которых был помещен его организационный госум.

После долговременного присутствия в учреждениях Макару было скучно присутствовать в деревне. Старый секретарь сельсовета тов. Лев Чумовой в деревне уже не находился — некому теперь было тревожить Макара, и от этого становилось еще грустней на уме. Макар познал в городе пользу научного противоречия, когда среди счастья обязательно организуется небольшое горе. Но в деревне было вполне спокойно, потому что началась достойная жизнь. Самой деревни, в смысле ее царского устройства, уже не существовало: в ней произошел колхоз.

Старшие люди по колхозу пожелали было вовлечь Макара в актив, но Макар решил пока организовать себе систематический отдых и отказался.

С утра, уничтожив свою долю пищи, Макар выходил в природу и наблюдал все, что было видно. Слабый свет исходил с неба, но Макар знал, что наука с негодованием отвергает небо, и не стал глядеть вверх.

Вон вышел трактор из базы и пошел лущить землю. Машина гулко трудилась и со взрывами вышибала непережженный черный газ.

Макар почел такое руководство машиной бюрократизмом. Он сейчас же достиг механизма и прекратил его действие.

— Ты, товарищ, сволочь, а не пролетарий, — сказал Макар трактористу. — Разве же допустимо таким керосином без подогрева топить мотор!

— Нет, товарищ Ганушкин, — ответил тракторист, — сорт керосина тяжел, в цилиндрах загар, работать им недопустимо!..

— Как же ты работаешь, неразумный член? Клади руль на задние градусы: я тебе подогреватель сделаю.

Пришедши на базу, Макар сделал в два часа особый бак, в котором керосин предварительно подогревался исходящими горячими газами машины, от этого керосин делался жиже и полезней сгорал в моторе.

Трактор снова вышел в поле и начал трудиться с чистым газом на коллективной земле.

— Ну вот, — определил Макар, — так будет гораздо научней!

Над головой Макара летали какие-то неорганизованные птицы. Ввиду того, что будущее все более наступало, воздушные птицы были как-то малоуместны: они бросали свет на светлую землю.

— Надо поесть этих мчащихся тварей, — решил Макар, но потом передумал. — Тогда граждан сгрызут комары и прочая мелочь. Но какой же здесь будет идеологический выход? — Неизвестно.

И Макар вздохнул от слабости своей мысли, шагая дальше по культурной почве, на которой уже давно закончился агроминимум.

Женщины-коллективистки, согнувшись, собирали корнеплоды в ведра, а Макар шел между, горюя за мучающееся в труде туловище человека.

— Что ж ты все ходишь? — обратилась к Макару одна женщины. — Приехал — и кушает, а работает одной походкой!

Макар ответил ей:

— Ты, баба, еще маломочна мне указывать. Я действую умом в тишине — тебе незаметно.

— У нас был такой товарищ — Лев Чумовой: он тоже все умом действовал, а хлеб ел из наших рук, и уехал — ума не оставил.

Макар вспыхнул лицом от классового стыда: что же он делает, ведь городской пролетариат просил его душу изобрести, а он разлагается.

Но, ослабев от выдвиженческой деятельности, Макар не мог ничего выдумать, сколько ни надувался. Тогда он решил обнаружить готовую душу, а потом размножить ее техническим способом.

Он спросил:

— Баба, у тебя есть душа внутри?

— Да то будто нет!

— Покажь мне ее наружу!

Но та баба была культработница и сама организовала местную культурную революцию, поэтому она могла научно понимать и выражаться.

— Ты чин имел большой, а дурак! Как же я тебе душу покажу, когда она — общественное отношение?!

Макар, однако, тоже имел перспективу и благодаря ей нигде не мог заблудиться: он сразу же дал бабе дальнейший вопрос:

— Значит, душа, по-твоему, лишь пустая доброта, а вещества в ней нету? Как же так, — бог и то был телом, хотя и нарочным, человек ведь насущней бога!

— Ты бога не поминай: он отвергнут научным противоречием!

— Каким, сознательница? Говори мне теоретически!

— А таким! Бог-отец — это тебе положение, бог-сын — противоположение, бог-дух святой — соединение первых двух, а по-научному — диаволектический свинтус, или сцепление двух гадов в узком месте! Понял?

— Нет, — сознался Макар. — Но я убеждаюсь: деваться все одно некуда, как только в кучу масс!

— Значит, бога нет, — пояснила женщина. — А душа есть не предмет, а отношение людей среди коммунизма!

— А где ж коммунизм?

— Насыпай овощ в ведро, тогда узнаешь. Ты трактор починил сегодня — значит, тоже душу готовишь. А ты думал — надо ходить да выдумывать, разве так ты узнаешь смысл жизни? Мелкобуржуазный подкулацкий ты человек: правду говорил вождь — тов. Авербах.

Макар отошел от нее, залез в чулан и горевал целые сутки, что внутри его постоянно живет ошибка, а затем заснул и, увидев во сне ужас своей отсталости, к рассвету отмежевался от своего единоличия.

На следующее утро он пошел рыть овощ вместе с бабами, чтобы чувствовать себя явным членом будущего человечества, которое выкормится этим овощем и образует душу внутри себя и между собой.

Так Макар осознал себя социальным условием — и с тем смирился среди теплоты трудящихся масс.

А впоследствии он умер от слабости сердца, не перенесшего настигшего его организованного счастья, и вослед его худому, равнодушому телу шла печальная тракторная колонна, вернувшаяся с межселенной пахоты, ибо все же Ма-

кар был член, и за то ему полагалась механическая честь во время смерти.

— Одним врагом стало меньше, он не выдержал темпа счастья, — сказала знакомая Макару сознательница на его могиле, и всем ее слушателям стало легче и лучше. А вечером эта женщина написала открытку тов. Авербаху, что Макар мертв и перспектива гораздо видней.

1929—1930

РАННИЕ РАССКАЗЫ

ОЧЕРЕДНОЙ

Третий свисток... Я вхожу в ворота завода, прохожу мимо контрольной будки и иду по огромному заводскому двору в свою «первую», как нумеровалась наша литейная.

Асфальтовая дорожка бежит и вьется вокруг выступов и стен колоссальных зданий, где — я слышу — уже начал биться ровным темпом мощный пульс покорных машин.

В мастерскую вхожу почти радостный, — ведь сейчас она оживет, задрожит, загремит — и пойдет игра до вечера...

Здороваюсь с товарищами по работе и усаживаюсь на железной плите пола у спуска к вагранной печи. Закуриваем — иначе нельзя — перед работой и после нее, перед уходом, это делается всегда и всеми. Рука почти автоматически вертит бумагу; неспеша делимся табаком...

Засыпаем в печи металл. Пускаем электромоторы, открываем нефть. И — гаснет солнце за высокими окнами, забывается все... Клубы желто-зеленого чада вихрями рвутся из печей от плавящегося металла. Газ лезет в глаза, горчит рот, тяготит душу...

Содрогаются высокие подпотолочные балки, пляшут полы и стены, ревет пламя под бешеным напором струй нефтяной пыли и воздуха... Неумолимо и насмешливо гудит двигатель; коварно щелкают бесконечные ремни...

Что-то свистит и смеется; что-то запертое, сильное, зверски беспощадное хочет воли — и не вырвется,— и воет, и визжит, и яростно бьется, и вихрится в одиночестве и бесконечной злобе... И молит, и угрожает, и снова сотрясает неустающими мускулами хитросплетенные узлы камня, железа и меди...

Бьются горячие пульсы дружных машин; мелькая швами, вьются змеи-ремни.

— Илюш, а Илюш! Ты б слазил, глянул, что там за штука такая. Намеднись ты как ловко насос приноровил... — обращаются ко мне.

Перед самым спуском уже готового металла в тигли неожиданно застопорил мотор, и монотонно гудящая печь смолкла, накаленные стенки потемнели.

Я иногда исправлял небольшие поломки в машинах, избегая тем необходимости звать монтера. Так это было неделю назад с насосом, подающим воздух. Я сначала хотел отказаться, но, подбадриваемый, взял ящик с инструментом и полез по лестнице к электродвигателю, подвешенному к стене.

Неисправность была пустяковая, и я ее быстро обнаружил. Снизу дали ток — и мертвый мотор ожил, завыл и захлопал приводным ремнем.

И вновь полился поток пламени на распростертый в печах металл.

За звенящими побитыми стеклами окон полуденное солнце омывало землю, и на секунду у меня мучительно сжалось сердце и страстно захотелось в поле — к птицам, цветам, шуршащей травке; в поле — где я, когда был без работы, бродил, утопая в зелени, тянущейся к небу, к жизни, к весеннему неокрепшему солнцу, к тем вон бегущим вольным бродяжкам-облакам...

Льется жидкий металл, фыркая и шипя, ослепляя нестерпимо, ярче солнца. Осторожно и внимательно стоим мы вокруг наполняющегося несгораемого горшка. Потом сразу хватаем вдвоем за длинные штоки и бегом несем искрящееся литье в соседнюю мастерскую, где выливаем металл в приготовленные формы.

Когда опорожним всю печь, вновь наполняем ее болванками корявой пузырчатой меди и ждем, покуривая и регулируя нефть.

Около нашей печи работали трое — Игнат, старый рабочий, почти ослепший от блеска литья, с постоянно гноящимися налитыми кровью глазами, и двое нас, новичков, я и Ваня, только недавно поступивших на завод. Мы работали весело, и день пролетал незаметно. Полуголые, мы хохотали и обливались водой, рассказывали, думали — и слушали нескончаемую, глухую, связавшую начало с концом песнь машин...

— И, скажи ты мне на милость, что это огонь не залаживается: чихает — и шабаш!.. — Игнат, наш «старшой», был недоволен и ворчал. После обеда в печи, действительно, что-то стало часто пофыркивать, и клубы вонючего дыма были гуще, чем обыкновенно.

— Ну-ну, стерва, ну-ну, растяпа черт, поговори у меня, поговори! — Игнат подвинчивал нефти и подбадривал фыркающее пламя. Внутри печи теперь уже раздавались целые взрывы и странное поплескивание; металл нагревался плохо.

Что-то не ладилось. Я подошел, не зная зачем, к мотору, посмотрел на измеритель числа оборотов и прислушался. Машина работала чудесно.

Обернувшись, чтобы уходить, я на мгновение увидел белый огненный бич, рванувшийся высоко из нашей печи. Глухой удар ухнул и повторился раза четыре под сводами крыши мастерской, взмахивая вверх свистящими полосами огня и тяжело опуская их вокруг...

Я стоял у мотора, шагах в десяти от печи и видел, как метнулся куда-то Ваня, как присел, обхватив голову, Игнат...

Инстинктивно я схватил рукоятку и прервал ток. Мотор, повертевшись немного по инерции, остановился.

Упавшие бичи раскаленного металла расходились по радиусам от печи и еще шипели, медленно охлаждаясь, испуская свою страшную силу. Как гады, побеждающие и свободные, они дерзко и вызывающе раскинулись на железном полу во властных изгибах, оставляя на черном далеком потолке и балках беловатые отсветы — свои отражения. В ужасе столпились люди. Странное, необычное безмолвие перекатывалось по заводу из мастерской в мастерскую. Где-то далеко мерно пульсировали машины.

— Погубили, окаянные, — вздыхал кто-то из толпы рабочих, — ах, мучители треклятые... Им, проклятым, деньга дорога, так они заместо нефти хотят, чтоб вода горела. Напустили воды в бак — и ладно...

Я догадался обо всем. Вода, попав с нефтью в печь на жидкое литье, превратилась мгновенно в пар, который разорвал печь и выкинул вон расплавленный металл...

Ваня лежал на полу вниз лицом, двигал ногами и руками и грыз зубами железные узоры. Белый бич попал на его спину и скоро — скорее, чем на полу — остыл на ней. Спина Вани была похожа на шлак, что выбрасывают из топок паровых котлов.

Рабочие стояли молча; за окнами потемнело.

Судороги в пальцах руки Вани быстро замирали; ноги уперлись неподвижно носками в пол, выставив обугленные пятки.

Старый Игнат был подле и плакал, вытирая невидящие глаза тряпками, которыми он обмотал свои сваренные руки.

Через полчаса все машины были пущены, печи заправлены. Послушные моторы, воя, отдавали свою силу. Ремни, соединенные в концах своих с началом, змеясь и щелкая, бежали, бежали...

Склонившееся послеполуденное солнце равнодушно уперлось лучами в тяжко изогнутые хребты трепещущих машин.

<1918>

МАРКУН

Каждый вечер после ужина, когда его маленькие братья ложились спать, он зажигал железную лампу и садился думать.

Ему никто не мешал. По полу бегали тараканы, ребятишки бормотали во сне и плакали. Гуни сползали с них, и пухлые животы дышали туго и тяжко, как у храпевшего отца.

Маркун нашел в книге листик и прочел, что он записал еще давно и забыл: «Разве ты знаешь в мире что-нибудь лучше, чем знаешь себя?» И еще: «Но ты не только то, что дышит, бьется в этом теле. Ты можешь быть и Федором, и Кондратом, если захочешь, если сумеешь познать их до конца, то есть полюбить. Ведь и любишь-то ты себя потому только, что знаешь себя увереннее всего. Уверься же в других и увидишь многое, увидишь все, ибо мир никогда не вмещался еще в одном человеке».

Пониже на листике было написано: «Ночь под 3-е февраля. Мне холодно и плохо. А вчера я видел во сне свою невесту. Но ни одной девушки я никогда не знал близко. Кто же та? Может быть, увижу и сегодня. Отчего мне никогда не хочется спать?»

Маркун прочел и вспомнил, что больше он ее во сне не видел. От недавней болезни у него дрожали ноги и все тело тряпкой висело на костях. Но голова была ясна и просила работы. В нем всегда горела энергия. Даже когда он корчился в кошмарах, он помнил о своих машинах, об ожидающих чертежах, где им рождались души будущих производителей сил. Его мучило, если он находил ошибку, неточность и не мог сейчас же ее исправить.

Маркун вынул из печурки бумагу с чертежами, снял клопа со щеки мальчика и опять сел.

На дворе в морозе завизжал свисток паровоза. На большом листе были начерчены крутые спирали. Толстая изогнутая шесть раз труба в своем хребте хранила мощь размаха и вращения. Зубчатые передачи были готовы встретить удары зубцов о зубцы и сдвинуть всякое тяжелое сопротивление.

В углу бумаги Маркун написал: «Природа — сила, природа — бесконечна, и сила, значит, тоже бесконечна. Тогда пусть будет машина, которая превратит бесконечную силу в бесконечное количество поворотов шкива в единицу времени. Пусть мощь потеряет пределы и человек освободится от борьбы с материей, труда. Чтобы вскинуть Землю до любой звезды, человечеству довольно одного моего мотора — станка».

Маркун встал, оперся о печку, и сон тихим ветром налетел на него.

В это время в поле разыгрывалась метель и паровозы еле пробивали сугробы и рвали тендерными крюками завязавшие в снегу вагоны.

Через дальнее теплое море шел яркий, веселый пароход с смеющимися красавицами. Кроткими глазами они смотрели в большое ночное небо и ждали утра, когда приедут на берег в белые города к родным забытым матерям.

Маркун очнулся.

— Архимед, зачем ты позабыл землю, когда искал точку опоры, чтобы под твоей рукой вздрогнула вселенная. Эта точка была под твоими ногами — это центр земли. Там нет веса, нет тяготения — массы кругом одинаковы, нет сопротивления. Качни его — и всю вселенную нарушишь, все вы-

летит из гнезд. Земля ведь связана со всем хорошо. Для этого не нужно быть у земного центра: от него есть ручки-рычаги, они выходят по всей поверхности.

Ты не сумел, а я сумею, Архимед, ухватиться за них.

Сильнейшая сила, лучший рычаг, точнейшая точка — во мне, человеке. Если бы ты и повернул землю, Архимед, то сделал бы это не рычаг, а ты.

Я обопрусь собою сам на себя и пересилю, перевешу все, не одну эту вселенную.

Лампа, я не нахожу света светлее твоего.

Маркун любил чертежи больше книги. В этой сети тонких кривых линий, точных величин, граней и окружностей дрожала оживляющая сила машин.

Он раз написал линиями песню водяного напора. Он вычертил с линейкой и циркулем эту бурю линий и повесил на стену. Когда он спросил у одного друга объяснения чертежа, тот не понял и отвернулся. А у Маркуна от этого чертежа волной поднималась музыка в крови.

— Если устроить двигатель, — думал Маркун, — вырабатывающий в секунду определенную величину энергии. Если связать с ним непосредственно одним валом другой двигатель, дающий в ту же секунду энергию в два раза большую против первого двигателя, и если давать им неограниченное количество естественных сил (воды, ветра), то тогда общая работа этой пары моторов будет такова: вращение сначала будет соответственно работающей естественной энергии в первом малом моторе, потом увеличится в два раза, так как второй мотор одновременно съедает естественных двигающих сил в два раза больше. Но первый мотор тогда тоже начнет потреблять силы в два раза больше против первого момента своей работы, иначе говоря, он заработает с мощностью второго мотора. А второй мотор, как в два раза сильнейший, опять будет работать энергичней первого в два раза (значит — в четыре относительно первого момента) и потянет за собою вал на четверное ускорение против скорости в первый пусковой момент. Потом ускорение будет равняться 8, 16, 32... Итак, мощность будет возрастать бесконечно; предел ее — прочность металла, из которого сооружены моторы.

Маркун нагнулся над чертежом. Его турбина имела шесть систем спиралей, последовательно сцепленных и последовательно возрастающих по мощности. Следовательно, ускорение будет шестикратным. Вода же будет так расходоваться, что будто работает одна последняя шестая спираль; это потому, что другие пять спиралей будут работать одной и той же водой.

— Всякая теория ложь, если ее не оправдает опыт, — подумал Маркун. — Мир бесконечен, и энергия его поэтому тоже бесконечна. Моя турбина и оправдала этот закон.

И огнем прошла неожиданная мысль:

— Что если бы найти металл с бесконечной способностью прочного сопротивления, бесконечной крепости. Но такой металл есть: он просто один из видов мировой энергии, вылитый в форму противодействия. Это вытекает из общего закона бесконечных возможностей сил и их форм. Но тогда моя машина — пасть, в которой может исчезнуть вся вселенная в мгновение, принять в ней новый образ, который еще и еще раз я пропущу через спирали мотора.

Я построю турбину с квадратным, кубическим возрастанием мощности, я спущу в жерло моей машины южный теплый океан и перекачаю его на полюсы. Пусть все цветет, во всем дрожит радость бесконечности, упоение своим всемогуществом.

Били часы. Маркун не считал их.

На постилке затрясся его маленький брат в пугающем сне. Маркун нагнулся над ним...

Он опять сидел у лампы и слушал вьюгу за ставнями.

Отчего мы любим и жалеем далеких, умерших, спящих. Отчего живой и близкий нам — чужой. Все неизвестное и невозвратное для нас любовь и жалость.

Совесть сжала его сердце, и страдание изуродовало лицо. Маркун увидел свою жизнь, бессильную и ничтожную, запутанную в мелочи, ошибки и незаметные преступления.

Он вспомнил, как этого маленького брата, который теперь бьется от страха во сне, он недавно столкнул со стола, и с той поры тот молчал, сторонился и закрывался от нечаянного быстрого взмаха его руки, думал, что будет опять бить.

Лампа гасла. Метель пошла на сутки.

Маркун вышел на двор. Ветер гудел в туче снега, а иногда вверху метель прорывалась и видны были одна-две испуганные звезды на сером, будто близком небе.

Маркун крикнул. Холодный ком ударил его по лицу и потек за рубашку. На миг вдруг все стихло, и звезда совсем близко улыбнулась ему.

— Сколько мы видим и сколько не видим звезд,— подумал Маркун. — Они светятся отраженным светом чужих солнц. А если на других звездах живут сильные разумные существа: они ведь превращают этот свет в работу, поглощают его своими машинами, и их миры нам не видны, они темны, и, может, есть рядом с Землею, ближе Луны, большая темная планета, а мы ничего про нее не знаем. Она вбирает в себя всю энергию света и тепла, не дает никаких отражений, невидима и мертва для нас.

Маркун вернулся домой. Лампа потухла, и фитилек горел далекой красной искоркой. Он лег на пол и замер до утра.

Прошли месяцы. Маркун раскопал где-то две газовых трубы нужных размеров, согнул их спиралями и сделал приблизительную модель своей турбины. Но он не стал ее сразу пробовать, а спрятал в сарай и забыл про нее. Теперь для него потянулись дни томительного счастья ожидания.

Маркун верил в себя. Знал, что нет, не может быть ошибки в спрятанной машине. Она пойдет. Ее мощь безгранична. Он, Маркун, победил многие силы. Никто еще ничего не знает. Не знает, что это он дал человеку в его немощные руки новый молот безумной мощи.

Была весна. Маркун ходил по вечерам в поле и глядел, как горел закат на небе и в болотах и лужах. Везде была вода, вода и тишина. И прошлый год, и вот теперь он весной кого-то любил. Он был незаметен и жил одиноко.

Но в детстве, когда он потерял веру в Бога, он стал молиться и служить каждому человеку, себя поставил в рабы всем, и вспомнил теперь, как тогда было ему хорошо. Сердце горело любовью, он худел и гас от восторга быть ниже и хуже каждого человека. Он боялся тогда человека, как

тайны, как бога, и наполнил свою жизнь стыдливою жертвой и трудом для него.

Раз он полдня сгружал на станции дрова из вагона, а на заработанные деньги купил красную погремушку ребенку-слепцу, который жил у соседей в сарае, куда запирала его мать, чтобы он не убежал и не убился, когда она уходила на работу. Он так привык к сараю, что не плакал там, и не умел играть и смеяться.

Весеннее прохладное небо темнело, будто уходило выше. И на краю поля поднимался туман.

Маркун стоял под лозиной в тишине и влажной мути, ползущей по полям. И не мог понять своей скрытой любви ко всему.

Чуть была видна избушка лесного сторожа. К ней подходила девушка и маячила в синем сумраке красноватой юбкой. Она махала рукой. Должно быть, кликала кого из лесу, кричала мягкой грудью, ласково и протяжно, и улыбалась.

Маркун ничего не слыхал и прилег от неожиданной муки и боли на землю.

Неслышно прошел мимо странник и сразу пропал на дороге.

Эту ночь Маркун не спал. Он лежал у окна и смотрел в небо на улыбающиеся звезды, на затаившуюся ждущую ночь.

Завтра он пустит машину. Все в нем сразу стихло, сжалось, и он забылся, будто упал в колодезь без дна.

Еще горела последняя утренняя звезда и от близкого солнца накалялся восток, когда Маркун проснулся и сразу вскочил. Он что-то вспомнил, какой-то огонь, жаркий и мгновенный, прошел через него и потух. А Маркун все забыл. Он стоял, двигал скульями, прилипался и тянулся мыслью за убегающим тараканом и не мог ничего вспомнить. Большое и неизвестное ударило его во сне. Он стоял и ловил, что ушло и не вернется. Но след, прямой и острый, остался в душе и изменил ее.

— Человеку отдано все, а он взял только немного, — вспомнил Маркун свою старую мысль. И не стал жалеть, что великий восторг оборвался в нем и он не узнал его.

Маркун вышел на двор. Было тихо, морозно и светло. Если глянуть сейчас в просторном поле вверх по дороге, то увидишь далеко, и кто-то идет к тебе, тихо и прямо, издалека.

Маркун пристроил в сарае к углу турбину, привинтил чашку, в которую упиралась пята машины, и воронку и принес от крана с улицы пять ведер воды. Воду он вылил в бочонок, потом смазал машину, повернул ее оборота два рукой и засмеялся своей одинокой радости.

Позвать бы, сказать кому? Нет, тогда, после. Его и так считают дураком, не тем дураком, какого любят и жалеют, а тем, которого ненавидят.

И он вспомнил ту девушку, что махала у леса рукою и звала. Если бы она пришла сейчас в сарай. Он рассказал бы ей все, она поняла бы его, и он взял бы ее за ту же руку. И Маркун улыбнулся от счастья и тоски.

Загудел гудок. Маркун вспомнил о труде, о работе до крови, о борьбе и неутомимости, о гордой человеческой жизни, которой полна ликующая земля, о громе машин и потоках электричества.

Он зачерпнул ведро воды и вылил его в воронку над турбиной. Он был спокоен и уверен. Отпустил кран — и машина рванулась и загремела. Вокруг ее повисло неподвижное кольцо отработанной выбрасываемой воды.

Маркун все подливал воды. Турбина ревела и, казалось, стояла неподвижно от быстрого вращения. В воронке вода крутилась вихрем от всасывания машиной. И слышно, как выла и стонала вода по спиралям. Машина наращивала силу. Машина расходилась, и свистела от хода, и резала водяным вихрем воздух.

Маркун стоял. В нем была тревога и ожидание. Все замерло в нем, будто он только родился и ничего не понимал. Он в первый раз не думал, никакая мысль не вела его.

От ударов машины в стену трясся и подпрыгивал весь сарай. Внизу задымился подшипник, через секунду из него дрожью било пламя.

Машина увеличивала ход. Мощь ее росла и, не находя сопротивления, уходила в скорость.

Лопнула нижняя спираль, с визгом оторвался кусок трубы и, вращаясь, ударил в деревянную стенку сарая, пробил ее и вылетел на двор.

Турбина выскочила из подшипника и зарылась в землю.

Маркун вышел за дверь и остановился. Лозина низко опустила голые хворостины и шевелила ими по ветру.

Загудел третий гудок. Второго Маркун не слыхал.

— Я оттого не сделал ничего раньше, — подумал Маркун, — что загораживал собою мир, любил себя. Теперь я узнал, что я — ничто, и весь свет открылся мне, я увидел весь мир, никто не загораживает мне его, потому что я уничтожил, растворил себя в нем и тем победил. Только сейчас я начал жить. Только теперь я стал миром.

Я первый, кто осмелился.

Маркун взглянул на бледное, просыпающееся небо:

— Мне оттого так нехорошо, что я много понимаю.

28 августа 1920 г.

АПАЛИТЫЧ

Апалитыч был хвощеватский сапожник. Работать он начинал, когда черти еще на кулачках не бились, а кончал пораньше, когда солнце выходило к большому логу.

Он был стар, до того стар, что, когда девки пели: «Дедушка, дедушка, а сколько тебе лет?», он хрипел: «Аль семьдесят, аль под девяносто».

Апалитыч заржавел от горя и жизни, борода его давно высыпалась, и он выглядывал пожилым молодчиком. Обувь Апалитыч лепил из старья, которое он ходил набирать в городе. Опорки выходили из-под его рук жениховскими сапогами. Он смажет их, наярит до огня, залатает кое-где на живую нитку, и готово.

После приходил кто-нибудь с села и говорил:

— Апалитыч, что ты, старый идол, сделал. Рази это сапоги? Они обои на одну ногу, и пальцы уж вылезают. Ведь это чистое наказанье господне. Ты б хоть чудочек подумал...

Апалитыч набивал трубку и давал гостю табаку.

— Закури, сынок. Савельич с Землянки привез. Крепок, душа плачет...

— Ты сказывай, что мне с сапогами-то делать.

— Да хуть што, хоть одевай да пляши в них. Ай они нужны мне.

— Эх, собачья твоя душа...

— Ну-к што ж. Собачья, собачья... А у кого человечья?.. Откель она суды упадет.

Вечера Апалитыч просиживал на завалинке и гнул ребятишкам, что было на свете, когда никого не было.

— Пора ужин варить, старый брех уж сидит, — говорили бабы и затопляли.

— Ох, да когда ж он сдохня, чертишша,— выли какие постарее. — Ну бреша, ну бреша, слухать не хоцца.

А у ребятишек сопли текли от Апалитычевых рассказов.

— Вот, когда ни села этого, ни Дона еще не было, пас раз я царских коров, и едет машина по рельсам, а коровы стали на путях, ни взад ни вперед. Стал я супротив и окоротил машину. Стой, ору, окорочайся. Стал я, уперся. Машина вдарилась в меня и окоротилась. А ногами я так впер в землю, что она закачалась и перекосилась и с той поры боком пошла. И не туда, куда надобно, не в ад к сатане, куда Бог послал, а назад на небо, к Пресвятой Богородице на вымоление... Вон вить што. И скоро, ребята, мы прилетим усе туда, где солнце да ангелы одни поют и скакают. Так-то...

— А куда ж, Апалитыч, земля тогда денется? — спрашивали ребятишки.

— Землю я под конец съем. Оттого я и не умираю, все жду.

— А ты куда денешься?

— Я дедом прихожусь Христу, сыну Бога живого, и мне первое место в раю, я буду хозяином там надо всеми вами.

— А-а.

— А вы думали што? Это я все нарошно делаю: сапоги шью, в избе с бабой живу. А так — я не здешний, не бабьин сын.

Апалитыч посмотрел на тихое небо, на Дон из белого огня, на все поля, откуда некуда вырваться — все будут те же поля и поля, и соломенные деревни, и девки по вечерам

у плетней, и нету ничему конца-краю, как душевной скорби Апалитыча, которая растет с детства из травинки и выросла в дуб, которому земли мало, Бога мало, небо коротко и одно спасение — в светопреставлении, когда он землю нечестивую пожрет.

Все смешалось, сгорело в старой башке Апалитыча, и он сам не знал, что есть он и где ему дорога.

Он жил, как без памяти, и что выдумывал, тому не верил.

Сапоги он лепил, как мертвый, без всякого соображения, и терял днем счет времени. В обед не знал где вечер, сзади или напереди. Небо было у него черное, и на солнце он мог глядеть прямо в упор, без слез.

И теперь у него все внутри замутилось, когда он хотел еще рассказать про Царя царей, и он пошел спать.

В сенцах он свалился на свинью и позабыл все, уснул до утра, как спокойное, счастливое, разумное существо. Его не мучил ни Бог, ни земля, ни поля и плетни, откуда некуда выбиться, — ничто.

Тихо подрагивало небо в звездах. Не видать, не слыхать, и края ничему не видно. И в середине всего спал успокоенный Апалитыч, счастливый, что его нет в первый раз за всю жизнь.

Желтый от годов, тронутый тайной и нескончаемостью мира, Апалитыч вырвался из людей и метался чужой и ненавистный большим за неспособность жить по-человечьи, и любимый малыми ребятами неизвестно за что.

— Тебе бы нищим быть, ходить по земле от Москвы до Ростова, а ты сапожник, — говорили ему так соседи.

Но Апалитыч к утру забывал все и опять принимался наващивать дратву. И опять болела и металась его неумирающая старая душа. Он думал и думал, целовался в думах с младенцем-Христом, видел цветы рая и слышал пенье, от которого плакал.

Апалитыч сидел на круглом пеньке и думал, что душит сатану. И стал сидеть на нем круглые сутки, тут же ел и дремал. «Зато Богу легче», — шептал Апалитыч.

С ним жила внучка Маня. Она ходила днем полоть просо к богатым мужикам и только поздно вечером приходила

ночевать, и жила себе. Небо было для нее голубым и звезды ясными. А полем хотелось идти и идти без конца, и от того, что оно было таким синим и большим, ей вольнее, счастливей жилось.

Дед думал, и думала Маня. Она думала, что не умрет никогда, и от этого сильнее росла и пухла ее грудь. По ночам она видела сны, томительные и горячие. Вся земля валилась на нее и душила ее, а она кричала от страха и радости.

Знала Маня, что по ночам голубеет и оживает земля. Оттого ночью по улицам ходят люди до зари, поют и любят.

Один Апалитыч спит и во сне видит, что жив и ходит со всеми по улице и что он не Апалитыч, а паренек.

<1920>

ВОЛЧОК

Был двор на краю города. И на дворе два домика — флигелями. На улицу выходили ворота и забор с подпорками.

Тут я жил. Ходил домой я через забор. Ворота и калитка всегда были на запоре, и я к тому привык. Даже, когда лезешь через забор, посидишь на нем секунду-две, оттуда видней видно поле, дорогу и еще что-то далекое, темное, как тихий низкий туман. А потом рухнешься сразу наземь в лопухи и репейники и пойдешь себе.

Выйдет навстречу не спеша — знает, что это я — Волчок, поглядит кроткими человечьими глазами и подумает что-то.

Я тоже всегда долго глядел на него, в нем каждый раз было другое, чем утром.

Раз шел я по двору и увидал, что Волчок спит в траве. Я тихо подошел и стал. Рыжий Волчок чуть посапывал и ноздрями на земле выдувал чистоту. По шерсти у него пробиралась попова собака.

Кругом было тихое неяркое утро. Солнце приподнималось в теплом тумане, который все рассеивался и рассеивался и сжимался в голубой высоте в облака.

Далеко выл у запертого семафора паровоз и звонили колокола по церквам. Репьи стояли тонко и прямо, ни ветра, ни шума, ни ребятишек не было.

Волчок проснулся, и не двинулся, а лежал как лежал с открытыми глазами, глядел в темную сырость под лопухи.

Я наклонился и притих. Волчок, должно быть, не знал, что он кобель. Он жил и думал, как и все люди, и эта жизнь его и радовала и угнетала. Он, как и я, ничего не мог понять и не мог отдохнуть от думы и жизни. Во сне тоже была жизнь, только она там вся корчилась, выворачивалась, пугала и была светлее, прекраснее и неуловимее на черной стене мрака и тайны.

Спереди, пред ним и предо мной, все радуется и светится, а сзади стоит и не проходит чернота, и в снах она виднее, а днем она дальше и про нее забываешь.

Волчка давил виденный сон. В нем он тоже видел эти лопухи и сырую тьму по корням, но там они были и такие и не такие. И вот он опять смотрел и не мог ничего понять.

На дворе была еще сука Чайка. И когда были собачьи свадьбы, кобели бесились, гонялись за Чайкой, один Волчок был такой же, как всегда, и не грызся с кобелями.

Хозяин думал, что он больной, и давал ему больше костей и щей после ужина. Но Волчок был великан и совсем здоров.

Чужих ребят, какие приходили играть на двор, он не хватал за лыдки, а бил оземь хвостом и глядел с уважением и кротостью.

Я Волчка за собаку не считал, за то и он полюбил меня, как любит меня мать.

Я тоже ничего не знал и не понимал и видел в снах тихое, бледное видение жизни. Смутные облака трепетали в небе, и ветер гнул целые дубы, как хворостины, а я стоял в каком-то саду и не слышал, как шумит ветер, и сразу удивился, и понял, что это сон, и проснулся.

Было полнолуние, и в комнате бледный свет лежал на полу. Я протянулся и попробовал рукой холодные доски.

Раз я спросил у отца, который любил меня и жалел, как маленького, не знает ли он чего, чего еще никто не знает и про что и в книгах не написано. Он сказал:

— Нет, я все думаю про Бога, но его тоже не могу узнать.

А на другой день за обедом досказал:

— Оттого мы ничего не знаем, что и узнавать, должно, нечего. А тебе к чему нужно знать?

А я сказал:

— Да, а жить-то как же? А узнавать есть чего, хоть бы то, отчего мы хотим знать все, если и узнавать нечего, все живет само собой в черноте и пустоте. Отчего кругом томление и борьба? Вот мы прожили немного после революции и уж увидали, как легко устроить всех сытыми и довольными, лишь бы осталась у нас власть нас самих. Но нам захотелось знать, и не нам одним.

Отец помолчал и перестал есть.

— Я всю жизнь, — сказал он вечером, — работал, кормил вас и одевал, не мог никогда думать, а теперь отвык. Теперь жизнь другая и я все растерял. Но я люблю тебя, и ты, может, выйдешь на большую дорогу, тогда делай что хочешь, а я не могу, я уморился и сидя сплю. Я только жду хорошего, а какое оно, не могу узнать. Всю жизнь я ждал чего-то хорошего и тебе отдаю эту надежду.

На другой день я также лез с работы через забор, и Волчок встретил меня любящими глазами, и в пустых, водяных его глазах сидела мертвая сосущая мысль, как каменная гора на дороге домой.

Чайка юлила под ногами, а Волчок молча стоял вдалеке и смотрел. Ему оставалось одно — либо издохнуть, либо дождаться первой собачьей свадьбы и схватиться с другими кобелями из-за Чайки. Но Волчок оставался посредине и раздумывал. Тут была ему худшая гибель, и он видел сны, пугался и жил хуже мертвого.

— Волчок, Волчок, Волчочек...

Я пошептал это и погладил его. Он прижмурился и заблестел глазами. На миг он ожил и понял, что я жалею и люблю его, как меня жалеет отец. Может, он и глазами заблестел оттого, что понял мою жалость и любовь, взял знание, и в первый раз сзади сияния жизни не было черноты и угнетения.

— Волчок, Волчочек...

Волчок от радости подметал хвостом и повизгивал. Отчего раньше я не догадывался гладить и обнимать его? Нет, тогда бы он понял мой обман и потерял свое первое верное знание, что есть любовь в жизни и сочувствие.

Волчок вертанул шеей, и я увидел, какая у него не собачья, почти человеческая круглая задумчивая голова. Глаза стояли и вглядывались. Он живет не лучше меня.

В этот вечер я пошел по улицам. Белые городские дома в синей луне стояли и глядели окнами на тихо гуляющих людей. Томление и раздумье было во всех. Кто не любил, тот хотел любви. И никто ничего не знал, зачем это.

Я встретил Маню, в которую был немного влюблен. С ней шел человек с добрым и счастливым лицом.

— Это Витя, — сказала Маня.

И я пошел рядом.

Во мне поднялась тоска. Я чувствовал, как горело мое тело. Но в голове было ясно и хорошо. Я смеялся в мысли и мучил себя. Я знал, отчего во мне тоска и отчего вечер кажется задумчивым любящим далеким существом, прилегшим на землю. Я знал и смеялся. Знал, что все не такое, как кажется. И этот вечер, и эта Маня — не задумчивые полюбившие существа, а другое, что я еще не знаю. И по истинной сущности все это, наверно, ничтожно, жалко и гадко.

Если бы созналось это всеми, то увидели бы, что не любить надо, а ненавидеть и уходить дальше, начинать перестраивать все сначала.

Отчего все ходят по земле и никто не знает, что она такое?

На другой день я на работу не пошел, а ушел скитаться в поле. И там лег в рожь и думал до вечера, где найти настоящих людей, которые все знают. Где лежат настоящие книги?

Сам я ни о чем не мог догадаться, и что узнавал, в том сомневался, и начинал опять сначала. А жить и не знать — так и Волчок не мог. Я должен ясно увидать все до конца и быть уверенным и твердым в жизни.

Раньше никому не нужно было знание, потому что нужен был хлеб и размножение людей. Благо было в полном удовлетворении тела. Теперь благо в истине, только это одно я узнал в тот день и пошел счастливый домой.

На дворе я лег в траву и стал глядеть в землю — пыль, песчинки, дохлая мошка и муравьиные дороги.

<1920>

За Криндачевскими рудниками стоит богатая станица, не станица, а хлебный колодезь.

А под старыми казачьими степями, по которым уходил когда-то с сыновьями Тарас Бульба в Запорожскую сечь, лежит уже тысячи веков жир земли — тугой, плотный уголь, каменная сила. Лежит и полеживает.

Вверху в белых мазанках живут потомки запорожцев и уже забывают про турецкого султана. Только развешаны в горницах кривые старые сабли, и на ножнах темнеет древний серебряный узор.

Старики еще помнят старинные заунывные песни похода со свистом про турецкую нечисть и про шляха. И когда с Москвы шли большевики, то они пророчили, что обернулись турки с другой стороны и опять идут на православие.

Старики призывали сесть на коней всей молодежи и, как допрежь, отстоять святую веру, жен и весь свой тихий божий народ.

— Ляжем всеми, сынки, за божий крест на наших степях, — говорили на сходах усастые деды.

Но сорокалетние сынки помалкивали и в томлении глядели за станицу в вечереющие просторы. Они знали, что такое война, а креста не чуяли так, как отцы, им больше хотелось овец и волов, каменный дом, ухватливую хозяйку.

И хоть грех в церковь не ходить, но и жить в бедности и разорении, стегать на коне по степи — не модель.

Отрываться от любимого двора, хозяйства, от родной станицы, бросать жену и все, чем живешь и что любишь, — не лежит к тому душа, что ни говори старики.

С рудников по праздникам приходили кацапы до казачек, не крестились у храма и грозили спьяна лавочникам большевиками. Черные и чужие, они бродили до утра по станице.

Бросай, Ванька, водку пить.
Пойдем на работу.
Будем деньги получать
Каждую субботу.

Пришел Деникин, сгреб хлеб и волов, повесил троих шахтеров и слился на Москву.

Помутилась душа и у старых казаков. Все тише и любимей стали дворы и амбары, и на жен кричать стали реже.

— Где же вона, правда божия? Знать, у тех, кто с крестом, ее нету. И из креста глядит антихристова харя...

Перестали ходить кацапы с рудника, пропали как один.

— Пусть и не вертаются, бисовы дети, от них борщ кислый, голодранцы лапотные, — так брехали старые бабы.

Казаки ухмылялись: бог жабе хвоста не дал, чтоб травы не толочила. А ум бабий, что хвост жабий.

Ветром пронеслись назад генералы, отняли всех волов, оставили только кому пару, кому две и пропали к Черноморью.

Пропылили не спеша последний раз родные волы и пропали навек.

Много ушло с генералами молодежи и стариков. Остались только у кого помутилась душа и кто потерял концы привычной правды или пожалел степь и хозяйство.

Пришли большевики. К деду Антону Карпычу без спроса и без разговору ввалился в хату молодой веселый человек в кожаном картузе и лба не перекрестил.

— Здорово, станичник!

— Здоров будь.

— Далеко белые?

— А хто же за ними гнался?

— Покурить можно?

— Твоя ж воля.

— Так. А ты не обижайся, старина, покурю и уйду. Трогать не будем, не до вас пришли, живите себе.

Посидел, посидел веселый кожаный картуз, засмеялся и пошел.

— Прощай.

— С Богом, сынок!

И повеселел старик: люди ж и они.

Под вечером, как начали сниматься большевики, вынес сала ломоть и дал какой-то красной звезде.

— Спасибо, отец! Свидимся еще.

— А как же? Да вот волов свели, плешь их башке, пшеницу тоже посвезли...

— Ничего, ничего, сработаем еще, наживем. Теперь дело видней. Всем плохо, перетерпим.

Старик зашел в кучу солдат, осматривался и слушал.

— Так не ждать их?

— Как хошь, хоть жди, да не дождешься.

— А вы не турецкой будете породы? Крест-то носите?

— Крест сжечь надо, на нем Христа распяли. А породы мы все одной. Это они крест всем несут, а мы крест со своей спины снять хочем, чтоб жилось легче.

— Так-так...

Старик понял все слова и пошел домой обдумывать.

Ушли и большевики. У соседа Родионыча остались нетронутыми две пары волов. Он приходил каждый вечер к Антону Карпычу и радовался и клял.

— А? Ведь хозяин еще я, Карпыч, а? Как скажешь? Може, не воротится фронт николы... И степь и волы — наши, и хаты целы, и хлебом до лета натянем... И крестов с церквей не посшибали, брехня одна была...

Карпыч думал и думал, где истинный бес, где печать и клеймо его?

Не там ли, где волы его. Не крест ли печать бесова... Не можно никак молиться тому, на чем замучили Христа, как же этого никто не узнал?

Он вспомнил веселого хлопца в кожаном картузе. Не бес же он, и клеймо на нем небесное — звезда.

Карпыч уснул и увидел во сне, будто тихо бредут по степи его волы домой с Черноморья.

<1920>

В МАСТЕРСКИХ

1. Электропоезд

— Стратоныч, давай пожуем!

— Давай.

И мы жевали картошку с требухой.

— Нады стою я в очереди, — гундосил Стратоныч. — Аж до двенадцати стоял, ждали все требушного начальника. Ах, грачи!

— Ну, пойдем, попробуем мотор.

И мы пошли.

— Давай! — закричал Стратоныч. — Легче, легче, ремень замотаешь! Нельзя так. Стоп!

Я выключил.

— Легче давай, помаленьку!

Мотор пошел, и ремни заплясали.

— Вот! Не спеша надо, а то ты рвешь.

Перед гудком мы разговорились:

— А што, Стратоныч, давай ребят подговорим, электропоезд сделаем, как, я тебе говорил, в Петрограде сделали. Вечером по два бы часа после гудка оставались, а воскресенье — напролет. Как думаешь?

— А! Так што ж? Давай! Завтра же ребят подговорим.

— Ну да. Вагоны нам дадут, а остальное мы сами обдумаем. Мы его попроще загоним. Двинемся тогда к Ростову, станем на моторах с тобой.

— Обдумать это надо. Приходи-ка ко мне вечером чертежи плановать.

— Ладно. Я уж почти обдумал. У нас будут свои аккумуляторы...

И мы начали обдумывать по вечерам планы. Ребята все согласились.

Мы со Стратонычем думали за всех.

2. Бог

— Горит же вот! Поди ж ты! Ведь надо же обдумать. Солнцу сто очков дает.

И Черепендик в удивлении задумался, он был чернорабочий — колеса катал — и удивлялся всему на свете, и всех любил от удивления.

Электрическую лампочку он особо уважал: самая удивительная вещь.

— А чудочек тепленькая, ишь! — и он поласкал ее ладонью. — Светлые чудеса... А машины-то, машины! Скажи,

Степ, на милость, откуда сила только берется, гудовень такая стоит?.. А огонь-то, огонек-то, как замер, и не дышит будто...

Черепендик работал неделю, а раньше жил в деревне и от голода прибежал в город. Он был маленький и добрый человечек.

— Ему бы не работать, а черепендиками торговать, — сказал раз один токарь.

Так его и прозвали: вылитый черепендик он и был.

Увидел он машины в первый раз, испугался, переменился весь и, говорят, молиться стал на них, а прежнего Бога позабыл:

— В нем силы-голосу нет, видимости никакой, — говорил Черепендик.

Через месяц ему отмяло ногу, и он долго пролежал в больнице, а потом ушел на деревню с проповедью, что всякая машина есть бог и чудотворец.

<1920>

СТРАННИКИ

Митя ходил каждый день в лавку за хлебом по тихой улице, где уже кончался город и начиналось поле.

Ходить было далеко и жарко, а хорошо — было видно поле и дорога, и по ней шли странники. В сердце поднималось томление, хотелось ему уйти, куда уходят каждый день люди с сумками и никогда не приходят домой.

Хлеб брали в долг — и Митя ходил с книжкой, где лавочник Петр Васильевич писал карандашиком: «узето хе 8 ко». «Взято хлеба на 8 копеек», — догадывался Митя.

Когда шел он с хлебом домой, то садился на камень у заставы и глядел. Скоро будет двенадцать часов: загудит гудок и отец придет обедать, а Митя сидел и думал.

Поле было большое и тихое, и сейчас никто не шел по дороге, все прошли и скрылись за лесом.

Солнце горело, как костер, и не было ни ветра, ни тихого разговора на дороге.

Пыльная лебеда росла на канаве, и внизу, у корешков, у комочков, по бугоркам лазили муравьи и спали божьи коровки.

Митя думал, куда идут дороги и где конец света. Он давно узнал, что и поле, и леса, и странники — днем, как сонные, только ночью начинают жить по-настоящему и шепчутся по вечерам.

Вечером он уходил к ребятам, к Степанихе на огород. По завалинкам пели сверчки, и кто-то сидел и молчал в кустах.

Они сидели под плетнем и слушали, как носятся и поют комарики над головами.

Митя залезал на плетень, и опять было видно поле. Теперь там было темно и ходили там звезды. Оттуда был слышен шум, будто вышли из лесов и оврагов странники и уходили толпою по дороге в другой город.

Днем Митя дрался и играл, а вечером начинал любить и жалеть всех.

Больше всего он любил, чего никогда не видал: дальние неизвестные края, куда хотелось уйти и куда уходили нищие и богомольцы после зари, когда бывает прохладно и тихо.

Небо, плетни и шептавшиеся поля, где ходят и ищут люди по ночам, моргающая звезда звали Митю на дорогу идти до утра, встретить, чего никто не видал.

Он знал, что собаки дохнут и их бросают в канаву. Издох Волчок зимой, и его не нашел больше Митя.

Так было нельзя.

И Митя думал, что странники уходят в другую землю, на конец света, где встречаются со всеми, они жалеют всех и не могут тут оставаться.

Во сне он видел другую землю, где солнце светит днем и ночью, как большой костер, и кругом его сидят радостные тихие странники и Волчок, а вокруг сторожами ходят звезды.

<1920>

СЕРЕГА И Я

Мы шли с работы. Около домов на камне лежал белый холодный свет вечереющего дня. И солнце было низко; оно рано уходило за кирпичные трубы кочегарок, эти угрожающие пальцы земли. Начиналась тихая сонная осень. Ветер дул

реже и не был так жесток, как раскаленным ноющим летом. Небо побелело и стало ближе и ясней, будто опустило глаза к человеку.

Каждую прожитую осень я помнил с детства, и всегда она была такая же, как теперь. Белое небо, белая земля, пустой безголосый простор без конца и холодно.

По мостовой гремят телеги, и ломовые на них спят, только передний дремлет и посматривает и махает без толку кнутовищем.

Мы дошли до слободы, где жили, и увидели поле. Там никого не было, и лес был не за семь верст, а прямо против нас. Он стоял и смотрел на жнивье, на каменный город и на нас. В стороне от леса на песчаном обдутом кургане стоял какой-то человек и будто всматривался в далекий город. Он стоял и не шевелился. Может быть, это была палка или забытое исклеванное вороньем чучело на бахчах. А я думал и знал, что там человек.

Старый Волчок встретил нас и обрадовался. Умные незвериные глаза ласкались и любили. Я, как родился, помнил его. Волчок хорошо чуял это и на мой голос отзывался криком не по-собачьи.

Мой товарищ Сафронов пошел в свой переулок. Он знал и видел то же, что и я.

Нам обоим надоело вставать по гудку, и мы собирались бежать на Дон, в кусты, жить рыбаками. Мне больше хотелось уйти в пастухи, но и рыбаком быть хорошо, и я согласился.

До поры до времени мы молчали и таили в себе эту единственную нашу радость.

— Эх, хорошо бы, — говорил я.

— Хорошо, — откликался Сафронов.

— Ладно, што ль?

— Ладно.

И на том мы кончали.

Мастерская давила и ела наши души. Люди там делались злыми. Цельный день мы таскали носилки со стружками и мусором, а то лодырничали, уходили в траву на задний двор и не боялись никого: все равно навеки уйдем скоро отсюда.

— Эх, Серега, Серега... — ни к чему говорил я от тоски и тихой радости скорого спасения.

— Да, Андрюх, будет нам жисть, и не сказывай... Вон вить што, как оборотилось дело-то...

Серега Сафронов был умен и рассудителен, как большой мужик. Он был из деревни, а я городской. Во всех людях он видел мастеров и десятников, а я — не знаю кого, только боялся их.

И мы сошлись душа в душу, без него я пропал бы, а может быть, и он без меня. Не узнали, а почуяли мы это, и полюбили друг друга, и слепились, как два щенка на льдине.

Сафронов ушел и не оглянулся. Я постоял, постоял, посмотрел, как темнеет и тихнет все, пропадают поля, и пошел домой.

Дома я зажег лампу и взял любимую книжку. Листнул ее и прочел: «В селе за рекою потух огонек...»

Мать спала. Волчок гавкал на дворе, и жужжали под потолком издыхающие мухи.

Я увидел лето и большую белую ослепляющую реку в синих лучах. На песке, на том боку, засыпает соломенная деревня и брешут собаки, и нигде — никого. Только глядит в темное небо оттуда чей-то поздний огонь из окна. Должно, лампадка. Зудит мошкара над головой, и еще тише.

Тухнет огонь, будто его и не было. И не найдешь глазами, где была деревня. Обрадовалась и загудела мошкара — и сразу пропала. Один остался комарик и звенит, как за две версты, а он на носу. Маленький и живой. Я мал и один, тихо и темно. Но сразу может кто-то показаться, ударить, загреметь и все осветить. И увидишь не то, что видно днем, а другое, и кто-то посмотрит оттуда на тебя, улыбнется и скроется.

А утром будут те же луга, поля, солома, деревня и плетни. И солнце ползет и чешет пашни. И я увижу, что здесь родился, и никуда не пойду.

Волчок ныл у сенец. Ветер шарахался в ставни. Мухи притихли на потолке, мать проснулась и глядела на меня.

Я задремал на столе и увидел счастливый сон, а утром забыл его и не мог рассказать.

На другой день мы с Серегой работать не пошли. А пошли в поле, куда подальше. Там мы залегли в песчаном логу и стали думать каждый про свое.

Солнце туго лезло поверху, выдирало из земли последнюю травку и растекалось по прохладному белому небу.

Сейчас ребята таскают там носилки. Долго еще до вечера, подумал я, и мне стало нехорошо на душе.

— Серег, а Серег? — позвал я.

— Ну — што?

— В селе за рекою потух огонек...

— Игде?

— Вечером на том боку в деревне...

— Ну-к што ж.

Мы лежали на земле, как на теплой ладони. Осыпался песок, и за шею поналезли муравьи. Парило будто весной. Мы поняли, что лежим прямо против неба и что мы живы. Я прижался к земле и почуял, как лечу вместе с ней и люблю.

Песок перестал ссыпаться, и ветер совсем стих. Я махнул рукою — ничего не было надо мною. Серега перемахнул рукою — ничего не было надо мною. Серега переобувался и слушал... Я схватился за траву и испугался. Мне подумалось, что я падаю, и я замер и прижался.

Песок был горяч и крепок, и я отошел.

— Тут ведь земля не такая, как у нас, — сказал я Сереге тихо, чтобы он ничего не узнал. — Тут не земля, а песок.

На дороге пыль закрутилась столбом.

— Пошли, што ль?

— Пойдем.

Мы тронулись к городу. Ветер стегал песком и завывал в стоячих сухих палках от подсолнухов. И откуда он взялся? Ничего не было...

— Сереж, Сережа... Когда ж на Дон скроемся?

В селе за рекою потух огонек...

— Обожди. Надобно всех ребят с мастерской взять. Что ж они-то? Всеми тогда уже и тронемся оттуда, пропади она пропадом.

— А пойдут они с нами?

— Да обеспека, а то как же...

Навстречу ехали мужики с базара, знакомые ребята прокатывались сзади, а потом пристали к нам.

— Знаешь што, Сереж? Пойдем к нам домой, я тебе книжку прочту, там складные стихи.

<1920>

БЕЛОГОРЛИК

Сто лет тому назад плясал мой дед с девками в одной хате на краю губернии, в глушине одного хутора дворов на одиннадцать.

А приехал он из губернии и потому надел воротничок, сорочку и золотые пуговки — вышло у него белое горло поверху коричневого.

Попал дед прямо на свадьбу и заплясал с девками, закачал умильно головою на белом горле.

Глядят ребята в окна, а в хату пускают не всех, рогач через ручку проткнут.

Пыхтят девки, юбки раздуваются, белогорлик-дед ногами шевелит, не спеша и чинно, не как все, а по-благородному.

Ребята стояли-стояли и нажали на раму:

— Выходи суда, белогорлик. Пузо прорвем... Разлапался... Барин, кишки жидки... Душу вышибем, все одно тебе помирать.

Дед услыхал, отошел к сторонке и зашептался с девками.

Те укутали его шубенкой, замотали платком белое горло и выпустили через гумна.

Дед метнулся через плетни и пропал.

Было душа пропала через белое горло.

Девки наворачивали, наворачивали ногами, а ребята за окнами, которые нищие и бродяги по одеже, ждали белогорлика вышибить душу и прорвать пузо.

<1920>

ЖИВАЯ ХАТА

Подошли мы с Никитой к одной хате на косогоре, где были старушки, а две лампы горели с лампадой.

Подошли и стукнули:

— Хозяин, пусти постоять, на людей глянуть...

Вышел мужик, вроде попа, глянул на нас и прорычал:

— Отшыбай, стервецы, дале... Гости сучьи...

Мы постояли и подумали. Я был велик и полон крови, а Никит втрое и кровь мог из руки спускать ведрами, а есть мог, как жернов.

— Что ж, двиганем? — сказал Никит.

— Двиганем.

Никит нажал под святой угол, качнул хату, потом надулся, что в животе забурчало, заскрежетал подошвами по песку, захрипел, и хата поползла по косогору на картошки.

Люди в хате побежали ногами, и там посыпались иконы, горшки, корчажки и всякое нутреное житейское снаряжение.

Никит нажимал и пихал, а хата слезала и ворочалась.

Внутри метались свахи и старухи, визжала невеста, а мы, похохатывая, жали под святой угол.

<1920>

ЖАЖДА НИЩЕГО

Был какой-то очень дальний ясный, прозрачный век. В нем было спокойствие и тишина, будто вся жизнь изумленно застыла сама перед собой.

Был тихий век познания и света сияющей науки.

Тысячелетние царства инстинкта, страсти, чувства миновали давно. Теперь царствовал в мире самый юный царь — сознание, которое победило прошлое и пошло на завоевание грядущего.

Это был самый тихий век во вселенной: мысль ходила всюду неслышными волнами, она была первою силой, которая не гремела и не имела никакого вида.

Века похоронили древнее человечество чувств и красоты и родили человечество сознания и истины. Это уже не

было человечество в виде системы личностей, это не был и коллектив спаявшихся людей самыми выгодными своими гранями один к другому, так что получилась одна цельная точная математическая фигура.

На земле, в том тихом веке сознания, жил кто-то Один, Большой Один, чьим отцом было коммунистическое человечество.

Большой Один не имел ни лица, никаких органов и никакого образа — он был как светящаяся, прозрачная, изумрудная, глубокая точка на самом дне вселенной — на Земле. С виду он был очень мал, но почему-то был большой.

Это была сила сознания, окончательно выкристаллизовавшаяся чистая жизнь. Почти чистая, почти совершенная была эта жизнь горящей точки сознания, но не до конца. Потому что в ней был я — Пережиток.

В век ясности и тишины вылетел я из смрадного тысячелетия царства судьбы и стихийности и остался тенью на сияющем лике сознания, на образе Большого Одного.

Я был Пережиток, последняя соринка на круглых, замкнутых кругах совершенства и мирового конца.

Сознание, Большой Один превозмогал последние сопротивления природы и был близок к своему покою.

Большой Один кончал работу всех — камня, воды, травы, червя, человека и свою.

На пути к покою у Большого Одного оставался один только я — это было страшно и прекрасно.

Я был Пережиток, древний темный зов назад, мечущаяся злая сила, а Он был Большой и был Сознанием — самим светом, самою истиной, ибо когда сознание близко к покою, значит оно обладает истиной.

Но почему я, темная, безымянная сила, скрюченный палец воющей страсти, почему я еще цел и не уничтожен мыслью?

Это было единственной тайной мира, другие давно сгорели в борьбе с сознанием.

Мне было страшно от тишины, я знал, что ничего не знаю и живу в том, кто знает все. И я кричал от ужаса каменным голосом, и по мне ходил какой-то забытый ветер, прохладный, как древнее утро в росе. Я мутил глубь созна-

ния, но тот Большой, в котором я был, молчал и терпел. И мне становилось все страшнее и страшнее. Мне хотелось чего-то теплого, горячего и неизвестного, мне хотелось ощущения чего-нибудь родного, такого же, как я, который был бы не больше меня.

Мне хотелось грома, водопадов и жизни угрожаемой смертью, а тут была тишина и ясность, тишина и последняя, упорная дума.

Я хотел гибели, скорой гибели, и еще больше хотел чего-нибудь темного и теплого, громкого и далекого. То что было теперь, то было не больше того, что было при моей юности в древности.

И я начал погибать, потому что начал видеть дальние чудесные вещи, а разное шептанье и желанье теплоты во мне прекратилось.

Я увидел одно видение прошлого и стал другим от радости. Я увидел бой еще раннего слабого сознания с тайной. (Может, это мне показал Большой, в котором я был,— я не думал тогда о том. А я уже начал чуть думать! Стал плохим Пережитком.)

Еще были города, и в небе день и ночь из накаленных электромагнитных потоков горела звезда в память побед человечества над природой.

Моря были освещены до дна, и к центру Земли ходили легкие машины с смеющимися детьми.

На Северном полюсе горел до неба столб белого пламени в память электрификации мира.

Маленькие девочки тоже носили имена Электрификации, Искры, Волны, Энергии, Динамо-машины, Атмосферы, Тайны.

А мальчики назывались Болтами, Электронами, Цилиндрами, Шкивами, Разрядами, Амперами, Токами, Градусами, Микронами.

Тот век тоже был тихий: только что была кончена страшная борьба за одну истину и настал перерыв во вражде человечества и природы. Но перерыв был скучением сил для нового удара по Тайнам.

Ученый коллектив, с инженером Электроном в центре, работал по общественному заданию над увеличением на-

грузки материи током через внедрение его с поверхности в глубь молекул.

Человечество давно (и тогда уже) перестало спать и было почти бессмертным: смерть стала редким случайным явлением, и ей удивлялись, а умерших немедленно воскресали. Организм беспрестанно возобновлялся в потерях и работал без перерывов. У людей разрослась голова, а все тело стало похоже на былиночку и отмирало по частям за ненадобностью. Вся жизнь переходила в голову. Чувства и страсти еле дрожали, зато цвела мысль.

Но ничто не уничтожалось у этих людей: только переходило в сознание, снизу вверх. Они понимали любовь, красоту, страсть, всякую старую силу, всякую темную душу, но не жили сами этим, а только сознавали это. Жили же они мыслью, познанием.

Их сознание было соединением всех пережитков, хранилищем явлений прошлого, памятью обо всем, вдохновленной волей к бесконечному.

Эти люди жили тем, что отрывали кусочки у природы и складывали их в себя, составляли память, а память — это сущность сознания. Потом этой же памятью о прошлом они воевали за будущее, употребляли его как орудие, беспрестанно усиливавшееся благодаря напряжению и борьбе.

Сознание — это деятельная память. Так я увидел в том веке.

Ученые с инженером Электроном работали сплошным временем. Сам Электрон был слеп и нем — только думал. От думы же он и стал уродом.

Иногда легкая бескрылая машина уносила его на высокую башню — Атмосферный напор 101, где Электрон работал тоже над какой-то новой конструкцией.

Я заметил, что эти люди не поднимали никогда головы и не смеялись. На Земле не было ни лесов, ни травы и перестали кричать звери. Одни машины выли всегда, и блестели глаза электричества.

Женщин было меньше мужчин, и любви между полами почти не было. Женщины гибли и от ожидания гибели становились спокойными и тихими, как звезды. Бессмертие их не касалось. Мужчины-инженеры не говорили об этой но-

вой правде женщинам. И они не спрашивали, а молчали и ходили белыми видениями в синих залах горящих городов. Были времена решительных ударов, и женщина казалась всем насмешкой.

Времена стихали, и вселенная работала в тишине. Инженеры были все, а инженеры только думали, и в думе была вся жизнь. Все науки уравнялись и свелись к технике.

Гремели машины, а люди все больше молчали. Росла голова, мйнело тело, и прекраснее были женщины от близости смерти.

Мир перестал шевелиться, двигаться, давать чем-нибудь знать о себе: всякое усилие, всякое явление природы переходило в машины прежде своего проявления в действии и там уже разряжалось, но не впустую, а производило работу. Реки не текли, ветры не дули, гроз и тепла давно не было — все умерло в машине и из машины приходило к людям в самой полезной, совершенной форме — пищей без остатков, кислородом, светом, теплом в количестве точной нормы.

Гром и движение вселенной прекратилось, но загремели машины за нее.

Раз инженер Электрон, когда был на башне Атмосферного напора 101, упал на маленькую машину, у которой долго стоял и раскинул свои тонкие, слабые ручки-веточки. Маленькая машина завертелась, загудела сильнее самых больших, потом докрасна, добела накалилась и сгорела. Электрон стоял и по слепоте не видел, но махал ручонками и качал с боку на бок головой, будто от изумления, как моя бабушка в двадцатом веке, когда еще дули ветры и лились дожди.

Потом инженер Электрон открыл рот и запел, поборов немоту. В этой странной забытой песне был гром артиллерии и свет надежды, как в песнях моего далекого мученического века. Это в нем пел его Пережиток.

Электрон полетел на бескрылой машине в ученый коллектив. На дороге ему встречались женщины и глядели долго вслед: они редко видели мужчин, и от этого у них загоралось старое семя любви.

Электрон дал миру сообщение волнами нервной энергии, вызывающей трепет сознания у всех людей:

«При нагрузке молекул материи однозначными электронами сверх предела, когда объем электронов становится больше объема молекулы, у нас завращался двигатель на Напоре 101. Двигатель от большого количества получаемой энергии сгорел при работе. Конструкцию его помним. Никаких электромагнитных потоков между исследуемой материей и двигателем не было. Есть новая поэтому форма энергии, неизвестная нам. Надо начать наступление на эту тайну».

Мир вздрогнул, как от удара по ране, от этого сообщения. Еще тише стали люди от дум, и машины заревели от великой работы.

Обнажился враг — Тайна.

И началось наступление. Между источником силы и приемником нет никакого влияния, а передача совершается. Какая же это сила?

Сознание не терпит неизвестности, оно открывает борьбу за сохранение истины.

Для успешности борьбы были уничтожены пережитки — женщины. (Они втайне влияли еще на самих инженеров и немного обессиливали их мысль чувством.)

Инженер Электрон стал впереди наступления. Тайна тяготила людей, как голод, и от нее можно потерять бессмертие и силу науки.

Электрон дал приказание по коллективу человечества от имени передовых отрядов наступающего сознания: «Через час все женщины должны быть уничтожены короткими разрядами. Невозможно эту тяжесть нести на такую гору. Мы упадем раньше победы».

Мир задумался. И тишина была страшнее боя, а рев машин, как древний водопад.

Скоро Электрон затрепетал опять ручонками-веточками и дал сообщение:

«Кончено. Материя стремится к уравнению разнородности своего химического состава, к общему виду, единому веществу — к созданию материи одного простого химического знака. Уравнивающие силы пронизывают пространства от вещества большей химической напряженности к меньшей. Это было скрыто. При перегрузке молекул током созда-

ются особо выгодные условия для такой взаимной уравнивающей передачи сил: их течет тогда особенно много. И заработавшая машина на Напоре 101 превратила эти химические силы в движение, чтобы освободиться от их избытка».

И опять мир стал искать тайн, а до времени успокоился. Из Северного полюса бил белый столб пламени, и на небе горела электромагнитная звезда в знак всех побед.

Искусством в те века была логика полной, чистой мысли, а наукой — это же самое, а жизнью — наука.

Жизнь перешла в сознание и уничтожила собою природу оттого, что были раньше люди, которые объявили весь мир врагом человечества и предсказали ему смерть от человека. И оттого, что сознание стало душой человека.

Или мир, или человечество. Такая была задача — и человечество решило кончить мир, чтобы начать себя от его конца, когда оно останется одно, само с собой. Теперь это было близко — природы оставалось немного: несколько черных точек, остальное было человечество — сознание.

Мир можно полюбить, когда он станет человечеством, истиной, а вне нас — он худший враг, слепой несвязанный зверь. И ему был сказан конец.

Я снова очнулся Пережитком в глубокой сияющей точке совершенного сознания, Большого Одного; перестал видеть, и во мне зашептали хрипучие голоса страсти и родилось желание сладкой теплоты и пота. Моя сущность во мне выла и просила невозможного, и я дрожал от страха и истомы в изумрудной точке сознания, в глубине разрушенной вселенной. Теперь ничего нет: Большой Один да я. Моя погибель близка, и тогда сознание успокоится, и станет так, как будто его нет, один пустой колодезь в бездну.

И я поднялся, и везде все засветилось, потому что я увидел, как кругом было хорошо и тихо, как в идущие века.

Я понял, что я больше Большого Одного; он уже все узнал, дошел до конца, до покоя, он полон, а я нищий в этом мире нищих, самый тихий и простой.

Я настолько ничтожен и пуст, что мне мало вселенной и даже полного сознания всей истины, чтобы наполниться

до краев и окончиться. Нет ничего такого большого, что бы уменьшило мое ничтожество, и я оттого больше всех. Во мне все человечество со всем своим грядущим и вся вселенная с своими тайнами, с Большим Одним.

И все это капля для моей жажды.

<1920>

ЕРИК

Жил на этом свете в Ендовищах один мужик по названью Ерик. Человек он был молодой, а сильный и большой. Бабы не имел и чего-то то и дело чхал.

Не было веселее Ерика на свете: никогда в нем не сокрушалась душа и не скорбело сердце. По этому миру Ерик был как раз впору.

Шли по улице мужики, и шел им навстречу Ерик и чхал.

— Во, карежить его, — говорили мужики, — должно, воздухи в душу не пролезают. Дух не по ем.

— Да. Должно, так... Дерет его чох, поди ж ты!

— Такой уж чудотворный человек.

А Ерик любил дышать, любил всякий дух и чхал для потехи. Радость он чуял во всем и на все отзывался.

Занимался он многими делами — пахал, думал, ходил по полю и считал облака. К вечеру он ворочался на деревню и щупал девок.

Ерик не верил ни в Бога, ни во врага.

— Все человечье, — думал он, — и нет у земли концов. Что захочу, беспременно сделаю. Захочу — скорбь произведу, захочу — радость.

И Ерик, правда, делал многие дела и был душевный человек, хотя и жил один без бабы, как супостат, и приплясывал, когда звонили к обедне.

Раз приходит к нему враг рода человеческого и говорит:

— Хошь, я тебя научу людей из глины лепить?

— Давай, — сказал Ерик.

— А что дашь?

— Лапоть.

— А еще чего?

— Чего ж еще: бери, вон, корчажку, чуни, юбку... Не обижу, не бойсь.

— Да ладно уж, вижу, — сказал враг и научил Ерика людей лепить из глины, из земли и всякой пакости, если ее наслюнявить.

Наделал Ерик людей целый полк и распустил их по всему пузу земли, искать у нее четырех концов. Разошлись вражьи и Ериковы дети и пропали: ни слуху ни духу. И Ерик уж позабыл их и принялся за новое дело — задумал небо проломить и голову в дырку наверх просунуть и поглядеть — есть там Бог иль спрятался.

Ходил он опять по полю под облаками и думал обо всем — отчего так хорошо на свете, когда ничего нету тут хорошего и все дела известны. Ночью небо ближе и глядят с него звезды — змеиные глаза. У девок по вечерам сиськи распухают и слезы на глазах.

Отчего еще глаза у них похожи на озера, когда на дне туманом ходят небеса. Колдуны и старухи говорят, что у святых в глазах звезд больше, чем на небе.

Ведьма, дурья голова, — в глазу одна звезда, зато она добрее всей звериной бездны наверху.

С мужиками Ерик водился по-братски — они чуяли друг в друге человеков и не смущались, что жили, как брошенные, одни в своей деревне без всего света. Из каждой хаты видно небо, а с неба виден весь свет. И в тихую ночь можно слышать все голоса, как перекликаются люди друг с другом по земле.

И прошел раз слух: объявились гдей-то вражьи дети и выворачивают будто пузо земли наружу кишками и печенками. Всю пакость нутреную будто даром показывают всем на потеху и утешенье. Отреклись они от Бога и врага рода человеческого, опередили их и задумали переворотить мир и показать всем, что он есть пакость и потеха. Нужно, дескать, самим сделать другую землю сначала.

Заухмылялся Ерик с народом: Бог с врагом — давно други и сватья, ад с раем всегда перекликаются. И хоть вражьи дети задумали дело такое, да сами-то на врага не похожи — не то хуже, не то лучше.

На Егорьев день появилась на небе прорубь, высунулась оттуда насмешливая голая голова и опять спряталась.

— Ах, враг тебя нанюхай, — хохотали мужики.

Вечером девки пошли хороводом и пели до полночи над прудом. Ждали других женихов, не своих ребят с оголтелыми рожами.

Дней через пять обломилось небо и выворотилась земля. Полилась отовсюду пакость и нечистота. Все увидели, что такое был белый свет, и насмеялись над ним.

Мир кончился потешением и радостью. Земля и небо оказались пакостью, курником, и никому не были больше надобны. Ериков полк наделал делов.

Ночью все пропало, и очутились люди близко друг к другу, и остались навсегда одни.

Воротились с пустыми руками пастухи и вдарили в жалейки.

Одно дело кончилось, а другое началось.

<1921>

ПОЭМА МЫСЛИ

На земле так тихо, что падают звезды. В своем сердце мы носим свою тоску и жажду невозможного. Сердце это корень, из которого растет и растет человек, это обитель вечной надежды и влюбленности. Самое большое чудо — это то, что мы все еще живы, живы в холодной бездне, в черной пустынной яме, полной звезд и костров. В хаосе, где бьются планеты друг о друга, как барабаны, где взрываются солнца, где крутится вихрем пламенная пучина, мы еще веселее живем. Но все изменяется, все предается могучей работе. Вот мы сидим и думаем. Если бы вы были счастливы, вы не пришли бы сюда. Холодный пустынный ветер обнимает землю, и люди жмутся друг к другу; каждый шепчет другому про свое отчаяние и надежду, про свое сомнение, и другой слушает его, как мертвец. Каждый узнает в другом свое сердце, и он слушает и слушает.

Если мир такой, какой он есть, это хорошо. И мы живем и радуемся, потому что душа человека всегда жених, ищущий свою невесту. Наша жизнь — всегда влюбленность, высокий пламенный цвет, которому мало влаги во

всей вселенной. Но есть тайная, сокровенная мысль, есть в нас глубокий колодезь. Мы там видим, что и эта жизнь, этот мир мог бы быть иным — лучшим и чудесным, чем есть. Есть бесконечность путей, а мы идем только по одному. Другие пути лежат пустынными и просторными, на них никого нет. Мы же идем смеющейся любящей толпой по одной случайной дороге. А есть другие, прямые и дальние дороги. И мы могли бы идти по ним. Вселенная могла бы быть иной, и человек мог бы поворотить ее на лучшую дорогу. Но этого нет и, может, не будет. От такой мысли захлопывается сердце и замораживается жизнь. Все могло бы быть иным, лучшим и высшим, и никогда не будет.

Почему же не может спастись мир, то есть перейти на иную дорогу; почему он так волнуется, изменяется, но стоит на месте?

Потому что не может прийти к нему спаситель и, когда приходит, если придет, не сможет жить в этом мире, чтобы спасти его.

Но хочет ли мир своего спасения? Может, ему ничего не нужно кроме себя, и он доволен, доволен, как положенный в гроб.

Но смотрите. Мы люди, мы часть этого белого света, и как мы томимся. Всегда едим, и снова хотим есть. Любим, забываем и опять влюбляемся своей огненной кровью. Растет и томится былинка, загорается и тухнет звезда, рождается, смеется и умирает человек. Но это все видимость, обманчивое облако жизни.

Но вот когда жизнь напрягается до небес, наполняется до краев, доходит до своего предела, тогда она не хочет себя. Вечером тишина смертельна. Песня девушки и странника невыразима, душа человека не терпит себя. Небо днем серое, но ночью оно светится, как дно колодца, — и нельзя на него смотреть.

Великая жизнь не может быть длиннее мига. Жизнь это вспышка восторга — и снова пучина, где перепутаны и открыты дороги во все концы бесконечности.

Мир тревожен, истомлен и гневен оттого, что взорвался и не потух после мига, после света, который осветил все

глубины до дна, а тлеет и тлеет, горит и не горит, и будет остывать всю вечность.

В этом одном его грех. После смертельной высоты жизни — любви и ясновидящей мысли — жизнь наполняется и сосуд ее должен быть опрокинут. Такой человек все полюбил и познал до последнего восторга, и его тело рвется пламенной силой восторга. Больше ему делать нечего.

Мир не живет, а тлеет. В этом его преступление и неискупимый грех. Ибо жизнь не должна быть длиннее мига, чем дальше жизнь, тем она тяжелее. Сейчас вселенная стоит на прямой дороге в ад. В траве и человеке гуще и гуще стелется безумие. Множатся тайны, и уже не пробивает их таран мысли. От муки чище и прекрасней лицо вселенной, молчаливей тишина по вечерам, но не хватает в сердце любви для них.

Зачем вспыхнуло солнце и горит и горит? Оно должно бы стать синим от пламени и не пережить мига.

Вселенная — пламенное мгновение, прорвавшееся и перестроившее хаос. Но сила вселенной — тогда сила, когда она сосредоточена в одном ударе.

<1920–1921>

В ЗВЕЗДНОЙ ПУСТЫНЕ

Тих под пустынею звездною
Странника избранный путь.
В даль до конца неизвестную
Белые крылья влекут.

День и ночь и всю вечность плывут и плывут над землей облака. Дома, под крышей мастерской, везде, где неба не видно, мы знаем, что есть облака.

Если небо просторно, пустынно и солнце от зноя стоит, в нашем сердце идут облака. Их шорох, как тихая вечная музыка, которая гонит надежду. И не знаешь, что лучше, этот тоскующий шелест или пустынная радость, когда нечего больше желать. Путь облаков тих, как дыхание, как неспетая, несложенная песня, слова которой втайне знаешь.

Облака, звезды и солнце идут в одну сторону. В этой безумной и кроткой неутомимости, в этом беге в бесконечность есть тоска, есть невозможность, и от нее рвется душа.

Есть мысль: Земля — небесная звезда. В ней больше восторга и свободы, чем в целой жизни.

Сама мысль есть уже не жизнь, а больше жизни. От ее пришествия вспыхивают самые далекие миры.

Мысль не знает страдания и радости, она знает одно, что есть неизвестное. Она может восстать и на истину, если эта истина не нужна человеку.

Был глубокий вечер и звезды. От звезд земля казалась голубой. Звезды стояли. Игнат Чагов шел один в поле.

Далеко дышал город, который Чагов так любил за его мощные машины, за красивых, безумных товарищей, за музыку, которую вечером слышно в полях, за всю боль и за восстание на вселенную, которое в близкие годы вспыхнет по всей земле.

Он не мог видеть равнодушно всю эту нестерпимую, рыдающую красоту мира. Ее надо или уничтожить, или с ней слиться. Стоять отдельно нельзя. Подними только голову, и радостная мука войдет в тебя. Звезды идут и идут, а мы не с ними, и они нас не знают.

И неимоверная жажда труда и страданий загорелась во всем теле. Мускулы надувались буграми, мысль билась, как горная птица в детской клетке. И небо было ниже, тяжелые камни оседали на дно, и мир стоял, как голубой и легкий призрак, он был разгадан. Звезды останавливались. Но Чагов знал, что это ложь, внутренняя игра его несметных человеческих сил, и до истины всем далеко. Но человеку нужна не истина, а что-то больше ее. Чагов смутно чувствовал — что, но не мог сказать, только слепая радость вздувалась в нем от смутного сознания, что нет невозможного, что невозможное можно сделать, как делают машины, одолевающие и превосходящие законы природы.

Днем сегодня прошел дождь, и после земля была как под стеклом. Теперь, ночью, леса глубоко запустили в нее корни и неподвижно молчат верхушками. Реки текут тише,

чем днем, и далеко, на краю поля, светит и не светит костер заночевавшего в курене человека.

И по всей вселенной текла сладкая влага жизни и наслаждений, истомляющая невыносимая боль.

Все застыло в покое и благе.

Со всех довольно того, что есть.

Обрывы оврага остро глядели в небо, как в каменную, непреодолимую пустоту. Черные четкие глиняные глыбы лежали мертвые и безнадежные. Они должны воскреснуть или взорваться.

Вселенная — это радость, позабывшая смеяться. Она — невзорванная гора на нашей дороге. И зарницы мысли рвут покой и радость и угрожают довольному миру пламенем и разрушением до конца, до последнего червя.

Мы никого не забудем.

Сейчас, в эту минуту, по всем слободам, окружающим город, на полу, на нарах, по сенцам спят грязные, замученные, голодные люди. Это черная масса мастеровых, людей с чугунными мышцами и с хрустальной ясностью сознания.

Днем они шевелятся у станков и моторов. Ночью спят без снов и почти без дыхания, со смертной усталостью.

Чагов чувствовал, что он — это они, спящие сейчас, как трупы. Они недовольны миром, для них мир не загадка, а куча железного лома, из которого надо сделать двигатель. Этот двигатель увезет нас всех отсюда, из этой тоскливой пустыни, где смерть и труд и так мало музыки и мысли.

Рабочие и днем живут наполовину. Глубоко в материю, в железо мы запускаем свои души, и материя томит нас работой, как сатана. Чтобы мы ожили, материя, мир, вся вселенная должны быть уничтожены. Больше нет спасения. Ни одной двери для нас не оставлено, их надо проломать руками.

От вечернего до утреннего гудка мы томимся сном. И сон для нас не облегчение, не отдых, а непосильная работа: мы растрачиваем, мы одолеваем во сне время и не получаем за это ничего. Мы забываемся, а наш враг — вселенная все время живет и усиливается.

Сон — это отступление рабочих масс перед освирепевшим миром, душащим тело усталостью.

Мы изнурены черным зноем работы, мы не чуем себя, а спасения еще не видно. Никогда, ни в одном из нас не шевельнулась сладкая-сладкая боль, боль любви к женщине.

Мы — сознающие, мы видящие, и мы принялись за самую тяжелую работу.

Пусть те, кто дети, играют в песке и думают, что мир им мать, а жизнь — влюбленность.

Душа наша — ненависть. И ненависть наша так велика, что она перерастет и захлестнет собою мир.

На земле, на далеких невидных планетах растут и растут ненавидящие рабочие массы. Труд и есть ненависть. Эта ненависть есть динамит вселенной. Мы растем и множимся без конца — и спасем себя только мы сами, мы все, а не самые умные среди нас. Мы умны и могучи, когда вместе; в одиночку мы погибаем.

Мы — Масса, единое существо, родившееся из человека, но мы и не человек, и человеческого в нас нет ничего. И на солнце я чувствовал бы всех в себе и не был одиноким.

Масса, новое вселенское существо, родилась. Она копит в труде свою ненависть, чтобы разбрызгать ею звезды и освободиться. В ее бездне-душе всегда музыка, всегда песнь освобождения и жажды бессмертия и неимоверной мощи.

И это чувствовал в себе Чагов. Всегда в нем пела и тосковала душа, и было легко жить в этой обреченной звездной пустыне, окруженным синими манящими безднами, машинами и товарищами.

— В безнадежности надеяться, — прошептал Чагов и улыбнулся.

Жизнь в нем была так велика, что он всегда смеялся, когда говорили смешное или несуразное, как бы он ни тосковал в это время.

Ночь шла и не проходила. Чагов сидел на дне оврага, и легко, бессознательно играла в нем мысль, как кровь била по жилам.

Потоки звезд шли над ним. Один раз тень беззвучной, молчащей птицы скользнула по траве, по белому серебру росы. Внутри его все затихло, и он прислушался, перестал

дышать и замер, как зверь. Потом пощупал руки, способные разорвать пасть льва, и засмеялся.

Вместе с кровью и теплом шла в его теле вольная мысль и делала за него работу познания. В такие минуты он бессознательно и без желания был ясновидящим. Может быть, потому, что сам мир только прозрачная, беззвучная ясность и наша воля, наш труд, наше сомнение затемняют его.

В черной еле шевелящейся Массе механиков и мастеровых мысль также текла из глубин тела и не управлялась сознанием, а была стихией и бурей.

И иногда, редко, тайно от самих себя, при безумных взрывах энергии в машинах и в Массе, мы смутно ощущали эту податливую, слишком покорную мягкость материи, и наша энергия, не находя мощного сопротивления, нечаянно уходила на разрушения, уносилась, как гранитная глыба в пустом пространстве, удваивая скорость с каждым моментом.

Мы тогда напрягались, регуляторы ставили на полную скорость, мы размахивались и ударяли в пустоту и сами падали.

Может, нету мира. Но машины дробили металл, подшипники накалялись, моторы выли, и здания от них дрожали — и мы сомневались.

Но в такие минуты нас схватывала тоска, и мы сокращали напор энергии, под нами исчезала материя.

Чагов вспомнил эти миги, когда машины перегружали сверх нормы до невозможного, когда в кочегарках плавились дверцы топок, и динамо ревела, и между проводами вспыхивали молнии, когда забывалась наука и выступало человеческое безумие и вера в свои машины, в сознательность организованного металла, в товарищество жизни с материей; и над всем телом Массы, слившейся с машинами, бегал, и охватывал, и пронизывал его электрический ток — разум работающей Массы, урегулированная, точная мысль, новое, великое сознание.

На вершинах труда исчезает мир, и ты свободен, и тебе не страшно. Не пустыня кругом тебя, а убегающие от тебя звезды. Ты свободен, ты больше не ненавидишь, не любишь

и не мыслишь. Ты только знаешь. И другая, неведомая сила взорвется в тебе, какой тут нет имени.

Нежно и тонко где-то далеко запела птичка, будто заплакал ребенок. Чагов посмотрел на небо, на тишину, и старая боль от нестерпимой зовущей красоты вселенной впилась в него. Будто позвала она его, как девушка, которую Чагов всегда любил и которой не было на свете:

— Родной мой.

И он заплакал, как одинокий древний человек. Звезды в мраке качались, как цветы, и оседала густая роса.

Чагов поднялся и вышел из оврага. Далеко также горел и не потухал костер уснувшего человека. Выл гудок на заводе, распуская ночную смену, и тяжело дышала паром электрическая станция. Он вспомнил машины, великих товарищей, спящих до утреннего гудка, и засмеялся от радости и надежды.

— Мы идем к тебе, неведомый мир, мы очарованы тобой, и мы никогда не умрем.

Чагов вытянулся, кровь хлынула от сердца, и он задрожал от силы и бессмертия.

Внезапная, страшная мысль ударила его. Он остановился и потер руки.

Он долго не мог понять, что ему делать и нужно ли теперь идти в город, нужно ли работать. Красная звезда пробичевала небо и бесшумно исчезла в пустоте, озарив смутные дороги и какого-то человека на них.

Больше ничего не было видно.

Чагов очнулся. Низко блестел поздний месяц. Мертвая земля лежала без конца. Спали в городе товарищи.

В этот миг могла случиться страшная катастрофа, и никто бы не спасся. Человечество увидело бы только иной сон. Один Чагов больше не увидел бы сна и бился бы один с разбушевавшимся миром до конца, до смерти в восторге. И может, победил бы и увидел последний, бесконечный сон.

Чагов понял свою внезапную пронесшуюся мысль.

— А что если и мысль, и жажда истины есть только та же простая сила, как голод или ритмическое колебание крови в теле, только хорошо организованная, высшая форма этой

простейшей силы... И поэтому мысль и истина — ничтожество в бездонной пучине вселенной, вселенная имеет более великие ценности, неизвестные человеку. Тогда работа Масс не имеет того смысла и цели, какие мы думаем, тогда сама полная победа Масс над природой есть только победа природы же над своим неравновесием, а не победа внешней силы — человечества — ради человечества. Тогда все это слишком ничтожно и потому ненужно.

Мысль есть жизнь моего тела, и тело произвело мысль ради себя, а земля произвела тело ради себя.

Чагов пошел.

— А тогда мы-то на что? Мы восстанем и на это, раз это так, но не обманемся и биться за ложь, за мечту не будем. Тогда мы восстанем и на мысль, и на истину, и на себя, но добьемся конца.

Без усилия, без муки, вольно и высоко вскинулся в нем живой неистребимый дух, строящий надежды и радость везде, где есть тьма и сомнение. И он неуловимо, безмолвно и без мысли понял свою правду и пошел к городу быстро и свободно, не чуя себя.

Город горел в электричестве.

Чагов оглянулся. Также горел на краю поля костер, может, уже ушедшего человека, но он был так далеко, будто на небе, и звезды были рядом с меркнущим огоньком.

Тихо подошел к Чагову из темноты человек и обнял его. Чагов ответил и поцеловал его. Человек заплакал.

— Что с тобой, товарищ?

Человек опомнился и заговорил:

— Я хочу для тебя сделать что-нибудь, я пришел поклониться... Я ходил всю ночь по городу, и никого нигде нету. Я бросился в поле... Я от любви не могу жить и спать...

Его тонкие руки зашелестели по волосам Чагова. Чагов понял: в последнее время, время накануне восстания Масс на вселенную, много стало таких людей, которые поклонялись человеку, молились на него и часто умирали от своей безысходной, невыносимой любви.

Светало. Чагов пришел в общежитие и сел за стол за чертежи любимой машины, за свой великий проект, который он творил, как поэму. В нем опять запела музыка, и его ге-

ройская человеческая душа заиграла в железной неоконченной поэме.

Поднялось солнце, и сразу по одной команде заревели тысячи гудков.

<1921>

ВОЛОДЬКИН МУЖ

Машинист компаунд-машины «О» окончательно в разделку расторговался нефтью. Дальше хоть на волах тащи состав. Лил он бабам нефть прямо в корчажки, в чугуны, в дежки — во все, что имеет некоторую закупоренность, пустоту и что можно втупор же опорожнить от еды.

Почитай, вся волость тащила и волокла провиант и даже амуницию к карьеру, где грузился песок, на паровоз к Володькину мужу.

Володькин муж — это есть машинист. Прозвали его так потому, что он был как раз Володькин муж, на него и похож. Володькин муж брал все — не то что молоко там иль муку, а и всякое барахло, кофты, оловянные серьги, щи, монисто, пеньку, кочерыжки, а за сотку нефти просто целовал и щупал девок какие пожирней — тем и расквитывался по совести и тем никого не обижал.

Около паровоза, когда приезжал Володькин муж, всегда стоял табор народонаселения, тут пели песни и зажигали костры, когда вечерело. А девки ходили хороводом, аж подпрыгивали сиськи:

У Володькинова мужа
Забурчало с квасу пузо,
Не ерошь, не трожь Маланью,
Паровоз топи сметаной.

Володькин муж, упористый, невеликий ростом мужчина, стоял на тендере и от ублаготворения тихо и не спеша ухмылялся, ерихонился, и в утробе его тихо переливалось и прело продовольствие. За этот день он почавкал столько, что живот распух и пупок пропал: вся кожа на работу пошла.

— Хоть бы понос аль рвота прохватила, што ль, — думал уж Володькин муж. — А то што ж невтерпеж, ни вздохнуть ни рыгнуть...

И вдруг он рыгнул. Задремавшая было около тормозного рычага сваха Пелагеюшка аж привскочила, схватилась за юбку и одернула ее:

— Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!.. За упокой новопреставленной Натальи, Федулы со чадами...

Горел костер, и отсвечивала гололыдая луна.

Сваха Пелагеюшка икнула и перекрестила во имя Отца и Сына и Святого Духа рот:

— Што, бабка! — опять с рыготиной вырвалось у Володькиного мужа, — ай поминает кто?

— Поминает, касатик, поминает. Поминушки у побирушки.

— Вот же вот. А меня поминает, аж кишка выпирает.

— Да это ты, касатик, обтрескался.

К Володькину мужу подошла какая-то цигарка. Оказался толстый и косой мужчина при жилетке и при часах. Муж стих.

— Слухай, Володимир супруг, меняй паровик!

— Што ты, черт, сколбасился?

— Суть тебе говорю. Полный сурьез мерикандую в карикатическом смысле...

— Што ты, дьявол, чертилин жлоб! Бельмастая гнида, плюху захотел!..

— Ей-ей нет... Очухайся! Сколь мучицы простого размола, если уж рассказывать так, а?

Володькин муж глянул ему в рожу, на архирея похож и воняет от него псиной какой-то.

— Постой, свечка, дай раскину...

— Ничего, с обожданием сурьезней.

Подошла бабка с творогом.

— Не ливанешь гаску, родитель?

— Валяй, валяй, еруха! Гас у меня за гашником.

Косой мужчина при жилетке вертел другую цигарку и думал о богородице.

— Ну даешь!.. твое-мое, а мое у цыгана в сундуке, зимой в бредне... Ну, посусоль палец — и отмачивай!..

— Мыслительный вы человек, Володимир супруг, раздва — и за кокошник. Десять, што ль, и без никаких! Как вы соображаете?

— Эх, да крой полным ходом без жезла, ошарашка! Звизнуть бы тебе, чтоб сычуг лопнул, мать твоя жабье брюхо... Песню мне теперь охота, аж чтоб ветер в звездах свиристел.

— А это можно певунью-мадамочку предоставить, — преподобно сказал косой. Клонилась и холодела луна, и охаживали руки в боки девки.

От Володькинова мужа
Бурчит пузо штой-та дюже,
Ай ты, пузо, не ори,
Ты партков ему не рви.

<1921>

ЗАМЕТКИ

1. В полях

Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечные пространства, далекие темные деревни, и одна звезда над головою в мутной, смертельной мгле... Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все — далеко. Если вглядишься в звезду, то ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки — так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности — это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание, мне кажется, что я лечу, и только светится недостижимое дно колодца, и стены пропасти не движутся от полета. От вздоха в таком просторе разрывается сердце, от взгляда в провал между звезд становишься бессмертным.

А кругом поле, овраги, волки и деревни. И все это чудесно, невыразимо, и можно вытерпеть всю вечность с великой, неимоверной любовью в сердце к тому пропавшему

навсегда страннику, который прошел раз мимо нашего дома летним вечером, когда пели сверчки под завалинками. Странник прошел, и я не разглядел ни его лица, ни сумки, и я забыл, когда это было, — мне было три или семь лет или пятнадцать. Сердце навсегда может быть пораженным похилившейся избенкой на краю деревни, и ты не забудешь, не разлюбишь ее никогда, каким бы ты мудрым и бессмертным ни стал, куда бы ни ушел. Я и на Солнце и на Сатурне не забуду этого лога, этой ночи и смертной тишины. Все мне дорого, ничего нельзя забыть и оставить; и каждой рытвине, каждому столбу и далекому человеку, пропадающему на дороге, я говорю: я возвращусь.

Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого приснившийся тайный образ во сне, у третьего печная дверка или весенний тоскующий ветер. Я знал человека, который заглушал свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем. Он любил невозможное и неизъяснимое, что всегда рвется в мир и не сможет никогда родиться.

Я сейчас вспомнил этого человека и должен его встретить в этом логу. Вон — далекий огонь. Костер или хата. Я озяб, изголодался, пойду поговорить с людьми и увидеть между ними того, вспыхнувшего в сердце человека.

2. Бог человека

Самый старый и настоящий бог на свете — пузо, а не субтильный небесный дух. В водовороте и горенье кишок — великая тайна, в рычании газов слышатся святые песнопения и некое благоухание и тихое умиротворение.

Живот — храм человека, живот — обитель радости и человеческой доброты.

Пузо — воротило всех дел. Все другое и остальное растет из пуза и им направляется по верным путям спасения. Без пуза погибать бы всем.

Вся земля только и движется пузом, ибо, когда стонут и поют кишки, человек делается чудотворцем.

Он, к примеру, сделает машину и начнет ею колотить горы, чтобы правильнее ветры дули и лились дожди, он еще

возьмет и узнает, как сделалась земля, чтобы ее переделать, а без пуза ничего бы он не сделал, ничего бы не нужно ему было, потому что человек думает и работает от мучения, а мучение бывает, когда визжат кишки.

Вот, для показа, как идут дела в царстве живота.

Шел я по большому селу. Стоят хаты, стоит тишь, бабы в окна поглядывают (старые, стервы!), дремлет и замирает отощавшая лошадь у плетня. Милая моя, ты чище и грустнее человека: голодная почти до смерти, а стоишь молчишь, мужик бы бабу начал колотить, ребят пороть и сейчас же выдумал бы небесного бога — спасителя, а ты — молчишь. Спасибо тебе, лошадь, ты одна не имеешь богов, а без богов живут только сами боги.

Вон мужик шел-шел и остановился — уставился на меня и глядит, а баба его аж через плетень свесилась. И оба кротко молчат. Хорошие они, в сущности, люди — живут по-лошадиному.

На одном окне я заметил наклейку. На удивительно чистом и большом листе бумаги были изображены слова: «Вот тут, апосля вечернего благовестия, в Брехунах, за одну картошку кажный сможет узреть весьма антиресную лампаду — стоячий липистрический огонь, свет святой, но неестественный можно сказать, пламя. Руками его щупать будет смертоубийство...»

Дальше на листе были длинные рассуждения, целый циркуляр с пунктами о том, откуда на земле свет, и почему бывают волдыри от ожогов, и где живет Ананьевна, заговаривающая всякое пупырчатое тело. А в самом низу было экономически причерчено: «А на Покров Феклуша Мымриха пойдет телешом, и снимет капоты для удовольствия, и покажет живое тело за одно денное прокормление...»

<1921>

НЕВОЗМОЖНОЕ

Я не доклад собираюсь читать, а просто, с возможной краткостью и простотой, по-евангельски, расскажу вам про жизнь одного человека, моего товарища, — про эту жизнь,

начавшуюся так богато и удивительно и кончившуюся так чудесно. По сравнению с этой короткой жизнью жизни Христов, Магометов и Будд — насмешка, театральность, напыщенность и скучные анекдоты.

Вместо теории, вместо головной выдумки, пусть строгой и красивой, я беру факт действительности и им бью, и мне никто не сможет ответить равным по силе ударом. Моя роль сводится к роли простого рассказчика.

Я не знаю, буду ли я рассказывать о любви или о другой, более мощной, более чудесной и еще никому не ведомой силе. Мне думается, что я буду говорить о чем-то другом, но я это другое и называю любовью, смеясь над тем обыденным физиологическим явлением, которое называют все любовью. Дело не в слове. Любовь — прекрасное певучее слово, и я назвал ее именем тот мир, которым я был недавно на всю жизнь поражен, который переродил меня, и я его никогда не забуду.

У шведского физика Аррениуса есть красивая, поразительная гипотеза о происхождении жизни на земле. По его догадке — жизнь не местное, не земное явление, а через эфирные неимоверные пространства переправлена к нам с других планет в виде колоний мельчайших и простейших организмов. Ведь известно, чем ниже организм, чем проще его структура, тем он выносливее к жару, к холоду, к истреблению и т. д. В холоде межпланетных пространств такие организмы несутся в обмершем состоянии и, встретясь с землей, оживают, частично приспособляясь к новым для них условиям. Исследования над жизнью микроорганизмов и теоретические дальнейшие выводы из этих исследований привели к тому, что жизнь на Солнце в его адской, ужасающей температуре вполне возможна, так же, как и в мертвой пустоте эфира, и на лунных кратерах. Общий вывод отсюда такой: нет таких условий во вселенной, к каким бы жизнь не могла приспособиться. Если эти условия гибельны, катастрофичны, то жизнь упрощается до неимоверно малого, чем повышает свою устойчивость и выносливость, и тем спасается. Может быть, атомы и атомы атомов — электроны есть те же микроорганизмы, только предельного, начального типа, так как они выносят уже любые

вселенские условия и при лучших условиях они как-то синтезируются, усложняются, вступают во взаимную связь и т. д., но при ухудшении этих условий они опять разрушают свои постройки и отступают до первичного тела — электрона, могущественнейшего из всех конструкций мира, потому что самого простого, так как в нем минимум конструкции — и разрушительным стихиям остается очень маленькое, узкое поле для действия.

Что же перевезло по эфиру эту пыль жизни с звезд на Землю? Что служило им транспортом? Я предполагаю — свет. Свет имеет давление около миллиграмма на один квадратный метр. Вот, пользуясь этим давлением, как ветром в океане, эти тельца жизни и переплыли эфирную бездну. Парусами им служили их же тела, а источником светового ветра и начальным направляющим пунктом его — Солнце.

Но как они смогли отойти от Солнца, т. е. преодолеть его притяжение? Но тяготение зависит от массы, а масса такого микроорганизма близка к нулю, и световые волны, идущие от Солнца, оказываются сильнее солнечного тяготения и преодолевают его. Кроме того, тут играют роль протуберанцы — солнечные пламенные ураганы, на десятки и сотни тысяч километров вздымающиеся от поверхности Солнца. Микроорганизм, попавший в такой вихрь, отделяется от Солнца, а ведь сила тяготения ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния. Значит, действие Солнца как ветра усиливается по мере того, чем дальше тело от Солнца, так как световая волна меньше там затрачивается на погашение обратной ей силы — солнечного притяжения.

Вообще говоря, если жизнь не земного происхождения, то только солнечного. Эти микроорганизмы приплыли по эфиру к нам с Солнца — и больше ниоткуда. Иначе нельзя понять механизм их транспортирования. А аппаратом, переправившим их к нам, служит свет. А вся Земля в сфере господства только солнечного света и только в крайне незначительной степени — в сфере света других солнц — далеких звезд. Так что получение жизни со звезд маловероятно или вероятно только в неимоверно малой доле.

Жизнь — солнечного происхождения. Мы потомки Солнца — не в переносном смысле, а в прямом — физическом. Но жизнь не только перенесена солнечным светом, она сама — свет в физическом смысле. Ибо атом есть, по выводам науки, система электронов, а свет есть электромагнитное переменное поле с частотой перемен — периодов в секунду около 5 000 000 000 000 000 (пятьсот триллионов) и длиной волны в 0,6 микрон. Нет тела, состоящего не из атомов, а атомов — не из электронов, а электрон есть элемент света. И очень вероятно будет то предположение, что Земля не получала вообще никаких готовых микроорганизмов, а получала и получает один свет и из этого света уже сама образует жизнь в близком и понятном нам смысле, сообразно своим условиям.

Само пространство, по новейшим учениям, электромагнитной природы, т. е. родственно свету или просто свет, так как и свет есть только электромагнитное переменное поле. И этот свет-пространство есть купель жизни; из света делается жизнь на каждой планете, и светом она питается и возобновляется. Тут волнует и вспоминается старое библейское предание и восточные и египетские религии о происхождении всего из света, о боге света и добра — Ормузде. Только тогда было проникнуто в эту тайну верой и интуицией, а мы подошли к нему через знание. Все-таки, как мало мы имеем права смеяться над верованиями древнего человечества!

Свет заслуживает главного внимания всей науки всего земного человечества; вся техника сведется в конце концов к светотехнике. Вся промышленность, экономика, культура, весь дух человечества революционно изменятся светом, т. е. когда мы сумеем утилизовать энергию света как двигательную силу для наших машин. Однажды изобретенный прибор, который можно будет установить на любом из этих столов, произведет такую революцию, перед которой все бывшие революции человечества — ничто. Ибо тогда будет найден способ овладения универсальной мировой энергией — светом и будет найдено другое его использование для нужд человека. Работы в этом направлении уже ведутся, и уже достигнуты громадные результаты.

Прибор этот, названный фотоэлектромагнитным резонатором-трансформатором, играет роль преобразователя света в обыкновенный рабочий электрический ток, которым могли бы работать наши электромоторы, а свет, т. е. переменное электромагнитное поле с такой частотой перемен и такой длиной волны, как было указано, конечно, не годится для целей промышленности. С изобретением такого прибора будет окончательно решен энергетический вопрос рабочего человечества, ибо свет не поддается исчислению в мощности как энергия. Вся бесконечность, как учит наука, есть свет, есть сфера электромагнитных содроганий. Значит, мы запряжем тогда и в наши станки бесконечность в точном смысле слова. И этим решим великий и первый вопрос человечества — энергетический вопрос. Нерешенность его — причина всех зол. Все злое происходит на земле от недостатка свободной, сейчас же годной в работу энергии, которую не надо добывать тяжким трудом. Свет есть такая энергия, которую не надо руками выкапывать из земли, эта энергия только проходит через известный прибор и превращается, выходя из него, в наш рабочий электрический ток с частотой перемен уже не 500 триллионов раз в секунду, а только 50 и т. д.

Овладев светом, человечество будет почти всемогущим, и история его переступит решающую черту. Изобретение прибора, превращающего свет в рабочий ток, откроет эру света в экономике и технике и эру свободы в духе, ибо человек только тогда освобожден будет от труда — работы, от боя с материей и предастся творчеству и любви, о которой я сейчас буду читать.

Я буду читать о своем лучшем друге, теперь уже не живущем, давшем мне лучший пример жизни и открывшем нечаянно для самого себя чудо, от которого он и погиб для жизни и может воскреснуть где-то в иной *<далее часть листа утрачена>*.

Что вселенных много, и совершенно оригинальных, к этому подходит даже современная наука. В этом нет ничего сверхъестественного. Напротив, естественное, природа — есть всегда нечто более смелое и гениальное, чем самая вольная человеческая мечта. Только теперь мы начи-

нам понимать это. Так что, говоря о другой вселенной, я мыслю о ней, как о невообразимой для меня действительности, но именно действительности, факте.

И вот родился раз человек, радостный, простой и совсем родной земле, без конца влюбленный в звезды, в утренние облака и в человека; влюбленный не мыслью, а кровью. Раз мы стояли с ним в поле ранним летним утром. На востоке в нежном невыразимом свете горела одна пышная последняя голубая звезда, и на нее неслись и неслись без ветра, в великой утренней тишине, неуловимые, почти несуществующие облака. В этот час все дороги в поле были пусты и прямо и недвижно стояла полными колосьями рожь. Далекий город не начинал еще греметь. Это был час полета облаков и тихого света. Я узнал тогда, что полная тишина есть вселенская музыка, и слушать ее можно без конца, и позабыть жить. Мы стояли очарованные и почти плакали от восторга. Облака умерли, и уже летели другие навстречу солнцу и сгорали в утреннем свете солнца и последней звезды. Эта звезда светилась и сквозь облака. Мы тогда поняли, как много неземного на земле, как в нашу тяжелую вселенную врезаются другие, неведомые, чуждые и легкие, как свет и дыхание, миры. Тогда у нас обоих родилась мысль о свете как об энергии, которой можно напитать и спасти человечество, и вывести его на путь борьбы с этой вселенной, и победить ее, сделать человеческой обителью. Именно тому другу моему принадлежала первая мысль, а после — блестящая теоретическая разработка вопроса о постройке фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора, преобразующего свет в ток. Он был по работе электриком, но не только им. Ничему почти не учившись, он обо всем догадывался и все знал. Это был почти не человек — легкий, ласковый и радостный днем, он рыдал по ночам оттого, что жизнь и человек *такие*, когда так легко можно быть иными и лучшими. Он воображал себе самую обыкновенную человеческую жизнь, воображал до того, что видел около своей койки на самом деле эту жизнь, прямо глазами, и видел, как безнадежна, мучительна и нестерпима такая жизнь и как она невозможна в таком мире, где есть свет и утренние

облака, где есть предчувствие чего-то радостного и невозможного, от чего рвется сердце.

Я помню, какое счастье ему было просыпаться утром и видеть свет в окне, видеть цветы в плошках и солнечное сияние на вершине тополя у соседнего дома.

— Вот, понимаешь, — говорил он, — не могу переносить света просто, не могу видеть ночью звезды, — такая тоска и истома подымаются в душе, как будто что-то дорогое утрачено невозвратно.

Свет был его радостию и предчувствием. Но больше света и звезд он любил луну — этот тихий, сокровенный и вещий свет. В лунные ночи он метался по улицам, разговаривал с людьми; раз при мне поцеловал какую-то женщину и за это был избит ее спутником в кровь медным набалдашником палки.

Луна делала его лучшим и безумным. В такие минуты он постигал и видел все. Его кровная связь с миром была могущественна как ни у кого, и мир говорил ему о себе все, — ему не надо было читать книжек и ходить в университеты. Он был рожден в самом центре, в самом тугом узле вселенной и видел невольно и без усилий поддонный, скрытый и истинный образ мира. Все ему было открыто, все тайные глухие двери распахнуты, как для любимого сына, но он ничего не брал, никуда не шел, ничем не пользовался, а жил, как все, и только любовался по-своему.

Музыка приводила его в исступление. Больше всего он любил Лунную сонату Бетховена. И если он всегда жил, как пьяный и безумный, то после Лунной сонаты он уходил в странствие и пропадал по неделям.

Он мог не двигаться и все-таки переживать все, что делается во вселенной до ее последних пределов.

— Чтобы знать, надо делать руками, — пошло заметил ему раз один товарищ.

— Зачем? Это бессилие — делать, — ответил он, — это бессилие души человека. Не вставая со стула я могу любить, умирать, совершать подвиги и великие работы — и делать это на самом деле и ярче и действительней, чем руками. Для этого надо только иметь душу.

Удивительно он умел работать. В сущности, это был великий и неповторимый лентяй. Он никогда ничего полезного не делал; его кормила какая-то девушка, которая считала его почему-то своим женихом, а он ее — невестой. Но в редкие моменты на него что-то находило, он садился за стол, исписывал каракулями и значками горы бумаги и сваливал после все в сундук, где пропадало это навеки, и он сам не вспоминал никогда о своих работах. После такого труда он бывал каким-то глупым и пустым. Вихрь бешеной работы выматывал из него все до конца, и он медленно наполнялся снова.

Вся его жизнь, как теперь я понял, была предчувствием и подготовкой к чему-то, чего он сам не знал и не предвидел, но чему был обречен.

И раз это случилось. Бездны планов, проектов и целые звездные сонмы фантазий роились в наших головах. Для осуществления любой, самой маленькой из них, требовались тысячелетия. Но мы ими просто играли и дарили их тому, кто первый попросит. Нам было по восемнадцати лет, когда это случилось. Он набрел на столб на дороге — и больше не мог его ни забыть, ни перенести. Он понял этот столб, как нужно по-настоящему понимать человеку все вещи в мире, — и больше ничего.

Странное и невозможное состояние нашло на него. Он не мог больше ходить, есть и думать. Он не мог забыть и просто переварить и перенести в душе пустынной дороги и старого изгнившего столба на ней. Что в нем было в те минуты — я не знаю и не знал, но он не мог больше жить. Ясно и видимо всем шло в нем истребление жизни. Он что-то увидел на той дороге и ходил туда каждый день.

Потом сразу это оборвалось, кончилось, забылось, и он стал прежним. Он опять стал чистым, радостным и задумчивым.

Он забылся в свирепой работе. Фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор под его руками приближался к концу. С изобретением этого аппарата такие вопросы, как междупланетное сообщение, казались пустяками. В свободные ночные минуты он думал о какой-то книге, которую собирался написать, чтобы вообще больше человеку не нужны были ни книги, ни науки, ни такая жизнь.

Смелый и простой, понимающий и безумный, кипящий и зажигающий, всегда тревожный, всегда с открытыми мутными, тоскующими глазами — он был один истинно живой, истинно имеющий душу, среди миллиарда труповавтоматов, называющегося человечеством.

Разбудить его ночью, окрылить и зажечь внезапной мыслью и уговорить его броситься сейчас же на гибель — ничего не стоило. Это был человек, видевший в камнях ураганы, это была густая красная жизнь, не разведенная водой страха и сомнения в себе. Если мир есть окаменелый ураган, то он был ураганом освобожденным, каким мир был когда-то и будет опять.

Мир должен воскреснуть или взорваться, но таким, как есть, он быть не должен и быть не может. Мой товарищ был первой искрой, в которую превратился камень. Он один ходил ожившим, проснувшимся среди еще глубоко спящего мертвого мира.

Вот, недавно, на дорогах нашего мира появился этот неумирающий Агасфер и пропал навсегда, ничего не сделав, присланный сделать все, зажечь или взорвать эту окаменевшую громаду — вселенную, отворить тяжкие двери тайн к вольным пространствам силы и чуда.

Он один был живым и тревожным среди нас, мертвых и спящих. И своим исчезновением, своей смертью он доказал всем, что есть иная вселенная. И по его дороге должны пойти все люди. И там, где мы когда-то летним утром видели свет, звезду и облака, там, где он увидел дорогу и столб, а потом девушку, — там мы увидим все когда-нибудь свое спасение.

Печальный и ласковый странник — Агасфер прошел и показал дорогу, ничего не показывая и не говоря. Мы должны увидеть мир его мутными, тоскующими глазами.

Так это было. Пошли мы раз с ним в один дом, где нас обоих знали. Пришли и сели. В том доме никого не было, кроме дочери нашего общего товарища, — Марии. Все трое мы ничего не говорили, и это молчание нам было легко. Так и должно быть. Есть моменты, когда человек с челове-

ком сливаются в одно своими сокровенными душами, и тогда бывает экстаз. Только через другую душу можно увидеть весь мир, а не через одну свою. Когда люди будут уметь спаиваться в одно при посредстве одного безмолвия — не нужно будет никакого искусства, ибо всякое искусство есть транспортное средство от души к душе. Тогда будет не транспорт, а совмещение.

Мы сидели тем грозным осенним вечером в ласковой маленькой комнате, полной света и музыки далекого рояля (кто-то играл в соседней квартире). Мария сидела, простая и ясная, и глядела в книжку. За окном замерла тьма и шлепал сапогами прохожий. Друг мой сидел и думал. Он не знал, зачем пришел и о чем говорить с этой странной кроткой девушкой. Он, кажется, и не посмотрел на нее ни разу как следует. А она сидела и не чувствовала, какое чудо она вызовет через полчаса; и так проживет и умрет, ничего не узнав, не виновная ни в чем. Так мне казалось тогда.

Потом мы о чем-то говорили, и товарищ мой вдруг наклонился к ней, взглянул в ее тихие чуть поднятые глаза и откинулся в стуле. Через миг он светился. Светился всем телом; свет шел из него; не тот воображаемый глупый поэтический свет, а свет настоящий, какой зажигают в комнатах по вечерам. Такой материальный свет и есть самый чудесный и единственный свет. Сам сын света, весь сотворенный из света, как и каждый из нас, он отдавал теперь свою душу другому человеку, в него входило что-то другое и вытесняло старую душу-свет. Это все покажется сказкой, а я это видел, и это научно верно. Действительность смешнее и фантастичнее фантазии. Человек, думающий, что он знает настоящий мир, глуп: он знает кусок действительности, обрубленный так, чтобы было покойно жить. Дурак он.

Через минуту мы шли уже по улицам, и он, светящийся так, что видны лужи, был смешон и жалок. И встречные люди останавливались и удивлялись. В первый раз по земле, по грязной улице скучного, злого города шел светлый и светящийся человек. В первый раз человек полюбил другого человека; и другой, ясный и мучительный мир, вонзился в этот — и завязалась короткая радостная борьба между любовью и жизнью. Жизнь есть свет в физическом смысле,

и этот свет уходил из моего друга, чтобы могло в него войти другое.

В мертвом мире, при гробовом молчании жизни раздался первый удар, шел светлый вестник катастрофы. И никто ничего не понимал.

— Что с тобой? — спросил я у него.

— Я люблю, — сказал он тихо. — Но я знаю — чего хочу, то невозможно тут, и сердце мое не выдержит. Ты понимаешь? Нет, ты ничего не поймешь. Ты знаешь, как тяжко мне сейчас?

И мы шли и шли ночью около домов, где спали люди от усталости и тоски.

— Чего же ты хочешь?

— О, знаю, — ее хочу! Но не такую. Я не дотронусь до нее. Ни губы, ни груди мне не нужны. Я хочу поцеловать ее душу... Нет, тут ничего невозможно. Этого нельзя сказать. Слово сделано для удобства. Я не знаю, как сказать, и никто никогда ничего про это не скажет ни словом, ни музыкой, ни песней. Это можно иметь, но нельзя об этом рассказать. Этого, я чувствую, никогда ни у кого не было — в первом во мне, и со мной прекратится...

Он замолчал, трудно задышал, и у него от жара шелестели губы.

Прошел теплый мокрый снег, и мы подошли к дому, где он жил. Я зажег лампу. Он сел и тихо заговорил:

— Ее хочу. Но всю такую, какая есть. Не мечту свою я люблю, а ее — с бровями, с платьем, с глупостью — всю такую... Но *тут* это невозможно. Но слушай, я говорю все глупость, я не знаю, что говорю и чего хочу, у меня нет сознания. У меня нет воли дышать...

Он лег на пол, положил голову на дрова и сразу весь померк. Я наклонился и увидел, что его нет. Лежит один мертвый человек, и глаза у него открытые, и эти глаза чужие, и я их никогда не видел.

Он лежал померкший и мирный. Его ураганная, пламенная душа навсегда замерзла в этом теле. Любовь обняла в нем жизнь и задушила ее.

Вошла его невеста, или кто она ему была, и начала скучно плакать.

Я пошел домой. Все кончилось. Любовь в этом мире невозможна, но она одна необходима миру. И кто-нибудь должен погибнуть: или любовь войдет в мир и распаяет его и превратит в пламень и ураган, или любви никто никогда не узнает, а будет один пол, физиология и размножение.

Но нет — пусть любовь невозможна, но она неизбежна и необходима. И мы летим к тому, что всем нам единственно нужно, но что невозможно.

Танец на этой игле есть вечность.

Может, найдется какой чудесный безумец, который решит ту задачу, как сделать любовь возможной в этом мире, не уничтожая жизни.

В моем друге смерть была ослепительной победой, потому что в нем замерло сердце от любви. Любовь поцеловала жизнь смертельным поцелуем и сама исчезла в чуждом всем трупе. Друг мой был честен и делал все до конца.

Я забыл сказать, что и та девушка — Мария — пропала. Друг мой передал, зажег в ней свою душу, смертельно любящую и родную. Она не умерла, а исчезла. Вечный ей путь!

И вот у меня теперь мелькает мысль. Если у людей не хватает честности и гениальности любить друг друга (и не только друг друга, но и всякую вещь, как друг мой любил столб на дороге), если не хватает любви (или не входит та иная вселенная в нашу такими большими кусками), то можно любого насильно заставить любить. (Хотя это не насильно: они сами того хотят, но у них не хватает смелости и свободы.) Для этого надо подойти к вопросу любви технически. Я не догадался тогда исследовать своего друга. Вселенная любви, вошедшая в него, имеет какие-нибудь признаки, носители. Назовем их микробами, возбудителями любви. Что-то в этом виде должно быть обязательно.

Эти микробы надо открыть, исследовать условия их развития, благоприятные для них, потом лабораторно, искусственно создать эти благоприятные условия для их расцвета и развести эти микробы в препаратах, как разводят культуры холеры, тифа и т. п. Тут надо идти чисто экспериментальным путем. Трудно найти только объектов для опытов: за всю человеческую и вселенскую историю их было, кажется, только двое. Я кое-что уже догадываюсь в этой области. Мо-

жет, удастся обойтись и без объектов опытов, т. е. дойти до открытия микробов теоретическим путем, и потом делать их искусственно в несметном количестве на каких-нибудь станках и прививать людям, рассеивать в мире.

Тогда придет истинное светопреставление. Вселенная из камня станет ураганом. Ибо любовь действует не только в людях, но и в материи. Песок, камни и звезды начнут двигаться и падать, потому что ураганная стихия любви войдет в них. Все сгорит, перегорит и изменится. Из камня хлынет пламя; из-под земли вырвется пламенный вихрь и все будет расти и расти, вертеться, греметь, стихать, неистовствовать, потому что вселенная станет любовью, а любовь есть невозможность. А кроме этой невозможности ничего нет. И будет то, чему невозможно быть. И мир будет ураганом выть и гореть в тоске, в смерти, в восторге и экстазе.

Любовь — невозможность. Но она — правда и необходима мне и вам. Пусть будет любовь — невозможность, чем эта ненужная маленькая возможность — жизнь.

<1921>

САТАНА МЫСЛИ

Он был когда-то нежным печальным ребенком, любящим мать, родные плетни и поле и небо над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза.

И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок, и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы.

Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любуется каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.

Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он — рос, и все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром, — ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге.

Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо — все взгляды опустились в землю, все руки были заняты.

Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку.

Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вогулов, седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делая из нее дом человечеству.

Вогулов работал бессменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вогулов десять раз объехал земной шар, организуя работы, проповедуя идею переделки земного шара и зажигая человеческие черные массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара и в океаны и моря для иссле-

дования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых.

План Вогулова был очень прост.

Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом, смена времен года — эти зима, лето и т. д. — замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть земли — на свирепый ветер, песок и бешенство огня.

Земля, с развитием человечества, становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимостью, это стало вопросом дальнейшего роста человечества.

И Вогулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности: через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние (влажность, сухость) зависит от ветров.

Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной, чудесной мощи, чтобы армия рабочих в 20–30 тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималаи. И Вогулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе — и вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия — перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи.

За светом уже начинается другая вселенная, материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Вогулов нашел способ перенапряжения, скучения световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвуща-

яся обратно в мир, к «нормальному» состоянию, со страшной, истребительной, неимоверной, невыразимой числами силой. На ультрасвете Вогулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из Земли дома человечеству.

Ультрасвет попробовали на Карпатах.

В маленький туннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии, — и пламя завыло над Европой, ураган сметал страны, молнии засвирепели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись за облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от Земли. От Карпат не осталось и песчинки на память. Карпаты переселились ближе к звездам. Материя мыслью Вогулова превращалась почти в ничто.

Через месяц то же самое сделали в Азии — с некоторыми участками Хингана и Саян. А еще через месяц в тундрах Сибири уже зацветали робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда, и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов.

Вогулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда было доведена до предела — дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ, как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания. Человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами.

Вогулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженный аппаратами радиосвязи, уже четвертый год. И все беспредельней и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим

взрывам мысли, погибал в этом океане работы, и не видел спасения, и не хотел его. Далекие, великие горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вогулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки, и пел, чтобы опомниться, рабочие песни — других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду,— и Вогулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане, — и мысль Вогулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу — битву далеких миллионов людей.

Вогулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого.

Еще год — и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается равно и всегда температура, нужная для произрастания того растения, какое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику — остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли, она будет мастерской, обителью машин и пашней.

И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вогулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня.

Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Вогулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин и рыдающих детей. Они не

могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивления материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная были им незнакомы. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространства. И Вогулов, не сознавая, родясь таким, развив себя неимоверной, титанической работой, был воплощением того сознания — тверже и упорнее материи, — которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную — без звезд и солнц, — одно ликующее, ослепительное, всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество. Но можно ни творить, ни разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться, и не страдать, и не быть спокойным — это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный.

Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их — ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное, божественное сердце.

И Вогулов начал действовать, медленно и начиная с малого — с перестройки земного шара. Но этого было мало: мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских, непреодолимых сопротивлений.

Вогулов засел за вселенную: эта тайна должна быть наконец разрешена, и разрешена полностью. А познание есть три четверти победы. Он подошел ко вселенной не как поэт и философ, а как рабочий.

Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил, при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипсис, ту строгую форму, в которой заключена наша вселенная. Он всегда думал, что вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму — и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует.

Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи. А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждения о бесконечности есть именно рассуждение, а не факт.

Вогулов нашел очертания, пределы вселенной и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки вселенной: свет как высшее напряжение вселенной, дальше света уже идет уничтожение вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление вселенной безгранично; и вторая критическая точка — инфраэлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения, с волною длиной в бесконечность и частотой периодов один в вечность.

Между этими пределами заключены все остальные переходные формы: теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и др. И эти колебания от света к инфраэлектромагнитному полю очень, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света, электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфраполя и всех переходных форм — одна и та же.

Вогулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется вселенной. Инфраполе необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшись о самого себя, снижается опять до своего полярного полюса — инфраполя. Так, по кольцу, вверх по правой половине, вниз — по левой, колеблется и стучится вселенная в каземате, который есть она же сама.

Инфраполе через миг (неопределимый, неуловимый) уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние.

Инфраполе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковое внутреннее сопротивление в себе — у начальных точек больше, у конечных — меньше, от этого получаются различные скорости, то есть содрогания-волны; интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий пятидесяти в двадцатой

степени в секунду до одного в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий.

И когда Вогулов построил копию вселенной в своей лаборатории, со всеми ее функциями, и опыт оправдал все расчеты, Вогулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма-вселенной, и мысль у него застыла на миг.

Тот же круговой поток, от инфраполя к свету — и обратно, получался и у него на лабораторном столике, как и в безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дна и воспроизведена человеком.

Тогда Вогулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию, и улыбнулся в первый раз сыздавна: вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей вселенной. Вогулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно 1000 кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы вселенная перестала существовать.

Двух взрывов, по 500 кубических километров каждый, будет довольно: первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, иную вселенную.

И Вогулову стало хорошо — стена дала трещину, и стала видна дорога.

Через год Вогулов решил пересотворить вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль, и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление: всей энергии земного шара не хватало для производства 1000 кубических километров ультрасвета. Тогда Вогулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию — свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор: прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Вогулов просто получаемые из пространства световые лучи «охлаждал», тормозил инфраполем и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества: как с наи-

меньшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна — фабрикация резонаторов-трансформаторов света в ток, а энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся вселенная впрягалась в станки человека, ведь вселенная — физический свет. Энергетика и, значит, экономика мира были опрокинуты: для человечества наступил действительно золотой век — вселенная работала на человека, питала и радовала его.

Вогулов заставил работать вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрасвета, чтобы уничтожить такую вселенную. Но этого было мало: человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов — миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности, и Вогулов привил рабочим массам микробов энергии: он взял для этой цели элемент инфраполя с его ужасающим стремлением к максимальному состоянию — свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества, любил, как Данте, и жил не года, а дни, но не жалел об этом.

Первый год уже дал 100 кубических километров ультрасвета. Вогулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через три с немногим года 1000 кубических километров ультрасвета будут готовы.

Человечество жило, как в урагане. День шел за тысячелетие по производству ценностей. Быстрая, вихревая смена поколений выработала новый, совершенный тип человека — свирепой энергии и озаренной гениальности.

Микроб энергии делал ненужной вечность — довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть как исполнение радостного инстинкта.

И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он двадцати двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства.

Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал, выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя.

И потом в нем случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, неимоверной мощи.

Но ничего не изменилось — только любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека.

И Вогулов размечет вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас. И Вогулов руками хотел сделать это невозможное сейчас.

Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.

<1921>

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАКЛАЖАНОВА

Тянется день, как дратва:
скука бычачья. Рассказать
тебе про дни?
Апалитыч

Жил некоим образом человек — Епишка, Елпидифор. Учил его в училище поп креститься: на лоб, на грудь, на правое плечо, на левое — не выучил. Епишка тянул за ним по своему:

— А лоб, а печенки...

— Как называется пресвятая дева Мария?

— Огородница.

— Богородица, чучел! Нету в тебе уму и духу. Вырастешь, будешь музавером, абдул-гамидом.

А Епишка ждет не дождется, когда пустят домой: он горевал по маме и боялся, как бы без него не случился дома по-

жар — не выскочат: жара, ветер, сушь. Уж гудок прогудел — двенадцать часов. Отец домой пришел обедать, на огороде у Степанихи трава большая растет и лопухи, ребята птиц ловят. Уж скоро, должно быть, будет вечер и комари.

В училище стоит ведро, пить. Каждый день учат закону божьему, потом приходит Аполлинария Николаевна, учительница, и пишет палочки на доске, а Епишка за ней корябает грифелем у себя хворостины. На переменах приходит Митрич — сторож, чтобы ребята не выбили окон и не бесчинствовали. Как чуть кто заплачет от драки или тоски по матери, Митрич орет:

— Ипять! Займаться!..

И вот прошло много дней. Издох на дворе Волчок. Епишкин отец купил «на толпе» другой самовар. Родился у Епишки Саня, маленький брат. Покатал его Епишка на тележке одно лето — на Петровки он умер от живота. Тоньше и шибче билось сердце в Епишке, и он уходил летними вечерами в поле и тосковал — о далеком лесе, о звезде, о деревенских пустых дорогах. И любил девушку, которой не было на свете, которой не встретит никогда.

На деревенских дорогах он изобрел еду и человеческое бессмертие.

Вскоре попал Епишка в солдаты. Ходит по плацу, орудует винтовкой — лежит недвижимо в душе пуд. Раз случилось с ним странное дело: семь дней на двор не ходил. Ляжет спать: в животе вода без толку переливается. Кругом нары, храп, пот, вонь, а в Епишке прохладные вечерние деревенские дороги и ждущая ужинать мать. Дать бы по скуле изобретателю сердца!

Осмелился Епишка и пошел к доктору. Рассказал ему, в чем дело.

— Штоо?! — провыл доктор.

Епишка опять:

— Восьмой день не нуждаюсь.

— Да ведь большие деньги можно на этом зарабатывать! Вы феномен, Баклажанов!.. Первый раз вижу такого. А ну, разденьтесь.

Уходя, Епишка взялся нечаянно на докторовском столе за карандаш.

— Возьмите себе его на память, Баклажанов, — сказал доктор.

Епишка погладил черный колпачок доктора.

— Пожалуйста, Баклажанов, возьмите и его. Нате вам и ручку. Она вам нравится?

Оказывается, доктор был мнительный человек: дверную ручку брал не иначе как в перчатке. Кто у него в кабинете возьмет что в руки или пощупает — то ему доктор сейчас же и подарит на память: колпачок, лампу, сотню папирос, халат.

Странный, но сурьезный был человек.

Дня через два у Епишки рассосались кишки, и он оправился.

Так шла и шла жизнь Епишки, без меры и без смерти, в океане одинаковых дней, пока он не перекувырнулся и не изобрел настоящего бессмертного человека, который остался на земле навсегда и уже не расставался с соломой, плетнями, тихими дорогами и своей матерью.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СВЕТА — РАЗРУШИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА, СОКРУШИТЕЛЬ АДОВА ОГНЯ

Мир подымешь на слабые руки,
Что захочешь, полюбишь — твое.
Ты испуган, слова твои глухи,
Ты — любовь, твое сердце — в моем.

Еще ночь. Успокойся, мое неутомимое сердце. В этот час даже пустыня росою стынет, трава не шумаркнет и ветер не пробрюзжит. Замертвел мир на долгую звездную ночь. Может быть, завтра очнется сердце в человеке и земля растает в голубой глубине любви.

Дорогой друг мой и единокровный брат Елпидифор! Помнишь, осенней ночью, в три часа, мы лежали в поле на траве. Мы прошли сорок верст. Ты шел из далекой глухой деревни от любимой, я ходил просто по земле и думал, как ее оборонить от зноя. Ты тогда светился и был иным и лучшим...

Теперь Епишка изобрел свет. Устроил такие магниты, где дневной свет волновал магнитное поле и возбуждался

электрический ток. Этим током Епишка гнал самодельный корабль по родной реке. Солнечный свет и лунный повез в первый раз чудака-человека по воде.

С тех пор никто ни в ком не стал нуждаться: Епишка показал всем, как делать такие машинки, и все стали богатыми. Ни засуха, ни сибирские дороги, ни путь до звезды, ни миллионы родившихся детей — не стали страшными. Неуклонно тысячами солились огурцы в зиму, и варилась каждодневно говядина в каждом горшке. Огромная сырая земля стала, как теплая хата, как грудь и молоко жены. Обнимай и соси.

И небо стало благим: инженер Аникеев слетал на световом межзвездном корабле на Юпитер и привез оттуда новую породу капусты и какого-то чертенка в ящике. Чертенок обжился на земле и женился на какой-то синеокой деве, поющей романсы времен революции.

Ни государств, ни обществ, ни дружбы, ни любви на земле уже на было: человек человеку был нужен единственно по недостатку хлеба. Каждый втыкал в песок Епишкину машинку — и она ему делала все.

Один араратский житель сделал подземную лодку, и сила Епишкиной машинки вогнала ее в недра земли, и араратец там пропал, поселился.

Машина Елпидифора Баклажанова отперла вселенную: она стала женой и матерью для человека, а не лютой чертовкой. Сам Елпидифор с Апалитычем ездил на Луну выпивать. Вселенная стала кувшином с молоком: купайся, живи, питайся и думай всякий червь, всякая гнида и бессмертное тело. Потолстел человек. Вся вселенная стала океаном силы, ибо свет есть самая вездесущая сила, кроме тяжести, тяготения.

Но свет есть только один из видов тяготения. Электричество есть возмущение линии тяготения двух тел.

Пожил, пожил Елпидифор и подумал: «Не умру». На далекой безымянной звезде, куда он занесся, он увидел конец вселенной: Епишка стоял точкой на конце последнего оборота спирали Млечного пути. Дальше ничего не было видно, и Епишка пожалел, что он человек, и захотел быть бессмертным, чтобы иметь время накопить силу стать завоевателем и жителем того, чего не видно за последней маленькой звездой, за змеевиком Млечного пути.

Епишка воротился на землю, посидел вечер с Апалитычем — тот клеил змей для Васьки — поговорил с ним о разных удивительных вещах и пошел в чулан спать от тоски. (У Апалитыча еще был чулан от старых времен, и были целы и невредимы в нем теплые и полные клопы.)

Новое чувство родилось в Елпидифоре. Знаете, как в былые времена: идешь по улице, навстречу красивая ласковая девушка, волна тревоги и радости охватит тебя,— придешь домой и молчишь.

Но в Епишке не любовь была, а мрак и шорох великой, но безрукой силы.

Эта сила из Епишки разлилась по всей живой земле и по людям. Стальной канат свис с далекой безымянной звезды, где побывал Епишка, и не давал живым телам разлагаться и перепревать в душных могилах.

И было сокрушено далью за безымянной звездой адово дно смерти.

А через сто лет Епишка и Апалитыч лежали опять в чулане на полушубке: за последней звездой оказалась свобода — ничего нет — чудо: возникает, мерцает, пропадает, вихрится и снова плывет без числа, веса и пространства. И вселенных там было сколько хочешь — и все разные. Там была река их. Оказалось, что не было нигде господина и закона; но закон, господин, форма были только мигами невыразимой свободы, которая была и неволей.

Заснул Елпидифор под утро под храп и вонь Апалитыча. Апалитыч проснулся от клопа в ухе, а Епишка так и не встал — умер от собственного спокойствия: ведь все доконал, до всего дознался. Апалитыч снес под плетень в полдень тело этого последнего мошенника и стервеца.

<1922>

ДАНИЛОК

Поросенок-годовик
Себе туда норовит,
Поганая курица
Себе туда суется...
Ливенка делает на басах

Вошли в хату — тишина, темнота и жуть. Где тут портной живет, сделать из штанов галифе?

— Стой, — закричал Елпидифор, — я сообразил: живые люди воняют.

Понюхали: дух везде чистый, и вдруг понесло махоркой и жженой бородой.

— Вот он портной — вылазь!

Заскрипела спальная снасть, и невидимое тощее тело сморкнулось и забурчало. Для света и вежливости я спокойно закурил.

— Здорово, Данил Данилыч! Раскачивайся!

— Здравия желаю, православные, — как кувалдой по чугуну гвазданул дед Данил, портной. В чистом воздухе, тишине и тьме хранился такой голос! Как огурец зимой в кадке.

Зажгли коптильный светильник. Скамейка, стол, вода в ведре и спящий глубоко пушистый щегол под потолком в тепле. Данилок надел очки и привязал их веревочкой к ушам — приспособление самодельное. Данилок был угрюм, покоен, похожий на сон и хлеб — коричневый, ласковый и тепловатый, как хлебное мякушко. Из сапожной кожи был человек: если царапнуть щеку, никакого рубца не останется. Но в желтых глазах его было ехидство и суета — Данилок был сатана мужик, разбойник, певец и ходил женишком. Засиделым девкам в воскресенье лимонад покупал. Не женился потому, что подходящей ласковой бабы не подыскал, и впоследствии купил щегла.

— Так, говоришь, тебе две галифы изделать?

— Да, желательно бы, Данил Данилыч.

— Так-так. Одна галихва выйдет, а на другую матерьялу подкупай, — задумчиво сказал Данилок и поглядел через очки.

— А стоимость какову скажете?

— Да что ж с вас — один алимон, чаю попить.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал Елпидифор — интеллигент. — До свиданья.

— Прощевайте. Посветить вам, может?

— Не нужно, мы так.

И мы полезли к монастырю, на гору. Чудесно тут держались дома — на сваях и каменьях. Из города лилась сюда нечисть, и если наверху кто оправлялся, в окно Данилку брызги летели. Непрочное и пагубное стояло везде жилье. Ни подойти, ни подъехать. Весной и в дожди Данилок и его соседи становились туземцами, и о них писали в газетах, но они их не читали. В старое время, бывало, полицейские гнали отсюда все народонаселение, как подходила весна. Но никто не уходил — лезли на крышу, тащили туда детишек, поросят, петуха, самовар — и сидели. А когда ночью поднималась вода и уплывали безвозвратно табуретки, захлебывался телок, то и на крыше начинали орать жители. А с бугра утром махал городовой:

— Я ж тебе говорил, — упреждал он, — гуни пожалел — постись теперь, угодник чертов.

А на третий день чуть просохло — и городовой жителю в бок.

Бывали дела.

На другой же день Елпидифор купил свои штаны на базаре — клеймо на них было. Он к Данилку — хотел ему чхнуть разок, а Данилок в деревню уехал. Тем дело и кончилось.

Ехал Данилок в деревню и похохатывал:

— Дела твои, Господи!

Приехал в деревню, продал хату и купил лошадь. Поехал на Дон купать ее и утопил.

— Машка, Машка, а ну на песок, на песочек. Милая моя, делай ногами, надуйсь, вызволяй, Машенька... — Долго уговаривал ее Данилок и орудовал поводьями, а сам плавать не умел.

Так и пошла кривая кобыла по быстряку, а потом в тихую заводь и на дно.

— Эх ты, животное существо, — сказал Данилок и пошел в хату.

Пожил в деревне неделю-другую; съел все и пошел побираться. Ходил по всей округе и тосковал. Начиналась осень,

ветер выл в проволоках, обдутые стояли древние курганы, и шел с мешочком картошек Данилок. Стар стал, некому любить и жалеть. Кажется, чем-то легким придавлено горе на земле и когда-нибудь все заплачут и прижмутся друг к другу. Это будет, когда наступит потоп, засуха или лютая хворь или из сибирской тайги тучею выйдет восставший зверь. Одно горе делает сердце человеку.

Стал нищим Данилок и многое полюбил.

В глухой деревне Волошине, в овраге, приютила Данилка одна старушка:

— Живи, старичок, у нас картохи есть, теперь ходить не по нашей одеже, не объешь небось, поставь палочку в уголок.

Прожил Данилок у старушки до весны. Стонали оба всю зиму по ночам от голода, стужи и старого горя. Запеклась душа у Данилка. Выглянет в окно — снег, буран, кладбище на бугре, кончается тихий день. Куда тут пойдешь?

Прогремела весенняя вода по оврагу, подсохли дороги, вылезли воробьи на деревенскую улицу. Стал собираться Данилок.

— Ничего тебе не надобно? — спросила старушка.

— Ничего, — сказал Данилок.

— Ну, иди с богом.

— Прощай, Лукерья.

И Данилок тронулся.

Ветер был тихий и тонкий, как нежная музыка. На плешивом кургане, обмытом водами и воздухом, Данилок вздохнул, поглядел на дальнюю кайму лесов, на трепещущее марево, на все живое и далекое, потом спустился и попил водички из протока.

Маленькая речка разлилась в озера, и за нею дымилась деревня и пела петухами.

Ничего не кончилось — все начинается.

И Данилок пошел и пошел, как будто сама грустная радость взяла его за руку и повела.

<1922>

<ДОКЛАД УПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ГИДРОФИКАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ>

ЦЕНТРАЛЬНОМУ СОВЕТУ ТРУДА — Ленину, Кржижановскому, Гастеву, Штейнаху, Резерфорду. Париж.

Управление работ по гидрофикации
Центральной Азии.
Общий доклад за 1926 г.

1. Вертикальный туннель

Термический вертикальный туннель окончен 2 декабря проработанного года. Туннель предназначается для утилизации теплоты нашей планеты, находящейся в ее недрах, эта же теплота, превращенная последовательно в электрический ток и в механическую энергию, будет использована для орошения района Тао-Лунь, площадью в 1 400 000 десятин. Туннель имеет форму усеченного конуса, обращенного усечением внутрь земли. Ось его наклонена к центру планеты в 3°. Длина оси туннеля 2080 метров. Диаметр широкого основания на поверхности земли равен 42 метрам, усеченной вершины — 5 метрам. Температура на дне туннеля 184°С (где установлены термоэлектрические батареи).

Согласно проекту, утвержденному Советом Труда, работы начались 1 января 1926 г., окончены 2 декабря того же года. Формовка туннеля достигнута не взрывным методом, как указано было в нашем проекте, а электромагнитными волнами, отрегулированными соответственно структуре недр, т. е. настроенными на такие длину, частоту, которые вполне совпадали с колебаниями электронов атомов периферии земли, поэтому увеличивался их размах и получался разрыв орбит, впоследствии чего наступала реконструкция ядра атома — его превращение в другие элементы — разрушение.

Мы поставили на поверхности мощные и гибкие электромагнитные резонаторы, нашли экспериментально среднюю волну недр, подлежащих разрушению (точнее, распылению, размягчению) и так разжевали туннель.

Затем железными пятитонными ковшами на стальных тросах мы выели получившуюся туннельную кашу. Впро-

чем ее осталось немного после электромагнитной операции: большинство составных частей почвы и недр превратились в газ и улетучились. Одинаково были мягкою пылью — глина, вода, гранит, железная руда.

Всего вынуто 400 000 куб. метров, 640 000 ушло газами.

Образованное коническое жерло (не совсем точное) открыло 7 горизонтов грунтовых вод,— 5-й был с морской водой. Для откачки этой воды было образовано (взрывным способом) 7 круглых террас внутри туннеля и установлены насосы-камероны. В общей сложности они подавали на поверхность 800 000 ведер в час (80 камеронов производительностью 10 000 ведер в час каждый, с электрическим приводом). Очистка туннеля от воды получалась довольно полная, вследствие равновесия между поступлением и откачкой воды. После этого было приступлено к формированию туннеля (в августе месяце). Благодаря высокой температуре люди опускались только до 1000-ного метра, глубже работа совершалась на тросах: посредством их устанавливались насосы, рылись кюветы и водосборные бассейны в террасах и управлялись землечерпальные ковши на формовке склонов.

Когда был готов туннель совершенно, собранные наверху термоэлектрические батареи вместе с проводами были опущены на тросах на дно туннеля.

Батареи после месячной контрольной работы показали способность давать по 86 400 000 киловатт-часов в год, иначе говоря, мощность батареи в переводе на лошадиные силы достигает 14 000 л. с., откачка воды из туннельных кюветов отнимет 800 л. с., 13 200 л. с. будут поданы по проводам на районные оросительные станции Тао-Лунь.

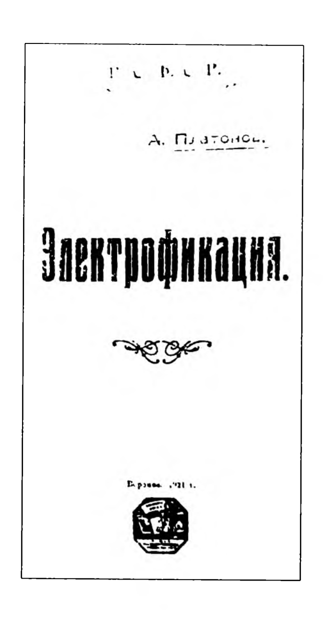
Туннельной водой (за исключением морского горизонта) уже орошаются окрестности термтуннеля под рисом.

Смета на постройку 42 районных оросительных станций, электропередач к ним и гидропередач от них при сем прилагается. Только после сооружения означенных 42 станций, туннель будет нагружен полностью и его энергия будет использована до конца.

Андрей Климентов. Около 1909

Мария Александровна Кашинцева. Начало 1920-х

Андрей Платонов. 1925


А. Платоновъ.

Электрофикация.

Книга очерков А. Платонова, вышедшая в 1921 году

Андрей Платонов и воронежские мелиораторы. 1925

Электростанция в селе Рогачевка.
Андрей Платонов с женой — в центре, во втором ряду.
1925

Мелиораторы Воронежского губземуправления.
За столом — Андрей Платонов. 1925

Искусство и Театр.

Еженедельник Худ. под'отдела.

Август 1922 г. № 2. Цена №-25 руб.

СОДЕРЖАНИЕ. Профессионализм и его будущее в искусстве.—Г. М. Культура побежденного света и электричества—А. Платонова. Базис и Надстройка—Богушевского. Образ в творчестве актера и сценическое творчество и действительность—Л. Бочарова. Театральные завсегдатаи—Немо. Неизданное письмо В. Ф. Коммиссаржевской. Неизданное стихотворение А. К. Толстого. Стих.—В. Келлера и Ю. Никулина. Из народной юмористики—порф Путинцева. Рецензии М. Хроника. Программы и либретто. Шаржи С. Френча. Приложение—„Сумерки" муз. этюд П. Чернова.

Титульный лист еженедельника «Искусство и Театр», в котором напечатана статья Платонова «Культура побежденного света и электричества»

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПУТЬ

ЛИТЕРАТУРНО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОРГАН ГЛАВНОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
ЮГО-ВОСТОЧНЫХ СОВЕТСКИХ ЖЕЛ. ДОР.

№ 4. 15 Декабря 1918 г. № 4.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

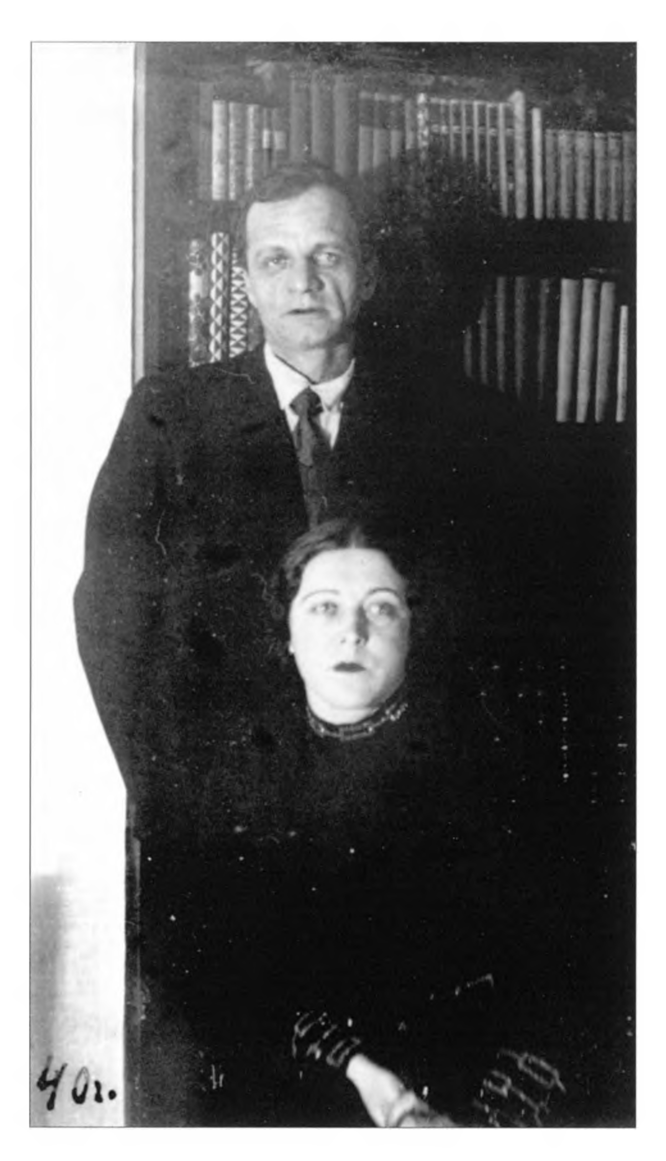
АДРЕС КОНТОРЫ и РЕДАКЦИИ:

(Воронеж, Грузовая улица).

СОДЕРЖАНИЕ: ... Стихотворения: ... „Поезд"—А. Платонова; ... На железных дорогах; Смесь; ...

Литературно-политический журнал «Железный путь». 1918. Номер, в котором опубликовано стихотворение Платонова «Поезд»

Андрей Платонов за письменным столом. 1939



Андрей Платонов
с женой Марией Александровной. 1940

Андрей Платонов с женой и сыном Платоном.
Ноябрь 1942

Андрей Платонов. 1944

Военным проводом

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

ТЕЛЕГРАММА

12.7.44 г.

Телеграмма корреспонденту газеты «Красная звезда» Платонову от зам. редактора Карпова: «Все ваши очерки напечатаны, за исключением, кажется, одного. Нужно взять сейчас другую тематику. Помните я говорил о людях. Надо показывать офицеров — организаторов боя, мастеров стремительного наступления. Понятно, должны быть очерки о живых людях. Можно написать и рассказ, используя наблюдения, отдельные факты, выводы о нашем наступлении»

Семья Платоновых. 1950

Зима 1950/1951

А. П. Платонов
и Д. С. Ясиновский. 1946

Андрей и Мария
Платоновы

Могила Андрея Платонова на Армянском кладбище
в Москве

Вход на Армянское кладбище

Мария Андреевна и Мария Александровна. 1975

Кадр из фильма по рассказу «Фро». 1966

Афиша фильма по рассказу Платонова «Такыр». 1971

Иллюстрация к повести А. Платонова «Котлован»
художника Ю. Шарашкина

Кабинет Платонова в квартире № 27 (Тверской бульвар, 25).
Бюст работы Ф. Сучкова

Сообщаем результаты опытных работ по исследованию природы электричества. Оказалось, электричество есть атомная пыль, результат трения и столкновения атомов, когда периферии атомов разрушаются и неимоверно малые частицы атомов отделяются от них и курсируют вокруг них. Эта атмическая пыль по сравнению с атомами, молекулами и их составами по массе настолько ничтожна, что уже не подчиняется тем законам, которым подчиняется эта «большая» материя. Оказывается, масса, количество пространства имеет в этом случае кардинальное значение.

Понятно, для этой атмической пыли нет непроницаемости.

Для атомной пыли есть также коэффициент насыщения, тогда для атома в оболочке своих осколков понижается вероятность столкновений и дальнейших разрушений. Атомная пыль, электричество — даже по сравнению с водородом невообразимо активнее,— она, так сказать, есть водород водорода, таково образное отношение.

Электричество это подматерия: во что превращается материя и откуда она рождается вновь. Через электричество, атомную пыль происходит нивелирование элементов в природе. Одни атомы не проникают в сферу других (разве только в малейшей степени), но пыль их взаимно обменивается, и она производит в самых элементах необходимую реконструкцию, чтобы в конце концов два данных тела стали по атомной структуре одинаковы. Имя этому процессу — тяготение.

Магнитная энергия происходит от удара атмической пыли об атомы и молекулы того тела, в котором напрягается, сгущается (выше нормального коэффициента) эта атомная пыль. Так что магнитная энергия происходит от ветра атмической пыли, бьющего в движущиеся атомы проводящего тела. И потому элемент магнитной энергии есть еще более, так сказать, мелкая и активнейшая пыль, чем энергия электрическая. Что магнитная энергия перпендикулярна электрическому току — это понятно: ток по проводнику, благодаря сопротивлению, склоняется и движется спиралью, и пыль атомов проводника, дробящаяся током, летит

по законам отражения именно перпендикулярно струе атмической пыли. Направьте струю в диск, и брызги у вас полетят перпендикулярно струе воды.

От коэффициента насыщения атмической пылью данного пространства зависит то, будет ли так называемый положительный или отрицательный ток: подсос атмической пыли извне (отрицательный ток) или, наоборот, нагнетание ее вовне (положительный ток).

Надо сказать в заключение, что электричество (и магнитную энергию) испускает всякое тело, ибо покойных атомов и молекул нет. Но тело начинает испускать из себя электромагнитную энергию только тогда, когда через внешнее воздействие оно подвергается изменению: только тогда атомы и молекулы сбиваются со своих уравновешенных орбит, сталкиваются и «пылят». Изолированное от всякого влияния тело, после некоторых пертурбаций, балансирует пути своих атомов и молекул и они взаимно нейтрализуют свои зоны.

Но на практике этого не встречается, всякий материальный конгломерат волнуется миллиардами сторонних причин.

Логически и фактически рассуждая, всякое тело беспрерывно превращается в пыль своих атомов — в электричество, в то, что лежит после материи и перед нею. В конце времени материя вся будет электричеством и, если подвергнуть электричество температуре в 800 000° C ниже нуля (что и было проделано в лаборатории Управления работ), электричество опять станет материей: атмическая пыль сжимается в неимоверно малое пространство, склеивается, и вновь получается атом.

Отчет лаборатории, с точными и цифровыми картинами опытов, приложен при сем.

3. Новый метод управления миром

Очевидно, что всякий вид материи излучает из себя электромагнитную энергию при условии воздействия на него. И каждому изменению точно, неповторимо, индивидуально соответствует комплекс электромагнитных волн такой-то длины, таких-то периодов. Это зависит от степени реконструкции данной вещи.

Мысль, будучи процессом, перестраивающим мозг, также изливает в пространство электромагнитные волны.

Но мысль зависит от того, что человек подумал, — от этого же зависит, как и насколько изменится строение мозга, а от последнего уже зависят волны, какие они будут. Мыслящий, разрушающийся мозг строит электромагнитные волны и строит в каждом случае по-разному, смотря какая мысль перестраивала мозг.

Лаборатория Управления работ по гидрофикации нашла следующее: каждому роду волны соответствует одна строго определенная мысль. Лаборатория построила универсальный резонатор, который улавливает и фиксирует волны всякой длины и всякого периода.

Но даже одной, самой незначительной и короткой, мысли соответствует целая сложнейшая система волн.

И все же мысли, скажем, «окаянная сила» соответствует уже известная, раз зафиксированная система волн, и от другого человека она будет фиксироваться лишь с незначительными вариациями.

Лаборатория наша соединила резонатор с системой реле и исполнительных аппаратов и машин, сложнейших по технике, но простых и единых по замыслу. Но эту систему надо еще усложнить и расширить по всей земле, чтобы проект лаборатории осуществить вполне. Пока же мы действуем на незначительном участке и для определенного цикла мыслей.

Пример: человек вышел на берег реки, видит — на другом высоком берегу растет капуста и горит и горит от бездождия; мысль человека: «оросить». Человек находится в сфере действия исполнительных механизмов, и его эта мысль есть в плане возможностей исполнительных механизмов (они так построены). Мысль — «оросить» — воспринимается резонатором, ей (мысли) соответствует строгая, неповторимая система волн, только такими волнами (длины, периода) замыкаются только такие реле, которые управляют в исполнительных механизмах орошением, т. е. там прямо замыкается ток и начинает действовать агрегат-электромотор — насос, и через миг после мысли человека — «оросить» — под корнями капусты уже блестит вода. Такой опыт именно ставился лабораторией Управления работ. Такая высшая техника име-

ет целью освободить человека от мускульной работы. Достаточно будет подумать, чтобы звезда переменила путь!.. Но мы хотим добиться, чтобы обойтись без исполнительных механизмов, а прямо так.

Схема резонатора, «реле» и исполнительных механизмов прилагается на предмет экспериментальной проверки ее в лабораториях центра и ассигнования новых кредитов на углубление и расширение работ по созданию новой техники управления миром.

Главный инженер Управления работ по гидрофикации
Е. Баклажанов

<1922>

ТЮТЕНЬ, ВИТЮТЕНЬ И ПРОТЕГАЛЕН

Тютень человек не велик, с кочережку. Зимой и летом он носит варежки, сердцем добер, словом зол; в одном ухе мотается египетская серьга, шею он обматывает полотенцем или тряпочкой почище; лицом коричневый, глазами ехиден и весь похож на стервеца.

— На глазах испекешься, — говорили бабы, у кого грудной был.

Тютень вечно свистел на ходу, и всякая птица шарахалась от него или летела по плетням. Если вились стайкой воробьи, неслись вскачь галки, горлопанили петухи, а наседки крылестились, то то идет, значит, Тютень, идет и посвистывает.

Он клал варежку в рот и свистел для своего великого удовольствия, и не дулся.

Если сказать Тютню: посвисти, мол, в худую варежку чудок,— то он догонит и убьет, будь ты мал, будь ты стар. Убежишь — твое счастье.

Тютень считал себя богом и потому был покоен, доволен и благ. На еду он не зарился, мир считал подножием своим, небо — короной, а людей — чертями. Сатаной же Тютень считал Витютня.

— Он, беспременно он, головастый кобель, — думал Тютень и высвистывал стих:

Он — он, суть он,
Беспременно суть он,
Головастый кобель,
Во един, во един,
Во един я бог — кокетин.

Витютень был так себе человек, ростом с черпак, ведро на палке. Ведро — это голова.

— Это не человек, а наказание, истинный господь, — судили бабы, которых мало били мужья.

Витютень слышал.

— Ладно, ладно, жабы широкие. Возьму вот и покажу всем, что ты без исподней юбки ходишь, ведьма божья.

Витютень ходил голый, только живот обматывал рогожей, чтобы бабы не охальничали. Волоса он распускал и накладывал туда от времени до времени комья соломы и навоза — думал, может птицы заведутся, его любимая тварь, сочтут это за гнездо, но никак того не случалось.

Считал Витютень себя пророком всякой последней, гонимой, ненавидимой всеми и пожираемой твари — червей, мошек, рыбок, травы и тающих облаков, ибо и они пожираются в небе ветром.

Глаза его были велики, с поспевший чеснок, и в них горела неутомимая безумная любовь ко всем последним и растоптанным. Ходил он по земле и пел молитвы голубой траве и всякой трепещущей, дышащей твари, живущей один день, радостной и кроткой, познавшей все, ибо нечего тут познавать. Движется мир в свете солнца, и не может он тосковать; движутся живые по земле, и ни один не верит смерти. Один Витютень за всех все знает и скорбит. Но когда он видит божью коровку, и он поет:

С дубу, с дубу, с дубу
Да опять на пень.

В песне не нужны слова, а нужна радость. Слова Витютень сочинил так, лишь бы что сказать, а пел он душой.

Раз встретил он ребятишек у леса. Встретил, напугал и долго им говорил о грядущем царстве последней твари,

которая вскоре восстанет и победит все силы, ибо она кротка и тиха, знает мир, потому что любит его, и не верит смерти.

— Не будет тогда больших и умных, будут одни малые и разумные, будут одни полюбившие. И листья на деревах больше бога, который хуже сатаны. И листья ропщут только от злодея ветра, в сердце же своем они кротки и сыты самым малым.

Идет вечное царство, голубая земля нищих, умерших, позабытых. Будет всем светить не солнце, а сердце другого, ты — мне, я — тебе... Большие жрут всех и оттого дохнут и уничтожаются. Они едят падаль, а падаль их. Но вот малые, самые последние, меньше песчинок, те уже ничего не едят и ничего не хотят, смотрят без зависти и без желания на другого, в тех одних бьется настоящая жизнь, и они без слова и борьбы завоюют мир, и царство малых будет без конца и без смерти...

Витютень от радости кричал:

— Вы еще ребята, вы малые среди людей, и вы возьмете себе человеческое царство. Так и там, малые мира возьмут себе мир. Самый малый, самый гонимый, никому не ведомый, молчащий, нерожденный, тот для кого и песчинка — бог, — тот истинный царь земли и всех звезд, потому что он последний царь, после него никого не будет, и потому он самый великий...

Был Христос, ему и сейчас еще молятся ваши отцы, он говорил: «Блаженны нищие духом». Но и он не понимал всего и не хотел умирать, когда умирают без слова вечером мошки, а каждая из них блаженней Христа, потому что беднее его духом.

Ребятишки сидели ни живы ни мертвы. Сеня совсем поник и заплакал.

— Милый мой, — сказал Витютень и не спеша пошел дальше.

Так он ходил, говорил с людьми, за маленькими искал еще меньших, чтобы им в тайне поклониться.

Есть червь, есть мошка, травка, листок, пылинка, но за ними есть еще меньшие, самые тихие и безгласные, и их искал и любил Витютень еще больше.

Витютень был рад своей радости, как и Тютень.

Тютень же хотел избить Витютня: нету царя, кроме бога, бог же есть он, а Витютень — главный черт, раз не видит бога в Тютне.

Вот какое дело. Но жили они в разных деревнях, хоть и по соседству, а никак не встречались.

А в том селе, где жил Тютень, жил глубоко под землей Протегален.

Сорок лет назад родила его мать в овине. Думала, что глист вылезает, глядь — ребенок. Это родился Протегален. До того он худ и длинен был, что мать звала его веревочкой, ветошкой, срамотой своей, на все лады, но не Ваней. А подрос Ваня, и прозвали его Протегальнем, а кто — тощей верстой.

Был он ни велик ни мал, а ходил крючком — цеплял за все, головой колотился и мешал навесам и потолкам. Людей для смеха Протегален под ногами пропускал.

Стало ему лет тридцать, а он все рос и сох, и всем был он невмоготу. Если бы сажень-полторы был Протегален, а то четыре, и зол, как черт. Ни работает, ни помогает, ходит деревья ломает и озера голенями меряет.

Пожил-пожил он, походил-походил и начал вдруг думать.

Потом нашел овраг поглубже и поглуше, выкопал в глине пещеру, набросал туда травы, наложил картошек на зиму с чужого поля и залез туда сам. Так он оттуда больше и не вылез.

Сидел согнутый в три погибели, не двигался и не говорил — не то дремал, не то думал.

Но Протегален не думал, не дремал, а переселился в другие края, себе по душе.

Края те просторные и пустынные и окружены черными горами. Эти горы выдолблены, и внутри их живут великаны, как в землянках.

Светит неподвижное большое солнце, нет там ночей и вечеров. Тихо кругом, спят великаны в землянках, поле везде без травы, и стоит посреди того мира Протегален, и хорошо ему, век бы стоял, он и стоит.

Тишина есть песня истины. И Протегален стоял в земле тишины, очарованный и бессмертный. В душе его пела му-

зыка, и он умирал от безысходной одинокой радости. Спали в горах великаны, стояло солнце на небе, и сгорал сам Протегален в синем краю тишины и полей. Шевелилась душа в нем, как живая змея, и он знал, что умирает, уплывает земля под ногами, и было ему все лучше и лучше, будто уносила его большая река от берегов.

Сидел в пещере согнутый Протегален и умирал от своих радостных дум, которые сделали ему другую жизнь.

Ходил недалеко Витютень по полю, и сидел в деревне своей на завалинке Тютень.

Среди сухого неба набралась в небе испарина, загудела гроза, и вдарил ливень.

Шел в поле Витютень, прыгнул от дождя в овраг и залез нечаянно в пещеру Протегальня. Пахал недалеко Тютень, измок, как хрюза, сигнул тоже в этот овраг, увидел, торчит чья-то из ямы спина, а по ней дождь лупцует, и полез следом.

— Сторонись, отец, дай богу дорогу, — прохрипел Тютень Витютню.

Витютень прилепился к стенке, и Тютень пролез глубже.

— Ну и дела, — сказал Тютень, — бузует по чертям, сатана, и шабаш.

Сразу стемнело, и ни один из трех не узнал друг друга. Ливень поливал все сильней и сильней, гром не гремел. Овраг заливало водой. Протегален ничего не видал и не слыхал. Витютень уснул, а Тютень был бог, и мир для него был дым, и он ничего не боялся. Давно по нем бледнело и тосковало небо.

Гнулись деревья, как хворостинки, от ливня, люди залезли на печки. На тысячи верст гремел ливень, и не было ни живой души нигде. Овраг давно заровняло водой, а Протегален еще видел тихий край и черные горы.

Чуть дышал сонный Витютень и шептался во сне.

Тютень весь скочережился за спинами Витютня и Протегальня, затих, но чуял, что он бог, и слушал, как шевелится у него глист в животе и бьется кровь под пупком в подводной темной тишине.

Потухал весь белый свет, и неслись по небу горы, мужичьи бороды, божьи коровки и последние, стынущие, каменеющие облака.

<1922>

Я сторож и летописец опустелого земного шара. Я теперь одинокий хозяин горных вершин, равнин и океанов. Древнее время наступило на Земле, как будто вот-вот двинутся ледники на юг и береза переселится на остров Цейлон.

Но кротко и бессмертно над головою голубое небо, спокойно и ясно мое сознание, тверда и мужественна моя много видевшая человеческая рука: я не позволю совершиться тому, чего я не хочу, за мной века работы, катастроф и света мысли. Вверху, на движущихся звездах, земное мое человечество — странник и мыслитель. Передо мною Средиземное море, жалкие организмы, тепло и ровный скорбящий ветер.

Древняя любимая Земля. Сколько пережили мы с тобою битв, труда, сказок и любви! Сколько моей мысли ушло на твое обновление. Теперь ты вся — мой дом. Дуют ровные теплые ветры, по указанным человеком путям курсируют в океанах теплые течения. Прорваны галереи для воздушных потоков в горных цепях. Горячий туркестанский вихрь с песком несется к Северному полюсу. Давно разморожены льды обоих северных океанов и совершены все великие работы, осуществлены все глубокие мечты.

На Земле стало тихо, и ночью мне слышен ход звезд и трепет влаги в стволах деревьев.

Нет больше катастроф, спазм и бешенства в природе. И нет в человеке горя, радости, восторга — есть тихий свет сознания. Человек теперь не живет, а сознает. Сознание. Всю жизнь я служил тебе в рядах человечества, и твоею силою теперь люди переселились на далекую звезду и с нею движутся по вселенной.

1924 год. В этот год в недрах космоса что-то родилось и вздрогнуло — и Земля окуталась пламенем зноя. Северные сияния полыхали над Европой, и самые маленькие горы сделались вулканами. Оба магнитные полюса стали блуждать по Земле, и корабли теряли направление. Это, может быть, комета вошла в наш звездный рой и вызвала это великое возмущение.

В зиму 1923–24 года замерзло Средиземное море и совсем не выпало снега, только морозный, железный ветер

скрежетал по пространству от Калькутты до Архангельска и до Лиссабона. И жили люди в смертельном ожидании. Во всю зиму ни тучей, ни туманом не запятналось небо. Исчезло искусство, политика, и под кувалдой стихий перестраивалось само человеческое общество. Нация, раса, государство, класс — стали дикими, бессмысленными понятиями — остались одни несчастные и герои. Несчастные бросились в церкви, в искусство, в наслаждение духом; герои ополчились на мир, против расплясавшейся материи. Этими героями были не одиночки, а огромные коллективы — коммунистические партии и огромные куски рабочего класса и молодежи.

Социальная революция совершилась быстро, всесветно и без страданий, ибо встала вторая задача — восстание на вселенную, реконструкция ее, переделка ее в элемент человечества — и эта новая, великая и величайшая, революция одним своим преддверием, одним дыханием, выжигающим все бессильное и ошибочное, уже истребила гнилые, мистические верхи человечества, оставив лишь людей без чувств, без сердца, но с точным сознанием, с числовым разумом, людей, не нуждающихся долго ни в женщинах, ни в пище и питье и видящих в природе тяжелую свисшую необтесанную глыбу, а не бога, не чудо и не судьбу.

Остались люди, верящие в свой мозг и в свои машины,— и было просто, тихо и спокойно на Земле, даже както чисто, все видели опасность, но не дрожали от нее, а сгрудились, сорганизовались против нее. Получилось так: все человечество и вся природа — враг против врага, а между ними толстым слоем машины и сооружения.

Человечество видело, сознавало, думало, изобретало и завоевывало себе жизнь через завоевание вселенной. Машины работали и лепили из корявой, бесформенной, жестокой Земли дом человечеству. Это был социализм.

Глубокое, тихое, задумавшееся человечество. Гремящая, воющая, полная концентрированной мощи, в орбите электричества и огня армия машин, неустанно и беспощадно грызущая материю.

Социализм — это власть человеческой думы на Земле и везде, что я вижу и чего достигну когда-нибудь.

Из племен, государств, классов климатическая катастрофа создала единое человечество с единым сознанием и бессонным темпом работы. Образ гибели жизни на Земле родил в людях целомудренное братство, дисциплину, геройство и гений.

Катастрофа стала учителем и вождем человечества, как всегда была им. И так как все будущие силы надо было сконцентрировать в настоящем — была уничтожена половая и всякая любовь. Ибо если в теле человека таится сила, творящая поколения работников для длинных времен, то человечество сознательно прекратило истечение этой силы из себя, чтобы она работала сейчас, немедленно, а не завтра.

И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало его — этого требовала смертельная эпоха истории.

Так было осуществлено целомудрие, и так женщина была освобождена и уравнена с мужчиной. Раньше женщина работала слишком тяжко — творила творца — чтобы быть равной мужчине, ибо он был лодырь по сравнению с ней и имел больше органических сил поэтому.

Но люди неутомимо шли к высшей форме своего единения и знали, что пока человека с человеком разделяет не раздавленная, не покоренная до конца материя, этого единения не может быть.

Вещь стояла между людьми и разделяла их в пыль. Вещь должна быть истреблена.

И вот явился институт изобретений Елпидифора Баклажанова, в котором был сделан первый тип фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора: аппарата, превращающего свет солнца, и звезд, и луны в электрический обыкновенный ток. Им был разрешен энергетический вопрос (получение наибольшего количества полезной энергии с наименьшим живым усилием), выражением которого и была вся человеческая история. Вселенная была вновь найдена как купель силы — обитель переменного тока ужасающей мощи.

Влагооборота на Земле не было — вода ушла глубоко в грунт и там стояла мертвой. И свет был запряжен в работу: зашуршали мощные центробежные насосы и электромагниты подтягивали воду на поверхность.

Переменное электромагнитное поле неимоверного напряжения было пущено в корневые системы растений, и, уравнивая поле своего действия в смысле равной его электропроводности, оно вгоняло элементы питания растений из почвы в их тела. Так был изобретен сухой хлеб, и только для некоторых культур еще была нужна влага.

Сам я, кто пишет эти слова, пережил великую эпоху мысли, работы и гибели, и ничего во мне не осталось, кроме ясновидящего сознания, и сердце мое ничего не чувствует, а только качает кровь. Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века: как они были сердечны, сентиментальны, литературны и невежественны. Это потому, что людей долго не касалась шершавая спина природы и они не слышали рычания в ее желудке. Люди любили, потели, размножались, и каждый десятый из них был поэт. У нас теперь — ни одного поэта, ни одного любовника и ни одного непонимающего — в этом величие нашей эпохи. Человек теперь говорит редко, но уста его от молчания свежи и слова точны, важны и хрустят. Мы полны уважения и искренности друг к другу — но не любви: любовь ведет к падению, и сознание при любви мутится и становится пахнущей жижкой. Время наше раздавило любовь и не велит родиться ей впредь никогда. Это хорошо, мы живем в важном и строгом месте и делаем трудное дело. Нам некогда улыбаться и касаться друг друга — у нас еле хватает силы видеть, сознавать и переделывать не нами и не для нас сделанный мир.

У меня есть жена, была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего нет в ней от так называвшейся женщины — мягкого, бесформенного существа. То же видящее, сознающее, обветренное железной пылью машин лицо, та же рука с изуродованными ногтями, что и у всех нас.

Только губы потолще и глаза влажнее, чем у меня. И есть в ней нетерпение и тревога — то еще волнуется материнская сила, не перелитая в мысль. По утрам она обходит электромоторы и насосы, щупает их температуру и по щелканью ремня прикидывает число оборотов. Я стою на площадке резонаторной станции и смотрю на нее: такое существо могли родить только наша бешеная, судорожная природа и встречное движение ей жестокого, жестче природы, и прекрасного существа — человека, который решил

заменить вселенную собой. Если б ее кто-нибудь вздумал обнять или сделать какой иной подобный исторический жест, она бы не поняла его и задумалась о нем.

История человечества есть убийство им природы, и чем меньше природы среди людей, тем человек человечнее и имя его осмысленнее. И в нашу эпоху история достигла экстаза: обнажена душа солнечного света, и свет качает воду, делает хлеб в бессильных и пыльных пустынях и им питает мозг человека.

Число, расчет, вес — этими простыми изобретениями липкая и страстная, чувственная, обваливающаяся Земля была превращена в обитель поющих машин, где не стихает музыка мысли, превращенной в вещь, где мир падает водопадом на обнаженное, ждущее сознание человека. Каждый прожитый, проработанный час заваливал чугунной плитой ревущую бездну под человеком.

И вот раз были сделаны в институте Баклажанова машины, гонимые светом. Двигаться по переменному электромагнитному полю очень легко, и если бы не неспящий Баклажанов, то световую летательную машину сделал бы я. Вообще это монтерская уже задача, когда свет стал током. Конечно, в этой машине не было никаких пропеллеров, моторов, так как она предназначалась для межзвездных дорог, для полей пустого газа.

Обдумав это, люди решили переехать с Земли на другую звезду, а сначала объехать весь звездный рой.

И вот — Земля пустая. Ушел человек, и грянули на степи леса, появился зверь, и по ночам впивался он, испуганный, молодыми зубами в бетон мастерских, все еще освещенных и работавших для того, чтобы влага оборачивалась и не стала бы Земля песком и льдом. Но в мастерских и на оросительных станциях не было человека, и он там был не нужен.

Отчего ушел человек и оставил Землю зверю, растению и неустанной машине? Человек, который так чист и разумен!

Я расскажу. Когда я был молод (это было до катастрофы), я любил девушку и она меня. И вот после долгой любви я почувствовал, что она стала во мне и со мною, как рука, как теплота в крови, и я вновь одинок и вновь хочу любить, но не женщину, а что-то, чего я не знаю и не видел,— образ смут-

ный и неимоверный. Я понял тогда, что любовь (не эта, не ваша любовь) есть тоже работа и завоевание мира. Мы отщепляем любовью от мира куски, и соединяем их с собой, и вновь хотим соединить еще больше — все сделать собой.

Человечество, сбитое катастрофой в один сверкающий металлический кусок, после годов точной дисциплины, размеренной, чеканной, разделенной мысли, единой волны сознания, бушующей во всех,— уже не чувствует себя толпой людей, а сросшимся, физически ощущаемым телом. И человечество почувствовало одиночество и зов тоски и, влюбленное в мир, ушло искать единства с ним. Но эта человеческая любовь к миру не есть чувство, а раскаленное сознание, видение недоделанного, мятущегося, бесцельного, нечеловеческого космоса. Человек любит нечеловеческое, противоречивое ему, и делает его человеческим.

Почему я остался здесь? Об этом не скажу даже себе. Наши пути с людьми разошлись — теперь два человечества: оно и я. Я работаю над бессмертием и сделаю бессмертие прежде, чем умру, поэтому не умру.

Сейчас вечер. Я прочитал брошюру Баклажанова о природе электричества. Он разгадал его. Несомненно, электричество есть инерция линий тяготения, тяготение же есть уравнение структур элементов. Возмущение же линий тяготений и инерция их от этого происходит от пересечения скрещивания и всяких влияний других линий тяготения.

Баклажанов был бессонный, бессменный на работе чудак, но любили его люди.

Уже ночь. Ни одна звезда не пойдет быстрее, ни одна комета без срока не врежется в сад планет. Какой каменный разум.

Я шел и был спокоен. Познание электричества для сознания то же, чем была когда-то любовь для сердца.

Чем мы будем? Не знаю. Безымянная сила растет в нас, томит и мучает и взрывается то любовью, то сознанием, то воем черного хаоса и истребления, и страшно и душно мне, я чувствую в жилах тесноту.

Мы запрягли в станки электричество и свет и скоро запряжем в них тяготение, время и свою полыхающую душу.

<1922>

НЕМЫЕ ТАЙНЫ МОРСКИХ ГЛУБИН

Я опущусь на дно морское,
Я поднимусь на облака,
Лицо я вижу восковое
И худощавые твои бока.

Песнь пожилых девушек,
именуемых «синими чулками»
в просторечии

1. Индиан Чепцов — мореходец и любитель сочинений

Жил у Покрова, откуда простирался вид на обширную Донскую область с ее известным торговым пунктом Ростовом-на-Дону.

Из русских и заграничных писателей любил он больше всего А. Леваду и Старого Френча, писавших сочинения своего произведения в газете «Репейник», ибо они были похожи на Чехова, единственного умного человека из русских сочинителей, как полагал Чепцов.

Но, к сожалению, А. Левада и Старый Френч были иностранцы, судя по фамилиям, и в лучшем случае принадлежали к той хитрой нации, которая прозывается хохлами. Но за несомненного русского писателя Чепцов почитал Мих. Бахметьева, сочинявшего только про разных особ противоположного самому себе пола, и про себя Чепцов думал, что у него есть еще главные секретные сочинения, написанные по одному матерному.

Но и его считал Чепцов татарином либо мордвой.

Так что не было в Воронеже знаменитого русского писателя, а если были, то иноземцы.

В существе вещей Чепцов предполагал лежащим пространство, то есть даль, море, путешествие, пешеходство с седым и мудрым странником. И мир, по его суждению и долгой думе, переживает только утро, и набухает горячей юностью, и от жадности и голода в материнской утробе пожирает зверей, траву и всякие злаки, чтобы впоследствии пуститься в странствие по поверхности земного шара, по его недрам и по дну его морей и океанов, а также по прочим шарам за атмосферическими пределами.

Вследствие этого Индиан Чепцов купил моторную лодку с новым мотором в Спасском переулке, в доме № 2, по объявлению в «Воронежской коммуне».

И поехал в дружелюбную страну Турцию, взяв себе другом Жоржа, знаменитого фокусника и престидижитатора, занимавшегося в последнее время безвозмездным товарообменом с разными лицами и учреждениями, которые операции делали судьбу его превратной и полной неожиданного смысла, вследствие чего Жорж только пуще влюблялся и пил более густой наваристый чай, в количестве стаканов сопредельном расстоянию до неподвижной звезды.

Паричок Жоржик снял, ибо предстояла пустыня, сырость и глухая, одинокая даль, а не концерт в консерватории.

И вот настал голубой теплый день.

Индиан Чепцов и Жорж спустились к шлюзу, завели мощный мотор, поглядели на Воронеж, свой родной губернский город, от коего таким же образом и Петр Первый отплывал, — и поплыли к Дону.

Мотор ревел, как одичалый черт.

— Ага, попер, чертила! — вдохновенно бормотал Чепцов.

И вихрем неслась лодка, гонимая диким огнем, задушенным в железе.

Так в древности гениальный дикарь вскакивал на трепещущего вольного коня, и, пугаясь друг друга, они проносились сотни верст.

* * *

Благого сердца благодать и песнопение,
Пузырь луны и мокрая ветошка,
И тихих рек ночное средостение,
И одичалая осенняя картошка...
Земные телеса распухли и вспотели,
Набухло чрево пищей и питьем,
В космической берлоге люди засопели,
Душа втугачку закупорена пупком.

Месмерические видения Индиана Чепцова

И прибыли они, плавающие и путешествующие, Чепцов и Жоржик, в некую весьма благолепную страну, коей неведомо было воздыхание о сокровенных вещах.

На берегу стоял человек; его обличье и рост вещали о питании одной мыслью, и спрятанные в черепе глаза как бы говорили: буржуй, сволочь, укороти свои безмерные потребности, жри пищу не для вкуса, но для здоровья, закупорь свои семенные канальчики, не спускай силу зря, гони ее в мозг и в руки.

Лодка проплыла мимо, но все стоял сухостоем длинный и суровый человек, как бы предупреждая и грозя и как бы напутствуя: не ходи в сей город, смежи очи от его благолепия: там во дворцах устроены стойла, где сытые самки раскорячились в ожидании твоего оплодотворения, дабы затмить твое святое сознание и опустошить твою борющуюся душу.

Чепцов и Жоржик уже норовили к берегу, когда все еще торчавший на горизонте длинный человек сделал им наконец наглядное неприличие, то есть пакость.

— Поразительное существо, — определил Чепцов. — Так сказать, трансцендентальный мещанин.

— Да, — задумался Жорж, — хотя целый ряд соображений говорят не за, но против этого бытийствующего субъекта.

Город блестел чистотой и своей изрядной архитектурой, когда мирно ступали по его тротуарам наши два героя. Везде стояли ветлы, снабженные нормальным количеством воробьев; милиционный человек стоял также ровно посередке улицы, а не грелся в гастрономическом магазине (дабы не мешать коммерческому движению). Весь супесок с тротуаров был сметен в предназначенные для него канавки, откуда он и выносился естественными осадками в свое место. Юношей, предлагающих вам высшего сорта папиросы, также не было, и Чепцов даже слегка потосковал об их бодром гимне, какой непрерывно раздается на улицах его родного города:

А вот папиросы высший сорт —
Здеся:
Вот они!

Лишь вдалеке незначительная группа молодых людей отбивала ногами чечер, национальный танец этой благой страны.

Второй встретившийся нашим героям человек был уже радостным существом:

— Друг, дай петушка! Я вас люблю, — дай петушка.

Жоржик и Чепцов дали ему по петушку.

Из открытых дверей благоустроенных жилищ туземцев пахло щами и жженым железом печей местной конструкции.

Наконец Жорж и Чепцов узрели самую культуру страны: афишу, в коей было обозначено, что гражданин Мамученко прочтет доклад о браке, совокуплении и любви.

Город, насколько его разглядели наши герои за день, ничем не занимался трудным, а всем населением с утра уходил на базар и продавал друг другу ветошь, жамшу, скло, пышки лепешки, всякие жамки, купыри, сальники, воду марки «Санитас», пузырьки для электрического освещения, опорки, заусайловскую махорку, грамотки старинной печати, иконки и протчий ходкий благоприобретенный товарец. Так что общество, в сущности, было освобождено от труда, а занималось творческой профессией товарооборота ради питания и домашней тишины.

У каждого человека была женушка, добротная хозяйка-посиделушка, и весь мертвый кухонный инвентарь. Вечером, поужинав теплыми щами с говядиной, хозяин и хозяюшка прочитывали совместно и не спеша «Господи и владыко живота моего» (был пост великий) и ложились на покой, в тесное супружеское теплышко. Утром хозяюшка варила (а хозяин еще всхрапывал) кулеш с сальцем. А хозяин, вставши и нанизавшись этой пищей, шел самолично щупать троечку курей.

Так несуетно и благопристойно протекало существование. Волосья смазывались маслицем, лысины зачесывались волосок к волоску, а по вечерам тщетно плакали гармонии на окраинах, на улицах сапожников,— о тоске, о светопреставлении, о мысли буйной и невыносимой, будто лопнуло сердце и рватым комком подкатило к горлу.

Боже мой, люди, давайте жить по-иному и ополчимся на мир и на самих себя. Полюбим женщин жарко и на веч-

ность, но не будем спать с ними, а будем биться вместе с ними с ревущей катастрофой, именуемой миром.

Жоржик и ты, Чепцов Индиан, вы же странники и воители, вы шахтеры вселенной, а не то, что вы есть. Жорж, брось пожирать колбасу и масло, перейди на кашу, ты же лучший из многих, дорогой друг мой...

Вечером того же дня Жорж и Чепцов отправились на лекцию Мамученко. Народу привалило тыщи великие.

За самое чувствительное место ухватил Мамученко людей — за их яичники.

Одни сапожники остались дома играть на гармониях. Они живут на белом свете.

* * *

Гуляла по улице мамашина дочка,
Слезами заливалась до тощего пупочка.
Девица-голубушка, горькая краса:
Горе есть — сгоревшие жир и колбаса.

3. «Книга о граде сем»

Однажды ночью Чепцов спал. И так сладко, что открыл рот и опустил оттуда слюну до полу. А на дворе настало утро, поднялась теплота, и в комнату пробрались мухи. Увидевши красное мясо (то есть пасть Чепцова), они внизались в него и начали там ерзать. Чепцов закрыл рот: ап! и сжевал их и отправил по пищеводу вниз. Проснувшись и поевши колбаски, он пошел будить Жоржика.

Жорж выпил чан чаю, намял тюри в чугуне и, скушавши ее и запив повторительно корчажкой воды, наконец приподнялся, потом встал, и они пошли: как всегда оба и вдвоем.

Город тянулся к базару. Обвешанные ветошью, шли бабы. Катились тележки с малосольными огурцами, с самодельными сапогами, с калекой («Братие, сестры, подайте слепому-невидящему!») и с прочим горем несчастного города.

В некотором углу большой и изрядно унавоженной площади расположился старый торговец книгами, философ,

любитель чая и задушевной беседы о вещах не одного дня. Был он тощ, но бодр и мудр. Спал мало, долго по ночам думал и читал древние стертые рукописные книги: мо... мо... мо... И, начитавшись, вздыхал: да-а! Затем укладывался, шепча и думая, чтобы проснуться на заре и осторожно, неспешно и мудро снова перелистывать заржавевшие страницы, куда внедрились культуры и боги погибших рас, чтобы сохраниться на века в темной келье старика, покуда родятся понимающие, светлые люди и прочтут уставшие ждать слепые страницы.

К нему-то и пробирались два наших героя. Старик (его звали Иоаким Иоакимыч — он и сейчас цел и действует) их как бы поджидал и, привязывая новые веревочки к очкам, все поглядывал в сторону бредущих сквозь непроходимый сонм торгующих. Солнце уже было на значительной высоте и грело разложенную мануфактуру купцов.

— Здравствуй, старик! — сказал Чепцов и взял в руки книжку.

— Здравствуйте, друзья, что скажете? Что хорошенького слышно?

— Да вот нам нужна книжка нравоучительного характера и отчасти моральная.

— Есть, есть. Таковая найдется. Вот-с, извольте вникнуть.

«С этим стариком хорошо пивка бы попить с сухариками солеными»,— подумал ни к чему Чепцов и взял огромный том. Откинув переплет, Чепцов и Жоржик прочитали заглавие: «Книга о граде сем, сочиненная и составленная добровольно столоначальником 4-го стола Губернской консистории Ионой Атараксиевым, с ведома и соизволения начальства, на предмет выяснения личностей, населяющих сей государственный пункт, дабы отметить благонравие однех и устеречь дерзостное поведение иных».

— Для любителя — книга — неукоснительного внимания, так сказать ключ к душам человеческим,— сказал старик.— Писание весьма нравоучительное, даже в недостойностях своих, коих, к стыду сочинителя, немало.

Чепцов и Жорж заплатили деньги и пошли читать книгу домой, то есть к одной старушонке, где они поселились.

— Ну, прощай, старик. До свиданья.

— До скорого, дорогие мои, до скорого.

Жорж зашел еще купить лепешек и масла чухонского, а Чепцов пошел прямо к местожительству. И начал он читать сочинение Атараксиева Ионы.

«Обращение от сочинителя и составителя к почтенным читателям и читательницам» Чепцов пропустил, как не содержащее ничего особо примечательного. (Сочинитель просил не сетовать на его маломощный умишко, стремящийся лишь к благонравию и добропорядочности, отнюдь не к возвышению в чинах за особо выдающиеся заслуги пред отечеством, предусмотренные особым на сей предмет положением.) Чепцов начал прямо с сути.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Раздел первый

Личности, в особо предосудительном не замечаемые, что, однако, не служит добрым аттестирующим документом на грядущее время, по существу же вещей, это такие же подлецы и государственные преступники, но лишь их множество допускает их относить властям исполнительным к лицам так называемым благонадежным.

1. Педо Африкан Африканович, писец 4-го разряда 2-го стола I-го делопроизводства, 38 лет, холост, уроженец заграничной державы. В то время, как начальство пьет чай в 12 часов пополудни и кушает особые слоеные булочки, этот занимает до двадцатого у сторожа Петра пятачок и посылает уборщицу Феклушу за так называемым в простотеречии «воробьем», т. е. наименьшей продажной мерой казенного вина. После чего он по глотку ублажает себя в продолжении нескольких часов до конца присутствия, втайне следя за взором столоначальника, дабы не быть застигнутым. После 20-го числа любого месяца он не только пьет вино, но также и пиво в несоразмерных с самим собою и своей комплекцией количествах, вследствие чего у него в продолжение трех суток после двадцатого бывает мочегон, по причине которого он беспрерывно отсутствует из

присутствия. Личность одинокая и дикая. Все более разучивается писать с годами.

2. Скобозок Ванифатий Юстинианович, помощник делопроизводителя II-го делопроизводства, 42 лет, женат, православный, не пьет, ест однажды в сутки, спит 4 часа по ночам, все другое время, как в присутствии, так и дома, пишет ведомости о родившихся младенцах мужского и женского пола. Дома у него их тыщи. Неведомо что творит человек. Но, по моему уразумению, тут сокрыто государственное преступление или деяние чрезвычайной важности таинственной разрушительной секты. В прочих отношениях Ванифатия Юстиниановича не покидает благомыслие.

<1923>

РАССКАЗ НЕ СОСТОЯЩЕГО БОЛЬШЕ ВО ЖЛОБАХ

Звездов много, молонья сверкуляет — сколь неизреченны чудеса натуры! В городах — машины, сияющие ночью улицы, умные, вразумительные люди, вкусные вещества и прочее. А в полях — география, звездный свет, тихий ход рек, дыхание почвы, речь пахаря с встающим солнцем.

Миллиарды лет жили до меня мои предки — неглупые старики.

Их жизнь и работа запечатлелись в голове моей. Я — живой памятник своих предков и их завет и надежда. И то в этой голове, которая делалась миллионы веков, не хватает силы узреть весь мир, уложить его в сердце и сделать лучшим, чем он есть.

Имеем лишь слово — инструмент нежный, и из слов сплетаем и перекидываем тростниковые мосты меж своими живыми душами.

Хорошо в мире, без сомнения. Обжился я, притерпелся, а давно ли ставить ноги прямо вкрутую не мог, а полз корягой, верил всему, что видимо и невидимо.

И все таковые же были из нашей Тарараевки — невидный, обглоданный народ, не помнящий, как называется их уездный город или другой какой правительственный пункт.

Помню, в Красную Армию нас забрали. Приехали в Москву. Измордовались наши ребята в дороге. Слезли и очумели — ну, теперь мы пропали.

Кто что спросит, а мы:

— А? Што? А?

— Откуда, земляки?

— А? Што?

Стоят дома, несоразмерные с человеком. Идет человек, крутит тростью и лопочет неведомо что. Играет где-то жалостная музыка. Жутко и чудно нам. Далеко остались матери и сестры — жалко их стало, зря дома не любили их как следует.

Привели нас в казарму. Дом большой и построен из прочного кирпича — несгораемое помещение. Стоит уж, говорят, который год.

И тут чепуха с нами пошла. Старые красноармейцы смеются над нами:

— Пропали, — говорят, — теперь вы, товарищи. Лучше загодя проси у товарища Троцкого отпуска на побывку — вот он в клубе, ступай.

Пришли мы, человека три, в клуб.

— Вон, — показывают, — товарищ Троцкий.

— Дак то ж видимость одна, — говорим мы, — партрет.

— Нет, — отвечают, — это не видимость, это у буржуев видимость и обман один, а у нас, у пролетариев, — правда и живая личность. Проси отпуска.

Мы разом:

— Товарищ Троцкий, дозвольте домой на деревню к отцу-матери на побывку, в скорости возвратимся, а теперча надобно домой...

А товарищ Троцкий отвечает басом:

— Что ж вы, товарищи, аль дезертировать захотели, не успели приехать — уж побывку вам.

— Да мы, товарищ Троцкий, не привыкши еще и по дому соскучились...

— Ну, ступай, несознательный элемент, да живее оборачивайся, стало быть. Не распускайся в дороге: мажь сапоги, пуговицы пришивай, не будь рохлей, ты ведь будущий красный воин.

— Покорно благодарим. Уж будьте покойны.

Собрались мы и уехали. Командир наш дал нам по тыще даже: ат товарища, говорит, Троцкого — на харчи и табак, теперь вали смело. Такого уважительного товарища, должно, на свете еще не было.

Ну а через месяц нас троих же, четвертый на поезд не сел, взяли в волость как дезертиров. Тут-то я до всего дознался: вспомнил, как похохатывал командир, когда давал нам по тыще, как у товарища Троцкого губы не шевелились при разговоре. Не живая личность, а живая картина была в клубе, и за картиной сидел и рычал командир наш.

Ну, ничего. Приехавши в Москву, мы окончательно определились на красноармейскую службу. Сажать нас не посадили, а посмеялись и сказали:

— Дураки вы, товарищи, надо ликвидировать вашу безграмотность и пройти с вами политграмоту. Вали каждый на свое место — думай больше и гляди глазами.

Ничего себе настало время — люди все ласковые и свои.

А через месяц я все-таки женился, не потому что надобность особая была, а давали мануфактуры, самовар, койку большую, скатерти, посуду всякую, обмеблирование и прочий семейный причиндал.

И отправил я супругу со всем казенным имуществом к родне — и радость, и помощь. Теперь я понимаю политику и во жлобах не состою.

<1923>

НАПИСАННОЕ В СОАВТОРСТВЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
рассказывающая о рождении Ивана Копчикова и о первых его похождениях

Одна девка с хутора Суржи — была его матерью. Она была рябая до того, что лицо ее походило на гороховое поле. И ни один суржинский парень не брал ее в жены. Понятное дело, кто ж согласится целовать такую рябую морду, на которой даже носа не видать вовсе. Его съели рябины.

А девке захотелось родить. Она пошла в дремучий лес и жила там 11 месяцев и 11 дней. С кем она там жила — никто не знает. Только однажды возвратилась она на хутор с месячным мальчишкой за пазухой.

Он, совсем голенький, выглядывал из-за пазухи и улыбался, посвистывая в свой нос.

Нос его оказался очень большим и острым, как у птицы кобчика. И все свистел нос, и все нюхал он воздух.

А когда потный и грязный брат девки подошел к мальчишке, мальчишка громко чхнул и замахал на брата ручонками. Брат ему, видно, не понравился.

— Ишь ты, — сказал тогда брат девкин, — прямо не ребятенок у тебя, Глашка, а кобчик какой-то!

Так его и назвали — Иван Копчиков.

Но пьяница-поп не захотел крестить мальчишку. Он говорил:

— Кто его отец?

Глашка отвечала:

— Не знаю. Нету отца.

— Как так нету? Без отца нельзя. Одна Богородица без отца могла родить. Ты что ж — тоже Богородица?

— Да нет. Я девка Глашка. Я вам, батюшка, ковригу хлеба могу пожертвовать.

Поп просил две ковриги, полбутылку водки и десять селедок на закуску. Тогда он соглашался окрестить. А у Глашки этого не могло иметься: она была чересчур бедная и даже пеленок для ребенка не имела.

Так и остался Иван Копчиков некрещеным. И начал расти. Рос прямо рысью: в полгода вырос с аршин и начал ходить. А в 11 месяцев и 11 дней дернул мать за юбку и сказал просто и ясно:

— Мам, исть хотца. Дюже. Дай ломоть. Да поболе посоли.

ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой Иван подрастает
и из которой очевидно, откуда он

Встал на ноги Иван, поднял нос к небу, глянул — высоко.

Лес гудит в буре — густо. И рожь угнетается ветром низко и покорно. Только шершавит она и тонко поет, как кровь по жилам у матери.

Иван не знал еще ничему имен:

— Ет што? Ет хтой-та? Аяй!

У дня покраснели глаза, уморился он и сомкнул их. Долго слезы и кровь текли по слезницам одноглазого дня и падали с неба на траву. И холодела трава и мочилась.

Вечер. Тяжкая усталь в материнском Глашкином теле. Груди висят ветошками, и ждет ее Иван на татарском древнем кургане, и смотрит в вечер, вверх, в чуть звенящие по ветру звезды.

Жалко ему матерь, жалко чужой дом. Страшно ждать ночь и ночью жить. А если мать не придет? Петра не пустит в хату.

— Мам! Мама!

Тяжко и густо, как чернозем после ливня, прёт душевная сила из Ваняткина живота — из куска перепревшего черного хлеба.

В волчьей тоске зачал Ивана волк — Яким, человек почти не существующий. По обличию — скот и волк, по душе, по сердцу, по глазам — странник и нагое бьющееся сердце.

Когда пришла Глашка в лес, запела не своим голосом. Ибо подступила тесно и жарко к пышной, вздутой душе ее пламенная, несворотимая сила.

Вышел Яким из куреня:

— Кто ет орет? Неужли человек затосковал? Пойтить упредить.

Глядит — бредет тугая девка сама не своя.

— Ты што? — сказал Яким и сам задрожал. Скорбь и горе на девкином лице. И дождем мокнут впавшие ее человечьи глаза.

Обнял ее Яким. И сам заскорбел. И пал душою. Заволокся лес деревьями. Закрыл небо. И сперся стволами в страшной нагретой тесноте.

— Голубь ты мой, птица высокая! Где же ты был, отчего не повстречался? — шептала Глашка. Она выдумывала лучшие слова, которые никогда сама не говорила, а слышала когда-то и забыла.

И утром очнулся Яким мокрый и уморенный. Никогда так не умаривался. Голова лежала в траве тощая. И лицо было в морщинах от избывшей силы, от согнувшейся замолкшей души.

— Мертвый я, — подумал Яким. — Смерть идет от девки. В тишине и жизни, без людей, с одной душою буду жить.

Шла Глашка покойная. Низко шел месяц, и ручей шелестел.

— Милый мой!

Но Яким был только милый, а незнаемо кто. И разговорилась Глашкина душа.

Весь белый свет был мил и разговорчив.

Пропал Яким из лесу навеки.

Ходит Глашка — и не ищет Якима, а так. Запечатленный в плоти — не потеряется. А уж три раза рожалась рожь. И сосна, где стояла Глашка и видела неторопливого Якима, подросла.

Иван ждал мать на кургане. А мать не торопилась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

описывающая разные истории с Ваняткой

Целыми месяцами сидел Ванятка на кургане том. Только на ночь уводила его мать в братову хату.

Днем же опять шел Иван Копчиков на старое место. В ковыль ложился. Питали его пастухи. Из жалости. Они позволяли ему сосать дойных коров, давали ломоть хлеба.

Потянет-потянет Иван молока из коровьего вымени, а потом заест молоко хлебом.

В четыре года мог уж Иван Копчиков удержать корову за хвост, ежели она думала убегать от него и не давала себя сосать. Такая у него сила появилась расчудесная.

И хитрость у Ивана прибывала ежечасно. И ум прибавлялся с каждым днем. Стал Иван пастушить, когда ему сравнялось пять лет. Да так хорошо пастушил, что одно удивленье. Коровы приходили домой сытыми по горло и веселыми.

Молока давали пропасть.

Кормил их Иван Копчиков так. Сначала в солончаки погонит. А потом, когда коровы соли много употребят, гонит их в степь. Трава утренняя в степи потная, мокрая. Коровы ее и уничтожают до тех пор, пока не напьются росою. А сколько им росы-то надо, чтобы напиться? Много! Оттого и сытость у них непомерная.

Далеко полетела по деревням слава о пятилетнем пастухе. И приходили к нему многие. И он обучал их пастушьему искусству.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
доказывающая, что дело не в летах

Шесть коротких лет прожил Иван Копчиков на земле. Но уже стало ему скучно и тесно в родной Сурже. Он бросил свое стадо и одной бурной ночью, в грозу — вылез из хаты в окошко и потихоньку пошел себе куда глаза глядят.

Молния пахала небо. Гром был над землей. Иван не боялся. Он все шел и шел. И дошел до лесу. Сел там на пенек около оврага и задумался об своем.

Вдруг небо раскололось надвое, точно человеческий череп. Ослепительный синеватый шар трахнул из туч в овраг. С оглушительным треском в щепки разлетелся столетний дуб.

Иван наклонился и посмотрел вниз. Там на самом дне оврага что-то горело. Но горело что-то живое: огонь бегал, кружился и скакал.

Иван быстро спустился вниз. Вернее — он скатился туда кубарем.

По дну оврага метался горящий волк. Он прыгал вверх, падал на спину, терся боками о землю, зарывался в нее головой — но шерсть его продолжала гореть. И от него загорелась уже сухая трава, а местами и сухой валежник.

Иван сказал:

— Молния зажгла волка. Волк знает, как ее тушить — землей. Ага.

И выждав удобный момент, Иван Копчиков дубинкой стукнул по волчьей голове. Волк завертелся на одном месте, ляскнул зубами и вытянулся.

Тогда Иван быстро-быстро начал засыпать его сырой землей. Огонь сразу потух.

Волк тяжело раздувал бока и хрипел, дрыгая ногами.

— Жив будешь,— сказал Иван и полез наверх.

Стало тихо в лесу. Гроза прошла как-то сразу. Крапал крупный дождь.

Иван пошел быстро-быстро. Скоро утро — на Сурже голосили петухи. В пруду — квакали лягушата хором. Хорошо.

Но кто еще там? Кто это раздвигает кусты сзади? Кто это идет за Иваном?

Иван подождал чуточку.

Обгорелый волк пошатываясь подбежал к нему, лизнул его в ногу и лег около.

— Волк, — удивился Иван, — какой ты есть, а? Почем ты меня узнал?

Волк лизал ему ноги.

— Ну что ж. Ежли ты — умный, идем со мной.

И они двинулись на Суржу, вместе. Впереди шел Иван, а сзади — пошатывался волк.

Дома Иван влез в окно, а волк лег на завалинку и, как собачонка, свернулся калачиком.

Скоро оба заснули.

Утром на Сурже случился с волком казус: бабы бежали от него опрометью, орали:

— Черт, черт, оборотень!

Иван тогда гладил волка по губам и сказал громко:

— Чего вы, дуры, испугались. Это мой друг — волк, а не черт.

ГЛАВА ПЯТАЯ,
из коей очевидно, что слово было когда-то душою, а буква — очертанием зверя

— Сколь разумно бытие? — спросил сам у себя единожды Савва Агапчиков и задумался.

Шел пост. Тлел заунывно снег в полях. Не тоска, а хуже — какая-то едрена палка воткнулась в душу и коловращалась там живою сукой.

Саввушка (так именовали его бабы, которые еще были во страстях, — ибо Саввушка был мужик сдобный и мордой миловидный), так вот, Саввушка стал чахнуть.

— Сколь разумно бытие?

Бросил пахать Савва: не велик дар — хлеб, когда душа ссохлась.

Залез в лебеду и в последний раз задумался: откуда все?

И умер там Савва — в лебеде. Старая усталая голова, иссосанная работой, нуждой, долгой жизнью с женщиной, не надулась в стальной мускул и не рассекла тайну — мучения жизни. А вылезать Савва не пожелал:

— Раз мне ничего не известно — ничему доверить гроша не могу, не токмо себя. Прощевайте!

И умер Савва — миловидный мужичок.

А в Сурже как бы невзначай, не посреди людей, а помимо их, за околицей, на кургане, под немым месяцем рос, поспешая, Иван Копчиков.

Рос враз и без попечения — самогоном. Гонит неведомая сила рысью ввысь и вширку. Успевай мать дырки и прорвы штопать на рубахе. Благо, она одна.

Десять лет минуло, как Яким уморился от Глашки в лесу. Петра два раза крышу перекрыл. Овраг подступил к самой Сурже. Филька Жигун утоп в Дону и пропал пропадом. Должно, пузырь в животе не лопнул. Только солнце осыпалось жаром как всегда.

Прислушался Иван к словам. Шипят, поют, ноют жужелицей, ласкаются и жмут ухо — чистые мыши, живые звери, травы, ветры, влага либо сон и голод. У всякой душевной силы есть свое слово — и оно то ласково, как женщина, то грозно и знойно, то глухо и смутно, как ни-

щий — немтырь или деревенский колотушечник. Есть слова липкие, горячие, как девкины губы, как бессонная августовская ночь, когда пышешь силой-жаром, а сам одинок.

Ходил по полю Иван и бурчал...

— Рожается рожь... Топает копытами и капает пот... Плели лапти и латали, за скулою лопотали, языки все растоптали... Щука в море, мертвец в гробе, сыч у лесе, глист у пузе...

Таким ходом шла голова Ивана, и он припечатывал сущие вещи именами.

Слово — это ведь сокращенная и ускоренная жизнь. Если чуешь жизнь, то слово найдется сразу для каждого ее дыхания. И это слово будет то, которое уже имеют люди, — и твое новое слово и старое совпадут, ибо и тот человек, кто вскрикнул от надавившей на него жизни словом, — был могуч, переполнен и один, окруженный ветром, как Иван, с его внезапными стоячими глазами.

Слово, как душа, стукнувшаяся об стену и зазвеневшая. И звенит каждый раз особо, как когда ударится.

И по песне своей слово похоже на душу, и по тому, как рисуется на бумаге.

Так обдумывал жизнь, душу и слово Иван.

И было ему хорошо и твердо. В теле билось полное сердце. Мозг скрежетал мыслями и высекал искры единственной правды.

Тихо и тепло жить в мире, и не страшно.

Жук похож на букву «ж». Цвет, звезда, сердце. Это нежные целуемые человеком вещи-слова, и слышно касание губ человека, и виден тут блеск и сияние души.

Сила человека — в сохранении и повторении несчетно раз души в слове.

— Вот что надо завзять в мире, — думал Иван. — Мужики делают хлеб. Бабы — ребят. Плотники — дома. А я буду делать хорошие души из рассыпанных, потерянных слов.

Я слеплю их все сначала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,
очень короткая, но нужная

Думал Иван о словах: почему овраг называется оврагом? И додумался. Потому, что он землю у мужиков отымает. Каждый год, по весне и осенью, — рушатся края оврага и пропадает земля, которая могла бы родить хлебушек. Вот увидел это первый человек и вскрикнул в гневе:

— О, враг ты наш!

Овраг — враг мужиков.

Врага — надо уничтожать. Иван Копчиков сказал мужикам:

— Скоро Суржа в овраг сползет, поняли?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
повествующая о том, как овраг родил деньги

Сказал, значит, Иван Копчиков мужикам:

— Слопает овраг нашу Суржу.

А мужики — какой народ-то? Почесал кое-где пятерней:

— Авось не слопает. А слопает — так это ж не скоро поди!

Привык мужик после драки кулаками махать. Иван Копчиков не таков, хоть и десять лет ему от роду. Он взял и на своем участке обсадил овраг поперек рядами красной лозины и шелюгой. А чтоб скотина ее не шкодила, приказал своему другу-волку жить в овраге и стеречь.

Через три года родил овраг Ивану Копчикову денежки.

Лозина она — хлесткая — растет в год по аршину. Так и прет во все стороны кустищами. Хорошая лозина, гибкая, чисто восковая свеча.

И овраг перестал на Ивановом участке оползать, пророс травой. Три с половиной воза накосил Иван сена в овраге.

А как заосеняло, Иван залез в овраг и давай вместе с волком пряменькие хворостинки подкашивать. Иван — ножичком, а волк — зубом: зуб у волка — бритва.

Мужики смеялись:

— Садил, садил, а теперь — изничтожает! Вот дурак!

Смолчал Иван: не любил он много слов говорить зазря, делал свое дело. Из хворостин понаплел сундуков

и корзинок целую гору. Продал их в городе — за четвертной все.

Родил овраг денежки.

Тут мужики за ум взялись:

— Ах, дьявол! Мальчонке тринадцать годов, а он умней нас оказался.

Однова выбрала Суржа денек подходящий да свободный и засадила весь как есть овраг, по примеру Ивана.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
в коей орудует неведомая гнида

Появилось в теле у Ивана как бы жжение и чесотка. Сна нету, есть неохота. Жара в животе до горла. Хочется как бы пасть волку разорвать либо яму руками выкопать в глубину до земного жара.

Иван уже знал, что в могиле тепло, а в глубоких землянках рыбаки живут и зимой у самого льда.

Бесится в тесном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету. Думы все Иван передумал, дела произвел. Хату Петру починил, плетни оправил, баклажаны ополол — все как следует быть.

Сидит Иван вечерами и ночами на завалинке. Сверчки поют. В пруде басом кто-то не спеша попевает и попевает, как запертый бык.

Радость внутри сердца Ивана кто-то держит на тонкой веревочке и не пущает наружу.

— Тебе б к бабе пора, — говаривал Мартын Ипполитыч — сапожник-сосед, мудрое в селе лицо, — взял бы девку какую попрочней, сходил бы в лес с ней — и отживел. А то мощой так и будешь.

А Иван совсем ошалел. Мартын же иногда давал ему направление:

— Атджюджюрил бы какую-нибудь лярву — оно и спало бы. Пра говорю!

И шел раз Иван по просеке в лесу. Ночная муть налезала на всю землю. В воздухе почти невидимо было, и запахло хлебной коркой.

И идут сзади вслед торопкие и легчайшие чьи-то ноги. Иван обождал. Подошла, не взглянула и прошла Наташа, суржинская девка. И видел и не видел ее ранее Иван — не помнил. В голове, в волосах и в теле ее была какая-то милость и жалость. Голос ее должен быть ласковый и медленный. Скажет — и между словами пройдет дума, и эту думу слышишь, как слово.

И в Ивановом сердце сорвалась с веревочки радость и выплыла наружу слезами.

Наташа ушла, и Иван пошел.

На деревне — тишина. Из сердца Ивана повыползли тихие комарики — и точат и жгут тело, и сна не дают.

Шли дни, как пряжу баба наматывала. Живешь, как на печке сидишь, и поглядываешь на бабу — длинен день, когда душа велика. Бесконечна жизнь, когда скорбь, как сор по просу, по душе разрастается.

Простоволосые ходили мужики. Чадом пошла по деревне некая болезнь. Тоскуют и скорбят, как парни в мобилизацию, все мужики.

Баб кличут уважительными именами.

Феклуша, дескать, Марьюшка, Афросиньюшка, Аксинь Захаровна!

Благолепное наступило время.

Посиживал Иван с Наташей и говорил ей, что от них по деревне мор любовный пошел. От одного сердца вспыхнули и засияли сердца всех. Завелась у Ивана в теле от Наташи как бы гнида или блоха, выпрыгнула прочь и заразила всех мужиков и баб.

Здесь вошь любви, но она невидима.

Но гниды эти — невидимы, и их нельзя перелущить ни на когте, ни на камне.

Пускай прыгают они по всему белому свету — и будет тогда светопреставление.

Тихо ласкали по деревне люди друг друга. Но от этих ласк не было ни детей, ни истомы, а только радость — и жарко работалось.

Приезжал доктор из волости, обсвидетельствовал некоторых и сказал:

— История странная, но вселенная велика и чудесна — и все возможно. Мы, как Ньютон еще сказал, живем на берегу великого океана пространств и времен и ищем разноцветные камушки... И эта бацилла аморе только самый редкий и чудесный камешек, которого еще никто никогда не находил...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,
ясно намекающая на новые затеи Ивана

Роса паршивая падет на лист, и ну — пошла по листу ржавость и паскудство. Так и слова докторовы о любовной вши пали Ивану на душу. Едят душу, паскудят. Хочется Ивану вшу эту любовную дойтить, доглядеть. А она — невидимая. И почал Иван Копчиков ржаветь, что лист от дурной росы. Конопатый стал, яко росный огурец. Вся его миловидность — вроде картинки на солнце выцвела.

Вспомнил Иван курган любимый. Опять на него переселился. Просидел под небом, как под крышей, все лето — хвать за голову, а на голове волосья, что твоя сторновка. Сухие и ломаются.

— Чудасия!

Глядь-поглядь — во все стороны черно, как в трубе от сажи. Степь черная, как кошка. Не заметил Иван Копчиков, как солнце засушливое обглодало дочиста землю. Оно-то и волосы его в сено превратило.

Сразу тут забыл Иван о любовной вши. Всегда так: коли жрать нечего, не токмо о любовной, а и портошной вши забудешь!

Трижды сплюнул Иван в одно место. Нету слюны: в один миг в землю ушла.

Погрозил Иван кулачищем своим паучищу проклятому — огневому солнышку:

— Я ж тебе, чертушка, подложу свинью. Боле тебе нами не властвовать. Доконаю, подчиню тебя нашей воле.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
где сверкуляющая небесная сила обретается Иваном и замордовывается в работу навеки

Потянулась опять тщедушная жизнь, как щи. Живешь-живешь, а жизнью все не налопаешься. Плохо жить без гниды любви, как без мяса обедать.

Пустынножительством стала земля, ибо свирепело и дулось жаром солнце, будто забеременело новым белым огнем неимоверной злобы.

А по полям только шершавый терпеливый жухляк трепыхался, да змеи в горячем песке клали длинные пропадающие страшные следы. Змея, она не похожа ни на одного зверя, она сама по себе, немая и жуткая тварь.

Змея не любит ничего, кроме солнца, песка и безлюдья.

Как в печке, сгорели посевы и с ними — жизнь. Тела мужиков обтощали — и не только вшам любви, но худощавым плоскушкам еды не хватало.

Ни тучки, ни облака, ни ветра. Один белый огонь цельный день, а по ночам медленно-текучие оглядывающиеся звезды.

Тишина во всем мире, потому что подступала смерть.

Иван переменился. Высокий стал, худощавый парень, с терпеливыми стоячими глазами. Пушиться стало лицо и полосоваться бичами дум.

И вот уже в августе месяце трое суток то наступала, то отступала и дробилась зноем тяжкая туча. Разнесло ее во всё небо.

— Не к добру, — говорили старики, — из такой не вода, а камни полетят.

Вышел в поле Иван и ждал. Ни души. Птица, зверь и всякое насекомое исчезло и утаилось.

Насела туча, темнее подземных недр. Но ни капли, ни звука из нее.

Ждал до вечера Иван — не шелохнется туча.

Всю ночь не спал, все слушал, как камни вниз полетят. Ничего не было, и утром так же стояла туча.

И только в полдень осенила, ослепила небо и землю сплошная белая молния, зажгла Суржу и травы и леса ок-

рест. И вдарил гром такой, что люди попадали и завыли и звери прибежали из лесу к избам мужиков, а змеи торцом пошли в глубь нор и выпустили сразу весь яд свой.

И полетели сразу вслед за молнией на землю глыбы льда, и сокрушили все живое, и раздробили в куски мертвое.

Упал Иван шибче льдины в лог и уткнулся в пещеру, где рыли песок в более благопристойное время.

За ледобоем вдарил сверху ревущий, скрежещущий, рвущий в тряпки пустую землю водяной потоп.

И синее пламя молний остановилось в небе, только содрогалось, как куски рассеченной хворостиной змеи.

И вода пошла из тучи сплошным твердым потопом — дышать нечем. Воет и гнетет свистящий и секущий все на свете ливень.

И за каждым громовым ударом — новым свирепеющим вихрем несется вода, и, как стальным огромным сверлом, разворачивает землю до недр, и почву пускает в овраги бурыми волнами...

К вечеру стих мало-помалу водяной ураган.

Вылез Иван наружу. Холодно стало. Внизу по оврагу еще неслась вода. А по откосу, где был в пещерке Иван, только топь и вывороченная, разрушенная земля.

Выбрался Иван наверх, глянул. Не было ни Суржи, ни леса, ни полей. Чернели глыбы пораженной земли, и шипела вода по низинам.

Задумался Иван. Лед и ливень рухнули вниз, когда засияли молнии. До того туча шла мертвой.

И пошел Иван прямо к Власу Константинычу — волостному доктору, тому самому, который вошь любви обследовал.

Влас Константиныч любил книги. Жил без жены и существовал лишь для пытания природы.

Влас Константиныч любил всех суржинских. Пришел к нему Иван и говорит:

— Дождь от молнии пошел, а не от тучи.

— Как тебе сказать, — ответил доктор, — электричество связывает в воздухе пары воды в тучи, а когда бывает молния, то есть электрический разряд или рассеяние элек-

тричества, — эта связка воды рвется, и вода сама собою падает на землю.

— А эти пары воды всегда есть в воздухе — и до дождя, и когда жарко? — спросил Ваня.

— Всегда, дружок, и всюду, — сказал Влас Константиныч.

— А электричество самому сделать можно?

— Можно...

И доктор показал Ивану баночку на окне, из которой шла вонь.

— Дайте ее мне совсем, — попросил Иван.

— Что ж. Возьми. Это штука дешевая. А зачем она тебе?

— А так, поглядеть. Я принесу ее скоро.

— Ну-ну. Бери, бери.

Иван ушел к рыбакам на Дон. Ибо Суржу и всю родню, все дома, задолбил ливень.

Он понял одно, что электричество собирает в воздухе влагу всякую и скручивает ее в тучи.

А когда бывает засуха, значит, можно все ж таки наскрести влагу электричеством и обмочить ею корни.

Когда просохла после потопа земля, Иван стал добиваться, как сделать влагу электричеством.

Жил он у Еремея в землянке, старика, посвятевшего от одиночества и от природы, и ел подлещиков, голавлей, сомов и картошку.

Зной опять водворился. Все повысохло.

Запылала и заныла земля.

На всякие штуки пробовал банку Иван — ничего не выходит. И только когда догадался он проволочку от винтика на баночке, где стояла черточка, расщепить на тонкие волосочки и эти волосочки прикрепить к корням травы — тогда дело вышло. А другую проволоку, где на винтике стоял крестик, он протянул по длинному шесту вверх, а шест воткнул и поставил. Тогда трава, куда впустил Иван медные волоски, зазеленела и ожила, а кругом стлалась одна мертвая гарь.

Иван поковырял землю, добрался до корешков, пощупал — сыровато. Стало быть, помиримся теперь с солнцем.

Что ж такое электричество и отчего увлажняется от него корень?

Только через десять лет, в Америке, Иван постиг, что такое электричество и как построен и строится из него наш мир и вся вселенная.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Бессмертная трудовая сила выпирает опять из могил и нищеты

Вдрызг, в чернозем сбита и перемешана Суржа. Только кирпичи от печек остались да одна курица в норь какую-то каменную забилась и теперь отживела и ходит беспутная.

Ни единой живой души — льдины с неба покололи все мужиковские головы.

Но через десять дней обнаружился еще Кондратий — мужичок неработящий и бродяга. Бывал ранее на шахтах, а теперь жил при брате скотом.

— Я, — говорит, — буду управителем русской нации. И пахать тебе не буду.

И вот теперь он обнаружился — в печке просидел и вылез невредим.

Поглядел-поглядел на курицу Кондратий:

— Что ты голову мне морочишь, скорбь на земле разводишь. Кабы б две хоть, а то одна, сука!

Поймал, защемил ее за шею и оторвал ей курью башку:

— Тварь натуральная, тебе и смерть не брала...

И переменился душой Кондратий:

— Брешешь, человека не закопаешь. Тыщи лет великие жили...

И стал жилище себе обделывать из разных кусков и оборок расшибленной Суржи.

Получилась некая хата.

Пришла одна суржинская девка из города. Вдарилась оземь:

— Родные мои матушки... Не схотели жить, мои милые... — и пошла, и пошла.

Подошел к ней Кондратий:

— Не вой, девка. Видишь, народонаселения никакого нету... Стало быть, я тебе буду супругом.

И обнял ее в зачет будущего — для началу.

Через некоторую продолжительность явился в Суржу с Дона и Иван Копчиков.

Принялись они втроем за вторую хату.

Иван работал, как колдун, и построил сразу еще две хаты.

У девки уже к зиме живот распух.

— Нация опять размножится, — говорил Кондратий.

— Надо другую нацию родить, — сказал Иван, — какой не было на свете. Старая нация не нужна...

Иван задумался о новой нации, которая выйдет из девкиного живота.

Надо сделать новую Суржу — старая только людей томила и хлебом даже не кормила.

Будет новая Суржа.

Так порешили Иван и Кондрат.

Будет Суржа — без голода, без болезней, без горестей, без драк.

— Мироносимое благолепие будет, — сказал Кондрат.

— Сделаем мы хозяйство по-новому, тогда вырастут у тебя другие дети сами собой, — проговорил с растяжкой Иван.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,
наводящая на размышления о том, что один в поле — не воин

Вот уж почти и вылакало солнце вчистую ручеек последний. Конец приходит — без воды не проживешь. А кругом — во все стороны — на сто верст голо и никого нет.

Кондрат, Иван и баба, две коровенки и волк — на земле, рассвирепевшее солнце — на небе. Кто кого? Ужли человекам так-таки не выдюжить?

Губы у Ивана — как с жару потрескавшаяся дорога: во рту — засуха другой день.

Деревянными лопатами день и ночь лезут люди в глубь земли, к мокрому ее сердцу. День и ночь, без передышки, наперегонки со смертью.

Либо успеют люди — доскребутся полумертвыми до воды, либо — смерть успеет, придушит, как бабочку, их задыхающиеся сердца.

На пятую ночь Кондрат еле вылез из колодца, дополз на карачках до хаты, приказывает бабе, собиравшейся опростать живот:

— Брось родить, женщина: некогда родить теперя. Лезь в колодец, скребись к воде, пока не умрешь!

И женщина полезла.

И еще три дня и три ночи были люди кротами: руками, окровавленными вздрызг, грабастали землю. Только к утру четвертого дня уже умирающий Иван Копчиков почувствовал, что под рукой — мокро. Сначала он думал, что это — кровь у него хлынула из горла так же, как вчера хлынула она из Кондрата. Но кровь — горячая и соленая, а это — то, что под руками, — студеное и горьковатое чуточку.

— Кондратушка, вода никак! — прохрипел Иван, жадно набивая рот сразу пожижевшей грязью.

Кондрат, как угорелый, подпрыгнул вверх и шлепнулся лицом в землю. Лицо уткнулось в холодную грязь... Потрескавшимися губами он начал высасывать из нее скудную влагу. Но влаги было слишком мало.

— Ло... па... той бы раз один ковырнуть, — еле выговорил Кондрат.

Но ни у кого из мужиков не было для этого силы. А баба совсем умирала — из нее лез новый человек. Неминучая смерть поджидала его. Он все-таки лез. И баба визжала, как убиваемая сука, и грызла зубами камушки.

Тогда Иван вспомнил солнце, которого из колодца не видно было. Вспомнил, что солнце хохотать будет над ними — побежденными.

— Не-эт, брешешь, не сдамся! — дико заорал он и, собравшись с силами, налег на лопатку. Раз, другой, пятый.

И спасение пришло. Перед смертью — ухо человека слышит все. И вот, услышал Иван, как засочилась в ямку тихая вода.

Тут шлепнулось к ним что-то мягкое сверху. Иван поднес это что-то к глазам. Это был — заяц. Волк принес зайца умиравшим друзьям. Волк спасал спасшего его Ивана.

Два дня люди пили горькую воду и жрали все, что им приносил волк. Силы снова пришли к ним — и люди вылезли наружу. Первое, что они увидели, — был сдыхавший от жажды волк. Иван, плача, привязал его на веревку и спустил в колодец:

— Отдышись, милачок!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,
в коей босота собирается Иваном в большевицкую нацию

— Народонаселения нету. Одним с солнцепеком нам не смордоваться... Баба моя народить нацию не управится. Надобно теперь суды людвы понагнать... Хоть самую дырь на дырьве, абы б было в норме же усе — головы и руки...

Это Кондрат думу надумал.

А Иван давно догадался.

Взял лыдку дохлой коровы у Кондрата, кликнул волка и пошел ходом.

Дён через пять пошли местности народонаселенные. Попадались по дороге уже попы, куры, травы, густолиственные дерева и прочие жители земли.

Попал Иван в деревню Меренячьевку. Идет по улице с волком. Тот собак шелушит до костей молчком.

Видит Иван сидит у колодца странник. Парень, видать, не особо пожилой, а разглодан голодом до души — одни глаза неистовые сверкают и ищут.

— Подходи сюда, горюн, — крикнул Иван.

— Ходи сам, если надобно, — прошершавил расколотыми истекающими губами парень.

Иван подошел.

— Здорово.

— Здравствуешь.

— Што сидишь-то?

— А ты што за юзь? Хошь что говорить — балакай, не разводи зря скорбь.

— Со мной хозяйствовать пойдешь, аль нет?

— А куда иттить-то? Земля есть?

— Земли много. Ледобой людей выбил. Слыхал?

— Слыхивал. А скотина есть?

— Покуда волк один, а там видно будет.

— Оно и волк гож, ежели зверь толковый.

— А ты один?

— То-то и скорбь, что не один я. В логу — вон, видишь, лозняк — товарищи некоторые ждут... Деревню ету грабануть мы схотели... Похилить... Запомнил? Ну, помалкивай... Народ тут стерва... Хутора кругом, люди с коготьями. Запалим вот к ночи с того краю... И ты теперь не уйдешь — долбанем.

— А много у тебя народу-то? — спросил Иван.

— Людей двадцать будет.

— Откуда шли-то?

— С Кубани самой дороги крестили. Было сдохли в отделку... Теперча на корм напали.

— Вот што, — проговорил Иван, — ты брось это. Волоки суда всех людей. Поговорим в конец. Будя, с этого прожитку не наешься.

— Ты помалкивай, пока дых еще двошит, а то стукну, в колодец чертометом загудишь.

— Ты не устрашай меня, я сам страшный. Я тебе дело говорю, а ты слова одни пущаешь. Пошли до людей до твоих.

Парень глянул на Ивана — губы-нитки, глаза сияют в черной кайме, телес нету — одна кость, такой сам атаманом был.

— Ну, идем, бабья страсть...

Вышли за деревню. Спустились в лога. Долго блукали.

Тонкой глоткой длинно по-рысьи завизжал парень, аж у Ивана сердце отозвалось и заверещало.

Вышла из логов человечья хмурь и горесть. Один другого тощее и жиже. Но злоба и силушка есть еще.

Обсели Ивана они с парнем-вожаком.

Иван им — так и так:

— Что это за жизнь, за тоска такая? Радость можно руками произвести, а вы людей шуровать задумали. Солнце огромно, жар в нем есть, земли много, воду под землей раскопаем. Вот и будет жизнь. Мирно и богато заживем.

Долго разжевывали бродяги. Ругались и дрались, одному душу вышибли.

К вечеру сошлись с Иваном.

— Идем, волчий брат... Гляди только, если што — душа вон — и слезу не пустишь.

Между бродячими была одна девка.— Глаза смородиновые и пугливые, как будто кто размахнулся над ними, волосья ливнем лили с головы на плечи.

Она молчала всю дорогу, молчала и когда дрались бродяги, и не взглянула на Ивана, молча со всеми и с ним пошла.

— Видал царицу, — сказал вожак Ивану, — с самого Каспия ведем и бережем, как невесту. Одно у нас имущество.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
22 мужчины, 2 женщины и 1 волк

Было на Сурже 22 мужчины, 2 женщины и 1 волк. Кроме того, было еще: 3 хаты и 1 мальчонко-сосунок, Кондратовой женой произведенный.

Больше ничего.

Иван Копчиков собрал в кучу всех:

— Вот чего, братцы, — объявляю я себя предводителем всей нашей нации. И которые мне не подчинятся, нехай в лес уходят — волк дорогу укажет. Без предводителя галки и то не летают... Вдомек?

Предводитель бродяг хмыкнул и нагнулся было за голышом, но волк заметил его движение и так ляскнул зубами перед самым носом бродяжьего предводителя, что тот шлепнулся на зад и сказал Ивану:

— Волк твой, брат, стерва — совладать с волком невозможно подтощавшему человеку, я же подчиняюсь. Действуй.

С этой поры Иван начал командовать.

Прежде всего, работая по 15 часов в сутки, 22 мужчины разрыли Суржу, вогнанную ледобоем в землю. От этого они получили достаточное количество предметов обихода: лопат, плугов и прочего, бабам — чугунов, рогачей и прочего. Нашли пять икон в серебяных ризах — богатея Сусликова. Сорвали серебро с них, досками растопили печку.

Затем артель до исступления рыла землю лопатами, пахала ее плугом (вместо лошади пять мужчин), засевала озимой пшеницею, рожью, которую собрала под Суржей и отсортировала по единому зернышку вся артель.

Покончив с озимью, Иван погнал артель в лес — на охоту. Силками, самодельными капканами, просто дубинками с помощью ретивого волка — изо дня в день колошматили люди разное звериное людство и птиц.

Однажды, возвращаясь на Суржу, люди увидели впереди какую-то барахтающуюся кучу. Опрометью побежали они к куче. То оказалось два волка: их и еще другой — молодой и сильный. Суржинский волк бил молодого волка, а тот, увидев людей, лег на спину и заплакал. Люди взяли его за шиворот, поднесли к своим глазам и долго его разглядывали, гладя по искусанным бокам. А когда опустили на землю и пошли своей дорогой, волк взвизгнул и побежал за ними.

Это дало Ивану мысль. Через месяц, к началу зимы — Суржа имела уже двадцать два волка под командой Горелого — первого суржинского волка.

Горелый сумел их смирить, а Иван Копчиков окончательно покорил их людям своими ласковыми поглаживаниями по шерсти, взглядами своими властными. Люди сделали сани и сбрую.

Как только установился хороший зимний путь, Иван Копчиков запряг в сани двенадцать волков, уложил в них серебро с икон, сто сорок две шкуры лисиц и кое-какую дичь, посадил в задок Каспийскую Невесту, молчаливую, сел сам на передок и свистнул. Горелый, запряженный позади всех волков, в ответ на этот свист ляскнул зубами так, что волки хватили в рысь.

Из города Иван привез на волках целую прорву хороших вещей: одежду всем зимнюю и обувь, ружей штук пять и зарядов, котлы какие-то с трубами. И много еще. А через сутки приехала на Суржу и Каспийская Невеста — одна в санях, запряженных белой лошадкой. Она привезла какой-то огромный ящик. Не раскрывая его поставили в хату, и больше Иван не приказал его трогать.

Мужики наутро спросили:

— Котел зачем? Самогон гнать?

Иван ухмыльнулся, приказал им взять топоры и другие плотницкие инструменты и валить в лес. Через три недели в лесу задымил махонький смолокуренный завод.

— К весне с деньгами будем, — сказал Иван, когда наполнилась пахучей смолой первая бочка.

Кроме смолокуренного устроили лесопилку — лошадь вертела колесо, колесо бешено вертело круглую пилу — доски росли сотнями в день.

Люди были веселыми, пели песни и работали даже ночью.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,
где мир оказался братом человеку-бродяге

Вот и весна. Сердце в Иване шумит, как ветер на пустой земле.

Шумит сердце и в Каспийской Невесте. Бродит она и слушает свои мысли, которые родились от дрожи солнечных лучей в занебесном пространстве.

Глядит на нее Иван, как слушает сказку. Как бы опять вошь любови не завелась в разбухающем весеннем теле.

У Каспийской Невесты было лунное тело — бледное, твердое и спокойное, как немое сияние полночной хлебной луны.

Бродяжья братия жила дружно — в одну душу. Действовала вместе — как одна рука.

Иван уже чуял наступление солнца. Его ревущая пламенная <*пропуск слова*> уже уперлась в землю и дыбом подняла растения, чтобы через неделю в пожар превратить зеленую жизнь.

— Миру нет дела до людей, — подумал Иван, — зато нам есть дело до мира. Надо найти у мира голову и треснуть по ней чем-нибудь тяжким... Мыслью, к примеру, превращенной в машину.

Но думать не хватало хлеба. Времена уходили. Земля уже гудела в солнечном пожаре.

Вскочил раз Иван ночью. В голове будто у него вспыхнуло сияние, и тоска потопила сердце. В жилах пошел зуд и горение задыхающейся силы.

Разбудил всех Иван мигом.

— В лес! Ветрогон строить! Воду качать будем... Проса уже погорели... Подохнем с голоду. Опять на Каспий плыть придется, невест усматривать...

И вот большевицкая нация таскала бревна, пилила доски, вкапывала столбы, косые стойки сбивала и крепила башенную деревянную снасть.

Иван стоял молча, обдумывал и показывал — он был за инженера.

И росла против солнца деревянная башня под горячими руками одиноких во враждебном мире людей, спаянных вместе несчастьем и угрозой солнца.

А Каспийская Невеста сидела на бугре возле и слушала солнце.

К вечеру Иван стал уже тесать тонкие доски и прилаживать их на скелеты крыльев-мотовил. Долго щурил глаза Иван, ладил и считал:

— Ветер должен работать косым ударом — тогда сила будет агромадная.

Ночью поели большевики волчатины и засопели во все отверстые дыры в своих телах.

На другой день взялись за изготовку двух валов и большого деревянного штопора, который будет угнетать воду и гнать ее ввысь.

Невеста стояла стоймя и молчком тут же обапол и не глядела на работящих своих сожителей на земле.

Еще прошел день и еще два. Солнце громыхало и выедало землю. Усталый земной шар несся в огневом потопе и затихал в смерти.

И вот настал один день. Поднялись люди с полночи и ждали ветра. После восхода солнца по небу поплыл азиатский накаленный песок — и ветряк взмахнул, заскрежетал и завертелся. Деревянный штопор шуршал в воде и гнал ее кверху. Вода выметывалась наверх, падала в лотки и бежала чистым потоком на огороды.

И на пепельной, смрадной стонающей земле зеленел и ликовал кусок живой земли — и подле него толпились живые победившие уморенные люди.

С Каспийской Невестой творились великие дела.

Солнечная дрожь рождала в ее голове мысли, и эти мысли вели ее куда она сама не знала. Она говорила не свои слова, а слова мыслей, которые сделало в ее голове солнце.

Она родилась в далекой стране, чистой и немой. В ней не было ни души, ни страсти, ни похоти, ни желаний.

Она была пустым и чистым кувшином — и туда лилась солнечная сила мира и делала ей и мысли, и душу, и слова. Она говорила чудные, но хорошие слова. Их и Иван не понимал.

Ходила Каспийская Невеста, как зачарованная волшебница, и ее волшебная сила обволакивала всех, как тонкий воздух, как туманный свет и цветочная вонь.

И большевики переменились. Тяжелые большие головы их нагрузились думами и душевной нежной силой.

— Што тут такое? — думал Иван. — Ничего не должно быть окромя мыслей и машин. Какая тайная сила работает внутри Невесты и делает ее такой нужной нам?

Иван не любил слова и не сказал, и не подумал даже, что пропади, сгинь Невеста — он бы вдарился головой о камень и размозжил ее.

— Через нее мы слушаем мир, — говорил сам с собой Иван, — через нее можно со всем побрататься, быть заодно с солнцем и звездами — и не надо будет ни работы, ни злобы, ни борьбы. Будет везде, что видимо и невидимо, братство... Будет братство звезд, зверей, трав и человека...

А Каспийская Невеста жила и слушала песню солнца и звезд и выговаривала ее невнятно, но чудодейственно.

— Я оберну ее к себе, — сказал раз Иван, — и, как машиной, ею размозжу мир... Вот первая сестра и миру всему и человеку в одно время... Я дознаюсь до ее силы и возобладаю ею сам. Тогда я дам миру тишину и думу... А теперь надо бежать с нею отсюда в города, где книги и мысли.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В ней Суржа стала селением весьма привлекательным, а Иван с Каспийской Невестой отправляются в великое странствие по всему белому свету

Затаил думу Иван глубоко:

— Убегу на широкую землю в великие города.

А в Сурже достраивался уже один большой дом на всех людей. Строился он круглый, кольцом. А в середине сажался сад. И снаружи также кольцом обсаживался дом садом. Так что окна каждой отдельной обители-комнаты выходили в сады. Посмотреть если сверху, то весь дом был вот такой.

сад
дом
сад
дом
сад

Внутри по всему дому шла длинная галерея и соединяла все комнаты.

Много хорошего было внутри дома. Над каждой комнатой на крыше был малый духогончик, который не переставая тянул вверх испорченный людьми воздух. А снизу из садов подгонялся благовонный, богатый дух, тоже духогонами. Когда в комнате никого не было, духогоны стояли. Как только входил туда человек и чуть грел воздух — духогоны начинали кружиться — и дурной воздух утекал вверх, а хороший подтекал из садов.

Отопление всего дома шло от одной печи. Горячий дух от печи шел в щели между стенами. Стены были устроены везде двойные — и вот в эти пустые места шел теплый дух, грел сначала стены, а потом и весь дом.

Дом так топился, что никто не замечал, где, как и что топится, откуда идет тепло. Ничего не было видно. А теплота шла равномерно и грела стенами чистый садовый воздух.

Иван, еще перед стройкой дома, велел смачивать все доски, бревна, оболонки и тес особой жидкостью, которую он добыл из особой травы, перегоняя ее в котле.

Доски, промоченные этой жидкостью, делались несгораемыми. Пожар, выходит, был не страшен большевицкому дому.

И дом, и отопление его, и эту жидкость придумал Иван.

— Головешка у парня, — говорили остепенившиеся теперь бродяги, — Каспийскую Невесту отдашь — и не додашь.

Суржи не было — был один чудодейственный дом. Для скота был построен такой же дом в стороне, только поменьше. Там тоже были и духогоны, и сады, и отопление. Скот держался в такой же великой чистоте и здоровье, как и люди. Потому и скот был ласков, умен и работящ, как люди.

Иван уже подумывал, как бы и лошадей и коров приравнять во всем к людям, поселить в одном доме — и делать всем вместе одну жизнь — ласковую, простую, счастливую и глубокую.

Но до поры отложил это.

Бродяги не пожелали:

— Лошадь, — говорили, — существо с рассудком и телом благонравное, коровы и волы еще ничего себе, вот козлы — чертячьи бельма, вонючи, звери...

— Ну обождем пока. Я дом еще лучше сделаю — тогда всем вместях можно селиться. Более зверей и людей не будет — будут и близко друг к дружке телесами и душою. Зверь, брат, тоже большевик, но молчит, потому что человек не велит. Придет время вскоре, заговорят и звери, остепенятся и образумятся... Это дело человека. Он должен сделать людьми все, что дышит и движется. Ибо в кои-то веки он наложил на зверя гнет, а сам перестал быть зверем. Это потому, что еды мало было. Теперча еды хватит на всех, и зверя можно ослобонить и присоединить к человеку...

Не дышали бродяги и слушали:

— Да, дело сурьезное...

Иван с раздутыми жилами на большой рубленой голове говорил не помня себя. Глаза его пропали под черепом, обвелись черной каймой и сияли.

— Знатная голова человечья, настоящая душа, — говорили большевики.

Каспийская Невеста тоже слушала, и ее грудь качалась, и глаза светились, как незнакомые, редкие цветы. Волосы разлились до пояса. И было хорошо всем и тревожно — не похоже, что это земля, а будто приехали все на иную звезду и позабыли, откуда сами и что к чему.

Ночью Иван лежал на сене и не спал.

В доме, где жил скот, жутко мычала и стонала всей своей двоящейся душой корова — она рожала ребенка.

Иван слушал и думал.

К утру смолкла корова — опорожнилась. И Иван, успокоенный от дум, заснул.

Днем, когда проснулся Иван, никого в доме не было. Уехали картошку рыть.

Поглядел Иван на дом:

— Назовем наше поселение Невестой. Суржа — это хмурое имя. Осень, поздний дождь, голод.

И Иван написал мелом на стене: «Невеста, устроен новой земной нацией большевиков».

Поглядел Иван на все:

— Если бы ожили все думы, которые я вложил сюда, получился бы вихрь и водопад.

Пришли к вечеру товарищи. Поели и позаснули мертвыми. Обошел Иван все обители.

— Живите, братья, сами по себе. Теперь не сгинете...

Пошел к Каспийской Невесте. Она не спала.

— Пойдем со мною, — сказал Иван, — я не обижу, я покажу тебя всем. Вся земля очнулась, все люди готовятся к чему-то, чего и я не знаю...

Невеста встала и пошла с ним.

Они оставили дом и пошли полем — в темь, в ночь, в далекие, неслышные отсюда города.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,
где встречается странник по прозванию Мирликийский Чудотворец, а также чуется жженая вонь и видится шина, намазанная липистричеством

Отощали Иван с Каспийской Невестой. Оно и нехитро — пять дней прошло, полных скорого шествия, далеко уже лежит поселение во имя Невесты — Суржа.

Уже всякая живность стала по дороге попадаться — лошади, мужики, велосипедисты — стало быть, город близок.

Вон завиднелись трубы некие, и слышится чей-то ревущий и страшный голос, неумолкающий и невидимый.

И попадися навстречу Ивану и Невесте как бы странник. Вид — божий, но скулья жуют и ходят беспокойно, а глаз единый (другой выщелученный) мудр и печален.

И в руках нет у него бадика, а за спиной — сумки. Будто в гости идет человек. Там поест, помоется и отдохнет.

— Куда, дети, поспешаете? — вопросил он.

— В города, — ответил Иван. — А ты куда?

— Я-то? Особо никуда не поспешаю... Сказано было — не ведуешь, где сыщешь, а где утеряешь. Чего же поспешать? Я сыщу, может, там вон, а может здесь. Ходи слободно, а хочешь, сиди. Все едино...

— Чем-то эт завоняло? — спросил Иван.

Странник уставился в небо:

— Ет-то? Ет радий несется. Беспременно он...

Ноздри его потонели и потянули дух в две раздвинутые дыры, полные козявок и невысморканных ночных соплей.

— Жжет дух и несется.

— Какой радий? — спросил Иван, замерев от непонятного.

— Машина такая. Слова горелые, горькие по воздуху пущает.

— Давай послухаем!

— Ен орудует неслышимо — я слухал уж сколько разов. Одна гарь чуется. Аж в глаза лезет вонь жженая... Чуешь?

— Да, — ответил Иван, — будто бы она.

— А это штой-то? Штой-то такое? — Иван крикнул от испуга и показал на человека, похожего на хряка, не спеша

ползшего на велосипеде, еле влача вперед свои обвисшие потные телеса.

— Эт лисапетка, сынок. Штука немаловажная, в городе их много... — так ответил Ивану Мирликийский Чудотворец (так, оказывается, именовали странника).

— А отчего она едет сама?

— Хто? Лисапетка-то? Шины у ней липистричеством намазаны...

Чем ближе к городу, тем громче чей-то каменный глухой голос все пел и напевал одну и ту же густую ровную песнь.

Вошли в город. Дома на краю стоят не особо велики.

Мирликийский Чудотворец на время отстал от Ивана и Невесты.

— Вы валите напрямик, а я вправо заберу. Все одно никто не знает, где сыщешь что, а где утеряешь.

Попался один дом. На нем железо висит, а на железе буквы нарисованы. Иван разобрал их каждую в отдельности.

Мадам Тотошкина.
Маникур. Педикур.
Кохты для какеток.
И все для блажных.

Иван ошалевал. Чудно все и страшно, потому что непонятно.

В открытое окно под вывеской через подоконник сплевывал сапожник, говоря сам себе разные слова по порядку:

— Сучество, скотоложество, супремат, смологонь, иллюминация, квась квасцы, не мусоль пальцы, сусаль золото... Сучество, супремат... Васька, будь умен!..

Иван с Невестой послушали и пошли дальше.

ГЛАВА ОСЬМНАДЦАТАЯ,
не особо существенная, но и она пригодится

— Мне пить охота, — сказала Невеста, что с Каспия. — Идти больше мочи нету...

— А меня бекасырики грызуть. Надобно в хату зайти какую. Ты попьешь, а я бекасыриков в рубахе полушшу.

Постучали в первую дверь. Вышла старенькая бабушка.

— Вы што ж стучите так? Потихоньку надо...

— Мы нечайно... — сказал Иван.

— Ну, идите, што ль. Не к стоянью пришли...

Иван с Невестой прошли сенцы, чулан какой-то и вошли в большую комнату. На полу кругом спали люди, сладко и вдосталь, будто они реки рыли и уморились.

— Чего они? — спросил бабушку Иван.

— А устамши позаснули.

— А отчего они уморились?

— Отчего-отчего? Тебе-то што? Наладил!..

Иван с Невестой взяли со стола корчажку с водой и попили водицы.

Спящие похрапывали и во сне жевали мух.

Ивана сразу усталь великая взяла.

Он оглядел комнату. Над дверью, которая вела, должно быть, в другую комнату, висела досточка, и на ней Иван насилу прочел: «Опытно-исследовательский институт по индивидуальной антропотехнике». Тут Иван зевнул, взял за руку Невесту, прилег на лавку и сразу заснул без памяти и без дыхания.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Мастерская прочной плоти

Минула некоторая длительность времени — очнулся Иван. Комната — и он один в ней. Свежий вечерний сумрак в двух больших окнах. Кротость и немость — как в Сурже.

Вошел человек. Сухой, напряженный и злой. Весь — беспокойный, внимательный и трудный, как будто он тяжесть невидимую нес и неслышно хрипел от натуги.

— Ты кто?.. — спросил Иван. — А Невеста где?

— Я — Прочный Человек, — просто и достойно ответил вошедший. — Пришел тебе объяснить существо некоторых обстоятельств.

Он сел на лавку — против кровати и начал высекать слова, необходимые, как сложение-вычитание-помножение-деление.

— Я сидел наверху — в комнате из кирпича. Ты шел с девкой — длинные волоса, прочное целомудренное тело. Я думал, а ты и девка перебили мне струю мысли. Я решил вас взять для испытания. А вы сами постучали. И я сказал вниз, чтобы дали порцию малого ремонта, то есть сорокачасовой сон.

Прочный Человек остановился и нахмурился. Видно, много горести и грехов несла его усталая плешивая голова. Иван молчал и ужасался городу, где такие страшные и удивительные люди. И было ему жутко и радостно, как на высоком дереве.

Прочный Человек вытер гноившийся глаз и заговорил опять.

— Ты мне показался человеком прочным и способным к сопротивлению и бою с миром. Но ты свободен. Можешь вскочить и улетать к чертям. Хочешь — поживи попробуй. Не хочешь — пропадай, мне падаль не нужна. Сейчас все человечество — падаль...

Прочный Человек в гневе и неистовстве двинул кулаком по лавке, встал и ушел.

Потом сейчас же вернулся, бросил книжку Ивану и скрылся окончательно.

Иван полистовал книжку и начал читать:

«О постройке нового человека.

Всякая цивилизация, то есть материальное устройство жизни человеческого общества, иначе говоря — организация материи в виде машин, прирученного скота, разведение полезных растений, разумное распределение между людьми хлеба, одежды, жилищ, предоставление возможности каждому расти и развивать свои таланты и все прочее, — всякая цивилизация есть последствие целомудрия, хотя бы и неполного. Целомудрие же есть сохранение человеком той внутренней могучей телесной силы — которая идет на производство потомства, обращение этой силы на труд, на изобретение, на создание в человеке способности улучшать то, что есть, или строить то, чего не было.

Цивилизация есть целомудрие. Она есть нищета по отношению к женщине, но тяжкий груз мыслей и звездонос-

ная жажда работать и изобретать то, чего не было и не может в природе быть.

Свирепости природы, ее крушения, засухи, потопы, нашествия микробов, невидимые влияния электросферы — приучили человека к работе, бою, передвижениям по поверхности земли и войнам между собою.

Когда кончались войны и слабела борьба с землею за пищу, то человек возвращался в дом к женщине, но уже он был не тем, каким ушел. Он делается более целомудренным, и хоть и живет с женой, но меньше спит с ней и глубже пашет. Прочнее и выше строит дома, чаще задумывается, острее видит, искуснее изобретает и приспособляет свои орудия и свой скот к работе.

Но все цивилизации земного шара сделаны людьми только немножко целомудренными.

Теперь наступило время совершенно целомудренного человека — и он создаст великую цивилизацию, он обротает землю и все остальные звезды, он соединит с собою и сделает человеком все видимое и невидимое, он, наконец, время, вечность превратит в силу и переживет и землю, и само время.

Для этого — для прививки человеку целомудрия и развития, отмычки в нем таланта изобретения — я основал науку антропотехнику.

Основатели новой цивилизации, работники коммунизма, борцы с капитализмом и со стихиями вселенной, объединяйтесь вместе и перед борьбой, перед зноем великой страды — испейте из живого родника вечной силы и юности — целомудрия. Иначе вы не победите.

Силою целомудрия перестройте и усильте сначала себя, чтобы перестроить затем мир...»

Иван читал и читал. Сердце его шевелилось, и сам он шел странником по городам, по странам, по заросшим садами звездам, по томительным, смертным пустыням.

Над городом, над полями, над Суржей, над всею преющей землею шла немая, бездыханная ночь, как было спокон веков.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,
где Иван с Каспийской Невестой оглядывают мастерскую бессмертной плоти и видят, как электричество победило смерть

Утром Иван узнал от старушки, которая его сонной водой опоила, что Прочный Человек есть ученый, умом тронутый, а кормит ее хорошо и обращением ласков. Дом этот стоит на краю города. Заманивает сюда ученый разных больных и здоровых и лечит их всех одинаково. И, хоть рассудком он сам человек негодящий, больных делает людьми гожими. Это уж что и говорить.

— Ты-то не пужайся, — сказала бабушка под конец, — дурного он тебе не сделает. Уж што-што, а человек он сердцем милостивый. Уж пожаловаться не могу. Доброхотный человек, что и говорить, батюшка ты мой... Тах-то!

Каспийская Невеста соскучилась и сама нашла Ивана.

— Уйдем отсюдова, — сказала Невеста, — страховито тут. Пойдем домой — у Суржу. Скушно мне...

— Обожди маленько... Ученый ихний на нашего Кондрата похож. Поглядим — и пойдем. Беда не велика...

Они вышли в сад. Чаща, глушь, смрадные цветы, голубые травы росли в нем.

Только сели на землю — глядь, Прочный Человек идет и бормочет сам с собой. Подошел.

— Ага, вы тут обитаете... Пойдемте, я вам мастерскую свою покажу. Потом будем кушать...

Пошли неспеша втроем.

— Вот чего, — сказал Прочный Человек, — у меня тут две мастерские — одна прочной плоти, а другая бессмертной. Прочная плоть в человеке делается целомудрием, освобожденная же страшная половая сила превращается в таком человеке в талант изобретений.

Только и всего. Это — мастерская маленькая, только подготовительная... А бессмертная плоть уже делается из прочной целомудренной плоти посредством электричества. Вот я вам сейчас покажу, а потом расскажу...

Они вошли в дом. Пошли по длинному коридору. Всюду росли деревья и цветы в бочонках, всюду было тихо, двери

во все комнаты были заперты, и только слышался некий зуд и упорный ровный звон.

— Это штой-та ноет? — спросил Иван у ученого.

— Это электромагнитные волны фильтруют, обеззараживают воздух, — ответил ученый, — бессмертные сейчас едят вон в той крайней комнате.

— А отчего они бессмертные? — спросил Иван. — Как же ты сделал? Как же они не умирают?

— А вот увидишь.

Вошли они в помещение, где ели бессмертные. Сидели пять человек, три мужика и две бабы, и ели ложками черную кашу с коровьим маслом. Одеты были в синие балахоны, сидели и чавкали.

— У! — сказал Иван.

— Дурак ты, — ответил Прочный Человек, — суть не в обличии. Они бессмертны и здоровы и терпеливы, как верблюды... Пища, которой они насыщаются сейчас, и воздух, которым они дышат, не содержат ни одного болезнетворного микроба. Все это обезврежено электромагнитными полями разной частоты волн во времени и разной длины их в пространстве. Понял?

Поевши, бессмертные встали, порычали, погалдели и пошли в большую комнату, что была по соседству, со стеклянным потолком, резиновым нешуршащим полом и низкими медными красными стенами. Это была механическая мастерская, где бессмертные работали над починкой и сборкой машин ученого. Вся мастерская была установлена большими станками и точными, тонкими, волосяными неизвестными приборами.

Бессмертные принялись за работу, как звери за жратву. Станки загудели, освирепели, шкивы и маховики готовы были полететь от скорости, а один маленький станок визжал, блевал пламенем, плясал на фундаменте, корчился от натужения — только что не говорил, но грыз и грыз металл нового, прочнейшего сплава и формовал его, как нужно было человеку. А приводной ремень гнал и гнал станок — и нахлестывал — неумолимо и уверенно: вытерпишь, сделаешь, не сбесишься.

Прочно, навечно, втугачку пригоняли и заковывали части механизма одна к другой бессмертные дюжие люди. Сами по себе судили.

И вдруг Иван почуял, как на кожу его сели как бы четыре тысячи мух.

— Я дал комплекс электромагнитных полей сюда,— сказал доктор,— это у тебя с непривычки. Ничего, ты обтерпишься...

— А лихо берут, мать честная, — сказал Иван, — не начешешься...

Невесту тоже корежило. Тело у нее нежное, знамо дело.

— И так все время, всю жизнь в сложной электросфере живут эти люди, и от того их смерть не берет, — говорил Ивану ученый.

— Как так, смерть не берет? Отчего? — спросил Иван.

— Да от того, что усталость, злоба, горе, болезнь, сон, смерть и все мешающее жить бывает от особых на каждый случай микробов, которые мигом заводятся в теле и пожирают его. Тело человека яростно борется с этими микробами и разводит в себе против них особых полезных микробов. Но потом все-таки смертные микробы побеждают этих полезных — и человек падает и умирает. Я взял обдумал и подобрал такие электромагнитные волны, каждая из которых убивает какой-нибудь один вид, один род болезнетворных микробов. Одна волна убивает тифозных микробов, другая тех, от которых бывает усталость, третья — которые поражают нервы и мозг, четвертые — тех, которые заводятся в кишках от гниения остатков пищи и так далее.

Все мастера смерти — микробы — уничтожаются, когда я пускаю пук, комплекс волн, каждая из которых убивает целый род вшей, делающих смерть. Смерть тогда некому делать, выходит дело, и человек не умирает никогда.

А та сила, которая боролась раньше внутри человека с микробами-смертоубийцами, та сила освобождается — и человек цветет неимоверной мощью тела, великой мыслью. Для восстановления же тела, потраченного в работе, нужно хлеба чуть-чуть.

Жизнь в среде сложной электросферы, поражающей насмерть все виды смертоносных и болезнетворных микробов в теле человека, — вот что такое бессмертие.

Ты все понял?

— А отчего электричество убивает этих вшей? Электричество, это што такое?

— Этого я не знаю и от этого мучаюсь, — ответил ученый.

— Я уйду, подумаю, похожу, разузнаю и тогда приду к тебе скажу. Ладно?

— Ладно,— сказал ученый, Прочный Человек, — но ты придешь не скоро. Электричество это суть нашей вселенной... Я забыл еще тебе сказать, что бессмертные у меня никогда не спят, а один живет уже десять лет, а пришел ко мне умирающим усталым дедом.

Вышли из дома ученого Иван с Каспийской Невестой уже под вечер.

Электричество начало мучить Ивана. У него всякая мысль, всякая тайна переходили в чувство и становились горем и тревогой сердца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
о суете несущественной

Город. Што он такое?

Шли-шли люди, великие тыщи, шли по немаловажному делу, уморились, стали на горе — реки текут тихие, вечереет в степи; опустились на землю люди, положили сумки и позаснули, как сурки...

Поднялись и забыли куда шли, сном изошла тревога, которая вела их по дорогам земли.

Встали, как родились, — ничего никому не ведомо.

И силу телес люди направили в тщету своего ублаготворения.

Животами оправились и размножились, как моль.

Шел Иван с Каспийской Невестой по улице и думал о городах — больших и малых.

Играла музыка в высоком доме. Остановился Иван, и сердце в нем остановилось. Кто это так плачет и тоскует

там так хорошо? У кого голос такой? Если звезды заговорят, то у них только будут такие слова.

Песнь — это теснота душ.

А такой песни Иван еще не слыхал. И ему захотелось сделать такое, чего никогда не было. Самому пропеть такую песнь, чтобы люди побросали все дела свои, всех жен своих и все имущество, и сбежались слушать, и так заслушались бы, что есть-пить, размножаться и драться позабыли бы.

Постояли-постояли Иван с Невестой и пошли дальше. Потемнело уже. Огни по улицам зажглись, и свет их не давал копоти.

Люди толклись кругом, гнала их вперед и назад некая могучая сила.

Повозки неслись по мостовой, а один толстый большой человек сидел на корточках у дома, где должен быть завалинок, и ел землянику-ягоду, и крякал и чмокал от ублаготворения.

Иван постучал в дверь соседнего не очень большого и неблаговидного дома. Отворила женщина, молодая и благоухающая травами.

— Вы что, дорогие мои?

— Переночевать можно?

— Переночевать?.. Вам негде ночевать? Я не знаю... Вот папа скоро придет... Вы подождите. Входите сюда.

Иван с Невестой вошли. Сели на мягкую скамейку. Кругом — мебель и неизвестные вещи, которые не нужны человеку.

Женщина оказалась девушкой и села читать книжку. Иван спросил ее:

— Ты што читаешь?

— Стихотворение Лермонтова. Вы их читали?

— Нет, — ответил Иван. — Дай-ка я погляжу.

Иван полистовал и прочел:

В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.

Иван встал на ноги и начал читать. Потом сел, поглядел на всех заплаканными глазами и отдал книжку.

Пришел отец этой девушки. Похож на мужика и в сапогах.

— Эт што за жлоборатория? Вам чего?..

— Нам на ночевку, — сказал Иван.

— На ночевку вам! Што тут, ночлежный дом, што ль? Откуда сами?..

— Суржинские мы.

Подошла к отцу сама барышня.

— Пускай, пап, остаются. Они хорошие.

— А если што пропадет, ты отвечать будешь? Дыня-голова, обалдела, што ль? Вшей тут плодить?..

Наконец-таки отец умилостивился:

— Ну, пущай в передней ляжут и глаза мне не мозолят.

Ночь нашла тучей. Тихо и беспросветно. Иван с Каспийской Невестой лежали рядом на попонке. Невеста спала. Иван дремал. И тихо из комнаты забубнил голос хозяина, как будто закапала вода.

Иван прислушался. Отец девушки читал. Тикали часы, и капали слова:

«О земле и о душах тварей, населяющих ее.

Сочинение Иоганна Пупкова.

Ты жил, жрал, жадствовал и был скудоумен. Взял жену и истек плотью. Рожден был ребенок, светел и наг, как травинка в лихую осень. Ветер трепетал по земле, червь полз в почве, холод скрежетал, и день кратчал.

Ребенок твой рос и исполнялся мразью и тщетой зверствующего мира. А ты благосклонен был к нему и стихал душою у глаз его. Злобствующая, зверья и охальничья душа твоя утихомиривалась, и окаянство твое гибло.

И вырос и возмужал ребенок. Стал человек, падкий до сладостей, отвращающий взоры от Великого и Невозможного, взыскуя которых только и подобает истощиться всякой чистой и истинной человечьей душе. Но ребенок стал мужем, ушел к женщине и излучил в нее всю душевную звездообразующую силу. Стал злобен, мудр мудростью всех жрущих и множащихся и так погиб навеки для ожидавших его вышних звезд. Они стали томиться по другому.

Но другой был хуже и еще тоще душою — не родился совсем.

И ты, как звезда, томился о ребенке и ожидал от него чуда и исполнения того, что погибло в тебе в юности от прикосновения к женщине.

Ты стал древним от годов и от засыпающей смертью плоти. Ты опять один и пуст надеждами, как перед нарождением в мир сей натуральный...»

Часы вдруг перестали тикать, и Иван заснул до утра напролет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,
в коей Иван знакомится с разным лядащим людом

Солнце в городе — пасмурное, слеповатое и вроде с насмороком — золотым песком лучей не шваркает оно из утра по окнам: застревают лучи в плотных тучах гари и копоти. А шлепает изредка солнце грязные и лысые пятерики о камень, об крыши. И пятерики эти тусклы и не так ласковы. Они утром не разбудили Ивана, не разбудили и Каспийской Невесты.

Разбудило их другое — хихиканье и сюсюканье за дверью из коридора.

Иван прислушался. Разговоры за дверью:

— Хи, хи, хи, а бабеночка-то у него — хи, хи! — хорошенькая, мяконькая да сдобненькая...

— А грудка-то, папенька, грудка-то у нее, как две просфорочки... Ах, ах, ах!

— Пшел вон, чертенок, дай-ка я загляну разок!

— Загляни, папенька!..

Иван вслух подумал:

— Ишь, черти, какие похабные люди оказались, а? Отец и сынок.

И быстро вскочив, он толкнул дверь пинком. Раздался стон и ох:

— О-о-ох, ч-черт.

Папенька гладил рукою лоб, на лбу вздувалась красная шишка.

— Ах ты старый развратник! — захохотал на него Иван. — В щелочку подглядывал? Все у вас в городу такие, ай ты один?

— Все, дяденька, — ответил за отца сынок, оказавшийся верзилой лет семнадцати-девятнадцати.

— Что ж вы, городские люди, в бабе одну бабу видите, а? Человека в ей нету, по-вашему?

— А что ж? Баба — существо дешевое, разумом тощая...

Иван поглядел на Невесту — стоит, не ответит. Богатая душа, немое гордое сердце.

Вышел Иван с ней на улицу.

Осеннее солнце нагнетало силу в землю — и земля шевелилась, и шевелилось все, что живет на коже у ней: селения и города всякие.

Человек, как арбуз, — ночью растет, а днем спеет. Ночью из тела вся усталь выкипает и из живота втекает в мозг и в сердце питательная сила, бывшая хлебом, полем и солнцем.

Шли-шли Иван с Каспийской Невестой. Есть охота взяла — сели на каменные порожки, чтоб животы не растрясать зря.

Подошел к ним человек. Высокий, худой и сумрачный весь. Стал против Невесты и говорит как бы сам себе:

— Вот что дороже жизни. То, что делает жизнь и привязывает меня к ней... Женщина, я гляжу на тебя, и не требую больше смысла жизни, и не ищу истины. Я доволен... Благодарю тебя. Будь здорова и бессмертна...

И человек этот поклонился низко и пошел далее своей дорогой.

Иван помозговал некоторое время и догнал этого человека.

— Ей есть охота...

Человек остановился.

— А ты кто ей?

— Брат.

Человек вынул из кармана кой-какие бумажные средства, снял перстенек с мизинца и ссыпал все это в горсть Ивану.

— Возьми, брат, я едой и охотой за деньгами не занимаюсь... Ничего более нету. Всуе мятется всяк земнородный...

Иван пошел к Каспийской Невесте. Гляди, и тот воротился к нему.

— И тля зрит и мудрует, — не только человек — царь праха. Поэтому — боритесь и питайтесь. Но не множьтесь — довольно даже одного человека на земле. К чему миллиарды их?.. И пойдемте со мной. А то тебя (он на Невесту поглядел) украдут тут...

— Кто ее украдет? — спросил Иван.

— Человек жить не может — он боится своей души и спускает ее в женщину. Если прекрасна женщина — душа в нее уйдет сразу вся. Только раз надо совокупиться с нею — и душа утечет с семенем вся.

Иван слушал и не понимал.

— Пойдем со мной, — сказал этот человек ему, — я тебе расскажу про все. Больше меня никто не знает.

И они пошли по улицам, мимо людей, не замечая бешенства мятущихся во имя истребления самих себя.

Люди работали, чтобы иметь над головой крышу, на теле одежду, в животе хлеб — и чтобы по ночам спускать все накопленное за день жидким прахом в недрах женщины, отравляя ее, — чтобы иссушить в ней почву, из которой расплодится спасающее будущее.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
В электромагнитном океане

> Немость вселенной была нарушена
> электричеством — тончайшим
> и легчайшим газом, пылью пылинок,
> который скучился, смерзся в вещи
> и родил все остальное.
>
> *Инженер Баклажанов*

Привел Ивана с Каспийской Невестой сумрачный человек в тихий длинный одноэтажный дом.

— Тут я обитаю...

Вошли туда. Большие прохладные комнаты, и полны они низкими прочными столами, а на столах посуда и медные механизмы.

— Сам я электротехник. Занимаюсь вот исследованиями над сутью электричества.

Иван вскинулся. Он вспомнил, как сам электричеством увлажнял траву и как ученый делал им бессмертных людей.

— Ты, значит, знаешь, что такое электричество? — спросил он.

— Да, теперь знаю.

— Расскажи мне, как и что...

И инженер начал рассказывать — просто, для простого человека, жарко и внушающе, потому что знания у него стали сердечным чувством.

— Есть много наук, а не одна. И есть много людей, которые говорят, что они ученые. Но это неправда — знающих людей на свете очень мало. Знанием люди торгуют, как товаром. И таких больше всего. Раньше люди угнетали один другого собственностью, имуществом, а теперь знаниями. Знание стало имуществом и товаром, кто его имеет, тот торгует им и живет богато.

Но такие не все. Есть ученые, которые наращивают свои знания, а не торгуют ими. Кто не познает дальше, чем его выучили, тот темнее того, кто и читать не умеет...

Я ненавижу мир, где живет бессмертный человек-поработитель, у него отняли револьвер и фабрику, тогда он начинает угнетать чужою высокой мыслью, строящей вещи. А эту мысль и великие экономные способы работы он сам купил юношей на деньги отца-рабовладельца. Я ненавижу таких, и борюсь с ними насмерть, и одолею их, конечно.

Инженер улыбнулся измученным сухим лицом и закурил папироску.

— Я хотел еще рассказать тебе про электричество. Электричество очень простая вещь, поэтому-то про него трудно рассказать, ибо слова сотворены человеком для хитрости и обмана другого, для сложных вещей, а не простых.

Железо, почва, трава, люди, глина и все другое состоит из особых мелких невидимых зернышек, которые по-уче-

ному называются атомами, то есть неделимыми частями. Кучи атомов и есть вещи. Эти атомы движутся, а не стоят на месте. Если вещь никто не трогает и ничто на нее не влияет — то атомы идут плавно один вокруг другого. Но этого не бывает, солнце и люди постоянно тревожат вещи, не дают им покоя, атомы сбиваются с плавных путей, ударяются друг о друга, колются, трутся поверхностями — и от них летит пыль. Сам атом меньше в миллионы раз любой песчинки, но и от себя он еще испускает пыль, когда извне нарушается его путь. Эта атмическая пыль легче света и летит с ужасающей быстротой во все стороны. Она не знает остановки, она проникает через все тела, она меньше всего, что есть. Атмическая пыль и есть электричество.

Я думаю, тебе это понятно?

Иван замер и слушал. Он ничего не видел и не слышал, кроме крутящихся атомов, грохота их столкновений и шума бури их пыли.

— Свет есть тоже эта пыль — электричество... Значит, от атомов отделяется пыль, и они менеют сами, потому что превращаются в свою пыль. И будут менеть до тех пор, пока не пропадут совсем. И пыль их пронесется неимоверные, неисчислимые пространства и пути — так велик был удар атома об атом по сравнению с величной отколовшейся пылинки. Пыль эта вынесется дальше самых крайних звезд, дальше всего видимого, дальше Млечного пути — и там, за последними границами, ослабеет, замедлит полет, к ней подлетит, ее нагонит следующая волна атмической пыли — образуется сгущение, сплочение пыли — и народится опять из склеившихся пылинок атом, а из атомов материя, вещь. Это вещество станет звездой, планетой на небе и опять в тот же миг начнет разрушаться и выделять электромагнитную полиатомную пыль, которая, исчезнув за чертами вселенной, опять народит там звездные рои.

Такой идет круговорот во вселенной. Из электричества нарождается вещество, и от электричества оно умирает, чтобы опять через миг воскреснуть и зацвести другим огнем. Но по сравнению с этой атомной пылью, с этим элект-

ромагнитным океаном, вещества очень мало, оно плавает редчайшими малыми островами в пучинах электросферы. Вселенная — это электросфера...

У Ивана полным ходом шла голова, для мозга еле хватало крови из сердца.

Слово есть двигатель мысли.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Звездные руны

> Мы рассказываем о тех, кто делает будущее, о тех, кто томится сейчас тяжестью грузных мыслей, кто сам — весь будущее и устремление. Таких мало, они затеряны. Таких, быть может, нет. Мы о них рассказываем, а не о тех, кто гасит жизнь в себе страстью с женщиной и душу держит на нуле.
>
> *Авторы*

В полоборота повернулась вокруг себя земля — и стало утро, а был вечер.

Проснулся инженер и начал говорить дальше:

— Если взять атом. Его нельзя приметить. И только великие миллиарды их, сплотившись, образуют вещь. Если же пыль трущихся и разрушающихся атомов взять, то ее не обнаружишь никакими приборами — будет одна пустота. Межзвездное пространство до сих пор не изучено. Про него говорят — это пустота, эфир.

Это неправда — там неимоверно тонкий газ, легче в миллионы раз водорода, легчайшего из известных газов. И невообразимо деятельнее всех газов. Это — электромагнитная энергия, электросфера. Это — дым разрушающегося вещества.

Но пыль пылинке рознь. Они не все одинаковы. Как и атомы тоже неравны: есть больше, есть меньше.

Эти пылинки, налетая на вещество, могут дробиться пополам, натрое и на много долей. Эта раскрошенная пыль от столкновения с материей дает газ еще более тон-

кий, невесомый, не ощутимый ничем, чем электричество — первичная, так сказать, пыль самих атомов. Эта же вторичная пыль пыли есть магнитная энергия. Электрическая энергия и магнитная всегда вместе, потому что вихрь атмической первичной пыли и новые волны этого газа из недр вещества вызывают столкновение пылинок между собой и раскрошение их. Поэтому магнитная энергия оказывает тормозящее, задерживающее действие на электричество, ибо пылинка атома, дробясь, отнимает часть силы от всей волны...

Сегодня я покидаю Землю. Ни к чему я тут. Аппарат почти готов.

— Как же ты полетишь в пустоте? — спросил Иван. — Державы там нет никакой.

— Я поплыву, а не полечу по электричеству. Электричество — газ легкий, но есть легчайший — магнитная энергия. Ею, пылью пылинок, я наполнил снаряд. Он легче и пустее, чем голубое межзвездное море. Там электромагнитные волны, у меня же в снаряде одна магнитная энергия. Я сделал как бы воздушный шар для полета с звезды на звезду. Его еле сдерживают сейчас стальные канаты, так он легок и стремителен. Пойдем — поглядишь...

Они вышли во двор, прошли садом на другой дворик, весь обнесенный кирпичной стеной с торцевой кладкой.

Стоял над землей и колебался в воздухе пузырь неправильной формы, вроде тыквы. Его держали десятка два стальных канатов из тонко свитых нитей.

— А куда ты залезешь? — спросил Иван.

— Там внутри есть малое место. Там и помещусь. Все едино, где ни быть. Счастье не в пространстве мира... Хочешь, поплывем со мной. Хотя мне никто не нужен. Делай сам для себя это. А твою подругу оставь здесь — пускай она не загораживает твоих очей от мира и не режет душу надвое. Она не пропадет. Такие, как газ, неуловимы и непобедимы.

— Ладно, — сказал Иван, — залазь в пузырь. Харчи там есть?

— Харчи есть. Либо мастерские пойти запереть? Иль не вернемся, как думаешь?

— Не воротимся. Пускай отперты. Более не потребуются.

— Ну, полезем.

Они влезли через верх в темную колдыбаженку, скорчились там и завинтили вход на болты со многими тонкими прокладками между фланцами. Концы стальных канатов входили внутрь каютки, чтобы их можно было перепилить не вылезая. И Иван принялся перепиливать их.

А Каспийская Невеста еще спала в мастерских инженера; одна теперь останется на белом свете. Так и сгинет теперь без вести. Все на свете так — ничему не ведется учета. Кто родился, кто пропал. Человек не дорог еще и не нужен человеку.

Прощай, Невеста! Пусть сократятся твои дороги по земле и душа наполнится легчайшим газом радости. Не вовремя ты родилась. Для тебя время рождения никогда не придет. Ты из членов того человечества, которое не рождается, а остается за краями материнской утробы. Ты — тощее семя, которое не оплодотворяется и не разбухает человеком. Нечаянно твое гиблое начальное семечко слепилось с другим таким же обреченным семечком, и вылепился человек, который не бывает, а если бывает, то слепит глаза людям чудом — и погибает без вести, как ветер, уткнувшись в гору.

И Иван с инженером оторвались от земли и выплыли в вышние звездные страны.

В черноте и великой немости стояли звезды вокруг, как большие неморгающие очи, и плакали светом.

Иван оглядел все небо и нашел, что на нем все обыкновенно и особых чудес никаких нету.

Звездные руны плыли за магнитным пузырем. И качала электромагнитная пучина магнитный небесный корабль, а в нем два человека стремились найти новую обитель в пространстве, чтобы найти там неведомые мощные силы и ими изменить родину — Землю.

— Мы плывем прямо на Солнце, — сказал инженер. — Так и должно быть по моим расчетам. Ибо на Солнце есть магнитный полюс вселенной, который и тянет наш снаряд. На Солнце мы и обоснуемся с тобой.

Внизу, в глубине, на земле под ними ехал мужик Макар из Мармыжей — в Белые Горы.

— Н-но, ошметок, тяни, не удручай! Потягивай, не скучай!

Ехал Макар пустыми ветреными полями и разговаривал:

— Мне нужен хлеб. А кто его даст? Намолотил, вон, три копны. Душа также надобна. Как ее изготовишь, когда неведомо творение... А люди живут, что? Пузо стерегут да баб мнут... Нет тебе никакого направления либо што чего!.. Нет тебе нигде ни дьявола...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ,
полная всяческих неожиданностей

— Скушно, товарищ анжинер, — сказал Иван Копчиков, — тошно без делов болтаться на воздусях!.. Сколько ж мы еще лететь будем, а? И может, мы не летим вовсе?

Инженер посмотрел на какую-то машинку и побледнел:

— Лететь-то мы летим, да только не туда, куда хотели...

— Как же эт так, товарищ анжинер, а? С рельсов сошла, что ли, ваша машина? Куда же мы теперь летим?

— Не знаю. Только не к Солнцу. Посмотри туда.

Иван заглянул в окошечко. Сияющим подсолнечником осталось в боку Солнце.

— Гляди туда!

Иван поглядел в другое оконце: красный шарик, как мячик, висел в воздухе.

— Это что?

— Наша Земля. Мы летим прочь и от Солнца и от Земли.

— Та-ак. Значит, совсем мы заблудились в небесах, товарищ анжинер! Ловко. Этак мы до самой смерти никуда не долетим, а?

— Может быть.

— Вот эт весело!

— Н-да-а...

А Земля и Солнце — совсем пропали: не видать их в окошечке. Стало совсем темно, по временам, будто светляки в лесу, вспыхивали по сторонам какие-то точечки...

— Эт что же вспыхивает, а?

— Планеты. Земли разные.

— Здорово. Вот бы их рожью да пшеницей засеять, товарищ анжинер, а? Большие они будут — эти самые Земли? Поболе нашей-то?

— В несколько тысяч раз больше.

— О-го-го. Надо бы одну такую себе забрать, а?

— Придет время, когда сделаем и это.

— Придет?

— Обязательно.

— А сейчас мы где?

Инженер зажег свет:

— Нас захватила какая-то планета и волокет за собой. Видел ли ты, как за поездом летят соринки разные, легкие?

— Видел.

— Ну вот, такой соринкой, только в тысячи тысяч раз меньшей, летим и мы за планетой, как за поездом. Только наш поезд — летит со скоростью в несколько тысяч верст в какие-нибудь миги.

— Вот-таки поезд, как гонит, а? Зацепить бы за него нашу Землю, да и отволочь поближе к Солнцу, чтоб везде зима перестала быть, а? Можно это?

— Можно. Но не скоро.

— Так. Ну я пока закушу.

Но Иван не успел закусить. Прямо против него, в окошечке, вдруг засветилась голубым светом какая-то кругляшка.

— Товарищ анжинер, голубая Земля — в окне. Поглядите.

А кругляшка уже с картуз величиной стала и с каждой секундой все росла и росла.

Инженер аж зашатался:

— Ну, Иван, мы прилетели. Еще немного — и мы на голубой Земле будем. Только я не знаю, что это за Земля и есть ли там жизнь. Это — неизвестная совсем в науке звезда.

— А разве наука все звезды знает?

— Все.

— А эту не знает?

— Нет.

— Плохая ваша наука.

— Да, она еще не все знает.

А голубая звезда вдруг стала краснеть, краснеть и совсем вот покраснела. Бордовой стала и закрыла все окно.

— Есть. Сейчас на земле будем. Слышишь?

— Слышу, товарищ анжинер. Будто птицы поют где-то.

— Это — не птицы. Это — что-то другое.

— А что?

— Не знаю. Увидим. Ну, теперь давай вылазить.

— Как вылазить? Да разве ж мы прилетели?

— Уже!

Инженер начал отвинчивать дверцу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Стал быть мрак

Грунт был тверд на этой звезде. Воздух жидок, и ветра не примечалось. Народа было не видно — скуден был, должно, и худосочен.

Все было не по-людски и не по-мужицки. Земля стоит непаханная, почва — бордовая, как барская попонка, жидкостей нету, тварей тоже не заметно.

— Ну и свет! Какой делал его светодавче! — сказал Иван. — Нет, не похвалю. Тут и вша не плодится!

— Оглядим, — проговорил осовевший, задумавшийся инженер, — у всякой поверхности должен быть смысл.

— Оно так! Одначе скорбь тут и жуть. Никто не шарахнется и не пробрюзжит. Надо отсюдова подаваться. Тут нам не жительствовать.

Пошли. Бордовая почва очертенела — чернозему ни комка не было. Шли долгую продолжительность.

Глядь, движется к ним какой-то алахарь. Одежи на нем нет, головы тоже не наблюдается, так — одна хилая ползучая мочь и в ней воздыхание.

— Остановись! — крикнул Иван. — Кто такой будешь и что это за место на небе?

И вдруг, весьма вразумительно, по-русски, по-большевицки, движущееся вещество изрекло из глубин своих:

— Тут, товарищ, рай. Место это Пашенкино называется.

— Отчего же ты такой чудной? Драный весь, на обормота похож, и как ты заявился сюда?

— С Земли мы родом, а тут превратимшись... Там, на Земле, давно чудеса делаются. Великие люди в тишине делами занимаются. И по одному пропадают с Земли на своих машинах. Так и мы тут очутились. Один наш так и пропал в вышине. А мы тут рай учредили...

— Это што за место — рай? Является ли он следствием экономических предпосылок?

— Рай это блаженство. Питание и совокупление, равновесие всех сил.

— Веди нас в рай,— сказал Иван,— дай опомниться. Как в таком незавидном месте рай учрежден, на бордовом грунте...

Пошли. Невелик был путь и одинаков по всей поверхности своей.

И засияли странникам вдруг в высоте четыре каланчи из бордовой глины. И послышалось оттуда благоуханное смиренное пение.

— Это кто завыл? — спросил Иван.

— Это поют расцветающие души, обреченные на любовь, на совокупление с присными себе и на смерть.

— Везде эта любовь, — сказал Иван, — и на земле и на небе. Не нашел еще я себе места, где бы не любили, а думали и истребляли бы любовь по-волчьи. И чтобы песнь была у таких людей одна — война с любовью... Любовь и любовь! Когда ты, язва людская, молью будешь разъедена. Сука голодная... Ну а кого же вы любите?

— Все зримое,— ответило живое вещество, колебаясь и влачась по поверхности почвы.

— А чего ж вы зрите?

— Мы не зрим, а чуем всю теплую плоть, влекомую стихиями вселенной, и к ней касаемся объятиями и исходим душою.

— А что такое душа твоя?

— Лишняя тревожная сила, которую надо излить на другого, чтобы стать спокойным и счастливым. Душа это горе... В нашем раю души истребляются, и потому тут рай.

— Чудодейственно. А ну, покажи рай самый.

Вошли в каланчу одну. Стояли торцом такие же живые скудости и скулили.

— А вы все были людьми прежде? — это Иван спрашивает.

— Людьми, а как же! — ответила тварь.

— До чего же вы дошли? Неужели ж вам хорошо тут?

— Отлично. Покойно и благопристойно.

— Да брось ты, чучел! Вы плодитесь, аль нет?

— Мы бессмертны.

— А еще кто есть на этой планете?

— Дальше в пустынях есть кто-то. Но они к нам не приходят, и мы к ним, потому что мы в раю.

Иван потрогал райское существо — жидко и хлебло.

— Дай, — думает, — я ему шарахну разик, все одно звезду зря гнетут. Какой тут рай, если б тут жили злобствующие, я б их уважал, а то мразь блаженная, — и Иван дернул существо кулаком по сердцевине.

Тварь вдруг тихо выговорила:

— Мне не больно, потому что я люблю и нахожусь в раю. Меня облекает вселенная всем светлым покровом своим и сторожит мою душу... Я только исчезнуть могу сам из любви к тебе, раз ты хочешь того...

— А ну исчезни! — обрадовался Иван.

Существо вдруг и на самом деле исчезло неведомо как и куда.

Пошли дальше. Нашли еще четыре пары таких существ и сказали, чтоб они тоже исчезли. Они исчезли тоже.

— Теперь просторно! — сказал Иван. — Пойдем, поблукаем. Может, найдем что посущественней... Как они каланчи себе эти сгородили?.. Необходимо человеку за звезды приняться. Загадили их тут в конец. А с Земли глядишь — высоко, свет чистый, полет правильный. А тут уж успели рай учредить...

Шли долго по лицу планеты. Питались глиной бордовой, испражнялись сухим пометом. Болезнетворно. Пришли на великую гору. Глядят наверх — спускается к ним оттуда пожилая личность — человек, сам голый, и заметок никаких нет, не то мужик, не то баба.

— Опять скот какой-нибудь, — подумал Иван.

А инженер думал без слов. Ученый человек.

Подошел человек, поглядеть не поглядел и пошел прочь дальше в пустыню, где незакатное солнце мигало и, должно быть, тухло. Иван и инженер оглянулись — на человека прошедшего и на замигавшее солнце. Человек остановился, а солнце вдруг потухло.

И далеко в небе что-то зарычало, расступилось и ухнуло в голосистой последней тоске.

Стал быть мрак.

<1923>

СТИХОТВОРЕНИЯ

КНИГА «ПОЮЩИЕ ДУМЫ»

* * *

М. А. Кашинцевой

В моем сердце песня вечная
И вселенная в глазах,
Кровь поет по телу речкою,
Ветер в тихих волосах.
Ночью тайно поцелует
В лоб горячая звезда
И к утру меня полюбит
Без надежды, навсегда.
Голубая песня песней
Ладит с думою моей,
А дорога — неизвестней,
В этом мире — я ничей.
Я родня траве и зверю
И сгорающей звезде,
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте.
Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.
<1921>

СТРАННИК

В мире дороги далекие,
Поле и тихая мать,
Темные ночи глубокие,
Вместе мы, некого ждать.
Страннику в полночь откроешь,
Друг позабытый войдет —

Тайную думу не скроешь,
Странник увидит, поймет.
Небо высоко и тихо,
Звезды веками светлы.
В поле ни ветра, ни крика,
Ни одинокой ветлы.
Выйдем с последней звездою
Дедову правду искать...
Уходят века чередою,
А нам и травы не понять.

<1920>

СРЕДИ СТРАНЫ

Чудесны дни простого созерцанья
И теплых трав просторная среда,
Пустынной ровности убогое молчанье
И облачных небес свинцовая руда.
Все хорошо — тепло сердцебиенья,
Незвонкий голос, серое лицо.
Мне незнакомо тихой птицы пенье,
И странен мир — веселый и босой.
Вот развернулись эти дни простые.
Невнятный ветер в шаг идет со мной,
Как родственник, и говорит слова густые —
Стихами их не скажешь все равно.
Кто знал сердечную поспешную беседу
С травой, с пространством голубым,
Тот не чужим, родимым шел по свету
И сам был этой скудостью любим.
Легка так жизнь, блестит ее дорога.
В дали, а не в тумане ее цель.
Она лишь кажется такой убогой —
Чем меньше на горбу, ногам тем веселей.
Какая ж это сумрачная сила
Таким нагим пустила меня в путь?
Наверно та, что и долины рыла,
Что звездам не дает и ночью отдохнуть.

Нам грустно, что не можем рассказать
Другому глубину неслышного дыханья,
Чтоб сердце друга прочно взять
И мир схватить, как дар завоеванья.

1925

* * *

Мы дума мира темного,
Несказанное слово.
У света непройденного
Нам нет пути иного.
Горит костер-вселенная,
От искор в небе град,
Трава растет нетленная,
Цветет глубокий сад.
Поет слепая птица
И в песне видит свет —
Ей ветер в поле снится
И в мире чего нет...

<1920>

БОГОМОЛЬЦЫ

Нету нам прямой дороги,
Только тропки да леса.
Уморились наши ноги,
Почернели небеса.
Богомольцы со штыками
Из России вышли к Богу,
И идут, идут годами
Уходящею дорогой.
Их земля благословила,
Вслед леса забормотали.
Зашептала, закрестила
Хата каждая в печали.

От кого шуршит дорога,
Кто там ищет, и чего?..
Глаз открытых смотрят много
У небесных берегов.
На груди их штык привязан,
А не дедовы кресты.
Каждый голоден и грязен,
А все вместе — все чисты.
Отчего тепло на свете,
Тот же дух и в них горит.
Правду знают только дети,
Никто больше не вместит.
Шел из Киева с сумою
Дед, и слезы на глазу.
Душу, думал, упокою,
Всем дорогу укажу.
А навстречу дети, дети,
И железо на плечах...
Видно, вновь Христос на свете,
Раз у них тоска в очах.
Руку дед поднял к восходу,
Все века и дни понял,
Поглядел он будто в воду
И увидел всем причал.
Богомольцы и у Бога
Не увидели небес...
Дум несут с собою много,
Как штыков железный лес.

<1920>

* * *

Без сна, без забвенья шуршат в тесноте
Горячие руки в упорном труде —
В высокой, и нежной, и верной мечте,
В вое, во сне и в своей чистоте.
Пашите века и прудите потопы,
Чтоб кровь закипала и мозг скрежетал,

Чтоб дали, чтоб травы были растоптаны, —
Иди против ветра, чтоб ветер устал!
Так ветхие звезды, так реки и камень
Можно затмить, повернуть и зажечь —
Мы землю нагрели живыми руками,
Мы поднятый брошенный мчащийся меч!
Сопротивленье есть поле победы,
Ты накален своей страстной тоской —
Пусть лягут на землю прочные меты,
Пусть посох пропахнет потной рукой!

<1925–1926>

* * *

Ночь на дворе стоит сиротой —
Спит человек в печной теплоте.
Под ледяною пустой высотой
Сердце без сна,
Сердце горит в своей тесноте.
Обыкновенные люди живут,
Звездные реки текут в тишине.
Ветер тоскует — горы ревут,
Травы бормочут в своем мировом,
Невозвратимом и тайном сне.
Немы уста твои, сердце ночное,
Невыразима невеста — звезда,
Скорбью томятся люди одною:
В сердце вместиться должна
Земная вся теплота
И звездная вся высота.
Тихи шаги мои в поле любимом,
Душа налилася тугою и нежною силой,
Запечатлею я мир — и пройду его мимо,
Сам я не свой — и каждый мне милый.

<1925–1926>

* * *

Жить ласково здесь невозможно,
Нет лучше поэтому слова «прости».
Годы прошедшие прожиты ложно,
Грядущие годы собьются с пути.
Первой любимой последнее слово —
Горе когда мне в себе не снести,
Прощальное слово матери мертвой,
Чтоб сердце не мучить, мы скажем «прости»!
Где верные души, где вечная память
О сыне, о милой подруге-жене?
Каждый любимую может оставить,
От взгляда другой побледнев.
Смерти напротив, навстречу стихиям
Тонкая дышит и бьется душа,
С верностью голубя, с мудростью змия,
Силу чудесную крепко зажав.
Где же ты скрыта, страна голубая,
Где ветер устанет и смолкнет река?..
На свете такие страны бывают:
В поле я видел — земля велика.

<1925–1926>

* * *

Мир родимый, я тебя не кину,
Не забуду тишины твоих дорог,
За тебя свое живое сердце выну,
Полюблю, чего любить не мог.
Снова льется теплый ливень песни
И опять я плачу от звезды,
Сам себе — еще я неизвестней,
Мне никто пути не осветил.
Ветер теплый, как ладони мамы,
Ходит тихо по траве,
Голубыми льнет ко мне губами,
Не умру я на земле вовек.

Песня песней, ты никем не спета,
Оттого не слышу я травы.
Человек мне в поле не ответит,
Некому на жизнь меня благословить.

<1922>

ВЕЧЕРНИЕ ДОРОГИ

Звезды вечером поют над океаном,
Матерь Бесконечность слушает одна.
Наклонился к миру месяц-странник,
И душа моя ему видна.
О, прохладные вечерние дороги
И дыханье — музыка моя!..
Песня в поле жалуется долго,
Плачут звездами небесные края.
Все слова таит душа незримая,
Нету ей ни хлеба, ни воды.
Наклонись ко мне, моя любимая,
Мне не перенесть ни песни, ни звезды.

<1921>

ВЕТХАЯ РУСЬ

Клонится к нивам поющим
С кроткой усталостью день,
Тени по рытвинам, кручам
К травам прильнули тесней.
Там, за умолкшей опушкой,
Звонят к вечерне в селе.
Странник с иконкой и кружкой
Бродит по стихшей земле.
Добрые сонные деды
Еле плетутся на звон,
Кличут в окошко соседа —
Долго копается он.

Над облаками синеет
Птица пугливая — тьма,
Ветер на листьях немеет,
Спит пастушонок Кузьма.

<Не позднее 1918>

РУМЯНАЯ МАТЬ

Полны груди молока
У румяной матери,
Заголенная рука
Стелет гостю скатерти.
И глядит, и не глядит,
Будто ухмыляется —
Дескать, сердце не лежит
Мне с тобою лаяться!
В люльке мается Ванятка
От дурного глазу,
С Рожества — от самых святок —
Не поспал и часу!
Навалилася напасть,
Как без мужика-то!
Жизнь одной — не жизнь, а страсть,
Как без бога хата.
На кого похожа я!
Ссохлась с тискованья,
А была пригожая,
Где ты, милый Ваня!
Люди, люди, приходите,
Либо нет на вас креста,
Душу ласкою уймите,
Ближе к звездочке звезда.
Выйдем к женихам веселым,
Сплетем туго косы,
Чтобы сердце било звоном
И светились росы!

<Январь 1921>

* * *

Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села,
Звали молча к ним дороги, уходили на звезду.
И дышала степь в истоме, сердцем тихим, телом голым,
Как в испуге, на дрожащем, уплывающем мосту.
Завтра утром не расскажешь, как летела там звезда,
Где упала и погасла на болотной пустоте.
Ранним часом с земи хлынет вся небесная вода
И замрет на бледносиней уходящей высоте.

<1920–1921>

* * *

Растет мое сердце во сне
И около смерти полюбит.
Ветер на тонкой певучей сосне
Голос свой песнею губит.
Нарочно и я на свете живу
И сердце порочу стихами,
Я думал, что с неба звезды сорву,
А сам только плакал ночами.
Я думал, что мудрости в мире
Нельзя ни найти и не сделать,
Но выросши больше и глянув пошире,
Открыл я всемирную смелость.
Не жалость, не нежная влага
На молчаливых устах,
Скорбная скрыта отвага
В простых человечьих глазах.
Никем никогда не воспета
Тревожная жизнь в человеке:
Так утром на громком рассвете
Сиянье стучится в зажатые веки.

<1925–1926>

МАТЬ

Руками теплыми до неба,
До неба тянется земля.
Глядит и дышит в поле верба,
Она звезду с утра ждала.
И звезды капают слезами
На грудь открытую земли
И смотрят тихими глазами,
Куда дороги все ушли.
И снится, думается дума
Дыханью каждому одна.
Леса бормочутся без шума,
Не наглядится тишина.
Земля посматривает, чует,
Бессонная родная мать.
До утра белого не будет
Ребенок грудь ее сосать.

<1920>

* * *

Сердце в эти дни смертельно и тревожно,
Прежде времени над миром древний вечер;
Но душа — обитель невозможного:
Что погибло, то живет в ней вечно.
А утром небо красное цветет,
Невеста рано чешет волоса —
И цвет высокий пламенный растет,
И с ветром говорят великие леса.
И человек задумчиво поет,
Он ждет веками дальнюю звезду,
Себе гнезда он в мире не совьет,
И любит сердце высоту.

<1920>

ИВАН ДА МАРЬЯ

1

Странны дни в долине ровной,
Светел дух осенний на земле.
Поле пусто. Сердце грустью полно.
Скучно жить в своем родном селе...
Осенью душевное сомненье
Стелется, как деревенский дым.
Умолкает полевое пенье,
Но я полон им одним.
Много в жизни сумрачной тревоги,
Много бед несут с собою дни.
Под дождем осенние дороги,
Тяжело ходить по ним.
Надобно себя томить сухой работой,
Чтобы жизнь была в тугом русле.
Надо медом наливать пустые соты,
Жизнь держать не ниткой, а в узле.
Пусть роятся в голове заботы —
Будет дело молодым рукам,
Надо мир промаслить нашим потом,
Скорость дать его маховикам.
Человек от старости седеет,
Осень сыплет волос золотой.
Так природа в августе вдовеет,
Умирает молодой.
Но в глухую, гибнущую осень
Скорбно и навеки можно полюбить:
Зеленеют ведь зимою сосны —
Круглый год необходимо жить.

2

Третий год я был комсомолистом,
В сентябре мне стало двадцать лет.
Ни оратором, ни красным гармонистом
Я не значился —
Имел пустой билет.
— Что же, Ваня, ты бы хоть влюбился
Или станцию построил на ручье,
Видишь — комсомол зашился,
А ты бродишь как ничей!
И случилось
(Погадал мне парень), —
Стало быть, в соку моя душа,
Не присушкой же я был отравлен, —
Я заметил:
Очень Маша хороша.
И действительно,
Мила мне Маша.
Только я вот не душист,
Красотой не разукрашен,
Но зато — комсомолист!
Вот однажды подошел я к Маше
Шагом твердым, как партийный человек:
— Правда, клуб прилично наш украшен,
Чувствуете вы индустриальный век?
Мне сказала Маша кротко:
— Краснота!.. и скучно без цветов!
Я ей вежливо, но четко:
— Здесь в грядущее постройка
Металлических мостов!
— Где же мост? —
Спросила Маша.
Тут я лозунг указал.
— То висит матерья ваша:
Мост чугунный где вокзал!..

Беспартийщина в натуре,
Но на то ведь мы вожди:
Парня, девку, дурня, дуру
С коммунизмом увяжи!

3

Босиком по мокрым листьям
Полудуркой осень шла.
В поле позднем,
В поле чистом
Ветер за руку вела.
По родным немым дорогам
Я невесело хожу:
Кроме Маши
Симпатичных много,
Только ими я не дорожу.
Тихий сон питает тело силой,
Эти силы мучают меня:
В первый раз душа моя любила,
Даже мать мне стала не родня...
Что же, Маша, долго медлишь?
Ведь нечаянно тебя люблю.
Если чувством мне ответишь,
Душу я твою не оскорблю...
Не мудра по книге Маша,
Не держала писчего пера, —
Человек не этим важен,
Если он роднее, чем сестра.
Есть такие люди в мире —
Ошибаются вести по пальцам счет.
Но зато — в них сложенные крылья,
Разум их нечаянно течет.

4

— Слушай, Ваня,
Ты такой хороший,
И не думай плохо про меня!
Ты пойми слова мои, как можешь:
И любовь, и правда ведь одна.
Эта осень, милый, на исходе,
Будет скоро зимняя пора.
Ты не станешь по своей охоте
Вековать с девицей вечера.
Я не очень личностью пригожа
(Ты напрасно это говоришь),
Не лицо — другое мне дороже,
Что без слова ты в себе хранишь.
Я люблю не прелесть человека,
А его сердечное добро:

Полюблю и горбуна-калеку —
Жить ведь с мужем,
Не с горбом.
Я не очень умная, Ванюша,
Место мысли сердцем занято,
Я, конечно, жизнь отдам за мужа,
Человек я верный и простой...
Но в любви я буду лютый ветер,
Ревностью замучаю лихой —
Не умею скучно жить на свете,
Кровь во мне, а не песок сухой.
Но мы рано молодости влагу
Друг у друга пьем из уст,
Оттого сердечною отвагой
Человек так рано пуст...
Не люби меня напрасно, Ваня,
Ты потерян будешь для людей,
Уж тебя работа не потянет, —
Трудно, Ваня, бабою владеть.
Я люблю сама тебя нечайно,
И любви в себе не поборю,

Но со мной душа твоя устанет, —
Я вперед про это говорю.
Ну, пускай с тобою мы поладим! —
Загрызут нас люди и нужда.
Нам с тобою и немного надо,
Но и это не дается никогда.
Видишь, Ваня, бабы с мужиками
Как живут до гробовой доски?
Начали любовью — бьются кулаками:
Не минует баба мужниной руки.
Может быть, наверно очень скоро,
Ласковее люди будут на земле, —
Вот тогда навеки и без спора
Мужиком и бабой станем на селе.

<1926>

БЕГСТВО

Прощай, сиротство, нищие поля
И ты в гробу, любимая сестра!
Передо мною — круглая земля,
Над головой — чудесная пора!
Прощай, село, отца родимый двор,
Влекущий гул заброшенных дорог!
Мне так легко, как будто с гор
Бегу на паре сильных ног.
Стоит земля, а я по ней спешу.
Я вижу — ветер треплет рожь,
Ища в ее волосьях вошь, —
И глаз с природы не свожу.
Но вот уж холодно и — вечер.
Вон трубы, город и сияющий огонь.
Отстал уставший спутник-ветер,
В моем цветущем сердце сон.
Я спал в саду, как безработный,
И надо мной плыла толпа.

Я слышал жалобы и трудные заботы,
И сон ко мне страшнее прилипал.
Я встал с зарей — мне стало любопытно,
Я знал давно, что велика земля,
Но от меня была вся прелесть скрыта —
Я видел лишь безлюдные поля.
Я был бродягой, пахарем, солдатом,
Искал все годы праведной земли.
То с диким горем, то с отрадой
Шел по путям, куда они вели.
Но жизнь для нас хорошая подруга,
И первый друг — сокровище мое.
Большая нам оказана услуга —
Дана нам жизнь — и мы ее возьмем!

<1926>

* * *

Томится сила недр земного шара,
И злобный зной в душе от тесноты домов.
Ждет мир последнего, смертельного удара
И взрыва недр — без вскрика и без слов.
Пусть ливень разорвет кору и крышу над постелью
И водопады ночью песни запоют,
Пусть корабли людей подымутся над мелью
И в темный ветер в океаны уплывут.
Любовью, ужасом и жалостью к потомку
Прикован к дому и к работе человек.
О, тленье тел, пищеварение негромкое,
Быстрей тебя машинный перегретый бег.
Среди обыкновенных дней трава расти устанет,
Все познано, едою зубы стерты,
И сердце жизнь вконец отбарабанит,
И звезды недостигнутые — мертвы.
Греми, тоска! Из камня сделаны дома!
Еще сладка еда и горячо дыхание жены.
Над крышами до звезд стоит пустая тьма,
И каждой ночью снятся беспамятные сны.

Я тело износил на горестных дорогах.
Нет мудрости свирепой и друга с парой рук,
Мозгов мужских и женщин полновесных много:
Дороже всех материков —
Дверь тихо отворивший друг!

<1925–1926>

* * *

Резцом эпох и молотом времен
Спрессована, изваяна природа,
Песком времен занесены следы племен,
Никем в Судьбу не взорваны ворота.
Тоской пустынь и тишиной души
Мир стережет дорогу звезд и путь судьбы,
И неизвестность человек с собою обручил,
И жаждет бесконечность моих объятий и борьбы.
Дыхание звезды и странствующий ветер,
И солнце страстное, ревущее на небе, —
Мы в мир пришли окончить белый свет,
Разбить вселенной страшный слепок.
Мысль разразится в мире катастрофой,
Неимоверным будет человек:
Удар машины, тяжкий и суровый,
Судьбы железный череп пополам рассек.

<1923>

* * *

Земля — дума, песня не пропетая,
В мире нет задумчивей лица,
И долга, долга дорога светлая,
И в глазах от радости роса.
Тяжела нам вечность неизменная,
Тишины и думы синие огни,
Мы поймем, исходим всю вселенную,
Не заблудимся без матери одни.

Мы поднимем камни, камни и железо,
Где уходят вечером неслышные стада,
Ясную вселенную увеличим в весе
И небесные засветим города.

<1920>

МЕРТВЫЙ

Как тоскует верба в поле!
Ветер как гудит!
Сердцу человека больно,
Человек не говорит.
Тьма, и дождь, и бесконечность,
И не видно ни звезды...
Тихо мрут над гробом свечи,
Мертвый жизни не простит.
Он лежит замолкший, тайный,
И смертельней мертвеца,
Он проснется завтра рано,
Догорит к утру свеча.
Нежен взор его туманный,
И под горлом теплота,
Веки дрогнули нечайно,
Не целуются уста.

<1920>

* * *

В железной шапке льдов,
С дыханьем тайным тихих океанов,
Земля без имени, без человечьих слов
Ревет и мчится в звездном урагане.
Я вижу землю без любви,
Тяжелой думой нагруженную, —
Гранитный шар земной мне душу раздавил
И высек мысль, сопротивленьем раскаленную.
В работе есть исход душе,

И мысль есть поцелуй вселенной,
Трава течет в тиши ржаных межей,
И облака вскипают белой пеной.
Ты — мысль! Бредущий странник против ветра,
И посох твой о путь не прогремит,
Ты слышишь ночь и песнь великого рассвета
И видишь высоту, где сила буйная звездою шелестит.

<1923>

ЛЕСНАЯ ГОВОРУШКА

Выйду в новом сарафане
Я за гумна ввечеру,
Затаюся за поляной,
Не вернуся ко двору.
Загорится над рекою
Высока-светла звезда,
Родилась я, знать, такою
Птицой — с птичьего гнезда.
Стихнет, стихнет и умолкнет
Голос всякий на селе.
По росе пойду намокну,
Песня вспыхнет веселей.
Не проведают наутро,
Где любилась я одна,
Уходила в гору круто,
Доставала в небе дна.
Мама, мамушка родная,
Ты припомни обо мне,
Говорушка я лесная
На гнилом змеином пне.

<1921>

* * *

Когда я думаю, я слышу музыку,
Поют далеко голоса.
И светит солнце слепому узнику,
И песне мысли нет конца.
Над головою дышит бездна,
Непостижима и ясна...
Дорога вышла в неизвестность,
Где вечно светится весна.
Лицо вселенной там прекрасно,
Ее смертельна красота.
Звезда упала, летит и гаснет —
Над нею выше высота.

<1921>

БЕЛЫЙ СВЕТ

У дороги края нету,
Нету дома и конца,
Мы идем по голубому свету,
Ищем голубиного яйца.
Реки все за нами льются,
И леса бредут по ветру вслед,
Горячо кровя под сердцем бьются —
Мы и этот покидаем свет.
Крыша над полями тает,
Убегает по лугам волна,
Солнце землю пьет, а конь его играет —
Золотая деда борона.
Голова моя под шапкой светится,
Пухнет пузо под рубахой ржи.
Вон руками замахала мельница,
А и ветер не брюзжит.
Мы пришли на косогор утихший,
На горячую девичью грудь.
После страды нам невесты ближе,
Каждый вечер они кровь сосут.

Руки вскинуты и звезды загораются,
Груди голые — два тихие холма,
Косари до света белого промаются,
Понавалят в душу хлеба закрома.

<1920–1921>

* * *

По деревням колокола
Проплачут об умершем боге.
Когда-то здесь любовь жила
И странник падал на дороге.
О, милый зверь в груди моей
И качка сердца бесконечная,
Трава покинутых полей
И даль родимая за речкою.
Я сердце нежное, влюбленное
Отдал машине и сознанию,
Во мне растут цветы подводные,
И жизнь цветет без всякого названия.

<1921>

ПЕСНЯ

На зеленой на поляне
Посередке улицы
Ходят Стеши, ходят Глани,
Румяные курицы.
Кочетами Ваньки, Степки
Выступают важно,
А курносой рожей цопкой
Так умилен кажный.
Норовит корявой лапой
Ухватить за сиську,

Ухмыльнулся баба-бабой
Страхолюдный Митька.
Рыжий дернул на гармошке,
Девки взвыли в голос,
Застрадали про Ермошку —
Заскорбела волость.

<1921>

ДОРОГА УТРОМ

Дорога утром легла далеко,
Дорога утром без краев.
Река не дышит, река глубока
Под куренями у рыбаков.
Поют колосья и никнут нивы,
Зажег на небе костер пастух,
А лес махает зеленой гривой
На поле спелых ржаных краюх.
Ищу невесту, а ее нету,
Я позабыл ее избу.
Поднялся рано — еще до свету —
С сумою нищей на горбу.

<1920>

О ГОЛОМ И ЖИВОМ

Мы на ветру живем
С незащищенным сердцем,
В пучине мира мы — нечаянный огонь:
И либо мы весь мир ослепим,
Иль либо нас потушит он.
И весело на свете быть голым и живым —
Таким вот, от которых и горе устает,
Не мудрым, не прекрасным,
А — сильным и простым,
Не богомольцем правды, а мастером ее...

Я знаю —
И в живом созреет тихо смерть,
Но тишины не станет на земле:
Не будет солнце зря гореть —
И жизнь сумеет крикнуть веселей...
И вот смотри —
Без смысла и на льду,
Своей кончины каждый накануне,
Живой глядит на пышную звезду —
Бессмертен он или безумен?
Он мудрость всю отдаст за теплоту
Живого тела своей милой.
Он завоюет голубую высоту,
Чтоб доказать любимой свою силу...
Настанет час —
Из мировой пучины
Он образует милое лицо,
Чтобы была невеста сыну,
Как мать его, любимая отцом.

<1925–1926>

* * *

М. А. К.

Мы стареем, потому что мы живые,
Нам усталость мочит белые глаза, —
Значит, мы с тобою были молодые,
Но еще гремит любовная гроза.
Оттого ты с каждым годом мне милее —
Жар неистовый сменен на теплоту.
Слышу я, как сердце мое зреет,
Чтоб, созрев, упасть в родном саду.
Ты еще жива, твои глаза сияют,
Сердце грудь качает, краснея и спеша,
Но года замрут, и про тебя мне скажут:
Век отвековала верная душа.

<Апрель 1926>

* * *

Наверно, молодость придется истомить
Зажатой в гайку тесного труда.
Нам не дано Америки открыть,
И миновала нас счастливая звезда.
Прошли зеленые веселые века,
И зрелый день стоит над головой.
Нашла русло октябрьская река,
Ее долина поросла травой.
И траву надо днем косить,
Чтоб можно было вечерами петь:
Нельзя лбом стену прошибить,
Зато возможно пальцем протереть.
Земле не очень надобен поэт:
Как ни смеется он, а все равно заплачет.
Хоть и поет он, песня его спета —
И в жизни умной ничего не значит.
Но друг!
Ведь жизнь — хорошая подруга,
А ты — сердечное сокровище мое!
Большая нам оказана услуга —
Дано нам жить, а мы — поем!
Ты погляди! Нечаянно и звонко
Растет трава и звезды шелестят,
Упрямо в сердце бьется перепонка, —
Целуй же жизнь в порочные уста!
<1925–1926>

* * *

Древний мир, воспетый птицами,
Населенный ветром и водой,
Озаренный теплыми зарницами,
Ты живешь во мне — как край родной.
Горный крик гремел навстречу утру,
И поток подножье мира мыл.

Не было равнины — яростно и круто
Обнажались лица материнских сил.
Помню я, в тоске воспоминанья,
Свежесть влажной девственной земли,
И небес дремучее молчание,
И всю прелесть милую вдали.
Но чем жизнь страстней благоухала,
Чем нежней на свете красота,
Тем жаднее смерть ее искала
И смыкала певшие уста.
<1925–1926>

* * *

Как тополи в тихие ночи,
Недвижны, стройны конопли...
Глубоко за силою-мочью
Деревья корнями ушли.
В земле прошлогодние стебли
Гниют — рассыпаются в прах,
Там черви, живя, поослепли
И движутся в темных норах.
Под знойно играющим солнцем
День зелен, медлителен, жгуч.
Травинка дрожит волоконцем,
И каждый комочек живуч...
Стоит похилилась избенка,
Задумался дед на пеньке,
Жует и жует лошаденка,
И дремлет арбуз на песке.
<Не позднее 1918>

* * *

Вечер душен. Ночь недалека.
Ты замкнулась и молчишь...
Будто льется — льется без конца река,
А кругом ни шороха, лишь тишь.
Подойди к углу, где сумрак кроткий,
Стол-угольник и открытая тетрадь...
У сверчка протяжны, скучны нотки,
И опрятна девичья кровать.
Наклонись в томительном искании
На узоры вытянутых строк.
И в усталом, ласковом касании
Вылей чувства робкого поток.
Далеко — ты слышишь — звонит колокол
В неурочный и опасный час...
Манит, мраком манит мертвый дол,
Он зовет и звал уже не раз...
Ты одна. Постель белеет холодом.
Полночь глубже. В тучах небеса.
Кровь колотит в сердце гулким молотом,
И не видны за оврагами леса...

<Не позднее 1918>

СТЕПЬ

В слиянии неба с землею
Волнистая синяя цепь.
Мутнеет пред ней пеленою
Покойная ровная степь.
Бесшумные ветры грядою
Волну за волною катят,
Под ними пески чередою
Бегут — и по травам свистят.
Не дрогнет поблеклой листвою
Кустарник у склона холма —

С обдутой вверху чистотою,
Где ночью не держится тьма.
Скрывается с злобой глухою
В колючках шершавый зверок,
Он спинкой поводит сухою
И пóтом от страха обмок.
Уж вечер... И, будто сохою,
Гремит у телеги мужик...
Восток позадернулся мглою,
А запад — как пламенный крик.
Свежеет. Над тишью степною
В безветрии тлеет звезда,
И светится ею одною
Холодная неба вода.

<1918–1919>

МУЖИК

Цельный день я вижу тын и лопухи,
Да овраги, да тоску, да воробьев.
Под плетнем прилипли к курам петухи,
Плачет Машка у соседей, у сватьев.
Похлебаешь квасу с хреном аль картошки пожуешь,
Сломишь бадик, запечалишься от дум.
А заботу скинешь — песню запоешь,
С огорода в подголосок воет кум.
Парит пашню, ветер мечется один,
Заневестилась полоска-полоса.
Зеленеет мой озимый длинный клин,
И зажмурилися синие леса.

<1918–1919>

ПОХОД

Мы горы сравняли с великой дороги,
Но не с иконой — с винтовкой пошли.
Винтовкой мы землю подняли на ноги,
И победить мы сумеем — раз умирать мы могли.
Там, за победой, снова дорога.
И нет у ней края, как звездам числа.
Не одного миновали мы бога,
Та же в нас сила, что солнце зажгла.
Мы не живем, а идем, умираем,
Будто мы дети другого отца.
Здесь мы чужие и зажигаем
Мертвую землю с конца до конца!
Мать никакая нас не рождала,
Руку невесты никто не держал.
Сила враждебная смертью сметала,
И мы умирали, но каждый вставал.
Кто говорит, что там небо без края,
Звезд ни один не считал, и не счесть,
Знает лишь тот, кто, в тоске умирая,
Тайную слышал далекую весть.
Кто говорит — тот в гробу шевелится,
А не живет, не несется на смерть!
До звезд нет дороги — так мертвому снится:
Можно достать их, и взвесить, и счесть!
Нас не задушат просторы вселенной,
Сколько б дорог нам она ни открыла,
В нашей бесчисленной рати бессменной
Бьется и дышит бессмертная сила!

<1920>

ДИНАМО-МАШИНА

Песнь глубин немых металла,
Неподвижный долгий стон.
Из железа сила встала,
Дышит миллионом волн.

Из таинственных колодцев
Вверх, на горб машины, с пеньем
Вырываются потоки — там живое сердце бьется,
Кровь горячая и красная бьет по жилам в наступленье!
Ветер дует из-под крыльев размахавшихся ремней,
Мой товарищ отпускает регулятор до конца.
Мы до ночи, мы до смерти — на машине, только с ней,
Мы не молимся, не любим, мы умрем, как и родились,
у железного лица.
Наши руки — регулятор электрического тока,
В нашем сердце его дышит непостигнутая сила.
Без души мы и без бога и работаем без срока,
Электрическое пламя жизнь иную нам отлило.
Нету неба, тайны, смерти,
Там вверху — труба и дым.
Мы отцы и мы же дети —
Мы взрываем и творим.
Мы испуганные жили, и рожали, и любили,
Но мы сделали машину, оживили раз железо,
Душу божью умертвили,
Кожа старая с нас слезла.
И мы встали на работу к регулятору динамо,
Позабыли вечность, звезды — что не с нами и не мы.
Почерневшими руками
Смысл мы сделаем из тьмы.

<1920>

КОНЕЦ СВЕТА

Ты слышишь: мир кричит!
Спит сиротою бледная трава,
И синяя звезда от ужаса звенит, —
Задумалась и слышит человечья голова.
И кровью налилась железная рука —
Отныне есть одна и прочная судьба:

Остановитесь, безысходные грядущие века,
Я сделал за вас все — и песня на губах!
Стал сердцем и сознаньем неугомонный мир,
И человеком будет каждая звезда,
Для новой бури во вселенной ты двери проломил,
И пота твоего течет горячая вода.
Товарищ человек, мы сделали зарю,
Изобрели мы мир неимоверный,
Я звездное кольцо с тобою вместе разорву,
И будет шаг наш песней мерной.
И будет день — иссякнет Млечный путь,
Мир истомленный мертвым упадет,
Глубоко человек ему вонзится в грудь —
И в первый раз в то утро солнце не взойдет.

<1922>

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В КНИГУ «ПОЮЩИЕ ДУМЫ»

ПТИЦЫ

Высоко птицы
Вереницей
Летят с далекой неслышной песней...
О, птицы, птицы,
Нам песня снится,
Зовет нас небо, на солнце путь.
Мы любим море —
В гремящем хоре
Стон урагана, удар борьбы.
Мы любим горы,
Вершин упоры
И песни вашей над миром крик.

<Не позднее 1918>

* * *

Я сердцем знаю,
Что не истаю
Я в этом мире,
В зеленом пире...
В далекой ясности
Есть тишь безгласности,
В плывущей лунности —
Покой бездумности,
По всей вселенной горят огни.
Их тихий трепет
Мне внятный лепет,
Их колыхание —
Мои искания,
В небесной бездне мы не одни.

<Не позднее 1918>

СУМРАК

Дальнее мерцание
Голубых огней,
Вздох или сияние
Грезящих полей...
Нежное дыхание,
Аромат цветов,
Мир, очарование,
Трепеты листов...
Тихое плескание
Позабытых слов,
Свет и угасание
Чутких полуснов...

<Не позднее 1918>

* * *

Тихий свет сиянья угасания
Льется в свежесть дремлющих садов.
Покой кроткий, будто стихшие рыдания, —
Призрак мрущий белых городов...
Все смолкает, как невнятное роптание,
Синева поблекла у цветов.
Оживает океан молчания,
Где забылись тысячи веков.
На вершинах спящих колыхание,
Взмахи от объятий льнущих снов,
Волн бегущих дальнее плескание
И безмолвие невидных берегов...

<Не позднее 1918>

ПРИ ПРОЩАНИИ

Весенний вечер в обаянии
Приник к земле,
Закат в немом очаровании
Погас во мгле.
В незримо дальнем осиянии
Подходит ночь...
О, прости, прости в молчании,
Кому невмочь.
Так тихо, тихо расставание
Земли со днем,
Как будто чудное познание
Мы все поймем.
В последнем радостном свидании
Возлюбим всех,
Тогда сольются при прощании
Любовь и грех.

<Не позднее 1918>

ДЕНЬ

Солнце уж в силе, тени кратчают,
Липнет рубашка к спине,
Травы в истоме стеблем иссыхают,
Жарясь на вольном огне.
Сухо и знойно, негде укрыться,
Вихрится пыль по пескам,
Пусто, далеко, ветер струится
По прошлогодним листкам.
В мареве желтом, в устали тяжкой
Стадо овечье пылит.
Кнут подгоняет сзади по ляжкам,
Не попадая ж — свистит.
В днище оврага, в теми, прохладе
Узкий гноится ручей...
Овцы припали, мокнут в отраде
В влаге студеных ключей.

Жальче и тоньше скулит сиротой
Дудка в губах пастуха...
Прыгает ветер — щенок молодой,
Даль полевая безлюдна, глуха.
<Не позднее 1918>

У ГОРОДА

Столб телеграфный гудит над канавой...
Ветер затрясся, завыл в проводах.
В кучах навозных бродит шалавой
Пес одичалый со шкурой во вшах.
Рявкает с хрипом от голода, старости,
Нюхает сгнивший собачий костяк,
Лижет его в неожиданной жалости:
Может быть, это щеночек-сопляк.
Ров недалече с сугробами падали,
Кружится тысяча галок над ним.
Клювами сразу тухлятину сцапали —
Трупом поменело в мире одним.
Ласточки, легкие перышки неба,
Крутятся свадьбой, писком кричат,
Ищут для птенчиков в воздухе хлеба
И, задыхаясь, камнями мчат.
Сядешь на зелень и вскинешь глазами...
Где-то далеко телега скрипит.
Плавится мутный свинец облаками,
Пес исхудалый кашлем хрипит.
<Не позднее 1918>

* * *

Не тихо и не шибко,
А так — чуть-чуть спеша,
Розвальни ноют хлибко,
Где летом шла межа.

Бесшумно и покойно
Полозья чешут снег,
И сердце сжалось больно
Средь похиленных вех.
Деревня за буграми
Маячит кучей хат,
Глубокими снегами
Поля во сне шуршат.

<Не позднее 1918>

* * *

Долог зимний рассвет
В деревенском окне.
С Богом шепчется дед
При лампадном огне.
Светит снег у плетня
На забытом гумне,
Куры ждут давно дня —
Покопаться в зерне.
Вся деревня в снегу,
И река подо льдом,
На промерзшем лугу
Ходит ветер огнем.
Уходили века,
Нивы ждали весны...
Но тропа далека
До зеленой сосны...

<Не позднее 1918>

ЮНОШЕ

Где чувства мало — там мысли много,
Где мысли много — там чувства нет...
Идти лишь прямо — одна дорога —
Туда, где Правды сияет свет.

Иди же прямо, иди же смело,
Пока ты молод и полон сил,
Чтоб сердце волей стальной горело,
Чтоб, погибая, ты победил.

<Не позднее 1918>

РАБЫ МАШИН

Шумит! Гудит! Весь день пылая,
В дыму и пыли мастерская.
Покорные рабы машин,
Не разгибая рук и спин,
Часами чахнут, пыль глотая.
И над станком склонясь главою,
В крови, разлитой полосою,
Стоит без памяти, с лица
Похож на тень иль мертвеца,
Раб с исковерканной рукою.
И вдруг упал. Рука дрожала,
Свистеть машина перестала,
Сбеглись к нему со всех сторон,
Но не нуждался ими он,
В нем боль и жизнь уж угасала.

<Не позднее 1918>

ПОЕЗД

Вьется, вьется, вьется
Путь стальной змеей —
Встречный лес смеется
Дружною семьей.
Стучат, бегут колеса
По рельсам чрез мосток —
Быстрей вагон понесся,
Послышался свисток.

Льется, льется, льется
Стон груди стальной
И звонко раздается
Песнею родной...

<Не позднее 1918>

НАД ГОРАМИ

Небесами ясными
Облака бежали,
Взорами уставшими
Отдыха искали...
Чуть-чуть притаились
На вершине дикой,
Крылышки закрылись
Над иглою-пикой...
А вздохнув немного,
По прозрачной сини
Снова в путь-дорогу,
В колыханье линий...

<Не позднее 1918>

ВЕЧЕР ПОСЛЕ ТРУДА

Мастерская пуста.
Как громадна она!
Я остался один.
Тишина здесь властна.
Реет чуть теплота
У горна.
Луч вечерний повис
У окна.
Там, за пыльным стеклом,
Воздух ласков и чист...
Свет родившихся звезд
Серебрист.

Тишина так полна,
Словно слышится свист.
Ночь крадется. Темнее, темнее...
Огонь звезд так далек, потаенно лучист.
Буду ждать, буду ждать...
Так ужасно покоя молчание...
С солнцем жизнь не ушла —
Ее нежное веет дыхание...
Силуэты машин недвижимы, мрачны,
Смерти вижу на них одеяние.
Мастерская пуста...
Огонек под золой, потухая, живет в угасании.

<Не позднее 1918>

НА РЕКЕ

Вода рябится легким духом
На зеленеющей мели...
Обрывы выветрились сухо,
И комья глины поросли...
Под ветер выскочила жаба,
О влажный хрустнула песок,
Она от тины вся иззябла,
И свисло брюхо, как мешок.
Спешит прихлопнуть лапкой мокрой
Червя, что вьется меж камней...
Пестреет стайка туч сорокой,
Темнеет блеск реки под ней, —
И шумно дождик полосою
Запузырился по воде,
Сверкнул отточенной косою
И замер, радугой зардев.

<Не позднее 1918>

МАРТ

Снег под солнцем растопился,
Лужи распустил,
Воробей, спеша, опился,
Хвостик замочил.
От оттаявших заборов
Задымился пар,
Отощавший в зиму боров,
Как помятый шар.
Пес, от вьюг осатанелый,
Брешет ни с чего,
И забыл, что околела
Сука — мать его.
Льются с тихим лопотаньем
В колесницах ручейки,
Вечерком же ранне-ранним
Все дороги далеки.

<Не позднее 1918>

* * *

Млеют в горячей весенней испарине
Пашни, дороги и лес-молодняк,
Солнцем высоким они поошпарены,
Стали за летний рабочий верстак.
Хошь ли не хошь, а водицей мочися,
В лютую зиму обжившийся снег.
Терпи не терпи и молись не молися,
А скоро уж будет дребезг телег.
Странничек божий Фома уж поплелся,
На весну глядя, бродить по Руси,
Бадиком с гайкой таким обзавелся,
Что палец во рту пососи.
У изб, у плетней кое-где попросохло.
Ребятки мочою там пробуют грунт.
Шепчут старухи — скотина где сдохла,
Как соль вздорожала с копейки за фунт.

Вечером свежим несется далеко
Вскрик или голос птицы какой...
Месяц над лесом пройдет одиноко,
Тронется небо звездной рекой.

<Не позднее 1918>

* * *

Невысокие лозины,
Повалившийся плетень,
Одинокие долины,
Серый, скучный день.
Задремавшие равнины,
Пыльные кусты...
Мои милые картины,
Тихие мечты.
Я у чистого истока
Юности моей,
У бегущего потока
Уходящих дней...

<Не позднее 1918>

МОЛОТ

Удары родят молнии —
Безумные, упорные,
Неуловимо полные мгновенного огня.
Земля качает сводами.
Пар льет паропроводами
На молот мощь зажатую, от трепета звеня.
И будто с ликованьем
По мертвым наковальням
Металл играет в пламени,
Дробится, изменяется
И снова накаляется,
Сверкая остро гранями.
Огни роятся искрами —

Трепещущими, быстрыми,
И близкими, и дальними...

<1918–1919>

ПЕСНЬ

В этот день, в этот день поздней осени низко стлалась промерзшая мглистая слизь...

За стеклянными клетками окон, дрожью упругой звенящими, колеблется, мутится вязкая зыбь. Перемешан с туманом газ от вагранок и дым кочегарок, длинными трубами выгнанный.

Этот день, этот день никогда не забудем...

Он стонал, этот день, на усталых станках, гнал, спеша, по шкивам и по валам ремни. И все гнали, все гнали, все гнали станки.

Схороненною злобною силой дребезжала неплотно в подшипниках сжатая ось и рвала взад-вперед на шкиву ослабевший бегущий ремень, что махал и махал пред глазами опостылевшим швом.

О лети, о хлещи, и мотай, и вращай, и шипи без конца, без начала, все взад и вперед, по замкнутому вечному кругу, эластичный упорный спешащий ремень!

Ты — певун и плясун на спине обточенной и скользкой туго вертящих оси шкивов.

Твоя песня подслушана мною, твоя песня везде все о том же, она всех породнила и всем рассказала, ровно бьется во все моих братьев сердца.

Крылья медных напевов вздымаются — катятся — плещутся в ритме гудящем, рвут клоками цветную железную ткань.

Чрез станки и ремни и приводы моторов мои руки протянуты к вам, мои братья, ушедшие в слух и внимание рыдающей долгой сдавленной сводами песни.

Эта песнь гонит вон из завода — к разрушенью, к борьбе и к великим твореньям, еще никогда не бывалым, расплющим которыми землю, чтобы снова творить и творить без конца... Эта песнь призывает и сокликает великую рать.

О, вы слышите, слышите эту глухую суровую речь, речь возмущенья, восстанья и — боя?

Боя! Вечного боя с душащим, остро вникающим в сердце резцом, притупляющим мраком, напитанным злобой и ужасом.

Ужасом! В безднах, пустотах, провалах и смертных капканах которого гибли без счета, без имени в памяти сына наши отцы...

Кто их вспомянет? Памятник кто им воздвигнет и обессмертит в скрижалях вселенной их имена?

Мир вам, покой вам, учители наши, не знавшие слов!..

Мы уж выходим наружу в холодный, туманный, промерзлый простор осени поздней, жалящей тело спросонья едкою мгой.

Песнь разбудила сердца и камнем сама в них застыла, чтоб в миге порыва, в пламени битвы ожить и всколыхнуть, если дрогнут они, ряды восстающих, дерзнувших.

Ожить — в ударе последнем в небо, в великие, страшные, тайные центры вселенной.

Ожить — чтоб вдохновить души уставших, души бегущих — и двинуть вперед раскалившейся лавой ряды за рядами огненным, жгущим потоком хаос борцов...

И застонет, завоет под маршем железным вздрогнувший мир.

Мы рычаг на работу поставим — и запоет песни новые покорный, упорный и вечный наш мощный, наш прочный станок —

Бесконечность!

<1919>

ГУДОК

Мы спешим...
Нас цедит будка при воротах
И проплескивает дальше.
Дальше, дальше — к мастерским.
Через балки, чрез обломки, горы стружек
И шеренги ожидающих машин

Мы бежим от нетерпенья,
Исчезаем в черных пастях
Каменных зверей…
Мы спешим.
Гудок последний
Белым вихрем атмосферу
Вдруг рассек.
И железные, стальные
Молчаливые массивы,
Эхом гулким завывая,
Отозвалися ему.
А гудок бичом хлестает
Утра, белую без солнца,
Непроснувшуюся мгу.
Он прорвался сквозь ущелья
Узких трубок и кранов —
И вот бьется от восторга,
От свободы, от победы
Белым вольным ураганом
Выше, дальше —
В сердце неба,
В гущу туч!
От стального его рева
Сотрясаются и плачут
Влагой мелкой облака…
О, пронзай, ломай преграды,
Неподвижные громады,
Окаянные пустыни,
Непройденные пески,
Белоструйный пламень снежный
Пар — гудок!
Громче, резче раскаляйся,
Рви на клочья, распыляй
Туман низкий — пасть могилы,
Жуть бессилья!
Пробивайся сквозь пространства
К мертвым звездам,
И столкни их, и смети их
Своей силою земли…

Мы — гудок кипящий мощью,
Пеной белою котлов,
Мы прорвемся на дороги,
На далекие пути.
Не отступим, не уступим —
Без конца вперед идти:
Только в силе — радость жизни,
И в победах — упоенье,
В достиженьях — гордость воли,
И в огнях манящих — власть...
Наш гудок — сигнал желанья,
Клич трепещущий сердец,
И труду, усилью, воле —
Утренний привет.
Мы рванемся на вершины
Прокаленным острием!
Брешь пробьем в слоях вселенной,
Землю бросим в горн!

<1919>

* * *

Мы на канатах прем локомобиль
К платформам красным станции.
Цилиндры в триста лошадиных сил
Заржавели на скрепах с фланцами.
Давно не крутит оси кривошип,
И замер, разбежавшись, маховик.
Трубы макушка — проволочный гриб —
Прогнил от дыма, вбок поник.
Волочим сажень-две, минуту отдыхаем
И снова ухаем, ногами чешем землю,
Плечми брат к брату ближе примыкаем,
В поту и хрипе узкою пролазим щелью.
Канат рассекся от усилий дружных
И хлобыснул по роже чьей-то тощей —
Метнулась врозь стая ребят досужных
. . . .

Оправились и потащили с песней,
Мамаше подарив матюк.
Последний шаг — и силе стало тесно,
Скрипит, шатается на оси крюк...
Шабаш — доставили!..
Двугривенный и сотка,
Да огурец, в горшке разбрюхший от рассола...
Кормись, дыши, промачивайся, глотка,
И хлебец жуй муки вкуснейшего размола.

<1919>

КРАСНОМУ ВОРОНЕЖУ

стихотворение в прозе

За убогою слободкой, где по пашням чернозема только пахарь век бродил, залп за залпом орудийный тишь мужицких хат потряс.

В вихре медном, раскаленном застонали лес и нивы; и приникли ниже травы, только тучки тень бежит...

Воздух мутный, пред грозою, накалился не дохнет.

Залп за залпом — и с просторов, будто сонных, задышала жаром в небо незнакомая вспышка острая тоски.

Марсельеза... На дороге в пыльном зное, в мерном шаге, в мощной массе, маршем быстрым в нетерпенье — за отрядами отряд.

И гудит под камнем камень, как под тяжестью свинца, от ударов темпа — марша, от восторга Марсельезы...

Будто в буре океанов, в смерти, гибели, борьбе, наша высшая надежда, праздник нового рожденья...

Отчеканенно и мерно бьется в ритме пулемет — и почти бежит, не дышит, на далекий зов отряд.

От железа, от асфальта, от бетона, от камней залп от залпа отражаясь острой мести жало — пламя кверху вскидываясь прямо электрической стрелой...

Всем единым коллективным сердцем чутким содрогаясь, весь в тревоге напряженной, город в муке ожиданья веру сковывает сталью много видевших штыков.

Будем слитны и едины и безжалостны к себе.

Только с сталью, вместо сердца, с мудрым мужеством сознанья и восторгом вдохновенья мы победу, славу гордых, в лагерь Красный приведем.

Пусть на Дон, на юг несется пятикратный луч звезды —

С песнью песней Революций, Марсельезой в буре боя, Красный город вспыхнул кровью, как надежда, рыцарь юный вдруг воспрянувшего мира.

В эти молнии — мгновенья мы над пропастью парили — мы, ведь, искра столкновенья двух сгорающих планет, двух скрутившихся, сцепленных, не взорвавшихся миров.

В гуле яростном, в смятенье есть единственный напев, неизвестный иль забытый, но единственный всегда — Птицей с телом нежной чайки он несется над землей, сеет в сердца истомленных веру в чудо воскресенья, в бесконечную возможность...

Обретется в век грядущий новой мощью напоенный дух бессмертный, дух мятежный, демон радостный, свободный — дух борца, дух коммуниста.

<Сентябрь 1919>

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Выходите по плитам звенящим, дрожащим под шагом,
Уверенным, твердо рассчитанным маршем!
У станков, у моторов, вагранок с кипящей медью
Сговоритесь спокойною, краткою, ясною речью труда,
А потом — слейте в миге едином
Всю волю, усилие, мощь трепещущих
жизнью железною жил
И ударьте по клапанам и регуляторам,
Воющим силою темной, упорной огня.
Ударьте — взмахом одним тысячей рук,
Тысячей рук, как одной!
Тысячей пальцев в мозолях и ранах —
Знаках немых сопротивлений металла и пламени горнов...
Рукою за руку в пожатии — призыве братском —
Возьмитесь, идите всей цепью, звено за звеном,
Разбейте ворота — и океаном свирепым

Раскиньтесь волнами с кровавою пеной,
Залейте потоком, ударьте прибойной струею
Мир, убывающий в силе, землю усеявший
гнойными трупами,
Бледною, тощею кровью, еле живущий,
И взвейтесь столбом, стальным, прокаленным,
Под небо, под звезды!
И засветите под солнцем,
Чтоб солнце потухло,
Факел из слившихся искр от ударов,
Ударов ритмичных и властных
Наших желаний, влитых в одно...
Мы — это правда грядущая,
Правда земли, под которой
Рухнут все тайны небес...
О, мы раздавим, взорвем динамитом,
В песок превратим этот мир!
И продиктуем кометам и колоссальным далеким мирам
Волю машин,
Правду горящих сердец.
Выходите по плитам звенящим, дрожащим под шагом,
Уверенным, твердо рассчитанным маршем...

<Октябрь 1919>

ИТАЛИИ

На морях из льющихся алмазов
Дышит в солнце пальмами земля,
И вершины гор из дымных газов
Растопила золотая мгла.
Корабли в волнах далеко бьются,
Ветер воет в мачтах, парусах...
Человек услышал, как поются
Песни бурь в отвесных берегах...
Меч в руках раба не в первый раз,
Залп не первый — по дворцам...
Мы слились, мы лава — миллионы нас,
Мы гремим восстаньем по странам.

Океан в прибое свирепеет,
Мир от взрывов недрами гудит.
Жажду правды сердце в сердце сеет,
Красный Факел мщением горит.
Юный Друг, далекий и прекрасный,
Душу Ты отдал для мук борьбы.
О, борись, восставший брат наш красный,
Рвут уж цепи по земле рабы!..

Ноябрь 1919

ЗНАНИЕ

Нам радость незнакомая
В тебе горит, познание!
В груди живет истомою
Тоска, от тьмы отчаянье...
Душили мир страдания,
Но жизнь светла надеждою —
И ты пришло, о знание,
Под красною одеждою...

<1919–1920>

СУББОТНИК

Волей рожденный чудесной
Всечеловеческий труд...
Люди под ношею крестной
Счастье себе обретут.
Братские мощные руки
Кровью налиты одной...
Наши грядущие внуки
Будут семьею родной.
Мы под железными стонами
Счастье для мира творим.

Мы трудовыми подъемами
Землю сжигаем и сами горим.
<Апрель 1920>

МАЙ

Мы живем под солнцем голубого мая,
Пламенем желаний наша грудь полна.
Мы растем все выше, силы отнимая
От земли и неба, где горит весна.
И в огне восторга поднимаем молот,
Разрушаем горы на своих путях...
По земным пустыням строим Новый Город,
Запоют машины в каменных сетях.
Без числа и меры, без конца и края
Мы покрыли землю, мы сжимаем мир...
Загремела песня, в сердце замирая,
И слились просторы в бесконечный пир.
В этот день, ликуя, брат стал рядом с братом,
Загорелась в каждом ясная звезда...
Катится и стонет, и гудит набатом
Радость и смятенье — ураган труда.
1 мая 1920

* * *

Над голубыми озерами
В сумерках мрут облака,
Синими чистыми взорами
Замерла в небе тоска.
Влажный камыш наклонился,
В думе глядится на дно, —
Ранний ли сон то приснился,
Ночью ль открылось окно...
Странник бредет неустанный
В темных полях по тропам,

Путь неизвестный, желанный
Лег по пустыне к горам.
<1920>

КУЗНЕЦЫ

Снова в руках молотки и зубила,
Песней весенней залились станки.
Пламя железо в горне раскалило,
Куйте его, кузнецы-батраки.
Буйные дети борьбы и свободы,
Куйте железо с зари до зари,
Нивы покроют зеленые всходы,
Песнь про вас сложат в полях косари.
<1919–1920>

* * *

Солнце жжет арбузы, зеленит огурцы,
Обратило к себе всю подсолнухов рать,
Еще тверды бобы, как у девки сосцы,
Впору только теперь воробьям их клевать...
Солнца ясен заход, ночь в теплыни идет
И тоскою зовет на село.
И натянешь зипун, сердце болью кольнет,
Поплетешься без песни, с душой наголо...
На околице визг, чуть задавленный смех,
Парни мечутся с ласковым зовом.
Отпустили с цепей древний прадедский грех,
Льнут друг к другу в желании новом...
Месяц поздно взойдет, перед самой зарей,
Все, сморившись, уснут — кто где как.

Небо вздернется легкою бледной корой,
По дороге раздавишь собачий костяк.
Далеко зазвенел на жалейке пастух,
У колодца стонает бадья,
Закадился росою прохладною луг,
Солнце грянет чуть-чуть погодя.

<1919–1920>

ПРАЗДНИК СИЛЫ
ко дню всевобуча

От нашей ярости железной
В крови земля,
И вихри спаянных усилий
Шатают небеса.
В потоках радостного солнца
Горят примкнутые штыки
И гул живет в ударах марша,
Качает недрами глубин.
Наш каждый мускул полон звона
Мы снова дети на земле...
И мы идем, идем — смеемся,
Все шире дали,
Все больше нас.
Растет в нас гордость,
Воля к силе,
Полету в глуби горных бездн.
Во взоре брата горит надежда,
Идем мы вместе в далекий путь.
Штыки зажаты,
На сердце пламя,
Все больше нас.

<Май 1920>

ДОРОГА

Глухая лесная дорога
И мшистый коряжистый пень...
Путь крестный народа немого,
Душа чья — граненый кремень.
Проселки в узлистом сплетенье
Раскинулись вкруг деревень,
Где страхом куется терпенье,
Покоится рабская лень,
Сузятся у пашен в тропинки,
И — дальше былиночки мнут,
Средь сел поприжмутся к лозинкам,
С околиц же прямо бегут.
Их манят поля и просторы,
Где странники молча бредут,
Ногами босыми узоры
Версту за верстой по ним ткут.
Сгорбясь под сухарной сумою,
Идущие песню поют
И звякают ржавой клюкою.
А песни — за море зовут...

<январь–май 1920>

ПУТЬ В ГОРЫ

Поля бурьяном зарастали,
И зверь по чащам ликовал.
А мы пришли — зубцами стали
Плуг рвы и степи запахал.
Живое солнце в красных жилах
Дробило землю на куски,
Отцы ворочались в могилах,
Колосья вспухли, как соски.

Мир раскаленный был враждебен,
Спала машина в недрах руд.
Но человек родился гневен —
Его путь в горы долог, крут.
<июнь–июль 1920>

НАПОР

Рука с рукою мы стали рядом,
Дыханье брата — мой тоже вздох.
Удары сердца — разрыв снарядов,
И взор ответный взор зажег.
Душа убита, и жизни нету,
Весь мир в железе надет на штык.
Мы рубим корни у всего света,
Победа наша — смертельный крик.
В день истребления — земля пустыня,
И каждый зверь в ней господин,
На небе солнце тогда остынет,
Не нужен миру властелин.
Под нашим шагом цветы сгорают,
Мы — гибель всем, кто не погиб.
В волне кровавой поля рыдают,
Мы выпрямляем путей изгиб.
Душа с душою — дыханий ветер,
Земля и небо — океан.
Над головами не жизни ветви —
Свинца и меди ураган.

<июль 1920>

ОРАТОР

Песнь, человеком не спетая,
Стонет, гремит в мастерских.
Радость машин неответная
Пишет неписанный стих.
Вон на железной станине
Оратор великий, немой,
С древних веков и доныне —
Брат неуслышанный мой.
Падают на пол, на плиты
Чугунным ударом слова.
Из стали упорной отлита
Слепая его голова.

<1919–1920>

* * *

На реке вечерней, замирающей
Потеплела тихая вода.
В этот час последний, умирающий
Не умрем мы никогда.
Мы твой зов, твой голос всюду слышим,
Тишина и сон твоя душа.
На руках у матери не дышим,
Без возврата ночью шла межа.
Свет засветится, неведомый и тайный,
Над лесами, ждущий и немой,
Бьет родник, живой и безначальный.
Странник шел и путь искал домой...

<август 1920>

КОННЫЙ ВИХРЬ

Пролетарской коннице

По морю, по морю земли
Храпят табуны лошадей.
Гонят в ущелье петли
Безумное стадо людей.
Пики их жалят и жалят,
Души секут пополам,
Брызгают трупы и тают,
Трупы — дорога коням.
Копыта вонзаются в череп,
Сердце в груди дребезжит —
Красноармейцем стал мерин,
Смертью ревет и визжит.
Топчут пустыни копыта,
Топчут и рвут города.
Крепость гранитная смыта —
Жизнь никому не отдам.
Враг под ногами не дышит,
В землю вогнал его конь,
Победы моей не услышит —
Красный ликует огонь.

<август 1920>

ФРОНТ

Артиллерийский звон колокольный
В стены набатом гудит.
Башни взлетают, дворцы загораются,
Пыль кирпичей в облаках.
В город расплавленный молот опущен,
Брызгает пламенем камень домов.
Трупами люди мостят переправу,
Падает к братьям брат на штыки.
Дрогнуло вздохом зарево в взрыве,
Комом свинцовым запущена смерть...

Гневный поток размывает дороги —
Пушки, колеса, лошади — мы.
Выгнула спину крепость-плотина,
Дышит гранит, как живой.
Трубы без дыма отрублены в небе,
Будто слепые глаза.
Но целы машины под цинковой крышей
И слушают чутко станки.
Лопнет плотина под силой напора
(Разве ей скажет кто: стоп?),
Сжатая мощь водопадом прорвется,
Смоет, сравняет трупов бугры,
Люди грудь с грудью на трупах сойдутся,
Брат не нанижет брата на штык...
Долго идем мы, не видим друг друга,
Стены кругом нас и камень в душе.
Но мы заложили пуды динамита
В камень, в гранит, под бетон.
Брата родного мы в жертву отдали,
Шнур поджигали живою свечой.
Но мы пустили под облако пылью
Стену и душу сухую врага —
Человек человеку навстречу
По крови шагает, шагает века.

<август 1920>

МАЛЬЧИК

В вечер летний, тихий и тоскующий,
Звезды с неба травам говорят.
Домик скрылся и зарос садами,
И в окне белеется звезда.
Спит Волчок в репьях под лопухами,
Сердце человечье у него во сне,
И во сне рекой уходят звезды,
А земля без края и дорог.
Ночью каждый от себя уходит,
Понимает, а к утру молчит.

В поле грудь волнуется и дышит,
Люди встали и глядят.
Мать до света белого качала
Мальчика в корыте на полу.
Домик крышей светится под небом,
Мальчик мается, руками говорит.
Сны его несут далеко,
Улыбаются и на руки берут.
Мать другая грудь сосать давала,
Много рук протянуты и ждут.
Он не знает, никому не скажет,
Отчего и ночью так светло,
Отчего во сне он говорит и любит,
А днем немой и ненавидит...
В самый полдень, когда поле выгорало,
Заметался мальчик и открыл глаза.
Мать давно томится на работе,
Чуть змеится время, долго до гудка...
Снова шепчет вечер, тихий и печальный,
Серебряные струны в небесах поют...
Подушка навалилась на лицо ребенка,
Пух во рту горячий пержигает дух.
В дверь Волчок заскребся,
Мухи ноют тише, за окном забор.
Вышла у соседей на крыльцо невеста
И одна запела.
Тянется, не рвется тоненькая нитка,
Капля бьет по капле, а полны века...
Мальчик замирает, видит сон последний,
Будто мать уходит, больше не придет.
Без конца заборы, темные дороги,
Наверху просторно, тихо и светло.
Села мать на камень, руки протянула
И одна поет.
Умер мальчик. Белый, он светился ночью,
Не в корыте он один заснул.
На него в окно смотрели звезды,
К свету мухи облепили весь живот.

<сентябрь 1920>

ДОМОЙ

Утром трава просыпается,
Дышат, шумят воробьи.
Ты с человеком не встретишься
Тут под навесом зари.
Долги дороги из камня,
Жарок подножный песок,
Глаз у звезды закрывается,
Тянется солнце рукой.
Эти поля и дороги,
Этот стонающий день,
Жмется к тебе и тоскует
Земная пустая душа.
Думаешь. Видишь далеко,
Нет никого на пути —
Странница богом согнута,
Деревня, солома, плетни.
Тут я любил и родился,
Братца таскал на руках,
Землю большую увидел,
Боялся, умрет моя мать...
Летние дни улыбаются,
Реки текут в серебре,
В поле песок загорается,
Мать дотемна не придет.
Брата ношу, утешаю,
Постом ему минет годок,
Любит он, смотрит, смеется,
Думает, я ему мать.
К вечеру день опускался
В темь затаенных лесов,
Ночью росой там купался,
Утром ребенком глядел.
В поле играли мы с братом,
Город лепили в песке.
Сеня поднялся на ножки,
Со страху моргать перестал...

Дома все зяб он и жался,
Вечером есть не хотел,
Пеною утром закашлял,
Пух животом и синел.
Мать не пошла на работу,
На руки Сеню взяла.
Глаза он открыл и не видел,
Ложилась на них пелена.
В полдень заснул и во сне засмеялся,
Руками ловил и стонал...
День прогремел и на лес опустился,
Шла, уходила река.
Стих ночью Сеня,
В рот взял мой палец,
Глазами глядел, а дремал.
И день весь, и ночь всю другую глядел и дремал.
Утро настало. Чуть вышел день.
Сеня проснулся и руки поднял.
Глазами повел далеко, как слепой,
Будто ушел и забыл оглянуться...
Плавает солнце по небу одно,
Странник, отставший в степи,
Ходит и ищет дороги-пути.
Плачет с ним вместе земля.
Рожает она, и хоронит, и любит,
На солнце глядит каждый день.
Могилы, поля, и плетни, и деревни,
И смерти и жизни нету конца.
Когда же дойдем мы до дома
И в нем до утра отдохнем.
Сойдемся, увидим умерших,
Забытых, далеких вернем.
Когда ж эту смерть вместе с жизнью
Сожжем в яме скорби своей,
И встанем с соломы детями
У матери в доме родном!

<сентябрь–октябрь 1920>

МЫСЛЬ

Жизнь еле тлеет под камнем смерти,
Изнемогает в борьбе со тьмой, —
Свалите камень, земные дети,
Пусть станет истина ее душой.
Над нами солнце, и в нас рассвет,
Все реки светятся до дна.
И в нас восходит светлейший свет,
Ничья не будет душа одна.
Мы все воскреснем, живыми встанем,
Родился новый, сильнейший бог.
У бездны дна теперь достанем,
Сойдутся братья с больших дорог.
Мысль человека стала богом,
Сознанье душит зверя тьмы.
На царство сядет царь убогий —
Ни ты, ни я, а — мы.

<октябрь 1920>

СЫН ЗЕМЛИ

Опустилась с неба раненая птица,
Поперек дороги ей легла гора.
Жизнь, полет высокий, только тихо снится —
У костра со звездами до утра игра.
Крылья холодеют и на шее камень,
Глыбы на дороге, смерть и тени тайн,
Глыбы шевелятся, шевелятся сами,
Горы над горами, как над бездной край.
Где ж гнездо и мать тут у небесной птицы,
Только тьма пещеры для прохода тайн.
И без шума мчатся тени вереницей,
Смерти, жизни нету, вечно ожидай.
Птица еще бьется, есть под сердцем дети,
С нею прилетели с голубых равнин.
Если мать не дышит, то у них нет смерти,
И вздохнет и выйдет из утробы сын.

Из утробы мертвой он один родится,
Перемрут под матерью многие птенцы...
До конца сын будет с смертью, с тайной биться,
И его поманят звездные венцы.
Через глыбы, горы тайн и неизвестного
На коне Ненависти пронесется сын.
В вихрь и ночь безумия, жаркого и тесного,
Он на крыльях пламенных врежется один.
Это мать убитая, брошенная с неба,
Через горы бросила сына к небесам.
Все птенцы подохли с голоду, сослепу
И лежат на камнях черной кучей там.
В сыне мать открыла снова небу крылья,
И смеется звездам из-за глыб и гор,
И летит звенящей, белой, звездной пылью
В тихие равнины, в голубой простор.
Прошлое, далекое, всю немую вечность,
И холодный камень, тайную звезду —
Все поймет, полюбит, кончит бесконечность
И на крыльях вскинет Сын на высоту.
Это мать убитая в Нем летит и ищет,
Никогда не кончит своего пути...
И живых и мертвых с гор высоких кличет
На дороге дальней всех птенцов найти.

<ноябрь 1920>

СЛЕПОЙ

Песню ночью никто не услышит,
Тихую песнь без певца.
И тебя и меня она кличет,
Как без матери в поле слепца:
— Ты испуган, ты вытянул руки,
Стужа тьмы, пустота, пустота.
Ни отголоска, ни звука.
Ты потерян, забыт, ты отстал.
О, не бойся, слепец позабытый,
Больше всех ты своей слепотой,

Одному тебе тайный и скрытый
Свет открою и буду сестрой.
Мир подымешь на слабые руки,
Что захочешь, полюбишь — твое.
Ты испуган, слова твои глухи,
Ты — любовь, твое сердце — в моем.
У стены, у стены на дороге
В смертном ужасе замер и ждешь,
Ждешь, приедут холодные дроги —
Не откроешь глаза, а сожмешь...
Ты живой, ты живой, ты единственный,
И стена — только дым на глазах,
Ты слепой, но в тебе свет таинственный,
Ты у мира один на часах.
Никого, а себя испугался,
В ослепительном свете ослеп,
И один от ушедших остался
В поле темном на мертвой земле.
Для тебя одного невозможное —
Крылья радости, вольный полет.
И все тайное — только ничтожное,
Только тень от открытых ворот.
Ты оживший, спасенный спаситель,
Тихий голос твой — миру закон.
Ты вселенной единственный житель,
Твоя истина — утренний сон.
Песню ночью никто не услышит,
Тихую песнь без певца.
И тебя и меня она кличет,
Как без матери в поле слепца.

<ноябрь 1920>

* * *

Мы пройдем тебя до края,
Небо, тайна голубая.
Мы — любовь, мы — мысль вселенной,
Звезд зовущих странник пленный.

Мы идем в темницы тайные,
Там красавица печальная
Не дождется часа светлого,
Будто песнь никем не спетая.

<ноябрь 1920>

МНОГО МАТЕРЕЙ

В мире большом и высоком
Много дорог и домов.
Небо — колодезь глубокий,
Мать не поймет моих слов.
Много идут матерей,
Только чужие и мимо.
Нам ни одна не откроет дверей,
На руки с лаской не примет.
Нищими ходим мы по земле —
Мать ли не встретим в замолкшем лесу...
Каждый замучен, от пыли ослеп,
Сердце до матери я донесу.
В городе праздник — дома и огни.
Дети бредут и все просят любви —
В поле мы были одни и одни,
Мать, хоть чужая, нас позови!
И протянулись к нам белые руки,
Полные груди ждут с молоком...
Шли по дорогам мы в радостной муке —
Есть и у брошенных матерь и дом.
Нам улыбнулись деревья и камни,
Каждого любят мать и сестра,
Стали мы всеми, все стали с нами,
Будто в степи у большого костра.

<декабрь 1920>

ДЕТИ

Не сгорает город огненный,
Весь в страдании торжественном.
Из машин стальных бьют молнии.
Вышли трубы грозным шествием.
Мы безумную вселенную
Бросим в топку раскаленную,
Солнце древнее, бесценное
Позабудется, сожженное.
Оборвем мы вальс тоскующий —
Танец звезд, далеких девушек.
К ним идет жених ликующий —
Сжечь обитель светлой немощи.
Не любовь мы, а познание,
Сердце было — ком тоски.
Мы ворота ищем тайные
Уплывающей реки.
Наши дети не родились,
Не родятся никогда —
Через вечность мы пробились,
Будем биться, жить всегда.
Дети — сладкое бессилие,
Сказка радостная смерти.
Мы ж невянущие лилии,
Мы смеющиеся дети.

<декабрь 1920>

ВО СНЕ

Сон ребенка — песнь пророка.
От горящего истока
Все течет, течет до срока,
И волна гремит далеко.
Ты забудешь образ тайный,
Над землею неба нет.
Вспыхнет кроткий и печальный
Ранний, утренний твой свет.

Ты пришел один с дороги,
Замер сердцем и упал,
Путь в пустыне зноя долгий,
Ты, родной мой, тих и мал...

<вторая половина 1920>

* * *

Тиха дорога, неизвестна,
У брата горячи глаза,
Мир тайный — сонная невеста,
Мы — предрассветная роса.
Конца мы ищем бесконечного,
Мы знаем — есть у бездны дно.
Но одолеем зверя вечного,
Когда с ним станем заодно.
Мы меньше трав и тихих нищих,
Глаза у нас небес ясней,
Песка подводного мы чище
И всех зверей живых сильней.

<1920–1921>

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ

Из вскрикнувшей разрубленной вселенной
Рванула мир рабочая раздутая рука.
Пришли до срока, без гудка мы — радостная смена,
Все времена ушли в подземные, забытые века.
И ближе светит солнце, везде, везде — наш дом,
И ты мне друг и брат, она сестра — сестра.
Земля — железная машина, течет по проводу к ней гром.
Смеемся мы, любовь не перескажем с утра и до утра.
Бессмертье заработали мы смертью и могилой,
От наших глаз не скроется небесное лицо,
Жизнь раскаляется до дна глубокой тайной силой,
Работа — наш отец, мы не расстанемся с отцом.

Мир будет тишиной. Пройдем его до края,
Нет никого нигде, товарищи машины сверлят небеса.
Летит звезда к земле, никто не умирает,
У человека навсегда задумались глаза.
Живут в нас все — погибшие от смерти,
Кто ночью падал в городах,
Замолкшие в могилах дети…
Мы сокрушающий, последний шаг.

<1920–1921>

СУДЬБА

В звездной безутешной, смертной тишине
После ветра, после птицы мы родились на земле…
Чуть в неуловимой, тихой вышине
Радуется-стонет песня на селе.
Вечность мы обнимем вечером рукою,
Девушку испуганную, утреннюю тень.
Выйдет солнце громкое над большой рекою,
Никогда не смеркнется наш великий день.
Музыка на празднике гибелью гремит:
Кинулись товарищи в улицы на бой.
Далеко, за гибелью, спасение летит
С пополам разрубленной, конченной судьбой.

<1920–1921>

* * *

Мир рожден улыбкой человека,
Он вселенную невестою назвал.
Смерть рука влюбленная рассекла,
Вечный посох странник в руку взял.
Бесконечность солнцем утром взорвана,
Зацвела небесная звезда,
И растет вселенная просторная,
Бесконечней бесконечности всегда.

<1920–1921>

ТОПОТ

В душе моей движутся толпы...
Их топот, их радостный топот,
Как камней сползающих грохот.
Без меры, без края, без счета
Строят неведомый город, —
Выше, страшнее, где тайна и холод, —
Камень на камень, город на город...
Тихо. Только в материи сопротивление —
Ропот.
Там, где удар, там и миги и годы
Плавятся в вечность машиной и потом...
Тихо танцуют звезд хороводы,
Выше их вышли трубы заводов.
Там, где царили вселенная, рок,
Скованный проводом мечется ток.
Слава безумию, взрывам и топкам,
Грохоту, скрежету, топоту, топоту,
Мысли и числам неисчислимым,
Цифрам сомкнувшимся неизмеримым.
Лопнули мускулы. Смерть человеку —
Брошен в колодезь последний калека,
Душу живую машина рассекла.
Наша душа — катастрофа, машина.
В небо уперлись железные спины.
Солнце стихает, склоняется, стынет.
Ступайте толпа за толпою
По жаркой по вашей душе,
История больше не даст перебоя,
В машине сгорает мир тайн и вещей.
Любовь — это девушка, шепот,
Но ночью там движется топот,
Идут по душе моей толпы.

<1920–1921>

ВСЕЛЕННОЙ

Вселенная! Ты горишь от любви,
Мы сегодня целуем тебя.
Все одежды для нас в первый раз сорви,
Покажись — и погибшие встанут в гробах.
Твое солнце на небе и в топке,
В нашей мысли, в летящей звезде,
Ты в былинке унижена робкой
И бессмертная в каждом листе.
Отдайся сегодня, вселенная,
Зацветай, голубая весна,
Твоя первая песня весенняя
В раскаленных машинах слышна.
Ты невеста, душа голубая,
Зацелуем, познаем тебя.
Ты прекрасней чудес, но слепая,
Ты не тайна, а плач и мольба.
Мы — сознание, свет и спасение,
Никто после нас не придет,
На трупах цветы улыбнутся весенние,
Девушка сыну цветок сорвет.
Разум наш, как безумие, страшен,
Регулятор мы ставим на полный ход,
Этот мир только нами украшен,
Выше его — наш гремящий полет.
Мы усталое солнце потушим,
Свет иной во вселенной зажжем,
Людям дадим мы железные души,
Планеты с пути сметем огнем.
Неимоверной мы жаждем работы,
Молот разгневанный небо пробьет,
В неведомый край нам открыты ворота,
Мир победим мы во имя свое.

<1920–1921>

* * *

Познаны нами тайны вселенной,
В душах тревога молчит.
Мы осушили небесные бездны,
Солнце слова говорит.
Полон восторга пламенный город —
Люди, машины, цветы...
Каждый сегодня богом быть может,
Солнце над каждым горит.
Медный гудок заревел над планетой,
Пространства, подъемы нас ждут.
В жизни бессмертной, как в песне неспетой,
Звезды звенят и поют.
Солнце мы завтра расплавим,
Выше его перекинем мосты.
Как песком, мы мирами играем,
Песню мы слышим тихой звезды.

<1920–1921>

К ЗВЕЗДНЫМ ТОВАРИЩАМ

На земле, на птице электрической
Солнце мы задумали догнать и погасить.
Манит нас неведомый океан космический,
Мы из звезд таинственных будем мысли лить.
Мы летим. Нам смерть, как жизнь, — товарищ.
Лучше гибели невесты не найти,
Чище муки ласки не узнаешь.
Тот живет, кто кончил все в пути.
Мир стал громок и запел в машине,
Бесконечность меряет великий машинист.
Где луна одна веками стынет —
Наших сверл могучих ураганный свист.
Мы задумались о мире неизвестном,
В нем томится истина — умершая сестра,
Не свернем мы никогда с дороги крестной,
Наш гудок тревожный загудел с утра.

Больше жизни мы познали гибель,
В нас ненависть, и надежда, и тоска.
Мы слепые, каждый ненавидел,
Только слушал, как работали века.
От ненависти — всего мы захотели,
В наших топках пусть вселенная сгорит.
Нет нам матери. Мы жить одни посмели.
Пусть гудок тревожнее гудит.
Город улетающий в сверкающем железе —
Небо прорывающий таран.
Мы проломим двери в голубом навесе
К пролетариям планетных стран.

<1920–1921>

ВЕЧЕР МИРА

Мы убьем машинами вселенную,
Под железом умерла земля,
В наших топках бьется солнце пленное,
И в бессмертной стали нет добра и зла.
День и ночь в вагранках раскаленных
Пламя переходит в ледяной металл;
Мир стоит, печами озаренный,
Как невесту, человек его обнял.
Льем мы новую, железную вселенную,
Радостнее света и нежней мечты,
В ней надежды наши оживут безмерные,
Глаз я поцелую сестры моей — звезды.
Мы бессмертны, мы неведомое любим,
Мира мало, чтоб насытить нас,
Мы все грани и законы переступим, —
Для вселенной бьет последний час.
Пой, товарищ, в этот вечер мира,
К полночи потухнут звезды и цветы,
Маховик к зениту вскинет крылья,
В неизвестность строим мы железные мосты.

<1920–1921>

* * *

Сгорели пустые пространства,
Вечность исчезла, как миг,
Бессмертные странники странствуют,
Каждый все тайны постиг.
Товарищ, нам тесны планеты,
Вселенная нам каземат.
Песни любви и познания спеты —
Дороги за звезды лежат.
Товарищ, построим машины,
Железо в железные руки возьмем,
В цилиндрах миры мы взорвем
И с места вселенную сдвинем.
В глазах наших светятся горны,
В сердце взрывается кровь,
Как топка, душа раскаленная,
Как песня, гудков наших рев.

<1920–1921>

* * *

Тих под пустынею звездною
Странника избранный путь.
В даль, до конца неизвестную,
Белые крылья влекут.
Ясен и кроток в молчании
Взор одинокой звезды...
Братья мои на страдания
В гору идут на кресты.

<1920–1921>

* * *

Далью серебряной в утро росистое
Ходишь потерянный ты без пути.
Раннее небо раскинулось чистое,
Сердцу живому дорог не найти.
Может быть, встретишь в сгорающей дали
Брата родного и душу отдашь...
Долго мы шли и друг друга искали,
Земля голубая — убогий шалаш.

<1920–1921>

* * *

Я поэт разрушающих Вечность времен,
Вождь железных бессмертных племен,
Знаменосец горящих знамен...
Во мне много песку золотого,
Как безумие, разум глубок,
Миллиарды послали вперед вестового —
Ночи навстречу — в звездный поток.
Во мне души живут, шевелятся
Человеческих мертвых пустынь,
Мои сны всей вселенной приснятся,
Я всех девушек сын.
В моем сердце поет человечество,
Аэропланы на небе кричат,
Это не я, а оно во мне мечется —
Чтобы воскреснуть, каждый распят...

<ноябрь 1921>

* * *

Среди нив, певучих в спелости,
Все шумит, шумит сосна,
На кургане давней древности
Лист бормочет ото сна.

Здесь когда-то, прежде времени,
Море жило в песне волн
И таило в тинной зелени
Утонувший чей-то челн.

<вторая половина 1921>

* * *

В эти дни земля горячее солнца,
На коленях я, и каждый мне Христос.
Загорелся мир, как сохлая солома,
И никто не знает, где на небо мост.
В сердце человека и любовь, и жалость,
О бессмертии поет великая река,
На песок упала тоненькая веточка,
Матери моей остывшая рука.
В поле закопали люди свое сердце —
Может, рожь поспеет тут и без дождя,
Может, будет лето и воскреснут дети,
И протянет руки нам родная мать.

<вторая половина 1921>

* * *

Небо вверху голубое,
А ночью мне снилась звезда:
Я будто царь и разбойник,
И ты далека и чиста.
Над миром бушуют пожары,
Над сердцем сверкают мечи,
В руке моей скрыты удары,
И солнце от боли кричит...

<вторая половина 1921>

НОЧЬ

Лугом стелется дым от сухого костра
В курене рыбака на песчаной мели.
Даль густеет и стынет в молчащих полях,
В блеске мертвом река холодна и востра.
Брызнул искрами свет из небесной щели
И оперся о землю со смертью в очах.
Огонек рыбака в заводине глухой
В угольках своих греет картошки,
И сидит человек над пустынной рекой,
Позабывшись под пение мошки...
Пар с реки по лугам поволокся травой,
Покатился в овраги туманом-волной.
Не щелкает кнутом у деревни пастух,
Он заснул и храпит в прокопченой избе...
В трепетании звезд что-то шепчется вслух
И играет лучами в огнистой резьбе.
Расстилается в сне по земле пряный дух,
Неожиданный вскрик — в отдалении глух.
Лес листвою обвис, сухостоем обмяк,
Сил сосет из взопревшей земли.
Он раскинул далеко зеленый армяк,
Наготу материнства собою прикрыв,
И корявые корни глубоко ушли,
Совершая в страстях диво мира из див...
Перепелки к утру изнывают во ржах,
Рыбы мечут икру на заре в камышах.

<1919, 1921>

СКАЗКА

Волга, воды голубые,
Дно — серебряный песок,
Лодок весельные крылья,
Над костром в степи дымок.
С ранней думой сокровенной
Мальчик ждал тут кораблей...

Ветер воду чешет пеной,
Весла машут веселей.
Снятся мальчику на лавке
Сны, один того страшней:
Богатырь в железной шапке
Шаг кладет в сто саженей
И несет в руках царевну
Девок наших румяней,
Дочерь бога, королевну,
Глаз светлей степных огней.
Волга к ночи тихо ляжет,
Загудит зато земля,
Все дороги звезда скажет,
И зашепчутся поля.
Мальчик с думой обручится,
Все узнает и поймет.
Богатырь с царевной снится,
Волга вечером поет.
Годы, птицами со степи,
Навестят и улетят.
Легче жизни нету цепи,
Люди любят и молчат.
Мальчик вырос в атамана,
Сжег деревню, мать-отца
И ушел на лодках рано
У земли искать конца.
Шапку с головою скинул,
Сам оперся на весло,
А царевну в море кинул —
Без нее в душе светло.

<вторая половина 1921>

* * *

Человек — цветущее растение,
Человек — певучая звезда,
И весь мир есть пение весеннее,
Говорливая вечерняя вода.
По степи уходит тихий странник,
Ветер шумный в облаках шуршит,
Человек родился здесь нечаянно
От звезды тоскующей, от поющей ржи.
Богомолец сердца, странник дальний,
Все миры — лишь ног твоих следы,
Тишина земли есть песня тайная,
Тишина небес есть свет звезды.

<1922>

* * *

В мире тихий ветхий вечер,
Бесконечность замерла.
Пела песни в поле речка,
И звездой земля цвела.
Странник умер очарованный,
На дорогах тишина.
Сердце жалостью разорвано,
И звезда взошла одна.

<1922>

ЛУННЫЙ ГУЛ

Железный трепет электрического века,
Песнь электронов, лунный гул,
Звенящий стон разорванных молекул —
Вселенский бой сопротивленью и огню.
Свет раскаленный моего сознания
Глаза зажег у слепнущей звезды,

Услышал в мире я глубокое дыхание,
Подземное движение воды.
Веселый белый бред садов весенних,
Далекий звездный звон и лунный гул, —
Певец я, странник и жених вселенной,
Для поцелуя ей я шею перегнул.

<1922>

СТИХИ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУТИ

Заряжено пузо едою —
Неукоснительно и не спеша,
Пропавший пупок блестит чистотою:
Вся кожа в работу пошла.
Еда, брат, агромадное дело,
Щами велик человек,
Ешь, чтоб душа не сопрела,
Лопай, давись, животом кукарекай!
Будешь ты в славе и чести,
Если скулу изотрешь,
Сгинешь, как гнида, без вести,
Если планету сию не сожрешь.
Ах, если б нам бы да кабы
Хлебы испечь из звездных зерен —
Хватило б, и то абы-абы, —
Да пузо само бы гнало самогон.
Лечь бы, к примеру, поспаться,
Не сознавать, а сопеть,
Опомнясь, тихо нажраться
И атмосферой воздушной лететь.

<1923>

РАССКАЗ О НЕПАЧОВКЕ

Вот она — родная Непачовка,
Лупит вшей на улице Игнат:
Не селение разумное, а так — одна мурцовка,
Каждый тебе враг и в то же время сват.
Вон ползет мощой Драбан Иваныч,
Тощ (как будто он опоросился),
Враг законной пролетарской рвани,
Подошел ко храму, спрохвала перекрестился.
Вон грядет неспешно, неподвижно
Тварь сухая, как тарань, диакон,
Ставит в супесок стопы крестовоздвижно,
Движет туго телесами с гаком.
Вышла за калитку Пелагей Иванна
(Сзади поглядеть: кошелка с окомелком),
Позевала (господи, помилуй окаянную!),
Пасть сомкнула, поглядела в улицу пристально
и с толком.
Велика, Россия, ты, сурьезна,
Где твоя змеею свернутая суть?
Жрать в тебе и множиться невозбранно можно,
И везде есте, егда сосцы твои сосуть.

<1923>

НЕБЕСНАЯ АВИАЦИЯ

Земля сама — воздушный шар
На солнечной веревке,
Внутри клокочет газ и жар
В гранитной упаковке.
Летит — по солнцу чертит тень —
Не слышно и не дышит,
И груз пространств и деревень
Несет и не колышет.

И воет, воет и гнетет
Машина тяготения,
Но прочен трос стальной — не оборвет,
И скорость не скорее времени.
<1923>

* * *

Изобретатели!
Громилы мира!
Работники чудес и путники пустынь.
Какая мать свирепой силой обкормила,
Тебя, осиротелый, одинокий сын!
Ты видишь: не протоптана земля
И океаны в тьме гремят,
Надеждой тайной звезды шелестят
И дух сопротивленью мира рад.
Крепчает тело и кровь густа,
Скрежещет мыслью жаркий мозг,
Пространств пустынных высота
Таит любовь цветов и скорбь ночных дорог.
Какое сердце жизнь вместит,
Какая мысль с дежурства звезды снимет?
Неимоверный случай — жить —
Изобретатель безымянный и незримый.
Урод живет и женщину имеет.
Но скован смертною судьбою,
Кто миром овладеть посмеет,
Изобретатель — мировой разбойник.
<1924>

НЕОКОНЧЕННОЕ

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ

Мы жизнь поставили ребром —
Катися счастья колесо,
Катись не яблочком, ежом —
Закрой штыком
Счастливое лицо.
Оставь на время книгу и жену —
Скупы века на счастье и покой.
Нам задано судьбу
Вкрутую повернуть
Простою человеческой рукой.
Но наши руки просят не войны,
А книгу, микроскоп, мотор.
И легче нам завоевание Луны,
Чем дикий человечий спор.
Но знаем мы:
Не будет микроскоп
Светить природою нагой,
Не ляжет в поле полный сноп,
Пока мы прочною ногой —
И не одной, а парой ног —
Мир не займем на шесть шестых.
Но сами мы не тронем крох
С дней мира, кратких и простых.
И странно в наше время жить —
Уметь мгновеньем дорожить,
Уметь — винтовкой книгу заложить,
Чтоб встать, пойти
И — просто умереть.
И жизнь несказанно вкусна
С такою солью смерти.
И страстью и душой она напоена —
[И в сердце чувства не измерить!]
Но влагой станет кипяток,
Прозрачным воздухом остынет буря.

Пока же бури не окончен срок,
Греми красноармейский котелок:
Сорвет война любой листок
Календаря — и им закурит.
И вот —
Через винтовку, газ и самолет
Вернемся мы домой,
К тому, что нас влекло:
Где пахота, машины, мысли полный ход —
Труда и знанья чистое стекло.

<*1926*>

ВОЖДЮ ОППОЗИЦИИ

Ты в лучших чувствах оскорблен:
Тебе одну шестую дали (считая тундры и пески),
Одну шестую мира пространства и тоски,
Где только рожь да лен!..
А где ж металл и механизмы,
Где прочность революции — бетон?
Какие тут в траве социализмы?!
По зипуну не скроишь мировой фасон!..
Ты удручен — и речью пышной
Исходит сердце страстное твое...
Не надобно кричать — и так все слышно,
Тебя любили мы,
Теперь — огнем единства бьем!..
Стерпи, товарищ, не горюй!
Ведь и другое у тебя бывало:
Ты помнишь сказку про березку и кору
И про козу про злую капитала?
Ты говорил: гони березку в рост,
Иначе съест ее коза Европы!..
Березовой стране мы клали в рот:
Питайся, милая,
Жируй младенческой утробой!

И деревцо росло по малости и силе,
А ты схватил и потащил из почвы:
Расти скорей!..
И тут-то мы завыли:
Брось дерево, бузила!
На дереве живые листья были,
Ты хочешь, чтобы стали клочья?..
В науке есть... какой-то камень.
А в революции — железо есть!
Железо, вот, жуем почти губами —
Приходится десною есть,
Не обеспечены пока зубами!..
Ты думаешь, мужик башку поскреб
И только вошь в ногте осталась?
Смотри! Любая голова (будь в ней хоть медный лоб)
Как бы под тем ногтем
По швам не распаялась!

<1926>

ПРО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Электрический огонь
Светит над кроваткой,
Спать не страшно с огнем —
Засыпать сладко.
Не шумит и не коптит,
А молчит и светит —
Без него бы страшно жить
Было нам на свете.
Даже кошка
Машка наша
Вся трясется во тьме
И боится мышей.
Но — зажгите огонек:
У мамаши простоквашу
Всю покушает она

И залезет за мышонком
На высокий потолок.
Да и я боюсь чего-то,
Если свет потушат.
Шепчет кто-то:
— Вот он, вот он!
И бывает жутко.
Если мама ляжет близко —
Я держусь за шею.
Скажет мама:
— Спи, сынишка!
И тепло мне с нею.
Я заметил из окошка,
Что на небе иногда
Загорается немножко
Электричеством звезда.
Вижу я, что лампа наша
Вся на ниточке висит,
Оборвать ее не страшно,
Только папа говорит,
Что без нитки —
Лампа не горит!
Папа мой — не пионер,
А значок на шапке!
Он советский инженер —
Молот на лопатке.
Он машины из железа
Строит целый год.
Но какие — неизвестно.
И домой не принесет.
Я сказал ему однажды:
— Что ты, папа, жадный?
Знак надел — и ходит важный!..
Подари-ка нам машину —
Будем очень рады!
Правда!
Папа мой меня потрогал,

Будто я железный:
— Завтра едем-ка в дорогу,
Станцию посмотришь!
Невелик ты, но полезно:
Вырастешь — построишь!
И поехали мы завтра,
С мамой попрощались.
Взяли шапки, взяли завтрак,
С мамой целовались.
Рыжий шофер очень важен —
Автобусик он ведет.
Ехать быстро очень страшно,
Дядя денежки берет.
По Лубянке к Театралке
Мчится громко автобус.
Нам людей давить не жалко —
По уставу незнакома
Пионерам грусть!
Дом стоит ужасный
И гудит, как жук.
— Вот электростанция, дорогой мой друг! —
Взял меня за руку папа-инженер,
И пошел я в станцию
Смелый пионер.
В комнате высокой Ленина портрет,
А под ним железо страшное мычит.
«Без электростанций — коммунизма нет» —
Ленин, умирая, написал слова,
И теперь железо мертвое кричит:
Значит, сила Ленина — жива!
«Кочегарка —
Посторонним воспрещается входить!»
А вот мы вошли!
Там земля трясется, люди дым едят,
И жара такая — невозможно жить!
Но я очень смелый и я очень рад,
И еще охота

Уголь мне кидать.
Только — не велят!
Вон часы-будильники
Стрелками дрожат —
Так ужасно крепко
Пар в котле зажат.
Кочегары черные
Кормят пламя в рот:
Для машины — пища,
Кочегарам — пот.
Это удивительно —
Трудно как светить!
Нам неизвинительно
В ярком свете жить!
— Ну, пойдем, парнишка,
В наш машинный зал.
Люк не трогай близко —
Свалишься в подвал!
Ну уж там другое —
Чистота и звон.
А главное такое —
Как делают огонь.
Лежат кадушки черные,
Как музыка, поют.
Большие, а проворные,
И много пара жрут!
В одну машину давит пар —
И вертится она!
Упорный черный кочегар
Не зря потеет у огня.
И, тяжело утомлена
(Видать, как дышит и сопит она!),
Машина та крутить спешила
Свою певучую соседку,
Что город электричеством светила.
(Я ничего бы не узнал,
Но папа пионерски метко

Мне все дочиста рассказал.)
— Видал, вожатый и оратор,
Как трудно свет дается нам?
Вон то — турбина, то — динамо,
Все вместе:
Турбогенератор!
Ты слова не запоминай!
Запомни то, как медный вал,
Вращаясь меж магнитов,
Живое электричество рождал!
Теперь — по лестнице шагай!
Взобрались наверх —
Круто, жутко,
Трепещет даже сталь!
Какая умная наука!
Зато машинам трудно
И кочегаров жаль!
Здесь — на мосту высоком —
Пред нами мрамор белый,
Проходим с папой боком,
Чтоб током не задело.
Часов и ручек много
На мраморе висят.
Но просят их не трогать,
Чтоб зря не умирать.
— Вот щит-распределитель, —
Папа говорит, —
Здесь каждый измеритель
Выставлен на вид!
Гляди на циферблаты,
И видно — сколько тока:
Считают аппараты
Без всякого порока.
Текут отсюда в город
Тепло, и свет, и сила —
Вон, видишь, вышел провод:
В нем
Электричество поплыло.

Лампочку над книгой
И городской трамвай
Питает провод сытно —
Садись и поезжай
Домой к себе на Пресню —
И быстро, и прелестно!
Любой, большой и малый,
Советский наш завод
Вещи из металла
Все тем же током ткет.
И воду током гонит
В дома водопровод.

<1926–1927>

СТИХИ НА СЛУЧАЙ

<МАРИИ>

*

Марии

Предчувствия меня томят,
Душа неслышно говорит.
На небе звезды молчат, молчат,
И в бесконечность мне путь открыт.

*

М.

Вечер и Ты, моя мука и свет,
Вечер — и я, человек и поэт.
Знаю, что в мире радости нет,
Есть безнадежность — кровавый крест.

*

М.

В мире есть чудо — свобода,
Мир — это сердце, мой друг.
В мире есть нежность — природа,
Есть человек — разрушающий дух.

<1921>

* * *

Баю-баю, Машенька,
Тихое сердечко,
Проживешь ты страшненько
И сгоришь, как свечка...

<1921>

* * *

Солнце — розовый ребенок
Пьет вселенной молоко,
Ржет и скачет жеребенок,
Поле утром далеко.
<1921>

* * *

Жизнь — далекая дорога,
Неустанный путник я.
И у неба голубого
Я любимое дитя.
<1921>

* * *

Тотику-сыну

Наступает Новый годик,
Это значит — вырос Тотик,
Это значит, что зима
Стала старая сама,
Умирать домой пошла.
Пусть уходит — пожила!
<1925–1926>

* * *

Буквы черною печалью
Пишут белые листы.
Жить, идти сердечной далью,
Умереть нечаянно в пути.
Я любил одну невесту,
Верил в мир и в тихую звезду.
Мне дороги были неизвестны,
Шел и думал, что дойду.

<1927>

КОММЕНТАРИИ

Архивы

ГАВО — Государственный архив Воронежской области (Воронеж)

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

РГАЭ — Российский государственный архив экономики (Москва)

ЦДНИ ВО — Центр документации новейшей истории Воронежской области (Воронеж).

Печатные источники

Сочинения. Т. 1. 1 — Андрей Платонов. Сочинения. Научное издание. Том первый. Книга первая. Рассказы. Стихотворения. М., 2004.

Комментарии. Т. 1. 1 — Комментарии // Андрей Платонов. Сочинения. Научное издание. Том первый. Книга первая. М., 2004.

Комментарии. Т. 1. 2 — Комментарии // Андрей Платонов. Сочинения. Научное издание. Том первый. Книга вторая. М., 2004.

Воспоминания — Андрей Платонов: Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994.

ГГ — Платонов А. Голубая глубина. Краснодар, 1922.

ЕШ — Платонов А. Епифанские шлюзы. М., 1927.

Живя главной жизнью — ...Живя главной жизнью (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках) // Волга. 1975. № 9.

Письма Горькому — «Мне это нужно не для славы...» (Письма М. Горькому) // Вопросы литературы. 1988. № 9. С. 176—180.

Записные книжки — Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. М., 2000.

Ласунский — Ласунский О. Житель родного города. Воронеж, 1999.

Субботин — А. Платонов и Государственное издательство РСФСР в 1921—1922 годах. Публикация С. Субботина // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. М., 1999.

Бердяев — Бердяев Н. Смысл творчества // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства в двух томах. Т. 1. М., 1994.

Вор. ком. — газета «Воронежская коммуна».

Кр. дер. — «Красная деревня»

РЧ — Платонов А. Размышления читателя. М., 1980.

Наркомзем — Материалы Наркомата земледелия в РГАЭ в фонде 478 (Москва). Впервые частично публиковались: «Губмелиоратор тов. Платонов». По материалам Наркомата земледелия. 1921—1926 гг. / Публикация М. Немцова, Е. Антоновой // «Страна философов». Вып. 3. М., 1999. С. 477—490. Для настоящего издания документы сверены с архивными подлинниками и впервые цитируются без сокращений. Некоторые документы публикуются впервые.

Документы ОГПУ — Андрей Платонов в документах ОГПУ—НКВД—НКГБ 1930—1945 / Публикация В. Гончарова и В. Нехотина // «Страна философов», Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М., 2000.

Стенограмма — Стенограмма творческого вечера Андрея Платонова / Публикация Е. Литвин // Памир. 1989. № 6.

Страна философов, 1994, 1995, 1999, 2000, 2003, 2005 — «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 1—6. М., 1994—2005.

Строители страны — Повесть А. Платонова «Строители страны». К реконструкции произведения / Публикация, вступительная статья и комментарий В. Ю. Вьюгина // Из творческого наследия русских писателей XX века. СПб., 1995.

Корниенко — Корниенко Н. «Меня убьет только прямое попадание по башке»: Материалы к творческой биографии Андрея Платонова. 1927—1932 // Новый мир. 1993. № 4. С. 89—121.

Корниенко 1993 — Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова (1926—1946) // Здесь и теперь. 1993. № 1.

Лангерак — Лангерак Томас. Андрей Платонов: Материалы для биографии. 1899—1929. Амстердам, 1995.

Малыгина 1985 — Малыгина Н. М. Эстетика Андрея Платонова. Иркутск, 1985.

Малыгина 2005 — Малыгина Н. М. Андрей Платонов: Поэтика «возвращения». М., 2005.

Чистов — Чистов К. В. Беловодье // Чистов К. В. Русская народная утопия. СПб., 2003.

Свительский — Свительский В. А. Андрей Платонов вчера и сегодня: Статьи о писателе. Воронеж, 1998.

Шенталинский — Шенталинский В. А. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., 1995.

Нина Малыгина
«Быть человеком — редкость и праздник»

Мне подменили жизнь…
А. Ахматова

Ровесник XX века

Андрей Платонов вошел в историю русской литературы XX века как гениальный писатель, самобытный и оригинальный мастер прозы.

Платонов прожил недолгую жизнь: вся она уместилась в первую половину XX столетия. Но чем больше накапливается фактов о его судьбе и творческой биографии, тем больше появляется новых вопросов, тем острее ощутимы отсутствие или недостаток сведений о важных моментах и обстоятельствах его жизни. Жизнеописание Платонова далеко от завершения. Писатель по-прежнему остается загадкой.

В конце XX века неожиданно обнаружилось, что многие факты биографии Платонова мифологизированы. Вместо реальной биографии — набор легенд. Причем автором некоторых из них был сам Платонов.

Полвека после смерти писателя день его рождения отмечался 1 сентября (20 августа по старому стилю).

Однако оказалось, что в свидетельстве о рождении Андрея Климентова (настоящая фамилия писателя, псевдоним Платонов образован от отчества), хранящемся в фонде Платонова в РГАЛИ, указана другая дата его появления на свет: 16 августа (по старому стилю) и значит — 28 августа по новому стилю.

Свидетельство о рождении было выдано кафедральным Троицким собором города Воронежа. Крещен он был по старому стилю 22 августа. Свидетельство о рождении родители получили только 18 мая 1907 года, когда оно понадобилось для поступления ребенка в школу. Впоследствии это свидетельство Андрей Платонов предъявлял при устройстве на учебу и на работу.

В документах Андрея Климентова конца 1914 — начала 1915 года указана именно эта дата рождения — 16 августа 1899 года. В «Извещении о принятии на службу» пятнадцатилетний Климентов назы-

вал днем своего рождения 16 августа 1899 года (*Ласунский*, с. 23). Получалось, что Платонов немного сместил свой день рождения.

Вдова писателя, составляя его биографию вскоре после его смерти, указала дату рождения — 29 августа (РГАЛИ, ф. 1710, оп. 1, ед. хр. 126, л. 21. Автограф. Опубл. Е. Ю. Литвин).

Если учесть этот факт, окажется, что речь шла о незначительной неточности, вероятнее всего допущенной из-за того, что с февраля 1918 года был отменен старый стиль, который отставал от европейского на 12 дней в XIX веке и на 13 — в XX.

Между тем, достоверно известно другое — Платонову действительно хотелось изменить время своего появления на свет, но не день или год, а век: поэтому он не раз указывал в анкетах 1900 год рождения. Причину этой поправки своей биографии Платонов раскрыл сам: «...я родился ровесником своему столетию, растущему в такт возрасту человека...» Он стремился быть ровесником XX века, чтобы его жизнь шла в такт с движением времени (*«Страна философов» 2005*, с. 620).

За такой вроде бы незначительной деталью, как отношение к собственной дате рождения, скрывалась для Платонова серьезная и мучительная проблема. Писатель обращается к ней во многих своих вещах, но особенно откровенно она раскрылась в хронике «Впрок»: «Путник сам сознавал, что он сделан из телячьего материала мелкого настороженного мужика, вышел из капитализма, и не имел благодаря этому правильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения». Платонова тяготило сознание того, что он, как и большинство его героев, «вышел из капитализма», а значит остался «душевным бедняком» — человеком, которому недоступна ортодоксальная партийная идеология. Это обстоятельство многое объясняет в его творчестве.

«Товарищи из рапповского руководства оценили эту мою работу как идеологически крайне вредную», — писал Платонов в письме Сталину, тем самым как будто признавая их идеологическую неполноценность. Перечитав повесть «Впрок», писатель «заметил в ней то, что было в период работы незаметно для меня самого и явно для всякого пролетарского человека» — ошибочную идеологию*.

---

* Грех перед нечистыми: Неизвестное письмо Андрея Платонова Сталину / Публикация Т. Дубинской и Т. Джалилова // Новая газета. 1999. 1—7 марта.

1 февраля 1932 года во Всероссийском союзе советских писателей был устроен, как сказал ведущий мероприятие П. Павленко, «небольшой закрытый товарищеский вечер» Андрея Платонова, где он повторил ту же, что для Сталина, оценку своих взглядов: «Моя художественная идеология с 1927 г. — это идеология беспартийного отсталого рабочего, наиболее подверженного тем формам буржуазной идеологии, которыми буржуазия воздействовала на рабочий класс, — это анархизм, нигилизм. Эта идеология и господствует во всех сочинениях, над которыми я работал, которые не изданы. Философия отсталого рабочего, беспартийного, совершенно разложенного теми особыми формами буржуазной идеологии и т. д.» (*Стенограмма*, с. 100).

Официальная идеология советской эпохи формировала у людей, переживших революцию, сознание собственной ущербности, убеждение, что они не достойны строящегося социалистического мира.

Советский миф о том, что светлому будущему соответствуют только дети — новое поколение, родившееся и воспитанное в советском обществе, — опровергался массовыми арестами юных граждан СССР в годы большого террора. Оказалось, что власть сомневается в их социалистической идеологии и подозревает в контрреволюционных замыслах.

Сказка о детстве

Андрей Климентов вырос в Ямской слободе, которая в то время была пригородом Воронежа. В автобиографии 1920 года он писал: «На одной улице я и прожил все свое детство. Лет 7-ми меня отдали учиться в церковно-приходскую школу. Но в школу я хоть и ходил, а учился больше дома тому, чему хотел, чему учили книги, где не могла укрыться правда. Кончив эту школу, я поступил в городское училище...»

В семье Климентовых он был старшим сыном. После него родилось еще семеро детей, выжило — пятеро, а потому за фразой: «в школу я хоть и ходил, а учился больше дома...» — скрывается то обстоятельство, что Андрею приходилось постоянно помогать матери нянчить младших братьев и сестер. Картина трудного детства в середине 30-х годов поразит читателей и критиков его автобиографического рассказа «Семен».

Школьная учеба Андрея Климентова продолжалась восемь лет. Сразу после окончания городского училища Андрей отправился на заработки.

Рабочий по происхождению

Рабочая биография Платонова началась с лета 1914 года. Отец взял его в помощники, ремонтировать паровой локомобиль в поместье Бек-Мармарчевых под Воронежем. На этом локомобиле Андрей остался работать помощником машиниста. В шестнадцать лет он становится рабочим-литейщиком на заводе.

Во время Февральской и Октябрьской революций Андрей Климентов работал в Воронеже в железнодорожных мастерских (*Воспоминания*, с. 445).

«Летом 1919 года был мобилизован в РККА (рабоче-крестьянскую красную армию. — *Н. М.*); работал до осени на паровозе для военных перевозок в качестве помощника машиниста», — уточнял Платонов в «Автобиографии», написанной 5 сентября 1942 года (*там же*).

В характеристике Платонова в 1920 году Г. З. Литвин-Молотов писал: «он не только пролетарий по принадлежности к определенному классу — он пролетарий и по духу, интеллигентный пролетарий».

Во вступительном слове на первом творческом вечере рабочего-поэта В. Келлер сказал: «Платонов — настоящий рабочий душой и телом» (Вор. ком. 1920. 9 июля). В 1922 году Владимир Келлер вновь подтвердил его классовую принадлежность в первой статье о поэте Платонове: «Рабочий сам и из рабочей семьи»*.

«А. Платонов — сын рабочего и сам бывший рабочий», — указано в справке о писателе в заведенном на него в 1933 году деле в ОГПУ (*Шенталинский*, с. 283).

«...сын рабочего»

Андрей Платонович Климентов вырос в многодетной семье слесаря воронежских паровозоремонтных мастерских Платона

* *Келлер В.* Андрей Платонов // Зори. Кн. 1. С 34.

Фирсовича Климентова. Его мать Мария Васильевна, урожденная Лобочихина, была дочерью золотых дел мастера, выполнявшего заказы Задонского монастыря. Отец незадолго до смерти писал сыну Петру (младшему брату Андрея): «Я родился в городе Задонске, мещанин, в 1870 году. <...> Мать твоя родилась в 1875 году <...> в городе Задонске. Крещение наше было — ее и мое — тоже в Задонске, в Успенском соборе» (*Свительский*, с. 138).

В 1920 году Платонов написал очерк «Герои труда» к 50-летию отца, где напомнил о том, как во время Гражданской войны зимой 1919—1920 годов «Климентов ездил <...> со снегоочистителем».

Платонов писал об отце: «тянется его жизнь, как нераспутанная нить, и живет он, как чужой. Никому до него нет дела, только ему есть до всех».

Из этих строк родится в рассказе «Старый механик» самый известный платоновский афоризм: «А без меня народ неполный».

В 1931 году очерк «О товарище Климентове» напечатал в журнале «Подъем» воронежский журналист и прозаик Борис Песков.

Тогда же П. Ф. Климентов как передовой рабочий был представлен к ордену Ленина, его успели публично поздравить, но награды он не дождался из-за громкого политического скандала, вызванного публикацией повести Андрея Платонова «Впрок».

Осенью 1914 года А. Климентов устроился конторщиком в губернское отделение страхового общества «Россия». Вскоре Андрей меняет место работы. В Воронежском архиве сохранился уникальный документ — первый автограф будущего писателя, прошение Андрея Климентова о приеме его на должность конторщика в «Общество Юго-Восточных железных дорог»:

«Господину начальнику службы пути и зданий ЮВЖД
мещанина Андрея Платоновича Климентова
прошение.

Честь имею покорнейше просить не отказать предоставить мне должность конторщика во вверенной Вам канцелярии или бухгалтерии службы пути. Я окончил полный курс городского училища, знаком с конторской службой, могу хорошо работать на пишущей машинке и считать на счетах. Возраст мой 16 лет. Покорнейше прошу не отказать в моей просьбе, т[ак] как я и мои родители нуждаемся в службе. Безусловно оправдаю порученное мне дело и заслужу доверие к себе. Хотя возраст мой и мал, но

условия жизни заставили меня серьезно относиться к делу и потому покорнейше прошу препятствие к принятию со стороны возраста не чинить, а испытать меня на деле.

1914 г. Ноября 12 дня. *Андрей Климентов.*

Адрес: сл[обода] Ямская пригородная города Воронежа, д. 192» (*Ласунский*, с. 58).

Здесь Андрей Климентов тоже указал свою сословную принадлежность — мещанин. Ради получения работы он прибавил себе почти год — 16 лет ему исполнится в конце августа 1915 года.

С 1 января 1915 года Андрея приняли на новое место, тоже конторщиком, в управление службы пути Юго-Восточных железных дорог. Отсюда, добросовестно прослужив полтора года, он по собственному желанию уйдет в рабочие.

Рабочее происхождение теоретики пролетарской культуры считали главным условием пролетарского творчества. И Платонов твердо усвоил основной принцип строительства пролетарской культуры: «отображение творческого производственного процесса в искусстве... художник-пролетарий передает... так, как он переживает его, будучи непосредственным творцом производственного процесса»*.

По этой причине он всегда считал, что настоящее литературное произведение может родиться только из «кровного» опыта участия в реальном строительстве новой жизни, и избегал среду «профессиональных литераторов», в глубине души считая сосредоточенность писателя на литературном труде буржуазным предрассудком.

Пролетарский писатель

Андрей Платонов вступил в литературу как пролетарский поэт. Литературная биография Платонова началась с 1918 года. В анкете 1926 года Платонов указал, что «служил с ноября 1918 по август 1919» в журнале «Железный путь», который был органом Главного революционного комитета ЮВЖД (ГАРФ, ф. Р-5466, оп. 12, д. 202, л. 221—222; документ сверен с архивным подлинником).

С октября 1918 года, со второго номера журнала «Железный путь», где был напечатан рассказ «Очередной» (1918. № 2. С. 16—

---

* *Плетнев В.* На идеологическом фронте // Правда. 1922. № 217. 27 сент. С. 2—3.

17), здесь регулярно публикуются произведения Платонова. 15 декабря 1918 года на страницах «Железного пути» появилось стихотворение «Поезд» (1918. № 4. С. 8), открывающее железнодорожный сюжет творчества Платонова.

В ноябре 1918 года «Железный путь», надеясь привлечь новых подписчиков, напечатал имя Платонова в списке своих авторов, в одном ряду с именами наркома путей сообщения В. Невского и признанных пролетарских писателей: М. Герасимова, В. Казина, А. Серафимовича.

В апреле 1919 года со страниц журнала Платонов обратился «К начинающим пролетарским поэтам и писателям» с предложением создать при редакции студию коллективного творчества.

В октябре 1920 года Платонов участвовал в работе Первого Всероссийского съезда пролетарских писателей в Москве. Накануне съезда, 17 октября, «Воронежская коммуна» опубликовала статью Платонова «Культура пролетариата».

На съезде Платонов слушал доклады В. Обрадовича, В. Кириллова, П. Лебедева-Полянского и автора «Всеобщей организационной науки» А. Богданова, теоретика и организатора Пролеткульта.

Результатом его поездки в столицу стала публикация в московском журнале «Кузница» (1921. № 7. С. 18—22) рассказа «Маркун».

Его герой изобрел двигатель, через который собрался пропустить вселенную, чтобы создать из полученной бесформенной материи новый гармонический мир.

В этом замысле передано уникальное свойство таланта Платонова: он пропустил через себя творчество пролетарских писателей Алексея Гастева, Михаила Герасимова, Федора Гладкова и многих других. Платонов близко к сердцу принял созвучные ему идеи «Всеобщей организационной науки» Александра Богданова, экономиста и философа, писавшего для рабочих ясным и доступным языком.

Но магия таланта преобразила умозрительные картины будущего из утопий Александра Богданова и жесткую дидактику стихотворений в прозе Алексея Гастева. В художественном мире Платонова образы и мотивы пролетарского творчества обрели кровь и плоть, наполнились непостижимым многослойным содержанием.

Уникальным и неповторимым художником Платонов стал потому, что смог не только пропустить через себя и трансформировать эстетические принципы теории пролетарской литературы,

но в своем стремительном творческом развитии оставил их далеко позади.

Теперь, почти век спустя, ясно, что только один настоящий художник явился оправданием и результатом неудавшегося проекта пролетарской культуры. Андрей Платонов — единственный из пролетарских писателей, кто стал гениальным мастером русской литературы XX века.

С самого начала творческого пути Платонова современники заметили в нем нечто особенное, выделявшее его из товарищества пролетарских поэтов: «Стихотворец, литератор, философ, изобретатель-техник — в эти рубрики его не втянешь. Слова и определения останутся определениями и словами, а он — мимо них — пойдет себе странником бродить по земле… <…> О заводе, о революции Гастев, Александровский и другие писали, конечно, не хуже, часто и лучше, чем он. <…> главное достоинство Платонова — его близость к земле, к зеленому миру и глубокая органичность его стихов», — писал В. Келлер — друг Платонова и свидетель его вступления в литературу в 1920—1921 годах.

Уже тогда окружающие почувствовали масштаб таланта Платонова. В конце 20-х годов об этом времени напишет Андрей Новиков в незаконченной повести «Кустари слова», где в главе «О талантах и гениях губернского значения» появляется узнаваемый персонаж Епифаныч (по названию повести «Епифанские шлюзы»), который в редакции газеты (имеется в виду «Воронежская коммуна») считался «признанным гением»[*].

«Полусамоучка, инженер по призванию»

Платонов иногда в официальных документах сообщал, что получил высшее техническое образование.

Осведомитель (явно со слов самого Платонова) сообщал о нем в ОГПУ: «получил незаконченное высшее техническое образование» (Шенталинский, с. 283).

В октябре 1918 года поступил на химическое отделение физико-математического факультета, затем перевелся на историко-филоло-

---

* *Новиков А.* Из неизданной повести «Кустари слова» / Публ. М. Д. Эльзона, примеч. О. Г. Ласунского// Подъем. 1989. №10.

гический факультет Воронежского университета, образованного на базе университета, эвакуированного из эстонского города Юрьева.

С лета 1919 года он становится курсантом электротехнического отделения Воронежского железнодорожного политехникума: «С учетом бесконечных перерывов в занятиях (особенно осенью 1919 года, когда белые рвались к Воронежу и на короткое время его захватили) можно считать, что будущий создатель романа “Чевенгур” учился в политехникуме по конец 1921 года» (*Ласунский*, с. 42).

Платонов получил специальность электромонтера в Воронежском политехникуме: «По профессии я электромонтер», — сообщал Платонов о себе в московский Госиздат 7 февраля 1921 года (ГАРФ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 199, л. 274, автограф. Опубл.: *Субботин*, с. 440).

В повести «Хлеб и чтение» Платонов превратит политехникум в Технологический институт, где автобиографический герой продолжил учебу после Гражданской войны.

В характеристиках героев, близких автору, у Платонова появляется автобиографический штрих: «полусамоучка, инженер по призванию» (сказано о Петере Крейцкопфе из рассказа «Лунные изыскания»).

Платонов много занимался самообразованием, что давало ему право на самооценку, которая прочитывается в очерке «Первый Иван. Заметки о техническом творчестве трудящихся людей» (1930): «Этот нестарый мастеровой был истинный интеллигент: он знал и чувствовал теорию, как инженер, он пережил практику, как рядовой рабочий».

Желание немного подправить судьбу и приписать себе недостающее образование, вероятно, возникло после того, как выяснилось, что именно профильного образования ему не хватило для успешной карьеры в Москве, куда он переехал из Воронежа летом 1926 года.

Воронежский период жизни и творчества Платонова

На десятилетия утвердилась легенда, что воронежский период жизни и творчества Платонова был совершенно безоблачным. Печаталось все, что выходило из-под пера поэта, журналиста и прозаика.

Однако выяснилось, что не все было так гладко. С первых его шагов в литературе были замечены расхождения Платонова с официальной идеологией. Все более углублявшееся несогласие Платонова с переменчивой «генеральной линией» партии станет главной причиной обострения конфликта писателя с властью.

Первые сомнения Платонова в организационных способностях вождей советской власти возникли в 1919 году, когда, направленный в командировку от большевистской газеты «Известия Совета обороны Воронежского укрепленного района» в Новохоперск, он столкнулся с их неспособностью обеспечить красноармейцев всем необходимым для успешных боевых действий. Шли ожесточенные бои Красной Армии против наступающих на Воронеж и его окрестности конных корпусов генералов Шкуро и Мамонтова, а руководитель Воронежского укрепрайона К. С. Еремеев ограничивался трескучим революционным пустословием.

После пережитого Платонов признавался, что «тогда стоял на душевном распутьи — истории и личной жизни».

В декабре 1919 года редактору газеты «Воронежская коммуна» Г. З. Литвину-Молотову пришлось через газету разыскивать Платонова, чтобы привлечь его к сотрудничеству в советской печати.

1920—1921 годы — время активной работы Платонова в воронежских газетах «Красная деревня», «Воронежская коммуна», «Наша газета». Платонов становится известным публицистом, печатает в газетах рассказы и стихи.

От рабочего-поэта современники ожидали пролетарского творчества.

Для них оказалось неожиданным обращение Платонова к проблемам деревни.

Уже на первом творческом вечере «местного рабочего поэта Андрея Платонова» 3 июля 1920 года, в субботу, в воронежском клубе журналистов «Железное перо» вспыхнул острый спор об отношении рабочего-поэта к деревне. Стало ясно, что Платонов испытывает боль за судьбу деревенской России, сочувствует мужикам, в которых новая власть видела для себя опасность и силу, враждебную городу и техническому прогрессу.

Платонову указали «на некоторую двойственность содержания его произведений», объяснив ее «переломом, происшедшим в психике и чувствах поэта в революцию» (Вор. ком. 1920. № 149. 7 июля. С. 2).

Платонов не послушался совета подправить свою идейную позицию, он и год спустя в автобиографии, написанной для книги стихов «Голубая глубина», продолжал упрямо настаивать на родстве жизненного уклада деревенской России и Ямской слободы, где он вырос. В то время сочувствие крестьянской России было синонимом контрреволюционной позиции.

О крестьянском восстании, известном как тамбовское, но охватившем в 1919—1920 годах и Воронежскую губернию, Платонов напишет в романе «Чевенгур». Для Платонова главным аргументом, подтверждающим, что советская власть обманула надежды народа, стало недовольство крестьян, вызванное продразверсткой, повсеместно переходившей в насилие над людьми.

На пути к первой книге Платонову пришлось пережить горькое разочарование и крушение надежд.

7 февраля 1921 года Платонов отправил письмо в московский Госиздат, где написал, как тяжело он переживал отсрочку издания сборника стихов в Воронеже: «Местное Воронежское Отделение Госиздата продержало их целый год и не могло издать сборника этих стихов за неимением бумаги и технических средств.

Кроме того, тут громадная косность, лень, отсутствие всякой энергии и мещанская мелочность, так что я встретил только старую гадость и оскорбления сонных людей» (*Субботин*, с. 439).

Платонов выслал в московский Госиздат рукописи трех сборников: стихов, рассказов и публицистики. После долгого ожидания пришел ответ, что все книги отвергнуты издательством, хотя рецензенты признали его литературный талант.

Отказ московского Госиздата издать его книги, окончание политехникума, разочарование в качестве обучения в губсовпартшколе подтолкнули Платонова к трудному, но осознанному решению о выходе из рядов партии большевиков.

При вступлении в кандидаты в члены партии в автобиографии летом 1920 года Платонов писал: «Я люблю партию — она прообраз будущего общества людей, их слитности, дисциплины, мощи и трудовой коллективной совести; она — организующее сердце воскресающего человечества» (*Ласунский*, с. 155—156). Но его романтическая вера в партийное братство не выдержала проверки реальной жизнью.

В декабре 1921 года он был исключен из числа кандидатов в члены РКП(б) и из губсовпартшколы.

Платонов лукавил, когда потом писал в автобиографиях, что вышел из партии «по мальчишеству» — случилось это по его собственной инициативе.

Все эти события конца 1921 года привели Платонова к тяжелому духовному кризису.

Усугубил ситуацию ужасающий голод 1921 года: Платонов понял полную экономическую беспомощность советской власти.

Жестокая засуха в Воронежской губернии заставила Платонова сделать нелегкий выбор: отказаться от «созерцательной» литературной деятельности, чтобы все силы отдать практической технической и общественной работе.

Необходимость скрывать от окружающих то, что для него было смыслом жизни, Платонов избрал как осознанную позицию с самого начала своего творческого пути.

В автобиографии, написанной в июле 1920 года при вступлении в кандидаты в РКП(б), Платонов сделал редкое по исповедальности признание: «были какие-то полудетские мечты, которые ели зря мою жизнь, мешали глазам видеть действительный человеческий мир...». Расшифровку откровения он дает в другом месте: «теперь исполняется моя долгая детская мечта — стать самому таким человеком, от мысли и рук которого волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей» (*ГГ*. Предисловие).

Однако со временем писатель усомнился в способности человека управлять миром: «правильно ли действует частный разум людей и их небольшое чувство в сердце, когда человечество желает отрегулировать течение мира, — или человек лишь мнимое существо и ярость его действий есть бой невесомого, а стихия всемирного вещества исчезает мимо в неизвестном гремящем направлении к своему торжественному концу» («Хлеб и чтение»).

Платонов стремился следовать программе строительства пролетарской культуры, в которой главным действующим лицом был социальный инженер, инженер-организатор. Один из руководителей Пролеткульта В. Плетнев писал: «Эпоха ставит перед нами задачу выработки нового типа ученого: социального инженера, инженера-организатора, способного оперировать с явлениями и заданиями крупнейшего масштаба. Этот инженер должен быть техником и экономистом в равной степени»*.

---

* *Плетнев В.* На идеологическом фронте // Правда. 1922. № 217. 27 сент. С. 2—3.

Эта идея стала поводом для ожесточенной критики со стороны В. Ленина, а вскоре — полного идеологического разгрома Пролеткульта. Принципиальное разногласие Пролеткульта и партии большевиков состояло в том, что пролетарские теоретики видели руководителем строительства социализма инженера, а не партийного идеолога-функционера. Эту идею принял и разделял Платонов, таким инженером он стремился быть. Верность убеждению, что главными условиями эффективной работы являются мастерство и высокий профессионализм, на всю жизнь определила расхождения Платонова с ортодоксальной партийной идеологией.

Платонов мечтал стать великим инженером и стал им. Свои преобразовательные проекты планетарных масштабов Платонов описал в ранних рассказах. Вновь опубликованные во второй половине XX века забытые рассказы «Сатана мысли», «Маркун», «В звездной пустыне» были восприняты как фантастические. Но для автора они являлись реальным руководством к действию.

Программный характер носил рассказ Платонова «Сатана мысли (Фантазия)», напечатанный в журнале «Путь коммунизма» (1922, кн. 2), издание которого наладил в Краснодаре Г. З. Литвин-Молотов.

В рассказе продолжен мотив глобальной переделки мира. Герой рассказа Вогулов «решил пересотворить вселенную ультрасветом». И сам он «был воплощением того сознания, <...> которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную...» (*Соч.*, т. 1, кн. 1, с. 203, 201).

Платонов не только считал свои преобразовательные проекты осуществимыми, но и сумел их реализовать в годы работы губернским мелиоратором и строителем электростанций. Свой технический и организаторский талант он убедительно подтвердил успешной практической деятельностью.

В издательстве, созданном Литвиным-Молотовым в Краснодаре, в июне 1922 года тиражом 800 экземпляров, «из коих 50 именных на меловой бумаге», с обложкой работы А. Юнгера (автора первого портрета Сергея Есенина), вышла книга стихов Платонова «Голубая глубина». В обзоре современной поэзии авторитетный Валерий Брюсов заметил книгу Платонова и признал, что ее автор — «настоящий поэт»*.

---

* *Брюсов В.* Среди стихов // Печать и революция. 1923. № 6. С. 6.

С 1921 года Платонов создает проекты гидрофикации Воронежской губернии. Однако устроиться на работу в Воронежское губернское земельное управление ему удалось с огромным трудом, только благодаря поддержке известного партийного деятеля, профессионального революционера, участника первой русской революции 1905—1907 годов Н. Г. Божко-Божинского, с дореволюционных времен знакомого и работавшего с Лениным.

В это время углубился его разлад с партией большевиков. Достаточно просмотреть воронежские газеты конца 1921—1923 годов, чтобы заметить, какой резкий перелом произошел во взглядах Платонова. Политическая публицистика Платонова с этого времени фактически исчезла со страниц воронежской печати, уступив место статьям по электрификации и гидрофикации. Его полностью поглощают проблемы организации хозяйства. Его фамилия исчезает из списков участников собраний и кружков, обсуждающих трудности партийной жизни и вопросы идеологии; нет ее и среди тех, кому газета делает выговоры за неявку на партсобрания.

Инженер-организатор — губернский мелиоратор Платонов

Летом 1924 года становится ясно, что засуха уничтожила урожай. Из голодающих губерний России в Москву поступает информация о том, что население подвержено панике, повсюду «потребление суррогатов, наличие... опухших от голода... бегство крестьян с насиженных мест» (*Наркомзем*, оп. 1, ед. хр. 1425, л. 6).

В выписке от 3 июля 1924 года из Постановления Воронежского губисполкома по докладу губземуправления о состоянии посевов и мерах, необходимых для борьбы с последствиями недорода, сказано, что «яровые-зерновые посевы близки к полной гибели...» (*там же*, л. 84).

7 августа 1924 года Совет Народных Комиссаров принял решение о помощи двенадцати неурожайным губерниям, в число которых вошла и Воронежская.

11 августа в Воронежский губисполком поступила телеграмма председателя Совнаркома А. И. Рыкова о выделении 1 118 800 руб-

лей на противозасушливо-мелиоративные работы в Воронежской губернии на сезон 1924—1925 годов.

Эти деньги, прежде всего, предназначались для финансовой помощи беднейшим крестьянам, наиболее пострадавшим от засухи и голода. Но получить их можно было как заработную плату за участие в мелиоративных работах.

У Платонова наконец появилась возможность осуществить проекты гидрофикации и мелиорации, которые он страстно пропагандировал в воронежской печати с 1921 года.

Платонов был подготовлен к проведению противозасушливых мероприятий, поэтому оказался способен быстро составить их план на 1924 год и организовать работы (*Наркомзем*, оп. 7, ед. хр. 2627, л. 5).

С августа 1924 года Платонов руководил мелиоративными работами в 60 пунктах Богучарского, Россошанского, Острогожского, Валуйского уездов Воронежской губернии. Занято в них было ежедневно более пяти тысяч пеших и конных рабочих. Шло строительство колодцев, ремонт и строительство новых прудов.

В самом начале общественно-мелиоративных работ Платонов познакомился с инженером наркомата земледелия А. А. Прозоровым, направленным из Москвы для контроля за их организацией.

А. А. Прозоров 23 августа составил доклад, где сообщал «о состоянии дела организации общественно-мелиоративных работ...» и давал высокую оценку деятельности Платонова: «Должен еще раз подчеркнуть блестящую организационную работу завмелиочастью Платонова» (*Наркомзем*, оп. 7, ед. хр. 2627, л. 51).

Губернский мелиоратор А. Платонов стремительно приобретает авторитет и признание у московских сотрудников наркомата земледелия, контролирующих ход общественно-мелиоративных работ.

И сам Платонов, и его помощники работали, не жалея сил. Дорогой ценой далось им выполнение плана общественно-мелиоративных работ.

В «Личном листке ответственного работника», заполненном 26 сентября 1924 года, губернский мелиоратор и заведующий работами по электрификации сельского хозяйства А. П. Платонов указал, что его основная профессия — мелиоратор, электротехник. Он сообщал, что он посвятил себя этой работе с конца 1921 года.

Платонов писал о техниках-организаторах Воронежского ГЗУ: «Мы пустили в деревни техперсонал, который оброс передовым

крестьянством…», и оно само стало учиться и проводить мелиоративную работу.

По мысли Платонова, «блестящий успех Воронежского ГЗУ, в смысле массовой мелиоративной кооперации <…> стал возможен только потому, что крестьянское хозяйство никогда не встанет на ноги без мелиорации».

Платонов предвидел и предупреждал: «Если мелиоративного кредита не будет, мелиорация у нас не пойдет. Такая огромная, в производственном отношении, крестьянская кооперированная масса, как организация, погибнет»*.

Но засуха и голод повторились и в 1925 году.

В сводке о голоде в Воронежской губернии, направленной в Наркомзем в середине марта 1925 года, завгубземуправлением Архипов напишет о кровной заинтересованности крестьян в кредитах и мелиоративных товариществах.

В марте 1925 года в статье «Как единственно можно ликвидировать засуху»** о цене избавления от голода Платонов говорит языком цифр: «Орошение 100 000 десятин земли стоит 5 миллионов рублей. <…> пропорционально орошенной площади будет избавлено от голода <…> 138 000 душ, или <…> 4,5% от теперешнего населения губернии». Он подводит итог: 5 миллионов рублей навсегда застрахуют от голода 138 000 человек и создадут условия для роста 23 000 хозяйств. Он убежден, что только за счет правительственного кредита можно навсегда избавить население России от непрекращавшихся засух и голода.

Однако уже в 1925 году работы были свернуты — так же быстро, как начались.

В незаконченной и оставшейся неопубликованной статье 1926 года «Победим ли мы засуху?» Платонов подведет трагический итог мелиоративных работ 1924—1925 годов: «Если первую задачу — оказание продовольственной помощи пострадавшему от недорода населению — эти работы выполнили, то вторую задачу <…> — вложить в сельское хозяйство элементы сопротивления засухе в виде гидротехнических сооружений — эти работы не выполнили. <…> Специалисты работали с огромным перенапряжением и личным техническим интересом, сооружения строи-

---

* *Платонов А.* Мелиоративная война против засухи // Вор. ком. 1925. 21 февр.

** Вор. ком. 1925. 12 марта.

лись качественно отлично, количественно план был превзойден. Но *сооружения общественных работ сейчас десятками разрушаются, стихии крестьянской некультурности и паводковых вод совместно равняют с землей и расстилают по балкам сотни тысяч кубических саженей плотин* (курсив мой. — *Н. М.*).

Отчего это? Работы были непродуманы, неправильно организованы, земельные аппараты не выдерживали такой нагрузки, *бюрократизм душил строительство* и т. д. и т. д. Теперь, после такого испытания, кажется проще было бы 10 миллионов рублей раздать крестьянской бедноте, а только 4 миллиона пустить на мелиоративное строительство, но это строительство совсем не так надо поставить, как оно было поставлено в 1924—1925 гг., когда заведующий земельным органом ехал и открывал работы, а следом ехавший инженер-мелиоратор их закрывал, или когда строились сотни плотин без укрепленных водосливов, а с простыми земляными канавами, т. к. деньги давались только на рабсилу, а на материал нет. Тогда строить не надо, чтобы никого не компрометировать»*.

Американский экскаватор «Марион»

В удостоверении, которое Платонов получил при отъезде из Воронежа, всего несколько строк посвящено экскаватору по имени «Марион»: «под руководством А. П. Платонова спроектирован и начат постройкой плавучий понтонный экскаватор для механизации регулировочно-осушительных работ» (*Живя главной жизнью*, с. 163). Однако история борьбы Платонова за приобретение американской машины для Воронежской губернии продолжалась три года.

Первую попытку получить американское оборудование Платонов сделал весной 1923 года, когда занимался проектированием сельскохозяйственной гидроэлектрической станции на реке Воронеж.

В материалах Наркомата земледелия сохранилось обращение председателя Воронежской губернской комиссии по гидрофикации и электрофикации сельского хозяйства при Губземуправлении Платонова в Центральное бюро Общества технической помощи Советской России.

---

* *Платонов А.* Победим ли мы засуху? / Публикация Е. И. Колесниковой // Творчество Андрея Платонова. СПб., 1995, с. 224.

Это общество создали в США эмигранты из России. Они ставили своей целью содействие развитию сельского хозяйства и промышленности. В мае 1922 года в Советскую Россию из Америки отправилась первая сельскохозяйственная трудовая коммуна (артель). Все уезжающие из Америки коммуны и союзы везли с собой оборудование, машины для мастерских (*Наркомзем*, оп. 7, ед. хр. 697, л. 37).

Платонов написал в ЦБ Общества письмо с просьбой о помощи оборудованием или средствами «для постройки сельскохозяйственной гидроэлектрической станции на реке Воронеж».

От Платонова потребовали согласовать эту просьбу с комиссией Совета труда и обороны по сельскохозяйственной и промышленной иммиграции.

Обращение Платонова в эту комиссию вызвало у ее сотрудников недоумение. На обращении была сделана запись красными чернилами от 27 июня 1923 года: «Комитет <нрзб> арестован, организация не функционирует».

В Воронежскую губернскую комиссию по гидрофикации 7 июля 1923 года ушло решение и. о. начальника Центромелиозема Миртова: «Организация сбора за границей пожертвований для постройки гидроэлектрической станции нежелательна как по политическим, так и по прочим основаниям» (*Наркомзем*, оп. 7, ед. хр. 697, л. 72).

Первая сельскохозяйственная образцовая коммуна из Америки работала в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. Сведения о ней относятся к апрелю 1923 года (*Наркомзем*, оп. 7, ед. хр. 697, л. 55). Когда Платонова направили на работу в Тамбовское губземуправление, он первым делом обратился с просьбой о поездке в Кирсановский уезд.

Летом 1923 года в «Рассказе о многих интересных вещах» впервые в художественной прозе Платонова возник сюжет путешествия героя в Америку. В Америке герой «Рассказа...» Иван находит ответы на главные для него вопросы: «что такое электричество и как построен и строится из него наш мир и вся вселенная».

Вопрос «Отчего устроился весь мир?» не переставал мучить героев повести «Котлован». Услышав от Вощева этот вопрос, инженер Прушевский «задержался вниманием на Вощеве: неужели они тоже будут интеллигенцией, неужели нас капитализм родил двоешками».

В цикле рассказов «Родоначальники нации, или Беспокойные происшествия» (1927) Платонов сохранил сюжет путешествия в Америку того же героя, но менялась цель его поездки: найти средство, чтобы «построить вечные здания в древних балках его родины, и в этих зданиях поселятся довольные, счастливые мужики со своими многочисленными семействами» (*ЕШ,* с. 253).

Интерес к американской экономике и культуре заметен в рассказе «Антисексус». Американский сюжет был продолжен в повести «Эфирный тракт», где ученый Кирпичников собирался попасть в знаменитую физическую лабораторию в Риверсайде, «принадлежащую Американскому электрическому униону».

Отправлялись в Америку герои повести «Ювенильное море».

Завершился американский сюжет в последнем произведении — пьесе Платонова «Ноев ковчег».

Истоки американского сюжета в творчестве Платонова обнаружились в его производственной инженерной практике.

Пережив неудачу с обращением в ЦБ Общества технической помощи Советской России, осенью 1924 года Платонов начал хлопотать о приобретении американского экскаватора «Марион» для очистки русла реки Тихая Сосна.

Однако теперь ситуация кардинально изменилась: теперь он заручился поддержкой авторитетных инженеров наркомата земледелия. Дорогой ценой досталась Платонову эта поддержка — ценой сезона подвижнической работы губернского мелиоратора в августе-сентябре 1924 года.

Под напором Платонова Наркомзем обращался в ВСНХ с просьбой о выделении одного из пяти приобретенных американских экскаваторов для Воронежской губернии. Дело о передаче Воронежскому губземуправлению экскаватора «Марион» № 3608 выглядело безнадежным, однако в октябре 1924 года Госплан постановил отдать в распоряжение Наркомзема 11 экскаваторов, находившихся до того в ведении ГЭК ВСНХ. Вопрос «О распределении 11 экскаваторов» решался на коллегии НКЗ: «Марион» — одночерпаковый на тракторном ходу, «предназначен наркомземом для производства общественно-мелиоративных работ по осушению заболоченных пойм рек в Воронежской губернии» (*Наркомзем*, оп. 7, ед. хр. 3387, л. 51; документ публикуется впервые).

В декабре 1924 года экскаватор «Марион» был выделен наркоматом земледелия для Воронежской губернии.

В конце 1924 года Платонов отправился в командировку в Ленинград, о чем написал в заметке «Огни Волховстроя»: «Для работ по регулированию стока вод в Воронежской губернии Губземуправлению потребовались экскаваторы (землечерпательные снаряды). Дело это новое, поэтому для ознакомления с работой экскаваторов я поехал предварительно на Волховстрой, а оттуда на заводы Ленинграда для заключения договора на изготовление экскаватора» (Вор. ком. 1925. 1 янв.).

Платонов разработал конструкцию переделки экскаватора «Марион» в плавучий понтонный экскаватор и заключил договор на осуществление этого проекта с Ленинградской государственной экскаваторной технической конторой.

История с экскаватором продолжалась и после отъезда Платонова из Воронежа. Он сделал все, что мог, чтобы довести дело до конца. Воронежские газеты в конце лета 1926 года сообщили, что перестроенный по проекту Платонова американский экскаватор «Марион» прибыл на реку Тихая Сосна.

Работа экскаватора «Марион» на очистке русла реки Тихая Сосна началась в конце июля 1927 года.

Документальную историю о плавучем экскаваторе Платонов включил в повесть «Впрок».

Триумф и трагедия Платонова

Лишь десятилетия спустя после смерти Платонова стало возможно изучение засекреченных архивов, и выяснилось, что Платонов за два года общественных мелиоративных работ в Воронежской губернии (1924—1926) достиг успеха в своей инженерно-организационной деятельности, стал ответственным государственным служащим, получил известность на правительственном уровне.

Подвижническая, каторжная землеустроительная работа Платонова, его беспощадность к себе и подчиненным объяснялись очень просто. Общественные мелиоративные работы проводились для спасения жизни тысяч голодающих крестьян Воронежской губернии. Платонов с группой подчиненных ему техников-мелиораторов работал «бессменно и бессонно», под его руководством и при его непосредственном участии были построены пруды, плотины и колодцы, осушались и орошались огромные территории.

Общественные мелиоративные работы в голодающих губерниях России контролировал один из авторитетных членов советского правительства и ЦК партии А. И. Рыков (1881—1938) — председатель президиума Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и председатель Совета народных комиссаров РСФСР.

В 1924 году А. И. Рыкова назначили председателем комиссии по борьбе с последствиями неурожая. Документы, подписанные Платоновым, не раз направлялись в ВСНХ и попадали к А. И. Рыкову.

Платонов поверил, что началась героическая эпоха мелиорации, которая приведет к полной победе над засухой и голодом.

Но оправдались худшие его опасения. Мелиоративные работы были краткосрочной внеплановой кампанией, которая закончилась самым жалким образом, свернутая так же стремительно, как и началась. Очевидно, цели ее были сугубо политическими — пред-отвратить продолжение массовых крестьянских выступлений против советской власти. Платонов тяжело переживал, что гибнут результаты нечеловеческих усилий, разрушаются брошенные без присмотра пруды и плотины, зря пропадают вложенные средства.

Когда Платонов понял, что правительство прекратило выделять средства на мелиорацию и мелиоративную технику, отчаяние его было настолько велико, что возникли мысли о самоубийстве. Он чувствовал личную ответственность за судьбы крестьян, которые, поверив ему, добровольно объединялись в крестьянские товарищества для продолжения мелиоративных и землеустроительных работ, готовы были работать бесплатно, чтобы избежать повторения засухи.

При отъезде из Воронежа Платонов получил удостоверение «в том, что он состоял на службе в Воронежском Губземуправлении в должностях Губернского Мелиоратора (с 10 мая 1923 г. по 15 мая 1926 г.) и Заведующего работами по электрификации с. х. (с 12 сентября 1923 г. по 15 мая 1926 г.). За это время под его непосредственным... руководством исполнены в Воронежской губернии следующие работы: построено 763 пруда... построено 315 шахтных колодцев... построено 16 трубчатых колодцев... осушено 7600 десятин... орошено (правильным орошением) 30 дес... исполнены дорожные работы (мосты, шоссе, дамбы, грунтовые дороги) — и построены 3 сельские электрические силовые установки.

<...> Под непосредственным его же руководством проведена организация 240 мелиоративных товариществ...» (*Живя главной жизнью*, с. 163).

В биографию Платонова много лет включали краткое перечисление построенных под его руководством сооружений. Упоминалось о том, что его именем называли крестьянские товарищества, созданные в Воронежской губернии в 1924—1925 годах. Однако замалчивалось то, что было предметом особой гордости Платонова — работа «в системе ВСНХ». С Высшим советом народного хозяйства была тесно связана деятельность Платонова в период его службы в Воронежском губернском земельном управлении с 1922 по 1926 год. Причастность к работе высшего органа, управляющего хозяйством страны, означала, что Платонов достиг максимально возможного успеха в карьере инженера.

Для Платонова прекращение «героической эпохи мелиораций» стало причиной глубоких сомнений в пролетарской идеологии. Он признавался, что в 1926 году пережил «идеологическую катастрофу» (*Стенограмма*, с. 104).

Свои натурфилософские и социальные взгляды того времени Платонов вкладывает в уста героев повести «Строители страны», которая впоследствии в переработанном виде вошла в роман «Чевенгур». Герой «Строителей страны» Дванов, подобно автору, был уверен, что знает, как «создать социалистический мир в степи, а ничего еще не исполняется» (*Строители страны,* с. 322).

Из этой повести становится ясно, что Платонов воспринимал свою мелиоративную деятельность как устройство социализма в засушливой степи: для этого «из долин редких степных балок, из глубоких грунтов надо дать воду в высокую степь» (*там же*, с. 318).

Автобиографический герой повести «Хлеб и чтение» «предлагал создать социализм на простой силе рек и ветра, из которых будет добываться электричество для освещения и отопления жилищ и движения машин».

Мелиоратор, занимаясь орошением степи, строит социализм, действует наравне с силами природы. Проявляя единое для человека и природы жизнетворческое начало, он осознает себя не только строителем страны, но и спасителем ее народа.

В первый сезон общественно-мелиоративных работ губернский мелиоратор Платонов спас от голодной смерти около шестисот тысяч жителей Воронежской губернии.

Жизненный подвиг губернского мелиоратора А. Платонова в 1924—1925 годах остался почти не замеченным и не оцененным властью. Однако приобретенный опыт стал основой литературного творчества Платонова. Его проекты землеустройства, изменения климата, оздоровления рек становились темами его произведений. Оригинальность его творчества в значительной мере определялась глубиной естественнонаучных и технических знаний.

В личности Платонова преодолевалось то, что Богданов назвал разрывом «трудовой природы человека»: гениальный писатель Платонов был талантливым инженером. В нем соединялись способность к научным и техническим изобретениям и литературному творчеству*.

«...это мое основное и телесное»

В начале 1926 года в составе воронежской делегации из пяти человек Платонов едет в Москву на первое Всероссийское мелиоративное совещание, проходившее с 15 по 22 февраля. На этом совещании Платонов был избран для работы в Мелиоративно-землеустроительной секции ЦК Всероссийского профсоюза сельскохозяйственных рабочих**.

Казалось, приглашение в Москву означало, что карьера воронежского мелиоратора круто взметнулась вверх. Он надеялся, что работа в Москве даст возможность осуществлять мелиоративные проекты уже не только в масштабах губернии.

Но успех землеустроительных работ и усилий Платонова по электрификации губернии привел к трагическим результатам: он обернулся полным крушением его карьеры инженера и надежд на продолжение мелиоративной деятельности.

Платонов оказался в Москве в безвыходной ситуации, без работы, когда приходилось голодать, продавать вещи, чтобы купить лекарства для больного сына, носить к китайгородской стене ценные книги, необходимые для работы. Он писал об этом времени: «Травля. Невозможность отстоять себя... Единственный выход: смерть и устранение себя» (*Воспоминания*, с. 314).

---

* *Богданов А. А.* Что такое пролетарская поэзия? // *Богданов А. А.* Искусство и рабочий класс. М.: Пролетарская культура, 1918, с. 19.

** Выдвижение // Вор. ком. 1926. № 47. 27 февр., с. 4.

В этих обстоятельствах Платонов обратился за помощью к А. К. Воронскому в письме от 27 июля 1926 года:

«Эти два года я был на больших и тяжелых работах (мелиоративных), руководя ими в Воронежской губернии.

Теперь я, благодаря смычке разных гибельных обстоятельств, очутился в Москве и без работы. Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и писательству. И я сную и не знаю, что мне делать, хотя делать кое-что умею (я построил 800 плотин и три электростанции и еще много работ по осушению, орошению и пр.)

Но пишу и думаю я еще более по количеству и еще давно по времени, и это мое основное и телесное.

Посылаю вам 4 стихотворения, 1 статью и 1 небольшой рассказ — все для "Красной нови". Убедительно прошу это прочитать и напечатать. <...>

Мой адрес: Москва, Б. Златоустинский пер., 6. Центральный Дом Специалистов. А. П. Платонову»*.

В 1926 году А. К. Воронский не помог Платонову, потому что сам попал в трудное положение. Рапповцы написали на Воронского донос в ЦК ВКП(б), обвиняя в нарушении партийной этики за памфлет «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (Красная новь. 1926. № 5). Они требовали ликвидировать «Перевал». Воронского сняли с поста редактора «Красной нови». Журнал после этого перешел в ведение РАППа. Воронский был арестован и выслан в Липецк.

После этого Платонову пришлось утаивать свои связи с репрессированным Воронским и «Перевалом».

Изгнание в Тамбов

Не найдя работы в Москве, Платонов отправляется в Тамбов по командировке от Наркомзема.

Высланный в Тамбовскую губернию, опустошенную после разгрома крестьянского восстания частями регулярной армии, обреченный на верный провал своих усилий, Платонов отказывается поверить озарившей его догадке: «Иногда мне кажется, что у меня

---

* *Платонов А.* Письмо А. Воронскому от 26 июля 1926 г. // Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920—1930-х годов. М., 1983, с. 609—610.

нет общественного будущего, а есть будущее, ценное только для меня одного» (*Живя главной жизнью,* с. 165).

Столкновение с советской бюрократической машиной сделало невозможной его инженерную деятельность.

В Тамбове он пробыл с 8 декабря 1926 по 23 марта 1927*. Здесь написаны повести «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы» и «Город Градов». Все они тесно связаны между собой и составляют единое целое.

Повести создавались одна за другой: сначала фантастическая — «Эфирный тракт», затем — историческая «Епифанские шлюзы», потом сатирическая — «Город Градов». Впрочем, последовательность эта была условной — работа над повестями продолжалась параллельно: «с головой уйдя в эпоху Петра, он неоднократно возвращался к тексту фантастической повести, внося в него поправки и как бы корректируя одно произведение другим...»**.

Платонов постоянно соотносил все три произведения между собой. Но эта работа отразила трудный переход Платонова от планетарных научно-технических проектов преобразования земного шара к пониманию сложности их осуществления. Узловыми, совпадающими и задающими тон повествованию фрагментами повестей являются описания гидротехнических проектов и истории их осуществления.

В «Эфирном тракте» показаны последствия научных экспериментов над «веществом существования». Ученый Фаддей Попов создает проект выращивания электронов, уверенный, что электрон — живая частица, только жизнь в нем замедлена. Ученики Попова — отец и сын Кирпичниковы — верили, что путем выращивания электронов можно решить энергетические проблемы человечества, достигнуть гармонии между растущими потребностями человека и возможностями природы.

В феврале 1927 года написана первая редакция сатирической повести «Город Градов». В описании Градова узнаваем Тамбов — «гоголевская провинция», о которой Платонов писал жене. Ощутив в Тамбове атмосферу глухой провинции, писатель почувствовал, что здесь почти невозможны перемены: «Город живет стару-

---

* Разыскание Г. И. Ходяковой в ст.: *Ходякова Г. И.* «Возможно, что меня здесь слопают...» // Русская провинция. Воронеж, 1992, с. 159—169.

** *Васильев В.* Андрей Платонов. М., 1990, с. 69.

шечьей жизнью, шепчется, неприветлив... Город обывательский, типичная провинция...» (*Живя главной жизнью*, с. 164—165).

Главный герой повести чиновник Иван Федотович Шмаков командирован из Москвы в уездный город в глубине России. Платонов создает образ своего двойника, примеряя на себя роль бюрократа и пытаясь вжиться в нее. Шмаков тайно трудится над «Записками государственного человека», в которых моделирует бюрократическую пародию на утопию «гармонизации» природы. Его сочинение — аллюзия на гоголевские «Записки сумасшедшего».

В Тамбове Платонову не дают работать: «Обстановка для работ кошмарная. Склока и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи... Есть форменные кретины и доносчики. Хорошие специалисты беспомощны и задерганы. Возможно, что меня слопают... Тысячи препятствий самого нелепого характера... Сопротивление моей системе работ огромное...» (*там же*). Дело дошло до прямых угроз в его адрес, и Платонов уехал из Тамбова.

Возвращение в Москву

Вернувшись весной 1927 года в Москву, Платонов переключился на профессиональную литературную работу. Первая книга его прозы — «Епифанские шлюзы» — привлекла внимание А. М. Горького. В письмах своим корреспондентам он постоянно упоминает имя Платонова.

Платонов не любил вспоминать свое воронежское прошлое, возможно потому, что его коллеги — воронежские мелиораторы были вскоре подвергнуты репрессиям, арестованы и казнены или отправлены в лагеря. Сталину не нужны были свидетели массовой гибели сотен тысяч людей от голода.

С 8 июня до конца 1927 года в Москве семью Платонова преследовала угроза выселения. В письме из ЦК профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР от 7 сентября Платонову было предъявлено требование: «в недельный срок очистить занимаемую Вами комнату, предоставленную вам временно». На Платонова подавали в суд Бауманского района Москвы, его вызывали по делу о выселении его семьи. Платонову пришлось бороться, чтобы сохранить за собой комнату в ведомственном общежитии Центрального дома специалистов. До конца 1927 года Платонов

указывал для своих корреспондентов этот адрес: «Большой Златоустинский переулок, 6, Центральный Дом Специалистов».

С 1928 и до конца 1931 года Платонов с женой и сыном провел в скитаниях по Москве. Снимали комнаты, пользовались гостеприимством знакомых. Одно время жили на квартире Бориса Пильняка на улице Ямского поля (нынешняя улица Правды). В 1929 году переехали в бывшие меблированные комнаты дома № 7 в Псковском переулке, рядом с улицей Варварка. В 1930 году Платонов с семьей поселился на даче в Покровском-Стрешневе. Платонов снимал две комнаты в квартире № 14 на верхнем этаже писательского дома № 2 в проезде Художественного театра. Квартиру снимали пополам с Михаилом Голодным, окна семьи Платонова выходили во двор.

Платонов тяжело переживал вынужденную бездомность. 7 февраля 1931 года он написал Л. Авербаху: «Прошу тебя дать распоряжение… чтобы мне дали жилище. Переселение в дом должно совершиться сегодня-завтра. Я же не могу существовать 3 с лишним года без квартиры — это предел любому человеку. Я не могу доказать некоторым людям, что имею первоочередное право на жилище. Легче доказать что-нибудь более трудное». (РГАЛИ, ф. 1698, оп. 1, ед. хр. 1319. Публ.: *Лангерак*. С. 183)

Авербах просьбу Платонова выполнил. В конце 1931 года писатель получил квартиру из двух комнат на Тверском бульваре, 25, кв. 27, где прожил до самой смерти, надолго отлучаясь лишь дважды: в эвакуацию в начале войны и на фронт.

«Испорчен влиянием Пильняка…»

Одна из легенд о Платонове, против которой он очень возражал, преувеличивала влияние Пильняка на его личность и творчество.

Первое упоминание о личном знакомстве Платонова с Пильняком относится к 8 мая 1928 года. В 1928 году у Платонова в издательстве «Молодая гвардия» выходит книга «Сокровенный человек». На повести «Сокровенный человек» и «Ямская слобода» напишет рецензию авторитетный критик Николай Замошкин, замечая, что от фигуры пролетария Фомы Пухова «веет какой-то подлинной корневой правдой» (Новый мир. 1928. № 3).

В письме Платонова от 18 июля 1928 года Н. И. Замошкину есть красноречивая фраза о Пильняке: «Если случайно увидите Бориса

Андреевича Пильняка, то скажите, что я его помню и соскучился по нему...» (*Воспоминания*. С. 224).

Лето 1928 года семья Платонова жила на даче Пильняка. Платонов очень ценил помощь Пильняка, в которой нуждался. Это время стало периодом их творческого сотрудничества. В конце 1928 года в «Новом мире» были напечатаны «областные организационно-философские очерки» «Че-Че-О», датированные 20 сентября того же года и подписанные: Андрей Платонов, Бор. Пильняк.

Рапповские критики тут же поспешили причислить Платонова к «подпильнячкам»*.

Похоже, что соавтором легенды об особом влиянии Пильняка на Платонова был секретный отдел ОГПУ. Осведомитель ОГПУ 10 декабря 1930 года сообщал в секретный отдел: «Сказывается здесь и та закваска, которую Платонов получил в начале своей литературной работы. Ведь когда он только начал писать, на него сразу же обратил внимание Пильняк, помог ему овладеть грамотой. Приобрел этим влияние на него и, конечно, немало подпортил» (Документы ОГПУ, с. 849—850).

На вечере 1 февраля 1932 года во Всероссийском Союзе советских писателей Платонову задали вопрос, как он оценивает итоги работы с Пильняком. Он ответил, что настаивал на своем единоличном авторстве очерков «Че-Че-О»: «“ЦЧО” я написал один, совершенно самостоятельно, когда даже лично не был знаком с Пильняком. Он увидел впоследствии и сказал — надо поправить. И поправил. Многие думают, что он ухудшил. Это неверно, она идеологически и в моей редакции была плоха» (*Стенограмма*, с. 106).

Арестованный Пильняк в показаниях на следствии назвал «первое троцкистское произведение» «Повесть непогашенной луны». Второе — очерк «Че-Че-О» (*Шенталинский*, с. 197).

Скитаясь по Москве, страдая от бездомности, отсутствия денег и работы, Платонов не знал, что в эти годы — с 1927 по 1929 — переживает свой самый счастливый и яркий творческий период.

В 1928 году Платонов вошел в группком Московского товарищества писателей, образованного в 1924 году как кооперативная издательская артель. Оно работало до 1934 года, когда вместе

---

* *Стрельникова В.* «Разоблачители» социализма. О «подпильнячках» // Вечерняя Москва. 1929. № 224, 28 сент.

с «Издательством писателей в Ленинграде» и «Советской литературой» вошло в издательство «Советский писатель».

В 1932 году секретарь групкома А. И. Вьюрков составил «Первый подлинный список писателей членов горкома Советских писателей на 1932 год». Позднее на обложке машинописи этого списка писателей появилось пояснение: «До организации Союза Советских писателей»*. В этом списке фамилия Платонова значилась под номером 39. Имя писателя было вписано карандашом.

Накануне славы

С 1926 по 1928 год Платонов работал над романом «Чевенгур». Чевенгур — вымышленное название, напоминающее название уездного города Воронежской губернии Богучар**.

Появление в 1928 году в «толстых» московских журналах отрывков романа «Чевенгур» приносит Платонову настоящее признание литературной Москвы. Публикации фрагментов романа привлекли внимание авторитетных критиков из группы «Перевал» А. Лежнева и Д. Тальникова.

В четвертом номере журнал «Красная новь» печатает повесть «Происхождение мастера», а в 1929 году издательство «Федерация» издает повесть в книге. В шестом номере журнала «Красная новь» появляется отрывок «Потомок рыбака» с подзаголовком «Из повести». Журнал «Новый мир» в шестом номере за 1928 год опубликовал отрывок из романа «Чевенгур» под заголовком «Приключение».

В обзоре «толстых» журналов за 1928 год известный критик А. Лежнев отметил творческий рост молодого писателя***.

Критик Д. Тальников в «Литературных заметках» оценил отрывок «Приключение» из романа «Чевенгур» в контексте прозы о деревне, увидел в Платонове продолжателя традиций Чехова и Бунина: «Творчество этого молодого писателя говорит, что мы имеем дело с подлинным художественным дарованием, требующим самого внимательного и бережного отношения к себе».

---

* Списки писателей — членов горкома писателей и групкома издательства «Советский писатель». Машинопись с правкой А. И. Вьюркова // РГАЛИ, ф. 1452, оп. 1, ед. хр. 205.

** *Гусев Вл.* ...Минуту молчания //Октябрь. 1988. № 11. С. 164.

*** *Лежнев А.* Литературные заметки. О «толстых» журналах» // Правда. 1928. 10 июня. С. 7.

Фрагмент из романа «Приключение» дал возможность Тальникову увидеть его «превосходную художественную силу»: «Язык Платонова — крепкий, сжатый, свежий...». У Платонова «все... глубоко российское» (Красная новь. 1929. № 1. С. 247).

Платонов надеялся опубликовать «Чевенгур» в журнале «Красная новь», в издательствах «Молодая гвардия» и «Федерация». Но судьба романа складывалась трудно. Из «Федерации» автор получил текст обратно, исчеркнанный красным карандашом.

Платонов решил обратиться за поддержкой к Горькому. Летом 1929 года Платонов встретился с Горьким у него дома. В августе 1929 года он передал Горькому рукопись романа с письмом: «говорят, что революция в романе изображена неправильно, что все произведение поймут даже как контрреволюционное. Я же работал совсем с другими чувствами, и теперь не знаю, что делать... В романе содержится честная попытка изобразить начало коммунистического общества» (*Письма Горькому*, с. 176).

Горький в письме Платонову о «Чевенгуре» в октябре 1929 года высоко оценил талант автора, но предсказал, что цензура не пропустит роман в печать из-за «анархического умонастроения» автора. Упреки в «анархическом умонастроении» полностью совпадали с выводами рапповской критики о рассказе «Усомнившийся Макар».

Ситуация несовпадения замысла произведения и его результата повторится у Платонова год спустя с повестью «Впрок». Платонов сам был удивлен тем, что его «бедняцкую хронику» признали вредным произведением: «первичные намерения автора не меняют дела — важен результат», — писал он*.

Публикация романа «Чевенгур» сорвалась из-за скандала в 1929 году с рассказом «Усомнившийся Макар».

«Усомнившийся Макар»: «...где же тут наука и техника?»

С 1928 по 1930 год вместе с воронежскими писателями А. Новиковым и Н. Тришиным Платонов работал в «Крестьянской радиогазете». Об этой странице творческой биографии Платонова свиде-

* Грех перед нечистыми: Неизвестное письмо Андрея Платонова Сталину / Публикация Т. Дубинской и Т. Джалилова // Новая газета. 1999. 1—7 марта.

тельствует фотография с подписью «Трое воронежских писателей», где они были сфотографированы в редакции «Крестьянской радиогазеты» (*Воспоминания*, с. 165).

Платонов написал для радиогазеты серию «былей» о Макаре. Рассказ «Усомнившийся Макар» представляет собою переработку одной из них.

Герой рассказа, деревенский мужик Макар Ганушкин усомнился в правильности того, что в его селе «умнейший» Лев Чумовой присвоил себе право думать за всех и «руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу». В первых строках рассказа возникал вполне узнаваемый образ «вождя», живущего «голым умом», от которого народ постоянно ждет «какого-нибудь принятия мер».

За истиной Макар едет в Москву. В столице, в поисках пролетариата он попадает в ночлежку.

Уснув на государственной койке, Макар видит сон: на горе стоял научный человек, «не видя горюющего Макара и думая лишь о целостном масштабе…».

Платоновский «частный Макар» почувствовал свою ненужность в бюрократическом государстве, где лишь декларировалась забота о «великих массах»: «— Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? — спросил Макар…» во сне. В его вопросе звучала вариация темы, волновавшей героя «Котлована»: «Вощев <…> не знал — полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется?»

В рассказе «Усомнившийся Макар» разворачивается вариация сюжета «Котлована»: тот же «задумавшийся» о смысле жизни «государственный житель» отправляется в путь за истиной.

На его пути встречается строительство — «Вечный дом из железа, бетона, стали и вечного стекла», в котором читатель мог узнать реальный «дом на набережной», строившийся в Москве по проекту архитектора Б. Иофана. Отощавший в дороге Макар, как и Вощев, отправился в барак строителей к общему котлу, где наелся каши.

Макар всюду интересуется техникой — «будущим благом для всех людей», верит в улучшение жизни деревни с помощью машин: герой Платонова принимает индустриализацию.

Однако новые технические устройства, которые постоянно изобретает Макар, оказываются никому не нужными.

В рассказе продолжается платоновский мотив «строительства души». В ночлежке Макар говорит пролетариям о непорядках в государстве, но в ответ слышит требование: «Даешь душу, раз ты изобретатель!»

Намерение участвовать в «строительстве души» высказывал герой «Рассказа о многих интересных вещах»: «А я буду делать хорошие души из рассыпанных, потерянных слов. Я слеплю их все сначала».

В «Котловане» инженер Прушевский боялся возводить «пустые дома», не умея предвидеть устройства души их будущих жителей.

Публикация рассказа «Усомнившийся Макар» в рапповском журнале «Октябрь» вызвала гнев Сталина и громкий политический скандал. Сталин впервые обратил внимание на Платонова. По его указанию руководитель РАППа Леопольд Авербах написал о рассказе «Усомнившийся Макар» разгромную статью.

Л. Авербах вычитал в рассказе «идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии», «нигилистическую распущенность и анархо-индивидуалистическую фронду»*. Статья влиятельного рапповского лидера была напечатана трижды: в журналах «На литературном посту» и «Октябрь» и в партийной газете «Правда».

Выступление Леопольда Авербаха выглядело зловещим не только потому, что он возглавлял РАПП и был генеральным секретарем Федерации советских писателей. Авербах руководил пролетарской литературой благодаря родству с Г. Ягодой — в то время заместителем шефа ОГПУ Менжинского. Современники прекрасно знали, что Авербах близок к Сталину.

Вслед за Авербахом, как по сигналу, повторяя те же обвинения, на Платонова обрушились другие рапповские критики. Репутация Платонова как пролетарского писателя была навсегда разрушена.

Редактор журнала «Октябрь» А. Фадеев в письме деятелю партии Р. Землячке в декабре 1929 сообщал: «Я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова, за что мне поделом попало от Сталина — рассказ анархистский»**.

---

* *Авербах Л.* О целостных масштабах и частных Макарах // На литературном посту. 1929. № 21—22. С. 17.

** *Фадеев А.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1977, т. 7. с. 40.

После пережитого Платонов писал Горькому: «Быть отвергнутым мучительно», «жить с клеймом классового врага невозможно», «мне тяжело» (21.IX.1929).

Вскоре на Платонова обрушился еще один тяжелый удар: «В 1930 году в издательстве “Молодая гвардия” вышла верстка романа, более того, на ней есть и редакторская, и авторская правка, свидетельствующая о подготовке романа к печати»*.

Уже подготовленный к печати роман так и не вышел в свет.

Настораживает совпадение: травля Платонова началась именно в тот момент, когда к нему должно было прийти заслуженное признание.

За свое правдивое пророческое слово Платонов заплатил судьбой мученика.

Его травили собратья по перу, бездарности, управлявшие литературой. Они же дрались между собой за то, чтобы привлечь Платонова в свой журнал, в свою литературную группу, в свой круг.

Несмотря на уничтожающую критику, Платонов продолжал много работать. По совету Горького обратился к драматургии: в ответ на просьбу помочь с публикацией романа «Чевенгур» он получил совет переделать роман в пьесу.

Комедию «Шарманка» Платонов написал для МХАТа в 1930 году. В комедии с самого начала обозначен мотив странствия «в даль страны», его звучание усиливается повтором в песне, которую поют юные культработники Мюд и Алеша.

Девочка-подросток Мюд — «дитя всего международного пролетариата», ее спутник Алеша — странник, музыкант и изобретатель железного человека-робота Кузьмы, исполняющего функции аттракциона. «Механический гражданин» скрежещущим голосом произносит лозунги и является авторской пародией на замыслы «нормализованного работника». Но робот Кузьма одухотворен, и Мюд испытывает к нему привязанность и жалость.

Герои «Шарманки» встречают на пути «постройку в пустоте», в их песне звучат слова о построении «счастливого... дома».

В комедии возникает тема продажи души: духовную «надстройку» и энтузиазм советских людей хочет купить прибывший в страну социализма европейский профессор Стервенсен.

---

* *Корниенко Н.* Андрей Платонов: «Не отказываться от своего разума» // Дружба народов. 1989. № 11. С. 246.

Сюжетная ситуация покупки души социализма повторяет известный сюжет продажи души дьяволу. Но автор «Шарманки» хранит в памяти еще один вариант этого сюжета — результат внимательного чтения трудов А. А. Богданова. В его статье «Возможно ли пролетарское искусство?» высказывалось предостережение, что для пролетариев существует опасность: «продать им (творцам буржуазной культуры. — *Н. М.*)... свою классовую душу»*.

Европейский ученый желает получить недостающую капиталистическому миру «небесную радость земного труда».

Вместо стройки нового мира Стервенсен, Мюд и Алеша попадают в организацию, исказившую социалистическую идею, — пищевой кооператив, возглавляемый бюрократом Щоевым.

В кооперативе изобретают искусственную пищу, устраивают для иностранных гостей показной бал новой еды, непригодной для людей.

В стране социализма западный ученый находит единственного человека, который выдержал проверку на преданность новому миру — это Мюд. Алеша не выдерживает испытания капиталистическим искушением и соглашается продать душу за дирижабль.

В финале враждебный принципам социалистического мира кооператив исчезает с лица земли, освобождая место для истинной стройки социализма.

Бедняцкая хроника

В 1931 году разразился громкий политический скандал, вызванный публикацией повести «Впрок» в журнале «Красная новь». Повесть привела в бешенство Сталина, он исписал поля журнала ругательствами в адрес Платонова. Сведения об этом событии мгновенно распространились по литературной Москве. Мнение Сталина о повести передано в статье Фадеева «Об одной кулацкой хронике», написанной на основе сталинского разноса.

В. Каверин в мемуарах о том времени рассказал легенду о вине Фадеева перед Платоновым: она состояла в его редакторской небрежности — в повести при публикации были выделены особенно острые места, что привлекло к ним внимание Сталина.

---

* *Богданов А. А.* Возможно ли пролетарское искусство? // *Богданов А. А.* О пролетарской культуре. Л.; М., 1924, с. 416.

Каверин совершенно прав: на страницах «Красной нови» в повести «Впрок» действительно были выделены строки (но не жирным шрифтом, а разрядкой). Однако вина Фадеева в истории политического скандала вокруг платоновской повести была гораздо более серьезной.

«Решение работать над рукописью “Впрок”, несмотря на ее огромные идеологические ошибки, было принято редакторами именно для того, чтобы попытаться вырвать Платонова из рук этой банды. Такую попытку надо сделать, тем более, что Платонов сам хочет изменить свои позиции. Сейчас, как уже сказано, большой помехой является материальный момент», — сообщал в ОГПУ осведомитель (*Документы ОГПУ*, с. 849—850).

Речь идет о том, что Фадеев, вопреки желанию Платонова, настоял на печатании рукописи «Впрок», а потом отошел в сторону и скрыл, что принял решение о ее публикации.

Сталин открыто назвал Платонова «кулацким агентом» и врагом народа за его повесть «Впрок», заметив связь взглядов писателя с осужденными идеями экономистов-аграрников Кондратьева и Чаянова.

Платонов был очень удивлен столь яростной реакцией. Он искренне считал литературу делом второстепенным и не придавал ей политического значения.

После скандала из-за публикации повести «Впрок» Платонов оказался в положении изгоя.

1 февраля 1932 года во Всероссийском Союзе советских писателей был устроен творческий вечер Андрея Платонова. Правда «творческим» его можно было назвать с большой натяжкой.

Вечер проводился в связи с объявленной во Всероссийском союзе советских писателей «реформой» — «приучения писателя к советской действительности», как сказал П. Павленко в докладе на пленуме ВССП 1931 года. Главная задача, по его словам, состояла в том, чтобы «писатели поняли необходимость сначала твердо перестроиться политически, найти политические взгляды, их оформить, а затем уже переходить к творческой работе» (РГАЛИ, ф. 2129, оп. 1, ед. хр. 161, л. 1, 27).

В выступлении на вечере Петр Павленко сообщил, что происходило с Платоновым после политического скандала 1931 года: «За последний год Платонов был популярнейшей личностью»; «его раскулачивали как писателя, занимавшего враждебные пози-

ции, проводящего идеи, несовместимые с именем советского писателя, и мы все были свидетелями, как в результате этой кампании Платонов как бы оказался вне советской и писательской общественности» (*Стенограмма*, с. 98).

Из этой речи Павленко о Платонове становится понятно, что именно признание Платонова в литературной среде явилось главной причиной того, что писатель попал в положение изгоя. Платонова замалчивали и не печатали из-за того, что он был талантливым художником.

Критик Н. И. Замошкин, выступая на «творческом вечере» Платонова, отметил «двойственность» героев романа «Чевенгур» и повести «Сокровенный человек» — «отсталых рабочих — полукрестьян, полурабочих»: «С одной стороны, мы видим этих рабочих, “святых людей”, мечтающих о социализме как о рае, необыкновенно честных людей. Это поражало какой-то чистотой, верой.

С другой стороны — совершенно отсталые люди, показанные в виде этих честных ребят. Отсталость их заключалась в непонимании Октябрьской революции, принципов революции <...>.

Его творчество надо понимать как творчество с явно кулацким уклоном, с явно резким оппозиционным уклоном, и только теперь раскрылась вся эта картина» (*Стенограмма*, с. 110—111).

Появление повести закрепило мнение о Платонове как о гениальном писателе, что подтверждено свидетельствами многих его современников.

На многих произвело впечатление то, что Платонов изобрел приемы органичного синтеза художественной прозы с описаниями технических проектов и решений производственных задач.

И. А. Сац во внутренней рецензии на повесть Платонова «Впрок» для издательства ОГИЗ высоко оценил в книге «технические очерки, очень хорошо написанные и показывающие, как глубоко и серьезно автор, не в пример большинству очеркистов, думал над техническими и экономическими вопросами» (*Воспоминания*, с. 283).

По накалу обрушившейся на Платонова травли можно понять, что она была вызвана не только публикацией повести «Впрок». Властям, пристально следившим за писателем, было известно содержание «Котлована», где Платонов вывел беспощадно правдивую формулу эпохи лагерного социализма.

Платонов показал, что попытка строительства «общепролетарского дома» всеобщего счастья обернулась бездонной могилой — дорогой в ад — для землекопов, которые рыли яму под фундамент «дома». Гениальная интуиция художника позволила ему — первому в русской литературе XX века — увидеть и показать тот дощатый барак, в котором ночуют обессиленные каторжным трудом невольники лагерных строек социализма.

Именно со времени окончания работы над «Котлованом», с 1930 года, за Платоновым было установлено постоянное наблюдение ОГПУ—НКВД.

Повесть «Котлован» — самое совершенное творение Платонова — не была опубликована при жизни автора.

Писатель надеялся напечатать «Котлован»: тщательно правил текст повести, устранял опечатки, планировал отдать ее в издательство «Пролетарий» (*Корниенко Н.* Андрей Платонов: «Не отказываться от своего разума» // Дружба народов. 1989. № 11), надеялся напечатать в журнале «Красная новь».

По отношению к судьбе повести «Котлован» сбылись худшие опасения Платонова.

Через два-три года после безрезультатных хождений по редакциям Платонов увидел изуродованное повторение своего замысла в чужой книге: в 1934 году вышла в свет коллективная книга о строительстве Беломоро-Балтийского канала.

В коллективной книге о жизни заключенных в советском концлагере (на строительстве Беломоро-Балтийского канала имени Сталина) ложь была умело перемешана с правдой. И далеко не каждый читатель смог бы отделить здесь вымысел от реальности.

Вместо полных достоинства инженеров, которых Платонов боготворил, сравнивая с Леонардо да Винчи, на строительстве канала трудились заключенные, которых пригнали для принудительной работы. Их назвали вредителями по сфабрикованным обвинениям, вынудили работать бесплатно и жить в нечеловеческих условиях.

В письме Платонова Горькому от 23 сентября 1933 года есть полное отчаяния признание: «я работаю, как в запертом сундуке» (*Письма Горькому*, с. 182).

Лишь несколько лет спустя, после того как административное замалчивание творчества Платонова, равносильное его запреще-

нию, приобрело хронические формы, на поверхность случайно вырвалось признание, приоткрывшее отношение писателя к ситуации.

Поэт Виктор Боков, с которым Платонов познакомился в 1936 году, написал ему 1 мая 1940 года:

«Дорогой Андрей Платонович! Я понимаю ваше внутреннее состояние последнего времени, и оно беспокоит меня и отдается во мне страданием <...> я был потрясен <...> с ужасом видя, что уровень всех литераторов настолько низок, что они не могут не только создать что-либо выдающееся, но даже почувствовать, понять выдающееся. Мне хотелось кричать: "Караул, помогите, грабят!" С чем же это можно сравнить, как не с разбоем, замалчивание Вас как писателя.

Я имею в виду замалчивание административное, которое в наши дни равносильно запрещению <...>. Я знаю людей, которые не признают вас, и знаю людей, которые говорят "изумительнейший писатель". Но мне приходилось убеждаться, что вторые так же мало понимают вас, как и первые, они это говорят из маленького оппозиционного зуда, который щекочет их и которым они в меру щеголяют, чтобы показаться умными. Эти люди чуть похитрее простаков, вообще ничего не понимающих, но нисколько не умнее и не одареннее их» (*Творчество Андрея Платонова.* Исследования и материалы. СПб., 1995. С. 175).

Слова Бокова о том, что Платонова ограбили, более всего относятся к запрету повести «Котлован». Сравнить с разбоем можно то, к чему привело замалчивание повести «Котлован».

Особое и, возможно, менее зависимое положение Платонова в литературной среде было обусловлено тем, что он и в Москве продолжал работать инженером.

В 1931 году Платонов встретил старого знакомого — переведенного в Москву Божко-Божинского, который возглавил Республиканский трест по производству и ремонту мер и весов («Росметровес»). В этот трест Божко-Божинский принял Платонова на должность старшего инженера-конструктора.

Платонов работал там с 1932 по 1936 год. Он продолжал с успехом изобретать: «В последних числах сентября и в начале октября я дважды разговаривал с Андреем Платоновым. В первой беседе он рассказывал о своих технических изобретениях (электровоздушном подшипнике и об электро-кварцевых весах). Идея обоих

изобретений одобрена БРИЗом (Бюро рационализаторства и изобретательства) и соотв<етствующим> трестом, сейчас производятся расчеты, в 1932 г. подшипник будет сдан для производства; весы должны проверяться на ряде опытов. Однако, материальное положение Платонова тяжелое. За изобретения он не получил еще денег, кроме тех, которые полагаются ему как работнику треста Метровес», — сообщает в ОГПУ 20 октября 1933 года человек из близкого окружения писателя (*Документы ОГПУ*, с. 852).

В справке, составленной на Платонова оперуполномоченным 4-го отделения секретно-политического отдела ОГПУ Н. Х. Шиваровым в 1932 году, сказано: «Среду профессиональных литераторов избегает» (*Шенталинский*, с. 283).

Однако в начале 30-х годов складывается московский круг литературного общения Платонова: Андрей Новиков, Сергей Буданцев, И. Сац, Эм. Миндлин, Константин Большаков, Лев Гумилевский, Василий Гроссман, Михаил Шолохов и др.

В 1933 году Платонов написал рассказ «Мусорный ветер» о фашистском концлагере. В 1934 году он отослал рассказ на отзыв Горькому.

Горькому показалось, что рассказ «граничит с мрачным бредом». На самом деле «Мусорный ветер» был произведением честным и пророческим.

Этот рассказ материализовался из атмосферы эпохи: он был написан почти одновременно с документальным коллективным произведением о лагерном строительстве Беломоро-Балтийского канала (книга вышла в 1934 году), куда выезжала большая группа писателей во главе с Горьким.

В «Мусорном ветре» создан достоверный образ концлагеря, превратившего «физика космических пространств» Лихтенберга в существо, мало похожее на человека.

Осведомитель НКВД сообщал: «положение о вырождении искусства при социализме и коммунизме в силу давления на него требований диктатуры Платонов прежде упорно и неоднократно высказывал и как развитие этого положения — приравнивал социалистический строй СССР к фашизму Германии...» (*Документы ОГПУ*, с. 860).

Повесть «Ювенильное море (Море юности)» (1932) попала в категорию арестованных произведений и нашлась в деле, заведенном на Платонова в ОГПУ в 1933 году.

Платонов тщетно добивается публикации пьесы «Высокое напряжение» (1931), одобренной Горьким.

В марте 1934 года в составе бригады московских писателей Платонов едет в Туркмению. Вернувшись из командировки 19 мая 1934 года, он подает заявление о вступлении в Союз советских писателей (Шенталинский, с. 280).

В 1934 году произошел прорыв запрета на публикацию произведений Платонова: журнал «Тридцать дней» (редактор П. Павленко) печатает рассказ «Любовь к дальнему», представленный как отрывок из романа «Счастливая Москва». Над романом о судьбе юной девушки — «сироты революции» Платонов в то время работал.

В девушке с именем города и символической фамилией Честнова автор видит черты человека будущего — «высшей» духовной личности. Она встречает на своем пути «нового человека» Виктора Божко, который помогает ей выучиться на парашютистку и приобщиться к элите социалистического общества. Однако наметившийся в первых главах романа стремительный взлет героини резко обрывается. Достигнув успеха, она переживает катастрофу и опускается с неба под землю, а потом — на дно жизни.

В 1936 году перед Платоновым вновь открылись двери журнала «Красная новь». Здесь опубликованы рассказы «Третий сын» и «Глиняный дом в уездном саду» (под названием «Нужная родина»).

В рассказе «Третий сын» Платонов раскрылся как мастер психологического анализа. Здесь он обратился к бесконечно дорогому для него образу матери. Мать всегда являлась для Платонов идеалом служения и самоотдачи. Материнская любовь была для детей опорой и защитой. Переживание сыновьями смерти матери изображено в рассказе как мера их человечности.

В рассказе «Нужная родина» в доме кузнеца Якова Саввича появляется мальчик-сирота и остается у него жить. Ребенок пытается найти «в деревьях, в мелких насекомых и в неизвестных мертвых предметах какого-либо родства себе, привязанности и взаимного горя одиночества».

Платонов всегда старался даже для самого обездоленного человека проложить путь к спасению через жертвенное служение еще более слабым и беспомощным. Мальчик нашел в глиняном доме на задворках сада брошенную всеми старуху и обрел то, что искал — человека, которому он нужен.

В это время Платонов хлопочет о судьбе повести «Джан» и вновь надеется на помощь Горького. Он узнает, что Всеволод Иванов едет в Крым на встречу с Горьким.

22 января 1936 года Платонов пишет Всеволоду Иванову с мольбой о помощи:

«Уважаемый Всеволод Вячеславович!

Я к Вам обращаюсь с одной просьбой. <...> От В. Шкловского я случайно узнал, что Вы едете к А. М. Горькому. <...> По договору с редакцией “Две пятилетки” я написал повесть под названием “Джан” (душа). <...> Повесть эта, если она подойдет, будет напечатана в специальных книгах, выпускаемых к 20-летию Октябрьской революции, то есть в 1937 году.

У меня есть надежда, что если бы эта повесть была опубликована, она сняла с меня тяжесть, которую я ношу за многие свои ошибки. Но опубликование ее категорически запрещено впредь до издания книги “Люди пятилетки”, то есть до 1937 года.

<...> для меня это очень важное дело: мне будет сильно облегчена жизнь и главное — дальнейшая работа». (РГБ. Архив Вс. Иванова. ф. 673. к. 45. ед. хр. 35).

28 января 1936 года главный редактор «Красной нови» В. Ермилов пишет Платонову: «Дорогой Андрей. Как обстоят дела с твоим рассказом? Очень прошу Тебя не задержать — нам необходим он не позже послезавтра. Черкни, пожалуйста, как обстоят дела. Привет. В. Ермилов.

P. S. Кстати, твой рассказ в первом номере пользуется широкой популярностью» (*Воспоминания*, с. 474).

В письме, несмотря на слова одобрения, сквозит небрежность: редактор не помнит, что в журнале напечатан не один, а два платоновских рассказа, и непонятно, какой из них удостоился похвалы.

В начале 1936 года Платонова пригласили участвовать в работе над новой коллективной книгой о героях-железнодорожниках, где редактором назначен В. Ермилов (*Воспоминания*, с. 327).

Платонов получил для разработки две темы. Ему предстояло создать литературные портреты героев-орденоносцев: начальника станции Красный Лиман Донецкой железной дороги Э. К. Цейтлина и главного конструктора Краснолиманского отделения службы эксплуатации А. П. Ворона. Сделать порученную работу требовалось всего за один месяц.

В этой ситуации Платонов решился уйти из «Росметровеса». Попытки уволиться из треста, сохранив за собой возможность выполнять сдельную работу, чтобы обеспечить минимальный прожиточный уровень семьи, Платонов предпринимал с середины 1935 года. В марте 1936 года управление треста «Росметровес» приняло решение о переводе Платонова на сдельную оплату за его конструкторскую работу.

О начальнике станции Красный Лиман Платонов написал рассказ, который стал ярким событием литературной жизни 1930-х годов.

Рассказ «Бессмертие» был единственным произведением Платонова 1930-х годов, за которое он удостоился похвалы секретаря СП В. П. Ставского в докладе на собрании московских писателей 10 марта 1936 года. После этого рассказ «Бессмертие» благосклонно приняла критика.

Однако судьба рассказа складывалась трудно и драматично. Попытка Платонова его напечатать обернулась громким литературным скандалом*.

Из-за того, что редакторы журналов боялись связываться с опальным Платоновым (за публикацию его произведения можно было лишиться работы), рассказ не удавалось напечатать. Тогда его поместил на своих страницах журнал «Литературный критик». Необычность события состояла в том, что теоретический и литературно-критический журнал не печатал художественные произведения ни до, ни после рассказов Платонова.

Считалось, что с публикации этих рассказов начался «роман» Платонова с журналом «Литературный критик» и обращение к литературной критике: в журналах «Литературный критик» и «Литературное обозрение» с 1936 по 1941 год регулярно публиковались критические статьи Платонова.

Однако дебютом Платонова-критика стала драма-пародия в стихах «Лепящий улыбку», напечатанная в «Литературном обозрении» — журнале, который был «тонким» спутником «Литературного критика»**.

---

* См. об этом: *Белая Г. А.* Литературный критик // Очерки истории русской журналистики. 1935—1945. М.: Наука, 1968, с. 218—252.

** *Платонов А.* Лепящий улыбку (драма в 7 действиях с эпиграфом) // Литературное обозрение. 1936. № 18. С. 47—50. Разыскание Н. М. Малыгиной — см.: Эстетика Андрея Платонова. Иркутск, 1985, с. 115; 140.

В 1936 году Платонов получил новое задание — написать еще об одном герое труда, железнодорожнике. Для встречи с ним Платонов получил командировку в поселок Медвежья Гора — место ссылки, где жили репрессированные инженеры, работавшие на постройке Беломоро-Балтийского канала.

Платонов напишет о стрелочнике из поселка Медвежья Гора рассказ «Среди животных и растений».

В феврале 1937 года Платонов получил командировку журнала «Литературный критик» в поездку из Ленинграда в Москву по маршруту Радищева, собирать материал для романа «Путешествие из Ленинграда в Москву в 1937 году». Он решил проделать этот путь, как и Радищев, — на лошади. С этой целью он намеревался купить лошадь.

Тем временем творчество Платонова продолжали противопоставлять советской литературе: «Порочность метода Платонова выявляется с особенной силой», ибо он является «носителем темы одиночества», «все время *остро ощущает свою отчужденность от окружающих, страдает от этого*» (курсив мой. — *Н. М.*)*.

В 1939 году Платонов составил книгу критических статей «Размышления читателя». Писатель радовался выходу сигнального экземпляра книги в августе 1939 года, на который «Вечерняя Москва» 27 августа успела напечатать рецензию**.

Издание книги сорвалось из-за кампании ожесточенной травли журнала «Литературный критик», развернутой в 1939 году.

Настоящую войну против журнала организовал Фадеев. Дружеское отношение редколлегии «Литературного критика» к Платонову стало одним из пунктов обвинения редколлегии журнала: «Шаг “Литературного критика” был не проявлением минутного увлечения, а началом глубокой и прочной привязанности журнала к А. Платонову»***.

Публикации платоновских статей в журнале подверглись ожесточенной критике в редакционной статье журнала «Большевик» «О некоторых литературно-критических журналах»****.

---

* *Костелянец Б.* Фальшивый гуманизм // Звезда. 1939. № 1. С. 255.

** Б. п. «Размышления читателя» // «Вечерняя Москва». 1939. 27 авг.

*** *Костелянец Б.* Указ. соч.

**** О некоторых литературно-художественных журналах // Большевик. 1939. № 14.

10 сентября 1939 года в «Литературной газете» появилась статья Ермилова «О вредных взглядах “Литературного критика”»* с нападками на Платонова. Это было дурным предзнаменованием.

«Сейчас Е. Усиевич и “Литературный критик” в целом покровительствуют Андрею Платонову, он у них в редакции чуть ли не “пророк”...» — сообщал Ермилов в письме Фадееву 1939 года.

Ермилов доносил А. Фадееву на писателей, которые осмеливались сочувствовать Платонову: «сейчас выяснились болельщики за Платонова… Даже у таких людей, как В. Катаев, Е. Петров, не говоря уже о Рыкачеве, Мунблите, Ф. Левине, имеется нечто вроде культа Платонова. Благоговеют перед ним…» (Письма В. Ермилова А. Жданову и А. Фадееву // *Воспоминания*, с. 228).

Платонов знал, какую роль играли тогда в литературной жизни и в его судьбе Фадеев и Ермилов. В сообщении о «беседе» с Платоновым 4 октября 1939 года осведомитель писал: «По мнению Платонова, общие условия литературного творчества сейчас очень тяжелы, так как писатели находятся во власти бездарностей, которым партия доверяет. К числу таких бездарностей относятся Фадеев и Ермилов» (*Документы ОГПУ*, с. 864—865).

Можно не сомневаться, что мнение Платонова о Фадееве и Ермилове стало им известно.

Донос Ермилова на Платонова был звеном в цепи продуманных действий А. Фадеева, направленных на уничтожение журнала «Литературный критик». В борьбе против него бывшие руководители РАПП не гнушались любыми средствами. Обнаружилась докладная записка А. Фадеева и В. Кирпотина секретарям ЦК ВКП(б) Сталину, В. Молотову, А. Жданову, А. Андрееву и Г. Маленкову «Об антипартийной группировке в советской критике», поданная адресатам 10 февраля 1940 года.

В записке Сталину А. Фадеев и В. Кирпотин особо обращали внимание вождя на то, что сборник критических статей Платонова «Размышления читателя», «редактировавшийся Е. Усиевич, был изъят как антисоветская книга»**.

---

* *Ермилов В.* О вредных взглядах «Литературного критика» // Лит. газета. 1939. 10 сент.

** Из докладной записки секретарей ССП СССР А. А. Фадеева и В. Я. Кирпотина секретарям ЦК ВКП(б) «Об антипартийной группировке в советской критике» // Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917—1953. М., 2002. С. 439—444.

Статьи и донос Ермилова на Платонова в 1939 году предварили партийное постановление 1940 года, по которому были закрыты журналы «Литературный критик» и «Литературное обозрение» и уничтожена секция критики в Союзе писателей.

Положение Платонова усугубилось арестом 4 мая 1938 года сына Платона (1922—1943). Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения и сослан в Норильлаг. Платон был освобожден 26 октября 1940 года. Вдова писателя Мария Александровна (1903—1983) рассказывала, что сын вернулся домой уже смертельно больным, его вынесли из вагона на простыне вместо носилок: он был так истощен, что не мог ходить. Платон скончался 4 января 1943 года от туберкулеза, которым заболел в лагере.

Освобождению сына Платонова помог Шолохов, лично обратившийся к Сталину. Свидетельства, раскрывающие характер участия Шолохова в судьбе юноши, сохранились в донесениях осведомителей НКВД от 12 марта 1939 года и 1 апреля 1939 года. Хлопоты Шолохова продвигались медленно и трудно: «в каждый свой приезд обещает помочь ему, берет у него письма для передачи тов. Сталину. Теперь он говорит, что передавал их не Сталину, а непосредственно Ежову, а Ежов все письма и заявления, не читая, бросал в корзину».

Осведомитель сообщал: «Шолохов обещал передать письмо тов. Сталину и сам советовал, что писать: он говорил “прямо проси освобождения”. Ответа Платонов не получил. Через два месяца Шолохов приехал снова, очень удивился, почему нет ответа, и взялся передать еще одно письмо; кроме того он обещал лично переговорить с тов. Берия, которого уже однажды видел. <...>

После этой встречи с Шолоховым Платонов впал в отчаяние: Шолохов рассказал ему об антисоветских методах допросов, которые, по его словам, применялись широко в системе НКВД в 1937 году не только на периферии, но и в центре для получения сознания своей вины со стороны абсолютно невиновных людей» (*Документы ОГПУ*, с. 880, 883).

За все 30-е годы у Платонова издана только одна книга. Небольшой сборник «Река Потудань» (1937) вызвал единственный известный отклик эмигрантской критики. О книге Платонова написал в заметках о советской литературе за 1938 год Г. Адамович.

Вопреки мрачным обстоятельствам, предвоенные рассказы Платонова озарены светом. В сентябре 1939 года в сдвоенном

номере 8—9 журнала «Тридцать дней», сразу за официальными сообщениями о фактическом начале Второй мировой войны, был напечатан рассказ Платонова «Свет жизни».

В 1941 году в журнале «Дружные ребята» был напечатан рассказ Платонова «В прекрасном и яростном мире» под названием «Воображаемый свет». Платонов по-новому раскрыл постоянный мотив своего творчества — мотив «погасшего солнца», связанный с грозящим человечеству Апокалипсисом.

«Воображаемый свет» — это мир, который герой продолжает видеть в своем воображении после того, как ослеп.

С первых дней войны Платонов стремился на фронт. В октябре 1941 года Платонов с женой были отправлены в эвакуацию в Уфу. Платонов рвался в Москву. Добиться разрешения вернуться в столицу было нелегко. Пришлось обращаться за поддержкой в Президиум Союза советских писателей и военную комиссию ССП.

В сентябре 1942 года в редакцию фронтовой газеты «Красная звезда» впервые вошел Андрей Платонов: «В простой солдатской шинели — ее носили в ту пору не только военнослужащие,— мешковато сидевшей на его плечах, видавших виды сапогах, небритый. Он произвел… впечатление человека неказистого, сумрачного».

Но стоило ему заговорить, «сосредоточенный взгляд его голубых глаз, скупая улыбка и немногословные реплики выдавали личность незаурядную» (*Воспоминания*, с. 105—106).

Портрет Платонова времен войны: «высокий лоб мудреца, жилистая шея и нос, печально склоненный над верхней губой, как падающая Пизанская башня… Он был очень добрым человеком…» (А. Кривицкий).

Для членов редколлегии он оказался совершенно неизвестным автором.

П. Павленко поспешил сообщить редактору газеты «Красная звезда» Д. Ортенбергу о скандале 1931 года. Редактор не поленился разыскать журнал «Красная новь» и перечитать «Впрок». Ожидаемый эффект был достигнут: Ортенберг смертельно боялся последствий появления имени Платонова на страницах «Красной звезды». В редколлегии газеты проклинали В. Гроссмана за его просьбу принять Платонова на работу.

Первый военный рассказ Платонова «Броня» был напечатан чудом: осмелившись на эту публикацию, Ортенберг напряженно

ждал, что на следующий день непременно позвонит сам Сталин и устроит им разнос. Когда этого не случилось, в редакции вздохнули с облегчением. К тому же Платонов сразу покорил газетчиков мастерством своих военных очерков и рассказов. Он всегда умел быть необходимым там, где требовалась реальная работа.

Осенью 1942 года Платонова утверждают военным корреспондентом в действующую армию. В ноябре он отправляется на фронт. Люди из близкого окружения Платонова считали, что в годы войны его творческая судьба изменилась к лучшему. Но Л. Гумилевский ошибался, когда утверждал: «Военные и первые послевоенные годы были самыми полными и творчески счастливыми в жизни Платонова. Печаталось и издавалось все, что он писал».

На самом деле в его рассказах вычеркивалось то, что раскрывало духовный смысл героических поступков советских людей. На первой странице книги «Одухотворенные люди» (1942) Платонов сделал помету: «Сокращенное издание, сильно переработанное редактурой — до искажения» (*Корниенко 1993*).

В дни Белорусской битвы медлительный Платонов проявил редкую оперативность: в «Красной звезде» появились его очерки «Прорыв на Запад», «Дорога на Могилев», «В Могилеве» (1944).

По отношению к написанным в годы войны гениальным рассказам и очеркам Платонова создалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, военные рассказы Платонова, представлявшие собою подлинные шедевры, должны были по справедливости стоять в одном ряду с рассказами А. Толстого, Шолохова, Леонова. Они не только не уступали им, а возможно и превосходили по художественному уровню и писательскому мастерству. Причем сами Шолохов и Леонов это прекрасно понимали. С другой же стороны, та часть критиков, которая вроде бы высоко ценила творчество Платонова 20—30-х годов, упрекала Платонова в том, что писатель в годы войны подчинился требованиям официальной идеологии, из-за чего его военная проза утратила художественную оригинальность.

Платонов прошел всю войну вместе с пехотой. Писать о том, что он не пропустил через себя, не испытал на себе, Платонов не умел. Здесь он делал все, чтобы разделить участь своих героев — рядовых пехотинцев.

Писатель изобрел новые приемы изображения воина-освободителя, защитника своего народа и матери-земли. Уникальность платоновского метода — в предельной честности художника.

Его мужество в это время проявилось не только в том, что Платонов рвался на линию фронта и не раз бывал под огнем противника, сохраняя самообладание; гораздо большей смелости требовало то, что он полностью отказался от изображения руководящей роли партии во время войны.

Платонов был демобилизован с фронта в чине майора в 1944 году из-за болезни.

Подвиг, совершенный Платоновым во время войны, не был замечен и вознагражден по заслугам, хотя писатель совершал его не ради наград. Наградой был дар творчества, не подводивший его в самых суровых условиях.

Главная тайна платоновских рассказов, повестей, романов и пьес — в том, что даже лежащие на поверхности ключи в закрытый от посторонних глаз внутренний мир его долго оставались незамеченными.

Последний акт трагедии, в которую превратилась жизнь Платонова из-за усилившейся травли, пришелся на послевоенные годы. Вернувшемуся с фронта, пережившему смерть 20-летнего сына Платонову был нанесен сокрушительный удар.

Поводом для преследований стала публикация рассказа «Семья Иванова» («Возвращение»)*. Замысел рассказа возник в 1943 году. В архиве писателя сохранился небольшой рассказ «Страх солдата (Петрушка)», главным героем которого был десятилетний Петрушка. С ним встречается солдат в освобожденной от врага деревне. Солдат, знакомый со страхом смерти в бою, испытывает страх перед ребенком, душа которого искалечена войной.

Редактором «Нового мира», напечатавшего рассказ, незадолго перед тем назначили К. Симонова. Он хорошо знал Платонова, служил с ним в газете «Красная звезда». Особых симпатий к Платонову он, по его откровенному признанию, не испытывал. Но случившееся с Платоновым его потрясло, о чем Симонов написал много лет спустя: «Едва успел выйти номер журнала, как Ермилов тиснул в “Литературной газете” погромную статью»**.

Симонов считал, что поспешный отзыв Ермилова появился по указанию Фадеева, который припомнил Платонову разнос, устро-

---

* *Платонов А.* Семья Иванова // Новый мир. 1946. № 10—11.

** *Симонов К.* Глазами человека моего поколения. М., 1990, с. 115—116. Симонов имел в виду статью: *Ермилов В.* Клеветнический рассказ Андрея Платонова // Лит. газета. 1947. 4 янв.

енный ему Сталиным за публикацию повести «Впрок». Симонова больше всего возмущало, что Ермилов «вцепился» в рассказ, хотя «никакой инспирации сверху для этой статьи не было».

Между тем выступление Ермилова определялось партийной политикой тех лет. Ермиловская статья о «Возвращении» появилась сразу после постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», имевшего целью запугать писательскую интеллигенцию, ощутившую в годы войны неожиданную духовную свободу.

Запоздалое раскаяние Ермилова прозвучало в его беседе с критиком В. Левиным, опубликованной в 1964 году в «Литературной газете». Но Ермилов умолчал о том, что после его статьи Платонов до конца жизни был лишен возможности печатать свои произведения и оказался обречен на нищету и голод.

В 1946 году Платонов пытался издать книгу «Вся жизнь». Книга была запрещена. Напечатать удавалось только обработанные Платоновым русские и башкирские сказки.

Одно из последних произведений писателя — пьеса «Ноев ковчег» (1949), над которой он работал в последние дни своей жизни. Здесь образ «корабля спасения» связан с темой единого человечества, которое должно общими усилиями решать судьбу планеты.

Последние годы Платонова прошли в борьбе с тяжелым недугом. Особенно угнетала писателя мысль о том, что хорошие лекарства и необходимое лечение могли вернуть ему здоровье: он был полон нереализованных творческих замыслов.

Тягостная ситуация усугублялась атмосферой постоянной слежки. Писатель находился в изоляции. По воспоминаниям его вдовы Марии Александровны, к ним домой приходили «люди в штатском», но, видя смертельно больного человека, оставляли его в покое.

Платонов умер 5 января 1951 года в своей квартире в Москве. Гражданская панихида прошла в Центральном Доме литераторов. Слово о Платонове произнес В. Гроссман.

Похоронен Платонов на Армянском кладбище, рядом с сыном.

Творческая биография и судьба Платонова — это трагический опыт беспримерной стойкости гениального художника, который в условиях постоянной травли до конца жизни сохранил талант, желание и способность писать.

Непрочитанный Платонов

«Возвращение» Платонова к читателю произошло в 1958 году, когда был издан сборник его рассказов. Настоящие масштабы его творчества открылись в конце 1980-х годов, после издания «Чевенгура», «Котлована» и «Ювенильного моря», запрещенных более полувека — с момента создания.

Времени, прошедшего с тех пор, оказалось недостаточно для того, чтобы принять и освоить оставленное им наследство — его «художественное сокровище».

Платонов мечтал, чтобы «завещанное им слово» не убывало, а умножалось пониманием читателей. Он знал, что существует единственный способ проникнуть в созданный поэтом или писателем художественный мир: «Великий художник требует, чтобы его завоевывали или по крайней мере осваивали» (*РЧ*, с. 111).

Авторы комментариев

Малыгина Н. М. — «Записи потомка» («Память», «Иван Митрич», «Чульдик и Епишка», «Поп», «Мавра Кузьминична», «Экономик Магов», «Цыганский мерин»);

«Из генерального сочинения» («Демьян Фомич — мастер кожаного ходового устройства», «Крюйс», «Душевная ночь», «История иерея Прокопия Жабрина», «Луговые мастера»); «Бучило», «Иван Жох», «Песчаная учительница», «Рассказ о потухшей лампе Ильича», «Родоначальники нации или беспокойные происшествия», «Лунные изыскания», «Отмежевавшийся Макар»;

«Ранние рассказы» («Очередной», «Маркун», «Апалитыч», «Волчок», «Волы», «В мастерских», «Странники», «Серега и я», «Белогорлик», «Живая хата», «Жажда Нищего», «Ерик», «Поэма мысли», «В звездной пустыне», «Володькин муж», «Заметки», «Невозможное», «Сатана мысли», «Приключения Баклажанова», «Данилок», «Доклад управления работ по гидрофикации центральной Азии», «Тютень, Витютень и Протегален», Потомки солнца», «Немые тайны морских глубин», «Рассказ не состоящего больше во жлобах», «Рассказ о многих интересных вещах»).

Матвеева И. И. — рассказы «Антисексус», «Государственный житель», «Война», «Московское общество потребителей литературы», «Надлежащие мероприятия», «Дикое место», «Усомнившийся Макар», очерки «Че-Че-О».

Лосев В. В. — Стихи.

В настоящем томе тексты, дата и место первой публикации в комментариях, кроме специально оговоренных случаев, приводятся по изданию: Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. Т. 1. 1918—1927. Кн. 1. Рассказы. Стихотворения. М.: ИМЛИ РАН, 2004. [Далее в тексте — Сочинения.]

РАССКАЗЫ 1920-х годов

ЗАПИСИ ПОТОМКА

Память (с. 25)

Рассказ впервые опубликован: Вор. ком., 1922, № 176, 6 августа, с. 3, под заголовком «Детские воспоминания», под рубрикой «Литературный день»; подпись: А. Платонов; ЕШ, с. 207—211. Автограф неизвестен. Датируется 1922 годом.

С. 25. ...все старики спят <...> Жизнь человека в смерть переходит через сон. — Ключевой платоновский образ «предсмертного сна». Он возникает в ранней прозе Платонова: «...я все растерял <...> я уморился и сидя сплю» («Волчок», 1920). Образ сна-смерти создает лейтмотив творчества писателя 20—40-х годов.

Осьмушка — восьмая часть фунта.

С. 26. Мамашину однажды хорошей плюхой один мастеровой сделал из двух скул одну... — деталь портрета персонажа напоминает близкого друга Платонова журналиста и писателя Михаила Бахметьева: «М. М. Бахметьев был слаб здоровьем, болел туберкулезом, за перекошенную набок скулу получил кличку “Центрщека”. Михаил на нее не обижался, он был веселым, общительным парнем» (*Ласунский*, с. 108).

В третьем свирепом и долгом побоище Чижовки и Ямской... — Речь идет о быте Ямской слободы, где вырос Платонов. Он писал об этом в автобиографии, включенной в предисловие к книге стихов «Голубая глубина»: «по праздникам (мало-мальски большим) устраивались свирепые драки Ямской с Чижевкой или Троицкой (тоже пригородные слободы). Бились до смерти, до буйного экстаза, только орали: “дай духу!”. Это значит, кому-нибудь дали под сердце, в печенку и он трепетал, белый и умирающий, и вкруг него расступались, чтобы дать ход ветру и прохладе. И опять шла драка, жмокающее месиво мяса» (*ГГ*. С. V—VI).

...принимаю заказы на апостола и прочие торжественные бдения — участие в церковном богослужении в качестве чтеца или певца.

С. 27. Песни были почти без слов и мысли, один человеческий голос и в нем тоска. — Образ песен без слов — один из ключевых в произведениях Платонова, является вариантом образа-символа «музыка», который создает сквозной мотив в творчестве писателя.

Иван Митрич (с. 28)

Рассказ впервые опубликован: Кр. дер., 1921, № 14, 21 января, с. 3, под заглавием «Старые люди. Иван Митрич»; подпись: П.; ЕШ, с. 212—213. Датируется по публикации в Кр. дер.

Митрич — сторож в рассказе «Бучило».

С. 28. Сам он не нужен был никому: стар и неработящ. Зато ему нужны были все. — В характеристике персонажа повторяется описание из очерка Платонова «Герои труда»: «...тянется его жизнь, как нераспутанная нить, и живет он, как чужой. Никому до него нет дела, только ему есть до всех». Речь шла об отце писателя Платоне Фирсовиче Климентове. Очерк опубликован 7 ноября 1920 года в праздничном номере газеты «Воронежская коммуна», посвященном третьей годовщине революции. В рассказе «Старый механик» эта фраза превратится в знаменитый платоновский афоризм: «А без меня народ неполный».

...сманили его монахи поступить в монастырь к угоднику божию Тихону...— Упоминание о монастыре носит автобиографический характер: «В раннем же детстве я жил в Задонске и слышал от деда, через мать, что некогда в Задонск приезжал Достоевский — посмотреть на знаменитый монастырь, где жил Тихон Задонский, сокровище души Достоевского, как он сам об этом писал. Дед был золотых дел мастером, работал на монастырскую ризницу, издавна был связан с монастырем, и наверно слух о посещении Задонска Достоевским имеет некоторые основания» («Че-Че-О»).

Чульдик и Епишка (с. 29)

Рассказ впервые опубликован: Кр. дер., 1920, № 128, 10 августа, с. 2; подпись: Андрей Платонов; ЕШ, с. 214—216. Датируется по публикации в Кр. дер. Газета «Красная деревня» дважды печатала ответы А. Платонова на критику в адрес этого рассказа. Первый — в рубрике «Наша почта» — Кр. дер., 1920, № 136, 19 августа, с. 2:

«Всем, кто писал или хочет писать мне по поводу рассказа “Чульдик и Епишка”. Человека, который ошибается, надо учить, а не смеяться над ним и не ругать его. А то мне теперь от вашего целомудренного визга еще больше думается, что не вы, а я один прав. *А. Платонов*».

Второй — более известный — «Ответ редакции “Трудовой армии” по поводу моего рассказа “Чульдик и Епишка”» // Кр. дер., 1920, № 138, 22 августа, с. 2:

«Вы пишете о великой целомудренной красоте и ее чистых сынах, которые знают, видят и возносят ее.

Меня вы ставите в шайку ее хулителей и поносителей, людей, недостойных ее видеть и не могущих Ее видеть, а потому я должен отойти от дома красоты — искусства, не лапать Ее белые одежды. Не место мне, грязному, там.

Ладно. Я двадцать лет проходил по земле и нигде не встретил того, о чем вы говорите — Красоты.

Должно быть, по тому самому, что она живет вне земли, и ее видели немногие — лучшие и, конечно, не я.

Я думаю не так: это оттого я никогда не встретил Красоты, что ее отдельной, самой по себе — нет.

Она — имущество всех, и мое. Красота — все дни и все вещи, а не одна наземная и недоступная, гордая. Это оттого я не встретил ее и никогда не подумал о Красоте, что я к ней привык, как к матери, о которой я хорошо вспомню, когда она умрет, а сейчас я все забываю о ней, потому что стоит она всегда в душе моей.

Я живу не думаю, а вы, рассуждая, не живете — и ничего не видите, даже красоту, которая неразлучна и верна человеку, как сестра, как невеста.

Вы мало любите и мало видите.

Я человек. Я родился на прекрасной живой земле. О чем вы меня спрашиваете? О какой красоте? О ней может спросить дохлый: для живого нет безобразия.

Я знаю, что я один из самых ничтожных. Это вы верно заметили. Но я знаю еще, чем ничтожней существо, тем оно больше радо жизни, потому что менее всего достойно ее. Самый маленький комарик — самая счастливая душа.

Чем ничтожней существо, тем прекраснее и больше душа его. Этого вы не могли подметить. Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком привычка, для меня редкость и праздник.

Мои товарищи по работе называют меня то ослом, то хулиганом. Я им верю.

Я уверен, что приход пролетарского искусства будет безобразен. Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас. Но не бойтесь, мы очистимся — мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем из грязи. В этом наш смысл. Из нашего уродства вырастает душа мира.

Вы видите только наши заблуждения, а не можете понять, что не блуждаем мы, а ищем.

Человек вышел из червя. Гений рождается из дурачка. Все было грязно и темно — и становится ясным.

Мы идем снизу, помогите нам, верхние, — в этом мой ответ.

Не казаться большим, а быть каким есть — очень важная, никем не ценимая вещь.

Жить а не мечтать, видеть, а не воображать — искусство не по силе людей, но зато и единственно истинное искусство.

А. Платонов».

Этот текст был включен в предисловие к книге стихов Платонова «Голубая глубина» (1922), так как очевидно выражал эстетические взгляды автора.

Поп (с. 31)

Рассказ впервые опубликован: Кр. дер., 1920, № 206, 16 ноября, с. 3; подпись: А. Платонов; ЕШ, с. 217—220. Датируется 1920 годом.

Мавра Кузьминична (с. 33)

Рассказ впервые опубликован в газете «За семь дней». М., 1926, 26 сент., с. 3—4, под заголовком «Герои режимной экономии (быль советских заштатных населенных пунктов)»; в газетной публикации «Мавра Кузьминична» и «Экономик Магов» представляли собою две части одного рассказа. При переиздании в ЕШ (с. 221—222) общий заголовок, сделанный в газетной публикации, был вычеркнут, а части выделены в самостоятельные рассказы.

На раннем этапе работы рассказ носил название «Великие экономики». Датируется 1926 годом.

С. 34. ...старое пышное подвенечное платье с турнюром... — *Турнюр* — принадлежность женского платья, модная в XIX в., в виде подушечки, подкладывалась под платье сзади ниже талии для придания пышности фигуре.

Экономик Магов (с. 35)

Рассказ впервые опубликован в газете «За семь дней». М., 1926, 26 сент., с. 3—4, под заголовком «Герои режимной эконо-

мии (быль советских заштатных населенных пунктов)»; ЕШ, с. 223—225. Датируется 1926 годом.

С. 35. Задонск — древлерусский монастырский центр, город божьих старушек и церковных золотых дел мастеров. — Указание места действия рассказа носит автобиографический характер. Родом из Задонска были родители писателя.

...радиомузыка — замена колокольного звона. В записных книжках есть строки о радиомузыке: «Колхоз возбуждается радиомузыкой» (*Записные книжки,* с. 318). Эпизод, где с помощью радиомузыки «воскрешен» остановившийся экскаватор, является кульминационным в сценарии «Машинист».

С. 36. Ризница — помещение для хранения риз и церковной утвари.

Пономарь — низший церковный служитель в православной церкви, псаломщик.

Рацея — проповедь, назидательная речь, длинное наставление, поучение.

Цыганский мерин (с. 37)

ЕШ. С. 226—229.

Первоначальное заглавие рукописи: «Про цыганскую лошадь» было вычеркнуто и ниже вписано: «Цыганский мерин» (СА).

С. 37. Спрохвала — исподволь, полегоньку, не вдруг.

Жамки — прянички, скатанные в руках и расплюснутые нажимом в обе ладони.

С. 39. Оказывается, мерин, съев резку и сено, закусил соломенной крышей сарая и заел все это плетневой огорожей. — Этот фрагмент вошел в описание Пролетарской силы — могучего коня Копенкина в романе «Чевенгур».

ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ

Демьян Фомич — мастер кожаного ходового устройства (с. 39)

Рассказ впервые опубликован — ЕШ. Датируется 1926 годом. Автограф рукописи сохранился. Первоначальные заголовки: «Правдивая жизнь (Небрежные очерки)», «Рабочие личности» были вычеркнуты. Рукопись без подписи. Первоначально имя героя — Иван — вычеркнуто в названии и в тексте рукописи.

С. 41. Латошник — сапожник, который не шьет сапоги, а только чинит.

Опорки — старые изношенные сапоги со споротыми голенищами, старая изношенная рваная обувь.

С. 42. «Красная новь» — первый советский литературно-художественный журнал, созданный при участии Ленина и Горького. С момента создания редактором его был А. К. Воронский (1921—1927). Платонов был знаком с Воронским, написал ему несколько писем. Из них известны два.

Крюйс (с. 43)

Рассказ впервые опубликован — ЕШ, с. 264—269. Датируется 1927 годом. В СА сохранился фрагмент рукописи 21 главы «Рассказа о многих интересных вещах» с текстом «О земле и о душах тварей, населяющих ее. Сочинение Иоганна Пупкова» (Наша газета, 1923, 5 авг., № 83, с. 2). В рассказе «Крюйс» он получил название «Генеральное сочинение о земле и душах тварей, населяющих ее» (*ЕШ*, с. 267). В рукописи рассказ имел название «Отрывок из генерального сочинения» и подзаголовок — «русский монтаж», указанный в скобках и вычеркнутый.

С. 43. ...потомок давнего голландского адмирала Крюйса — реальное лицо, норвежец Корнелий Крюйс был в 1698 году приглашен императором Петром I на русскую службу в чине вице-адмирала. Служил в Воронеже с 1699 по 1701 и в 1710 годах (*Комментарии. Т. 1.1*. С. 539).

Русский континент пылал и плыл в пышном и страстном июньском солнце. — Образ солнца, виновного в засухе, является центральным в ранней прозе и публицистике писателя.

С. 45. Я был сыном рыбака. — Сын рыбака — одно из определений героя «Чевенгура» Александра Дванова. Под заглавием «Потомок рыбака» появится в печати отрывок из романа «Чевенгур». Устанавливается автобиографический характер образа Александра Дванова.

...стал писателем, потом инженером, потом профработником — краткое изложение реальной биографии автора.

Ребенок твой рос и исполнялся мразью... — трансформированная цитата из евангельского текста: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодати» (От Луки, 2:40 — *Комментарии. Т. 1.1.* С. 540).

...отвращающий взоры от Великого и Невозможного, взыскуя которых только и подобает истощиться чистой и истинной человечьей душе. — Плотская любовь противопоставлена высшим потребностям человеческой души.

...погиб навеки для ожидавших его вышних звезд. — По Платонову, высшее космическое предназначение человека не осуществляется из-за того, что он тратит свои лучшие силы на плотскую любовь.

С. 46. ...опять один и пуст надеждами, как перед нарождением в мир сей натуральный. — В соответствии с мифологическими представлениями у Платонова старость человека отождествляется с рождением.

Душевная ночь (с. 46)

Рассказ впервые опубликован — ЕШ, с. 270—274. Датируется 1927 годом.

В СА сохранилось две рукописи рассказа.

С. 47. Средостение — часть грудной клетки, в данном случае, место, где помещалась мудрость персонажа.

Окомелок — в данном случае, окаменелый кусок.

С. 48. ...Мать его умерла давно <...> Мало имущества у человека! — в рукописи (1): Мать его умерла давно, никто его вспомнит даже днем. Жены не было и нет, и нет в ней особой нужды. Есть мысль — звездоносная сила, есть душа — запретное объятье с землей. Вот и все имущество человека.

Куфарь — кухарь, повар; тот, кто готовит еду.

История иерея Прокопия Жабрина (с. 49)

Впервые опубликован в газете «Репейник», 1923, № 10, 29 апреля, с. 3; за подписью: Иоганн Пупков; ЕШ 275—278. Датируется 1923 годом.

Под псевдонимом Иоганн Пупков опубликованы произведения «Немые тайны морских глубин», «Стихи о человеческой сути». Имя упоминается в рассказе «Бучило» и в «Рассказе о многих интересных вещах».

С. 49. Чрезревуштаб — придуманная автором аббревиатура расшифровывается как Чрезвычайный революционный уездный штаб.

...столп и утверждение истины. — Цитата из Первого послания апостола Павла к Тимофею: «Чтобы <...> ты знал, как должно

поступать в доме Божием, который есть церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).

С. 50. Учека — уездная чрезвычайная комиссия, от ЧК — чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

С. 51. Чрезуфинтройка — придуманная автором аббревиатура, расшифровывается как Чрезвычайная уездная финансовая тройка.

Луговые мастера (с. 51)

Рассказ впервые опубликован в ЕШ, с. 279—284. Рассказ издавался отдельной книгой: «Луговые мастера». М., 1928. Датируется концом 1926 — началом 1927 года.

Содержание рассказа связано с деятельностью Платонова — губернского мелиоратора, который постоянно пропагандировал среди крестьян необходимость проведения мелиоративных работ в Воронежской губернии.

С. 53. ...стал делать в избе особую машину <...>. Машина та должна работать песком — кружиться без останову... — Изготовление вечного двигателя — автобиографический мотив творчества Платонова. Сам он в юности пытался изобрести вечный двигатель, о чем писал в предисловии к «Голубой глубине» Г. З. Литвин-Молотов.

С. 55. Карча — коряга, суковатый пень, ветвистый обломок, целое дерево с корнями, подмытое и снесенное водой.

Бучило (с. 56)

Рассказ впервые опубликован в журнале «Красная нива», 1924, № 43, 26 окт.; ЕШ, с. 64—77. Датируется 1922, 1924 годами.

С этим рассказом Платонов принял участие в конкурсе, объявленном в апреле 1924 года журналом «Красная нива» (№ 14 и № 22). Объявление о конкурсе Платонов мог прочитать в центральных «Известиях» — газете, за которой он внимательно следил. По материалам «Известий» написано немало публицистических статей Платонова 1920-х годов, есть у него и непосредственные отклики на публикации из этой газеты. В состав жюри конкурса журнала «Красная нива» входили А. Луначарский, Ив. Касаткин, В. Правдухин и А. Серафимович. Конкурсные рассказы поступали на рассмотрение жюри анонимно. Платонов прислал свой рассказ под девизом «Песня сокровенная в крови».

Итоги конкурса опубликованы в журнале 7 сентября. Андрей Платонов стал одним из десяти победителей конкурса, которым в качестве приза была предоставлена возможность публикации рассказа на страницах журнала, кроме того они получали премию в 150 рублей сверх гонорара. О премировании Платонова 5 октября сообщала газета «Воронежская коммуна». Публикация премированных произведений началась с 28 сентября 1924 года. Рассказ Платонова печатался пятым, 26 октября 1924 года. По условиям конкурса каждый из участников имел право выдвинуть только один ранее не публиковавшийся рассказ (*Комментарий. Т. 1.1.* С. 508—509).

Произведение Платонова представляло собою переделку написанного два года назад рассказа «Приключения Баклажанова. Бесконечная повесть», опубликованного в газете «Воронежская коммуна» 10 сентября 1922 года (№ 204). После переделки рассказ получил новое название — «Бучило».

Аполлинария Николаевна — В рассказе упоминается первая учительница Платонова. О ней впервые сказано в платоновской автобиографии, вошедшей в предисловие к «Голубой глубине»: «Потом наступило для меня время ученья — отдали меня в церковно-приходскую школу. Была там учительница — Аполлинария Николаевна, я ее никогда не забуду, потому что через нее узнал, что есть пропетая сердцем сказка про человека, родимого “всякому дыханию”, траве и зверю, а не властвующего бога, чуждого буйной зеленой земле, отделенной от неба бесконечностью…»

С. 56. Музавер — безбожник, неверный, басурман, злодей.

Абдул-гамид — прозвище напоминает имя турецкого султана Абдул-Хамида II (1842—1918).

Бучило — пучина, водоворот, омут.

С. 58. …остался на земле навсегда и уже не расставался со своей матерью и породнил звезду с соломой, плетнем и ночной порожней дорогой меж тихих деревень. — Мысль Платонова о родстве человека с земным и космическим миром впервые высказана в автобиографии писателя: «Я уже тогда (речь идет о детстве. — *Н. М.*) понял, <…> что между лопухом, побирушкой, полевой песней и электричеством, паровозом и гудком, содрогающим землю, есть связь, родство…» (*Живя главной жизнью,* с. 162).

Камилавка — маленькая черная шапочка, скуфейка, феска, ермолка.

С. 62. ...живописец Пупков — один из псевдонимов раннего Платонова.

Ливенка — однорядная гармоника.

С. 64. Колотушечник — ночной сторож с колотушкой.

Иван Жох (с. 64)

Рассказ впервые опубликован в ЕШ, с. 81—108. Датируется 1927 годом. В СА сохранился беловой автограф без даты: «Начало пугачевского восстания». Текст этой рукописи соотносится с 1-й главкой рассказа.

По первоначальному замыслу главным героем должен был стать Емельян Пугачев. Об этом свидетельствует письмо Платонова жене от 28 января 1927 года, из которого ясно, что он не собирался включать задуманный роман о Пугачеве в книгу ЕШ: «Пугачева же я начал писать в Москве <...> Пугачева я буду писать долго и старательно и мне нужно много материала к нему. Это роман, который я закончу к осени. <...> Пугачева не ждите — повторяю. Он только начат и будет кончен через полгода минимум. Отрывка я не дам, он бессмысленен и не нужен. Я хочу Пугачева работать для себя, а не для рынка. Будь он проклят!» (*Соч. Т. 1.1*. С. 504). Но, судя по тому, что «отрывок» из романа о Пугачеве все же появился в ЕШ, Платонов пошел на уступки издательству и своему редактору.

В окончательном варианте текста главным героем становится вымышленный двойник Пугачева Иван Жох.

Т. Лангерак отметил, что Платонова подтолкнули к созданию «Ивана Жоха» многочисленные статьи, появившиеся в печати в 1925—1926 годах по случаю 150-летия казни Е. И. Пугачева. Основным источником исторических сведений для Платонова, по мнению исследователя, стала книга Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники» (СПб., 1884).

Рассказ связан с пушкинской традицией. Работая над рассказом, Платонов обращался к текстам повести «Капитанская дочка» и «Истории Пугачева» А. С. Пушкина.

Позднее был выявлен непосредственный источник исторических сведений, которым пользовался Платонов при написании рассказа «Иван Жох» — труд В. Ф. Лифанова «Раскольники и острожники» (М., 1871. Т. 3. С. 388—392).

Отказавшись от Емельяна Пугачева в качестве героя рассказа, Платонов меняет время изображаемых событий — восстание

Ивана Жоха происходит в 1779 году, через пять лет после подавления пугачевского восстания. События пугачевского восстания представлены в рассказе как давно прошедшие.

С. 64. Четырнадцатого декабря 1762 года Екатериною II был обнародован Сенатский указ, до раскольников относящийся. — 1762 год — год низложения с престола российского императора Петра III; Екатерина II — российская императрица с 28 июня 1762 года по 6 ноября 1796 года, самым страшным потрясением во время ее правления был пугачевский бунт 1773—1774 годов; речь идет о сенатском указе «О позволении раскольникам выходить и селиться в России на местах означенных в прилагаемом у сего реестре» (*Соч. Т. 1.1. Комментарии*. С. 516).

С. 65. Обаполо — около, близко, рядом. Слово встречается в «Рассказе о многих интересных вещах» (1923).

С. 66. На хуторе Бессмертном, где заночевал Жох, у него ночью истребили все бумаги <...> антихристовыми печатями... — Уничтожение документов соответствует установлениям секты «бегунов» или «странников». Сектанты придерживались характерных для всех старообрядцев представлений о том, что со времени реформы церкви, осуществленной патриархом Никоном, начался «век антихристов». Они видели единственный выход в разрыве связей с антихристианским мироустройством, к которому относили царя, никонианскую церковь, все установления правительства, в том числе паспорта и другие документы.

Бортный урожай — сбор дикого меда, который накапливался в дуплах деревьев.

С. 67. На том хуторе жили тоже раскольники, но бродяжьего толку <...> По этой вере жители того хутора вечно бродяжили и покою своим ногам не давали. — Речь идет о секте «бегунов» или «странников», представлявшей собою крайнее левое ответвление старообрядчества и возникшей во второй половине XVIII века. «Бегство» они возводили в религиозное служение. «Бегуны» отрицали современное государство, ничего не предлагая взамен. Они хотели выйти из социальной жизни, создать остров свободы в окружавшем их мире несвободы (*Чистов*, с. 281).

У исследователей существовала точка зрения, что «бегунство» было близким пугачевскому движению.

Благочестия ж нету в Москве — горит оно где-то в опоньской стране на Беловодье... — Упоминание о Беловодье указывает на

то, что Платонов знал Беловодскую легенду. Легенда о Беловодье была очень популярна в XIX веке среди крестьян, которые делали многочисленные попытки найти Беловодье.

С легендой о Беловодье связан сюжет романа «Чевенгур» — надежда найти в глубине губернии город, где уже сам собой устроился социализм, основана на вере в существование неведомой страны, населенной беглецами. Совпадает с легендой и то, что жителями города Чевенгура становятся бродяги.

С. 70. ...А Петр Федорович, что на Яике жил, того в Москве нововерцы угомонили! — Имеется в виду Емельян Пугачев, который «выдавал себя за царя Петра Федоровича». Вымышленный герой рассказа Платонова является двойником Пугачева.

С. 71. Побаляхней — побольше.

С. 78. ...в немощном свете бесшумного солнца — светился каменный вечный невозможный город. — Вечный Град-на-Дальней реке — видение, подтверждающее реальное существование легендарного Беловодья.

Песчаная учительница (с. 82)

Рассказ впервые опубликован в ЕШ, с. 173—184.

В семейном архиве Платонова сохранилась беловая рукопись (10 листов) без даты, подписанная: Андрей Платонов; а также черновая рукопись с правкой(8 листов) с той же подписью. Датируется концом 1926 года.

В черновой рукописи имя героини было иным — ее звали Ксения Никифоровна Нарышкина.

С. 82. Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухого забросанного песками городка Астраханской губернии;

Это был молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами. — В черновой рукописи рассказа были вычеркнуты другие определения ее внешности: «милое здоровое человеческое существо»; «сильное и славное существо, полное наивной свежести и душевного здоровья». Очевидно стремление Платонова уйти от обозначения ее половых признаков, ярче проявить в ней «человеческое существо». Это достигается сравнением девушки с юношей.

В черновом варианте в качестве высшей оценки личности героини появлялась даже характеристика: «Вы, Ксения Никифоровна, — мужчина», — но сразу была отброшена.

...степи прикаспийского края. — Место рождения героини связано с легендой о Беловодье и религиозными представлениями секты старообрядцев-«бегунов». «Бегуны» стремились переселиться в астраханский край, поближе к Каспийскому морю, так как ожидали, что в районе Каспийского моря будет установлено тысячелетнее царство. Прикаспийское происхождение Марии выдает ее родство с другой платоновской героиней — Каспийской Невестой из «Рассказа о многих интересных вещах». Этот тип героинь Платонова связан с содержанием образа-символа «Невеста» в творчестве писателя, унаследованного им у Блока.

С. 84. Колодцы на ее родине были самыми драгоценными сооружениями, <...> и на устройство их требовалось много труда и ума. — Мелиоратор Платонов строил колодцы в годы работы в воронежском губернском земельном управлении. Согласно справке Воронежского губземуправления, выданной Платонову при увольнении, в ходе общественно-мелиоративных работ было построено 763 пруда и 331 колодец.

С. 85. Было ясно: нельзя учить голодных и больных детей. Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была не нужна в их положении. — О положении крестьян Платонов знал не понаслышке. В отчете о деятельности Воронежского губземуправления за март 1922 года, когда Платонов там работал, сказано, что работа проходила в «...тревожных и неустойчивых условиях вследствие продолжавшегося сокращения штатов, необеспеченности служащих денежным и продуктовым довольствием, в атмосфере ожидания полного голода и массовых заболеваний на почве прогрессивного истощения, без всякой надежды на лучшее будущее» (РГАЭ, фонд 478, оп. 2, ед. хр. 671, л. 23. «Губмелиоратор тов. Платонов» // «Страна философов». Вып. 3. 1999. С. 477).

Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески, а школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела. — В рассказе даются конкретные рекомендации, пересказывающие адресованные крестьянам брошюры, где пропагандировались способы борьбы с песками (*Аверьянов Ф.* Как крестьянам бороться с песками. М., 1926).

С. 86. Шелюга — красная верба, разновидность ивы.

С. 88. ...неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников... — Строка обнаруживает почти цитатное сходство со стихотворением:

Наверно, молодость придется истомить
Зажатой в гайку тесного труда… (1925—1926)

(Соч. Т. 1.1. С. 326).

В рецензии журналистки В. Стрельниковой «“Разоблачители” социализма. О подпильнячках» содержится краткая оценка содержания рассказа «Песчаная учительница»: «Что предлагает Платонов в этой книжке? Главным образом он советует не увлекаться прожектами. Есть много дел поскромнее. Например… приучить наших кочевников к оседлой жизни» (Вечерняя Москва, 1929, № 224, 28 сент.).

Рассказ о потухшей лампе Ильича (с. 89)

ЕШ, с. 187—203.

Под названием «Как зажглась лампа Ильича» сокращенный вариант рассказа печатался в «Журнале крестьянской молодежи», 1926, № 21, с. 2—4. 7 нояб. Подпись: Андрей Платонов.

Датируется 1926 годом.

Рассказ написан на основе реальных событий 1924—1925 гг., когда Платонов руководил строительством электростанции в селе Рогачевка.

О работах по орошению сада в рогачевском совхозе «Спартак», который был опытно-мелиоративным хозяйством Платонова, он писал в статье «Вопросы сельского хозяйства в китайском земледелии» (Вор. ком., 1922, 12 дек. № 281. С. 2). Платонов, став в 1923 году управляющим мелиоративного бюро, попросил выделить ему совхоз с заболоченными лугами для организации «опытно-показательного мелиоративного участка» (ГАВО, ф. Р-19, оп. 1, ед. хр. 1950, л. 47). Ему для этих целей был предложен совхоз «Спартак».

В семейном архиве Платонова сохранились три рукописи «Рассказа о потухшей лампе Ильича». Первая рукопись уместилась на двух листах. Первоначальное название: «Рассказ о постройке сельской электрической станции (По письму друга-инженера)», уже в этом варианте вычеркнуто, а ниже вписано новое: «Рассказ о лампе Ильича».

Эта рукопись является самым ранним вариантом текста рассказа. Здесь кратко изложена история идеи постройки сельской электростанции за счет эксплуатации барского сада, взятого в аренду крестьянской артелью. Рассказ носит автобиографический характер, и автором идеи выступает инженер. Он был написан в публи-

цистической манере, с характерной для нее прямолинейностью постановки насущных проблем, заботивших крестьян села Пугачевка, и упрощенностью их предлагаемого решения. Речь шла о необходимости осушения болот, передачи бывшего помещичьего сада в аренду артели и строительства электростанции.

Вторая беловая рукопись составляет три листа и озаглавлена: «Рассказ о потухшей лампе Ильича». Определение «потухшей» вписано сверху в название рассказа. В этом варианте у рассказа вновь появляется подзаголовок: «По письму крестьянина Фрола Ефимыча Дерьменко». Из подзаголовка вычеркнуто слово «рассказ». Здесь была одна сюжетная линия — создание артели по эксплуатации барского сада, — с благополучным финалом, подтвердившим доходность этой затеи.

Третья рукопись увеличилась в объеме до шести листов. Дата написания не указана, поставлена подпись автора: Андрей Платонов. Рукопись озаглавлена, как и во втором варианте: «Рассказ о потухшей лампе Ильича». Прежний подзаголовок: «По письму крестьянина Фрола Ефимыча Дерьменко», — вписан, а затем вычеркнут. Эта рукопись предположительно датируется концом 1925 года.

«Рассказ о потухшей лампе Ильича» занимает особое место в становлении Платонова-художника. В процессе работы над этим рассказом можно установить уникальный момент превращения Платонова-журналиста в Платонова-писателя. Здесь у писателя рождался особый тип героя, который впоследствии становится главным героем его творчества. Рукописи позволяют установить, когда Платонов впервые применил изобретенный им метод синтеза черт фантастического персонажа ранних рассказов и качеств реальных жителей российской провинции, с которыми Платонов вместе работал, будучи губернским мелиоратором.

Варианты текста рассказа демонстрируют, как Платонов создает универсальную модель сюжета, содержание которого передает погружение творческой личности в массовую жизнь.

В первом варианте название места действия было «говорящим»: Пугачевка. Во втором варианте текста оно меняется на другое — Рывачевка. Только в третьей рукописи возникает название реального села — Рогачевка.

В третьем варианте появляется фрагмент о последствиях татарского нашествия в этих краях.

История текста рассказа позволяет установить момент рождения нового типа героя платоновской прозы: «инженер»-преобразователь, способный единолично управлять переустройством мира, превращается в обыкновенного «массового» человека.

Автобиографичность образа подтверждает рукопись, где первоначально упоминается имя самого Платонова — Андрей, которое позднее было изменено на вымышленное — Михал Платоныч. Повествование в первом варианте ведется от первого лица.

Внешне вполне реалистическая история строительства сельской электростанции остается для Платонова фрагментом глобального сюжета о покорении вселенной с помощью электричества. Строительство сельской электростанции расценивается как подтверждение способности человека самому создавать свет, быть источником света, то есть приблизиться к тайне жизнетворчества.

С. 90. Сам я проходил <....> курсы электротехники сильных токов... — Автобиографический факт: указана специальность Платонова, полученная им в воронежском Политехникуме.

С. 91. Просорушка — машина для переработки проса в пшено.

Обойка — обоечная машина для чистки зерна.

Пеклеванная — мелко размолотая и просеянная рожь или пшеница.

С. 92. Бадик — палка, посох, трость, хворостина.

В срезек — в срез, то есть до краев полно.

С. 93. Постав — пара мельничных жерновов, один из которых неподвижен, а другой вращается на нем.

С. 95. Заквоклый — заскорузлый, затвердевший.

С. 96. Предуика — председатель уездного исполнительного комитета.

Родоначальники нации, или Беспокойные происшествия (с. 99)

Рассказ впервые опубликован в ЕШ, с. 233—253. Автограф неизвестен.

В рассказ вошли фрагменты текста «Рассказа о многих интересных вещах».

При переработке повести «Рассказ о многих интересных вещах» в рассказ «Родоначальники нации...» 20 глав из 26 не вошли в новое произведение. Были исключены главы 1—9, 12—18, 20—23, 25, 26. В рассказе «Родоначальники нации...» воссоз-

дан мотив путешествия героя в Америку, намеченный в «Рассказе о многих интересных вещах».

В «Родоначальниках нации...» желание героя попасть в Америку вызвано интересом к секрету выращивания роз: «Иван был уверен, что, действительно, нежное масло душных и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины, и в этих зданиях поселятся довольные, счастливые мужики со своими многочисленными семействами» (*ЕШ*, с. 253). Герой «Эфирного тракта» тоже отправляется в Америку за разрешением и загадки электричества, и тайны роз: «Кирпичников почти бежал, спеша достигнуть таинственного Риверсайда, где сотни десятин, под розами, где из нежного тела беззащитного цветка выгоняется тончайшая драгоценная влага и где, быть может, работает возбудитель того рефлекса, который выведет его на “эфирный тракт”: в Риверсайде находилась тогда знаменитая лаборатория по физике эфира, принадлежащая Американскому электрическому униону».

С. 100. ...ему захотелось <....> самому пропеть такую песнь, чтобы люди побросали все дела свои, всех жен своих и все имущество, и сбежались слушать... — В желании героя переданы собственные мечты автора. Способность «подслушать и собрать в природе все самое звучное, печальное и торжественное, чтобы сделать песни, мощные, как естественные силы, и влекущие, как ветер» Платонов передаст герою романа «Чевенгур» Саше Дванову. В повести «Ювенильное море» инженер Вермо пытается уловить в природе «напев будущего».

Мечты героев Платонова обернуть «волшебную силу» музыки на перестройку реальной действительности связаны с эстетикой искусства авангарда, которое стремилось непосредственно участвовать в процессе «жизнестроения».

С. 101. В небе ходят без следа... — Цитируются строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1839).

С. 102. Обротать — надеть узду, покорить.

...я основал науку антропотехнику — собственное изобретение Платонова. В письме жене из Тамбова в 1926 году он писал: «Неужели человек — животное и моя антропоморфная выдумка одно безумие?» (*Живя главной жизнью,* с. 166).

С. 103. Тянулась тщедушная жизнь, как деревенские щи. — Мотив тягучей, скучной жизни возникает в очерке Платонова об

отце: «тянется его жизнь, как нераспутанная нить» (1920); воспроизводится в эпиграфе к рассказу «Бучило»: «Так шла и шла жизнь Евдокима, рекой одинаковых дней...» (1924) и в рассказе: «Тянется день, как дратва: скука бычачья» (с. 190 наст. изд.).

Лунные изыскания (Рассказ о «Кирпиче») (с. 113)

Рассказ впервые опубликован в журнале «Всемирный следопыт», 1926, № 12, с. 3—15, под названием «Лунная бомба» с подзаголовком «Научно-фантастический рассказ инж. А. Платонова». Дата — 1926 — вписана в текст вырезки рукой А. Платонова. Датируется первой половиной 1926 года.

В автографе текст имел эпиграф:

Кончайте же пустынную тропу, —
И будет в мире молодость души.

Ю. Балтрушайтис

Строки эпиграфа были взяты из стихотворения «Есть некое святое принужденье...» (1918—1921) и процитированы у Платонова довольно точно (*Комментарий. Т. 1.1*).

В журнале «Всемирный следопыт» текст был напечатан с сильными искажениями авторского варианта рассказа.

С. 113. Крейцкопф — фамилия героя, как часто бывает у Платонова, представляет собою технический термин. Крейцкопф — деталь кривошипно-ползунного механизма, совершающая возвратно-поступательное движение по неподвижным направляющим.

Из текста в окончательном варианте исключены некоторые фрагменты, а также история Эрны, изувеченной в автомобильной катастрофе, опущены размышления главного героя о человеческой истории, существенно сокращены сообщения Крейцкопфа из космоса.

В сюжете произведения реализуется мечта героя рассказа «В звездной пустыне» Игната Чагова: сделать космический двигатель и улететь подальше от земли, «где так мало музыки и мысли».

О Крейцкопфе упоминается в рассказе «Антисексус» и в повести «Эфирный тракт». Платонов делал попытку опубликовать «Эфирный тракт» под псевдонимом Крейцкопф.

Петер Крейцкопф принадлежит к тем платоновским героям, которые создают разнообразные проекты спасения человечества: Вогулов, Баклажанов, Иван Копчиков, Михаил и Кирилл Кирпичниковы. Герои этого типа наделены сверхмощным интеллектом,

активным воздействием на окружающую природу, включая подавление природного начала в себе самом; неукротимой энергией; одиночеством и сознанием своего избранничества.

Город не имел никакой связи с природой — это был бетонно-металлический оазис, замкнутый в себе, совершенно изолированный, одинокий в пучине мира... — Образ связан с замыслом «башни» Татлина — произведения авангардной архитектуры, задуманного как сооружение, способное защитить человека от враждебной природы. Близкий образ возникает в поэме Маяковского «150 000 000» — город «на одном винте, весь электро-динамо-механический» (*Маяковский В.* Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1956).

С. 116. Во всем изобретении был скопирован камешек мальчика, который летит, брошенный слабой рукой. А тут был не камешек, а «кирпич» с тугою начинкой — коммерческим грузом или пассажирами, все равно. — Описание изобретения объясняет подзаголовок произведения — «Рассказ о “Кирпиче”».

Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые, девственные источники питания для земной жизни... — Идея высказана в романе А. Богданова «Красная звезда». В повести Платонова «Эфирный тракт» показаны результаты ее осуществления в судьбе исчезнувшей цивилизации аюнитов.

С. 121. ...при взрывных работах в котловане <....> сорок рабочих <....> были убиты... — Мотив жертвы, принесенной ради строительства, был характерной чертой пролетарской литературы. Гибель рабочих, в которой был виновен инженер, изображена в романе А. Богданова «Красная звезда», гибель строителей башни как неизбежно сопровождающее стройку событие преподносится в произведении А. Гастева «Башня».

С. 122. Метод состоял в том, чтобы в материю, подлежавшую превращению из минерала в пыль, направлялись электромагнитные волны... — Описание фотоэлектромагнитного резонатора трансформатора. Об этом изобретении Платонов писал в рассказе «Потомки солнца»: «И вот явился институт изобретений Елпидифора Баклажанова, в котором был сделан первый тип фотоэлектромагнитного резонатора трансформатора: аппарата, превращающего свет солнца и звезд, и луны в электрический обыкновенный ток. Им был разрешен энергетический вопрос <...> Вселенная вновь была найдена как купель силы — обитель переменного тока ужасающей мощи». В «Эфирном тракте» Платонов вновь возвраща-

ется к идее снабжения человечества электроэнергией с помощью аппарата, состоящего «из сложных зеркал, преобразующих свет неба в тепло и в живую силу металла». Создать устройство, с помощью которого на землю «польется бесконечная электрическая энергия из солнечного пространства», мечтает Николай Вермо в повести «Ювенильное море»: «Наступит высший момент нашей эпохи: нам тогда потребуется лишь построить оптический приемник — трансформатор света в ток, <...> и через него к нам польется бесконечная электрическая энергия — из солнечного пространства, из лунного света, из мерцания звезд...».

С. 123. Солнце испускает электромагнитные колебания и еще что-то, еще более нежное и неуловимое. Только земля совместным сопротивлением своей сложной атмосферы превращает электромагнитную энергию солнца в тепло. — Солнце изображено у Платонова как источник электричества и жизни на земле. О том, что «жизнь солнечного происхождения», Платонов писал в «Рассказе о многих интересных вещах»: «Свет есть тоже эта пыль — электричество...». Те же идеи высказывались в рассказе «Невозможное».

С. 125. Газовоз — одно из изобретений Платонова 1925 года. О принципах работы газовоза Платонов писал наркому путей сообщения Я. Рудзутаку 4 декабря 1925 года (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 2, ед. хр. 4, л. 1—12; *Комментарии. Соч. Т. 1.1*. С. 546).

С. 287. Он любил горячее действие, а не вышнее созерцание... — Проблему выбора между «созерцательным делом литературой» и практической инженерной работой Платонову приходилось решать не один раз за свою жизнь. Перед этой проблемой он ставит и своих героев. В повести «Эфирный тракт» сказано: «Чудесная натура вселенной, глубину которой десятки веков старались постигнуть мудрецы всех стран и культура, идя дорогой мысленного созерцания <...>

— Догадаться об истине нельзя, до нее можно только доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины» (*Платонов А.* Эфирный тракт // Потомки солнца. М.: Сов. писатель, 1974. С. 64).

Крейцкопф не очень страдал: еще в тюрьме он отучился от этого. Но вернее, его отучила страдать жизнь, долго бившая его по одному месту, так что это место покрылось шершавой кожей, как пятка, и поэтому никакой гвоздь не берет теперь сердце Крей-

цкопфа. — Жестокость «яростного мира» заставляет человека очерстветь. Эта мысль воспроизводится в «Котловане», где сказано, что в существующем мире способны выжить только такие, как медведь, — существа, покрытые защитной шерстью.

С. 128. Я родня траве и зверю <...> Я не знаю, а люблю. — Строки из поэмы А. Платонова «Мария».

С. 129. «Голубые дороги» Вогулова, <...> «Антропоморфная революция» Зага-Заггерта, <...> «Антисексус» Беркмана. — Платонов под вымышленными фамилиями перечисляет собственные произведения или замыслы. Вогулов — герой рассказа А. Платонова «Сатана мысли».

...отдающих любимую за странствие... — Напоминание о сюжете повести «Епифанские шлюзы», где главный герой инженер Бертран Перри уезжает в Россию, оставляя невесту.

...ищущих праведную землю... — Сюжет рассказа «Иван Жох» и легенды о Беловодье.

С. 130. ...рассказывал мне про то, что человек неустойчивое существо и скоро должен появиться на свете более одаренный организм... — Пересказ «антропоморфной выдумки» (*Живя главной жизнью*, с. 166) Платонова.

С. 132. ...эффектный жест самоубийцы. — Мотив самоубийства в творчестве Платонова получает развитие в повести «Котлован», где о самоубийстве думает инженер Прушевский. Причина возникновения этого мотива обнаруживается в судьбе самого писателя. Платонов оказался в ситуации социальной загнанности, когда, переехав с семьей из Воронежа в Москву, лишился работы. О его состоянии свидетельствует запись, сделанная им в июне 1926 года: «Безработица. Голод. Продажа вещей. Травля. Невозможность отстоять себя и нелегальное проживание. <...> Единственный выход: смерть и устранение себя» (Опубл.: *Корниенко Н. В.* История текста и биография А. П. Платонова (1926—1946) // Здесь и теперь. М., 1993. № 1. С. 19).

С. 134. ...«Барский двор» Андрея Новикова, интересное сочинение. — Андрей Новиков (1888—1941) — русский советский писатель, земляк Платонова, переехал из Воронежа в Москву, где оставался близким другом Платонова, считал себя его учеником и последователем. «...в Москве: они жили рядом, у них был общий литературный круг, близкие интересы. А. Новиков являлся членом группы “Перевал”, на заседаниях которой

бывал А. Платонов. Вместе они входили в кружок “30-е годы”, созданный Б. Пильняком и распавшийся в 1930 году» (*Никонова Т. А.* А. Платонов и А. Новиков: К истории творческих взаимоотношений // Андрей Платонов. Материалы и исследования. Воронеж, 1993. С. 137). Книга Новикова «Барский двор: Повести и рассказы» была известна Платонову до ее издания (М., 1928).

А. Новиков одновременно с «бедняцкой хроникой» опубликовал повесть «Комбинат общественного благоустройства: Тихие мотивы многоликой жизни» (Октябрь. 1931. № 3). В одном из персонажей повести Новикова «Кустари слова» Епифаныче современники узнавали Платонова. Из этого произведения можно узнать, что воронежские журналисты и писатели в начале 20-х годов считали Платонова гениальным человеком («Подъем», 1989, № 10; Андрей Новиков: Материалы к библиографии / Сост. М. Д. Эльзон. Воронеж, 1973; Забытый Андрей Новиков / Публикация М. Эльзона // Коммуна (Воронеж). 1989. 19 янв.; *Явич А.* Книга жизни: Рассказы о былом. М., 1985).

С. 134—135. Звезды физически гремят, несясь по своим путям. <...> Их движение вызывает раздражение электромагнитной среды, а мой универсальный радиоприемник превращает волны в песни <...> кто-то на земле догадывался о звездных симфониях... звездная песня существует физически. — Платонов пересказывает в прозе строки своих стихов:

Звезды вечером поют над океаном (1921);
В жизни бессмертной, как в песне неспетой,
Звезды звенят и поют <...>
Песню мы слышим тихой звезды.
(«Познаны нами тайны
вселенной», 1920—1921).

В статье «К начинающим пролетарским поэтам и писателям» (1919) Платонов писал о пролетарском искусстве: «Это будет музыка космоса...». В этом определении проявилась генетическая связь платоновской «музыки космоса» с образом «космического мирового оркестра», воспринятым символистами из музыкальных драм Вагнера. Для Вагнера было характерно представление о «космической роли оркестра», с которым соотнесен внутренний мир его героев (*Лосев А. Ф.* Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем // Вопросы эстетики. М., 1968. № 7. С. 166).

С. 135. «Среда электромагнитных волн, где я нахожусь, имеет свойство возбуждать во мне мощные, неудержимые, бесконтрольные мысли. Я не могу справиться с этим нашептыванием <...> мысли, рождающиеся из электричества...» — Текст этого послания из космоса расшифровывает «загадочные» строки, посвященные Каспийской Невесте в «Рассказе о многих интересных вещах»: «Солнечная дрожь рожала в ее голове мысли, и эти мысли вели ее — куда, она сама не знала. Она говорила не свои слова, а слова мыслей, которые сделало в ее голове солнце. Она была пустым и чистым кувшином, и туда лилась солнечная сила мира и делала ей и мысли, и душу, и слова» (гл. 15).

Способностью улавливать «звездные песни» наделен герой «Чевенгура»: «Дванову слышались в воздухе невнятные строфы дневной песни, и он хотел возвратить в них слова. Он знал волнение повторенной, умноженной на окружающее сочувствие жизни. Но строфы песни рассеивались и рвались слабым ветром в пространстве, смешивались с сумрачными силами природы и становились беззвучными, как глина» (с. 264).

Антисексус (с. 138)

Впервые на русском языке в журнале «Russian Literature». Amsterdam. 1981. № IX—III. В России — «Новый мир», 1989, № 9. С. 168—174.

По замыслу Платонова, рассказ должен был войти в сборник «Епифанские шлюзы». В письмах жене этого периода звучит беспокойство о судьбе рассказа: «Тебе высылаю “Антисексус”. Про “Антисексус” допустимо еще одно предисловие — сливочное масло издательства — лишь бы вошел в сборник» *(Живя главной жизнью)*. Однако замыслу не удалось осуществиться.

Рассказ датируется 1925 — 1926 гг. Это было время ожесточенных споров по самым разным вопросам литературы, искусства, этики и эстетики. В печати шла оживленная дискуссия по вопросам пола, в которую включилась не только молодежь, но и видные общественные деятели, писатели (*Арватов Б.* Гражданка Ахматова и товарищ Коллонтай // Молодая гвардия. 1922. № 4—5; *Коллонтай А.* Дорога крылатому эросу // Молодая гвардия. 1923. № 3; и др.). Дискуссия не оставила равнодушным Платонова, который серьезно обдумывал эти вопросы несколькими годами раньше. Об этом свидетельствует ряд его статей и выступлений воронежского

периода: *доклады* «Пол и сознание» (1920), «О любви» (1921), статьи «Культура пролетариата» (1920), «Душа мира» (1920), обнаруживающие знакомство с работами В. Розанова, О. Вейнингера, Н. Федорова и др.

В ранних статьях Платонов вслед за Н. Федоровым и А. Богдановым высказывал мысль о том, что половая любовь является препятствием на пути к созданию нового человека и общества. Поэтому он призывал строителей нового общества к целомудренной любви. Но Платонов не отвергал любовь — продолжение рода. По его мнению, она нужна, так как дает миру надежду в виде младенца, который родится, чтобы изменить мир.

К 1925—1926 годам Платонов изменил свое отношение к проблеме, чему способствовали женитьба, рождение сына, а также практическая работа инженера. В разбросе мнений некоторых воинственных авторов по вопросам пола Платонов, конечно, узнавал отголоски собственных «левых» идей. В «Антисексусе» они предстали в сниженном, окарикатуренном виде, так как «опошлять и варьировать свои мысли» с середины 1920-х годов стало творческим принципом писателя. Этого же требовал сатирический жанр произведения.

Платонов избрал для «Антисексуса» особую форму гротеска, так называемое «фантастическое предположение» (термин Ю. Манна), когда фантастическая ситуация «навязана» и даже вынесена в заглавие рассказа. Читатель с самого начала должен принять ее, поверив в существование электромагнитного аппарата, предназначенного для удовлетворения полового инстинкта человека. Платонову пригодился здесь опыт работы в жанре фантастики. Он использовал также некоторые идеи и образы современной литературы, увидевшей опасность в наступающей на человека бездушной машине (*Б. Пильняк*. Машины против людей, 1926).

В «Антисексусе» проблема «человек и машина» решается в сатирическом ключе, но от этого не становится менее серьезной: что будет с душой человека, если техника полностью удовлетворит его потребности? Вслед за Е. Замятиным, смоделировавшим в романе «Мы» мир полной сексуальной регламентированности, Платонов создал сходный миропорядок на основе уничтожения любви с помощью аппарата «антисексус». Постепенно нагнетая абсурд, писатель нарисовал фантастическую картину: все население Земли достигло такой степени «душевного рав-

новесия», что без стеснения использует аппараты фирмы «Беркман, Шотлуа и сын» в семье, общественных уборных, на митингах и в театрах. Подобная перспектива вызывает уже не смех, но тревогу за судьбу человечества.

Рассказ строится в форме рекламного проспекта, предлагающего новый аппарат потенциальным советским покупателям. Платонов использовал технику монтажа, иронически переосмыслив и скомпоновав высказывания известных людей. И хотя отзывы знаменитостей даны в карикатурном виде, но сам парад имен создает представление, что аппарат нужен не столько советским потребителям, сколько Западу.

Используя необычную форму «Антисексуса», Платонов высказал свои суждения не только в разгоревшемся споре по вопросам любви, культуры, литературы, научно-технического прогресса, но и по актуальным вопросам внутренней и внешней политики.

С. 138. Однако есть что-то в стиле этой брошюры, что роднит ее с духом Анатоля Франса. — Платонов указывает на сатирический характер произведения, на сходную ироническую манеру, эзопов язык. Франс Анатоль Франсуа Тибо (1844—1924) — французский писатель-сатирик, нобелевский лауреат, автор романов «Остров пингвинов», «Восстание ангелов», «Боги жаждут».

Шкловский Виктор Борисович (1893—1984) — прозаик, критик, теоретик формальной школы, современник Платонова, знакомый с ним по его работе инженера-мелиоратора в Воронеже и посвятивший ему главы в книге «Третья фабрика» (1926).

С. 139. Беркман. — Имя персонажа напоминает фамилию известного американского террориста Александра Беркмана (1893—1984), стрелявшего из пистолета в промышленника Генри Фрика за вооруженное подавление тем забастовки на своем пенсильванском предприятии. В 1919 г. был выслан за революционную деятельность в Россию. Ирония Платонова основывается на том, что Беркман был известен как автор книги «Тюремные мемуары анархиста», изданной в начале XX века в Америке и рассказывающей о гомосексуализме в американских тюрьмах, а также книги «Антиклимакс» (Дж. Шепард, 1973).

...на воздушных линиях «Дерулюфт» и «Люфтганза». — «Дерулюфт» — совместное советско-германское предприятие воздушных перевозок, созданное в ноябре 1921 года для регулярных авиарейсов по маршруту Берлин—Москва через Кенигсберг.

«Люфтганза» — крупнейшая немецкая гражданская авиационная компания, образованная в 1926 году.

С. 141. «Кирпич» Крейцкопфа. — Петер Крейцкопф — герой фантастического рассказа Платонова «Лунные изыскания» (1926). Во время полета на Луну герой читает книгу Беркмана «Антисексус».

С. 142. В век социально-экономических кризисов, когда материально затруднен брак <…> женщина стала вновь лишь призраком поэтов, благодаря нищете мужчин… — Приметой 1920-х годов были экономические кризисы, характеризующиеся инфляцией, банкротством предприятий и банков, разорением массы мелких производителей, безработицей. Экономические кризисы поразили экономику США, Англии, Италии, Японии и других капиталистических стран. В Советской России экономическая нестабильность усугублялась идеологической.

С. 145. Форд-сын (Иезекииль). — После ухода Генри Форда в отставку управление заводом в Детройте он передал своему единственному сыну Эдселу. Платонов называет Форда-сына Иезекиилем не случайно. Святому пророку Иезекиилю (VI в. до Р. Х.) на тридцатом году жизни было видение движимой духом колесницы с четырьмя крылатыми животными. Над колесницей возвышался кристальный свод, над сводом — престол, на котором находилось «подобие Человека» (Иез. 1, 4-28). Иезекииль предсказывал восстановление Иерусалимского храма и наступление лучших времен для соотечественников. Известно, что автомобильный король Генри Форд часто резко отзывался о еврейском народе, но после обвинений в антисемитизме публично раскаялся и даже создал благотворительный фонд для евреев.

С. 147. проф. Штейнах (Штейнах Эйген, 1861—1944) — австрийский физиолог и биолог, профессор Пражского университета. С 1912 г. руководил физиологическим отделением Биологического института Австрийской АН. Особую известность получили его работы, связанные с изменением пола и проблемой омоложения млекопитающих путем удаления и пересадки половых желез. Возможный прототип профессора Преображенского из повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» (*М. Чудакова,* 1987).

Морган — С одной стороны, фамилия отсылает к Томасу Моргану (1866—1945) — американскому физиологу и генетику, совершившему революционные открытия в науке о наследствен-

ности. Морган, противник теории Дарвина и менделевской теории наследственности, в ранних работах обнародовал интереснейшие опыты, демонстрирующие процессы регенерации у низших организмов. Вероятно, поэтому герой рассказа готов основать институт Перманентной Юности. С другой стороны, Платонов мог иметь в виду Моргана Джона Пьерпонта (1867—1943) — известного американского банкира. На это указывает деталь — герой дал деньги на создание института.

С. 148. Свен Гедин (1865—1952) — знаменитый шведский путешественник, географ, журналист и писатель, исследователь Тибета, Синьцзяна, Монголии, Восточного Туркестана, автор книг «В сердце Азии» (1899), «Тарам-Лоб-Нор-Тибет» (1904).

С. 149. Клайнс Джон Роберт (1883—1946) — английский политик, один из лидеров лейбористской партии.

Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застает, как неизбежная утренняя заря. — Аллюзии на статьи В. Шкловского, который, в свою очередь, цитирует В. Розанова и В. Хлебникова.

...дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет. — Платонов иронизирует по поводу формального метода Шкловского, модной литературной эквилибристики, лишенной живого пульса эпохи.

Жить можно уже не так тускло, как в презервативе. — Ироническая аллюзия на фразу «Живу тускло, как в презервативе» из книги В. Шкловского «Третья фабрика» (М., 1926, с. 93).

С. 150. Авербах Леопольд Леонидович (1903—1939) — литературный критик, лидер воинствующей литературной группы РАПП, редактор журнала «На литературном посту».

Землячка Розалия Самойловна (1876—1947) — видный советский партийный деятель.

Зелинский Корнелий Люцианович (1896—1970) — советский литературовед, критик.

Бачелис Илья Израилевич (1902—1951) — советский писатель, журналист, кинодокументалист.

Гроссман-Рощин Иуда Соломонович (1883—1934) — советский критик и искусствовед.

Детердинг Генри (1866—1939) — один из крупнейших нефтяных монополистов. Был одним из вдохновителей антисоветской деятельности в капиталистических странах.

Буданцев Сергей Федорович (1898—1940) — русский писатель, в начале 20-х годов член правления Всероссийского Союза поэтов. Близкий друг А. Платонова.

Лоуренс Виндроуэр — вымышленное имя.

Генерал По Лу Гуй — вымышленное имя.

Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885—1938) — русский советский писатель, прославившийся не литературными произведениями, а работой в Верховном трибунале и Госиздате.

Государственный житель (с. 150)

Впервые опубликован в № 6 журнала «Октябрь» за 1929 год. С. 70—77. Печатается по Сочинениям Платонова в 3 т. Т. 1. М., 1984. С. 95—104. Датируется 1927 годом.

Рассказ продолжает сатирический цикл писателя. Платонов обратился к классической теме «маленького человека» и его взаимоотношениям с государством. Тип человека из массы, поверившего в высшую справедливость государственной власти, стал объектом критического анализа.

Странный герой с автоматизированным мышлением Петр Евсеевич Веретенников серьезно воображает себя причастным к «государственному» делу. Через призму полезности для общества он смотрит на технику и людей. Гуманные поступки Петр Евсеевич совершает не из любви к ближнему, а охраняя людей как работников.

С образом связана язвительная авторская ирония, которая прорывается в неожиданных политических аллюзиях. Автор раскрывает нравственную ущербность героя постепенно, используя для этого серию «анекдотов», в которых Петр Евсеевич, сталкиваясь с реальной жизнью, обнаруживает полное ее непонимание, хотя сам не осознает этого.

Веретенников считает, что рядовые граждане не могут принимать решения относительно общей и даже собственной частной жизни. Как последнюю стадию нравственной деградации Платонов показывает сомнения героя в праве беспризорных детей жить на просторах страны. Встреченного на станции ребенка, самостоятельно устраивающего свою судьбу, и его семейство, умирающее от голода, Петр Евсеевич зачисляет в разряд государственных преступников. По его мнению, это те самые «стихийные силы», которые сбивают четкую поступь государства. Следуя законам

сатиры, автор делает вину крестьянской семьи ничтожной: сестрам мальчика не была сделана прививка от оспы, они стали рябыми и потому незамужними, семья без мужчин-кормильцев голодает, и мальчика как лишнего едока отправили побираться. Вывод «государственного жителя» о виновности ребенка и его семьи — горькая ирония в адрес страны, на просторах которой в те годы умирали от голода и холода раскулаченные крестьяне и беспризорные дети.

В рассказе перемешаны горькая ирония и сатира. Финал развенчивает «государственного жителя», оказавшегося обыкновенным безработным, еще в большей степени не нужным государству, чем жители деревни Козьма и беспризорный мальчик.

С. 156. Копромсоюз — кооперативный промышленный союз.

С. 157. Ладно, я — профессор от государства и вам достану воду из материнского пласта... — Имеется в виду добыча артезианских напорных подземных вод, заключенных в водоносных пластах пород.

...государство внезапно грянет... — Перекличка с идеями «Чевенгура», в котором чевенгурские коммунисты ожидают коммунизм как Второе пришествие («коммунизм внезапно грянет»).

С. 159. Лихославль — город в Тверской области, железнодорожный узел.

Война (с. 160)

Впервые — ж. «Октябрь», 1999, № 7. С. 102. Печатается по тексту, опубликованному в сб. «Страна философов», 2003. С. 661—686. Датируется 1927 годом.

Рассказ представляет собой платоновскую фантазию на тему возможной будущей войны и мировой революции.

Платонов предстает в рассказе «политическим писателем», каким ощущал себя в те годы. В нем он высказался по вопросам отечественной и мировой политики, нарисовал свой «проект» грядущего перехода к мировому коммунизму.

С. 162. Женева провалилась: американцы отмели всякое равновесие в вооружении... — Имеется в виду Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых газов и бактериологических средств. Несмотря на то, что документ был подписан 17 июня 1925 г. представителями 34 стран, к 1927 г. он не был ратифицирован ни США, ни Японией, ни Великобритани-

ей. Советский Союз присоединился к Женевскому протоколу 2 декабря 1927 г. с особыми оговорками: СССР отказывался от обязательств в отношении стран, не присоединившихся к протоколу, и стран, нарушивших обязательства по данному документу.

Ну, этой силой еще может быть что теперь называют сверхэлектричеством. Это <...> особые токи с очень высокой частотой пульса... <...> профессор Файт — умеет камни колоть на расстоянии километра... — в середине 1920-х годов английскими и немецкими учеными проводились опыты с «чертовыми лучами», открытыми неким Мэтьюсом, действие которых было способно убить мышь, зажечь порох и остановить магнето моторов аэропланов на расстоянии 60 футов (*Московская Д., Роженцева Е.,* 1999).

С. 165. Маматов читал, что русская интеллигенция — очень виновата в нынешних бедствиях родины. Германия производила инженеров, а Россия поэтов — в результате: Октябрь 1917 года. — Такая точка зрения была распространена в среде эмигрантов и творческой интеллигенции, начавшей деятельность до революции.

Стиннес Гуго (1870—1924) — промышленный король Германии, владелец металлургических заводов, многочисленных фабрик, основатель пароходной компании, создатель треста тяжелой промышленности. Благодаря своему экономическому могуществу, Стиннес оказывал большое влияние на политику Германии. В Советской России воспринимался как враг трудящегося народа.

Ледяной поход Корнилова — военная операция, проводившаяся белогвардейской Добровольческой армией в феврале-марте 1918 г. под предводительством генерала Л. Г. Корнилова (1870—1918) с целью создания на Кубани базы для борьбы с большевиками. «Ледяной поход» проходил в тяжелейших погодных условиях и беспрерывных стычках с красноармейскими отрядами. Несмотря на превосходство красных войск, Корнилов успешно вывел Добровольческую армию (около 4 тысяч человек) на соединение с Кубанской Добровольческой армией.

Врангель Петр Николаевич (1878—1928) — один из главных руководителей белого движения в Гражданскую войну, генерал-лейтенант (1918). В 1920-м стал главкомом Русской армии. В эмиграции — организатор и председатель антисоветского «Русского общевоинского союза» (РОВС).

...английский военный атташе в Симферополе Бен-Товер... — вымышленное имя.

С. 166. Сегодня в Америке казнены двое рабочих... — Речь идет о судебном процессе и казни американских коммунистов Сакко и Ванцетти. По ложному обвинению в грабеже и убийстве они были приговорены к электрическому стулу. Расправа над невиновными рабочими вызвала волну возмущения и демонстраций в разных странах.

С. 167. Обсуждался вопрос об отчуждении Китайско-Восточной железной дороги в полную собственность пекинского правительства. — Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) или Китайская Чаньчуньская железная дорога построена Россией в 1897—1903 гг.

После русско-японской войны 1904—1905 гг. южное направление КВЖД отошло к Японии и названо Южной Маньчжурской железной дорогой (ЮМЖД). С 1924 г. КВЖД находилась в совместном управлении СССР и Китая. Но Китай был недоволен сложившимся на его территории положением (присутствием русского обслуживающего персонала дороги) и требовал передачи магистрали в его полную собственность.

После Войкова и внутренних актов белых — Советы дальше не пойдут на мировую... — Войков Петр Лазаревич (1888—1927) — полномочный представитель СССР в Польше (с 1924 г.). 7 июня 1927 г. Войков был смертельно ранен экстремистом Кавердой, что породило политический кризис.

С. 168. Пангаз — вымышленный Платоновым газ, имеющий не только химические свойства, но являющийся принципиально новой физической субстанцией; прообраз ядерного оружия.

С. 169. ...Советы со своего Дальнего Востока могут разложить Китай так, что он станет абсолютно неусвояемым для внешней цивилизации и невосприимчивым к ней. — Платонов передает страх европейских держав по поводу «экспорта русской революции», усиливающегося экономического и политического влияния Советского Союза на соседей.

С. 170. ...было предложено предпринять необходимые дипломатические шаги на Северном Китае... — Северный Китай в середине 20-х годов был капиталистическим, тогда как Южный под предводительством Сунь Ятсена был ориентирован на социалистический путь развития.

С. 174. С аэродрома Троцкого... — Центральный аэродром им. Л. Троцкого, построенный в 1920-е годы на бывшем Ходынском

поле. После разгрома оппозиции переименован в аэродром им. М. В. Фрунзе.

С. 180. Целый народ покидал родину, сбивая впереди себя враждебные страны тараном Красной Армии. Вокруг советского потока наматывались слои разноплеменного пролетариата ~ Следом за людским потоком уничтожались границы и трепетало знамя рабочей революции. — Платонов создает образ мировой революции, напоминающий грандиозное шествие восставших народов в поэме В. Маяковского «150 000 000».

Советы затопляют поверхность Земли, и Ламанш... — обращение к образу океана-революции из «Мистерии-буфф» и поэмы «В. И. Ленин» В. Маяковского.

Московское общество потребителей литературы (МОПЛ). Отчет хроникера (с. 181)

Впервые — «Октябрь», 1999, № 2. С. 150—153. Датируется 1927 годом.

В конце 1927 г. Платонов вместе с семьей несколько месяцев живет в Ленинграде у родственников жены. Возможно, он бывал на собраниях литераторов в Доме печати, который в 20-е годы был крупным культурным центром. Именно в ленинградском Доме печати В. Маяковский впервые читал свою поэму «Хорошо», посвященную 10-летию Октября. Может быть, поэтому он становится главным действующим лицом фельетона? В Москве также действовал Дом печати (ныне — Дом журналистов). Скорее всего, Платонов имел в виду это место, где в конце 20-х годов ковалась политика партии в области литературы и искусства.

Платонов внимательно следил за ходом дискуссии, развернувшейся между группами РАПП (Российская Ассоциация Пролетарских Писателей) и «Перевал». Воинствующий тон статей журнала «На литературном посту» (орган РАПП) и жесткие оценки критиков, очевидно, задевали Платонова, причислявшего себя к пролетарским писателям. Вместе с тем Платонову были близки многие положения журнала «Перевал», и прежде всего тезис о творческой свободе художника. Кроме того, именно перевальцы поддерживали писателя, печатали его произведения.

Платонов моделирует ситуацию, возникшую в литературе. Критики РАПП действовали от лица пролетарских писателей. В платоновском фельетоне право оценивать писателей присваивает груп-

па «сплошь умных» «спокойных людей», выступающих от лица простых людей, мало что понимающих в литературной технике. МОПЛ — своеобразная потребительская кооперация и одновременно народный контроль в литературе. Но если рабочий контроль за производством и распределением товаров в СССР воспринимался как достижение демократии, то вмешательство «читателей» из Общества потребителей литературы в тонкую материю художественного творчества выглядит насилием над художниками слова, лишенными права голоса и всецело зависящими от МОПЛ, который решает, кто достоин выйти на потребительский рынок. Результатами пролетарской революции воспользовались литературные чиновники, иронично названные Платоновым «читателями». Желая подчеркнуть трагичность ситуации, Платонов обращается к авторитету признанных писателей во главе с В. Маяковским, который пытается защитить литературу. Но даже автор поэмы «Хорошо» терпит крах в борьбе с авторитарной критикой.

С. 181. ...спокойные люди, фамилии которых редко печатались даже на пишущей машинке, не говоря о плоских машинах или ротации. — Намек на то, что в советском литературном сообществе существуют тайные пружины управления, не связанные с творчеством. Платонов, всегда отрицательно относившийся к «официальным революционерам» («Душа человека — неприличное животное», 1921), отлично разглядел это явление и в литературной жизни страны.

С. 182. Граждане! Регулирование производства и потребления год от года все глубже и шире ~ советское государство, открывшее вольную дорогу потребительской кооперации. — В речи докладчика присутствует противоречие. С одной стороны, он говорит о курсе экономики СССР на плановое ведение хозяйства, что соответствует действительности. С другой стороны, заявляет об усилении позиций («вольной дороге») потребительской кооперации, что не соответствует истине. (Потребительская кооперация — вид кооперации, основанный на добровольном объединении потребителей для совместных закупок, производства потребительских товаров и их реализации.) Потребительская кооперация в СССР в 1927 г. переживала спад, связанный с наступлением на нее государства. К 1927 г. она все больше превращалась в огосударствленную систему, утратившую присущие ей кооперативные принципы самостоятельности, возможности свободного оперирования на

рынке и признания частных интересов. Государство командовало потребкооперацией, как государственной структурой, распоряжалось ее имуществом, как своей собственностью.

В сфере литературы и книгоиздания в годы нэпа также было допущено частное предпринимательство. Многочисленные творческие союзы и литературные объединения (Всероссийский союз писателей, «Имажинисты», «Серапионовы братья» и др.) регистрировали собственные издательства, деятельность которых строилась на кооперативных началах. Так, в феврале 1921 г. было зарегистрировано 143 кооперативных издательства. Но книгоиздание как сфера не только экономической, но и идеологической деятельности ограничивалось государством. С этой целью в 1922 г. был создан Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств). В его обязанности входили предварительный просмотр всех предназначенных к опубликованию произведений, выдача разрешений на право издания произведений и периодических изданий, составление списков произведений, запрещенных к продаже и распространению.

Существовали секретные предписания «создать для частных издательств полнейшую невозможность нормальной реализации литературы». Курс на свертывание кооперативных издательств, объявленный в 1925—1926 гг., дал ожидаемые результаты в 1927—1928 гг., когда объем выпускаемой ими литературы стал снижаться. К началу 1930 г. остались единицы частных издательств, остальные прекратили существование.

С. 183. ...что такое литература и нужна ли она нам? — Вопрос о том, нужна ли литература новому обществу, активно обсуждался на страницах периодических изданий после Октября. А. Блок писал в 1917 г.: «Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи... Нужен ли художник демократии?» Этот вопрос не был праздным в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Так, в 1931 г. среди московских писателей была распространена анкета «Какой нам нужен писатель?». От писателей требовалось изображение великого созидательного строительства. М. Исаковский так заметил в своем стихотворении 1927 года «Разговор с редактором»: «плохо живется поэту, / Который не пишет “в ударном порядке”».

«Красная новь» — журнал, орган группы литературных критиков «Перевал», главный редактор которого А. К. Воронский всту-

пил в неравную схватку с рапповцами, поддерживая талантливых писателей и поэтов, независимо от их классовой принадлежности. В периодических сборниках «Перевала» (1924—1928) участвовали А. Веселый, М. Светлов, М. Голодный, А. Платонов и др.

В этом журнале много месяцев печатается роман Алексея Толстого <…> «Чертухинский балакирь» Клычкова из «Нового мира» <…> «Цемент» Гладкова <…> Повести Сейфуллиной, рассказы Бабеля, сочинения Пантелеймона Романова. — Все перечисленные писатели сотрудничали с журналом «Красная новь», все в той или иной степени обнаружили несовпадение с официальным направлением в литературе.

А литература сейчас занимается не человеком, не антропосом, а человекоподобным, антропоидом, если позволите. <…> Нам же нужен настоящий человек, <…> мученик подвига, мозга и сердца. — Одним из творческих лозунгов РАПП стал призыв к показу «живого человека». Антропос — духовный первочеловек как божественное существо, прототип и исток духовного и материального мира, а также человека. Антропоид — человекообразная обезьяна.

С. 184. «Почему же мы, читатели-потребители, не организуем гигиенического и сытного хлебозавода в литературе?..» — ироническая перекличка с идеями статьи Платонова 1926 года «Фабрика литературы».

С. 185. С. П. Маховицын — вымышленная фамилия.

Шел дождь. Полз червь. / Твердь из сырости свивала вервь — иронические стихи, принадлежащие самому Платонову, написанные как пародия на упадочные мотивы дореволюционных поэтов, возможно, З. Гиппиус, у которой есть стихи с подобными образами.

Бежал в испуге пес голодный… — иронические стихи Платонова, приписанные поэту-современнику. В стихах заметна перекличка с образами Блока («Стоит буржуй, как пес голодный, / Стоит безмолвный, как вопрос. / И старый мир, как пес безродный, / Стоит за ним, поджавши хвост» — «Двенадцать») и Булгакова («Собачье сердце»).

Маяковский 150 000 000 людей насильно ущучил к себе!.. — имеется в виду поэма В. Маяковского «150 000 000».

Надлежащие мероприятия (с. 187)

«Новый мир», 1991, № 1. С. 133—135. Печатается по этому изданию. Датируется 1927 годом.

Рассказ написан к десятой годовщине Октября. Первоначальное название «Революция исполненная». Подзаголовок «Святочный рассказ к 10-й годовщине» указывает на сатирический пафос произведения, обозначает стремление большевиков исчислять новую эру с Октябрьских событий 1917 года. Платонов высмеял заорганизованность и формализм советских организаций, бездумное следование лозунгам и директивам и, как следствие, омертвение духовной жизни страны.

В 1927 г. Платонов сотрудничал с Крестьянской радиогазетой. Лаконичная и точная форма передачи радионовостей породила монтажную форму произведения. Рассказ представляет собой циркуляр — распоряжение начальника о подготовке к празднованию Октября — и предложения его подчиненных, каждое из которых высмеивает какой-либо лозунг или общественное явление, знакомое современникам писателя.

Платонов использовал излюбленный прием сатириков и юмористов — «говорящие имена» (Кроев, Завын-Дувайло, Несваринов, Плюрт, Становая). Обладателей этих имен он изображает безликими «винтиками» системы, ее порождением и жертвами.

Концовка рассказа напоминает окончание анекдота. Председатель Управления Кроев выбрал из массы грандиозных предложений самое заурядное и легко исполнимое, а папку со служебными записками приказал сдать в архив, присвоив ей «большой номер вечного покойника». Так был подведен итог «надлежащим мероприятиям» и проведена работа с предложениями трудящихся.

Рассказ не увидел свет при жизни автора. Платонов, вероятно, предполагал напечатать его в каком-либо издании, так как сделал необходимые купюры, однако до сих пор попытки писателя опубликовать произведение неизвестны. Возможно, он прочитал его на радио.

С. 186. Электрофлюидсиндикат — вымышленное ироническое название, которое высвечивает, однако, одно из мест работы Платонова в период написания рассказа. Это радиостанция им. Коминтерна в Москве. Флюид — несуществующая субстанция, которой до XVIII в. объясняли явления тепла, магнетизма, электричества, психической энергии. В данном случае Платонов называет флюидами радиоволны.

Нач. АФУ Месмерийский. — АФУ — административно-финансовое управление. Фамилия персонажа происходит от термина

«месмеризм» — идеалистическая система в медицине, предложенная австрийским врачом Ф. Месмером (F. Mesmer) во второй пол. XVIII в. В основе месмеризма лежит понятие о «животном магнетизме», посредством которого можно изменять состояние организма, в том числе излечивать болезни.

Завын-Дувайло — «говорящая фамилия», указывающая на способ произнесения речей заведующего организационным отделом. Фамилию героя Платонов использовал еще раз, в жестокой сцене расстрела буржуев в «Чевенгуре»: «...Пиюся <....> сам выпустил пулю из нагана в череп ближнего буржуя — Завын-Дувайло. Из головы буржуя вышел тихий пар, а затем проступило наружу волос материнское сырое вещество...» (*А. Платонов.* Чевенгур. М., 1989. С. 204).

Многие тотчас же рапортовали, что их мышление вращается в кругу мероприятий, предусмотренных операционным планом на 1927—8 год... — Операционный план — грандиозный план губернского масштаба, отпечатанный типографским способом в виде книги, включающий мероприятия по земледелию и животноводству, ветеринарному делу, землеустройству и мелиорации, а также административно-организационные и финансовые мероприятия. Мыслился как основа планов низового аппарата. В рамках борьбы с бюрократизмом был упразднен в числе первых.

...подлежат ли предложения оплате установленным гербовым сбором или нет. — Гербовый сбор — государственный налог, взимаемый с граждан и организаций при оформлении документов или специальных гербовых марок. В СССР начал взиматься с 1922 г. Им облагались письменные обращения частных лиц, государственных и кооперативных предприятий и организаций в правительственные учреждения и письменные ответы последних. Взимался также с отдельных договоров, сделок, счетов, векселей и других документов торгово-промышленного оборота. В 1927 г. все эти документы были освобождены от Гербового сбора; взамен был введен особый налог на обращение ценностей. Служащие по привычке опасались, не нанесет ли обращение к начальнику ущерб их бюджету.

С. 188. Товарищ Никандров <...> до подобия похож на великого вождя В. И. Ленина. Эта косвенная причина послужила обстоятельством для его игры в знаменитой картине «Октябрь» ~ и поездки тов. Никандрова самоокупятся. — Никандров — актер,

сыгравший роль Ленина в фильме «Октябрь» выдающегося кинорежиссера и теоретика кино С. М. Эйзенштейна (1898—1948). Предложение Вантунга в сатирической форме обращает читателя к широко освещавшемуся факту создания кинофильма «Октябрь». Фильм в этом контексте уподобляется «походному мавзолею», в котором демонстрируется «образ скончавшегося вождя». Эта небезобидная шутка другим концом обращена к факту строительства Мавзолея Ленина в 1924—1930 гг. Вероятно, идея разглядывания умершего Ленина казалась Платонову кощунственной.

С. 189. ...организовать 10 революционных заповедников, в коих бы и собрать атрибуты и живых участников великих событий... — Идея создания ревзаповедника воплотится позднее — в романе «Чевенгур», где товарищ Пашинцев в реквизированной помещичьей усадьбе будет сохранять революцию «в нетронутой геройской категории» (*А. Платонов*. Чевенгур. М., 1989. С. 131).

Добиться всесоюзного радостного единодушия, посредством испускания радиоволн, и организовать взрывы счастья, с интервалами для заслушивания итоговых отчетов. — Ирония по поводу массового внедрения всесоюзного радиовещания и линии партии на искусственное воодушевление народа. В. Хлебников в своем стихотворении «Радио будущего» заявил: «Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем» (Красная новь, 1927, № 8). Способности «великого чародея» использовались как инструмент политического руководства страной. Поэтому уже через год после начала масштабного радиовещания в 1925 г. ЦИК берет эти вопросы под свою опеку. А в творчестве Платонова появляется образ радио — «всесоюзного дьячка», позднее разработанный в «Че-Че-О» и «Котловане».

Туркестанская Краснознаменная дивизия (4-я Туркестанская дивизия) — дивизия, входившая в состав Туркфронта и прославившаяся борьбой с басмачеством в районах Самарканда и Бухары в 1924—1926 гг. В апреле 1927 г. дивизии было присвоено имя ЦИК Таджикской АССР.

С. 190. Раньше бывало ходят так называемые божьи странники: висит у них на животе кружка <...> Надо раздать кружки нашей полухулиганящей молодежи, над кружкой поместить четкие чертежи Днепростроя и Волго-Дона <...> Через год — к 11-тилетию — мы бы одной меди набрали на индустриализацию миллионов триста... — Имеется в виду политика государственных внутренних зай-

мов, особых кредитных отношений, в которых государство берет денежные средства у населения, выступая перед ним в роли должника. В данном случае речь идет о Займе индустриализации. Внутренние займы не пользовались популярностью среди населения, не имеющего в основной массе денежных накоплений. В результате индустриализация в стране проводилась за счет эмиссионного финансирования, когда Госбанк распространял среди граждан ценные бумаги (облигации), а доход по ним выплачивал при выходе облигации в тираж погашения или тираж выигрышей.

Все мероприятия стоят миллиард <...> надо попостней... — В 1926 г. вышел приказ правительства под названием «Режим экономии», в котором говорилось о необходимости строгой экономии и сокращения расходов в народном хозяйстве.

<Дикое место> (с. 191)

Рассказ впервые опубликован в сб. *Страна философов.* 2005. С. 653—657. Печатается по этому изданию. Датируется 1927 годом.

Рассказ был обнаружен на обратной стороне листов машинописи «Чевенгура». При этом первая страница рассказа с названием оказалась утраченной, поэтому заглавие дается в редакционных скобках (*Корниенко Н. В.* Между Москвой и Ленинградом // Страна философов. 2005. С. 625—626). О рассказе дважды упоминается в письме Г. З. Литвина-Молотова, написанном Платонову в 1927 г. после прочтения рукописи повести «Строители страны» (первое название романа «Чевенгур»): «...в “Диком месте” выживший из ума “ученый” ищет пуп нации великодержавной». В этом же письме он пишет: «Мрачковского неплохо бы посадить в “Дикое место” (я использовал ваш старый набросок)» (*Воспоминания.* С. 219, 222).

С. 191. В окрестностях одной тюрьмы — такой же, как наша, — существовал город, населенный равными людьми. — Имеются в виду распространенные в народе легенды о «свободных» городах (Беловодье, Китеж-град и пр.). Об интересе Платонова к раскольникам и старообрядцам см.: *Антонова Е.* К вопросу о некоторых источниках прозы А. Платонова 1926—1927 гг. // Страна философов. 2000. С. 460—485.

Теперь он назывался Краснозвонск, потому что древний скит был основан на голубозвонной приовражной горе. — Авторская

ирония по поводу переименования старых городов на новый революционный лад.

С. 192. ...наука тоже должна помнить, что она только орган всеобщего государства и не свыше того! — Фраза отражает недоверие к представителям научной и творческой интеллигенции, ставшее отличительной чертой внутренней политики Советского государства в 20—30-е годы. Хорошо известны факты преследования представителей философской науки («Корабль философов», 1922), археологии, биологии и т. д.

Окажите ученому чину <...> в целях освежения государственности от приходящих инородных расовых сил. — Полемический отклик на книгу Ф. Ратцеля «Народоведение» (СПб., 1901), где высказана мысль о первичности монголоидной расы, из которой якобы образовались все остальные народности. Вместе с тем это намек на сталинскую политику назначения на ответственные должности представителей русской национальности.

Матушевский — вымышленная фамилия.

Че-Че-О. Областные организационно-философские очерки (с. 198)

Написаны в соавторстве с Б. Пильняком. Впервые — «Новый мир», 1928, № 12. С. 249—258. Печатается по: *Платонов А.* Возвращение. 1989. Датируется 1928 годом.

Несмотря на то, что Б. Пильняк поставил под очерками свою фамилию, по признанию Платонова, они написаны им лично, Пильняк внес лишь небольшую правку. Судя по тому, что первая публикация в «Новом мире» дана в сильно сокращенном виде, Пильняк убрал «политически неблагонадежные» места (практически всю первую главу, посвященную размышлениям о кооперации и хлебозаготовках, часть второй главы об истории Воронежского края и сатирические пассажи в адрес местной бюрократии).

1927—1928 гг. — время крутого поворота в экономике страны, взявшей курс на индустриализацию и введение коллективных форм хозяйствования в деревне. С октября 1927 г. Платонов работал в Наркомате земледелия, курировал начатые им еще в 1925 г. гидротехнические работы в Центрально-Черноземной области (ЦЧО), часто бывал в Воронеже, где находился административный центр ЦЧО. Ездил он по провинции и в качестве корреспондента газеты «Социалистическое земледелие». В своих записях он вел

правдивую хронику социалистического строительства тех лет: «Холмогорский Племсовхоз № 10: на 20/VIII план строительства выполнен на 15%; недовыполнение против намеченного свыше 30%. Соцсорев<нование> и ударнич<ество> на строительстве не существует. Работают по старинке артелью. <...> Совхоз «Свиновод» № 22. Соц<иалистического> строительства и уд<арничества> тут нет <...> Строительство выполнено на 25% плана. Нет гвоздей, железа и леса. <...> Рабочком плох. Имеются случаи, что рабочие, не получая зарплаты, уходят с работы. <...> Утрата поголовья 85—90%» (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 131, л. 1—4).

В очерках, написанных по итогам поездки в Центрально-Черноземную область, Платонов показал тяжелое положение деревни. Искренне сочувствуя простым хлебозаготовителям, он возложил вину за провалы в работе на бюрократов, умеющих лишь вычерчивать схемы и при этом уверенных, что именно они «строят в черноземных краях новый мир». Наполняя очерк политическим содержанием, писатель говорил об угнетенности народа, ставшего в последнее время «задумчивым» оттого, что слишком разрослось племя «сусликов». «Бюрократический актив» красиво живет: ездит с «секретареподобными женами и женоподобными секретарями» на курорты, курит дорогие сигареты. Народ для него — безликая масса, в которую можно «швырять, как кирпичи», книги, культуру, критику — словом, все, что не нужно «наверху».

Писатель представил читателю новую когорту людей-хищников — выдвиженцев. Рабочий Федор Федорович так объясняет причины их появления: «Юноши, попавшие в цех, никому не дороги... Ими и затыкают всякие выборные должности... А там наверху, в руководящих сферах, молодому человеку представляется теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью».

Платонов еще в 1920-е годы разглядел и художественно отобразил третий — неафишируемый — класс партийной номенклатуры: «Бюрократизм есть новая социальная болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей». Заканчивая очерк символическим образом «паровоза революции» с зажатыми тормозами, писатель предупреждал об опасности государственного бюрократизма.

С. 198. ...в нем ехали люди <...> на хлебозаготовки. — В середине 1920-х годов возникло резкое недовольство крестьян из-за значи-

тельных «ножниц» между ценами на сельскохозяйственные и промышленные товары. В результате крестьяне отказались сдавать урожай на хлебозаготовительные пункты, заявляя, что «по такой низкой цене хлеб сдавать не будут и лучше погноят его» (Совершенно секретно: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934). Т. 4. 1926, ч. 1, с. 535). Особенно ухудшилось положение с хлебозаготовками в декабре 1927 г. Страна не смогла экспортировать зерновые, лишившись таким образом денег на проведение индустриализации. Для выхода из сложившейся ситуации Сталин прибегнул к мерам, напоминающим продразверстку времен Гражданской войны. В декабре появились первые директивы ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках, а в январе 1928 г. в деревню были направлены 30 тыс. коммунистов, которые должны были провести «чистку» в сельсоветах и непокорных партячейках. Было разрешено применять к кулакам статью 107 закона против спекуляции, принятого в 1926 г. (*Вьюгин В.* Примечания к повести «Котлован» // А. Платонов. Котлован. Текст, материалы творческой истории. СПб, 2000. С. 159).

...контроль строительства обводнительных каналов... — В 20-е годы на Кавказе и юге России приступили к строительству оросительных и обводнительных сооружений, необходимых для увеличения посевной площади (напр. Терско-Кумский канал).

Председатель райсоюза потребиловок — председатель районного потребительского союза.

Замнаркомторг — заместитель начальника народного комиссариата по торговле.

С. 199. Говорят, здесь сразу кончаются суглинки и подзолы и начинается сплошная чернота почвы, то будто и есть Че-Че-О <...> она больше Англии и чуть меньше европейских держав... — Имеется в виду создание крупнейшей территориально-административной единицы СССР — Центрально-Черноземной области (ЦЧО) 16.07.1928 г., в состав которой вошли Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская губернии.

С. 203. Уже при Гаврииле Романовиче Державине, когда покойный был тамбовским губернатором... — Державин (1743—1816), русский поэт, представитель русского классицизма, действительно, был первым губернатором Тамбова. Тамбовскую губернию он назвал «кормилицей полночных провинций и источником <...> неприметного продовольствия Петербурга» (*Державин Г. Р.* Мнение о судоходстве по реке Цне. Сочинения Державина. Т. 7).

Поценский край — территория, прилегающая к реке Цне.

Другой тамбовец был из Кирсанова... — Платонов переиначил выражение великого русского сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина, называвшего невежественных представителей господствующий классов ташкентцами: «Ташкентец — это просветитель <...> на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим» (*М. Е. Салтыков-Щедрин*. Господа Ташкентцы). Для Платонова олицетворением «ташкентцев» стали чиновники Тамбова, объект сатиры в повести «Город Градов». Кирсанов — город в Тамбовской области, железнодорожная станция.

Кизяки — высушенный и спрессованный в виде лепешек или кирпичей навоз с примесью резаной соломы. Употреблялся в степных южных районах как топливо и для сельских построек.

А что Воронеж? — Раньше там хоть Петр Первый флот строил... — Петр I предпринял попытку сооружения канала в 1697 г. Он должен был соединить притоки Волги и Дона. Работами руководили иностранные специалисты Иоганн Бреккель и английский инженер Перри. Но от постройки канала Петра I отвлекла Северная война со Швецией (1701). История строительства художественно отображена Платоновым в рассказе «Епифанские шлюзы».

Крой Воронеж вовсю, <...> теперь ведь можно сверху донизу и снизу доверху: полоса самокритики пошла... — Имеется в виду кампания самокритики, развернувшаяся на страницах газет в 1927—1928 гг. Лозунг самокритики выдвинут на XV съезде партии в ноябре 1927 г. Первой подвергла себя публичной самокритике оппозиция. Самокритики требовали от рядовых граждан и партийцев.

С. 204. Купырь — род трав семейства зонтичных. Некоторые виды пригодны в пищу как овощные и пряные растения.

С. 205. Калмиюсская Сакма (Кальмиусская Сакма) — главная степная дорога, имевшая стратегическое и торговое значение; брала начало у Азовского моря и проходила через Северский Донец по водоразделу рек Оскола и Дона, у реки Большая Сосна. В XVI — первой половине XVII в. была одним из главных путей, по которому крымские татары совершали набеги на юг России.

Затем в Воронеже и его окрестностях появились святые угодники... — Святой угодник — лицо, возведенное церковью в ранг святых за совершенные им при жизни особо угодные Богу дела или образ жизни. Платонов иронично называет угодниками торговцев

и содержателей постоялых дворов, сообщая об их полезных для России делах — налаживании торговых отношений и развитии транспортного сообщения с соседями.

С. 206. Чумацкий солевозный тракт — «чумацкий шлях» — путь, берущий начало от Перекопского перешейка, по которому крымская соль перевозилась в Россию. В 1850 г. солевозный тракт был закрыт. Чумаки — в XVI—XIX вв. украинские возчики соли, рыбы и т. п., главным образом из Крыма.

Митрофаний Воронежский (1623—1703) — святитель, первый архипастырь г. Воронежа. Участвовал в венчании на царство Ивана и Петра Алексеевичей, предсказал славу великого самодержца юному Петру и был его духовным наставником. Прославился строительством новых храмов и монастырей (Благовещенский собор в Воронеже, 1690) и тем, что передавал деньги на строительство кораблей для Петровского флота. Перед смертью принял схиму и имя Макарий.

Тихон Задонский (1724—1783) — епископ Воронежский, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII в., причисленный к лику святых. Прославился не только своими благочестивыми делами (устроил Воронежскую духовную семинарию), но и как искусный проповедник, повлиявший своими трудами на Ф. М. Достоевского. С 1769 г. поселился в Задонском монастыре, где все дни проводил в молитвах и духовных беседах.

...я жил в Задонске. — Рассказчик, от лица которого ведется повествование, автобиографический персонаж. Но Платонов никогда не жил в Задонске. Он родился и вырос в Ямской слободе близ Воронежа. Мимо Ямской слободы проходил Задонский тракт, по которому богомольцы из соседних областей шли к святым местам: Митрофаньевскому монастырю в Воронеже и к мощам Святителя Тихона Задонского в Задонске — старейшем городе Липецкой области на Дону.

Дед был золотых дел мастером... — Отец Платонова, слесарь железнодорожных мастерских, имел дополнительный заработок: покрывал сусальным золотом церковные купола, изготавливал несложные ювелирные изделия.

С. 207. Столыпин дал исход деревенской верхушке на хутора. — Речь идет о столыпинской аграрной реформе, названной по имени ее инициатора Петра Аркадьевича Столыпина (1862—1911) — министра внутренних дел и председателя Совета мини-

стров Российской империи (с 1906). Столыпин разрешил выход из крестьянской общины на хутора, ввел принудительное землеустройство и усилил переселенческую политику (перемещение сельского населения центральных районов России на постоянное жительство в малонаселенные окраинные местности — Сибирь, Дальний Восток).

Социально-производственная форма организации крестьянства теперь найдена — коллективы; в сущности — это коммуны 19—20 года, но без многих недостатков. — Имеются в виду колхозы и совхозы, на которые Сталин и его сторонники возлагали большие надежды в преодолении кризиса сельского хозяйства 1927—1928 гг.

Колхозцентр (Всесоюзный совет сельскохозяйственных коллективов СССР) — организация, призванная служить проводником линии партии в области сельского хозяйства, уничтожить носителя «буржуазной идеологии» на селе и создать социалистическую деревню. На долю Колхозцентра выпали такие непопулярные среди населения меры, как установление оплаты труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях, объявление о необходимости коллективизации 8 млн крестьянских хозяйств, составление пятилетнего плана колхозного строительства.

С. 208. ...губгород Москва. — В 20-е годы Москва, несмотря на статус столицы, исполняла и функции губернского центра.

С. 209. «М.К.Х.», «В.К.Х.» — аббревиатуры организаций «Московское коммунальное хозяйство» и «Воронежское коммунальное хозяйство».

Тормоз Кунце-Кнорра — тормоз железнодорожной грузовой системы.

Г.Ж.Д. — государственная железная дорога.

С. 210. Адмотдел ГИКа — административный отдел городского исполнительного комитета партии.

С. 211. ...я для них был прежним Электромонтером — автобиографический мотив. Платонов учился в Воронежском политехникуме, по окончании которого работал инженером-электриком и мелиоратором.

С. 213. ...завтра служащие люди будут сидеть иначе, для них наступит новый режим писчего дня. — Имеется в виду Постановление НКТ СССР от 13 февраля 1928 г. № 100 «О работниках с ненормированным рабочим днем», по которому служащим пре-

доставлялся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней.

С. 215. Другие враги теперь родились: вон на Шахтах, еще в прочих губерниях. — Имеется в виду «Шахтинское дело» — судебный процесс, состоявшийся в Москве в мае-июне 1928 г. Группа инженеров и техников обвинялась в создании контрреволюционной организации, поставившей целью разрушение каменноугольной промышленности. С того времени понятие «шахтинцы» использовалось в прессе и различных политических документах как имя нарицательное, для обозначения «вредителей».

«На сопках Маньчжурии» — вальс, написанный капельмейстером 214 Мокшанского пехотного полка (текст С. Петрова). Родиной вальса считается г. Златоуст (Челябинская область). Здесь был расквартирован участвовавший в русско-японской войне 1905 г. Мокшанский полк. Вальс впервые был исполнен в 1906 г. в Златоусте во время чествования полка и воздания почестей погибшему в Маньчжурии командиру.

С. 216. Там тысяча человек спасала десятерых спутников Нобиля... — Речь идет об итальянской экспедиции к Северному полюсу на дирижабле «Италия» (1928) Умберто Нобиле, потерпевшего аварию севернее Шпицбергена. Трагические события в Арктике мая-сентября 1928 г. широко освещались в прессе (Красная газета. 1928. 4 июня, 13 августа, 29 сентября). Газеты писали о героическом поступке известного полярника Р. Амундсена (1872—1928), вылетевшего на своем самолете с целью обнаружения экспедиции Нобиле и потерпевшего крушение во льдах Баренцева моря. В поисках экспедиции и самолета Амундесена принимали участие 16 кораблей и 21 самолет из различных стран. Советское правительство направило к месту предполагаемого крушения два ледохода — «Красин» и «Малыгин», на борту которых находились самолеты.

Усомнившийся Макар (с. 216)

Впервые — «Октябрь», 1929, № 9. С. 28—41. Датируется 1929 годом.

Рассказу предшествовали несколько сказов, подготовленных для радиопрограммы «Деревенский утренник» («...как Макар прибыл в Москву...», как «Макар ходил по Москве <...> и нашел себе друга...» и др.). Сказы были написаны, очевидно, в 1928 г. и соединены в одно произведение позднее, в 1929 г. (*Антонова Е.*

Рассказы А. Платонова для крестьянского радио // Страна философов. 2003. С. 692).

В одном из писем марта 1927 г. Платонов сформулировал главную мысль «Усомнившегося Макара»: «Они (чиновники) привыкли раздумывать о великих далеких массах, но когда к ним приходит конкретный живой человек этой массы, они его считают за пылинку, которую легко и не жалко погубить» *(Корниенко Н. 1993.* С. 69). С горечью видел Платонов, что в стране набирают силу авторитарность, окрик и грубое вмешательство в творческую деятельность, поэтому для рассказа он выбрал иносказательный жанр литературной сказки. Как код узнавания жанра в рассказе присутствуют сказочные формулы: сюжет-путешествие, сказочный зачин и финал, мотив хождения за правдой, деление героев на умников и дураков.

По законам сказочно-сатирического жанра все события в рассказе соотносятся с современной Платонову действительностью и отсылают читателя к главному политическому моменту — Великому перелому, а также к центральной проблеме творчества писателя «человек и государство». Платонов изобразил социальное неравенство как внутри деревни, так и в государстве в целом.

Москва, верховный город страны, показана в «Усомнившемся Макаре» явно отрицательно. Платонов рисует «мертвое царство» Москвы, где уже гибнет природа: «Деревья росли жидкие, под ними валялись конфетные бумажки, винные бутылки <...> Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже больше мучились и мало росли».

Москва сопровождает Макара машинальным движением десятков тысяч людей с кожаными портфелями и «научным выражением» лиц. Макар встречается со странными механическими людьми — «надзирателями» и «стражниками». Они повсюду строго следят за исполнением закона. Всех их объединяет бездумное следование предписаниям и пренебрежение интересами простого человека.

Кульминацией рассказа является сон Макара, в котором он побеждает «научного человека». Мертвый «научный человек», созерцающий общие масштабы и не замечающий частного Макара, — это гротескный образ, обобщивший бюрократизм, государственную власть и преступное невнимание к «маленькому человеку». Это символ мертвой системы, порожденной неограниченной властью пар-

тийной номенклатуры. Финал, когда герои, взяв власть в свои руки, уничтожают государство, подтверждает эту мысль. Петр и Макар возвели принцип самостоятельности человека в ранг государственной политики. Так Платонов в художественной форме воплотил свое понимание ленинского учения об отмирании государства, а заодно «подсказал» возможный путь к его осуществлению.

И все же сказочность финала и откровенно ироническая манера повествования позволяют говорить о том, что писатель сильно сомневался в скором отмирании государства. Платонов не случайно сделал концовку рассказа двусмысленной. Критики увидели в этом недоверие автора к способности народа вершить государственные дела. Рассказ вызвал волну резкой и несправедливой критики. В журналах «Октябрь» и «На литературном посту» была напечатана разгромная статья генерального секретаря РАПП Авербаха, в которой высокие цели сатирика назывались «шкурничеством», «ячеством» и «нигилистической распущенностью».

С. 222. Хозяйке кричали, чтобы она чего-то дала по требованию… — Имеется в виду остановка транспорта по требованию пассажира.

С. 223. Дома стояли настолько грузные и высокие… — В Москве в 1920-е годы формируется монументальное искусство архитектуры, призванное воздействовать на сознание человека, внушать мысль о могущественности государства. Началось строительство грандиозных высоток. Недалеко от Кремля появляется огромное здание СТО (Совета труда и обороны, теперь — Госдума), на Берсеневской набережной вырастает гигантский жилой квартал Дома СНК и ЦИК («Дом правительства»), по Садовому кольцу строятся многоэтажные жилые дома.

С одного бока площади стояла стена, а с другого — дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей… — Имеется в виду здание Большого театра.

Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом ~ жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. — Вероятно, имеется в виду Лобное место — высокая площадка из белого камня на Красной площади слева от собора Василия Блаженного. Возможно также, что речь идет о мемориальной доске работы С. Т. Конёнкова «Павшим в борьбе за мир и братство народов», установленной на Сенатской башне 7 ноября 1918 г. (снята при реставрации башни в 1950).

С. 224. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти. — Имеются в виду профсоюзы, считавшиеся школой коммунизма.

С. 226. Ночлежный приют — в 1928—1929 гг. продолжали действовать ночлежные дома, где приезжему можно было переночевать за небольшую плату, например, в московских ночлежных домах на Хитровке.

С. 228. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем... — В 1920-е годы при заводах и фабриках активно действовали союзы охраны труда рабочих под эгидой Международной организации труда, проводившей регулярные конференции.

С. 230. Он на уклоне стоит, ему и кажется, что все вдалеке, а вблизи нет ни дьявола! — Правый уклон в ВКП(б) — оппозиционная группа в 1928—1930 гг., в состав которой входили Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский. Считали, что столбовая дорога крестьян не колхозы, а кооперативы. Выдвигали концепцию затухания классовой борьбы и врастания капиталистических элементов в социализм. Считали главной задачей партии развитие сельского хозяйства, требовали для этого снижения темпов индустриализации и сокращения ассигнований на капитальное строительство. Апрельский Пленум ЦК 1929 г. осудил «правый уклон». Бухарин и его сторонники были освобождены от занимаемых должностей, а вскоре исключены из партии.

С. 231. Мне яства хочется, а партия говорит: вперед заводы построим — без железа хлеб растет слабо. — Речь идет о политике индустриализации, которая должна была помочь стране совершить технический переворот, укрепить экономику и в конечном счете помочь сельскому хозяйству — дать трактора, сеялки и проч., которые облегчат труд крестьянина. Однако в 1929 г. индустриализация совершалась за счет ухудшения материального положения и наступления на права сельского населения.

...иначе ты с тонкой линии неминуемо треснешься вниз. — В 1929 г. в политическую терминологию эпохи уверенно вошла идиома — «генеральная линия» партии. Генеральная линия означала проведение индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Именно мысль о наличии некоей второй «тонкой линии» иронически обыграл Платонов в диалоге героев.

С. 234. РКИ — Ревизионно-контрольная инспекция. Была создана по предложению Ленина в 1923 г. на XII съезде партии как

объединенный партийно-государственный орган ЦКК (Центральной контрольной комиссии, созданной ранее). Являлась высшим органом партийного контроля.

Выше их приняли, потому что там была тоска по людям и по низовому действительному уму. — После революции особой заботой партийного руководства и профсоюзов было выдвижение на руководящие должности рабочих и крестьян.

Комиссия по делам ликвидации государства — иронический слепок с работ классиков марксизма об отмирании государства. Например, в работе «Развитие социализма от утопии к науке» Ф. Энгельс сказал: «Государство не “отменяется”, оно отмирает» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 19).

Отмежевавшийся Макар (с. 235)

Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1993. № 4. С. 118—119. Датируется 1930 годом.

Набросок рассказа сохранился в семейном архиве. Рассказ представляет собой переработку одной из серии «Былей» о Макаре, которые Платонов писал для «Крестьянской радиогазеты», где работал вместе с воронежскими писателями Андреем Новиковым и Н. Тришиным. Рассказы Платонова для крестьянского радио (1928—1930) опубликованы в «Стране философов» (Вып. 5. С. 692—717).

С. 237. Авербах — упоминание связано с появлением статьи Л. Авербаха о рассказе Платонова «Усомнившийся Макар». Статья «О целостных масштабах и частных Макарах» появилась одновременно в ноябрьских номерах журналов «Октябрь» и «На литературном посту» (1929. № 21—22. С. 17), а также 3 декабря в «Правде». Платонов обвинялся в недостатке «классовой ненависти», анархизме, нигилизме и индивидуализме.

РАННИЕ РАССКАЗЫ

Очередной (с. 241)

Впервые опубликован в журнале «Железный путь» (Воронеж, 1918. № 2. 5 октября. С. 16—17). Датируется 1918 годом.

Рассказ-очерк «Очередной» был первой публикацией Платонова в журнале «Железный путь». Двухнедельник «Железный путь» впервые вышел осенью 1918 г. Этот журнал был органом Главно-

го культурно-просветительного отдела Юго-Восточных Советских железных дорог. Редакция включила Платонова в состав тех, кто любезно согласился принять участие в журнале, где сотрудничали поэты М. Герасимов и В. Казин, прозаик А. Серафимович, нарком путей сообщения В. Невский и др. (*Ласунский*, с. 72).

Рассказ автобиографического характера: описана работа Платонова в 1916 г. литейщиком на Трубочном заводе в Воронеже (*Ласунский*. С. 59—61). Платонов достоверно показал реальные условия труда литейщиков. Погибший Ваня — очередная жертва предпринимательской корысти. Но и эта смерть ничего не меняет в монотонном ритме заводского производства.

Маркун (с. 244)

Рассказ впервые опубликован в журнале «Кузница», Москва, 1921, № 7 (декабрь 1920 — март 1921), с. 18—22; подпись: Андрей Платонов.

Дата написания рассказа — 28.VII.1920. В архиве журнала «Кузница» имеется авторизованная машинопись рассказа (РГАЛИ, ф. 1638, оп. 4, ед. хр. 21).

В январе 1921 г. Платонов обратился в московский Госиздат с просьбой издать его книги. Он отправил в издательство рукописи трех сборников: стихотворений, рассказов и статей. Рассказы были переданы на рецензию.

Особенно понравился рецензенту С. Шилову рассказ «Маркун»: «Оригинальный этюд, написанный вполне литературно». Здесь он находит то, что ценно для целей пропаганды: «Пропагандируется беспредельная мощь разума и духа человеческого. Вызывает чувство бодрости и дерзания» (*Субботин*. С. 439).

С. 245. От недавней болезни у него дрожали ноги и все тело тряпкой висело на костях. — Реальный факт: в автобиографии от 5 сентября 1942 г. Платонов указал: «В 1921 году был демобилизован — после болезни (тиф, воспаление легких)» (*Воспоминания*. С. 445). Речь идет о демобилизации из Первого рабочего Коммунистического полка железнодорожной обороны Южного фронта (*Ласунский*. С. 82—83).

В это время ...паровозы еле пробивали сугробы. — Известно о работе отца писателя на снегоочистителе. В очерке о нем «Герои труда: кузнец, слесарь и литейщик» сказано: «...слесарь Климентов в зимние вьюги пробивал сугробы своей машиной...» (1920,

7 нояб.). В автобиографии 1942 г. Платонов указал, что летом 1919 г. сам был помощником паровозного машиниста.

С. 247. ...моя машина — пасть, в которой может исчезнуть вся вселенная в мгновение, принять в ней новый образ. — Образ двигателя, способного пересоздать вселенную, превратить ее в гармоничное мироздание — центральный образ-символ рассказа. Описание двигателя позволяет увидеть, что он устроен по принципу изобретения Архимеда — архимедова винта: вал с винтовой поверхностью, установленный в наклонной трубе, нижний конец которой погружен в воду. Разница в том, что архимедов винт служил для подъема воды. А у Платонова он должен перемолоть материю земли.

Апалитыч (с. 251)

Впервые опубликован в газете «Красная деревня» (1920. № 160. 18 сент. С. 2—3); подпись: Андрей Платонов. Автограф неизвестен, датируется 1920 годом.

Рецензент московского Госиздата С. Шилов дал отзыв о рассказе «Апалитыч»: «В художественном отношении рассказ безусловно хорош» *(Субботин)*.

Апалитыч — от Ипполитович. Отчество указывает на реальный прототип. По воспоминаниям младшего брата писателя Семена Платоновича Климентова, в Ямской слободе у них был сосед сапожник Ипполит (*Свительский В. А.* Из бесед и переписки с родственниками А. Платонова // Филологические записки. Воронеж, 1999. С. 190—191).

В ранних произведениях Платонова постоянно встречается персонаж — сапожник с таким отчеством: см. «Приключения Баклажанова», «Рассказ о многих интересных вещах», «Родоначальники нации...», «Демьян Фомич — мастер кожаного ходового устройства».

С. 251. Хвощеватский сапожник. — Хвощеватка, населенный пункт на правом берегу Дона, недалеко от Воронежа.

С. 252. ...я не здешний, не бабьин сын... — Бабин сын (шуточно бранное). Что не дурень, то и бабин. Что миру, то и бабину сыну.

С. 253. Сапоги он лепил, как мертвый... — Образ связан с мотивом «мертвых душ», очень распространенным в русской литературе 1920-х годов.

Волчок (с. 254)

Впервые опубликован в газете «Красная деревня» (1920. № 174. 8 октября. С. 2—3), подпись: Андрей Платонов. Печатается по вырезке из «Красной деревни» с авторской правкой, сохранившейся в семейном архиве. Датируется 1920 годом.

Рецензент московского Госиздата заметил многие достоинства рассказа «Волчок»: «Тонкость и глубина переживаний. Напряженное настроение, вообще характеризующее Платонова в представленных им произведениях». Однако и здесь у него кое-что вызывает сомнения: «<...> Слишком серьезные вопросы для маленького мальчика. Пессимизм, болезненность, какой-то надрыв, который чувствуется и в других произведениях автора». Единственной помехой для публикации этого рассказа рецензент считает «бумажный кризис» (*Субботин*, с. 439).

Волчок — кличка собаки, встречается в рассказах «Серега и я», «Странники». В стихотворении «Мальчик» ему посвящены строки:

Спит Волчок в репьях под лопухами,
Сердце человечье у него во сне...

С. 254. Был двор на краю города. И на дворе два домика — флигелями. — Речь идет о реальном месте, где семья Климентовых прожила пять лет — с 1912 по 1917 г. Его адрес сохранился в документах Андрея Климентова: «Миллионная ул., д. 192 Астахова, сл. Ямская» (ГАВО, ф. И-33, оп. 52, д. 545, л. 9. Опубликовал: *Ласунский*).

Ходил домой я через забор. Ворота и калитка всегда были на запоре. — В повести «Ямская слобода» открыта причина, по которой мальчику приходилось перелезать через забор: ворота усадьбы, принадлежавшей Астахову, открывались только раз в неделю — для водовоза.

...По шерсти у него пробиралась попова собака. — Попова собачка — мотылек из сумеречников.

Далеко выл у запертого семафора паровоз... — «Там, где рельсы пересекались с Задонским шоссе, стоял деревянный шлагбаум. В положенные минуты появлялся железнодорожный сторож и, заслышав приближавшиеся свистки, закрывал переезд с двух сторон. Повозки и пешие странники покорно ждали, пока состав пройдет мимо».

С. 255. Лыдки — ноги.

Волы (с. 258)

Вор. ком., 1920, № 243, 29 октября, с. 3; под рубрикой «Маленькие рассказы»; подпись: А. Платонов.

Речь идет о событиях гражданской войны 1919—1920 гг. На Воронежскую губернию, где была установлена советская власть, с юга, из донских степей наступала белая армия Деникина. 5 сентября 1919 г. в Воронежском укрепленном районе объявлено осадное положение. В октябре 1919 г. Воронеж освобожден от деникинских войск Конной армией Буденного. Осенью 1919 г. в результате наступления Красной Армии на Южном фронте войска Деникина были разгромлены.

В мастерских (с. 260)

Вор. ком., 1920, № 268, 27 ноября, с. 1, под рубрикой «Там, где огонь и железо», подпись: П. Автограф неизвестен. Датируется 1920 г.

Воронежские железнодорожные мастерские, где происходит действие рассказа, были местом работы отца писателя П. Ф. Климентова. На электростанции при мастерских в 1919—1920 гг. работал и сам Платонов.

С. 261. ...электропоезд сделаем, как, я тебе говорил, в Петрограде сделали. — Имеется в виду электропоезд инженера И. И. Махонина, который построен в Петрограде на балтийском заводе в 1920 г. Состоял из шести вагонов — трех с установленными электромоторами и трех тендерных. Газеты сообщали об испытательной поездке электропоезда. Платонов упоминает об электропоезде Махонина в статьях «Электрификация», «У начала царства сознания», «Вода — основа социалистического хозяйства» (*Суматохина Л. В.* Комментарии. Т. 1.1. С. 576; *Антонова Е. В.* Комментарии. Т. 1.2. С. 364).

С. 262. Ему бы не работать, а черепендиками торговать. — Черепеники (черепяники) — гречишники, гречневики, столбцы, пряженое в постном масле тесто, в виде стопок, печется в черепушках — глиняных стопках; черепеня, черепеничник — кто печет, продает черепеники вразноску.

Странники (с. 262)

Газета «Коммунистический воскресник детям» (Однодневная газетка, выпущенная Воронежским комсожуром, 1920, 6 декабря, с. 3). Датируется 1920 годом.

Серега и я (с. 263)

Впервые напечатан в журнале «Красный луч» (Задонск), 1921, № 1, июль, с. 2—3. Датируется 1921 годом. Журнал «Красный луч» не найден. Печатается по публикации в журнале «Подъем» (1966. № 6. С. 91—93).

По свидетельству Н. Задонского, основавшего журнал, А. Платонов, «лишь бегло взглянул на рассказ, поморщился и вздохнул. Видно было по всему, что самого его рассказ не очень-то радовал» (*Воспоминания*, с. 15—16).

С. 265. ...и прочел: «В селе за рекою потух огонек...» — Платонов цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Вишня». Эти строки в рассказе повторяются трижды. О них Платонов упоминал в письме жене: «Эти стихи, Мария, сразу объяснили мне уют, скромность и теплоту моей родины — и от них я больше любил уже любимое», — писал Платонов жене осенью 1922 г. (*Живя главной жизнью*, с. 161).

Белогорлик (с. 267)

Впервые опубликован в Кр. дер., 1921, № 1, 1 января, с. 6; под рубрикой «Когда земля была не наша»; подпись: А. П.

С. 267 ...в глушине одного хутора. — Здесь: глушина — тишина.

Рогач — ухват.

Гумно — задворье, зады, огороды.

Живая хата (с. 268)

Впервые опубликован в Кр. дер., 1921, № 1, 1 января, с. 6; под рубрикой «Когда земля была не наша»; подпись: А. П.

Жажда Нищего (Видения истории) (с. 268)

Вор. ком., 1921, № 1, 1 января, с. 4—5, с подзаголовком «Жажда Нищего», подпись: Нищий. Датируется по первой публикации.

Менеть — уменьшаться.

Ерик (с. 275)

Кр. дер., 1921, № 21, 30 янв., с. 2—3; подпись: П. Автограф неизвестен. Датируется и печатается по первой публикации.

Ерик — глухой, непроточный рукав реки, образовавшийся из старицы; узкий, глубокий пролив из реки в озеро. Созвучно слову «ерник» — беспутный человек, плут и мошенник.

С. 275. Жил на этом свете в Ендовищах... — Ендовище — впалая поляна или луговина, обширная плоская впадина. Название реального населенного пункта, находящегося недалеко от Воронежа.

С. 276. Чуни — лапти из пеньковой веревки.

Егорьев день — церковный праздник в память великомученика Георгия, празднуется 6 мая.

С. 277. Курник — курная изба, которая отапливалась по-черному, то есть печью без трубы.

Поэма мысли (с. 277)

При жизни автора не публиковалась. Впервые опубликована в журнале «Октябрь» (1999. № 2. С. 122—123). Предположительно датируется концом 1920 — началом 1921 г.

Текст представляет собой один из ранних вариантов рассказа «Потомки солнца».

С. 278. Потому что не может прийти к нему спаситель и, когда приходит, если придет, не сможет жить в этом мире, чтобы спасти его. — Здесь содержится редкое для творчества писателя прямое признание в ожидании прихода спасителя. Близкий образ возникает в стихотворении Платонова «Слепой» (1920):

Ты оживший, спасенный спаситель...

(Т. 1.1. С. 391).

В звездной пустыне (с. 279)

Рассказ впервые опубликован в газете «Огни», 1921, № 1(18), 4 июля, с. 3. Подпись: Андрей Платонов.

С. 279. Тих под пустынею звездною / Странника избранный путь... — В качестве эпиграфа взято первое четверостишие стихотворения Платонова «Тих над пустынею звездною...» (1920—1921) (*Соч. Т. 1.1.* С. 409). Строки этого стихотворения представляют собою пересказ любимого Платоновым стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...».

Название рассказа тоже связано с этим лермонтовским стихотворением.

Стихотворные эпиграфы часто встречаются в ранних рассказах Платонова. Это вызвано тем, что проза Платонова зарождалась под влиянием поэзии.

С. 281. Вселенная<...> — невзорванная гора на нашей дороге. — Платонов цитирует В. Хлебникова: «Если имеем две соседние долины с стеной гор между ними, путник может взорвать эту гряду гор...» («Словотворчество есть взрыв языкового молчания» // *Хлебников В.* Творения. М., 1986. С. 624).

Они недовольны миром, для них мир не загадка, а куча железного лома, из которого надо сделать двигатель. Этот двигатель увезет нас всех отсюда, из этой тоскливой пустыни, где смерть и труд и так мало музыки и мысли. — Ключевой фрагмент рассказа, который впоследствии повторится во многих произведениях писателя. Стремление сделать из мира двигатель связано с центральной идеей пролетарской поэзии: «Сам мир будет новой машиной» *(А. Гастев).*

С. 283. ...регуляторы ставили на полную скорость... — цитируется строка из стихотворения Платонова «Вселенной»:

Разум наш, как безумие, страшен,
Регулятор мы ставим на полный ход,
Этот мир только нами украшен,
Выше его — наш гремящий полет.

(Соч. Т. 1.1. С. 402).

На вершинах труда исчезает мир, и ты свободен... — Верой в то, что «человек освободится от борьбы с материей, труда», наделен герой рассказа «Маркун». Речь идет об освобождении человека от власти материи в результате растворения в космосе, когда утрачивается его телесная оболочка, но сохраняются духовная сущность и сознание.

С. 285. Чагов <...> сел за стол за чертежи любимой машины, за свой великий проект, который он творил, как поэму. В нем опять запела музыка... — развивается мотив, обозначенный в рассказе «Маркун»: «у Маркуна от этого чертежа волной поднималась музыка в крови». Тот же мотив продолжится в «Котловане» и будет связан с образом инженера Прушевского.

Володькин муж (с. 286)

Вор. ком., 1921, № 218, 30 сентября, с. 3; подпись: Скорлупендий. Датируется по данной публикации.

С. 286. Дежка — дежа, квашня, кадка, в которой квасят и месят тесто на хлебы.

Ерихониться — хорохориться, ерепениться, важничать, ломаться, упрямиться.

С. 287. Не ливанешь гаску? — Гас — керосин, нефть.

Гас у меня за гашником. — Гашник — шнур, вдеваемый в рубец верхней части кальсон; планка или рубец для шнура, резинки, стягивающей кальсоны; пояс, стягивающий брюки.

С. 288. Звизнуть бы тебе, чтоб сычуг лопнул... — Сычуг — один из четырех желудков жвачных животных, в котором пища окончательно переваривается.

Заметки (с. 288)

Впервые опубликованы в Вор. ком., 1921. 4 дек., № 273, с. 2. Датируются по данной публикации.

В «Заметках» переданы впечатления от походов Платонова в село Волошино Верхне-Хавской волости. Село находилось на расстоянии более шестидесяти верст от Воронежа. Его официальное название Семеновка 1-я. Волошино делилось на Верхнее и Нижнее. В Верхнее Волошино была командирована уездным отделом народного образования М. А. Кашинцева. Она прошла специальные трехнедельные курсы подготовки к ликвидации крестьянской неграмотности. В Волошине находилась старая земская школа — одноэтажный кирпичный домик с классной комнатой и помещением для жилья учительницы. Здесь с мая 1921 по весну 1922 г. жила и работала Мария Кашинцева — будущая жена Платонова. Кампания по борьбе с неграмотностью открылась в сентябре и продолжалась до апреля 1922 г. Каждые два месяца состав учеников обновлялся. Сюда, часто пешком, приходил к ней Платонов. Походы были опасными, потому что в лесах скрывались крестьяне, не принявшие советскую власть и официально считавшиеся бандитами (*Ласунский*, с. 96—100).

Волошино упоминается в рассказах «Данилок», «Приключения Баклажанова», «Бучило», в повести «Эфирный тракт».

С. 290. Покров — церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.

Невозможное (с. 290)

Впервые опубликовано в сборнике «Страна философов» (Вып. 1. 1994. С. 342—351). Датируется второй половиной 1921 года.

С. 291. Аррениус Сванте Август (1859—1927) — шведский ученый, один из основателей физической химии, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1903) и иностранный почет-

ный член АН СССР (1925). Лауреат Нобелевской премии (1903). Автор трудов по астрономии, астрофизике, биологии.

...жизнь не местное, не земное явление, а через эфирные неимоверные пространства переправлена к нам с других планет. — Представления о существовании эфира в межпланетном пространстве содержались в школьном учебнике О. Д. Хвольсона «Курс физики» (Пг., 1915), по которому училось поколение Платонова. Оно было отвергнуто физикой 1920-х годов.

С. 293. Мы потомки Солнца... — Платонов цитирует определение М. Горького «дети солнца» и подводит под него научное обоснование. Представление, что солнце было отцом людей, восходит к египетской и древнеиндийской мифологии.

Тут волнует и вспоминается старое библейское предание и восточные и египетские религии о происхождении всего из света, о боге света и добра — Ормузде. — Платонов имеет в виду первую главу библейской книги Бытия о сотворении мира из света.

Ормузд и Ориман — герои памятника древнеиранской литературы «Авеста» (XV—X в. до н. э.), священной книги зороастризма, представлявшей собой собрание молитв.

Сатана мысли (с. 302)

Впервые опубликован под заглавием «Сатана мысли (Фантазия)», в журнале «Путь коммунизма», 1922, кн. 2 (март-апрель); подпись: Андрей Платонов. Печатается по вырезке из журнала с авторской правкой и по беловой рукописи с правкой. Датируется по первой публикации началом 1922 года.

Первоначальное название «Сатана мысли» имело подзаголовок. На отдельном листе рукописи сохранился вычеркнутый вариант заглавия: «Сатана мысли. Хроника борьбы человечества со вселенной. Из записок инженера Вогулова — с моими примечаниями».

Вариант заглавия с подзаголовком указывает на одну из сохранившихся ранних редакций рассказа: «Корабль света: Из хроники борьбы человечества со вселенной. По записной книжке инженера Мариана. 1. Сатана мысли». В вырезке из журнала «Путь коммунизма» с авторской правкой первое название вычеркнуто и вписано: «Потомки солнца».

В рукописи сохранилась следы авторского поиска имени героя: вычеркнуто первоначально указанное имя — Мариан.

С. 302. Ночь была песнею звезд <...> и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам... — Платонов цитирует в прозе свое стихотворение «Познаны нами тайны вселенной»:

В жизни бессмертной, как в песне неспетой,
Звезды звенят и поют.

(Соч. Т. 1.1. С. 404).

Здесь трансформируется и эпиграф рассказа «В звездной пустыне»:

Тих над пустынею звездною
Странника избранный путь... —

и странником становится весь мир.

С. 303. ...в него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. — Мотив «пустого» пространства внутри человека, пространства, способного вместить в себя мир, чтобы его очеловечить, связан с образом из стихотворения О. Мандельштама «Раковина»:

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем.

...давно никто не смотрел на небо — все взгляды опустились в землю, все руки были заняты. — Платонов цитирует стихотворение А. Гастева: «Мы не будем рваться в эти жалкие выси, которые зовутся небом. Небо — создание праздных, лежачих, ленивых и робких людей. Ринемтесь вниз! Вместе с огнем, и металлом, и газом, и паром нароем шахт, пробурим величайшие в мире туннели, взрывами газа опустошим в недрах земли непробитые страшные толщи. <...> Сам мир будет новой машиной».

Он руководил миллионными армиями рабочих... — В рассказе смоделирован сюжет, который реализуется в практической деятельности Платонова — инженера-мелиоратора и землеустроителя. Постановлением Воронежского Губземотдела Платонов с 14 января 1922 г. возглавляет Комиссию по гидрофикации при Губземотделе. С 15 марта 1922 г. Комиссия входит в отделение сельскохозяйственной мелиорации подотдела землеустройства. Платонова назначают политическим руководителем отделения сельскохозяйственной мелиорации. 7 августа 1924 г. Совет Народных Комиссаров принимает решение о помощи 12 неурожайным губерниям, в числе которых и Воронежская. На противозасушливо-мелиоративные работы

по Воронежской губернии на сезон 1924/25 гг. выделено 1 118 800 рублей. Этот кредит предназначался для проведения мелиоративных работ в губернии с тем, чтобы избежать в будущем подобной катастрофической зависимости от климатических условий, а мелиоративные работы нужно было вести силами местного населения, чтобы беднейшее и наиболее пострадавшее от засухи население могло получить финансовую поддержку в качестве заработной платы за участие в работах. Этими общественно-мелиоративными работами руководил Платонов. Со 2 сентября 1924 г. Платонов руководит работами 23 гидротехников в 60 пунктах Воронежской губернии. На этих работах занято около 2 500 рабочих.

Платонов отправляет 9 сентября телеграмму в Москву, в Наркомзем, где сказано, что работы идут в Богучарском, Россошанском, Острогожском, Валуйском уездах. Строятся колодцы, идет ремонт прудов и строительство новых, на работах заняты: пеших 4800 человек, конных — 600.

С. 304. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании и направлении ветров через изменение рельефа земной поверхности… — Речь идет о реальных работах Платонова в качестве руководителя Губернской комиссии по гидрофикации. О проектах реконструкции рельефа взрывным методом сказано в статье «На фронте зноя» (Вор. ком. 1922. 26 апреля).

Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной, чудесной мощи, чтобы армия рабочих в 20—30 тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималаи. — Цитируется один из мотивов Апокалипсиса: «…и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих» (Откр., 6: 14). То же повторяется в поэзии А. Гастева: «В Азии транспортным постройкам мешали Гималаи… краном приподняли весь горный кряж и низвергли его в индийские болота» (с. 115). Образ встречается у В. Хлебникова: «Если имеем две соседние долины с стеной гор между ними, путник может взорвать эту гряду гор…» («Словотворчество есть взрыв языкового молчания» // *Хлебников В.* Творения. М., 1986. С. 624).

С. 305. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания. — Платонов изменил текст рукописи и первой публикации, где было сказано иначе: «Композиторы со своими оркестрами на горных и канальных работах играли симфонии пламени и борьбы». Первоначальный вариант передавал характерное для эсте-

тики авангарда и пролеткульта представление о выходе искусства за свои пределы, о его непосредственном воздействии на реальную действительность.

С. 307. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца, и пересоздать вселенную. — Освобождение человека от власти материи предполагает, что возможна неограниченная свобода духа от воздействия чувственно воспринимаемого мира, от «земных» зависимостей вообще. Такие представления были характерны для символистов.

С. 310. Золотой век — Овидий в начале «Метаморфоз» описал, как вслед за сотворением мира сменились четыре века — Золотой, Серебряный, Бронзовый и Железный. Первый был Земным раем, Едемским садом, но каждый последующий приносил человечеству все больше тревог и страданий. В золотом веке человек пребывал в первозданной невинности — в гармонии с соплеменниками и животными. Он обходился без всяких орудий и средств возделывания земли, и природа удовлетворяла его простые потребности.

Приключения Баклажанова (с. 311)

Впервые опубликован в газете «Воронежская коммуна» (10 сентября и 17 сентября 1922 года). С подзаголовком: Бесконечная повесть.

Публикация первой главы «Приключений Баклажанова» завершалась обещанием, что в дальнейшем будет рассказано о «Мастерской бессмертной плоти». Однако об этом Платонов напишет в «Рассказе о многих интересных вещах».

Елпидифор Баклажанов упоминается в нескольких рассказах Платонова, в повести «Рассказ о многих интересных вещах». В «Потомках солнца» он представлен как реальное лицо — изобретатель, возглавляющий институт.

С. 312. На деревенских дорогах он изобрел еду и человеческое бессмертие. — В этих строках «бесконечной повести» обозначены ее главные темы: искусственная еда и бессмертие. Эти темы встречаются у Хлебникова и Замятина. Платонов возвратится к теме искусственной пищи в пьесе «Шарманка».

С. 313. ...не расставался с соломой, плетнями, тихими дорогами и своей матерью. — Перечислено все, что любил Платонов,

о чем он писал в автобиографии, включенной в предисловие к «Голубой глубине».

С. 313. Мир подымешь на слабые руки, / Что захочешь, полюбишь — твое. — Эпиграф ко второй части рассказа, имевшей подзаголовок: «Изобретатель света — разрушитель общества, сокрушитель адова огня», взят из стихотворения Платонова «Слепой».

Ты шел из далекой глухой деревни, от любимой, я просто ходил по земле и думал, как ее оборонить от зноя. — Баклажанов представлен здесь как двойник героя-повествователя. Ему переданы автобиографические обстоятельства судьбы самого Платонова. Речь идет о походах Платонова в Волошино, которые описаны в «Заметках».

Данилок (с. 316)

Вор. ком., 1922, 24 сент., № 215, с. 5. Датируется по первой публикации. Рассказ положен в основу 2-й главы «Бучило».

С. 316. Ливенка — однорядная гармоника.

Доклад управления работ по гидрофикации центральной Азии (с. 319)

«Страна философов». 2003. С. 448—452. Датируется серединой 1922 года.

Доклад составлен от имени Елпидифора Баклажанова, который представлен как Главный инженер Управления работ по гидрофикации. Платонов с января 1922 г. возглавлял созданную им Комиссию по гидрофикации при Воронежском Губземотделе, в марте того же года Комиссия вошла в отделение сельскохозяйственной мелиорации подотдела землеустройства и Платонов становится политическим руководителем отделения сельскохозяйственной мелиорации.

В рассказе те работы, которые автор осуществлял в масштабах Воронежской губернии, приобретают планетарный размах.

Доклад обращен к вымышленному адресату: Центральному совету труда, в состав которого Платонов включил Ленина, Кржижановского, Гастева, Штейнаха, Резерфорда.

Центральный совет труда, придуманный Платоновым, создан по модели существовавшего Совета труда и обороны, образованного в 1920 г., а также по аналогии с созданным В. Хлебниковым Правительством председателей земного шара: 19 апреля 1919

года в Харьковском городском театре состоялась церемония избрания В. Хлебникова «Первым Председателем Земного шара». В ней участвовали С. Есенин и А. Мариенгоф.

С. 321. Сообщаем результаты опытных работ по исследованию природы электричества. Оказалось, электричество есть атомная пыль, результат трения и столкновения атомов. — Представления Платонова об электричестве тесно связаны с новейшими разработками в физике его времени. В 1913—1917 гг. немецкие физики Джеймс Франк (1882—1964) и Густав Герц (1887—1975) выполнили серию опытов по столкновению электронов с атомами и экспериментально доказали существование дискретных уровней их энергии. За эти работы им в 1925 г. была присуждена Нобелевская премия (Комментарии // А. Ф. Иоффе. Встречи с физиками. Л., 1983. С. 117).

С. 323—324. Такая высшая техника имеет целью освободить человека от мускульной работы. — Убеждение Платонова, что техника должна освободить человека от тяжелого физического труда объясняет, почему столь трагично изображение строительства «общепролетарского дома» в повести «Котлован», где дом сооружается за счет истощения человеческой плоти.

Тютень, Витютень и Протегален (с. 324)

Впервые в журнале «Зори», Воронеж, 1922, № 2, авг.-сент. С. 25—28. Подпись: Елпидифор Баклажанов.

В 1921 г. под псевдонимом «Тютень» Платонов напечатал фельетон «Душа человека — неприличное животное».

Тютень — увалень, неряха, замарашка. *Витютень* — нерасторопный человек; название крупного лесного голубя. *Протегален* — авторский неологизм.

В рассказе возникает сюжет потопа, который будет развернут в «Рассказе о многих интересных вещах» (1923), а из него переместится в рассказ «Родоначальники нации...».

С. 326. ...Христос <...> говорил: «Блаженны нищие духом». — Имеется в виду первая заповедь Нагорной проповеди Христа (Мф. 5:1—11).

Потомки солнца (с. 329)

Вор. ком., 1922, № 252, 7 ноября, с. 2. Подпись: А. Платонов. Датируется 1922 годом.

Символика названия рассказа раскрыта в статье «Невозможное»: «Жизнь солнечного происхождения. Мы потомки солнца — не в переносном смысле, а в прямом физическом. Но жизнь не только перенесена солнечным светом, она сама — свет в физическом смысле».

С. 329. Прорваны галереи для воздушных потоков в горных цепях. — Платонов разрабатывал проекты реконструкции рельефа взрывным методом, планируя деятельность комиссии гидрофикации.

С. 330. Машины работали и лепили из корявой бесформенной жестокой земли дом человечеству. — Вера в безграничное могущество техники связана с принципом «машинизма» «Всеобщей организационной науки» А. Богданова, которую Платонов хорошо знал и разделял ее основные идеи.

С. 331. И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало его... — Речь идет о платоновской проповеди целомудрия ради утверждения на земле «царства сознания».

Так было осуществлено целомудрие и так женщина была освобождена и уравнена с мужчиной. — Проповедь целомудрия была частью «антропотехнической выдумки» Платонова — его мечты о создании человека нового типа — человека будущего.

С. 332. Переменное электромагнитное поле неимоверного напряжения было пущено в корневые системы растений и, уравнивая поле своего действия в смысле равной его электропроводности, оно вгоняло элементы питания растений из почвы в их тела. — Платонов описывает свое реальное изобретение «электрического увлажнителя корневых систем и корнеобитающего слоя почвы». Инженер подотдела мелиорации Воронежского губернского земельного управления получил на это изобретение авторское свидетельство, хранящееся в РГАЛИ в фонде Платонова (д. 2124, оп. 2, ед. хр. 2).

У меня есть жена, была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего в ней нет от так называвшейся женщины — мягкого, бесформенного существа. То же видящее, сознающее, обветренное железной пылью машин лицо... — Платонов пересказывает фрагмент из романа А. Богданова «Красная звезда», где речь идет о стирающихся различиях между полами.

Объяснение мечты Платонова о преодолении «дифференциации на мужское и женское» можно найти в работе Н. Бердяева

«Смысл творчества» (1916), которая могла быть известна Платонову.

С. 334. Мы запрягли в станки электричество и свет... — Платонов цитирует название своей статьи «О культуре запряженного света и познанного электричества» (1922), где сказано о внедрении в производство фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора.

Немые тайны морских глубин (с. 335)

Рассказ впервые опубликован в газете «Репейник», 1923, 18 марта, № 6, с. 2, с подзаголовком: Роман из великой эпохи. С подписью: Иоганн Пупков; 25 марта, № 7, с. 2, с подзаголовком: Трагическое сочинение Иоганна Пупкова, без подписи; 1 апреля, № 8, с. 3, с подзаголовком: *Трагическое, то есть жалостное сочинение Иоганна Пупкова*, без подписи.

Датируется по первой публикации.

Иоганн Пупков — псевдоним Платонова, под которым его произведения печатались в газете «Репейник».

Фамилия персонажа рассказа Чепцов встречается в рассказе «Цыганский мерин».

С. 335. Я опущусь на дно морское... — Строки эпиграфа трансформируют фрагмент из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон»:

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!

...А. Леваду и Старого Френча, писавших сочинения своего произведения в газете «Репейник». — За подписью А. Левады появилось несколько публикаций в газете «Репейник»: басня «Курица», фельетон «Пушкин в Москве в 192*) г.» (№ 1), «Драматическая поэма», «Шарлатанская месть» (№№ 3—5).

Старый Френч — псевдоним фельетониста Погорельского.

...за несомненного русского писателя Чепцов почитал Мих. Бахметьева. — Михаил Бахметьев — воронежский журналист, писатель.

С. 336. ...Жоржа, знаменитого фокусника и престидижитатора... — Прозвище «рыжий Жорж» было у приятеля Платонова Г. Малюченко, который познакомил писателя с его будущей женой Марией. Знакомство продолжалось и после переезда Платонова в Москву.

Паричок Жоржик снял... — Указана реальная деталь облика Георгия Малюченко, который был совершенно лысым и носил рыжий парик (Ласунский).

...И тихих рек ночное средостение — *средостение* здесь в значении — преграда, стена, перегородка.

Месмерические видения — месмеризм, животный магнетизм.

С. 338. ...гражданин Мамученко. — Фамилия, указанная на афише, напоминает о реальном прототипе персонажа — Малюченко.

...ветошь, жамшу, скло, пышки, лепешки, всякие жамки, купыри, сальники... — *Купырь* — растение дягиль; купырное вино — настойка на купыре; купырки — съедобные стебли купыря. *Сальник* — булка с салом, с крошеным жиром, сдобная; кушанье, блюдо: гречневая крутая каша, переложенная бараньим сальником.

Рассказ не состоящего больше во жлобах (с. 342)

Впервые опубликован в «Нашей газете», 1923, № 69, 3 июля, с. 2; подпись: Е. Баклажанов. Датируется по первой публикации.

Жлоб — скряга, скупец. Презрительное прозвище крестьянина.

С. 342. ...узреть весь мир, уложить его в сердце и сделать лучшим, чем он есть. — Стремление охватить весь мир, создать его масштабную картину — черта платоновских героев-преобразователей, которую они сохранят и в творчестве писателя 40-х годов. Таким качеством наделен машинист Мальцев в рассказе «В прекрасном и яростном мире».

НАПИСАННОЕ В СОАВТОРСТВЕ

Рассказ о многих интересных вещах (с. 347)

«Наша газета», 1923 (12 июля — 19 авг., №№ 73—88). Главы 1—3 «Рассказа...» напечатаны в № 73 без подписи автора, в №№ 74—88 имеется подпись: М. Б. и А. П. Последняя, 26-я глава заканчивается словами: Продолжение следует.

В статье Н. М. Малыгиной «Идейно-эстетические искания А. Платонова в начале 20-х годов (“Рассказ о многих интересных вещах”)» доказано, что Платонов является автором 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23 глав повести. То, что Платонов полностью или частично написал эти главы, подтверждается последующим перемещением их в цикл рассказов «Родоначальники нации или бес-

покойные происшествия» и рассказ «Крюйс» (Русская литература. 1977. № 4. С. 158—165). До публикации статьи, доказывающей принадлежность произведения перу Платонова, упоминания о «Рассказе...» отсутствовали в библиографических указателях произведений Платонова.

Псевдоним, которым были подписаны главы «Рассказа…» при публикации в «Нашей газете», давал основание предположить, что Платонов написал повесть в соавторстве с Михаилом Бахметьевым. Писатель Михаил Матвеевич Бахметьев работал вместе с Платоновым в воронежских газетах.

В рассказе «Немые тайны морских глубин» (1923) Платонов от лица одного из персонажей произведения высказал особое отношение к Михаилу Бахметьеву:

«За несомненного русского писателя Чепцов почитал Мих. Бахметьева, сочинявшего только про разных особ противоположного самому себе пола, и про себя. Чепцов думал, что у него есть еще главные секретные сочинения, написанные по одному матерному.

Но и его считал Чепцов татарином, либо мордвой.

Так что не было в Воронеже знаменитого русского писателя, а если были, то иностранцы».

Эпиграф к главе 23, имеющий подпись «Авторы», дает основание предположить, что некоторые главы Платонов и Бахметьев писали вместе.

Одновременно с публикацией «Рассказа…» Мих. Бахметьев стал инициатором создания еще одного коллективного романа «Среди схватки». Этот роман, написанный в жанре детектива, печатался в воронежской газете «Комсомолец».

Сохранилось свидетельство участника «проекта» Н. Стальского о том, как шла работа над этим коллективным произведением: «Первую вводную главу написал я сам, вторую Михаил Бахметьев. Я сговорился о продолжении со многими сотрудниками “Коммуны”, но на деле писали четыре-пять человек» (*Стальский Н.* Друзья-писатели. Воспоминания. М.: Сов. писатель. 1970. С. 18—19).

При подготовке текста повести к публикации в первом томе научного издания сочинений А. П. Платонова в семейном архиве Платонова были найдены фрагменты рукописи «Рассказа о многих интересных вещах», написанные рукой Платонова. Один из

автографов рукописи «Рассказа...» — «О земле и о душах тварей, населяющих ее. Сочинение Иоганна Пупкова» — вошел в рассказ «Крюйс».

Находка частей рукописей ценна тем, что подтверждает и сам факт существования рукописи в целом, и авторство Платонова, а также доказывает, что впоследствии рукопись была разобрана автором на части, включенные им в более поздние произведения.

Приметы, указывающие на авторство Платонова, в разных случаях различны. В «Рассказе...» автором сочинения «О земле и о душах тварей, населяющих ее» назван Иоганн Пупков. Но Иоганн Пупков — один из псевдонимов раннего Платонова. Под этим псевдонимом в воскресном литературном приложении к газете «Воронежская коммуна» опубликован рассказ «Немые тайны морских глубин (Роман из великой эпохи)».

При перемещении сочинения «О земле и о душах тварей...» в цикл «Из генерального сочинения» в сборнике «Епифанские шлюзы» оно приобретает новое название: «Генеральное сочинение о земле и о душах тварей, населяющих ее» и нового вымышленного автора — героя рассказа Федора Карловича (Карповича) Крюйса.

Многие образы, мотивы и фрагменты текста «Рассказа...» Платонов впоследствии использовал и воспроизвел в романе «Чевенгур».

«Рассказ о многих интересных вещах» относится к последующей прозе Платонова как литературный источник, к которому писатель не раз возвращался.

С. 348. В волчьей тоске зачал Ивана волк — Яким, человек почти не существующий. — У Мандельштама в стихотворении «Век» есть строка: «Но не волк я по крови своей...»

В происхождении героя «Рассказа о многих интересных вещах» утверждается прямо противоположное — он волк «по крови своей». В рассказе «Бучило» Евоким Абабуренко «до того искусно научился подвывать волкам, что волки приходили к нему и лезли на землянку».

По обличию — скот и волк, по душе, по сердцу, по глазам — странник и нагое бьющееся сердце. — Образ нагого сердца Платонов унаследовал от Маяковского. В рассказе «Возвращение» он трансформирован в образ «обнаженного» сердца. Сходство мотива людей и волков у Пильняка и Платонова отмечено Е. Толстой

(*Толстая Е.* «Стихийные силы»: Платонов и Пильняк (1928—1929) // Андрей Платонов: Мир творчества. М., 1994. С. 90).

С. 349. Обнял ее Яким и заскорбел. И пал душою. <...> И утром очнулся Яким мокрый и уморенный. Никогда так не умаривался. Голова лежала в траве тощая. И лицо было в морщинах от избывшей силы, от согнувшейся замолкшей души. — Утверждение целомудрия — главный мотив сочинения «О земле и о душах тварей, населяющих ее»: «Всякая цивилизация есть последствие целомудрия <...> Целомудрие же есть сохранение человеком той внутренней могучей телесной силы, которая идет на производство потомства, обращение этой силы на труд, на изобретение... Цивилизация есть целомудрие... звездоносная жажда работать и изобретать то, чего не было и не может в природе быть».

Мертвый я, — подумал Яким, — смерть идет от девки. — Перекличка с произведением В. Хлебникова «Любовь приходит страшным смерчем...».

С. 350. Стал Иван пастушить, когда ему сравнялось пять лет. — Пастушество указывает на фольклорный источник образа Ивана — Святого Георгия Победоносца, предстающего в образе народного заступника Егория Храброго, для которого характерно «покровительство стадам» (*Кирпичников А.* Св. Георгий и Егорий Храбрый. Исследование литературной истории христианской легенды. СПб., 1879. С. 114, 148).

Вдруг небо раскололось надвое, точно человеческий череп. Ослепительный синеватый шар трахнул из туч в овраг. С оглушительным треском в щепки разлетелся столетний дуб. — «Рассказ о многих интересных вещах» построен по мотивам Апокалипсиса. «Огненные шары летают по воздуху» — небесное знамение из Апокалипсиса, зафиксированное в Вюрцбургской летописи (*Морозов Н.* История возникновения Апокалипсиса. Откровение в грозе и буре. Репринтное изд. М., 1991. С. 9).

Образ расколотого черепа неба соотносится с образом расколотого черепа вселенной из поэмы В. Хлебникова «Взлом вселенной» (Хлебников В. Собр. соч. В 6 т. Т. 4. М., 2003. С. 78).

С. 352. ...не велик дар — хлеб, когда душа ссохлась. — Воспроизводятся мотивы «Легенды о Великом Инквизиторе» из романа Ф. М. Достоевского. Великий Инквизитор утверждал, что человечество нуждается лишь в хлебе насущном и готово расплатиться за него своей духовной свободой. Платонов возвращался к проблеме

хлеба и души всю жизнь, в 1937 г. он писал: «словно народ — по мнению Инквизитора из легенды Достоевского — нуждается, как животное, лишь в покое и хлебе насущном...».

Прислушался Иван к словам. Шипят, поют, ноют жужелицей <...> У всякой душевной силы есть свое слово...

С. 353. А я буду делать хорошие души из рассыпанных, потерянных слов. Я слеплю их все сначала. — Герою приписаны функции творца новых душ, по аналогии с Творцом, вылепившим людей из глины.

С. 355. ....яму руками выкопать в глубину до земного жара. — Повторяется сюжет погружения к центру земли как способ добраться до истины и рычагов управления земным шаром, который был намечен в рассказе «Маркун» и будет воспроизведен в финале «Котлована».

С. 356. Здесь вошь любви, но она невидима. — Образ «микроба любви» присутствует в пьесе Маяковского «Клоп».

С. 357. ...как Ньютон еще сказал, живем на берегу великого океана пространств и времен и ищем разноцветные камушки... — Имеется в виду высказывание Ньютона: «Не знаю, чем я кажусь миру, но себе я представляюсь ребенком, который играет на берегу моря и собирает гладкие камни и красивые раковины, меж тем как великий океан глубоко скрывает истину от глаз его».

Сторновка — стерня.

С. 358—359. Насела туча, темнее подземных недр <...> ослепила небо и землю сплошная белая молния, зажгла Суржу <...> вдарил гром <...> полетели <...> на землю глыбы льда и сокрушили все живое и раздробили в куски мертвое.

<...> За ледобоем вдарил сверху ревущий, скрежещущий, рвущий в тряпки пустую землю водяной потоп <...> Не было ни Суржи, ни леса, ни полей. Чернели глыбы пораженной земли и шипела вода по низинам. — Воссозданы основные события Апокалипсиса: «сделались град и огонь» (Откр. 8:7); «и произошли молнии... и громы и землетрясение и великий град» (Откр. 11:19).

С. 359. Упал Иван шибче льдины в лог и уткнулся в пещеру... — событие из Апокалипсиса: «и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор» (Откр. 6:15).

С. 360. А когда бывает засуха, значит, можно, все ж-таки наскрести влагу электричеством и обмочить ею корни. — Платонов описал собственные опыты по электрическому орошению почвы,

которые он проводил летом 1922—1923 гг. Об этом он писал в статье «Гидрофикация и электрификация» (Вор. ком. 1923. 28 янв.). Речь идет о реальном изобретении Платонова (см. комм. к рассказу «Потомки солнца»).

О работах Платонова по орошению земли на опытном участке в Воронеже вспоминала З. С. Маркина, которая познакомилась с Платоновым на поэтическом вечере, где читала свое стихотворение о звездах, когда ей было 15 лет: «...он сказал: “Тебя интересуют звезды, меня тоже”. Мы разговорились. Он пообещал мне в погожий вечер показать созвездия. Он сказал, что работает на другой стороне реки Воронеж, надо только перейти деревянный мост. Когда я пришла под вечер, то увидела на поле какой-то работающий моторчик, он качал воду. <...> Все это в памяти живо, как вчера. Стучал моторчик неподалеку, лилась вода. Андрей сказал, что эта вода должна напоить землю, стал рассказывать про неизвестную мне Туркмению, пески, которые тоже нужно напоить водой, говорил, что вода — это жизнь, что человек должен заботиться о земле» (Советский музей. 1991. № 1).

Проекту Платонова «Электрическое орошение почвы» посвящалась статья «Борьба с пустыней», опубликованная в 1924 г. в «Воронежской коммуне». Переработанный текст этой статьи Платонов включил в очерк «Первый Иван. Заметки о техническом творчестве трудящихся людей» (Октябрь. 1930. № 2).

С. 361. ...что такое электричество и как построен и строится из него наш мир и вся вселенная. — Электричеству посвящена деятельность героев повести — изобретателей волостного доктора Власа Константиныча, Прочного Человека, Инженера.

С. 363. А баба совсем умирала — из нее лез новый человек. <...> И баба визжала, как убиваемая сука, и грызла зубами камушки. — Воспроизводится сюжет Апокалипсиса: «Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения» (Откр. 12:2). Подобный эпизод есть в романе Б. Пильняка «Голый год» (1921): «...на шпалах остается баба с глазами, исступленными в боли. <...> баба бежит куда-то за шпалы, воя и взвизгивая по-собачьи» (*Пильняк Б.* Целая жизнь, с. 135—136).

С. 364. Юзь — беспокойный человек.

С. 365. Двошать — дышать, едва дышать, с трудом переводить дух.

С. 367. Через месяц, к началу зимы — Суржа имела уже двадцать два волка <...> Иван Копчиков окончательно покорил их людям <...> Как только установился хороший зимний путь, Иван Копчиков запряг в сани двенадцать волков... — Отношения Ивана с волками связаны с фольклорным источником образа героя: «Покровительство стадам ведет Егория прямо к начальству над волками <...> И в поговорках, и в сказаниях Егорий пасет зверей, особенно волков <...>, представление именно волков собаками божественного воеводы — обычное представление» (*Кирпичников А.* Указ. соч. С. 114, 148).

С. 368. Надо найти у мира голову и треснуть по ней чем-нибудь тяжким... Мыслью, к примеру, превращенной в машину. — Этот замысел героя «Рассказа...» соотносится с образом расколотого черепа вселенной из поэмы В. Хлебникова «Взлом вселенной»:

Вы видите умный череп вселенной
<...> пробьем
Стены умного черепа вселенной.
Ворвемся <...> к рычагам мозга...

(Хлебников В. Собр. соч. в 6 т. Т. 4. М., 2003. С. 78).

С. 369. И росла против солнца деревянная башня под горячими руками одиноких во враждебном мире людей, спаянных вместе несчастьем и угрозой солнца. — Одно из первых упоминаний о башне встречается в статье Платонова «Революция “Духа”» (1921): «Вгоните в облака сооружения из рельс, бетона и стекла, наполните их машинами, разумнее человека, пусть рухнет земля под тяжестью работающего, в первый раз счастливого человечества — и тогда не нужна будет музыка ; гром и ритм пульсирующих машин волнуют и вдохновляют нас больше, чем тысячи гениев звука» (Огни. 1921. № 2). Образ «башни» у Платонова связан с созданной В. Татлиным (1919) моделью памятника Третьему Интернационалу.

С. 370. Солнечная дрожь рождала в ее голове мысли <...> Она была пустым и чистым кувшином и туда лилась солнечная сила мира и делала ей и мысли и душу и слова. — Мистические способности Каспийской Невесты получают естественнонаучное объяснение в послании из космоса героя рассказа «Лунные изыскания»: «Среда электромагнитных волн, где я нахожусь, имеет свойство возбуждать во мне мощные, неудержимые, бесконтрольные

мысли. Я не могу справиться с этим нашептыванием <...> мысли, рождающиеся из электричества...»

С. 371. А в Сурже достраивался уже один большой дом на всех людей. Строился он круглый, кольцом. А в середине сажался сад. И снаружи также кольцом обсаживался дом садом. — Описание «дома-сада» имеет своим источником реальные архитектурные проекты начала XX в., среди которых самым известным был осуществленный проект испанского архитектора А. Гауди (1852—1926), построившего в Барселоне парк Гуэль (1900—1914), задуманный автором в стиле города-сада. Знаменитый Храм Святого семейства (1883—1926) — великое творение архитектора, которому он посвятил 40 лет жизни, примечателен тем, что храм создавался по модели древа жизни, его колонны сделаны в форме деревьев.

...дом-сад — слова читаются и от конца к началу, напоминая о библейском городе Содоме.

Стены были устроены везде двойные — и вот в эти пустые места шел теплый дух, грел сначала стены, а потом и весь дом. Дом так топился, что никто не замечал, где, как и что топится, откуда идет тепло. Ничего не было видно. А теплота шла равномерно и грела стенами чистый садовый воздух. — В описании устройства «дома-сада» повторяются существенные детали проекта проекта памятника Третьему Интернационалу В. Татлина: авторы моделируют «двойные перегородки с безвоздушным пространством (термос), благодаря чему легко будет поддерживать температуру внутри помещения» (*Пунин Н.* О Татлине. М., 1994. С. 19).

С. 372. Скот держался в такой же великой чистоте и здоровье, как и люди<...> Иван уже подумывал, как бы и лошадей и коров приравнять во всем к людям<...>

Придет время вскоре, заговорят и звери, остепенятся и образумятся... — Намерения уравнять животных и человека высказываются в творчестве В. Хлебникова и Н. Заболоцкого.

С. 373. И Иван написал мелом на стене: «Невеста, устроен новой земной нацией большевиков». — Воспроизводится сюжет из Откровения Святого Иоанна Богослова: «и напишу на нем имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего...» (Откр. 3:12).

С. 374. Бадик — палка, посох, трость, хворостина.

С. 375. Бекасырики — от слова бекас — крошка, самый малый. В данном случае мелкие насекомые.

С. 376. Опытно-Исследовательский институт по индивидуальной антропотехнике. — Платонов разработал «антропотехническую» концепцию, основанную на теории «органического электрообмена» А. Л. Чижевского (1897—1964).

Мастерская прочной плоти. — Речь идет об экспериментах ученого Прочного Человека по омоложению и оздоровлению человеческого организма. В созданных им лабораториях «прочной» и «бессмертной» плоти института антропотехники люди подвергаются постоянному воздействию электричества. В рассказах «Приключение Баклажанова» и «Бучило» сказано, что главный герой «изобрел настоящего бессмертного человека».

В России опыты по лечению людей электричеством еще до революции начал проводить основатель «электронной медицины» А. Л. Чижевский в лаборатории профессора А. А. Айхенвальда. В 1926 г. Чижевский создал лабораторию, где продолжил опыты по аэронизации. У Чижевского прошли лечение 83 человека, среди которых был К. Э. Циолковский.

С. 377. О постройке нового человека;

Всякая цивилизация, то есть материальное устройство жизни человеческого общества, иначе говоря — организация материи... — Платонов проектирует «организацию материи» на основе новейших достижений современной науки, пригодных для использования в практике преобразования жизни. В основе его замысла лежали идеи «Всеобщей организационной науки (тектологии)» А. Богданова.

С. 378. ...для прививки человеку целомудрия и развития, отмычки в нем таланта изобретения — я основал науку антропотехнику. — Платонов был убежден, что «мир сейчас стоит перед великим и коренным изменением внутренней сущности самого человека» (Вор. ком. 1920. 20 окт. № 235. С. 2). Главным условием развития творческих возможностей личности Платонов считал отказ от чувственной любви с целью максимального приложения к труду и творчеству высвободившейся в результате этого энергии.

С. 381. ...усталость, злоба, горе, болезнь, сон, смерть и все, мешающее жить, бывает от особых на каждый случай микробов... Я взял обдумал и подобрал такие электромагнитные волны,

каждая из которых убивает какой-нибудь один... вид... болезнетворных микробов <...> Смерть тогда некому делать... и человек не умирает никогда. — Вера писателя, что «мысль легко и быстро уничтожит смерть своей систематической работой — наукой» («Культура пролетариата»), связана с надеждой, что возможно достигнуть бессмертия человеческого организма, поместив его в электросферу, где материя не разрушается.

С. 382. Электричество это суть нашей вселенной... — Такое определение электричества встречается в статье «Культура пролетариата», где Платонов указал, что оно приведено в одной из прочитанных им книг по физике (Вор. ком. 1920. 17 окт. № 233. С. 2). В 1928 г. в книге академика А. Ф. Иоффе (1880—1960) «Достижения физики» сообщалось об открытии: «Совсем недавно и неожиданно явилось признание того, что <...> элементы, из которых построена вся материя — суть электрические заряды. Ничего кроме электричества мы в природе не видим. <...> Все то, что, казалось бы, ни со светом, ни с электричеством... не связано, на самом деле оказалось электричеством».

У него всякая мысль, всякая тайна переходили в чувство и становились горем и тревогой сердца. — Платонов унаследовал у Достоевского представления о способности человека переживать мысли. В «Бесах» Ставрогин замечает в разговоре с Кирилловым о смерти, что «почувствовал совсем новую мысль» (т. 7, с. 250).

У Толстого есть понятие «сердечной мысли». Платонов эту способность ощущал и в себе: «Я всегда должен сначала найти какой-то темный путь для сердца к влекущему меня явлению, а мысль шла уже вслед» (*Живя главной жизнью.* С. 160, 167).

С. 387. Немость вселенной была нарушена электричеством — тончайшим и легчайшим газом, пылью пылинок, который скучился, смерзся в вещи и родил все остальное. Инженер Баклажанов. — В качестве эпиграфа к 23 главе повести приведена цитата, подписанная фамилией персонажа, которую писатель использовал в качестве псевдонима. Платонов пересказал физическую теорию происхождения материи из электричества.

С. 389. — Свет есть тоже эта пыль — электричество... Значит, от атомов отделяется пыль и они менеют сами, потому что превращаются в свою пыль. И будут менеть до тех пор, пока не пропадут совсем. И пыль их пронесется неимоверные, неисчи-

слимые пространства и пути — так велик был удар атома об атом по сравнению с величиной отколовшейся пылинки. Такой идет круговорот во вселенной. Из электричества нарождается вещество и от электричества оно умирает, чтобы опять через миг воскреснуть и зацвести другим огнем. — Платонов высказывает концепцию космического происхождения жизни. Ее источник назван в рассказе «Невозможное»: «У шведского физика Аррениуса есть красивая поразительная гипотеза о происхождении жизни на земле. По его догадке — жизнь не местное, не земное явление, а... переправлена к нам с других планет... Вероятно... земля... из... света... образует жизнь...».

С. 391. — Я поплыву, а не полечу по электричеству. Электричество — газ легкий, но есть легчайший — магнитная энергия. Ею, пылью пылинок, я наполнил снаряд. Он легче и пустее, чем голубое межзвездное море. Там электромагнитные волны, у меня же в снаряде одна магнитная энергия. Я сделал как бы воздушный шар для полета с звезды на звезду. — Здесь «фотоэлектромагнитный резонатор трансформатор» становится летательным космическим аппаратом, устройство которого подробно объясняет Ивану его создатель. В повести воспроизведен способ передвижения «летательной машины» в космическом пространстве, который до этого уже был описан в рассказе «Потомки солнца»: «...сделаны в институте Баклажанова машины, гонимые светом. Двигаться по переменному электромагнитному полю очень легко...»

С. 395. — Тут, товарищ, рай. — Эпизод пребывания героев повести в раю связан с сюжетом пьесы Маяковского «Мистерия-Буфф». Возможно, Платонову была известна мистерия А. В. Луначарского «Иван в раю».

Алахарь — дармоед, лежебока.

С. 398. Иван потрогал райское существо — жидко и хлебло. Дай, думает, я ему шарахну разик, все одно звезду зря гнетут. Какой же тут рай, если б тут жили злобствующие, я б их уважал, а то мразь блаженная. И Иван дернул существо кулаком по сердцевине. — М. Вайскопф указал источник богоборческого мотива разрушения рая в поэме В. Маяковского «Облако в штанах» и пьесе «Мистерия-буфф»: «апокриф о разрушении Христом преисподней — с тем существенным различием, что схождение Христа во ад замещено здесь... подвигами Васьки Буслаева в Небесном Иерусалиме» (*Вайскопф М.* Религия Маяковского. С. 45).

С. 668. ...а солнце вдруг потухло <...> Стал быть мрак. — В финале повести Платонов обращается к приему реализации одной из своих поэтических метафор:

Солнце мы завтра расплавим,
Выше его перекинем мосты.

(«Познаны нами тайны вселенной...»)

Герои «Рассказа о многих интересных вещах» верят, что скоро «овладение солнцем станет порядок рабочего дня» («О культуре запряженного света...»). Образ погасшего солнца означает не гибель мира, а, как это ни парадоксально, освобождение человека от власти материи и времени: «На вершинах труда исчезает мир, и ты свободен, и тебе не страшно» («В звездной пустыне»).

СТИХОТВОРЕНИЯ

Рационализм и «техницизм» раннего Платонова со временем уступает место вниманию к внутреннему миру человека, его психологии.

Стихотворения Платонова могли быть сюжетными и бессюжетными, могли вызываться впечатлениями как городскими, так и деревенскими («окраинными»), могли сожалеть о «тоскующей вербе» и грезить о «взорванной бесконечности» — но в каждом из них — одна главенствующая, «нерасчлененная» эмоция. Очень часто такая эмоция, перекликаясь с пафосом учения Н. Ф. Федорова об «общем деле», имеет в своей основе детское неприятие неродственности и детское же неприятие неотвратимости смерти. Проективный же характер федоровского учения — то есть стремление показать мир долженствующий — нашел выражение в поэтизации стремления к невозможному, дальнему, тайному... А с этим, в свою очередь, связано желание изменить взаимоотношения человека с пространством и временем, желание видеть человека его хозяином.

С 1919 года в стихотворениях при сохранении мотивов бессмертия и преодоления неродственности резко расширяются масштабы ожидаемых преобразований («я» совершенно сходит на нет и заменяется многократно повторенным «мы»).

Такие стихи, как «Путь в горы», сочетают в себе все основные мотивы послеоктябрьской поэзии Платонова: новая, преобразую-

щая мир сила машины и сознания — растущего из земли, совокупные усилия людей, позволяющие преодолеть «враждебность» мира, и масштабность, бесконечность поставленной задачи.

В. Пронин и Л. Таганов отметили философичность уже самых ранних стихотворений и обратили внимание на сохранение с годами этой «первоосновы». Платонов, «декларируя отказ от духовного странничества, не может совсем отойти от него, только выражается он теперь в пролеткультовской форме»*. Авторы считают «машинную эстетику» Платонова (отличая ее характер от пролеткультовской В. Кириллова и М. Герасимова) «формой» и «данью эпохе». Но тогда придется считать «данью эпохе» и «формой» всю «инженерно-техническую половину» воронежского периода жизни Платонова.

Видимо, здесь нужно вести речь о типе творческой личности и признать этот тип универсальным. И «машинизм» Платонова-поэта — не форма, а естество. Это подметил еще в 1922 году В. Келлер: «Его лирика воистину естественное отправление, какое-то органическое продолжение его проникновенного, слитого с миром существа»**.

Детская и юношеская любознательность, известная своим наивным повтором «А что дальше? А дальше?», конкретизируясь в реалиях воронежской окраины начала XX века — «Задонской большой дороги», нищих, странников, — воплощалась в устойчивый поэтический мотив, повторяющийся особенно в стихах до 1918 года: «странника избранный путь» «в даль, до конца неизвестную».

Этот мотив стремления к краю, к концу может задавать тон в стихотворении, выявляясь сразу, с первой строки («У дороги края нету...»), может приходить в предсмертном сне («Мальчик замирает, видит сон последний, / Будто мать уходит, больше не придет. Без конца заборы, темные дороги...»), может, наоборот, стряхивать долгое оцепенение — как, например, в стихотворении «Сказка»: «Мальчик вырос в атамана, / Сжег деревню, мать-отца / И ушел на лодках рано / У земли искать конца».

---

* *Пронин В. А., Таганов Л. Н.* Платонов-поэт: (Сб. «Голубая глубина») // Творчество А. Платонова: Ст. и сообщ. Воронеж, 1970. С. 137.

** *Келлер В.* Андрей Платонов // Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии. Сб. М., 1994. С. 160.

Мир в ранних платоновских стихах погружен в сон, в дремоту, с которыми со-противопоставлены иные состояния (темнота — свет; зрение — слепота, смерть. Здесь — целый букет тем-символов, который «реализуется» позднее, к рубежу 20—30-х годов.

Сну, дремоте подвержены у Платонова и дети, и взрослые люди, и старики, и собака, и птица, и поля, и даже арбуз. «Сон ребенка — песнь пророка» — в этих словах можно увидеть одну из исходных формул восприятия и оценки мира начинающим поэтом.

Развертываясь в конкретное содержание, эта формула определяет пророчества и «положительные», и «отрицательные»:

Сны его несут далёко,
Улыбаются и на руки берут.
Мать другая грудь сосать давала,
Много рук протянуты и ждут.

Бессознательно-родственное отношение младенца к миру («мать другая») станет одной из составляющих платоновского «осознанно-детского» взгляда на действительность.

Детские сны могут пророчествовать и «от противного», то есть являть видящему их не-Истину, соблазн, который не надо принимать, от которого предстоит отказаться. В стихотворении «Сказка» мальчику снится «богатырь в зеленой шапке», который

несет в руках царевну,
Девок наших румяней,
Дочерь бога, королевну,
Глаз светлей степных огней.

Но мальчику, взволнованному этим сновидением, предстоит связать свою жизнь не с царевной — это значило бы поддаться соблазну. Мальчик «с думой обручится» и уйдет «у земли искать конца»:

Шапку с головою скинул,
Сам оперся на весло,
А царевну в море кинул, —
Без нее в душе светло.

В. Пронин и Л. Таганов, отмечая это стихотворение в своей работе, считают, что «реальная направленность мысли в конце концов побеждает фантастический зачин, сказочная ситуация ломается, сказка обретает жестокий «разбойный» финал, который, думается, больше соотносится с жизнью, нежели с литературными

образцами»[*]. Наверное, ситуацию можно увидеть и по-иному: побеждает как раз идеальная направленность мысли, и финал, не такой уж жестокий (если не потерять из виду акцент на «обручении» с мыслью, а не с невестой), больше соотносится с жизнью юношеской идеи о «свете сознания». Здесь же и первые, еще не вполне ясные, знаки андрогинного отношения к жизни — мотива всего последующего творчества Платонова.

Мотив сна, чаще всего детского, группирует вокруг себя несколько других, соотносимых с ним по семантике и символике. Чрезвычайно интересно в этом отношении стихотворение «Слепой»: «Платонов рисует характерный для его ранних идейно-эстетических поисков образ "слепого" человека, который ищет ответа на "тайны Вселенной" и находит его в "тихой песне" ночи»[**]. В книге «Голубая глубина» «Слепой» следует непосредственно за стихотворением «Во сне», с цитированной выше первой строкой «Сон ребенка — песнь пророка» и с обещанием: «Вспыхнет кроткий и печальный / Ранний утренний твой свет».

Предчувствие света приобретает в «Слепом» характер драматический, а вся символика предыдущего стихотворения подхватывается, разветвляется и сопровождается интонацией страстного призыва и убеждения. В стихотворении «Во сне» ребенок «пришел один с дороги, / Замер сердцем и упал». Слепой — словно увиденный по-иному ребенок. С первых строк он приобретает косвенную характеристику ребенка — через указание на сиротство: «...без матери в поле». В тексте есть и прямая параллель с «Во сне»:

У стены, у стены на дороге
В смертном ужасе замер и ждешь...

Мотив пророческого сна модифицируется в «Слепом» в более напряженную и имеющую открытый философский характер тему «зрения посреди темноты» (Л. Карасев). Герой, «в ослепительном свете ослепший», оказывается самым зрячим в темноте:

О, не бойся, слепец позабытый,
Больше всех ты своей слепотой,
Одному тебе тайный и скрытый
Свет открою и буду сестрой.
....
Ты слепой, но в тебе свет таинственный...

---

* *Пронин В. А., Таганов Л. Н.* Указ. соч. С. 132.

* *Малыгина Н. М.* Эстетика Андрея Платонова. 1985. С. 93.

Возвращаясь к мотиву иного зрения, пробуждающегося в темноте, во сне, в слепоте, выделим также стихотворение «Мы дума мира темного…» (в «Голубой глубине» — «Мир»), соединяющее социальную и философско-символическую направленность с первых строк:

Мы дума мира темного,
Несказанное слово.

Смысл усиливается в третьей строфе, напоминающей строки «Слепого»:

Поет слепая птица
И в песне видит свет,
Ей ветер в поле снится
И в мире чего нет.

Здесь символика темноты-света, пророческий сон, «отрицание отрицания»: слепота, усиленная ночным временем, превращается в ясновидение, и происходит это с помощью песни: «…песня — почти голос Вселенной, указывающий человеку на его предназначение»*.

Детская привычка — принцип «делания наоборот» приобретает уже в ранних стихотворениях Платонова характер «совмещения противоположностей», врожденная любознательность перерастает в аналитичность, однако жажда метаморфоз, невозможных в обыденной жизни превращений сохранится в его сознании навсегда.

Одно из наиболее часто употребляемых в платоновской поэзии слов-понятий — смерть. Если учесть, что целый ряд стихотворений был написан в юношеском возрасте, интересно отметить следующее. Детская психика относится к смерти одновременно и как к тайне, которую хочется разгадать, и как к вещи принципиально неприемлемой, выстраивая для себя многочисленные способы «обмана» смерти, бегства от нее, победы над ней. Один из наиболее близких ему вариантов (и наиболее популярный, заметим, в сюжетах народных сказок) — оживание или оживление. В стихотворении «Мертвый», сохраняющем этот «детский взгляд», наиболее соответствует необратимой сущности смерти лишь «однозначное» название. Текст же словно борется с этой однозначностью.

Встречается «уравнивание в правах» жизни и смерти («И смерти и жизни нету конца»), и «недоверие» к уходу в небытие («Я сердцем знаю, / Что не истаю / Я в этом мире, / В зеленом пире»),

---

* *Малыгина Н. М.* Указ. соч. С. 94.

и даже какая-то «игрушечность» в обращении со смертью («Мальчик вырос в атамана, / Сжег деревню, мать-отца...»).

Широко известны платоновские слова о том, что «невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души». Постоянство «изначальной» души навсегда осталось в его сознании идеалом. «Жизнь есть изменение, — написал он в записных книжках 1941—1943 годов, — но высота души в ее неизменности»*.

Происхождение в поэтике Платонова мотива и образа «невесты», «звезды», «красавицы», «царевны» указывает на два источника. Один из них — фольклор, народные сказки. Детское восприятие образа сказочной красавицы, не входящего в соприкосновение с жизненными реалиями, носит неосознанно-платонический характер; невеста всегда «далека и чиста». Такое восприятие гармонично закреплено и вместе с тем изменено знакомством с поэзией раннего Блока.

Говоря об этом — втором — источнике, следует назвать несколько этапов заимствований и творческих преобразований мотива: символика Апокалипсиса — философия и поэзия В. Соловьева — поэзия А. Блока**.

В Апокалипсисе Святого Иоанна Богослова*** два раза встречается упоминание Невесты. «Один из семи Ангелов» говорит: «Иди, покажу тебе Невесту, Агнцу Жену» (Откр. 21:9). Андрей Кесарийский в «Толковании на Апокалипсис», упоминая об Агнце-Христе и Невесте-Церкви, поясняет, что последняя «чрез излияние Крови из ребра Христова во время Его вольной смерти на кресте сочеталась с Ним, уязвленным ради нас». В другом месте Откровения есть слова, начало которых взял эпиграфом для стихотворения «Верю в Солнце Завета...» Александр Блок: «И Дух, и Невеста гово-

---

* *Платонов А. П.* Деревянное растение. Из записных книжек. М., 1990. С. 41.

** Впервые символика образа Невесты в творчестве Платонова указана в статье Н. Малыгиной «Идейно-эстетические искания А. Платонова в начале 20-х годов («Рассказ о многих интересных вещах»)» (Русская литература. 1977. № 4. С. 164—165; связь образа с традициями А. Блока: в кн. Н. Малыгиной «Эстетика Андрея Платонова». 1985. С. 83—84; 91—92.

*** Связь образа Невесты с Новым заветом рассматривалась в работе: *Малыгина Н. М.* Система образов-символов в творчестве Платонова // *Малыгина Н. М.* Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М., 2005. С. 222—223.

рят: “Приди!” И слышащий да говорит: “Приди!” И жаждущий да придет. И хотящий да примет Воду Жизни даром» (Откр. 22:17). Эти же слова подхватывает В.Соловьев в статье «Смысл любви».

Блок берет за основу соловьевскую символику («Царевна», «Таинственная Дева», «Ты»), воодушевленный философией Вечной Женственности. Платонов в ранних стихах пользуется теми же символами и выражает схожие мысли. Здесь все те же «невеста», «царевна», «красавица печальная», тот же «посох» и бедные одежды, с которым и в которых отправляется на поиски невесты герой.

Назвать Платонова поэтом вполне сложившимся, как и вполне профессиональным, видимо, нельзя.

Условных признаков дилетантизма в его текстах довольно много: это и «невынужденные» перебои ритма, и односложные «балластные» слова, и неловкая инверсия «в угоду ритму», и многое другое. Однако интересен не сам по себе факт этой «недоработанности», а то обстоятельство, что по мере взросления Платонова как литератора она не убывает, а, наоборот, возрастает, учащается, становится, видимо, осознанной.

Объем стихотворения делается в среднем все больше и больше — причем не только за счет увеличения количества строк, но также и за счет их удлинения. От музыки стиха — к его смыслу. Так можно одной фразой сформулировать направление платоновского поэтического развития. Однако за этой формулировкой встает другая, еще более принципиальная. Ибо все отмеченные особенности соответствуют движению от лирики — к эпосу. К прозе.

Исторически наиболее известное собрание стихов Платонова — вышедший в 1922 году в Краснодаре и благосклонно отмеченный В. Брюсовым сборник «Голубая глубина» (79 стихотворений). Есть скупые сведения о небольшом воронежском сборнике 1921 года. В 1926—1927 годах Платонов собрал поэтическую книгу «Поющие думы» (не издана), которая включала стихи как из «Голубой глубины» (не все), так и написанные позднее. Следует отметить также, что некоторые платоновские стихотворения полностью или частично приводятся в текстах его прозаических произведений.

Стихи Платонов писал, по его же замечанию, с 12—13 лет. Однако точно датировать ранние тексты невозможно.

Основные источники первых публикаций — воронежские газеты «Красная деревня», «Воронежская коммуна», журнал «Железный путь».

«В моем сердце песня вечная...» (с. 401)

«Искра», Воронеж, 1921, 19 ноября, № 1, с. 3.

Стихотворение посвящено Марии Александровне Кашинцевой, которая в 1922 году стала женой Платонова. В книге «Голубая глубина» текст имел заголовок «Из поэмы "Мария"».

Содержит библейские ассоциации: «Песнь песней», Рождественская звезда.

Странник (с. 401)

«Воронежская коммуна», 1920, 5 ноября, № 249, с. 2.

Среди страны (с. 402)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 141—142; под заглавием «Северный отдых».

Стихотворение — одно из самых поздних (1925).

«Мы дума мира темного...» (с. 403)

«Воронежская коммуна», 1921, 4 января, № 2, с. 3.

В первой публикации и в «Голубой глубине» имело название «Мир» и содержало вычеркнутую позднее последнюю строфу:

Живут в неслышной думе,
Как миги, все века.
И песнею без шума
Падает река.

Богомольцы (с. 403)

Однодневная газета «Красному фронту», Воронеж, 1920, 15 ноября, с. 1.

Редкое для Платонова-поэта обращение к теме Гражданской войны. Политические события предстают в христианской символике: «Богомольцы со штыками / Из России вышли к Богу»; «Видно, вновь Христос на свете, / Раз у них тоска в очах».

События революционных и военных лет вообще заставляют Платонова искать аналогии современности в эпохе христианизации России, что более заметно в прозаических текстах.

Образы «детей с железом на плечах» перекликаются с автобиографической фразой о необходимости, еще не выйдя из детства, «сразу нахмуриться и биться», а также с эпизодом из «Сокровенного человека», в котором описан поход молодых красноармейцев: «Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они находились».

Строчки «Каждый холоден и грязен, / А все вместе — все чисты» напоминают формулу из платоновского предисловия для издательства: «Мы идем из грязи...».

«Без сна, без забвенья шуршат в тесноте...» (с. 404)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 135—136.

«Ночь на дворе стоит сиротой...» (с. 405)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 137—138.

«Жить ласково здесь невозможно...» (с. 406)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 137.

Комментарии к Сочинениям (2004) отмечают (с. 605) евангельскую реминисценцию: «С верностью голубя, с мудростью змия, Силу чудесную крепко зажав. — Парафраз евангельского текста: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10: 16)».

Стихотворение написано уже в 1925—1926 годах.

«Мир родимый, я тебя не кину...» (с. 406)

«Зори», Воронеж, 1922, № 1, июль, с. 4.

По мотивной структуре этот текст сходен со стихотворением «В моем сердце песня вечная...»: те же образы песни песней, звезды, жаждущего породнения мира.

Вечерние дороги (с. 407)

Однодневный журнал «Голодающим детям Поволжья», Воронеж, 1921, 26 августа, с. 4.

Ветхая Русь (с. 407)

«Красная деревня», 1920, 28 марта, № 19, с. 2.

В первых публикациях стихотворение называлось «Русь». Изменение названия в середине 1920-х годов косвенно свидетельствует о том, что Платонов осознавал описанные реалии под тем же углом зрения, что и Есенин («Русь уходящая»).

Как и многие стихи, написанные ранее 1919 года, оно вполне может считаться созданным в духе крестьянской поэзии и имеет определенное сходство со стихами из сборника Есенина «Радуница».

Румяная мать (с. 408)

«Красная деревня», 1921, 28 января, № 19, с. 2

В первых публикациях заглавие — «Маня с Усмани».

С появлением этих стихов в «Красной деревне» связано известное место из воспоминаний Н. Задонского:

«Мне было неизвестно, как появились на свет эти стихи, но помню отлично, что ребята постоянно поддразнивали Андрея этой «Маней с Усмани» и он всякий раз мучительно краснел и оправдывался:

— Да что вы, право, придумали... Нет никакой Мани, это же литературный образ, и больше ничего...

— Рассказывай! А кто под этим литературным образом скрывается?

— Прячешь ты от нас, Андрюша, свою красавицу!

Очень застенчивым юношей был Андрей Платонов»*.

В стихотворении чувствуется влияние фольклорных жанров, в частности, частушки: «На кого похожа я! / Ссохлась с тоскованья, / А была пригожая, / Где ты, милый Ваня!»

Усмань — река, левый приток Воронежа.

«Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села...» (с. 409)

Сборник «Стихи», Воронеж, 1921, с. 45.

Первое четверостишие цитируется в романе «Счастливая Москва».

Поэтика напоминает символистскую.

---

* *Задонский Н.* Молодой Платонов // Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии. Сб. М., 1994. С. 16.

«Растет мое сердце во сне...» (с. 409)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 136.

Мать (с. 410)

«Красная деревня», 1920, 27 авг., № 142, с. 2.

«Сердце в эти дни смертельно и тревожно...» (с. 410)

«Искра», Воронеж, 1921, 20 ноября, № 2, с. 2, под заглавием «На земле».

В первой публикации и в «Голубой глубине» последняя строка была иной: «И любит сердце пустоту». Видимо, здесь не опечатка, а вариативность авторского решения. «Пустота» может рассматриваться как синоним «высоты»: оба слова соотносятся с понятием бесконечности.

Иван да Марья (с. 411)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 131—134.

Небольшая поэма отчасти автобиографического («Третий год я был комсомолистом, / В сентябре мне стало двадцать лет»), отчасти философского содержания.

Текст первоначально посвящался М. А. Кашинцевой и называлась «Осенняя поэма». Позднее это название стало подзаголовком, а затем подзаголовок и посвящение были сняты. Известно немалое количество исправлений, внесенных Платоновым в текст. Платонов стремился к «упрощению» текста.

Бегство (с. 415)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 138.

Стихотворение рисует уход героя из родного дома в природу, в мир. 1926-й — год написания стихотворения — преддверие повестей как раз о таких героях (Фома Пухов, Александр Дванов, Вощев). Свернутые сюжеты последующей прозы легко обнаружить в этом тексте.

«Томится сила недр земного шара...» (с. 416)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 138—139.

«Резцом эпох и молотом времен...» (с. 417)

«Репейник», Воронеж, 1923, 18 марта, № 6, с. 3.

Поэтика Платонова развивается разнонаправленно: с одной стороны, углубляется его уважение к классической традиции, с другой — на страницах лирики появляется все больше примет авангардной поэзии.

«Земля — дума, дума не пропетая...» (с. 417)

«Воронежская коммуна», 1921, 1 января, № 1, с. 5.

В первых публикациях присутствует еще одна — начальная — строфа:

Падают звезды с неба на траву,
Сердце заходит, испугано, радо.
Вестники дальние пламени, славы
С неба слетаются в тихое стадо.

Можно предположить, что исключенная строфа являлась частью самостоятельного стихотворения.

Мертвый (с. 418)

«Искра», Воронеж, 1921, 23 ноября, № 3, с. 3.

В ранних публикациях последняя строка выглядела иначе: «Тише жизни красота». Затем парадоксальность образа, видимо, была принесена в жертву соразмерности и гармонии («Не целуются уста» образуют своеобразную «рамку» со строкой, завершающей первую строфу: «Человек не говорит»).

«В железной шапке льдов...» (с. 418)

«Воронежская коммуна», 1923, 18 февраля, № 36, с. 3.

В первой публикации перед 4 строфой стояла следующая:

Ты утаилась от расстрела смерти,
Преступник тайный, поджигатель мира,
Сама ты миру гибелью ответишь
И над упавшею звездою расправишь пламенные крылья.

Лесная говорушка (с. 419)

«Огни», Воронеж, 1921, 4 июля, № 1, с. 2.

В первой публикации имеется посвящение «артистке Щербиной-Башариной». Е. И. Щербина-Башарина — певица, исполнительница русских народных песен.

Платонов сообщает в авторском примечании к названию: «Есть такой нежный гриб», однако ничего не говорит о том, что

говорушка — еще и птица семейства чайковых. При этом в тексте «птичье» обличье говорушки не менее явственно, нежели «грибное». Возможно, в стихотворении отразились народные представления о превращениях (девушка — птица — гриб).

«Когда я думаю, я слышу музыку...» (с. 420)

«Воронежская коммуна», 1922, 26 марта, № 69, с. 2

В газетной публикации текст открывал подборку стихотворений Платонова, озаглавленную «Поющие думы». Название «выросло» из ключевого образа этого стихотворения — песня мысли.

В строении стиха очевиден поиск особой музыкальности, сходной с тютчевской («Последняя любовь»).

Белый свет (с. 420)

Сборник «Стихи», Воронеж, 1921, с. 44; «Путь коммунизма», Краснодар, 1922, № 2, март-апрель, с. 31.

«По деревням колокола...» (с. 421)

«Воронежская коммуна», 1921, 12 окт., № 228, с. 3.

Слова «об умершем боге» заслуживают особого внимания в связи с известной записью в записных книжках Платонова: «Бог есть и бога нет. То и другое верно. Бог стал непосредственен etc., что разделился среди всего — и тем как бы уничтожился. А «наследники» его, имея в себе «угль» бога, говорят его нет — и верно. Или есть — другие говорят — и верно тоже. Вот весь атеизм и вся религия.

Бог есть и бога нету:

Он рассеялся в людях, потому что он бог и исчез в них, и нельзя быть, чтобы его не было, он не может быть и вечно в рассеянности, в людях, вне себя».

В публикациях текст включал в себя четвертую строфу:

Слетают звезды с вышины,
И сердце, радуясь, пугается;
Как много в шуме тишины,
Звезда на песню отзывается.

Кроме того, Платонов изменил и последнюю строку нового, 12-строчного варианта, которая первоначально звучала так: «Я миру вестник мира дальнего». В новом варианте: «И жизнь цветет без всякого названия».

Песня (с. 421)

Однодневный журнал «Голодающим детям Поволжья», Воронеж, 1921, 26 августа, с. 4.

В публикациях текст посвящался Мих. Бахметьеву.

Михаил Михайлович Бахметьев — воронежский писатель, соавтор Платонова в «Рассказе о многих интересных вещах».

В первых публикациях последняя строка — «Рос высокий колос». В позднейшей правке: «Заскорбела волость».

«Частушечность» текста настолько очевидная, что можно предположить: он предназначался для песенного исполнения.

Дорога утром (с. 422)

«Красная деревня», 1920, 17 июля, № 108, с. 2.

О голом и живом (с. 422)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 136—137.

В противоположность предшествующему в книге стихотворению, данное — свидетельство того, что в поздних стихах Платонов уходил от музыки к смыслу.

«Мы стареем, потому что мы живые...» <М.А.К.> (с. 423)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 147.

Стихотворение написано (как свидетельствуют черновики) ко дню рождения жены Платонова, Марии Александровны.

«Наверно, молодость придется истомить...» (с. 424)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 139—140.

«Древний мир, воспетый птицами...» (с. 424)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 140.

«Как тополи в тихие ночи...» (с. 425)

«Голубая глубина», с. 72.

Вероятно, можно сказать, что существует два основных варианта написанных ранее 1919 года стихов Платонова: традиционные (условно говоря, «некрасовские») и модернистские (условно говоря, «бальмонтовские»). Данное стихотворение, безусловно, относится к первому варианту.

«Вечер душен. Ночь недалека...» (с. 426)

«Железный путь», 1919, № 9, апр., с. 13.

В первых публикациях носило название «Тоска».

Степь (с. 426)

«Жизнь железнодорожника», Пг., 1919, № 17—18. 18 мая, с. 3.

Метафора последней строки («Холодная неба вода») синонимична метафоре названия книги «Голубая глубина».

Мужик (с. 427)

«Голубая глубина», с. 81.

Шестая строка правилась (варианты — «перекрестишься от дум», «от своих душевных дум»). Итоговый выбор Платонова характерен: «запечалишься от дум».

Поход (с. 428)

«Воронежская коммуна», 1920, 7 ноября, № 251, с. 5.

Стихотворение датируется 1920 годом; возможно, здесь и проходит «граница» между традиционным («музыкальным», «природным») и новым («смысловым», «проспективным», «машинным») периодами платоновской поэзии.

Динамо-машина (с. 428)

«Воронежская коммуна», 1920, 28 ноября, № 269, с. 3.

Одно из характерных «пролеткультовских» стихотворений. Очевидно влияние А. Гастева («Поэзия рабочего удара» была издана в 1918 году).

Машина как организм, организм как машина — основа образного строя таких стихов.

Конец света (с. 429)

«Воронежская коммуна» , 1923, 14 янв., № 9, с. 4.

НЕ ВОШЕДШЕЕ В «ПОЮЩИЕ ДУМЫ»

Птицы (с. 431)

«Голубая глубина», с. 18.

В ходе правки для «Голубой глубины» Платонов вычеркнул две строфы из первоначального текста.

«Я сердцем знаю...» (с. 431)

«Голубая глубина», с. 37.

Последняя строка «В открытом небе мы не одни» претерпела правку: «В небесной бездне мы не одни».

Сумрак (с. 432)

«Голубая глубина», с. 41.

Напоминает фетовское «Шепот, робкое дыханье...», по ритмике восходит, возможно, к лермонтовским «Горным вершинам» или «Чудная картина...» того же Фета. Автор заботится в первую очередь о музыкальности стиха и выступает здесь внимательным и способным учеником русской поэзии.

«Тихий свет сиянья угасания...» (с. 432)

«Голубая глубина», с. 42.

При прощании (с. 433)

«Голубая глубина», с. 43.

День (с. 433)

«Голубая глубина», с. 71.

В «Голубой глубине» этот текст расположен среди стихов «зарисовочных», «крестьянских («У города», «Не тихо и не шибко...», «Долог зимний рассвет...» и др.).

Ритмика несколько напоминает некрасовское «В полном разгаре страда деревенская...».

У города (с. 434)

«Голубая глубина», с. 75.

«Не тихо и не шибко...» (с. 434)

«Голубая глубина», с. 76.

Образ скользящих по зимней дороге розвальней явственно напоминает фетовское «Чудная картина...» — в «опрощенном» лексическом варианте.

«Долог зимний рассвет...» (с. 435)

«Голубая глубина», с. 77.

Интересно «сочетание времен»: в первых трех четверостишиях — настоящее; в последнем, четвертом, — сначала «явное» прошедшее, затем «скрытое» будущее.

Юноше (с. 435)

«Тени», Воронеж, 1918, 1 июня, № 5, с. 52

В газете «Красная деревня» в 1921 году печаталось под заголовком «Юноше-пролетарию». Необычная для Платонова дидактика заставляет вспомнить Некрасова, а в еще большей степени (тем более учитывая вариант названия) — брюсовское «Юному поэту».

Рабы машин (с. 436)

«Юный пролетарий», Воронеж, 1918, № 1, с. 6.

По теме это уже «новое» стихотворение (машинный мир), но по исполнению (как и следующий за ним «Поезд») — еще традиционное. Образ «раба с исковерканной рукою» заставляет вспомнить «Авиатора» А. Блока («рука — мертвее рычага»).

Поезд (с. 436)

«Железный путь», 1918, 15 декабря, № 4, с. 8.

Над горами (с. 437)

«Жизнь и творчество русской молодежи», М., 1919, № 17, 5 января, с. 3.

Образный строй стихотворения заставляет вспомнить стихи Лермонтова «Ночевала тучка золотая...».

Вечер после труда (с. 437)

«Железный путь», 1919, № 6, 31 января, с. 11

На реке (с. 438)

«Железный путь», 1919, № 8, март, с. 9.

В первой публикации — «У реки». Вполне вероятно, имеется в виду река Воронеж, на правом берегу которой находилась Ямская слобода.

Март (с. 439)

«Железный путь», 1919, № 8, март, с. 12

Первоначальный (в первой публикации) вариант последней строфы:

Вьются с тихим лопотаньем
Всюду ручейки,
Вечерком же ранне-ранним
Небеса ярки.

Редактируя текст, Платонов дважды ввел в четверостишие образ дороги. Вначале опосредованно («В колесницах ручейки»), а затем явно («Все дороги далеки»). Дорога, путь — характерный финальный образ в его ранней лирике.

«Млеют в горячей весенней испарине...» (с. 439)

«Красная деревня», 1920, 26 марта, № 17, с. 4.

Имя «странничка божьего Фомы» совпадает с именем «революционного» странника Фомы Пухова из «Сокровенного человека».

«Невысокие лозины...» (с. 440)

«Красная деревня», 1920, 18 апреля, № 34, с. 3

Молот (с. 440)

«Красная деревня», 1920, 24 апреля, № 39, с. 2

Одно из тех стихотворений, где на первый план выдвигаются новые реалии: машина, молот, наковальня, паропровод, металл... Однако от «старой» формы поэт отказаться пока не решается.

Песнь (с. 441)

«Известия», Воронеж, 1919, 6 апреля, № 76, с. 3.

Ритмизованная проза, заставляющая вспомнить одновременно опыты А. Белого и А. Гастева.

Кроме того, следует отметить федоровские мотивы памяти об умерших отцах.

Гудок (с. 442)

«Железный путь», 1919, № 10, май, с. 5.

Очевидно влияние поэзии Гастева. Платонов пробует писать белые стихи с сокращением стопности в наиболее важных, интонационно завершающих местах.

«Мы на канатах прем локомобиль...» (с. 444)

«Зори», Воронеж, 1922, № 1, июль, с. 9.

По сюжетности, характеру образов очень близко эпическому началу. Характерна реакция калужского журнала («футуристическое», другие уничижительные отзывы), не принявшего стихи к публикации именно из-за недостатка собственно лиричности.

Красному Воронежу (с. 445)

«Известия Совета обороны Воронежского укрепленного района», Воронеж, 1919, 17 сент., № 3, с. 2.

Данный автором подзаголовок «Стихотворение в прозе» неточен. Практически весь текст строго выдерживает заданный ритм (двустопный пеон третий), и из «прозаической» графики легко восстанавливаются стихотворные строки. Не может не вспомниться горьковский «Буревестник»: «Птицей с телом нежной чайки он несется над землей». Возможно, ошибка в публикации: «веет в сердца истомленных веру в чудо воскресенья».

Последний день (с. 446)

«Пламя», М., 1919, 2 ноября, № 69, с. 16.

Италии (с. 447)

«Воронежская коммуна», 1919, 28 декабря, № 57, с. 2.

Навеяно политическими событиями в Италии (активизация рабочего движения) и, возможно, впечатлениями от книги Джованьоли «Спартак», переводы которой на русский язык известны с 1881 года.

Знание (с. 448)

«Красная деревня», 1920, 23 апреля, № 38, с. 3.

Субботник (с. 448)

Однодневная газ. «Предмайский воскресник», Воронеж, 1920, 26 апр., с. 2, 4.

Май (с. 449)

«Красная деревня», 1920, 1 мая, № 45, с. 1.

Отдаленно в строках стихов угадываются будущие темы «Чевенгура» и «Котлована»: «По земным пустыням строим Новый Город».

«Над голубыми озерами...» (с. 449)

«Красная деревня», 1920, 5 мая, № 47, с. 2.

Стихи созданы уже в тот период, который мы условно называем «новым». Однако не надо забывать, что лирика, лиричность в узком смысле этого слова из творчества Платонова не исчезала, а лишь отходила на задний план, появлялась реже. Данное стихотворение — одно из таких «появлений»; в нем налицо все основные черты ранней лирики: и странник, и дума природы, и пейзаж, «восходящий» к дороге («Путь неизвестный, желанный / Лег по пустыне к горам»)...

Кузнецы (с. 450)

«Красная деревня», 1920, 10 мая, № 52, с. 2.

Нечастый у Платонова случай изящной составной рифмы: до зари — косари.

«Солнце жжет арбузы, зеленит огурцы...» (с. 450)

«Красная деревня», 1920, 14 мая, № 55, с. 3.

Праздник силы (Ко дню всевобуча) (с. 451)

«Красная деревня», 1920, 30 мая, № 68, с. 2.

Всевобуч — всеобщее военное обучение граждан (1918—1923, а также в годы Великой Отечественной войны).

Стихотворение нерифмованное, написано разностопным ямбом.

Дорога (с. 452)

«Голубая глубина», с. 78.

Путь в горы (с. 452)

«Красная деревня», 1920, 4 июля, № 97, с. 3.

Напор (с. 453)

«Красная деревня», 1920, 18 июля, № 109, с. 2.

«Жесткое» содержание стихотворения («Весь мир в железе надет на штык») подразумевает соответствующую форму. Платонов находит ее в дополнительном «вертикальном» членении, разделяя строки пополам цезурой. Характерно, что, как и у активно практиковавшей такой прием М. Цветаевой, деление у Платонова нередко подчеркивается с помощью тире (в шести строках).

Оратор (с. 454)

«Красная деревня», 1920, 1 авг., № 121, с. 3.

Образ молота («оратора» нового времени) ни разу не назван, но угадывается в метафорах стихотворения.

«На реке вечерней, замирающей...» (с. 454)

«Свободный пахарь», Задонск, 1920, 11 авг., № 5, с. 2.

Во многом стихотворение напоминает ранние — с «тишиной», «сном» и «странником» в финале. Однако характерна замена местоимения «я» (в газетной публикации) на «мы» (в «Голубой глубине»).

Конный вихрь (с. 455)

«Красная деревня», 1920, 15 августа, № 133, с. 2.

Лексика посвящения («Пролетарской коннице») и слияние воедино коня и всадника («Красноармейцем стал мерин») позволяют увидеть здесь предвестие образа Степана Копенкина и его Пролетарской Силы.

Фронт (с. 455)

«Красная деревня», 1920, 19 августа, № 135, с. 2.

Как и опубликованный четырьмя днями ранее «Конный вихрь», «Фронт» посвящен военным событиям, однако реальная его проблематика — скорее не политическая, а философская («Падает к братьям брат на штыки»; «Человек человеку навстречу / По крови шагает, шагает века»)

Мальчик (с. 456)

«Красная деревня», 1920, 15 сентября, № 157, с. 3.

Стихотворение соотносится как с реальными событиями в жизни Платонова (смерть брата-младенца), так и с сюжетами его ранней прозы («Волчок», «Маркун» и др.).

Домой (с. 458)

«Красная деревня», 1920, 2 октября, № 130, с. 2.

Стихотворение, подобно предыдущему, автобиографично. Не менее интересно то, что в нем явственно видны следы знакомства с философией Н. Федорова: «Когда же дойдем мы до дома / И в нем до утра отдохнем. Сойдемся, увидим умерших, / Забытых, далеких вернем». В «Мальчике» эти следы тоже обнаруживаются: «Мать

другая грудь сосать давала, / Много рук протянуты и ждут». Уместно здесь вспомнить и последнюю строфу стихотворения «В эти дни земля горячее солнца...»: «В поле закопали люди свое сердце — / Может, рожь поспеет тут и без дождя, / Может, будет лето, и воскреснут дети, / И протянет руки нам родная мать».

Обретение настоящей родственности между людьми, между человеком и природой, поиски потерянного отечества («дома»), наконец, воскрешение умерших, «ждущих» этого, — все это, безусловно, федоровские мотивы.

Мысль (с. 460)

«Воронежская коммуна», 1920, 7 октября, № 224, с. 2.

В известной статье Платонова «Культура пролетариата» (1923) цитируется начало стихотворения. Платонов предлагает в этих стихах новую «иерархию»: новый бог — мысль, новый царь — «мы».

Сын земли (с. 460)

«Воронежская коммуна», 1920, 10 ноября, № 253, с. 2.

В июле 1920 года, то есть до опубликования стихотворения, в «Красной деревне» была напечатана философская статья Платонова «Душа мира», посвященная предназначению женщины. Статья написана под влиянием В. Розанова и задумана как оправдание женщины, и в частности как отповедь на книгу О. Вейнингера «Пол и характер». Художественная идея стихотворения соприкасается с мыслями статьи.

Слепой (с. 461)

«Воронежская коммуна», 1920, 19 ноября, № 261, с. 2.

Написанный вскоре после «Сына земли», «Слепой» продолжает его тему — тему «ожившего, спасенного спасителя». Четвертое четверостишие стало эпиграфом ко 2-й части рассказа «Приключения Баклажанова». Подробно о «Слепом» — во вводной части к настоящим комментариям.

«Мы пройдем тебя до края...» (с. 462)

«Красная деревня», 1920, 30 ноября, № 218, с. 2.

Много матерей (с. 463)

«Воронежская коммуна», 1920, 2 декабря, № 272, с. 3.

Перекликается с «Мальчиком»: «И протянулись к нам белые руки, / Полные груди ждут с молоком...».

Содержит еще один вариант синонима к названию сборника «Голубая глубина» — «Небо — колодезь глубокий».

К середине стихотворения происходит «наращение» строки: трехстопный дактиль сменяется четырехстопным. Этому изменению соответствует смена «отрицательного» содержания «положительным»: стихотворение словно бы «разворачивается» к радости.

Дети (с. 464)

Однодневная газета «Коммунистический воскресник детям», Воронеж, 1920, 6 декабря, с. 1.

Стихи содержат евангельские реминисценции (напр., связаны с известной формулой о необходимости «обратиться и быть как дети»), а также своеобразный отзвук федоровских идей: «Наши дети не родились, / Не родятся никогда» и др. Такая формула связаны и с волновавшей Платонова мыслью о возможности «внеполового» расходования человеком своей энергии. Об этом же он писал и в ряде статей.

Косвенный показатель того, что как поэт Платонов так и не сложился, — отношение к рифмам. Здесь мы находим и современные» неточные, отдаленные созвучия: огненный — молнии, торжественном — шествием, и подчеркнуто архаичные с точки зрения произнесения: вселенную — раскаленную, бесценное — сожженное.

Во сне (с. 464)

«Голубая глубина», с. 44.

«Тиха дорога, неизвестна...» (с. 465)

«Воронежская коммуна», 1921, 14 января, № 9, с. 3.

При подготовке в публикации стихотворения в «Голубой глубине» снято название «Звери», а также вычеркнуты две первые, явно неудачные в формально-техническом отношении строфы.

Отзвук федоровской идеи о разумной «регуляции природы»: «Но одолеем зверя вечного, / Когда с ним станем заодно».

Последний шаг (с. 465)

«Воронежская коммуна», 1921, 15 января, № 10, с. 1.

В первой публикации — посвящение «Памяти Карла Либкнехта». Либкнехт Карл (1871—1919), немецкий политический деятель, один из основателей (1918) КП Германии и организаторов «Союза Спартака». Убит (вместе с Р. Люксембург) контрреволюционерами.

Еще одна возможная аллюзия на учение Федорова — строчка «Работа — наш отец, мы не расстанемся с отцом», а также слова о «заработанном бессмертье». Характерна в этом отношении и замена слова «пропавшие» на «замолкшие» в строке «Замолкшие в могилах дети».

Судьба (с. 466)

«Воронежская коммуна», 1921, 13 февраля, № 32, с. 2.

«Мир рожден улыбкой человека...» (с. 466)

«Воронежская коммуна», 1921, 27 февр., № 43, с. 2.

Стихотворение значительно — втрое — сокращено перед публикацией в «Голубой глубине».

Характерно, что Платонов, взрослея как поэт, требовательно подходит к своим ранним текстам, стараясь исключать повторы, многословие, технически слабые места. В данном стихотворении четвертая строка первоначально была такой: «Всякий сонный, всякий мертвый встал». Платонов, видимо, посчитав, что к предыдущей («Смерть рука влюбленная рассекла») она мало что добавляет, нашел гораздо более органичное продолжение: «Вечный посох странник в руку взял».

Топот (с. 467)

«Трудовой клич», Воронеж, 1921, 10 марта, № 3, с. 3.

Одно из стихотворений, процитированных В. Брюсовым в его рецензии на «Голубую глубину» как свидетельство талантливости автора.

Действительно, это одно из самых гармоничных стихотворений Платонова. Свидетельством укрепляющегося мастерства поэта можно посчитать развитие единой мысли и образа, «рамочность» композиции, осознанное варьирование строфами, вывод главного слова в отдельную строку, «настойчивые» (соответствующие исходному образу-переживанию) рифмовки 3—4 строк подряд.

Вселенной (с. 468)

«Воронежская коммуна», 1921, 1 мая, № 93, с. 4.

Платонов смело начинает стихотворение прозаической (единственной в тексте) строкой: «Вселенная! Ты горишь от любви».

«Познаны нами тайны вселенной...» (с. 469)

«Воронежская коммуна», 1921, 29 июня, № 140, с. 1.

Образ солнца над «пламенным городом» может быть рассмотрен через призму приближающейся чевенгурской антиутопии. Тем более что в звучащей пока столь же радостно-утопично строчке «Каждый сегодня богом быть может» просвечивает, возможно, один из персонажей «Чевенгура» — по прозвищу «бог». Богом объявил себя и Тютень — герой раннего рассказа «Тютень, Витютень и Протегален» (1922).

К звездным товарищам (с. 469)

«Огни», Воронеж, 1921, 11 июля, № 2, с. 2.

Обращают на себя внимание строчки «Мы проломим двери в голубом навесе / К пролетариям планетных стран». Ранний Платонов как минимум еще один раз — но уже в комическом аспекте — изобразил этот акт «проламывания небесной сферы» любопытным героем — Ериком из одноименного рассказа 1921 года.

Вечер мира (с. 470)

«Воронежская коммуна», 1921, 18 дек., № 285, с. 3.

«Сгорели пустые пространства...» (с. 471)

«Голубая глубина», с. 31.

О «победе» содержания над формой в большинстве стихотворений этого периода свидетельствует здесь «небрежная» рифмовка.

«Тих под пустынею звездною...» (с. 471)

«Голубая глубина», с. 39.

Первое четверостишие стало эпиграфом к рассказу «В звездной пустыне» (1921).

Концовка явно отсылает к евангельским сюжетам: «Братья мои на страдания / В гору идут на кресты».

«Далью серебряной в утро росистое...» (с. 472)

«Голубая глубина», с. 40.

«Я поэт разрушающих вечность времен...» (с. 472)

«Искра», Воронеж, 1921, 1 декабря, № 7, с. 1.

«Среди нив, певучих в спелости...» (с. 472)

«Воронежская коммуна», 1922, 26 марта, № 69, с. 2

«В эти дни земля горячее солнца...» (с. 473)

«Голубая глубина», с. 52.

Уже отмеченная выше федоровская тема воскрешения — в последней строфе.

«Небо вверху голубое...» (с. 473)

«Голубая глубина», с. 58.

Ночь (с. 474)

«Железный путь», 1919, № 7, февраль, с. 10.

Платонов значительно дополнил журнальный вариант для публикации в «Голубой глубине».

Сказка (с. 474)

«Голубая глубина», с. 91.

«Человек — цветущее растение...» (с. 476)

«Воронежская коммуна», 1922, 26 марта, № 69, с. 2.

«В мире тихий ветхий вечер...» (с. 476)

«Воронежская коммуна», 1922, 26 марта, № 69, с. 2.

«Странник умер очарованный» — аллюзия на повесть Н. Лескова.

Лунный гул (с. 476)

«Зори», Воронеж, 1922, № 2, август-сентябрь, с. 20.

Стихи о человеческой сути (с. 477)

«Репейник», Воронеж, 1923, 1 апреля, № 8, с. 3.

Стихи явно преследуют юмористические цели, написаны намеренно неумело и сниженно, даже грубо. Многое объясняет подпись под первой публикацией: Иоганн Пупков. Платонов в нескольких текстах упоминает этого персонажа или подписыва-

ется таким псевдонимом — и в данном стихотворении «перевоплощается» в него.

Рассказ о Непачовке (с. 478)

«Наша газета», 1923, 12 июля, № 73, с. 2.

Стилизация, похожая на «Стихи о человеческой сути». Подпись к публикации — крестьянин Баклажанников — заставляет вспомнить героя ранней прозы Платонова — Елпидифора Баклажанова.

Стихотворение изобилует диалектизмами и просторечиями, а в последней строке неожиданно появляется старославянская фраза.

Небесная авиация (с. 478)

«Железный путь», 1923, 26 июля, № 12, с. 1.

«Изобретатели!..» (с. 479)

«Железный путь», 1924, 15 февр., № 2—3, с. 1.

НЕОКОНЧЕННОЕ

Счастливое время (с. 480)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 140—141.

Вождю оппозиции (с. 481)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 142.

Адресовано Л. Троцкому, содержит аллюзии на политические события 1924—1926 годов.

Про электричество (с. 482)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 143—146.

С некоторыми изменениями отрывок из стихотворения вложен в уста Егора Кирпичникова из повести «Эфирный тракт».

Написано как стилизация детской речи.

СТИХИ НА СЛУЧАЙ

<Марии>, «Баю-баю, Машенька...», «Солнце — розовый ребенок...» (с. 488—489)

«Октябрь», М., 1999, № 2, с. 146—147.

«Жизнь — далекая дорога...» (с. 489)

«Голубая глубина», эпиграф к книге.

Четверостишие занимает особое место в книге «Голубая глубина», а потому рифмовка дорога — голубого, рассчитанная на «архаичное» произнесение, обращает на себя внимание.

«Наступает новый годик...» (с. 489)

Сочинения, с. 441.

Посвящение: Тотику-сыну.

Тотик — сын писателя, Платон Андреевич Платонов (1922—1943).

«Буквы черною печалью...» (с. 490)

Сочинения, с. 442.

Стихотворение вполне можно воспринять как расставание с поэтической мечтой: все, что связано с лирическим героем, переведено в прошедшее время — в том числе и те символы, «ориентиры», которые в юношеской лирике всегда оказывались «впереди»: невеста, звезда, неизвестная дорога.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

РАННИЕ РАССКАЗЫ

НАПИСАННОЕ В СОАВТОРСТВЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

КНИГА «ПОЮЩИЕ ДУМЫ»

Литературно-художественное издание

Андрей Платонов

УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР
Рассказы 1920-х годов
Стихотворения

редактирование и корректура
Алла Гладкова
Татьяна Тимакова

художественный редактор
Валерий Калныньш

Подписано в печать 12.11.2010
Формат 84x108 1/32
Усл. печ. л. 35,28.
Бумага писчая. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ № 854.

«Время»
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5568
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru